Виктор АСТАФЬЕВ

Виктор АСТАФЬЕВ

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

Виктор АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1998

Виктор АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

•

Том
пятнадцатый

•

ПИСЬМА
1990—1997 годы

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1998

ББК 84Р7
А91

Художественное оформление
А. Озеревской, А. Яковлева

Астафьев В. П.
А91 Собрание сочинений: В 15 т. Т. 15. Письма, 1990—1997 гг., Красноярск: ПИК «Офсет», 1998 — 512 с.

В 15-й том Собрания сочинений В. П. Астафьева вошли письма читателей, затрагивающие 1990—1997 годы, — драматичные в жизни нашего общества. В этих эпистолярных документах — боль и страдание народа, переживающего нелегкую полосу своей истории, пересматривающего устоявшиеся ценности, озабоченного будущим. У любимого писателя читатели просят совета, а иногда и резко возражают ему, спорят с ним. В издание включены и письма В. П. Астафьева того времени.

© В. Астафьев, 1998
© А. Озеревская, А. Яковлев
Оформление, 1998
© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1998

ПИСЬМА

1990—1997 годы

1.1.90 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Посланные Вами книги дошли до Новгорода в исправности. Какой это неожиданный для нашей семьи подарок!

Все внутри колыхнулось от Вашей похвалы, и всех нас обожгла она радостью и благодарностью. Я сказал жене, что только ради одной этой награды — Вашим словом — стоило и жить, и работать. И она, просияв, поцеловала меня (я знаю ее: когда она судьбу свою бабью благодарит, она или заплачет, или поцелует). Наша старшая дочь Наталья (она ждет второго ребенка), измученная вконец тошнотной слабостью и в лежку распластанная на постели, взяв книги и разобрав буквы, враз преобразилась. Посмотрев на нее, я не узнал запавшие ее скулья — так вся она засветилась в ответ на прочитанное. А 18-летний Павел, уже трижды прочитавший «Последний поклон», взял книги и пошел в свой закуток читать еще раз.

В общем, что тут говорить, это был счастливый день в доме! И до глубокой ночи думалось-жилось хорошо и спокойно, давно такого облегчения не было.

Спервоначалу, следуя неизживной слабости, я, конечно, выхватил только похвалу, всем нам направленную. Но, поостыв, уже спокойным чтением углядел и осознал большее, на что требуется откликнуться не иначе, как только по-братски: проявилась явственно для меня горечь слов, обмолвленных Вами о себе самом — «Мало работаю, — пишете Вы, — вот главная беда!»

Сколько лет подряд я сам в тоске стискивал свое сердце этою же самой бедой. И знаю накрепко, как трудно с нею сладить. Поэтому проговорились про себя такие вот мысли о Вас: раз сами считаете бедой все, что отрывает, уводит Вас от зарока писательского дела, — так и отриньте мелочи, большие и малые, и делайте ту работу, которую никто в целом свете за Вас не сможет сделать.

Главная Ваша подмога людям и подпора истине жизни — это свидетельства Ваших произведений, ведь их жарче никому, кроме Вас, раскалить до Вашего предела не дано. Я давно уже слышал, что Вы пишете роман о войне. Поприще огромно, а сроки жизни истаивают, и еще не все возделано, что задумано Вами, о чем взывают и те, кому уста уже закрыла смерть, и те, коим не под силу вещее слово художника.

Не тратьтесь, Виктор Петрович, на депутатство. На этой зыбкой стезе Вам не осилить неправду уже по причине того только, что власть-то не наша, не народная — одна лишь видимость ее обманная! Да и дружества в рядах нет, а тем паче единения. Не давайте ни друзьям, ни недругам спихнуть себя с Вашего рубежа: депутатством сможете высечь искру слабую, а своим романом о народе на войне — распалите большой огонь правды и совести.

В каждом угробленном солдате убивалась его мать. Война — убийство материнства! А как представишь, сколько головушек-то положено этими вождями-полководцами, как вспомнишь — чем отплачены были народные мучения, чем вознаградили вернувшихся фронтовиков и какую жизнь им уготовили расхлебывать, — так хоть воем вой! Нет, не все слезы отлились этой силе поганой, отольются, Бог даст, и Вашим романом тоже! Судьба, может, и сберегла Вас для этой великой миссии, чтобы выплакали свои боли, свою душевную нудь Вашим словом и все погибшие на войне, и все зачумленные нежитью прозябания, кто в надсаде ломил работу за кусок чернухи от самой межи Победы до сроков наших дней!

Мы видим (это привычно), что поток бытия увлекает с собой всех здравствующих ныне, но должны помнить еще о том, что и ушедшие из жизни не выпадают в донный осадок, а несутся вместе с нами, только мы на самой стремнине потока, а они — обочь ее. Поэтому, я думаю, что умом и болью художника умеют и болеют не только живые, но и мертвые.

Сколько их, успевших в жизни лишь только ознаме-

новаться Именем, но не успевших, не сумевших в полную силу явить миру светоносную природу свою!

Кто-то, сильный правдой, должен же перегнуть в пояснице неразумных живых, отученных от поклонов благодарения?

Жизнь и сейчас не больно складная, но грядет еще более лихое время: на бегу к «светлым» целям всех нас еще в детстве пометили алой тряпочкой, а сейчас — откуда и взялась! — черная лента на маковке судьбы, нам отпущенной, уже трепыхается. Вроде бы пока и живые, но при полной гамме траура!

Стало традицией: заарканить русского интеллигента и, волоча, колотить его душу ухабами «сияющего» пути. Хоть бы уж эдак саму дорогу выправили, сровняли (легче следующим вослед было бы), а то ведь изотрут человека до корчей — и бросят, хай помирает! Да еще и воспоют, что «отряд не заметил потери бойца». И сегодня — кто из руководяще-направляющего воронья не горазд ради своей ненасытной корысти клюнуть в тело художника и вырвать шмат мускула себе в утучнение. Будешь терпеть — до костей доберутся, а дай волю — так и скелет рассыпят!

Не дай Бог крови, но ни при каких условиях нельзя дать этим правящим господам прикрыть срамоту облупленного фасада, грязь идеологической корысти, наготу своих зверств чистым одеянием духовно не продавшихся редких подвижников. По-моему, цель их перестройки именно в этом и состоит — разбавить свою кровавую бормотуху святой водой праведников и этой, не такой уже страшной на вид жижей, попробовать омочить иссохшую, исходящую криком жажды глотку народа, глядишь — и отмякнет!

Но с болью видим: или люди не намучились еще по самое горло, или что-то очень важное в народе сломлено. Иначе не позволили бы мы все дурить себя пять лет заморочками, не стали бы терпеть заскорузлую ложь о страшных мертво-обвальных десятилетиях, в «победную поступь» превращенных, ложь, множимую и сейчас.

Ни на грош не раскаявшись и не повинившись перед людьми за свое кровавое водительство, списав все на одного придурка-диктатора, та же мудрейшая идейная наставница требует себе нового монумента за то, что это она, девственница-перестарок, начала перестройку. Лей ей в глаза — все Божья роса!

С кем бы я из разумных, порядочных людей ни гово-

рил — никто не смог назвать хоть одного мало-мальски человеческого «завоевания самой передовой системы», обернувшегося для народа несомненным истинным благом. И визгливое битье партии себя в грудь в захлебе «нетленных ценностей социализма», которые во что бы то ни стало надо приумножить (!) — есть ли большие примеры лицемерия и святотатства? И это тогда, когда ничего ею не позволено сделать людям из того, что превратило бы их в хозяев судьбы своей и страны. Не отдав власти Советам, партии (когда она это сочтет нужным), есть теперь на кого свалить ответственность за очередные свои провалы — на «Советы». И она очень скоро обязательно это сделает!

Сегодня Россия переживает один из самых трагичнейших своих переломов: прозорливым людям (таким как Солженицын) ясно, что Родину надо освободить от марксизма-ленинизма, что во имя спасения в себе человека надо поломать эту уродину — здание социализма. Но осуществиться это может только через развал державы (в нынешнем ее виде) — это с одной стороны. (А ведь как — с умом и расчетом! — можно было бы развалить без пыли и сора, споро, спокойно и без драчки, но для этого надо работать, а делателей — не больно густо, да и те — кто в лес, кто по дрова).

С другой стороны — воочию видны другие мировые силы, готовые воцариться на развалинах ленинско-троцко-сталинского режима, построить не менее страшную угнеталовку — а это станет гибелью всего и всех в России.

Вот и получается, что для спасения надо сделать то, чего нельзя делать для спасения — вот в чем трагедия Родины и всех нас!

Муторно носить в душе эти мысли. И особенно тяжело понимать, что все пять последних лет начисто потеряны и проиграны российскими здравыми силами. Страшно обидно, всем мы богаты от Бога — и уменьем, и добром, и правдой-истиной, и чувством, и совестью, — а вот зрелым расчетом, не на «авось» — с этим худо: видно, долго заливали себя водярой! И когда приспел момент встать с четверенек — у нас башка трещит с похмелья, нам не до вставания в полный свой рост. Неужели ж беспробудно пропили судьбу свою и Отечества?!

Но, вернувшись, к разговору о том, у какого верстака призван стоять художник, хочется сказать вот еще о чем.

Искусство — это сохранение, обережение всего духовного в человеке. И сберегает оно духовность (в отличие от религии, смысл которой в том же самом) с помощью красоты, гармонии и лада — ипостасей Истины.

В связи с этим каждому художнику (если он от Бога) ясно, что по отношению к тому высокому бытию, когда им делается его сокровенная работа, все прочие дни, этой работе не отданные, — это замирание в нем жизни, это как долгое пребывание в темной шахтной теснине. И чем меньше работаешь, чем дольше перерывы в сердечном токе своего художества — тем мрачнее, глубже, задышливее погружение в подземелье. И тем с большим мучением будет возвратный подъем на поверхность земную — туда, где греет и светит работа творчества.

Чтобы художнику в наших условиях не удавиться и не спиться, ему надо работать, ибо в работе выявление красоты, невидимо разлитой во всем сущем, для художника и воздух, и вода, и хлеб.

А кроме него, истового послушника гармонии, — кто же перелопатит работу искусства, свыше предназначенную людям? Неучей подпускать к этому делу нельзя — и сами себя сгубят, и искусство угробят.

Пробудившись чувством и сознанием, здраво видим, как на поверхность тела Жизни, раскаленную до яркочистого свечения, Истина бросает отсветы своих цветов побежалости.

И дело художника ясно узревать — где в этой творильне Бытия, в которой, яростно скручиваясь и завиваясь, мечутся бесчисленные языки двух великих пламен — где здесь пламя добра, а где — зла? И тот, и другой жар огня на вид одинаков, неразличима и разница их накала. Ну-ка, просто досужий, случайный, необученный — попробуй разберись в этом!

Через очечки обычного глаза тут ничего не углядишь — непосильно это привычному зрению. Здесь надобна особая оптика, способная уже не столько видеть, сколько чувствовать Истину! (Талант — это учувствование Истины, все остальное — лишь способности!)

Таков удел художника: стоять вплотную с этим огнищем, обжигаться им и *умудриться* не сгореть.

Я долго писал это письмо, почти два месяца. Все сомневался — не залезаю ли со своим уставом в чужой монастырь. И откладывал не раз по причине того, что боял-

ся повредить Вашему самочувствию внутреннему — я предполагаю, сколько волн (и плохих, и благих) накатывается на Вас. Но теперь вот решился все же послать письмо. Если что не по душе будет — простите, Виктор Петрович: все сказанное сказалось не из корысти и умничанья, а по любви к Вам.

И, чтобы закончить тему, скажу: если уж депутатствовать, то учитывая, что все человеческие ценности ныне при последнем издыхании, — во спасение угасающей жизни — надо всего себя положить на это дело и забыть об искусстве начисто. Но тогда это будет означать одно — надо стать камикадзе!

Я и сам 20 лет уже мечусь между двух огней — то ли сгореть в ярком протесте, то ли, стиснув зубы, молиться искусством, но выбора так и не сделал окончательно. Поэтому, выслушав меня, — поступите по-своему.

Любому выбору — только один Бог судья!

Прочитали в «Новом мире» Вашу «Людочку». Это вещь сильнейшего воздействия!

И телом своим, и душой, и сознанием этот рассказ вылеплен очень органично, по-природному точно и ясно. В чем надо — прост, в чем надо — сложен. Как во многих Ваших других вещах, и в этом рассказе выразительно, многозначно посверкивают своими лучиками слова-клеточки, выстраивающие собой физическую и духовную форму всякой светоносной литературы, ее «изначальную троицу» — мысль, чувство и язык. Если перевести рассказ в музыку — мурашки побегут по телу, как он горяч яростью авторской. (Когда-то мой учитель, художник Арсений Макеевич Чернышов, оценивая аморфную серость и скудость живописи кого-либо из школяров, говорил им, что если это серево красок перевести в звуки и попробовать сыграть на музыкальном инструменте — то какую же тупую тягомотину услышит наша ушная раковина!)

Страшен и жуток символ парка, образ его, по-моему, — в ряду лучших в классической литературе характеров живых людей. Парк этот так антиодушевлен, словно он живая и гадкая нечисть с разлагающимся мутивом в жилах вместо животворной крови. Ему и имя подобающее дадено — вэпэвэрзэ!

В душе художника, как в храме, должны быть вмазаны голосники, чуткой гулкостью своей предназначенные внимать всем самым слабым звукам человеческой боли,

собирать все разрозненные стоны горя в один общий народный плач и усиливать его многократно — вплоть до громогласного вопля.

И вот таким глаголом воплевой силы рассказ Ваш, Виктор Петрович, прожигает до самого нутра.

Этим нашим общим благодарением за Ваше хорошее, скорбное, доброе, умелое и сильное слово, за чистое, сострадающее и любящее Свет слово — этой благодарностью заканчиваю письмо.

Извините, что, не умея сказать коротко, вынудил Вас на долгое чтение, чем забрал столько Вашего времени. Хотя в краткую судорожность штрихпунктирного обозначения все равно ведь не поместить просторный лет обслуживания жизни. Да и как это сделать, если жизнь — по земной, дольней своей горизонтали — это всегда плавная и затейливая кривизна, которая все же каким-то непонятным образом переходит в певучую вертикаль воспарения к горнему святилищу?!

Всей семьей кланяемся Вам, дорогой Виктор Петрович, и желаем в новом году здоровья и благополучия всему Вашему дому. Храни Вас Бог!

До свидания.

Владимир, Светлана, Наталья, Антон, Павел, Матвей и Глеб. (Семья Гребенниковых)

Да, Виктор Петрович, забыл в письме сказать о дощечке в этой посылке: сделана она нашим сыном Павлом еще летом ушедшим, я хотел послать ее вместе с каталогом, но тогда решил, что совместил каталог и дощечку, Вам, в случае если сочтете нужным сказать что-то критическое по каталогу, будет уже неудобно это сделать из-за приложенного подарка — и я не послал тогда. А сейчас уж примите — Павел делал от сердца. И стих Рубцова выбрал сам для Вас. Коник — тоже его.

10.1.90 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Я давно получила Ваше письмо-ответ. Долгое время перечитывала его, и все-таки многие слова так и остались

для меня непонятны. Но главное содержание Вашего письма я поняла. Огромное Вам спасибо, что Вы, будучи так заняты, все же нашли время для ответа. Вы правы, что в стихах Юрия Костина многого не хватает, в том числе и культуры... Но в той среде, в которой жил и трудился Юрий Костин, не было никакой возможности отшлифовать свою способность писать (а у него, пусть небольшой, но был талант). С 1941 по 1967 — война, армия. В армейской среде, где все, что говорили люди с золотыми погонами и большими звездами, нужно было, как нечто неопровержимое, немедленно исполнять, хотя, заведомо зная, что это глупость, унижающая достоинство человека. Вы даже не представляете, сколько среди этого общества было дурней. Это я Вам говорю, ибо вместе с Юрием прошла через тот ад. Да и теперь все еще нечто подобное творится в армии. Мы нигде, где приходилось служить Юрию Костину, не имели своего угла (а мест не перечесть), ютились где Бог даст — частная комната, казарма и даже солдатская мастерская (а у нас было двое детей). Как же все это тяжело переносил Юрий, удивительно честный, высокоразвитый офицер (в армии его называли ходячей энциклопедией. А однажды один полковник сказал ему: «Костин, ты родился на сто лет вперед, тебе нечего сейчас делать...».

Это особая, честная, сибирская, твердая натура — характер! Как беспредельно он любил свою родину — Россию. Иногда, придя с работы, не раздеваясь, в шинели говорил: «Не могу — кто же командует мной...». Потом шестнадцать лет гражданской службы. Работал мастером цеха безалкогольных напитков, но когда посмотрел, что там творится (воровали спирт литрами и канистрами, меняли на масло, ибо рядом находился завод хлебокондитерских изделий), через год оставил цех и стал работать *грузчиком.*

Представляете — пятнадцать лет в этом страшном обществе, где стаканами пили спирт, матерились, и среди них непьющий Костин (за всю нашу совместную жизнь — 32 года — я его не видела не только пьяным, но и выпившим). Потом, не выдержав, он обратился в ОБХСС по поводу того воровства на заводе. Как могли заминали это дело, но после проверок вынуждены были передать дело в суд. Директора и главного инженера уволили. Да, забыла главное — суд этот длился более *трех* лет — все не находили виноватых.

И вот в отместку за разоблачение суд выносит решение: всем лицам, материально ответственным (а Костин год работал мастером цеха), оплатить ту колоссальную растрату. Костину присудили меньше всех — семь тысяч. Представьте человека, который на заводе не выпил рюмки спирта, Костин добился — дело передали в выездной суд. На суде Костин выступал не как обвиняемый, а как обвинитель. Были вынуждены оправдать не только Костина, но и многих других. Повестки на суд в течение трех лет присылали только к праздничным дням. Если на День Победы, то повестка приходила 7—8, что явиться в суд 12—13, и т. д.

Это было самое изощренное издевательство! Сколько же горя перенес этот интеллигентный, честный, выросший в культурной семье человек (отец еще до революции закончил Казанский университет, мать — гимназию. В доме любили музыку, много читали...) Ю. К. за всю свою жизнь не выругался нецензурным словом, не сказал солдату «ты». На мои вопросы: «Зачем ты пишешь? Печататься же не собираешься?» отвечал: «Уйду с работы, займусь стихами, они требуют обработки, это — наброски, многие из них нужно уничтожить».

Не успел!

Виктор Петрович! Эти стихи — боль его сердца, тоска измученной, измордованной души. Писал он много, я переписывала их со всяких листочков, блокнотов. Посылаю Вам несколько из них. Ими заинтересовались в Союзе писателей, сказали, что многие требуют обработки, а многие не заслуживают внимания, но есть, как мне написали, стихи отличные. Удастся ли им что-то сделать — время покажет...

Виктор Петрович! Будьте снисходительны к моему письму, прочтите его на досуге, в минуты отдыха. Оно Вас ни к чему не обязывает. Так мне хотелось рассказать Вам очень коротко еще об одной загубленной и, может быть, талантливой жизни!

Посылаю Вам немного стихов — на память — ведь Юрий Костин Ваш земляк, и сегодня его мать живет в Новосибирске (ей 90 лет), а родственники — в Вашем родном Красноярске. Я сама там жила в 58—59 годах на ул. Перенсона, у родственников Юрия. Если они Вам не нужны, то поступите с ними, как Вам угодно.

Еще раз благодарю Вас за то Ваше письмо, что Вы сумели найти время и ответить мне, ведь для Вас, извест-

ного писателя, это не так просто сделать. У меня тоже есть небольшая книжечка Ваших рассказов.

Поздравляю Вас с Новым годом! Всего самого доброго Вам и Вашим близким, и дай Вам Бог здоровья, чтобы Вы еще долго писали хорошие книги.

С уважением, ***Л. Костина (Лидия Ивановна),***
г. Киев

ЮРИЙ КОСТИН

ВОЖДЮ

Он сам лишь за себя дрожал,
Другого вовсе не жалея,
Себя лишь только уважал,
Стараясь быть других умнее.
Всю славу к себе лишь грёб,
Готовый мир себе присвоить,
Он мог смести державу в гроб,
Чтоб алчность зверя успокоить.
И мог на трупах пировать,
Гордясь, подобно Чингиз-Хану,
И мог среди голодных жрать,
Больному наступив на рану.

Германия, 1952 г.

* * *

Среди этой бессмыслицы дикой,
Солдафонов, рвачей и хапуг,
Я, потомок России великой,
Обречен на бесправие слуг.

Все надежды, что в детстве лелеял,
Деспотизмом развеяны в дым,
Не взошли семена, что посеял
Людям впрок я еще молодым.

Нет свободы, закована воля,
Вместо солнечной дали — тьма,
И плетется по ней моя доля,
Как беда, от села до села.

Не такую ее я лелеял,
Не такою себе представлял,
Когда трепетно будущность сеял,
За которую юность отдал.

1966 г.

МОЯ ЖИЗНЬ В АРМИИ

Чужой я здесь, средь этой касты
Тупых тиранов и рабов,
Средь повелителей клыкастых
И жалко согнутых горбов.
Средь этих роботов, послушных
Веленью властного глупца,
Средь этих буден — серых, скучных,
Как дождь без края и конца.
Всю жизнь — ноябрь, сырая осень,
Куда ни взглянешь — слякоть, грязь,
Где ты, где ты, жизнь? — Хотя бы раз отозвалась.
Вся эта трата средств народа,
Стандарт, шаблон и трафарет,
Одно и то же год от года,
Одна и та же вечность лет.
Ряды, шеренги, смирно, вольно,
Усталый, хмурый вид голов,
Набег холуев недовольный
Глухих командующих санов.
Бред бесконечных заседаний,
Бумажный снег и толчея,
Депеши срочных указаний,
Карман, в котором ни шиша.
В таком бедламе четверть века,
За что, судьба. За что, земля?
Ты заставляешь человека
Ему вот так страдать года?!

1965 г.

24.1.90 г.

Уважаемый тов. Струнников!

Ваше гневное и во многом справедливое письмо переслали из Верховного Совета мне. Я хотел бы переслать

его в газету — еженедельник «Ветеран» — если Вы не возражаете? Я попрошу его напечатать, чтобы дать укорот некоторым «героям» из «политобоза».

«Везде хорошо, где нас нету», — гласит русская пословица. И на фронте, и в тылу было ох как тяжко. Только на настоящем фронте, т. е. на передовой, только в настоящем тылу, т. е. на производстве, у станка.

В Вашем страшном городе, когда ставился там завод, и станки работали под открытым небом (с каким героическим пафосом это показано в нашем «киношедевре» — «Вечный зёв!») — уже в конце сорок третьего года многие люди, особенно ребятишки и женщины, не возвращались со смены — они замерзали на пути в рабочие бараки, и весной на территории завода вытаяли десятки тысяч трупов, их сгребали лопатами, граблями в кузова и хоронили, в общих ямах — так ставил «на крыло» нашу побитую авиацию комбинат Вашего, ныне сверхзагрязненного, смертельно больного города. А он не самый грязный в стране. Есть грязнее и много грязнее. Но и на фронте, голубчик мой, Струнников-гневный, многие и очень многие из первого боя не возвращались. Раненых часто и очень часто бросали замерзать, а иные бедолаги и, до фронта не доехав, погибали. А уж паек наш, Господи! Если бы не «бабушкин аттестат», т. е. если бы мы не воровали, не мародерничали, то все и позагибались бы с голодухи.

Да, нам полагалось кило хлеба на день (у немцев 600 граммов), но часто вместо хлеба выдавали два клеклых сухаря, да еще селедку к ним добавят в безводной местности. Немцам к 600 граммам давали скотское — сливочное масло, галеты, печенье, сахарин и т. д. и т. п., а нам затыкали горло этой пайкой и анекдот фронтовой тогда родился: немцы по радио агитируют: «Рус! Иван! Переходи к нам! У нас шестьсот граммов хлеба дают!» А в ответ: «Пошел ты на х.., у нас кило дают и то не хватает!»

Я рядовой окопный, трижды раненный боец (пишу и работаю с одним зрячим глазом), поэтому на клетчатой бумаге — не пользуюсь подачкой — а это именно подачка — больше слов, чем харчей, хотя и прикреплен к магазину, где ублажают инвалидов войны (я инвалид 2-й группы), у меня пенсия персональная — 152 рубля. Инвалидной книжкой я воспользовался всего несколько раз — при безвыходном положении. Так же ведут себя и мои собратья-фронтовики, а наглеют «политобозники» из армии Брежнева — Вы правы. Они и на фронте хорошо жировали.

Сам будущий вождь был большой спец по молодым бабам, да больше ему и заниматься нечем было, как щупать медсестер и околофронтовых пэ-пэ-жэ...

Нашего брата, истинных окопников, осталось мало (и я пишу Вам из больницы), конечно, не все, далеко не все они вели себя достойно в послевоенные годы, многие малодушничали, пали, не выдержав нищеты, унижений — ведь о нас вспомнили только 20 лет спустя после войны, и коли Брежнев бросил косточку со своего обильного стола, наша рабская кровь заговорила, и мы уже готовы целовать руку благодетеля, забыв добрый совет великого русского поэта: «Избавь нас, Бог, от милостей монарших и от щедрот вельможных отведи».

Но... но — «не судите да не судимы будете!»

Всех чохом загребая, Вы обижаете и тех, кто вынес эту жизнь такой, какой она ему досталась, и несли свой крест мои собратья, да и несут еще стоически, пусть и рабски, но никого не объедая и не ушибая. У меня осталось семеро друзей на этой земле — в одном взводе работали, муки принимали такие, что и вспоминать о них тяжко. А унижение! А обиды! А наветы! А объедаловка! Оххо-хоооо! — армия-то, в принципе, не изменилась, любуйтесь на нее! Дивуйтесь! Так вот, из семи моих собратьев по окопу — один лишь в большие начальники вышел, — ныне все пенсионеры, никто ни разу не сидел в тюрьме, не украл крошки хлеба у государства, не спился, не разрушил семьи.

Не надо их обижать, иначе Вас Бог обидит! А Он за нас, Бог-то, раз сохранил нас в таком пекле, каким была Отечественная война. Как и во всем обществе, среди ветеранов есть и сволочи — они и на фронте были сволочами, шакалами, но достойных людей больше.

Жду Вашего разрешения отослать Ваше письмо в «Ветеран». В ответе имя, отчество и точный адрес должны быть.

Извините за почерк. Устал. Да лучше и не умею.

Кланяюсь. ***Виктор Астафьев,***
Красноярск

4.1.90 г.

Дорогой Женя! (Городецкий)

Не удивляйся моему письму — оно деловое.

Прошлым летом был я в Испании и побывал в гостях у совершенно хороших людей, хотя они выросли и выжили в нашей стране. Семью возглавляет старуха (хотя таковой она себя не считает и не является по духу, здоровью, оптимизму и работоспособности). Зовут ее Исабель, и она, лучшая в Испании переводчица русскоязычной литературы, и попросила чего-нибудь для перевода «сибирское» — у меня в Барселонском издательстве «Планета» вышел «Печальный детектив».

Я предложил ей сборник сибирских рассказов листов на 20.

Поскольку ты был составителем нескольких сборников, я попрошу тебя назвать из них лучшие рассказы, а я дам их на машинку. Сделать это нужно до марта, поскольку в Москве в марте будет широкое совещание переводчиков, и Исабель собирается прилететь. Пожалуйста, не затягивай эту важную и нужную для сибиряков-писателей работу.

Теперь просьбы личные.

Я набрал большой разгон в работе над романом о войне. Первая книга — о доблестном стрелковом полке, который бедовал на том самом месте, где сейчас умствует и ест картошку новосибирский Академгородок.

На съезде депутатов я подцепил грипп, заразный и нудный, полежал в больнице, но до конца еще не очухался, однако черновик первой книги до весны все равно надеюсь добить. Мне нужна карта Новосибирской области, хорошо бы старая, довоенная, но если нет, сойдет и новая. Сообщи, сколько километров от Новосибирска до Бердска. Как называется речка, если она еще есть, протекающая по Бердску или рядом с ним. Далеко ли от Бердска до Искитима и как туда добраться? Если будет оказия, я и сам в этом разберусь, сообщи, если нетрудно.

Привет жене и детям. Ты по-прежнему помогаешь стабилизировать нашу продовольственную программу или деревню кинул и пошел на идеологию?

*Обнимаю — **Виктор Петрович***

3.2.90 г.

Дорогая Вера Викторовна! (Воробьева)

Книжку я получил и, отложив ворох всяких дел, да все суетных, не писательских, посмотрел ее на ночь. Замечательная книжка, поучительная для современных писателей-олухов, выясняющих, кто за евреев, кто против, и на всякий случай подпевающих евреям, поскольку нынче это выгодно.

Как жалко, как горько, что Костя не увидит этой книги. Может, как-то в земле отзовется и дойдет до него радость моя и всех его истинно любивших товарищей и друзей — и Собрание сочинений, и другие книги, и поминание на родине, и эта вот исповедь души?! Я верю, что кто-то, в чем-то, может, духом каким донесет до Костиного упокоения наши чувства, нашу вину и молитву о нем. А то, что он был строптивый и гордый мужик, я ведаю по одному памятному случаю.

Какой-то съезд начинался или уже продолжался, оглядел я Колонный зал, смотрю, Костя спешит ко мне, расталкивая народ, улыбается широко, ладный, хорошо одетый, с умело завязанным галстуком (я это всегда замечаю, поскольку сам до сих пор завязывать его не умею и Марья моя завязывает мне галстуки впрок, закладывает их в чемодан, а я в столицах, идя на Рождество, надеваю его через голову), обнялись мы с Костей, крепко припали друг к другу, он меня по спине колотит, а голову с плеча не убирает — слезы прячет. Я ж, детдомовец, понятлив, а Костя, опять же по причине детдома — там ведь забьют, если не умеешь приспосабливаться.

Костя в тот раз отчего-то был убит, жаловаться мне откровенно стеснялся, и, поскольку дела мои шли чуть лучше, чем у него, но помочь-то в ту пору я ему ничем не мог, кроме как поддержать добрым словом, вижу, неподалеку разговаривает с кем-то Б..., изящно одетый, хорошо причесанный, с тоже умело завязанным галстуком и уверенным видом. Я и ляпни Косте: «Ты ж с Б... знаком, обратись к нему, он сейчас в фаворе — секретарь, в сферы вхож...»

«Знаешь что, — разом освирепев, рыкнул Костя, — пошел он!.. этот литературный барин. Я с голоду подыхать буду, к нему не пойду!..» — и от меня ушел стремительно, и только потом, когда мы сидели в компании в

гостинице, попивали водочку, подсел Костя ко мне и возникшее меж нами отчуждение снял. О Б... мы с ним уже никогда после не разговаривали, да и надобности не стало. Мы оба скоро поняли, что на Бога надейся, да сам не плошай.

А написать предисловие я не могу — загружен бумагами по маковку, и все бумаги одна важней другой, аж военные с пистолетом на поясах их приносят, под расписку отдают, но главное — мое здоровье. Заразным гриппом маюсь, едва живой вернулся из поездки деловой и сразу в больницу. Недавно отпустили домой, но все недомогаю, каждый вечер поднимается температура, кашель, голова болит, сердце постанывает, но главное, работоспособность утратил. А ведь перед съездом, после осенней поездки по России, на Курщину и в Америку, где все работают хорошо и не болтают про работу, про изобилие, я так горячо и сильно начал работать над романом о войне, что быстро накатал почти весь черновик первой книги (я, если «дозрею», то черновик пишу лихорадочно, стремительно, даже не зная, что получится, и только потом, получив первый текст с машинки, маю его и сам маюсь до истощения нервов и плоти). Ничего не пишу, кроме писе́м, ответов на письма и жалобы сов. граждан, а их все больше и больше, жизнь испаскудилась, народ отупел от нищеты, но верит в бумагу все еще свято, берет за грудки ближнего неистово, поскольку дальше и выше смелости ему недостает.

Простите меня, все Воробьевы, и не обижайтесь. Вам ли меня не понять? Я тоже жалею, что в Курске не удалось ни с кем путем поговорить — стали видеться редко.

*Всем вам кланяюсь — **Виктор Петрович***

23.2.90 г.

Дорогой Станислав! (Куняев)

Еще осенью, узнав, что Евгений Иванович Носов, мой друг и брат, выходит из редколлегии «Нашего современника», решил выйти и я. Но сам же Евгений Иванович просил меня пока этого не делать, чтоб не получилось подобие демонстрации «массового выхода». Разговор был при Свининникове, в Курске. Сейчас, когда дела у журнала идут более или менее нормально, растет тираж, вни-

мание к журналу, торчать моей фамилии в редколлегии журнала ни к чему. Возьмите вместо меня более молодого, действенного и талантливого парня из Сибири, например, Мишу Щукина из Новосибирска, а я перехожу в журнал, более соответствующий моему возрасту, и к редактору, с которым меня связывает давняя взаимная симпатия, т. е. в «Новый мир».

Уговаривать меня не надо. Я послужил журналу верно, много сил и времени отдал его становлению, даже когда меня в журнале предавали бесстыдно и публично, я, стиснув зубы, служил его делу. А теперь увольте. Обещанный материал высылаю следом за этим письмом.

Желаю немногого — стойкости, бережного отношения к штатам журнала, любым, хоть замам, хоть рядовым работникам, ведения журнала с достоинством, свойственным Великой русской литературе, не переходите на базарный ор и бабий визг.

Творческую связь с журналом я не прерываю и, если что-то появится, буду присылать.

Будьте все здоровы!

Кланяюсь. ***Виктор Астафьев,***
Красноярск

1.4.90 г.

Уважаемый Александр Сергеевич!

Ах, как жалко мне Вас огорчать на старости-то лет, да никуда от жизни не денешься.

Я понимаю и Вас, и всех других генералов наших, хвалящихся, ибо никто больше не похвалит. Не за что... И Вы, и полководцы, Вами руководившие, были очень плохие вояки, да и быть иными не могли, ибо находились и воевали в самой бездарной армии со времен сотворения рода человеческого. Та армия, как и нынешняя, вышла из самого подлейшего общества — это и в доказательствах уже не нуждается. Теперь всем уже известно, кроме Вас, конечно, что потери наши на войне составляют 40—50 миллионов, и я повторял и повторяю Вам и на этот раз: не Вы, не я и не армия победили фашизм, а народ наш многострадальный. Это в его крови утопили фашизм, забросали врага трупами. Первая и единственная пока война из 15 тысяч войн, происшедших на земле, в которой поте-

ри в тылу превышают потери на фронте — они равны 26 миллионам, в основном русских женщин и инвалидов, детей и стариков. Только преступники могли так сорить своим народом! Только недруги могли так руководить армией во время боевых действий, только подонки могли держать армию в страхе и подозрении — все особые отделы, смерши, 1-е, 2-е...-надцатые отделы, штабы, напоминающие цыганские таборы. А штрафные? А заградотряды? А приказ 227? Да за одно за это надо было всю кремлевскую камарилью разогнать после войны, и, боясь этого, боясь прозревшей армии, Ваши собратья, понукаемые Верховным, начали расправу над народом. Спасли мы шкуры ублюдкам — больше не нужны.

Сбивши внука Бисмарка, побивши шестую армию немцев, что ж Вы не похвалитесь, что немцы тут же округлили эту цифру и разбили под Харьковом (заманив в явный мешок) шесть наших армий. Только одних Ваших доблестных сотоварищей-лампасников под Харьковом одновременно было взято в плен 19 штук, потому что они привыкли наступать сзади и отступать спереди, вот и угодили в полосу сомкнутого кольца сами. В 1943 году! Или о таком позоре: любимец Сталина, Мехлис, взялся командовать тремя армиями в Крыму, забыв, что редактировать «Правду» и подхалимничать перед Сталиным, писать доносы — одно, а воевать — совсем другое. Манштейн «танковым кулаком», из двух танковых корпусов состоявшим, подчинив себе по пути на Керчь несколько полевых дивизий, не побоявшись бросить в тылу осажденный Севастополь, так дал товарищу Мехлису, что от трех наших армий «каблуков не осталось», как пишут мне участники этой позорной и кровавой бойни. Мехлис-то ничего, облизался и жив остался. Удрапал, сука!

Я мог бы Вам рассказать, как целую зиму самый крепкий фронт — 1-й Украинский — уничтожал первую танковую армию противника и сам товарищ Жуков к весне занялся этим делом, а остатки армии, без техники, без боеприпасов, потерявши большую часть боевого состава, вышли из окружения под Каменец-Подольском, и... в 1944 году первая танковая воскресла, преградила путь нашим войскам в Словакию. С нею, с 1-й армией, воевал 4-й Украинский фронт, состоявший из двух армий, в том числе из доблестной 18-й армии (надо ж так бездарно организоваться, чтоб держать штаб фронта ради двух армий!), им помогал левый фланг 1-го Украинского и правый фланг

2-го Украинского фронтов, но, положив 160 тысяч советских воинов, лавина эта так и не выполнила своей задачи, двинулась на Сандомирский плацдарм, где снова нас ждала неудача...

Ах, как мне тоже хотелось бы похвалиться и похвалить Вас! Да за что? За то, что, борясь за свою «генеральскую» правду, Вы забыли похоронить павших бойцов и косточки их по сию пору валяются по русским лесам, полям и болотам (за границей-то все они прибраны, и я видел не в ГДР, а в ФРГ бережно хранимые могилы наших солдат), или хвалить за то, что, жируя в послевоенные годы, наши мудрые старшие товарищи вспомнили о воях через двадцать лет, когда их большая часть уже отстрадалась и лежала в земле?

Не надо трогать и прижигать наши раны, генерал! А правды Вам уже не спрятать, как не спрятать и того, что сейчас творится в доблестной сов. армии. А ведь пытались и пытаются спрятать изо всех сил и такие вот блюстители «чистоты мундира», как Вы, изо всех оставшихся сил помогают творить преступление. Еще одно. Да и одно ли? В мирные дни наша армия несет потери бóльшие, чем граф Чернышов, возглавлявший русскую армию в блистательном походе на Париж. Во время Семилетней войны они равнялись тогда шести процентам. Ну, если учесть, что от недогляда отвратительной бесплатной медицины, плохого, часто вредного питания у нас умирает двести тысяч детей в год, так что уж говорить о солдатишках, которые и всегда-то при советской власти были вроде соломы, годной лишь для того, чтобы гноить ее и бросать в костер. Чувствую, что Вы мало читали и читаете, так вот, был такой князь Раевский, который на Бородино вывел своих сыновей на редут (младшему было 14 лет!), вот я уверен, что князь Раевский, и Багратион, и Милорадович, и даже лихой казак Платов не опустились бы до поношения солдата уличной бранью, а вы?!

Ох-хо-хо-ооо, все же из грязи в князи — никогда ничего не получалось. Я в День Победы пойду в церковь — молиться за убиенных и погубленных во время войны. И Вам советую сделать то же — уверяю Вас, поубудет в Вас злобства, спеси, и не захочется Вам подсчитывать «напрасные обиды», нанесенные нашим генералам. Нет таких слов, нет такой молитвы Божьей, которая бы даровала им прощенье за мерзко прожитые дни (хотя бы брежневские), но если все вы, снявши мундиры, не бренча ме-

далями, вышли б в российское поле, окруженное пустыми русскими деревнями (одна из причин их опустошения — война), если вы встанете на колени и, опустив сивые головы, попросите прощения у Всевышнего, может, Он вас и услышит. Это единственный путь к спасению вашей генеральской души, иначе вам смердеть на свете и умереть с темной злобой в сердце.

Вразуми Вас Бог!

*Кланяюсь — **В. Астафьев,***
г. Красноярск

[1990 год]

Копия письма в «Правду»

Дорогой Виктор Петрович!

У меня сердце тоже не знает середины. Да и есть в кого. Дед мой, сибиряк Мартемьян Никитович Рютин, наверное, слыхали, самого Сталина не убоялся, когда увидел, что в коллективизацию сотворилось. Страшно погиб. Не приведи никому. И всю семью на тот свет «увел» за собой. Одна моя мама осталась. И отец мой был неробкого десятка. Хоть Вы евреев вроде не жалуете. Отец из Белоруссии. Их двенадцать «еврейчат» в семье было, когда мать овдовела, а овдовев, уже не держала подле своей юбки сыновей. В семью Рютина слесарь метростроя принес маленький деревянный чемодан, подушку и балалайку, на которой хорошо играл. Он ушел на фронт, отказавшись от брони, 2 июля 1941 года и протопал со своим понтонно-мостовым батальоном до Вислы. Чуть-чуть до Победы оставалось (кажется, март 1945 года), когда он снова был ранен, а до этого был под Сталинградом тяжело контужен и легкие сильно застудил, пролежав без сознания много часов на снегу. Кровь у него из ушей текла, и умер он молодым вскоре после войны.

Я люблю Ваши книги. Я вообще люблю все, что честно, а Вы не врете и не скрываете ничего. Когда мне бывает трудно, я пою. Пою то, чему меня научили в детстве мама и бабушка. «Ой, да ты калинушка...» или «Уж ты сад, ты мой сад»...

Отец любил театр Михоэлса. У него было две любимых пластинки «Полюшко-поле» и песни из спектакля «Фрейлехс». Сядет, понурится, крутит пальцем волосы,

теребит свой длинный нос, курит папиросы «Пушка» и слушает... И маме моей все прощал. Она красивая была. Сначала ему просто изменяла, а потом и вовсе бросила. Мой отчим был барахло изрядное. Леонид Николаевич Чурин. Сначала записался в ополчение, а потом под каким-то предлогом в Москве остался и маму бросил. Бог с ним! А отца моего звали Левин Захар Михайлович. Может, и было у него еврейское имя, не знаю, а в паспорте было это... Кто я по-вашему? Может, недостойна я считать себя русской? Уж не податься ли мне в дальние края, прихватив с собой мужа Дмитрия Васильевича, дочь Катю и внучку Настю? Я, когда членов «Памяти» слушаю, мне так за отца больно. Неужто он за этих подонков жизнь отдал? А еще мне жаль деревни Шивера и Рютино на Ангаре. Там жили мои бабушка и дедушка. Но деревни эти на дне Братского моря... Как измерить мне ту боль, что живет во мне, и ту любовь и раскаяние за все, что есть и еще будет с нашими детьми. Знаю я, что Вам недосуг и здоровье не очень. Но, может быть, ответите мне: неужто Вы и впрямь антисемит?

А что касается Ленинграда в блокаде, то тут я с Вами со всем согласна. Нам после войны комнату на 3-й линии Васильевского острова дали. В этой комнате в блокаду на кровати солдатская вдова с тремя ребятишками умерла. Любим мы трясти лозунгом «Стояли насмерть!» Не стояла она, а просто умерла с детворой, забытая всеми... И таких несметное число... А этот Панов болтун просто. Не слушайте Вы его. Ничего он не понял.

Здоровья вам.

Жуковская Юлия Захаровна

[1990 год]

Дорогой Виктор!

Не знаю, какие нынче флаги вывешивают и с чем поздравляют друг друга? С тревогой думаю: как-то ты там, здоров ли? Я, как уже тебе писал, что всю зиму оставался в больнице, а до того бегал — носил передачки матери моей Полине Алексеевне, которая занемогла и, кажется, опасно.

А время помимо всего бежит и бежит. Вот уж и май, которому никто не рад, все коротают дни в ожидании

какой-то беды. Только бы не дошло до рукопашной, до крови...

Так вот и живем.

*Твой **Женя (Носов)***

3.6.90 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо Вам за то, что нашли время ответить и разрешите выслать Вам отцовскую «фронтовую» рукопись. Сейчас ее смотрят в «Юности», но не думаю, что возьмут. А две части (из четырёх) — основной изюм из этой булки — печатает книжкой какой-то хитрый кооператив при «Огоньке». «Часть первой части» отхватил журнал «Вильнюс» на будущий год — не знаю уж, будет ли это считаться тогда изданием в СССР или нет... А свой мемуар о родителе и его книге я даю в качестве вклада в антиблокадный фонд... Кстати, я был в Литве и аж прослезился, до чего же хорошо. Какое-то удивительное сочетание христианства и язычества, культ (и культура!) природы, мягкость ландшафта и людей.

Прекрасно, если Вы напишете об охоте и промысловиках. Ситуация там очень разная, нельзя судить по одному конкретному человеку. Но если человек честен — система нещадно его эксплуатирует и обирает (впрочем везде так). Поэтому она же, т. е. система, перестраивает честных людей в прохиндеев, и чем подлее натура, тем лучше ей живется. Впрочем, бывают разные исключения...

Посылаю Вам свой опус как пример прочно въевшегося двоемыслия, кое даже при гласности человек моего поколения преодолеть в себе не может. Внутренний редактор сильнее всякой цензуры и даже КГБ (мы оное носим в себе с рождения или даже раньше). В оправдание скажу только, что административно-командная партийно-полицейская система, конечно, если забыть о нефтяниках, геологах, лесорубах, а говорить только об охотниках, в целом оказалась полезной для живой природы, тайги, охраняя зверье от разорения. При нашей «демократии» и антикультуре мы разгромим всю тайгу и переколотим все живое; если бы не система «держать и не пущать», функцию которой воплощала Главохота с ее инспекциями и запретами. Да и заповедники служили той же цели —

сдерживали натиск на природу. Боюсь, что сейчас все полетит кувырком, а в убытке останется не столько тайга, сколько людишки. А Ваши строки о пожарах — представляю себе все это воочию! — сразу пошли в новую книжку, для коей я добывал бумагу у кооператоров через стольный град Пензу...

«Улыбка волчицы» открывает альманах 1991 года.

Ваш ***Ф. Штильмарк.***

Мечусь между городом и деревней, зато картошка у меня — лучшая в районе!

[Первая половина 1990 года]

Дорогой Василий Григорьевич!

Да, мы воевали в одном корпусе, но я воевал (если этим словом можно назвать то, что делали мы, рядовые бойцы — копали землю, таскали бревна на себе для отцов-командиров, рельсы на блиндажи — обязательно в три наката!), мародерничали, добывая пропитание, кормили вшей, слушали потоки матерщины от начальников, иногда куда-то и в кого-то стреляли (очень редко), бегали взад-вперед, мало спали, плохо ели, были оборваны хуже зэков), — так вот, если все это входит в слово «воевал», то воевал и я в соседней, 17-й дивизии, в 92-й артбригаде, которой командовал полковник Дидык (ныне весной скончавшийся в чине генерала в Ленинграде), а дивизией командовал Сергей Сергеевич Волкенштейн.

Я дважды был на встрече ветеранов дивизии, в Киеве и Ленинграде, и дал себе закаину — на них не ездить, ибо ничего, кроме раздражения, они не вызывали. На первой встрече не было ни одного(!) рядового бойца, на вторую пригласили меня — «откушать в качестве поэта», — а я своих друзей пригласил на третью, и для разнообразия зазывают одного рядового казаха. На встрече скопище каких-то хвастливых людей, которых никто ни разу на передовой не видел, обвешаны они до пупа орденами. Масса откуда-то взявшихся евреев-молодцов, баб, которые землю пупом рыли, спасая раненых. Все «герои», все опалены огнем! Если б я лично не видел, как они срали в штаны и обворовывали нас, рядовых бойцов, как бабничали и пьянствовали господа офицеры, то, может, и поверил бы. А так — все я видел, все знаю и слушать полоумных уже стариков, бренчащих железками, нет охоты.

Не думаю, что такое было только в нашей, 17-й. Я знаю, что 13-я была еще более тихоходная. Ее командир, как говорил мне Волкенштейн, нарочно не передемортизировал старые орудия на новый ход, — не успевали к местам сосредоточения, в особенности в период наступления, — и потому 13-я несла меньше потерь, за что Краснокутский получал ордена. По-моему недалеко от Дуклы (в Польше) я видел брошенные в поле 120 мм гаубицы (не Вашего ли дивизиона?), их никак не могли «забрать» «герои-артиллеристы» в количестве нескольких взводов управления, боясь засевших в картошке трех немецких автоматчиков, ни тем более своих оголтелых командиров.

Я не люблю вспоминать ни войну, ни ветеранов наших, ни тем более оголтелых командиров. Все ложь, самолюбование и обман.

Виктор Астафьев

[Первая половина 1990 года]

Дорогой однополчанин!

Поздравляю Вас с наступающим праздником Победы! Желаю Вам и семье Вашей мира, здоровья и всего хорошего.

Да, я был солдатиком во взводе управления 3-го дивизиона, связан с бойцами нашего взвода и с бывшим командиром дивизиона Митрофаном Ивановичем Воробьевым, раненным весной 44-го года под Каменец-Подольском, а заменивший его тогда Евгений Васильевич Бахтин уже лет десять как умер. И комбриг Дидык А. К. тоже умер. Много народу поумирало, мало осталось ветеранов, и все уже одряхлели. На последней встрече ветеранов в Киеве собралось 170 человек, все едва живые, а ныне и того меньше. Даже Боря Райхман, фотограф бригады, умер в прошлом году. Не знаю, соберется ли следующая встреча.

Да, я пишу книгу о войне, давно пишу, но не о 17-й дивизии, а вообще о войне. Солдатскую книгу, а то генеральских уж очень много, а солдатских почти нет. Не думаю, что разработки зам. нач. политотдела мне пригодятся. Он наворочает там «правду» из газет, ибо сам-то войны не видел и не знал, девок в тылу портил да нашего брата-солдата обжирал. Я спросил у Дидыка: «Почему мы

ни разу не видели нач. политотдела на передовой?» А он мне в ответ: «А на кой он тебе там сдался? Чтоб вы, и без того надсаженные солдаты, строили ему блиндаж в три наката? Чтоб ваш подхалим-старшина последние жиры у вас забрал и ему скормил? Я не пускал его на передовую, чтобы он не мешал вам воевать. Он тут хорошо воевал, при штабе, семь девок обрюхатил и семь орденов за это получил. Больше, чем я, все время под судом и наблюдением находившийся...» Так что пусть эти комиссары-дармоеды положат свои «героические» разработки себе в гроб. Я же пишу книгу о том, что видел и пережил на войне да валяясь в госпиталях, и после войны с голоду подыхал вместе со своей Марьей, тоже сдуру добровольцем на фронт подавшейся. Двух детей похоронили, без жилья, без профессии, без хлеба намытарились так, что на три жизни хватит...

Вышла в свет книга Виктории Крамовой — «Счастливая каторжанка» — это о бабушке Сергея Сергеевича Волкенштейна — замечательной женщине. Предисловие к книге мое, книга только что увидела свет в издательстве «Молодая гвардия» и вот-вот поступит в продажу или уже поступила. На Урале я прожил 24 года, 18 лет в городе Чусовом (моя Марья — чусовлянка), 6 лет в Перми и 10 лет в г. Вологде. В 1980 году вернулся на родину, откуда Вам и пишу.

Если еще что-то захотите узнать, пишите, я, хотя и завален бумагами с ног до головы, изредка отвечаю на письма и читаю ворохи чужих рукописей; кучи жалоб и разного рода прожектов о спасении Отечества — как депутат.

Желаю Вам доброго здоровья.

Виктор Астафьев

[1990 год]

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Более тридцати лет «стажа» моей любви к вам дают на это право. Моя к вам любовь началась с «Последнего поклона». Я не знаю, сколько я прочитала ваших книг — половину или больше — сколько есть в библиотеке. Конечно, люблю и других авторов, особенно «деревенских»

писателей. Но ваши книги у меня стоят на отдельной полочке. Не примите это за лесть — какая корысть мне в лести.

Когда я читаю ваши книги, я всегда пребываю там, в том месте и в том времени, о чем читаю. А уж про «Последний поклон» и говорить нечего. Это для меня валидол. Когда тяжело на душе, бросаю всякие дела и беру эту книгу. Читаю и плачу. Постепенно перехожу «жить» в это детство. Спасибо Господу Богу, что Он создал одновременно нас с вами. Огромная вам благодарность за ваш огромный благородный труд, не щадящий здоровья и сил. За вашу защиту и заступу за людей — поклон земной. Вы постарше меня, но и я уже «давнишняя».

Вот исполнилось 69 лет! В 16—18 лет даже и представить не могла. Даже страшно — такая древность! А сейчас, с верхушки-то смотрю — иногда кажется — вроде и не жила. Родители жили в Свердловске. И папа, и мама умерли уже. Мама как-то — лет десять назад — говорит: «Вот прошлый раз лежу и думаю: «А я ведь давнишняя!» И, как будто перекликаясь с ней, моя соседка-старушка, когда я приехала от мамы и пришла к ней, она и говорит: «Вот вчера лежу и думаю: А я ведь давнишняя!» Вот и я, сейчас иногда так же.

Да ведь, Виктор Петрович, поневоле так скажешь, когда я начала помнить с двух лет. Просто самой не верится, но факт. Как-то разговорились: кто со скольких лет помнит. Я говорю: с двух — не поверили. Тогда я одну женщину спросила: «Вы когда этот дом поставили?» — «В двадцать шестом году» — «Ну вот. А я помню, как вы жили вон в том переулке, а домик у вас был махонький. Меня папанька на руках держал, стоял на улице, а ты из избы в окно с ним разговаривала». — Удивилась: «Это правда! Неужели помнишь?!» И еще ясно помню — мне было 4 года. У нас в селе убили пред. сельсовета. По подозрению арестовали двух братьев, судили. Дали по 10 лет. Они там так и сгинули (а в действительности оказалось — убили другие). Папанька пошел послушать суд. А я гоняч-ка была, пошла с ним. Судили в школе. Папанька прошел, а меня не пустили, сказали: «Иди домой!» Я иду и плачу от обиды. Хорошо помню: плачу и слезы подолом вытираю. Кто идет навстречу, все спрашивают: «Ты, девочка, зачем плачешь?» Отвечаю: «Су-уди-и-ить не пу-усти-или!» Смеются. А я удивляюсь: «Вот ведь какие люди! Я плачу, а им смешно. Нисколько меня не жалеют!»

Уж только взрослой поняла, отчего смеялись люди. И еще, Виктор Петрович, напишу, перекликаясь с вашим детством — про козны. Ведь это была любимая игра мальчишек. И козны были большой ценностью. У брата Вани (старше на 4 года) тоже была их полная коробка. Играл он аккуратно, берег их. И как-то они с мамой поехали на лошади в Набережные Челны. Два дня их не было дома, и за это время я у него все козны проиграла! Всю коробку! 17-летние парнишки нас, двух девчонок, обыграли. Ох, Виктор Петрович! До сих пор сердце сжимается от жалости, как вспомню, как горько плакал Ваня! И всегда, когда читаю ваши строки об игре в козны, всегда плачу от жалости, что я тогда Ваню обидела, — на всю жизнь осталась вина в моем сердце. Недавно я ему об этом напомнила и опять винилась — через 60-то лет! Село наше было большое, папанька говорил, было 360 домов, — это до голодного года в 21-м году. Перед войной, помню, было 150. Сейчас осталось 4 дома и 5 жителей, самый младший из них мужчина — ровесник мой. Три года назад он был — восемь девок и один я, — а сейчас сам-пятый. Уходят «девки» и не возвращаются — одна уехала к сыну, остальные — навсегда, а моя подружка детства покупает у них дома на дрова, печь топить. Дома дряхлые, на дрова только и годные. По селам не пойдут, как раньше говорили: разве что в плетенках перевозить. Одинокие те старушки, как которая умрет, так сразу и «хозяева» находятся. Иногда и хоронить не приедут, а уж продавать «имение» приедут обязательно. Осенью умерла женщина, бывшая трактористка 82 лет. С ней жила старушка-одногодка, баба Маня, старая дева. Мать умерла, избушка развалилась. А в деревне старая дева всегда считалась приживалкой, сколько бы она ни горбатила. Есть у бабы Мани племянники, да она перебралась к Фросе, решила, что с чужой приживется легче, тем более что у Фроси ни близких, ни дальних родичей не имелось. Огород, хозяйство — все на нее Фрося свалила. Почти сорок лет прожила баба Фрося и вот осенью умерла. Собрались хоронить. На похороны-то и «родня» явилась (узнали откуда-то) из Нижнекамска, да не пешочком, а на грузовой машине! Они даже не знали, с какой стороны двери у Фроси отпираются, и сразу — кровная родня. Похоронили, отвели поминки, а потом «родня» подогнала задним ходом машину поближе к двери и погрузили в машину исключительно все. Маня успела выхватить две подушки. Как обхватила их, так и стояла

ошеломленная, смотрела, как грузят вещи, овец, коз, поросенка, кур. Но, спасибо, людьми оказались добрыми, сказали ей: «Ладно. Дом уж оставляем тебе, пользуйся нашей добротой, все-таки ты кое в чем Фросе помогала, а ведь она — наша близкая родня, за это и живи в доме, пользуйся нашей добротой». Да еще козу старую ей оставили наказав, чтоб заколола — на 9 дней, на поминки.

А я тоскую об своем селе. Была в нем церковь необыкновенной красоты — из красного и белого кирпича, шестиглавая красавица. Один парнишка ту церковь сфотографировал. Сходила я в фотоателье, отдала эту фотокарточку — увеличить и размножить. Мне сделали 16 штук. Старушек развезли дети по всему Союзу. Я им разослала и написала на каждой карточке свои слова:

Было когда-то наше Языково
Славное большое село.
Как и какой бурей-напастью,
Каким ураганом смело?
И шестиглавая церковь-красавица
Была украшеньем села,
Сейчас сиротою-вдовою осталась,
Стоит среди поля одна.

В Иваново живут две подружки, послала фотографии им и еще двум старушкам, чтоб переслали. Одной 86 лет. Подруга пишет: «Унесла карточку Евд. Андр. Ох, сколько было радости! Тетя Дуня плачет, молится, карточку целует: «Вот спасибо Лизоньке — я и на родине побывала! Думала, никогда уж и не увижу... А одна старушка, 80 лет, жившая рядом с церковью, пишет: «Лизонька! Я, наверное, впала в детство! Поставлю карточку на стол и сижу, гляжу, гляжу — целыми часами, и кажется мне, что это я в детстве в окно гляжу. И где мне взять такое спасибо, чтоб тебе сказать? Дай Бог тебе здоровья!» Еще одна пишет: «Вот не зря твоя мама всегда говорила, что свет не без добрых людей, а то уж я подумывала — совсем доброта выродилась. Мне сейчас и на душе полегче — вроде я на родине».

Сколько радости бедным старушкам, теперь уж никогда не повидающим родное село наше, Языково! В 1801 году купил здесь землю Языков, отец поэта Языкова, друга Пушкина. И перевез из Симбирской губернии, из своего имения крестьян. Земля хорошая. Прижились. Был он гвардии поручик. В 60-х годах имение Языковых было куп-

лено братьями Стахеевыми. Из книги В. П. Семенова — Тянь-Шаньского «Урал и Приуралье» — начало XX века: «В сорока верстах от пристани (Старые Челны) Набережные Челны находится имение торгового дома «Григорий Стахеев и сыновья», 4155 десятин земли. В имении заведено полеводство, организованное лесное хозяйство и скотоводство (конный завод выездных лошадей, крупный рогатый скот, овцы, свиньи), а также технические производства: винокуренный завод, кирпичный завод и три водяные мельницы». Известный историк-краевед написал книгу «История Заинска». Он утверждает, что Пушкин посещал своего друга — поэта Языкова — в нашем селе, проезжая мимо, когда собирал материалы для «Капитанской дочки» по Оренбургской губернии. В 76 году Стахеевы начали строить церковь и закончили в 81-м году. Дедушка наш 9-летним мальчиком возил песок и глину. В селе был большой барский сад, потом отошел в колхоз. Для нас же тот сад был самым большим развлечением. Сад и сейчас еще «растет», но вроде как бесхозный...

Недавно съездила в Нижнекамск, к дочерям. Одна дочь с зятем работают на шинном заводе, и есть там еще огромный «Нефтехим». Сколько езжу туда все не могу привыкнуть к нашей безалаберности, проезжая мимо этого ХИМА, душа моя крестьянская сжимается от жалости. Горят факелы. Горели целых восемь! Целых два десятка лет. Один факел у самой дороги — страшный гул, пламя вырывается огромное, со страшным шумом. И сколько их!.. Такая масса огня обогревает небо... Приезжали американцы, и один из них сказал: «Дайте мне один факел, и я через три года стану миллионером». Недавно сказали мне, что американцы все-таки ввинтились в факел и вырабатывают продукцию. Значит, скоро и все факелы погасят. Прошлый раз смотрю: построили рядом рынок-барахолку на 800 мест, рядом, на траве, наверное еще столько же. И чего только нет! Разденься весь Н. Камск догола, прийди на рынок — и все враз обуются-оденутся с ног до головы. Ни тряпочки, ни булавочки — ничего нет российского! Пропала матушка-Россия. И подняться не может. Некому поднять. И коренника нету, и вожжи держать некому. И как бы ни грызлись наши «святые» избранники, как бы ни отпихивали друг дружку от тронного верхотурья, а сделать ничего не могут, не умеют, не хотят, да и опоздали лет на двадцать... Ох-хо-хо!.. О многом хотела

написать, да и так разошлась. Будьте, пожалуйста, здоровы. Благополучия Вам и всей вашей семье.

*С приветом — **Елизавета Архиповна Кузнецова,***
г. Заинск

[1990 год]

Уважаемый товарищ прокурор!

Весной 1931 года органами ОГПУ г. Красноярска была арестована и посажена в тюрьму группа крестьян из села Овсянка по обвинению в создании контрреволюционной вооруженной организации в селе. Следствие, как ни тужилось, не могло доказать злого умысла и, продержав невинных людей в заключении, было вынуждено освободить их и липовое дело аннулировать.

Но не такова самая «гуманная» в мире власть и ее карающие органы, чтобы так вот запросто признать свою вину в оскорблении и подозрении невинных людей — троих из обвиняемых все-таки признают виновными (неизвестно в чем — ведь существование контрреволюционной организации в селе Овсянка ни слепить, ни доказать даже таким большим умельцам и специалистам, как деятели Красноярского ОГПУ, не удалось), но — на всякий случай, для соблюдения амбиций, не иначе, трое из проходивших по этому совершенно абсурдному делу — считаются злодеями, и дело на них передается на рассмотрение так называемой тройки. 25 ноября 1931 года (они почти год провалялись на тюремных нарах) в городе Иркутске дело рассматривается, и все «злодеи» отпускаются домой. Но мой дед, Астафьев Павел Яковлевич и отец мой, Астафьев Петр Павлович, и «примкнувший» к ним Фокин Дмитрий Петрович приговариваются к пяти годам тюремного заключения. (И это очень гуманно для самой «гуманной» власти. Спустя 6 лет этих мужиков без лишней волокиты просто расстреляли бы и не возились с ними).

Пять лет заключения деду были заменены высылкой в Игарку, где с неродной матерью, последней женой деда, Марией Егоровной Астафьевой, бедовала и вымирала огромная семья деда. Отец мой, Петр Павлович, был отправлен на великую стройку социализма — Беломорканал, с которого вернулся досрочно, через два с половиной года, — после окончания этой достославной ударной стройки.

Дед, Павел Яковлевич, утонул в Енисее под Игаркой в

1939 году (свидетельство о смерти хранится в моем архиве). Отец проживал последние годы в моей семье. Умер в 1979 году и похоронен в городе Вологде. Бедолага Фокин Дмитрий Павлович, насколько мне известно, после приговора сошел с ума и кончил свои горькие дни в неволе.

Разумеется, я хорошо понимаю, что эти люди, виноватые лишь в одном, что родились и жили в очень «радостное» время построения новой, невиданной еще нигде и никем «счастливой» жизни под сенью самой «родной и справедливой власти», давно реабилитированы временем и перед Богом, и перед историей ни в чем не виноваты, как и те сто с лишним миллионов советских людей, погубленных во имя нынешнего и будущего неслыханного «счастья» и «процветания» народов нашей зачумленной страны.

Но, просматривая списки реабилитированных людей, погубленных и замученных в советских застенках, я не увидел фамилии своего отца и деда. Что, КГБ считает их до сих пор «злодеями» и не включил в списки для реабилитации? Или прозорливая красноярская прокуратура не сочла возможным реабилитировать этих, давно, слава Богу, окончивших свои дни российских крестьян?

Мне и моим детям и внукам знать это необходимо, ибо детям жить дальше (сколь будет позволено) и надо знать, из какого они корня произросли — вражеского или все же обыкновенного, человеческого, крестьянского?

Виктор Астафьев, писатель,
инвалид Отечественной войны

7.8.90 г.

Виктору Петровичу Астафьеву
от Колтышева Николая Борисовича, 1925 года рождения,
бывшего командира орудия 747-го гаубичного арт.
полка, 50 гаубичной артбригады, 17 арт. дивизии

Виктор Петрович!

Прошу извинить, что я отнимаю у Вас время своим письмом. Прочитав Ваши статьи в газете «Правда» — «Там, в окопах», в «Литературке» от 7-го 87 г. «Да пребудет вечно», я не остался равнодушным. Не имею никаких сведений и встреч с однополчанами, и для меня это большая радость! Я писал в редакцию «Правды» с просьбой сооб-

щить Ваш адрес, но пришел ответ, что мое письмо направили тов. Астафьеву В. П. Затем узнал, что Вы являетесь членом редколлегии журнала «Наш современник», — я подписался на это издание на 1990 г. и написал в редакцию о том, чтобы сообщили, можно ли направить письмо для Астафьева. Ответили — направляйте к нам.

Статья «Там, в окопах» взволновала меня до слез. В декабре 1988 года в «Целиноградской правде» была напечатана статья о внесении вклада советских немцев в разгром врага в 1941—1945 гг. на трудовом фронте. Немцы были выселены в 1941 г. из Саратовской области, и сейчас они проживают в Сибири и Казахстане. В этой статье упоминается имя С. С. Волкенштейна как большого военачальника и Героя Советского Союза. Не является ли его принадлежность к немецкой нации причиной недоброго отношения со стороны начальника артиллерии фронта?

Возможно, было указание о неполном доверии к нему со стороны Берии. После войны (летом 1945 г.) наша бригада дислоцировалась в городе Кремсе (Австрия). Двое разведчиков, у которых во время оккупации Украины немцы расстреляли близких родственников, выезжали ночью в населенные пункты и убили полностью несколько семей австрийцев. Их предупреждали, но они продолжали свои кровавые дела. Население возмутилось, и был созван митинг, на котором с речью на немецком языке выступил генерал Волкенштейн, что злодеяний больше не будет. Среди нашего брата — солдат — шли разговоры, что вот, мол, наш командир дивизии какой умный и башковитый еврей — по-немецки разговаривает свободно. Через некоторое время тех 2-х разведчиков судил военный трибунал. Выстроили нас на окраине г. Кремса. Перед строем два свежевыкопанных ровика. Около них к столбикам привязаны двое солдат. Когда был зачитан приговор — расстрелять, то дали осужденным последнее слово. Первый отказался говорить, а второй закричал: «Прощай, Россия». Мы, видавшие все, — обстрелянные, опаленные войной, — стояли в строю со слезами на глазах.

В Вашей статье упоминается о блокировании Берлина с запада. Да, действительно, была бойня! Поджимаемые 1-м Белорусским фронтом, гитлеровцы, обросшие, грязные, озверевшие, голодные, без поддержки артиллерии и танков двигались на запад для пленения англо-американскими войсками. В районе г. Лукенвальде мы встретили

их прямой наводкой. Били по колонне на расстоянии 300—400 метров — месиво трупов и крови, а они все шли и шли... Был случай, когда человек до 15 забрались в кузов студебеккера 1-го орудия нашей батареи и начали, как звери, избивая друг друга, громить ящики с галетами, засовывая их куда угодно и не обращая внимания на нашу стрельбу в упор из автоматов и карабинов. Такая бойня продолжалась в течение дня, а вечером на верхушках деревьев появились белые простыни — немцы тысячами стали сдаваться в плен. В 17-ю артдивизию я попал после госпиталя осенью 1944 года. Начал войну с Сандомирского плацдарма. В новом 3-томнике «Воспоминания и размышления маршала Жукова» говорится: «За 17 дней (с 8 по 24 февраля 1945 года) соединения 1-го Украинского фронта продвинулись на 100 км, выйдя к р. Нейсе. Попытки форсировать ее и развить наступление на запад успехом не увенчались, и войска фронта перешли к обороне по восточному берегу реки...» Но на одном участке пехота заняла все же плацдарм на западном берегу р. Нейсе. Командир дивизиона приказал нашей батарее выдвинуться через мост на плацдарм глубиной 800 метров на западном берегу этой реки. Каждый расчет имел только по 6 снарядов (НЗ), тылы отстали. Против нас были несколько контратак войсками ОРА (власовцы). На третий день их страшная атака с криками «ура!» потрясла нас. Вышвырнули они нас с плацдарма. Это было 25 февраля 1945 года. Мост был разбит. Бросились в ледяную воду, течение быстрое, ночь, кинжальный прострел трассирующими из пулеметов. Все члены тела бесчувственны, деревенеют от жгуче-холодной воды. Там я впервые услышал, когда солдат перед смертью, захлебываясь, кричит: «Мама!». Мне повезло. Наводчик, в прошлом балтийский моряк, 42 лет, разделся до белья. Когда бросились в воду, я сразу как бы потерял сознание. Он ухватил меня, тонущего, за волосы, бил по щекам и кричал: «Твою мать! Греби руками!» Нас по диагонали отнесло, но восточного берега достигли. Наводчик выволок меня из воды под сильным обстрелом. Весь берег был завален трупами немецких и наших солдат. Наводчик (фамилия Зосим) из г. Сумы привел меня в чувство. Из 120 человек, участвующих в этой «операции», осталось 26. Командир дивизиона, чтобы избежать суда, застрелился. Три ночи мы, оставшиеся в живых, форсировали снова (на понтонных лодках) западный берег р. Нейсе, чтобы вернуть оставленную там

технику. Из этого ничего не вышло. Было приказано артиллеристам других подразделений расстрелять нами оставленные гаубицы и студебеккеры.

Наш брат — участник войны — при воспоминаниях о тех тяжелых годах, как правило, рассказывает только о победных эпизодах: «мы взяли, мы разгромили» и т. д. Думая о более, чем 20 млн. человеческих жизней погибших соотечественников, по-видимому, настала пора рассказать о том, когда нас и технику уничтожали из-за боязни командиров предстать перед военным трибуналом. Я имею в виду такие ситуации, когда при общем наступлении можно было бы оставить свои рубежи, сохранить людей. Если подразделение разгромлено врагом, то за это никто не отвечал, а если подразделение отступило, то командир имел дело с особым отделом (СМЕРШ). Никакие доводы о целесообразности отступления не принимались во внимание. Безусловно, когда враг был у ворот Москвы, когда решалась судьба Родины, такие приказы, как «Ни шагу назад!», «Стоять насмерть!», были оправданными. Но когда наша армия наступала на всех фронтах, людские жертвы можно было бы сократить. Годом раньше я служил в 232 ОППТД. В июле 1944 года общее наступление на Львов захлебнулось. Мы, батарея 76-мм пушек, окопались и стоим вместе с пехотой. 17 июля до 40 шт. танков Т-6 «тигры» развернутым строем, охватывая деревню, на окраине которой мы стояли, пошли в атаку. Пехота, несмотря на окрики командира батальона, отошла. При этом наш командир батареи сказал: «Пусть нас уничтожат, но попадать под трибунал не собираюсь». В результате наша батарея была разгромлена. Уничтожены 4 орудия и половина личного состава. Я был тяжело ранен, успел отползти в заросли конопли. Были убиты все мои подчиненные — 5 человек, 18-летние «парнишечки», — это слово из Вашей статьи. Орудия и трупы парней были раздавлены гусеницами танка.

Служить в армии мне пришлось до мая 1950 г., более 7 лет на казарменном положении. Очень возмущаюсь, когда в печати говорится о нежелании молодежи идти на службу, процветают «дедовщина» и национальная рознь, чего не было в наше молодое время. С 1947 по 1950 служил в Московск. воен. округе, во 2-й гв. Таманской дивизии, принимал участие в праздничных парадах на Красной площади. Отец мой погиб на Волховском фронте в 1942 году, 15 октября. В письме начальника штаба было

сказано: «Будучи командиром отделения связи (сержантом), пошел на ликвидацию порыва линии и был тяжело ранен осколком снаряда. Умер в медсанбате, не приходя в сознание. Захоронен в дер. Селищи Чудовского района Новгородской обл.»

В 1985 году был на братской могиле, все ухожено, на мраморных плитах фамилии погибших, в центре обелиск и высечены хорошие слова. Командира 17-й дивизии С. С. Волкенштейна я ни разу не видел, а командующий фронтом И. С. Конев как-то остановил наш дивизион на марше перед г. Краковом и «отчитал» командира за то, что, не зная обстановки, идем в город. Командующий 3-й танковой армии Рыбалко баллотировался кандидатом в депутаты Верховного Совета и осенью 1945 года, в театре г. Кремса выступал перед личным составом. Я стоял на сцене в карауле около знамени полка. Свое выступление он начал словами: «Вы, наверное, думали, что встретитесь с мужчиной-красавцем? Но, как видите, перед вами ничем не примечательная личность: толстоватый, лысый и некрасивый мужчина». После оживления в зале он начал разговор по существу дела простым солдатским языком.

Виктор Петрович! Извините, что захотелось мне вдруг «излить свою душу» сейчас. Я к этому шел с момента выхода Вашей статьи с 25 ноября 1985 года. Когда мы были молодыми, то расставались запросто, не оставляя друг другу домашних адресов. Как-то, три года тому назад, вдруг вспомнил, что лучший мой приятель — командир 1-го орудия — из г. Городец. По справочнику узнал, что это Горьковская область. Написал в военкомат. Получил ответ военкома с адресом. Встретились через 40 лет и как бы вернулись в наши молодые огненные годы.

«О войне нам, фронтовикам, говорить — не переговорить, вспоминать — не перевспоминать» — это Ваши слова. Еще раз извините, что я отнимаю Ваше время.

Виктор Петрович, некоторые Ваши произведения я читал. Хотелось бы иметь полное собрание сочинений. Когда будет выпущена в свет Ваша книга о войне?

Будут ли еще Ваши статьи о 17-й артдивизии и в каких газетах?

С уважением, ***Н. Д. Колтышев***

21.8.90 г.

Дорогой Женя! (Носов)

В последние дни, в последние ночи, будучи в родном селе, видел тебя несколько раз во сне и все плохо, и порой нелепо. Как-то тревожно стало на душе. Поди хвораешь? Осень наступила, вино паришь и небось помогаешь его истребить более прытким и жизнерадостным корешкам — Петям, Мишам да Юрикам, а?

А лето на исходе. У нас с весны была жара, сушь, все горело. В один день в крае было зарегистрировано 170 пожаров, в одном только Манском районе выгорело около 100 000 гектаров леса, сгорели и заготовленные леса, погорели поселки, горела с краю от лесозавода и моя родная Овсянка, и сгорела в ней только что построенная для обработки топляка пилорама, и штабеля леса, да несколько домов. Трудящиеся тащили с пожара добришко, и если такового не было, то увозили навоз и выдергивали саженцы. О, Господи! Уж не по делу ли Он карает наш народ, превращенный в шпану!

А уровень высокообразованного общества! Говорил я со старухами нашими овсянскими, и они совершенно убеждены, что пожар прекратился только потому, что они стали бросать в огонь «четверговые» яйца, ну, ты знаешь, что на Святой Четверг красят яйца, и вот ими, крашеными яйцами и молитвами, которые и помнят уж с пятого на десятое, — и удалось утихомирить стихию, а два водомета, работавшие с Енисея и с железной дороги, струями отсекшие огонь от деревни, — это не в счет.

В Игарке я был весною, загорелся какой-то барачишко времен моего золотого детства, пьяная баба цигаркой его подожгла. И вот вокруг него сгрудились пожарные машины, посикают струйками, или как Петя Борисков-покойничек — декламировал: «Из своей кривой кишки поливает камешки» — и не тухнет, а в городишке ж почва на семь метров, не менее, состоит из опилочной щепы и гнили. Разгорается там и сям. И вот снизу от реки, по улице Таймырской, грохоча, поднимается машина, которую купили у военных и которая предназначалась, должно быть, для тушения атомных и прочих стратегических пожаров. Ее зовут безлико — «батарея», развернулась эта «батарея» с плоской цистерной да как шибанула струей, так и барачишко, и бабушку-поджигательницу, и граждан

вместе с барачишком унесло куда-то! Я видел только три шающих дощечки, упавших на обнажившийся серый грунт Заполярья. Сейчас на этом месте пустырек с робко наползающей на него травкой и крапивкой. Зато стоявшую рядом детскую библиотеку, уютную, с горячими печами, куда я заходил «читать» будучи беспризорником, точнее, подремать в тепле, с испугу отремонтировали (у нее подгорел угол), и она снова сделалась уютной, доброй до слез, и, главное, в ней по-прежнему бывают дети, и книги зачитаны до лоскутья.

Пробовал я помочь этой библиотеке книгами, так их передали в новую, образцовую, показательную, из кирпича строенную библиотеку.

Проехали мы семейкой до Диксона. Есть еще куда бежать, скрыться, при старании и пропитаться, и обогреться русским людям, да и «братьям» тоже, которые покуражатся-покуражатся, а потом на коленях в Россию полезут — спасенья искать. Сотни, тысячи километров бездушия и безмолвия. Те станки и деревеньки, что возникли вынужденно в 20—30 годы, умолкли, стерлись с берегов Енисея-батюшки. Лишь он, спокойно, неутомимо, овеянный дымом горящей тундры, несет свои широкие воды и вечерами до того красив, спокоен и величав, что со слезами благодарности глядел я на него и верил, что он-то все-таки будет вечен и переживет нас, пытающихся его и все живое на свете изгадить и умертвить.

Мимоплавом и в Игарке был опять, но больше на таком судне не поплыву. Лень одолевает, сытая блажь охватывает, ни делать чего-то, ни думать неохота, а только бы спать, есть да развлекаться, желательно с туристочками, что и делали многие и охотно, а я уж стар.

До этого был в глухой туруханской тайге, на совершенно дикой реке Тынэп и неудачно. От жары и духоты был такой овод, что валил и скот, и зверя. Пауты с воробья величиной гудят, набрасываются тучей и сразу в кровь секут. С часу ночи и до шести утра можно было вздохнуть, сварить еду и оправиться по-большому. Рыба с Тынэпа ушла в притоки и в верха, ту, что была в ближних порогах, я выловил в первые же сутки, потом пять суток ждали вертолет в полном бездействии, в нагретой избушке. Рыбы килограмм тридцать пропало, хотя я ее солил крепко. Было несколько сигов-красавцев, с великими стараниями и восторгом выловленных мною на удочку. Вечером сиг выходил на плес и безбоязненно кормился по-

денками и стрекозами, падающими на воду, и мне иногда удавалось обмануть дурака на наживленного паута, но рыба сильная, губы у нее слабые, и поскольку подсачника наш брат-сибиряк не имеет, то редко удавалось подвести сига к резиновой лодке и еще реже поднять на борт... Однако наловил рыбы, но... проквасил. Один день в тайге в тени было +48! — такая климатическая судорога случается иногда на Севере.

Я обретаюсь в деревне, приехал на сессию краевого Совета. Обман кругом, особенно насчет экологии, хочется выползти на трибуну, тряхнуть партийную челядь и сов. общественность. Пропадем ведь, а партия расхватухой занялась, имуществом обзаводится, дачи строят, машины гребут!..

Марье моей завтра, 22 августа, стукнет 70 лет, а три дня назад сравнялось три года со дня смерти дочери. Лежит под березами и не знает, как подросли ее ребятишки, ради которых она и сердце порвала. Каково нам с ними на этом свете, в этом лучшем из миров?! О, Господи! Пытаюсь постигнуть все это и не могу. Есть какая-то скрытая от нас сторона жизни и материи. Как моя мама, повиснув под сплавной боной на своей косе, в последний миг жизни представляла себе мою долю? Что за мысли, что за боль полосовали ее сердце, удушаемое водой? И как мне узнать, угадать долю моих ребятишек? Одно я знаю твердо: им будет еще хуже, чем нам. Они не готовы к тем огромным бедам и тяжким испытаниям, какие их ожидают. Да и кто готовит детей для этого? Детей ростят, любят, жалеют — и только. Я иногда бы Витьку так и долбанул — такой он вредный и хамовитый стал, но поматерю его, поору и на этом дело иссякнет. Побьют еще и без меня, поуродуют — уж больно упрям да бабкой подбалован, да и матерью-покойницей тоже...

Ну, Женя, дорогой, вот я и покалякал с тобой. Успокой меня хотя бы открыткой. Как ты? Здоров ли и мои сны не вещие?

Крепко тебя обнимаю и целую. Всем твоим домашним привет, всем мои земные поклоны.

Посмотрел письмо — не разобрать тебе его и за неделю. Попрошу Марью напечатать, уж не обессудь.

*Твой **Виктор,***
г. Красноярск

14.9.90 г.

Дорогой тов. Непомнящий!
(Простите за невежество, но я не знаю
Вашего имени-отчества).

Из далекой Сибири, где тихая, желтая и добрая осень проистекает среди трухлой действительности, взвинченного гражданского состояния и почти угасшего самосознания, в том числе и национального, низкий Вам поклон и сердечная благодарность за Вашу статью «Предполагаем жить». Ваше умное размышление, в особенности о том, что Пушкин — сверхисторическая сила, данная моей прекрасной, моей многострадальной родине в утешение, ободрение и поучение, — это не просто глоток свежего воздуха среди лукавой и путаной словесности, когда текст и слова уже ничего не значат, а только то, что за текстом, Ваша статья — еще и утверждение, что честная мысль всегда чиста, смела, надзору не по уму и не по силам. А о том, что своим мученичеством растерзанная и издыхающая Россия спасла христианскую цивилизацию, я тоже робко размышлял, но не смел углубиться в эту истину, казавшуюся настолько колоссальной, что она вроде и не по уму моему, а Дмитрий Сергеевич Лихачев по пути из гостиницы «Россия» до зала съезда народных депутатов, увидя меня в подавленном состоянии и догадавшись о причине моей подавленности, коротко и просто сказал мне об этом, и я «прозрел», и мне не то чтоб легче стало жить, но просветлело на душе и хоть что-то делать на земле захотелось, руки потянулись к столу, к работе.

Завтра я уезжаю в глухую тайгу и буду мысленно продолжать у таежного костерка беседу, начатую Вами.

Спасибо на добром слове!

*Кланяюсь — **В. Астафьев,***
г. Красноярск

[1990 г.]

Дорогой Виктор!

Спасибо за прекрасного деда. Рад, что книга дошла по назначению, а то ведь бывает и иначе.

Ты с печалью упомянул о большевиках, и я не могу не разделить этой печали, особенно сегодня, так как пишу

что-то вроде биографического романа и попал я в следующую ситуацию: живописуя свою родословную, дошел до молодости отца, а он — сын прачки, в семнадцать лет примкнул к большевикам и ушел в подполье. Был он человеком добрым, честным, бескорыстным, но фанатичным. В общем, персонаж из плохого революционного фильма.

Со мной был прекрасен, но последовательно, сам того не подозревая, оказался участником преступления, вдохновенно создавал жестокий, бесчеловечный режим и в 37-м году был им же уничтожен. А я теперь пытаюсь все это соединить, чтобы быть объективным. Сложно.

К сожалению, как мы ни хорохоримся, общество наше слишком еще большевистское, и это — главная беда. Бог знает, сколько понадобится времени, сил и крови, чтобы опамятоваться и зажить по-человечески!

А ты напевай иногда мои песенки — они ведь писались не на продажу.

Поклон твоему дому.

*Сердечно — **Булат (Окуджава)***

[1990 г.]

Дорогая Люся! Дорогой Жан!

Как приятно было получить от вас весточку и еще, и еще раз вспомнить мое гостевание в вашем приветливом доме. Вспоминаю, как Жан угощал прекрасным вином, был остроумен, оживлен и даже выкурил трубку под конец вечера в гостиной, хотя я и понимал: ему при его хворях это едва ли полезно. Но я и сам, загулявши, на хорошем душевном подъеме могу перейти через «нельзя» и не сожалею об этом — минут, доставляющих удовольствие общения с приветливыми людьми, душевно совпадающими с тобой, не так уж много случается в жизни и ими надо дорожить.

Мы живем помаленьку. Постигло нас большое горе — умерла дочь 39 лет от роду, остались с нами ее дети, девочка и мальчик, Витя и Поля. Трудно, конечно, особенно бабушке с ними, и молим Бога, чтоб Он продолжил наши дни ради сирот. Что они без нас? Как? Время такое тревожное.

С горем и бедой справлялись в работе. Я писал новые главы в повесть «Последний поклон» и рассказы, статьи,

даже очерк один о природе написал, хотя давал себе слово больше не соваться «в лес».

В прошлом году у меня было восемь публикаций: статья о Гоголе, очерк о северной природе и пять рассказов, в том числе два маленьких рассказа, написанные еще в шестидесятых годах. Осенью я сделал еще один, пятый заход (после публикаций) на повесть «Пастух и пастушка», и она, наконец-то, обрела тот уровень и «лик», который и задумывался. Все потери, случившиеся на пути к читателю, восстановлены, кое-что переосмыслено и дописано после моей поездки на Украину, по местам боев. Журнал «Студенческий меридиан» начал публиковать повесть в новой редакции.

Летом я побывал в Испании, а осенью — в Америке, посмотрел, подивовался, отдохнул, и мне захотелось работать. Вернувшись домой, продолжил работу над военным романом, в котором и бумага уже пожелтела — так давно я не открывал рукопись. Очень хорошо начал работать, прошел почти половину черновика первой книги, и тут настала пора ехать на съезд депутатов в Москву. Погода в столице была мокрая, хлюпкая, народищу везде толпы, и я подхватил столичный грипп, лежал в больнице и до сих пор избываю хворь, осложнение легло на сердце, главная работа — над романом — остановилась.

Из новых рассказов я составил сборник, включил в книгу и повесть «Пастух и пастушка» в новой редакции, и известный вам «Печальный детектив». Книга выйдет к концу нынешнего лета в московском издательстве «Книжная палата». В эту книгу включена и «Людочка». Я уж подумывал через ВААП переправить вам эту книгу, и тут ваше письмо. Сейчас мне уже лучше, и я надеюсь скоро войти в рабочую форму, продолжу работу над романом. Издательство «Молодая гвардия» с 1991 года начинает издание моего Собрания сочинений в шести томах. На сей раз хотят выпустить его за два года, вот и этой трудоемкой работой буду заниматься. Сдача первого тома в апреле нынешнего года. Когда выйдут все шесть томов, я попробую переправить их вам, на добрую память, а пока буду ждать новую книгу из Книжной палаты и непременно пошлю ее вам, но ничего не навязывая, найдете возможным что-то переводить — ради Бога, а на нет и суда нет.

У нас нынче редкая по сибирским временам зима: были морозы и до 40! Теперь потеплело, солнечно, сухо, много белого снега, вороны уже ремонтируют гнезда и гоняют-

ся друг за дружкой — признак дружной весны. Бог даст, потеплеет и в стране, все помаленьку наладится. Живем надеждами.

Будьте здоровы! Мира и солнца Франции!

*Кланяюсь — **Виктор Астафьев***

[Конец 1990 года]

Здравствуйте, многоуважаемый Виктор Петрович!

Зная Вашу загруженность литературной работой, я не рассчитывал получить от Вас письмо. Безгранично рад этой весточке, которая в какой-то степени связывает нас, бывших фронтовиков, — это отдушина в нашей немолодой жизни. Находясь на пенсии, все наши старики-коммунисты объединены по месту жительства в парторганизации. Например, в нашем 111 микрорайоне на учете состоит 54 человека. Что мы можем? Какая от нас, «ползающих» и «шаркающих», польза? Я вступил в партию в марте 1945 года, никогда не был лидером среди членов, а вот когда КПСС теряет авторитет, когда начался разброд, меня (как ни отбивался) сделали секретарем нашей организации. 10 человек из нас — это лежачие больные плюс 15 — еле ходячие, 2—3 человека могут в канун Дня Победы посетить школу и рассказать ребятам о войне, еще 2 человека сделать доклад в День Советской Армии. Я не знаю, как в других городах, но у нас горком начал оказывать материальную помощь. Так, в этом году выдали по 50 рублей пенсионерам, членам КПСС, у которых маленькая пенсия. Раньше такой благотворительности не было. Несмотря на разброд в партии, одна старушка заявила на очередном собрании: «Буду умирать только коммунисткой». При общении с инструктором горкома по этому поводу он сказал: «Очень хорошо, что она идейно предана КПСС и может своей убежденностью подействовать на других». Однако массовый выход из партии продолжается.

Виктор Петрович, получив Ваше письмо, я сразу же «помчался» в книжный магазин насчет подписки на 1991 год Вашего романа о войне. Заведующая встретила меня благожелательно, так как я ей сказал, что имею связь с автором, показав визитную карточку.

Записала мой адрес и заверила, что я буду один из первых на подписку указанного Вами 6-томника.

В наших магазинах, поликлинике имеются аншлаги с указанием, что инвалиды войны и участники имеют право на внеочередное обслуживание. Некоторые наши братья-фронтовики пользуются этим правом, невзирая на ропот и ругань озлобленных нашей действительностью людей. Я, например, могу это позволить себе только в крайних случаях и только при благоприятных обстоятельствах.

Сейчас новое веяние с Запада — благотворительная помощь. В связи с этим мне представляется такая картина: бывшему ленинградцу-блокаднику, фронтовику в старческом возрасте, с трясущимися руками, имеющему мизерную пенсию, вручают продовольственную посылочку от того государства, которое в прошлом несло ему и его близким смерть, голод и др. лишения. Где наша национальная гордость? Разве мы думали, что доживем до такого позора? Вспоминая послевоенные годы, находясь в Германии, Чехословакии, Австрии, у меня всегда был прилив гордости за нашу армию и великое наше государство. Участвуя в 1947—49 гг. в военных парадах в Москве, мы чувствовали огромный патриотизм, любовь к Родине и партии. Так нас воспитывали. Сейчас нет веры никому и ни во что. Полный разброд. Куда мы идем?

Виктор Петрович! Извините, что «изливаю душу». Эта тема для нашего поколения актуальна.

Большое Вам спасибо, что нашли время и написали. Книга «Счастливая каторжанка» в наш магазин не поступала. Если нет ее в библиотеке, то напишу Крамовой Виктории Михайловне с просьбой о высылке.

Итак, Виктор Петрович, желаю хорошей работоспособности в Вашем нелегком труде, доброго здоровья Вам и Вашим близким! С Новым, 1991 годом!

С уважением, ***Н. Колтышев,***
г. Степногорск Целиноградской обл.

27.11.90 г.

Дорогой Николай Дмитриевич!

Письмо Ваше переслали мне из «Нашего современника». Жаль, что Вам не удалось со мной ранее связаться, я бы поспособствовал Вам соединиться с советом ветеранов нашей дивизии. Он в Киеве, где три года назад была

произведена еще одна, видимо, последняя встреча ветеранов нашей дивизии, ибо все постарели, плохо двигаются, да и не нужны никому сделались. В последний раз в Киеве ветеранов наших плохо разместили, а в Житомире вообще отказались принимать, у них, говорят, своих хлопот полон рот.

Хотели провести еще одну встречу в Ленинграде, но умер главный организатор этого дела Боря Ройхман, бывший фотограф нашей 92-й артбригады. И вообще, в живых остается все меньше и меньше бывших фронтовиков. Скоро мы, спасители милого Отечества, совсем его освободим от забот о нас, и тогда общество наше дорогое вздохнет с облегчением — нет больше надоедливых стариков. По глупости своей и тупой трусливой ограниченности наш народ, как всегда, ищет виноватого в бедах и прорухах, происшедших у нас, и, как всегда, находит его в тех, кто ближе, ныне в нас, государство объедающих. Но на всякий случай я все же напишу Вам адрес комитета ветеранов, может, и соберутся еще недобитые жизнью бывшие вояки на еще одну, в этот раз уж поистине последнюю встречу.

252001, г. Киев, ул. Энгельса, дом 4, кв. 7. Мельников М. Н.

Командир нашей дивизии Сергей Сергеевич Волкенштейн по происхождению австриец. Его предок еще при царе Павле I попал в плен. Бабушка его, известная народоволка Людмила Александровна, приговаривалась к смерти, но милостию царя была помилована и 13 лет провела в Шлиссельбургской крепости. В 1905 году во время волнений во Владивостоке она была застрелена. Рано потерявший родителей и бабушку, Сергей Сергеевич воспитывался в семье известного профессора-хирурга Склифосовского. Он рано ушел в армию, а отец его был толстовец и противник всяких армий и насилия. Обо всем этом выпущена с моим предисловием книжка «Счастливая каторжанка», писала ее племянница Волкенштейна, а заканчивала дело уже внучатая племянница Крамова Виктория. Книга эта появляется в магазинах, есть в библиотеках, но можно попросить ее и у автора. Вот ее адрес: Москва, Герцена, 47, кв. 9. Крамова Виктория Михайловна.

Напишите ей и мне напишите. Я не всегда могу ответить, но все же как-то держу связь со своими однополчанами.

Сейчас я работаю, точнее, пытаюсь работать, да недосуг, над романом о войне. С 1991 года в издательстве «Молодая гвардия» начинается выпуск моего Собрания сочинений в 6 томах. Скоро начнется подписка. Не прозевайте! А сам я из-за отдаленности от Москвы ограничен в приобретении книг. Кланяюсь Вам и вашим близким и желаю всякого добра и здоровья.

Ваш однополчанин и собрат по окопам

В. Астафьев,
Красноярск

3.12.90 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Фотография для меня — большая радость! И за «Столбы»: глядя на них, понимаешь, наверное, японцев, которые часами могут смотреть на свои сады камней. Буду терпеливо ждать Вашу книгу. А покамест не удержусь и пошлю Вам свою. Она у меня единственная, но в нее много вложено!

Недавно сидел рядом с Г. В. Свиридовым на его концерте (изумительная певица Нина Раутио пела его романсы и «Отчалившую Русь» — на стихи Есенина — сокрушительно!) И я ему похвастался Вашим приветом, а он очень воодушевленно о Вас говорил.

В «Новом мире» ходят слухи о главах Вашего романа как совершенно невероятном. Бог Вам на помощь!

3.12.90 г. — Тут у меня был небольшой монолог — «Слово» — об убийстве Государя и его семьи. Дать Вам заранее постеснялся. Теперь сожалею.

Ваш ***В. Непомнящий***

14.12.90 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Не велите казнить. С раннего утра хожу — как алкающий похмелиться, но испытывающий свою волю над распечатанной полной бутылкой. Но что делать, если воистину из тех, кто, поелику задумал, то выпьет обязательно.

Нет, я все-таки не посмел бы нарушить собственное

табу на переписку с Вами, по понятным Вам соображениям, если бы не грустная бандероль из Красноярска, в коей Федорова отправила, по её словам, Ваш двухтомник да с Вашими добрыми словами — мне, да еще и с цветком из Овсянки, бандероль, в коей всего указанного не оказалось, а оказался какой-то книжный бред, наложенный, видимо, шустрыми чистоделами с почты ли, еще откуда — Бог весть...

А Федорова расписала еще и о том, что был немалый разговор с Вами — и все обо мне, и посоветовала поблагодарить Вас — лично... Я и благодарю. Пусть увели Ваш двухтомник, пусть. Дело-то было. Я не так чтобы сентиментален, но меня более всего ударило кувалдой под душу то, что именно тот «овсянковский цветок», посланный Вами, фронтовиком и прошедшим огни и воды нашей соцабракадабры, не попал ко мне — по черной воле какой-то советской сволочи... Ладно, что ж...

Хотите верьте, хотите нет, именно неведомый запах того, не обретенного мной цветка окончательно позволил мне спятить и не наступить на горло своей эпистолярной песне, обращенной к Вам, готовому спятить от алкающих разорвать Вас своими почтовыми претензиями и амбициями.

И вот пишу Вам. Простите, что на машинке. Со второй страницы я бы и сам не разобрал, что наколбал бы, не поспевая за пером и сердцем... Еще сегодня и день такой: у жены моей день рождения... годовщина со дня ухода Сахарова... в этот день и декабристы, разбуженные Герценом, вышли на Сенатскую... не ведая, что на прахе их прекраснодушных мечтаний запляшут в грядущем ленинско-сталинские вурдалаки... А сегодня вы, наверняка, в Белокаменной, на съезде... И мог бы, мог бы я поехать, чтобы как-то перехватить Вас хоть в курилке, может быть... Но что мне делать, «больному и пасынку», но Самого Господа Бога, и не меньше, хотя и не больше, если вот гордый я, а еще — обычный российский «комплексант»... И не могу, не умею я клубиться в толпе жаждущих пообщаться — корыстно — с большим русским писателем... Мне не себя жалко — Вас, замотанного и задерганного, и уверен, так же одинокого, как одинок любой — известный или неизвестный, но служащий России и Богу, а значит... А разве непонятно, что — значит... Что суетиться понапрасну бескостным языком...

Виктор Петрович, еще и такая грешная мысль подвигнула меня на письмо: в «К. о.» в Вашем интервью Аверину Вы обмолвились о том, что за три года предложили журналам всего два рассказа и одну повесть. Но получается, что это Вы обо мне?.. Если нет, простите самонадеянного...

Как бы там ни было, «Волга» срочно запросила — по Вашей подаче — прозу. Я отправил, но иную шестилистовую вещь. Не сдурел же я окончательно, чтобы одобренную (пусть на первом круге, но ведь самотечную!) вещь забирать из «Н. м.» С «Волгой» отношения складываются. Хотя бы потому, что в № 3 идет моя крупная подборка, сданная ранее... Думаю, не откажутся и от прозы. Тут, чего уж там, главное будет Ваше слово, для меня, возможно, то — «волшебно-петушиное»...

Как бы там ни было, спасибо Вам за все...

Как бы там ни было, а это Судьба.

Еще в минувшем году Вы откликнулись на мой почтовый писк, а потом и пригласили меня на неделю литературы в Красноярск. Я не поехал, разные причины. А теперь вот — и так... все...

Дорогой Виктор Петрович! Поймите, ради Христа. Хочу — к Вам. Хоть на день (только бы поговорить, почитать стихи свои, кстати, и верстку книги показать, от которой вздрогнете не с зубной болью, поверьте на слово...). Хоть на несколько часов: посидеть с Вами за столом, по-русски (все хлопоты — мои). И... чего уж там... получить от Вас живое благословение. Из Ваших уст... Большего мне не надо. Клянусь всем святым, за что жизнь положил, считай, что Вам не стыдно будет это благословение... Я чую, а я поэт, который не чета всему сонму соцдемьянов, суть евтушенок и К°, что это зовет и двигает мной сама Судьба. Ей я покоряюсь суеверно-счастливо-беспрекословно. Я ни к кому с таким и так ни единожды не бил челом. Пришла пора.

Да и Ваша это, видно, Судьба, Виктор Петрович: сделать то, вживе и радостно для себя, что не смог сделать Александр Исаевич в свое время... тут объяснить надо, а нет сил... и не тот случай...

Если верите в провиденциальность моего заявления, покопайтесь в календаре, назначьте день и час: я закажу билет и... Да и прах моих раскулаченных предков, зарытых на красноярском кладбище, видно, зовет меня... И помните, Вам ничего не грозит: я горд, как сатана, я скро-

мен и тактичен, как все ангелы Христовы. Простите. Запечатываю. Не перечитывая.

*Ваш **В. Б.***
(Болохов)

23.1.91 г.

Дорогой Леня!

Лишь глухою зимою приземлился я основательно за столом и могу написать тебе спокойно и основательно, а то ты скажешь: «Уехал, старый обормот, по небу умчался — и ни звуку, ни хрюку от него!»

Улетел я из Амстердама хорошо и роскошно даже — у буржуев же порядок таков, что ежели ты и вовсе идиот, да и глухонемой к тому же, все одно не заблудишься. И самолет хороший, и воздуху хватает, и ногам просторно. Лишь однажды, глянув вниз, я увидел горы, точно как на Чукотке — голые, с белыми вершинами и царапинами белыми по склонам. «Откудова? Что такое? Ведь Европа же под брюхом самолета...» — заметался мой умишко. Вдруг щелкнуло, и пилот сказал одно только слово: «Монблан». А я почему-то грустно подумал: «Господи, Господи, кончилась жизнь!..»

Я и сам себе не сразу смог объяснить, да и до сих пор до конца не объясню, почему именно эти мысли явились при слове «Монблан». Наверное оттого, что забрался туда, куда лишь по географической карте забирался и куда черти носили великого Суворова губить безответных русских мужиков ради того, чтобы спасти какого-то австро-венгерского императора и защитить ...надцатый параграф чьей-то конституции, но, скорее всего, слово «Монблан» поразило мое воображение в детстве, и я считал его чем-то запредельным, потусторонним. И вот достиг. Как бы уж лететь и ехать больше некуда. Но я все же прилетел в Италию, меня встретил из «Комсомолки» парень, держа эту самую лучшую в мире газету на груди развернутым заголовком, чего и тебе советую впредь делать, глядишь — за патриотизм зарплату прибавят!

Ну-с, ребята-комсомолята все организовали здорово и достойно. Италия по сравнению с Голландией — это кипящий котел с разноцветным варевом среди старых стен и узких улочек. Италии бы ненадолго, лет хоть на пять,

советскую власть и самую мудрую нашу партию — и она тут же бы оказалась в нашей позиции, нечего было бы жрать, петь ни «белькантом», ни блатным голосом не захотелось бы.

Эмигранты на собрании держались хорошо, дружелюбно и как-то встречно расположенно, гораздо дружней и расположенней было, чем на российском съезде писателей, где и писателей-то было раз-два и обчелся, а остальное — шпана, возомнившая себя интеллигенцией, склонной ко глубокомыслию и идейной борьбе. Вот только с кем — не сказывает, и какие идеи — не поймешь, ибо орет, бедолага, рубахи рвет и криво завязанный пуп царапает аль червивой бороденкой трясет, как некий Личутин из поморов, обалдевший оттого, что в «писатели вышел».

Вообще, жить стало еще сложней. Быт сделался еще более убогим и растрепанным. Вот пока писал письмо, реформу какую-то страшную обрушили на народ, как всегда, напали на людей из-за угла. О, Боже! Как же все устали от ожидания самого худшего, самого страшного!

Ну ладно, Леня, немножко о жизни моей и близких моих.

Осенью же, на исходе ее, я еще съездил в Китай, хорошо съездил. Подзарядился за полмесяца у китайцев, которые от восхода до захода солнца работают, трудовым энтузиазмом охваченные. Увидел прекрасную и древнюю страну, уже преодолевшую в основном кризис и последствия культурной революции, захотелось сесть за стол. Но надо было ехать на съезд в Москву: писательский и депутатский, где и отупел, и угас, и едва живой вернулся домой. А пока ездил, заболела жена Мария Семеновна, и ребятишки, перестал работать телефон — у нас это частенько бывает, и сам маленько полежал.

Теперь вот собираю в кучу бумаги, мысли, себя, дорабатываю «затеси», в том числе и те, что написал в Голландии и Китае, да и готовлюсь поработать над романом, расчистив путь к нему среди бумаг, суеты и мелких дел. Вышел первый том моего Собрания сочинений и началась подписка на него. Думаю, что в посольстве Вам будет возможно подписаться на него.

Очень часто вслух, но чаще про себя, вспоминаю дивные, тихие осенние дни в Голландии, ваш хлебосольный добрый дом, комнату наверху, откуда я вышел и увидел вашу милую дочку и дворик, где делал физзарядку. Гол-

ландия вспоминается как рай земной — из нашей забедованной и замордованной Земли, даже и не верится, что так может быть и так возможно жить.

Спасибо, Леня, спасибо. Я понимаю, что во многом мои воспоминания и поездка так светлы и добры от доброты твоей и дома твоего. Чем я смогу вас отблагодарить — не знаю, но есть Бог — и Он за добро умеет воздавать добром, и не обойдет ваш дом Его добрый и всемилостивейший взгляд, и Он вам везде и всюду помогать будет.

У нас сейчас глухая зима, морозы, ветры дикие — и будем ждать, да уже ждем с нетерпением весны, тепла и всего хорошего, да что-то хорошее нас все дальше и дальше обходит, видно, и в самом деле прогневили мы Всемилостивейшего.

Пришел мне журнал — четыре экземпляра с беседой, журнал похож на наш провинциальный «Блокнот агитатора», боюсь, что и беседа такая же, и, может, хорошо, что я по-голландскому читать не умею.

Ну, дорогой Леня, поцелуй за меня хозяюшку, детей, скажи им, что дядя или дед шлет им большой привет и желает всего только хорошего, а тебя — крепко, по-братски, обнимаю. Храни вас Бог!

*Ваш **Виктор Петрович,***
г. Красноярск

26.1.91 г.

Уважаемый Иван Васильевич!*

Не удивляйтесь моему письму — жизнь нынче не такими неожиданностями богата. Я хотел найти Вас на съезде, но не получилось. А искал я Вас вот почему: в деревне Червово Кытмановского района Алтайского края живет мой однополчанин и фронтовой друг, Петр Герасимович Николаенко. Мы с ним прошли стрелковый полк, автополк и воевали в 92-й артбригаде на самой страшной и неблагодарной должности — связистами. Я по ранению выбыл из нашей части осенью 1944 года, а Петр дотянул провод до Берлина, Праги и остановился аж в австрийском городке Кремсе. По возвращении в родную деревню работал бригадиром в колхозе, председателем колхоза,

* Секретарь Кытмановского райкома партии.

ушел на пенсию с должности зама председателя. Человек он шумный и часто грубоватый, в душе же добряк и надежный товарищ, здоровый физически, громадный телом, он много помогал мне на войне силой своей, в особенности, когда я однажды явился в часть из санбата недолеченный, ослабелый.

Конечно, будучи начальником, попивал он крепко, да и посейчас это увлечение не оставил, но вместе с многотерпеливой женой, дождавшейся его с фронта верной девчонкой, пятерых детей вырастили, добра много людям сделали, детей определили.

Но здоровье сдало и у этого богатыря — обезножел, сердце сдало, и еще беда — сгорела у него машина, так необходимая ныне в житье-бытье.

И вот я прошу Вас помочь моему фронтовому другу купить эту самую машинешку. Право слово, и писать об этом, и просить неловко, но Петро сейчас лежит в военном госпитале в Барнауле и Христом Богом молит меня ему помочь, а я вот Вас молю и беспокою. Извините.

Заранее Вас благодарю и желаю добра — здоровья!

Виктор Астафьев

P. S. Откликнулись, но немногие, партийное слово и обещание как было пусто, таким и осталось...

24.2.91 г.

Дорогой Володя! (Болохов)

Я так и думал, что ты постараешься не понять моего письма и слово «антилитература» воспримешь без кавычек, но втайне надеялся, что ты уже приблизился к профессиональному отношению к литературе, когда не комплименты ценятся, а нечто более нужное и необходимое. Тем более, что я и пояснил «подтекст» своего письма, говоря, что «антижизнь» и должна рождать «антилитературу». Более того, я вот и сам понял, что ныне делаю тоже «антилитературу», и какое-то время она будет царить в российской словесности, и хорошо, если какое-то время, хорошо, если великая культура прошлого выдержит ее накат, а будущая жизнь будет так здорова и сильна, что устоит перед ее страшной, разрушительной мощью, хотя действительность наша не вселяет в это уверенности.

То, что ты мне прислал сейчас — давно пройдено. Это из советских детских журналов пятидесятых годов и ни в какое, конечно, сравнение не может идти с той прозой, которую я у тебя читал до этого.

Не надо меня звать «мэтром» — я это тоже проходил, и людей с воспаленным самолюбием видел в нашей литературе не меньше, чем ты зэков по тюремным нарам. И рекомендацию не могу дать, потому что мой самоотвод не подействовал, и я остался секретарем Союза, а секретарь не имеет права давать рекомендации. Во всяком разе, так было. Сейчас я вплотную влез в роман, сменив номер телефона и, пользуясь тем, что он не трезвонит, до весны постараюсь сделать первую книгу, и ты хотя бы поэтому рукописей мне не присылай — ворох рукописей останется на лето. Кажется, летом я начну строить избушку под Енисейском, чтобы скрыться от людей, срама и шума.

Будь здоров. Пиши — это главное в жизни литератора.

*Кланяюсь — **Виктор Петрович***

2.3.91 г.

Дорогой Лев Степанович!*

Получил Ваше письмо и копию статьи и хотел бы поговорить с кем-то из власть имущих, которая была вчера, но я заболел и не мог там быть. Тем временем пришел «Красноярский рабочий», где снова статья о бедствиях Агафьи. Что говорить, судьба этой женщины трудная и, может, исключительная, но сколько я знаю людей и семей таких несчастных, таких заброшенных и властями забытых, что оторопь берет, бессилие охватывает, и никто-никто о них не печется, даже не пытается им помочь, а тут шумиха, хлопоты, газетные дискуссии и перепалки.

Ах, как мы, русские, любим шумиху там, где должно быть тихо. Даже милосердие превратили в телешоу и рвут друг у друга доброхоты микрофон, чтобы похвалить себя за десятку, внесенную в помощь, даже не зная кому.

Извините меня, Лев Степанович, помогать людям надо, тем более женщине, мыкающейся в тайге, но гам и шум вокруг этого поднимать не следует, помня о том, что в

* Черепанов Лев Степанович — бывший красноярский писатель.

родном Отечестве миллионы несчастных, заброшенных сограждан, и все они ждут помощи, сердечного отношения, надеясь, что слово — «милосердие» — не рекламная агитка и не предмет для спекуляции и газетного бума.

Желаю Вам доброго здоровья.

*Кланяюсь — **Виктор Астафьев***

18.3.91 г.

Дорогой Саша! (Михайлов)

Очень рад, что ты снял с себя этот хомут, который надевают людям, творческим притом, а надевши, начинают пинать и стегать, как колхозную клячу, на которой может ездить всякий, а она и лягнуть разгильдяя не смеет, и ись не просит, и не брыкается, хотя в упряжи в колхозной, которая вся в узлах, без потника, и шею протирает до костей.

Видно, время такое, когда ревуны и наглецы получили возможность наораться вдосталь, а наш удел работать, и чем время смутнее, тем больше потребность в тружениках, но не в болтунах. Если бы ты знал, как было противно на съезде писателей РСФСР, где, в отличие от тебя, Юра Бондарев умереть готов был, но в начальстве остаться, понимал ведь, что он главный раздражитель шпаны этой, ан не сдается, да и только, а там современный идеолог и мыслитель Глушкова бубнит за Россию, Личутин бородешкой трясет так, что из нее рыбьи кости сыплются, — этот и вовсе не понимает, чего и зачем орет, лишь бы заметну быть, лишь бы насладиться мстительно званием писателя, употребляя сие звание, в русской литературе почетное, на потеху и злобство шпане, которая и забыла, зачем она собралась на съезд.

А потом сразу же вослед и депутатский съезд. Здесь то же самое, только в закон облеченное вранье и кривляние, я уже заранее знаю, кто и зачем лезет на трибуну, чего и почему будет говорить, не считая таких, конечно, больных людей, обалдевших, как Личутин, от звания писателя, офонаревших от депутатского значка, как представитель рабочего класса Сухов, осибирячившийся еврей Казанник или Болдырев и еще пара больных словонедержанием людей. Они, бляди, снятся мне уже в кошмарном сне — война, районная газета и они!

Осенью, побывав в Китае, зарядился я таким трудовым порывом, такой тягой к работе, что вот бы броситься на стол, как тигра на добычу! ...Ан нет. Не себе принадлежишь, на съезды езжай, слушай дураков, внимай воинствующим краснобаям. И дело кончилось тем, что попал я, изнежившийся писака, в страшную прострацию, все подзабросил и за стол с трудом и тяжестью в сердце уселся уже в феврале. Разошелся, поработал и довел первую книгу до читабельного состояния — еще один заход, сверка, уточнения, утрясения — и можно будет давать роман в журнал. Однако решил я сделать вторую книгу, и тогда уж печатать их подряд. А пока их печатают, Бог даст по инерции, на волне и третью сделаю. Но это все мечты, а пока едва хватило сил на эту работу, и уже вот приболел, чувствую себя неважно, едва поднимаюсь по утрам, да еще простудился малость, и отплевываюсь, и откашливаюсь, а весна к нам пока не торопится, говорят, в последней декаде марта начнется.

Очень, конечно, заманчивая твоя программа поездки по твоему Северу, но мне надо хорошо отдохнуть, не отрываясь от дома, и для работы над романом съездить на Нижнюю Обь, так что нашу совместную поездку отложу на год, и если Господь пособит, еще съездим. Хочется.

Марья моя дюжит, крутится, вертится, дети заставляют, спать много не дают и кушать требуют, а с кушаньем-то каждый день все туже и туже, и чё дальше будет — думать я уже устал и не могу.

Однако и на съезд писателей я не приеду, и на другие съезды тоже. Писать надо, роман заканчивать успеть. А то пропрыгаю, просуечусь и главной работы не сделаю.

Крепко тебя обнимаю.

Твой ***Виктор,***
Красноярск

19.3.91 г.

Уважаемый Ван Щаулань!

Я получил Ваше письмо из Волгограда. Теперь Вы уже дома, в Китае, и я шлю ответы на Ваши вопросы на Ваш домашний адрес.

Итак, ответ на 1-й вопрос.

Тема природы в советской и русской литературе возникла не сейчас. Она у нас всегда была актуальна и даже

модна. Одна из причин этому: писатели, выходцы из дворян в большинстве своем — Тургенев, Бунин, Некрасов, Лесков и даже Гоголь — возрастали в русской деревне, пусть и в усадебных условиях, но среди крестьян. Поэты же русские и прежде всего поэты нового, советского времени, как правило, рождены деревней, и сельская жизнь у них в крови и сознании.

Что касается современного обостренного внимания к природе, оно не только от ностальгии по родному селу, но и от бед наших — в стране нашей нарушено святое отношение к природе — человека с природой, так называемое экологическое положение в стране очень тяжелое, природа и сам человек уже нуждаются в защите, причем человек должен защищаться прежде всего от самого себя и потом уж бороться с тем адом, который он собственными руками сотворил на земле.

В этой же плоскости лежит и ответ о состоянии нравственности в нашей стране и обостренного внимания к ней литературы — природу, а значит, и себя может разрушить человек, потерявший нравственные ориентиры, дичающий без этих ориентиров, он сам пилит сук, на котором сидит.

Мои главные произведения будут напечатаны в шеститомном Собрании сочинений, выпуск которого в издательстве «Молодая гвардия» уже начался (вышел первый том), подробно рассказать о всех шести томах я не имею возможности и времени, да и не мое это дело.

Стиль традиционный, стиль классической русской литературы, т. е. реалистический, жизнеутверждающий.

Я не очень хорошо знаю нашу литературу последних лет, особенно литературу молодежного направления, но что касается военной темы, она развивается и углубляется в сторону осмысления этого страшного и грандиозного события, от голого изображения боев, кроволития, героизма, подлости, измены и доблести — она все дальше и дальше во времени соединяет прошлую войну со страшной, кровопролитной историей человечества и неизбежно становится антивоенной, отрицающей всякое насилие, всякое безумие. Меньше вранья, самовосхваления и красивых подвигов в военных книгах. Советские писатели начинают понимать, или уже доросли до понимания, что чем больше они наврут про войну прошлую, тем ближе сделают войну грядущую.

Настоящее положение нашей литературы неопреде-

ленное. Оно, как и все наше общество, находится в стадии поиска нового направления, жизнеутверждающего, но сама современная жизнь, и прорвавшая плотину цензуры литература зарубежья, и та, что лежала в столах, пока что не дают повода для движения в давно заданном направлении, они остановили этот ход и заставляют рассмотреть, обдумать тяжкое наше прошлое и прежде чем куда-либо двинуться из нынешнего безвременья, духовного застоя, нужны свежие, здоровые силы и ориентиры, но пока их нет, сама жизнь неизвестно зачем и куда движется, и, естественно, замешательство общества приводит в замешательство мысль, тормозит и путает ее развитие. Культура наша еще не находилась в таком тяжелом и безвыходном состоянии, как сейчас, и дальнейшее развитие современной литературы, направление этого развития я предсказать не берусь, как не берется это делать и вся наша критическая литература и этническая общность. Мы находимся на очень сложном и тревожном распутье во всех сферах жизни, в том числе и в культурной сфере.

Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, а стране Вашей Великой — преодоления тех надломов и бед, которые Китай уже пережил и которые мучают ныне нас в России.

Ваш ***Виктор Астафьев***

27.3.91 г.

Дорогой Василий Тимофеевич! (Невзоров)

Я все собирался тебе написать, узнав о кончине Ирины Александровны. Да не знал, чего написать-то. По горю своему великому ведаю, что всякие слова тут бесполезны, а иногда и раздражительны, лишни. Скорбь, настоящая скорбь, не терпит ни суесловия, ни суеты. Носи в себе горе, страдай, и да поможет тебе Бог, более никто помочь не в силах.

Вот и затянул с письмом-то, а потом работа увлекла, ковыряюсь в романе, вроде бы первую книгу подвожу к завершению и устал, ибо свое время — позднюю осень и раннюю зиму — упустил и работал с перенапряжением. Сейчас рукопись на машинке, а я сплю беспробудно, да еще простудился на исходе зимы. У нас никак не начинается весна, все холодно и ночами морозно, а хочется уже тепла, травы и солнца.

Тут и твое письмо. Укор мне еще один — не справляюсь с почтой и текучкой, да и с жизнью уже едва справляемся — дети подгоняют, на плаву держат. Хоть бы успеть подростить, на ноги поставить. Витя по туловищу-то большой, моя одежда и обувь ему уже в самый раз, а по уму... Да ведь ему 15 лет через месяц будет только, а они сейчас и до 50 норовят детьми оставаться.

Я очень и очень сочувствую тебе. Одиночество — это все же страшная доля. Она взаимно и с обеих сторон неповторимо-трагична. Умер у меня в Новосибирске старший друг, умнейший человек, труженик и наставник — Николай Николаевич Яновский. И овдовела Фаина Васильевна, его жена, человек яркий, театралка, владеющая несколькими языками. И пополивала-то она супруга, и капризы допускала, случалось, а Николай Николаевич с улыбкой, со снисхождением сносил все это, и пережили они вместе столько горя, что сколько на иной десятиэтажный дом советский хватило бы... Николая Николаевича садили три раза, но он остался могучим красавцем, умницей, застенчивым с друзьями и яростным с врагами, а они у него не переводились, особенно в партийных конторах. Не могли ему там прощать, что он умнее их, честнее и неуязвим ни с моральной, ни с материальной стороны. Осталась от него громадная библиотека, бесценный архив и бедная вдова в неутешном горе. Но еще осталась добрая, прекрасная память, как и об Ирине Александровне. Будешь на могиле, положи от меня цветочек и скажи, что Виктор Петрович не раз был спасен во мрачные дни ее Высоким духом, ее светлым отношением к чистому делу, к человеческим правилам и морали в жизни и работе, и еще ее неиссякаемым юмором, каким-то умно-насмешливым отношением к суете сует, и умением весело, непринужденно, восхитительно легко рассказывать даже о богах. Никогда я не уходил от нее, из иконного ли ее зала, да и из дома, с тяжестью и неловкостью в душе, всегда просветленно было на душе, всегда ощущение прикосновения к чему-то, что я умел и не разучился чувствовать еще в человеке, этакую редкостную, недосказанную расположенность к тебе. Мы тихо любили Ирину Александровну и восхищались ею, зная о ее хворях, и о неладах с детьми, и о многом другом.

Однажды я допустил бестактность к ее прошлому, и она необидно, умело и тактично дала мне понять, что не

хотела бы вспоминать об этом. И все! Ни обид, ни тем более потуг нанести ответную обиду.

Я бы желал таким людям самой долгой жизни, чтобы свет, идущий от них, помогал нам лучше видеть окружающее и все скверны в себе тоже, да и утеплял бы этот очень холодный мир хоть маленько.

Царствие Небесное Ирине Александровне! Уж она-то его заслужила! А тебя братски обнимаю, прижимаю к сердцу и заверяю, что все добро, тобою для нас и для писателей сделанное, я не только помню, но и пытаюсь в меру моих сил и возможностей передать дальше, помочь людям, ибо только так, по моему убеждению, и должен бытовать человек, иначе зачем он родился и живет?

Храни тебя Бог!

Преданно твой, ***Виктор Астафьев.***

Передаю письмо на машинку Марии Семеновне — мои каракули сделались совсем непонятны, извини.

Красноярск

30.3.91 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Очень давно прочитала в журнале ваш рассказ о поляке-скрипаче и с тех пор старалась читать все Вами написанное, что могла достать. Читаю придирчиво, с тайным желанием как бы уличать в чем-то. Родилась я на Владимирщине, где довольно грамотная среднестатистическая речь — как пишется, так и говорится, так и говорим. Конечно, не все написанное вами попадает на глаза, но из прочитанного, уж поверьте мне, только один раз мне захотелось поменять местами два слова — улучшилось бы смысловое ударение фразы, да одна запятая, как мне показалось, не там стояла и вроде бы как-то неуместно разорвала мысль. А что касается содержания, то хочу сказать: конечно же, проза Айтматова, включающая в себя многовековой материал легенд и сказаний, потрясает. ОН первый в советский период многонациональных литератур не побоялся написать, как мальчик ушел в озеро, он первый не осудил мужчину за измену жене с другой женщиной вопреки профсоюзной демагогии сообщества. Это замечательная, очистительная проза.

В. Распутин, наш русский мужик-абориген, пошел даже

дальше. У него уходит за борт жизни беременная женщина, долгие годы страстно мечтающая о дитяте... Потрясающе! Потрясают и его старухи, особенно в «Прощании с Матерой». Умная русская женщина — и с ней во главе уходят могикане под воду. Изумительно чистая, прозрачная проза.

Но Астафьев всех их переплюнул своей земной (от земли) прозой. Голодные, холодные мальчики, по ним бегают крысы... читаешь, а из глаз твоих бегут светлые слезы. Лев Толстой написал прекрасные (и толстые) книги, а вот такого воздействия не достиг. У Астафьева же книги нетолстые, но прочтешь что-либо из них и после долго не хочется читать других авторов. Я уверена, что по силе воздействия, да и по слову тоже, Астафьев переплюнул Толстого. Вот его Акимка — ведь и герой-то не совсем положительный, а прочитала я «Царь-рыбу», и много месяцев вставал в памяти его образ, и мне доставляло истинное наслаждение его любимое «екалэмэнэ» (сама я матерюсь русским матом).

Таких красивых, прозрачных даже слов, как в «Пастухе и пастушке», у нас никто до Астафьева и не нашел даже. «И брела она по дикому полю...» и т. д. Я даже не могу их читать, сразу же начинаю рыдать горькими слезами. Вот только вспомню о вступлении и окончании этой пасторали и начинаю плакать. И так много лет. Это же чудо!

И о худших сторонах человеческой сущности лучше Астафьева тоже никто не написал — врач, копающийся в ране, отталкивающая от берега катер морда, жена умершего друга, отказывающая Акимке в доме, в который он (один на всем белом свете) вложил всего себя...

Особенно поразили меня новомировские публикации Астафьева: «Людочка», и другой — о советском генерале и его генеральше-дуре, которую съела сиамская кошка. Точнее, рассказ-то совсем не о них — я просто не могу вспомнить названия — за годы гласности так много написано о неизвестном и негативном, так много слов и все слова, слова, слова... А вот Астафьев на 18—20 страницах показал всю сущность 70-летней нашей сволочной жизни и истории нашей совстраны — от чего мы ушли, как шли и до чего или к чему пришли.

Уж если мастер, то даже при описании жуткого насилия над Людочкой Астафьев не употребил ни единого вульгаризма. А читать эту сцену надо очень внимательно. Я

говорила с некоторыми, они даже не поняли что к чему. И не потому, что у Астафьева сложно написано, а написано просто и мастерски. На мой взгляд, в «Людочке» отображено лучше всего (одно явление из многих сторон этого короткого рассказа) — падение культуры человеческого сообщества в нашей стране: ведь тут и деревня, и мать Людочки, замызганная жизнью, и городок, и нравы этого городка, и люди...

Сейчас передо мной «Литературка» с прозой Астафьева. Я пытаюсь приступить к чтению, и нет сил — решила исполнить свое давнее желание — написать Астафьеву. Астафьев немолод, в войну получил тяжкие раны, долгие годы жил (пробивался в сов. литературу) трудно. Вдруг умрет, а я так и не успею сказать ему ласковые слова...

Дорогой Виктор Петрович! Если курите — бросьте; алкоголь — только стопарь после баньки, а баньку, если раны позволяют, почаще да потом холодной водой с головы до пят; если есть копейки — находите икорку — Вас надо побаловать под старость-то лет, ну, а рыба — она у Вас под рукой — чай, на Енисее живете! Соберите все свои резервы в твердый кулак и пишите, пишите!!!

От всего сердца желаю Вам здоровья, а если смерти — то мгновенной! Левый берег вроде бы пока таежный. Надо подыскать место близ кромки Енисея, не загаженное дачами и туризмом, для могилы: позади тайга, много воды и воздуха, впереди — Овсянка (полагаю, музей-то будет не на Урале, не в Вологде, не в Красноярске, а в Овсянке!). Хорошо! Славно! По Енисею бегут и гудят катера, люди кланяются и поминают...

И только одного не хочу я — видеть Вас близ власть предержащих — они люди подлые, жизнь делают не они, изображающие власть над людьми, а Ваш Акимка и мы с Вами.

*Кланяюсь Вам в пояс — **Л. В. Цыбина**, 59 лет,*
Москва

Очень коротко о себе. Родилась в очень хороших русских семьях, особенно со стороны матери. 9-й ребенок. Не крещена, но всегда верила, что был Христос, шел по Земле и делал людям добро. Объездила всю страну, бывала в Дивногорске, на Столбах. Будучи советской женщиной, счастья своего не построила. Единственная радость при подведении итогов: я не испачкала в молодости (хватило ума) своих карманов партийным билетом. Прожила

59 лет, родилась и умру в соцгулаге. Горько, но факт. Время на ответ мне не тратьте, лучше напишите хоть маленький рассказ.

Мне хотелось прокричать мое мнение о Вас на страницах периодики, чтоб после этого никто не бросал камни в Вашу сторону, но ведь это будет суета сует. Лучше сказать Вам лично ласковые слова — вот я и сказала!

15.4.91 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Меня, скромного учителя литературы, заставило взять лист бумаги и перо одно важное обстоятельство. Дело в том, что до недавнего времени Ваши произведения воспринимались мной как талантливые рассказы, повести, романы талантливого писателя и лежали где-то на дне моего сознания и души. Гораздо ближе я принимал творчество декадентов, нашумевших «космополитов», внутренних диссидентов и других неформальных литераторов: Некрасова, Солженицына, Аксенова, Бродского... И вдруг (или затмение, или, наоборот, озарение) поднялись Вы со дна, из-под низа, откуда-то оттуда, что и не выскажешь. Все сломалось, «смешалось» во мне. Я оказался плененным и одновременно очарованным простой естественностью, удивительной мудростью Ваших книг, в особенности невеликих по объему лирических миниатюр сборника «Затеси». По-настоящему зацепила меня Ваша способность «сочетать несочетаемое», доступность и недоступность Вашей манеры письма. Я засел за Ваши книги, перечитал последние и ранние газетные и журнальные интервью с Вами, законспектировал, что говорили Вы и что говорили о Вас, просмотрел критические обзоры, статьи, рецензии на Ваши произведения, обратился к письмам, которыми обменивались Вы с А. И. Макаровым. Словом, почувствовал необходимость внутреннего обретения Вас не только как автора произведений, но и как большой души человека. Возникла потребность в Вас как в мудром духовном пастыре, появилась необходимость в Ваших мыслях, чувствах, думах. Настоящим откровением явился для меня Ваш рассказ «Яшка-лось» . Рассказ меня застал врасплох, смял, здорово перекорежил.

Читая это произведение ученикам, пытался понять

природу их эмоциональной реакции, и, знаете, как человек, склонный к исследовательской работе, пришел к выводу, что этот рассказ — большая литературоведческая загадка. Мне кажется, в любимом Вами Яшке-лосе четко просматривается аналогия с конем с картины Васнецова «Три богатыря». Это конь Алеши Поповича (былинно отросшая грива)... А может быть, это конь Вольги или Микулы? Может, Сивка-бурка? Нет. Уж слишком явная проточина на лбу. А может, и то, и другое, и третье вместе? Удивительно, но я почти ничего не обнаружил из критического материала, посвященного этому произведению. И поэтому я обращаюсь к Вам, Виктор Петрович. Не сочтите за труд поделиться воспоминаниями и мыслями по поводу рождения этого шедевра. Меня интересует Ваше мнение как кандидата в аспиранты ИМЛИ имени Горького и в связи с этим следующие обстоятельства. Как родился замысел произведения? От чего Вы шли: от жизненного факта, поразившего Вас, от общественной ли ситуации, внушившей тревогу, или от давно лелеемого, вынашиваемого Вами поэтического идеала?

Истоки, причины, подвигнувшие Вас на создание рассказа? Как обстояло дело с печатаньем? И почему рассказ был напечатан именно в журнале «Современник»? Кто и что кроется в образе коня. Я лично воспринимаю Ваш рассказ как предостережение, как символ черты, за которую нельзя... В Яшке-лосе вижу битого-перебитого мужика русского, который несет вечный ярем или тяжкие вериги, находясь под пятой больших и малых «чингисханов». С моей точки зрения, главный вопрос произведения: кто правит народом? кто на коне?

Мне бы хотелось понять природу рассказа, да и всего сборника в целом, проникнутого особым тоном повествования: высоким, торжественным и обжигающе больным за то поруганное и осквернённое, что называют классики «разумным, добрым, вечным».

С искренним уважением и низким поклоном почитатель Вашего авторского и человеческого гения, подвижник мира литературы

Стребнов Алексей (Алексеевич)

18.5.91 г.

Уважаемый Алексей Алексеевич!

Благодарю Вас за письмо и за добрые слова о моей работе.

Переехав в Пермь из г. Чусового той же области (сюда привезла меня жена после войны — она родом из Чусового), в 1962 году я приобрел дом в заброшенной деревушке, где прожил и проработал, как оказалось, свои самые плодотворные и счастливые годы. Оттуда, из умирающей деревушки Быковки, я почерпнул многое и написал там и на «быковском» материале необычно много, хотя, как правило, не пишу о тех местах, где живу, и о людях, среди которых живу. Прошедший, осмысленный пласт жизни — это совсем другое дело.

Но то, что написано в рассказе «Яшка-лось», — выдумывать не пришлось — был случай с жеребенком, потерявшимся и выросшим в лесу, был и бригадир-пьяница, которого обожали лошади и которых утопил он штук пять, да и измывался над ними и над людьми тоже, как дурь велела. Однажды его «сняли с лошади» — выгнали из бригадиров, так он перестал выпускать лошадей из загороди, и они съели там весь дерн, лизали землю и, когда, идя на берег, я выдернул запор, — они чуть не растоптали меня, ринулись к воде. Бригадир пьяный и дурной кричал: «Я подохну, так пусть и они подохнут!» А стадо коней, хорошее, послушное, было сохранено и разведено им. За реку, в догнивающее отделение совхоза отдали лошадей и все остальное — на вымирание — кончится скот, люди бросят землю и совхоз и уедут. И не будет забот совхозу с Заречьем.

Будучи из крестьянской крепкой семьи, хитрый, тогда еще не запивающийся бригадир увез за реку жеребца-нутреца под именем Петька, и тот регулярно там исполнял свои обязанности. Бригадиру говорили, мол, уж не ты ли жеребят делаешь? Словом, основа рассказа документальна, но «писать документ», как это у нас делается, не стоит, и все остальное в рассказе — работа и мысль сочинителя. Можно, наверное, прочесть рассказ и истолковать его так, как Вы истолковали и прочли.

Желаю Вам всего доброго в жизни —

В. Астафьев

16.4.91 г.

Дорогой Виктор!

Ты, наверное, уже тревожишься: в чем дело? Почему молчим? А я был занят чтением твоей книги. И вот теперь могу сообщить, что книга получилась мощная, астафьевская, своеобразная, полная добра и сострадания, несмотря на горестный фон. Поражен рубенсовской силой многих картин. Страницы о солдатских сортирах — вообще классика. Сильно написана уборка брошенного поля. Но есть и замечания. Все пометки делал на отдельных страницах, поэтому мне еще предстоит распутывать все, что я там пометил. Одним словом, потерпи еще маленько.

Обнимаю и целую — твой ***Е. Носов***

[1991 год]

Уважаемый Виктор Петрович, здравствуйте!

Давно собирался Вам написать (после прочтения Вашей статьи в «Правде» «Там, в окопах»). Но не знал Вашего адреса. И сейчас пишу наугад. После просмотра передачи о журнале «Наш современник» предполагаю, что Вы живете в Красноярске.

Вы пишете книгу о Великой войне, поэтому хотелось бы описать некоторые эпизоды, которые мне, как пацану-вояке, особенно запомнились. Родился я 11 декабря 1924 г., сейчас Скобская губерния, Опочецкий р-н, д. Жадро. Так случилось, что остался 4—5 лет без отца и матери. Ходил за 7 км в школу, в лаптях. Когда мой дед плел мне на Рождество новые лапти, я ходил по деревне и хвастался, что у меня новые лапти. В 1940 г. появились «Трудовые резервы». Меня из пяти сирот нашего дома направили в Ленинград, в пролетарии. Окончил 5-е ФЗО слесарем. И вот она, Великая. Эвакуация в г. Уфу, оттуда защищать: «За Родину — за Сталина».

До окопов: Татищево — переноска, 8 км дубовых дрючков в лагерь, где мы обитали и т. д. Я был хлипкий, рост 155 см, но имел по тем временам «высшее образование» — 7 кл., и меня захотели сделать офицером. Но какой-то здравый человек рассмотрел или, вернее, представил меня таким офицером, что ему стало смешно. И попал я в Ме-

лекес в полковую школу, до окопов: землянка, двухэтажные нары, солома, подушка — вещмешок, шинель — простынь и одеяло. В углу печка-бочка, атмосфера — вонь от портянок. Ботинки с негнущейся подошвой, зато подарок самой аглицкой королевы. Вдобавок клопы и вши.

Обед подавали в оцинкованном тазике на отделение, кто быстрее. Кашу, помню, в цилиндрической кружке, которая ее формировала и выливалась в тот же таз, но здесь уж видел всяк свою горку. Самым серьезным образом мы относились к хлебу. Эти дети додумывались до того, что сегодня я ел свою пайку и еще за Ваську, а Васька хлебал только баланду. Назавтра Васька ел мою, а я наоборот. Вот до такой «мудрости» мы доходили. Однажды нам срочно объявили, что едем на фронт. Что творилось: «Ура! Ура! Ура!»

И вот этих 17—18-летних вояк везут. Куда? Мы, конечно, не знаем.

Эшелон прибывает под Сталинград. Там мы превращаемся в орлов Морозова. Помните, есть такая фраза в одном кинофильме. Орлы — это мы, а Морозов — это полковник, ком. нашей Сибирской дивизии, которая после Сталинграда стала 81-й гвардейской.

Когда мы двигались к линии фронта маршем, то нас бомбили. Смотрим, офицеры кричат: «Воздух, ложись!» — мы кто куда, а усатый дед на повозке стремится к этой бомбе. Потом и мы сообразили и стали добывать галеты и прочее.

Первое крещение — станция Садовая. После, может, 3-х дней этих орлов из 1500 человек осталось, может, сто пятьдесят. Если кто сейчас (фронтовик) ответит, сколько он убил немцев, то он врет или воевал на поприще оформления наград. Я вот одного немца не убил — пожалел или моя пацанская мысль сработала так, но это факт. Я его и сейчас помню, блондин, глаза голубые-голубые, такого же примерно возраста. Я его прижал (загнал) в окоп, и он лежит лицом ко мне и смотрит, это не опишешь. Я стою перед ним с ППШ и медленно нажимаю курок. Он кричит: «Я арбайтен», — что-то у меня мгновенно сработало, и я побежал дальше. Потом он колол дрова на полевой кухне, потом его хотели заслать обратно, но не удалось, и попал он в лагерь.

Между прочим, я все время думаю, что вот Юрий Бондарев ей-Богу был в составе орлов Морозова, но я тоже не знаю его адреса. Он же с моего года.

Теперь несколько грустных воспоминаний. 2 февраля мы закончили эту эпопею. Находились в сталинградской тюрьме (до отхода на отдых в Бекетовку). Что там произошло? Там, в подвале, был госпиталь раненых немцев, все, кроме продуктов, ихнее, врачи, обслуга и т. д. — 300 чел. Один немец вооружился, собрал рюкзак и из тени забора ранил в голову ком. полка, фамилию не помню. А вот начальника штаба капитана Качурина и сейчас помню. Он приказал за ночь расстрелять весь этот госпиталь, что было и сделано и сбросано в балку, ужас и сейчас, по крайней мере, для меня.

1943 г. Орловско-Курская, сталинская тактика измотывания врага. Пятьдесят человек в полку — занимай оборону.

На Курской распутице, когда мы туда приехали, — март. Окопы нужно рыть в тылу, мы стояли прямо против Белгорода. Сухари, может, раз в неделю. Еда: ржаная мука, без соли сваренная поваром. Хлебаешь, хотя и противно.

И вот, началось. Я еще не читал ни одной книги про ад Орловско-Курской Дуги. Горы трупов. Сейчас даже не осмыслишь, как мы выдержали. И, между прочим, Курская оценена историей несправедливо. Оставшихся в живых (чудом), да и погибших, хоть наделили бы алюминиевым жетоном. Хотя не в этом дело. Там наш полк попал в окружение. Жара, воды нет, н. з. съеден. Идешь в атаку, берешь котелок. Там, в Лядине, в конских капонерах, под навозом, сохранилась влага. Остался жив, отбил, дави на навоз котелком (не обращай внимания, что тебя убьют), наберешь жижи и через индивидуальный пакет глотнешь, да не забудь и ком. полка угостить.

За 4 дня накопились раненые. Нужно выходить из кольца. Товарищи раненые почувствовали это и ночью, когда пошли лавиной, кто как смог, лишь бы не сбиться с направления. И вот друзья, товарищи зовут: «Братцы, не бросайте». (Я сейчас плачу.) А братец сам не знает, прорвется он или нет. Так и бежали валом. Кто отшатнулся, тот погиб, кому повезло — пробился. Там же, на поле, остались такие же раненые, как и те братцы, которые остались в землянке.

Теперь немножко забавный случай. Вызывает меня капитан Калинин и, дав 8 человек автоматчиков, посылает на подкрепление на другой фланг. Ползем. Навстречу ребята несут на плащ-палатке раненого. Куда, говорят, прёте, вон в лощине, в 100 метрах, немецкие танки обхо-

дят. Ползу, смотрю, правда. Даю команду «назад». На краю оврага мне майор (я ст. сержант) пистолетом в грудь: отступаешь, подлец, — хотя он меня знал, так как я в полку был немножко смелый парень. Не успел я и слова сказать, как минный налет по этому квадрату. Майор бежал первый, за ним мы, заметно отставая, больше я майора не видел.

Ну, вот, я, наверное, Виктор Петрович, много Вам накатал, так что извините. Здоровья Вам и всяких творческих успехов.

Несколько слов о себе. В армии я прослужил 15 лет, капитан танковых войск в отставке. Дважды ранен. Последний осколок из ноги вынул в декабре прошлого года, думал, доношу до... но прижало.

Получаю пенсию обыкновенную, 120 руб. 20% не добавляют, не подхожу по какой-то статье и пункту, ни под расстрел, ни под помилование.

Льготы нам, никем не забытым, у меня их в орденской книжке написано больше, чем сейчас в законах. Вот прочитайте в старой орденской книжке. Одна нервотрепка, а жалобы писать я неспособен. Мне говорят: «Вот я бы на твоем месте». А что на моем месте? Клянчить?

Так уже скоро ... а я еще по-человечески не жил. После войны хотел демобилизоваться, сказали: молодой, будешь служить. Служил, защитил диплом за нормальное танк. уч-ще. 10 лет служил в Приморском крае, жил в китайских фанзах, бараках. После демобилизации шлялся по квартирам. Сейчас имею 18 кв. м с подселением. Попробуй, куда-нибудь пойди.

Случаются и парадоксы. Сейчас ставят какие-то штампы в удостоверение. Сдал в военкомат, приложил (каким-то чудом сохранившуюся справку о ранении, с четкой печатью, номером госпиталя), этой справке 45 лет, я шучу, что она музейная. Там еще написано «гв. ст. сержант Иванов». Личное дело осталось там, где меня сняли с учета, и теперь оно за мной не ходит. И что Вы думаете? Мое удостоверение вернули и сейчас сделали запрос аж в Москву или, как я смеюсь, в ЦРУ, чтобы убедиться, воевал я или нет. Выдали мне справку и на изъятие осколка в прошлом году. Но справка 43-го года сейчас как новая, а эта (не разберешь) как будто я сдал 10 кг. макулатуры. Так что сейчас мое удостоверение недействительно. Жду расследования. Однако я веселый человек и не унываю. Отработал 45 лет честно, не считаясь со здоровьем.

Болезненно переживаю то, что пропадают миллионы рублей, придуманные и заработанные нашим народом: изобретения, выращенные с темна до темна работающими селянами и похороненные головотяпами в кюветах с/х, продукты и другое. Не могу смотреть на «больных» людей, это Виктор Петрович, на сценах телевидения. Это же «больные» люди.

Когда смотришь по телевидению бабушек с грязными руками, убирающих сахарную свеклу, и 45 минут, отведенных под аэробику, то хочется разбить телевизор, а онто здесь при чем?

У нас сейчас не хватает на уборке горючего. А знаете ли Вы, что с латвийского порта Вентспилс за год (по плану Москвы) мы отгружаем 35 млн. тонн горючего за валюту. В это же время из-за нехватки горючего гноим хлеб, а потом его покупаем за границей. Каково?

Сейчас я работаю на нефтебазе инструктором противопожарной безопасности. Вот так и живу. Конечно, есть и обиды, что все честно отдано, извините, зазря. Вот 11 декабря будет 67, сам удивляюсь, как добрался до такого потолка, но еще здоров, еще могу давать очки вперед молодежи. Еще раз Вам хорошего сибирского здоровья. С большим приветом ветерана войны и труда,

Иванов Аркадий Васильевич.
Латвийская ССР, г. Лиепая

13.3.91 г.

Дорогой Валентин! (Курбатов)

Вчера ко мне пришел первый том Собрания сочинений! Дожил, сподобился! Слава Господу, что Он так щедр и милостив ко мне. Ну, а молодогвардейцам, прежде всего Асе Гремицкой, наивечнейшее мое спасибо за уважение и внимание ко мне, к моей скромной работе. Прежде всего, конечно, Ася молодец, изо всех своих сил старается и радеет за меня.

Ну, и тебе спасибо. Сегодня ночью, в тиши и одиночестве, перечитал твою вступительную статью. Ты, по-моему, превзошел не только себя, но и уровень нашей критики. И дело тут не во мне, я лишь повод для того, чтобы дать тебе возможность порассуждать и помыслить.

Вспомню я родимый и мне город Чусовой, его нравы,

дымы, сажу и рабочее житьишко при советской власти, погляжу на Марью свою, подумаю о тебе — индо и руками разведу — откуда чё берется?!

И мысль моя с веком наравне о том, что писатель заводится в саже, не только утверждается временем и прогрессом, но и углубляется в том смысле, что ценная мысль тоже выкристаллизовывается, как жемчужное зерно, в навозе и отходах металлургической и углесаженской промышленности. Своим фактом существования, пусть и в социологических пределах, чусовляне подтверждают это — вон Щуплецов-то, или, как его напарница именует — Щуп, вверх тормашками на лыжах прокатился и чемпионом мира стал! Разве в Лысьве или даже в самой Перми этакое возможно? Не хватает у них почвы, то есть дыма и сажи для выращивания этаких талантов и подвижников, вроде твоего брата — Леонарда Постникова.

Вот, брат, какой заряд бодрости я получил! Но главное, надоумлен был находчивыми людьми сменить номер телефона. Два дня бывшие клиенты по-сибирски выразительно материли мою и без того мной изматеренную госпожу и хозяйку, а потом все умолкло, и я бросился к столу, взял на абордаж рукопись и в общем-то довел ее до читабельного состояния — сейчас она на машинке, после — сверка, уточнения, правка еще одна, перевод некоторых фраз и слов с русского на казахский и наоборот, и можно рукопись первой книги отдавать в журнал, да чего-то не хочется. Закончить бы вторую книгу и сразу их вместе тиснуть, а тогда бесись вся военная и комиссарствующая камарилья. Третью-то книгу я на волне первых двух вынесу. Написал я, кажется, главный кусок о погибшем хлебном поле. Это вот и есть смысл всей человеческой трагедии, это и есть главное преступление человека против себя, то есть уничтожение хлебного поля, сотворение которого началось миллионы лет назад с единого зернышка и двигало разум человека, формировало его душу и нравственность, и большевики, начавшие свой путь с отнимания и уничтожения хлебного поля и его творца, — есть самые главные преступники человеческой, а не только нашей, российской истории. Разрушив основу основ, они и себя тут же приговорили к гибели, и только стоит удивляться, что и они, и мы еще живы, но это уже за счет сверхвыносливости и сверхтерпения русского народа, а оно не вечно, даже оно, наше национальное достоинство, или

родовой наш недостаток. Бог его знает, что сейчас думать, куда и как думать, о чем и зачем?

Конечно, пропустив плодотворное время — осень и начало зимы, — сейчас я быстро выдохся, устал, очень раззвенелась контуженая голова, встаю утром трудно, а уснуть не могу долго, и, если не посплю днем, совсем дело мое плохо, да еще и простудиться умудрился на исходе зимы, да и до тепла, видно, хредить буду. А пока у нас солнечно и морозно. Ночью до минус 18—20, днем отпускает, сегодня вон даже таять пробует. Говорят, в конце марта начнется бурная весна. Дай-то Бог!

Я тебе книжку не посылаю, боюсь — стали все воровать, и на почтах тоже. Очень тебя ждем по теплу оба с Марьей Семеновной. Право слово, назрела надобность встретиться и погутарить, и на весну не чухонскую — нашу тебе посмотреть. Командировку уж как-нибудь и где-нибудь тебе оплатим, и дорогу тоже. Давай приезжай! В письме всего не скажешь, как бы длинно оно не было.

Обнимаем, целуем тебя по-чусовлянски — крепко и преданно,

я и Марья Семеновна,
Красноярск

21.4.91 г.

Дорогой Збышек!

Из далекой Сибири, где нынче никак не проходит зима и не торопится весна, привет тебе и самые добрые пожелания семье, земле твоей и всем близким людям!

Письмо твое получил. Благодарю тебя за него и за добрую память. Из прессы, из радио и телепередачи знаю о жизни вашей страны, хотя, разумеется, и не все. Вот американцы прощают большие долги и выкупают поляков у большевизма. А кто нас, русских, выкупит? Мы никому не нужны, и всем всегда должны, и перед всеми всегда виноваты. Так, видимо, на роду писано огромной стране и ее злосчастному народу. Я читаю письма и послания Пушкина к своим лицейским друзьям и вижу, как он виновато чувствует себя перед ними за то, что Бог ему много дал, а им недодал, обделил. Гению такая вина была простительна, хотя и тягость, она, в конце концов, и увела его от людей подальше — слишком уж угнетающи, тяже-

лы были их злоба и любовь, и зависть, и непонимание, и отставание от него лет на двести, а то и навсегда.

Дар Божий — это и награда, и казнь. Пушкин это понимал и умом, и сердцем, и он не от пули, так от гнета жизни все равно рано погиб бы. Но это единица! Гений! А каково-то целому народу, богато одаренному, доброму, выдерживать страдания всяческие, муки, унижения, и все оттого, что его злят, как собаку, то костью дразнят, то палкой бьют. Вот и добили, доунижали, дотоптали — сам себе и жизни не рад народ русский. И что с ним будет? Куда его судьба кинет или занесет — одному Богу известно. Уповаем на чудо и на разум человеческий. Думаю, ни людям, ни небесам легче не будет от того, что загинет русский народ. Он может за полу шубы стащить в прорубь за собой все человечество...

Несмотря ни на что, надо работать, пока жив и в башке чего-то шевелится. Вот я и работаю. Делаю роман о войне. К завершению идет первая книга, а всего должно быть три. Хватило бы сил и жизни на них.

Но очень много дел посторонних, суеты много, какого-то пустопорожнего времяпровождения. Все так заняты у нас, все так «заклопотанэ», как говорят в Польше, что своими делами и заниматься некогда. В прошлом году не убрали урожая, все говорили об уборке, боролись за урожай. Нынче сеять некогда — все говорят о посевной...

Преодолеть этот общий психоз говоренья, а не творенья, как показала наша Октябрьская революция, очень трудно, почти невозможно. Люди шалеют от красноречия, пустословия и безделья, все требуют справедливости, порядка и корма, но никто ради этого палец о палец не бьет. Я преодолеваю в себе эту давящую инерцию бурной видимости труда и борьбы неизвестно с кем и за что. Главная борьба была всегда с собой и за себя, остальное потом, никто за тебя работу твою не сделает и никто не поможет в себе самом разобраться.

Продолжаю писать «затеси» — они помогают мне выговориться, разгрузиться и хоть немного держать себя в рабочей форме.

По весне собираюсь в родную деревню, там у меня есть дом и огород. Поковыряюсь в земле, успокоюсь и, может, отдохну от этой, всесокрушающей говорильни и смуты в душе.

Хочется еще так много сделать, но жизнь наша с Марьей Семеновной очень осложнилась — скоро будет че-

тыре года, как умерла у нас дочь, оставив нам двух детей-сирот. Растить их нынче, да еще в нашем возрасте и в наше пагубное время, очень тяжело. Это требует сил и времени, а того и другого уже недостает. Все надо делать и детей растить тоже вовремя. Но ничего, есть люди, которым еще труднее, чем нам.

Поздравляю тебя, Збышек, жену твою и близких с праздником весны и Победы! Желаю доброго всем здоровья, а тебе еще и успехов в труде, вдохновенных встреч. Крепко, по-братски, тебя обнимаю. Марья Семеновна, внуки — Витя и Поля — тоже шлют сердечные приветы.

Твой ***Виктор Петрович***

28.4.91 г.

Дорогие алтайцы!

Удивляясь и восхищаясь силе вашей, пробойности и творческой активности, поздравляю Вас с началом журнала «Алтай» и желаю, чтобы он скоро не закрылся из-за отсутствия бумаги в типографии и хлеба на столе. В Красноярске активных сил не нашлось, и вместо журнала сократили в два раза тираж альманаха «Енисей», а издательство приказало писателям не носить рукописи, не надоедать своими творениями, искать самим бумагу, самим свои книги печатать и продавать. Все начальство издательства, все малые и немалые чины сидят при этом на месте и аккуратно получают зарплату, иногда даже премии.

Советская власть — чудодейственная изворотливость бездельников, и все мы пришли к неизбежной победе революции, может, и к коммунизму нечаянно придем — то-то весело будет! То-то мир ахнет, удивится и, глядя на нас, перестанет работать, ожидая благ от хорошего царя и манны небесной от Бога.

Послать в журнал пока ничего не имею. Продолжаю работу над романом, которая идет трудно, ибо годы и силы уже не те, да и время для творчества малопригодное, если не губительное.

Собираюсь как-нибудь навестить своего фронтового друга в Кытмановском районе, авось и приеду на Алтай к исходу лета. А пока у нас и весны нет, в горах и кругом снег, холодрыга, посевная не начинается, ее заменяет по-

севная блудословия в Кремле и в Верховном Совете, так называемой РСФСР! Вот где сеятели и хранители-то! Им бы в поле — они бы вмиг всех накормили словесными отрубями.

Успехов вам! А главное — хорошей литературы! Взлета и долгой жизни «Алтаю». Всем жму руки!

Ваш ***В. Астафьев,***
г. Красноярск

5.5.91 г.

Уважаемый Николай Трофимович!

Я очень прошу Вас простить меня за то, что так долго не подавал никаких вестей, получив Вашу рукопись. Время мое не просто загружено, а на клочки разорвано и растерзано. Да я еще и поработать пытаюсь в такое время, когда все охотно говорят о работе и требуют хлеба, желательно с маслом, зрелищ, желательно острых, за разговоры-то.

Рукопись Ваша у меня вызвала почтение уже своим опрятным видом. Терпеть не могу рукописей неряшливых, путаных, невычитанных — это есть самое большое неуважение и к труду своему, и к тому, кто вынужден его читать, часто по слезной просьбе самого автора.

Чтение Вашей рукописи оказалось делом долгим и нелегким. Рукопись эта — одно длинное-предлинное стихотворение, содержащее печальный рассказ об одной очень невеселой жизни. Перемены ритма, звука, энергии стиха — это, собственно, состояние рассказчика, перемены его настроения, работа сердца, ток крови. Тягостна, конечно, первая половина рукописи о неволе, но кто же о ней весело писал?! В ней самое ценное то, что Вы не впали во зло, в чувство мщения и ненависти. Как писал Шаламов о «своей Колыме» — «это было нашим образом жизни». И это-то и чудовищно, и непостижимо, что жизнь человеческая — столкнутая в темную яму, на самое земное дно, на муки и погибель, но и там, в яме, он, человек, пытается жить, думать, надеяться на лучшее.

То же было и в запасном военном полку, и на фронте, в окопах, то же было и по селам войны, и по заводам, и по горьким окраинам социалистических городов. И всюду одна надежда — выжить, а там уж все будет по-другому.

А что будет по-другому? Вернется молодость? Здоровье? Свет и сила? Восприятие жизни высветлится? Оптимизма прибавится? Очевидно, во всех заблуждениях и надеждах русского человека и содержится главное его достоинство — великая стойкость. И как удобно оказалось обманывать и эксплуатировать человека с этакой верой и надеждой в сердце! Увы, ничто не вечно под луной, и вера иссякла, вместе с нею исчерпалась и главная сила, может, и могущество нашего народа. Я абсолютно уверен, что то, что мы, русские, перенесли, перетерпели и выдюжили, — никому более, кроме китайцев, не по силам.

По стихам Вашим, несколько старомодным, видна Ваша большая читательская культура. Стихи музыкальны, добры, полны благородного звучания и какой-то совершенно детской доверительности и открытости миру. В Вас, несомненно, погиб очень талантливый и благородный поэт, но человек, чуткий к боли и страданию, не только своим, человек, бесконечно справедливый, добрый, остался с Вами, и то слава Богу. Вам не хватило среды общения, понимания, хотя бы простого, совсем домашнего, чтобы без слов, чувствами, будто нюхом лайки, «по верху» бралось и Ваше нежное отношение к другому существу, ранимое сердце, переменчиво ощущающее перепады в движении жизни, настроения, чувство себя и природы в себе — не хватило и печатания — это очень необходимо, ведь от каждого опубликованного произведения автор отплывает, как от пристани, и, глядя на нее издали, ощущает, как потраченная энергия, образовавшаяся в сердце пустота в силу «истраченного материала» наполняется новыми, обновленными красками, звуками, чувствами, — ничто так не терпит застоя, ничто не прокисает так быстро в посудине, называемой душой, как литературная продукция. Излияния на бумаге спасают от одиночества, спасли, судя по стихам, и Вас в заключении, но для совершенствования таланта, для движения выше и дальше, — этого мало. Поэту нужна среда и среда мыслящая, горячая, противоречивая, но не равнодушная, не чужая, не тупая, наконец. Поэту и без того трудно и одиноко, ибо по остроте восприятия жизни, по глубине чувств он и без того выше и дальше толпы и черни, он и без того гибельно страдает и любит, и в среде, совсем его не понимающей, не чувствующей, не ценящей, — он и вовсе задыхается.

Как Вы выжили в лагере, я могу понять, как перенес-

ли творческое одиночество — это тоже вроде понятно, но почти необъяснимо, не поддается толкованию — какая должна быть великая стойкость и сила у человека. Прозаику в этом мире чуть полегче. Кроме того, рядом со мной, например, всю жизнь человек, который не просто меня понимает, ценит и чувствует, но и помогает своим присутствием, вниманием, да и просто вовремя накормит, спать велит, на машинке напечатает.

Я очень часто думаю над судьбами тех, кто прошел войну, тюрьмы наши адские, прелести всеобщего соцтруда, — что было бы с литературой и литераторами, не пройди они это? Дар Божий с ними, это несомненно, был и остался бы. А Лира? На какой бы лад она была бы настроена? Что было бы с Вами, с Вашим поэтическим даром, не перенеси Вы всего того, что перенесли? Усадебный поэт Фет? Но он уже был, и усадьбы порушены и сожжены новыми хозяевами жизни. Скорей всего целая когорта поэтов нового времени воссоздала бы старое строение и двинула слово дальше. Думаю, высот и побед поэтических и литературных вообще она бы одержала больше, скорей всего создала бы мощную литературу мирового звучания. Плацдарм был, здоровье у народа было, сил не занимать, таланту и любви к своей земле и народу тоже.

А так что ж? Еще одно загубленное дарование, еще одна остановленная на взлете жизнь. И в результате великая русская литература едва теплится, к небу взлетают лишь отдельные искорки и «гаснут на лету», как сказал поэт Полонский.

Книжку Вашу я оставляю у себя. Может, чего-то выберу (у меня есть наметки) и напечатаю. А из последнего раздела кое-что покажу композиторам — может, положат чего на музыку. На мой взгляд, есть два-три совершенно превосходных романса.

Не знаю, как Вы перебиваетесь материально, но хорошо бы Вам этот сборничек издать, да и успокоиться, прижав его к своему сердцу, потому как все тут есть и стон, и звук Вашего сердца. Сейчас за деньги можно издаться в любой, даже в местной типографии. Попробуйте все же итог жизни, итог пусть и грустный, но чистый, достойный человека, авось и почитает кто, и поплачет.

Кланяюсь Вам и желаю хоть какого-то здоровья, добрых дней и добрых людей возле себя. Всего-всего Вам доброго! Спасибо за стихи, за грусть и слезы, за благо-

родство и счастье общения с «тихим, добрым словом». Живите дольше и пишите, пока пальцы держат ручку.

Ваш ***В. Астафьев***

20.5.91 г.

Астафьеву Виктору Петровичу!

С большим вниманием я слушал, когда жена читала Ваше повествование: «С карабином против прогресса».

Еще не дочитала до конца, разрыдалась. Нет, она не плакса и не истеричка, а вполне уравновешенный, серьезный человек, всем сердцем любит свой край, его неповторимые природные красоты и богатства, которые человек должен разумно пользовать. Она, как и Вы, убежден, терпеть не может временщиков, грабителей даров природы, которые ни с чем не считаются ради личной наживы.

Спасибо Вам, Виктор Петрович, за столь неопровержимые разоблачения. В наше время с грабителями флоры и фауны способны воевать лишь обладающие умом и наблюдательностью такие, как Вы.

У меня очень плохо со зрением. Вам желаем хорошего здоровья и успехов в борьбе за чистоту окружающей среды, а мы, как коренные сибиряки, всегда и во всем готовы Вас поддержать в благородном Вашем деле.

Инвалид Отечественной войны 1-й группы —

Достовалов,
г. Красноярск

30.5.91 г.

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Никогда не мог подумать, что когда-нибудь буду писать Вам лично, но времена меняются. Вы в наше время единственный писатель не только талантливый, но, что более ценно, вы — философ. «Печальный детектив» — по-моему, не лучшее, что вы написали. Я не хочу и не могу никому навязывать свое мнение. Просто я вам немного расскажу о себе, а вы уж судите сами.

Сам я брянский. Мой отец прошел две войны и умер в

старости от ран. Мать тоже была на войне в составе действующей армии. Сам я в армии с 18 лет. Окончил Высшее артиллерийское училище. Служил в разных местах, но большей частью под Москвой и в Москве. Был в Чехословакии в 68 году и не виню себя, как это модно сейчас, я был там и делал то, что приказывали. Кстати, у меня на НП были не только русские (советские), но и чехи. Я не делал ничего такого, за что бы сейчас стыдился, то же я могу сказать о тех офицерах, которых я знал там. Я — русский офицер. Подчеркиваю — русский — это не дань, это убеждение. За границей нас называли — «русские», будь он татарин или узбек.

Простите, вы, мужик, смогли бы себя сдержать, когда вас обливают бранью и помоями, провоцируют на то, чтобы я применил оружие. Вы сдержались бы? А то, что в острейшей ситуации вам бы спас жизнь, да только ее, проклятую, офицер армии ГДР (бывший) немец, фашист, как у нас принято в иносказании. Я ел хлеб вместе со своими солдатами, они были моей семьей и ни один из них не изменил мне как командиру, а Родине были преданы все. Они заботились обо мне, прикрывали меня. Я был таким же — я за любого из них отдал бы жизнь, не задумываясь.

Последние годы своей жизни я провел в Афгане. Командовал спец. развед. группой. У вас повернется язык упрекать тех ребят, в 18—20 лет оставшихся лежать там, на камнях? Вы можете упрекнуть меня — который и их вел?

Я присягал, да, я офицер, но я честно выполнил свой долг, а Вы честно выполняете свой гражданский долг? Я прошел свой путь честно, без упрека со стороны солдат, а они — мои высшие судьи для меня. Моя кровь в ржавой луже сливалась с ихней. У вас есть другая правда, кроме той, которая — когда человек, истекая кровью, поднимается, чтобы прикрыть своих товарищей, — вы это видели? Я видел это! Или Вы представляете себе армию, где по каждому поводу начинали бы митинговать и спорить?

За Афган я отсидел три года. Поясню суть — но это не для печати...

...Я ушел с ребятами в очередное задание, на территорию Пакистана — там не было четкой границы. Но это нас не волновало, мы почти привыкли... Нас засекли и прижали. Свои «вертушки» мы не смогли вызвать. Нас было 7 человек. Отстреливаясь, мы укрылись в гроте. Они

насели на нас основательно — мы отстреливались часа три, пока они не забросали нас химическими гранатами. Ребята погибли — они были сзади меня, я был первый у входа в грот, а сзади чад застоялся. Меня вечером продуло, я очухался, проверил: ребята — мертвые. Сам хуже чем с дикого похмелья, рвет, падаю и местами не помню себя, кто я? Оружия и документов не было — «духи» забрали. Даже кольцо обручальное с пальца сняли, как знали, гады, что первая жена меня бросит... Выглядело все препаскудно: люди погибли, которые со мной были, секретных документов нет, а сам живой явился... Короче, трибунал. Три года. Может, еще мало дали. Я никого не виню... я сам не смог уберечь ребят — они должна были жить. Сейчас я живу за них, и они спрашивают меня во сне: «А как ты за нас живешь? Мы же умерли за тебя!..»

А насчет дедовщины — я вам так скажу: она появилась в строительных частях, куда призывали — в соответствии с указом — уголовников. «Деды» в русской армии были всегда и будут, но сейчас они гипертрофированы и дискриминированы не лучшей частью нашей армии.

Скажу вам: во время первого выстрела на батарее «старики» сгоняли нас, молодых, к третьему орудию и заставляли нюхать вылетевшую гильзу, приговаривая: «Порох нюхай!» — но там же, когда темп стрельбы доходил до сумасшедшего и нам, еще не закаленным, приходилось туго, эти самые «деды» отталкивали нас от орудий, говоря: «Отдохните-ка, сынки» — и сами, сняв гимнастерки, носились, как черти, а один снаряд весил 65 килограммов. Они не уставали, а если и да, то не показывали нам виду. Потом мы сами становились «стариками», и молодые к нам относились с почтением, они даже горевали, когда от нас ушел лучший наводчик, кстати, из Дагестана. Он сам обегал всех молодых наводчиков, без грубости, с кавказской вежливостью и тактом объяснял молодым тонкости нашего дела. Но если была ошибка, переживала вся — именно вся! — батарея, тому, кто допустил ошибку, прохода не было — нет-нет, подначивали все, но, клянусь, не более.

Виктор Петрович! Вы — мужик, сибиряк, но неужели Вы могли допустить, что мать, не пускающая сына своего в армию, потому что там есть Закавказье, не вырастит мужика-солдата? А Отчизне нужны и солдаты... Или вы против?

С уважением к вам! Бог да воздаст Вам за Ваши дела. Еще раз простите, с почитанием, без назойливости

Валентин *(фамилия неразборчива)*

[1991 год]

Милый, дорогой Виктор!

Качели года подбросили к вершине лета, всегда ожидаемой с какой-то надеждой, будто именно летом должно произойти что-то особенное и важное, но, как всегда, ничего особенного не произошло, и вот теперь эти качели полетели вниз — к зиме, к концу года (а про себя думаешь, что и к концу жизни вообще...). Так вот, в раскачивании надежд и упований, вверх — вниз, вверх — вниз, и проходит суета и в сущности никчемная человеческая жизнь.

По той же причине суеты все не собрался написать тебе, все ловил какое-то в себе настроение, высший душевный порядок. Порядка я пока не дождался и вот пишу без всякого порядка, а просто так, по велению души, которая по тебе порядком соскучилась. Опять хочется тебя видеть, и слышать, и просто молча почувствовать тебя рядом, как, бывало, в детстве чувствовал близость дедова коня, потно-полынный запах его могучих боков, мельничное ворочанье тяжелых конских салазок и вкрадчивое бархатное шуршание губ, перебирающих сено, отыскивающих себе наиболее сладкие травинки и былинки... Теперь я понимаю это свое чувство — это потребность человеческой дружбы, надежность опоры, созвучности дней, часов и минут в нашей разобщенной жизни.

Часто вспоминаю твой внезапный, такой короткий, но такой праздничный заскок к нам в Курск и тайно мечтаю, что это еще раз возможно, еще можно повторить, когда ты будешь в Москве — на съезде ли или так, по каким-то иным делам.

В июле я был в Переделкино, и было весьма скучно среди старых, шаркающих подошвами каких-то переводчиков, пахнущих нафталином и собственным увяданием. И тешил себя тем, что ездил по малым окрестным городишкам, где особенно обозначилось опустение и пагубность всех этих последних десятилетий, но тем не менее всегда находилось что-нибудь для души, как, например,

прекрасный пятиглавый собор в Малом Ярославце, построенный по случаю победы над Наполеоном. А больше — удил карасей в переделкинском пруду. Это тихое мое увлечение имело тот смысл, что позволяло полностью, напрочь отключиться от московских литературных проблем и так опроститься в общении с водой, нависшими ольхами, барахтаньем диких уток, меж поплавками наплывающих хватать хлебные корки, которыми обычно прикармливают здешнюю рыбу, что после проведенного на пруду рассвета становится странным видеть потом по возвращении всю эту заспанную респектабельность переделкинской территории и ее обитателей, бредущую есть утреннюю овсяную кашу.

Между прочим, возле вестибюльной телефонной будки нос к носу встретился с Васей Емельяненко, которому уже 78 лет, но который по-прежнему поджар и горазд выхлебать. Произвел он на меня удручающее впечатление своим каким-то внутренним распадом — недавний секретарь партбюро, а ныне бегающей ставить свечки в соседнюю переделкинскую церковь. Затащил он меня к себе на дачу, показал огромные стометровые апартаменты с холлом, гостиной, кабинетом, двумя спальнями и тридцатиметровой кухней. За все это платит тридцатку и живет совершенно один, тогда как люди летом мыкаются, ищут за пределами Москвы хотя бы угол, койку за ту же тридцатку, а то и более. Меня все это покоробило, вся эта мебель, добытая по дешевке все в том же Доме творчества, где он разживался на правах секретаря партбюро, ряды откидных кресел перед цветным телевизором, и хотелось спросить: «А что же дальше, дорогой Вася? Вот ты лез-лез, делал карьеру, ходишь теперь по безлюдным дачным хоромам, среди пожухлых грядок с луком и астрами — совершенно один, заброшенный и никому не нужный, бегающий за речку в церковь ставить запоздалые свечки святым угодникам, — а что же дальше?

Все эти десятилетия он жил «звездой», открывал ею почти любые двери и почти любые запоры, не делая из себя скромника, а всерьез считая, что за его «героизм» народ и страна обязаны платить ему вечно...

Не знаю, может быть, все это я зря, но мне тогда сделалось как-то худо на душе, и я не чаял, как убраться с его самодовольной дачи.

Если ты в эти дни окажешься в Москве, то можешь заскочить к нему и даже сколько-то пожить в его феше-

небельном номере со всеми удобствами и сверхудобствами. Я по-прежнему останавливаюсь и живу в старых деревянных коттеджах, с которыми связано столько воспоминаний, в том числе и то, как у тебя в 61-й комнате хлебали стерляжью уху из головизны, купленной Кузькиным-Воронецким, к сожалению, умершим в начале этого лета.

Вчера вечером проводил на поезд Павлика Кривцова, который по дороге к матери в Белгород всегда останавливается у меня. Теперь он загорелся поснимать нашу коренную пустынь, которую передали в руки церкви и которую спешно и расторопно восстанавливают уже объявившиеся монахи. А ихнего игумена уже успело избить окрестное деревенское хулиганье. Избили на территории собственного монастыря. Воруют с гряд монастырскую картошку, сворачивают замки с погребов и сараюшек, насилуют девок в святых кущах: старое и новое! Хорошо бы тебе там тоже побывать: иноки и монастырские отцы отзывчивы и гостеприимны, угостят заведшимся медом, парным молоком от собственных коров, покажут и расскажут.

Витя, милый! Наступил край бумаги и на этих последних клетках осталось только обнять тебя крепко и пожелать тебе и Маше добра и здоровья!

*Твой **Женя (Носов)***

22.10.91 г.

Дорогие мои Черношкуры! Лидия, Лариса, Леня и Павел!

Поклон Вам из далекой по-осеннему притихшей Сибири с уже нагими лесами, отлетевшими птицами, с грустью в природе и народе, толкущемся в очередях возле пустых прилавков.

Еще летом, будучи в деревне, получил я от Вас письмо. Лидия в письмах такая же, как и в жизни, я слышу ее голос, читая письмо, а «звук» в слоге, на немой бумаге дается только людям искренним, душевно одаренным. Хотел я ответить на письмо, хотя Лидия и не велела, но както незаметно прошло лето, а было оно у нас дождливое, холодное, и вот поздняя осень, а письмо все лежит на столе и ждет своей очереди. А тут от Лидии еще одна

весточка и посылка! Можно было все это и не посылать, но раз уж послали, то и спасибо! Особое спасибо от Поли — внучки — за шоколад. Я одну шоколадку отдал бабушке и Поле, а другую положил к себе в стол, но хитренькая наша Поля, прикончив бабушкину шоколадку, стала навещать мою комнату и спрашивать: «Деда, нет ли у тебя чего-нибудь сладенького?»

Что сделаешь, дети наши лишены и необходимых продуктов и вещей, о лакомствах и говорить не приходится. Это в моей судьбе, где нет нужды, и мы можем позволить себе заплатить втридорога, а что говорить о людях бедных, нуждой задавленных, коих становится все больше и больше.

Это я к тому, чтоб Вы не особо торопились из пресыщенной Голландии, еще надоедят и наши порядки, и наши распри, и наша беспросветная нужда. Но, впрочем, живут люди и работают в той же «Комсомолке» — куда денешься? Леню, наверное, возьмут в штат или пошлют куда собкором. Может, на ридну Украину? Хорошо бы, там вроде полегче, хотя хохлы и дурят, охваченные зудом самостийности, да и хохлацкая, самая крепкая дурь, небесконечна, жизнь, видимо, заставит все наши поврежденные большевизмом народы все же жить объединенно, хотя бы в период становления экономической самостоятельности, иначе раздор, беда, новые гетманы типа Ивана Драча и великого Дмытро Павлычко — поорут-поорут, покрасуются и с трибун сойдут, а народу жить, бедовать.

Летом, запертый непогодой в своей деревенской избе, я принялся работать и закончил свою самую заветную книгу «Последний поклон», написал две заключительные главы, которые будут печататься в «Новом мире». Потом поездил по Енисею, летал в тайгу, и если раньше я приезжал из тайги отдохнувший, бодрый духом, заряженный на работу, то нынче явился домой еще более подавленный и разбитый — оголодавшие, но больше сытые люди рвут из лесов все, что можно съесть и продать.

О, Господи! Куда мы идем и заворачиваем? Работать пока не принимался, рукопись романа еще и не открывал. В ноябре по приглашению «Комсомолки» полечу на «Римские встречи» в Москву, может, после поездки пойдет работа. Когда я улетал от Вас в Рим и, когда вернулся, тут же сел работать — так ободрила и дух мой поддержала воистину дружеская встреча и отношения между людьми в Риме.

А дома-то у нас идет грызня, доходящая уж до резни в Союзе писателей. Наверное, и скорей всего я не буду состоять ни в одном из ныне образовавшихся союзов, потому что и не союзы они, а обыкновенные шайки разбойников с паханами во главе.

Лида! Леня! Я посылаю письмо на московский адрес — наверное, по этому адресу живут Ваши родные, и они перешлют Вам или передадут письмо, от нас оно может и не дойти. Если переедете, дайте знать, где вы, что вы? Я хоть и редко, но бываю в Москве, и, Бог даст, встретимся.

Был я еще в одной чудесной стране, в Шотландии, угодил туда во дни путча. На чужой стороне, пусть и дружественной, доброй и прекрасной, переживать такие события не приведи Господи...

Ну, всего не написать.

Обнимаю вас всех. Желаю доброго возвращения домой и терпения большого, и здоровья, чтобы перенести переезд и войти в нашу жизнь, если это можно назвать человеческой жизнью.

Мария Семеновна, Витя малый и большой так же кланяются Вам, а Поля целует тетю Лиду за сладенькое. Всем вам всего самого доброго.

Тепло Вас вспоминающий —

Виктор Петрович

Передайте, пожалуйста, поклон Липняковым. Письмо и фото я от них получил и тоже собирался написать, да вот пособирался...

г. Красноярск

22.10.91 г.

Дорогой Анар!

Из осенней, грустно притихшей Сибири поклон Вам и благодарность за Ваше теплое письмо. Приглашение до меня не дошло, а письмо, слава Богу, достигло адресата. И еще в «Литературке» я прочел Вашу умную и печальную статью.

Я совершенно согласен с Вами, и пока от раздоров и разъединений мы ничего не приобрели, но потеряли многое. Я думаю, что национальные наши литературы начнут затухать от того, что, прежде всего, у них не будет выхода на широкого читателя, в самих же республиках читают

мало и уровень читательский невысок. Писатели будут обречены вращаться в собственном кругу и писать друг для друга. Азербайджану, быть может, это угрожает меньше, чем другим соседним республикам, у него есть давняя историческая связь с Турцией и через нее выход в широкий мир, но соседи Ваши, опьяневшие от свободы, начатой с кровопролитий и мордованья малых народов, эти одичают очень быстро.

«Ну да никто, как Бог, — сказали мне в Боснии, разрешая посетить мечеть, молвили. — Бог везде Один».

К сожалению, я был в тайге, когда пришло Ваше письмо, и дома сложности большие, не всегда я могу поехать куда-либо, но все равно я благодарю Вас за приглашение и за добрые слова. Желаю Вам и народу Вашему не озлобиться, не потерять облик человеческий, мирного труда желаю и покоя под крышей дома своего, а в сердце Бога и веры в лучшую долю детей своих.

Низко Вам кланяюсь, братски обнимаю —

В. Астафьев

[1991 год]

Дорогой Витя!

Странно стало на земле: все нынешнее лето лило и мочило, на наших огородных сотках не выросло ни огурцов, ни помидоров, лук — с ноготок, а моркошка — с авторучку, но не с ту, что с чернилами, а с ту, которая со стержнем. Огород наш на краю оврага, поросшего дубами и березами, а понизу — всякий веселый подлес: дикие груши, яблони, боярышник, шиповник терен и пр. Но так нынче лило, что ничего не завязалось на дикоросье, и я не собрал даже терновника на варенье, который в те года был всегда ядрен и обилен. А еще хороша из него наливка — черная, как ночь, с малиновыми молниями, если встряхнуть...

Правда, в домашних садах на некоторых сортах яблонь яблоки все же занялись. Колька Шадрин, твой родич, присылал тебе посылочку. Это он бегал в сельхозинститутский сад за городом и натрусил маленько. Там они, яблоки, все равно погибают, так как студентов в это время гонят на картошку, а свои яблоки убирать некому. Потому они падают и гниют. Когда проходишь мимо это-

го сада, то слышно, как стукают и шелестят ветви под падающими яблоками и как веет оттуда, из-за садовой канавы, терпкой бражкой и рислингом. Постепенно румяные опавшие яблоки превращаются в рыжую грязь, потом эту прель прикроет листвой, бражка уйдет в землю — и в таком бесполезном круговороте круглый год. А все ж это — труд человеческий, денежки. А сейчас какие-то привозные яблоки продают по 400 рублей...

А потом, опосля дождей, в конце сентября, резко захолодало, и весь октябрь, и часть ноября стоял мороз. Ну, морозы, конечно, не ваши, не сибирские, но пали они на раздетую, бесснежную землю, на голые озими, и веет от всего этого новой бедой...

А сейчас вот отпустило, расквасило не ко времени. У вас, гляжу, держатся морозы в 9—12 градусов, самое хорошо, а у нас потекло-побежало. А Европа вообще плавает, вон сообщили: у немецкого канцлера Коля затопило гараж, и вода грозит самому парламенту. Паводки подступились и к Западной Украине. Но нам, курянам, вода не страшна: мы живем на верхотуре. Впрочем, кто живет по речным берегам — тем иногда достается. Во время паводков начинают резать коров, свиней — все, что нельзя втащить на крышу.

А еще примета странности: в Курске не стало воробьев. Прежде, бывало, в летнее время на рассвете такой галдеж, столько веселого, беззаботного чириканья, а в этом году — зловеще тихо. Не видно их ни на помойках, где они обычно дожидаются вместе с голубями, ни возле кафе, где склевывали с покинутых тарелок на летних столиках, ни возле булочных, которые привлекали запахом свежего хлеба или оброненным ломтем. Не-э-ту-у!!! В газетке нашей писал какой-то ученый, видно, велено было ему разъяснить народу, — так он говорил, будто воробьев не стало по многим косвенным причинам: сократились места удобного гнездования, уменьшилася кормовая база и пр. ученая ересь. Но народ упорно называет главную причину — Чернобыль... Уже давно весной в курском небе не поют жаворонки, а теперь вот извели и воробьев. Очередь за писателями. Клевать им совсем не стало чего и пробавляются кто чем. В большинстве своем бросили писать. Боря Агеев (прибыл к нам с Камчатки) работает истопником, Юрка Першин — вернулся в свою медицину, Мишка Евсеев живет огородами и тем, что сопрут в боль-

ничке его зятья — врачи, Петя Сальников живет пенсией. Завел собаку, но кормит ее впроголодь, поскольку на колбасу пенсия не тянет. Коля Шадрин, интересный парнишка, очень благодарен тебе за помощь, за публикацию в «Сибирских огнях», говорит о тебе с деликатным трепетом и все время только Виктор Петрович, Виктор Петрович. ... — так этот самый Коля по три раза в день бегает по детсадам и школам изображать Хоттабыча, а еще ведет кружок пантомимы... Мелькнул тут, в Черноземье, Ваня Рыжих, с лету женился на какой-то деревенской бабе, собрался даже на новом месте вплотную заняться мемуарами, да по пьянке сжег хату, оставил бабу без крова, а сам опять умотал в Тихий океан. Сейчас и не знаю где...

А между тем завтра у нас затевается литературный семинар. Проводится он ежегодно вместе с белгородской организацией. Один год пьют на курские гроши (гроши обычно выпрашивают у властей, у «спонсоров»), а другой год пьют на деньги белгородцев. Сегодня очередь поить белгородцев. Приедут со своим салом, со своим самогоном... Но я это не осуждаю: пожалуй, осталась единственная возможность пообщаться, распустить хвост, потыриться друг на друга, у кого толще... Ведь нынче писатели больше, как самим себе, никому не нужны. Не стали звать их на заводы и предприятия, парторг втихаря, заперев кабинет, не рвет пробку с бутылки, чтобы под партийный бутерброд поиметь честь выпить с самими писателями. И даже на гостиницу нынешние самописцы и их наставники не претендуют: не стало у них таких грошей, таких долларов, чтобы спать на крахмальных гостиничных простынях, блевать в фаянсовом туалете и пить с похмелья минеральную воду из большой холодно продрогшей бутылки-баллончика... Ночь будут коротать в заводской общаге на несвежих матрацах под вытертыми одеялками, умываться и чистить зубы — необязательно, а завтракать — вчерашний из холодильника винегрет с луком и синий обезжиренный кефир в полупустой выхоложенной столовой. И, конечно, вечером в шуме, куреве, разостлав скудную снедь на газетке, напьются до чертиков, а водку, пиво, домашнюю бражку все будут выставлять и выставлять из портфелей, авосек, карманов курток и плащей, и все ж таки всего этого не хватит, и побегут искать еще, и кто-то загремит в милицию, потеряет шапку, у кого-то выгребут последние деньги и даже билет на обратный проезд... И

все равно останутся добрые воспоминания о единении и братстве, с которыми будут жить до следующего семинара. А больше-то жить и нечем...

Я, например, уже года три не бывал в Москве, некуда и не к кому ехать. Даже не знаю, где теперь какие союзы, кто там верховодит. Говорят, Бондарев свой великолепный дворец с золотыми перилами почти весь отдал в аренду, сотрудников поувольнял, а сам с кем-то еще из царедворцев коротает где-то в оставшихся комнатах бывшего начальственного этажа. Недавно по телевизору показывали жалкую сцену присуждения Толстовской премии. Премию вручали, конечно же, Юрию Васильевичу. Как-никак 700 тысяч рублей.

Было объявлено: «За выдающиеся заслуги в области литературы...» Старая лиса Михалков, не желающий расставаться со своей прежней ролью благодетеля, обнимал и лобызал Бондарева, еще недавно поливающего грязью дядю Степу, когда спешил занять его место, а вокруг — благоговейное окружение подхалимов, среди которых и наш общий друг Толя Знаменский, наконец-то через извивы своей непредсказуемости добравшийся до высших коридоров и ковров, правда, изрядно потертых и замызганных подошвами ему подобных. И все же Толя опоздал, поспел только к остывающей миске с дармовым хлебовом, уже выхлебанным до самого дна.

Вить! Не понравилось мне, как эта дура Татьяна Иванова, та самая усатая дама, что работала в «Нашем современнике» еще при Сереге и затеяла шашни с Коробовым, пока Серега пил водку в Карловых Варах, а ныне ставшая радиообозревателем, как бы раздающая литературные пироги и пышки, как бы главная ключница современных литературных благ, на что ее, собственно, никто не уполномочивал, а принялась судить о всех и вся по собственному нахальству и общей смуте, — так вот, эта Татьяна Иванова третьего дня на всю Россию принялась орать, почему-де Астафьеву не дали Государственную премию, который в трудную минуту Родины замолвил за нее свое высокое авторитетное слово (все — ее слова). Ведь это же весьма провокационно так орать. Разве премию дают за «авторитетное слово» в «трудную минуту Родины»? Что же она, дурища, так-то тебя дискредитирует? Я бы на твоем месте написал бы реплику в «Литературку» по поводу такой медвежьей ее услуги. Иначе как же теперь радуют-

ся, потирают руки все твои теперешние недруги. Мол, вот смотрите, Астафьев обрушился на большевизм, а ему за это требуют Госпремию. С этими друзьями русской словесности надо ухо держать востро. Премию ты все равно получишь, если не сегодня, то завтра, но не хотелось, чтобы это произошло с такой вот помощью и радением.

Вить, извини, если в этом своем размышлении что-то покажется тебе бестактным. Но я ведь тоже переживаю за тебя и знаю, сколько уже раз ловили тебя на этой твоей открытости и откровенности.

А теперь в самый раз на остатке листа бегло и скороговоркой, как всегда делают это наши собратья-славяне, поздравить тебя с наступающим (или уже наступившим Новым годом — ох, сколько их еще там, за бугром?..) и пожелать тебе, милый, добра и здоровья, здоровья и добра, и Маше, дорогой Марии Семеновне, и всему дому твоему тоже.

*Обнимаю. Твой **Женя (Носов)***

[Осень 1991 года]

Уважаемый Виктор Петрович. Прочел в «Новом мире» Ваши «Буйную головушку» и «Раздумья». «Буйная головушка» сама по себе очень интересна своим юмором. Но тем не менее это дело более семейное, хотя политики там достаточно. А вот «Раздумья» меня задели за живое. Дело в том, что я примерно из тех же мест, о которых Вы ведете речь. Читал повествование медленно и после каждой страницы останавливался с тем, чтобы сравнить, что видел собственными глазами. Будучи мальчиком, я наблюдал, как растаскивали нехитрые крестьянские хозяйства, как забирали и увозили куда-то самых работящих и смекалистых мужиков.

Наша деревня Облава (Архангельск) расположена в 40 км от Канска на север, в деревне было 100 дворов. 20 человек — глав семейств — были или расстреляны, или замучены до смерти. Это 20% лучших крестьян. По официальной статистике известно, что до коллективизации в Союзе было 25 млн. крестьянских хозяйств, 20% от этого числа составит 5 миллионов лучших крестьян, которые были уничтожены физически. Плюс к этому все, кто мог-

ли, сбежали из деревни. Остались только старики и те, кто не в состоянии были определиться на производство. В результате насильственно созданные колхозы были обречены, что и доказано жизнью. Это было результатом пассивного сопротивления крестьянства. Но у нас был один случай вооруженного сопротивления. Мой ровесник Коля Шебеко застрелил из дробовика уполномоченного из Канска. Я слышал, что подобные случаи были и в соседних деревнях, в частности, в деревне Мокрушино. Слышал также, что где-то в районе Тасеева собирались партизанские отряды. Но из этого ничего не вышло.

Я еще плавал в качестве пассажира на пароходе «Спартак», который в качестве топлива использовал дрова. Из Ваших «Раздумий» мне стало ясно, что эти дрова заготавливал Ваш батя. «Внатури». А стрелял он как: раз — и ваших нет.

Характерно, что те, кто разорял и крестьян, и якобы создавал колхозы, сами потом из них сбежали. При этом они нашли подходящую работенку: в тюрьме охранниками, надзирателями (Степан Ганусок и Семен Горбаченко).

Из подростков (ровесников Павлика Морозова) в позорной авантюре раскулачивания участвовал только один Колька Фёклин. Фёкла — эта падшая женщина. Больше таких случаев не было. Это говорит о довольно высокой морали крестьянского населения.

Вы правильно пишете, что в Игарке оставшиеся в живых ссыльные мужики в конце концов приспособились к новым условиям и стали жить довольно сносно. Но вот одна беда не обошла их стороной. Дело в том, что девушки — дочери ссыльных — после войны, когда стало ясно, что женихов своих нет (побили на фронте), ринулись в Норильск на поиски своего счастья. А там их быстро прибрали к рукам. Короче, большинство из них попали в такой омут, из которого уже выбраться не смогли. Женихи норильские — это бывшие лагерники, к семейной жизни неспособны. В большинстве женщины, в конечном счете, скрутились и превратились в отъявленных шлюх. Это тоже следствие сталинского ГУЛАГа.

Хотелось бы выразить одно пожелание. Надо бы издать сборник рассказов о коллективизации и раскулачивании. В частности, включить туда недавно опубликованные рассказы Тендрякова, Карпова и многих др. Такой

сборник создаст у читателя более полное впечатление, чем прочитанный отдельный рассказ.

С большим приветом,

Лунева А. Л.

19.11.91 г.

Уважаемые товарищи из отдела писем
«Ленинградской правды»!

Я как бывший газетчик знаю, что Вы найдете возможность «дать ход» этому моему письму. Горькому, недоуменному...

Осенью прошлого года, во второй половине сентября, будучи в Вологде (где я прежде жил), я одновременно направил семи адресатам в Ленинград четыре тома моего собрания сочинений. И ни одна! Ни одна книга не достигла адресата...

Книги украли!

В Вологде, на 4-м почтовом отделении, откуда я отправлял книги, их украсть не могли, здесь меня очень хорошо знают, и вообще в Вологде люди живут честные и скромные. Если б воровали на почтовых отделениях Ленинграда, все равно, хотя бы одна книга да «прорвалась» к адресатам, ибо живут они в разных концах города, тем более что на одной бандероли стояла фамилия Мравинского Евгения Александровича, и уж его-то, великого человека, думаю я, еще уважают и почитают в этом великом городе.

Книги украдены либо в поезде, в почтовом(!) вагоне, либо на почтовых(!) сортировках, украдены людьми беспардонно наглыми, ничего не читающими. Иначе они бы поняли, что воровать книги — дело не только преступное и безнравственное в высшей степени, тем более присваивать последний том собрания сочинений автора — это значит разбить собрание при современном голоде на книгу, обездолить и оставить читателя без последнего тома. На всех томах, на третьей странице, стоит мой автограф — значит и это для современных почтовых пиратов уже не преграда!

Реестр, по которому я сдал бандероли, у меня, к сожалению, не сохранился, да если бы и сохранился, сдва ли книги уже нашлись бы, но воровство моих книг, навер-

ное, не первое и не последнее дело темных людей. И где воруют-то? В Ленинграде! В городе, который для меня, да и для всех русских и советских людей был и остается самым почитаемым в нашей стране городом, при одном упоминании о котором что-то светлое и святое поднимается в душе...

И вот харчком в это святое!

Виктор Астафьев,
писатель.
лауреат Государственных премий России и СССР

19.11.91 г.

Дорогой Евгений Александрович! (Евтушенко)

Из газет я узнал, что меня зачислили в члены и даже выбрали секретарем в какую-то возглавляемую Черниченко организацию СП.

Ну существуют же какие-то, пусть не этические (до этики ли нам сейчас!), а просто общечеловеческие нормы, по которым надобно спросить у человека, прежде чем назначить или выбрать его куда-то.

Ни в каком творческом Союзе, и в Вашем тоже, я более состоять не хочу и не буду. Вот достукаю срок члена Союза писателей СССР и стану сам себе союзом.

Виктор Астафьев

[1991 год]

Здравствуй, Валентин! (Сорокин)

Рукопись твою я прочел. Многое мне в ней понравилось. Способности твои несомненны, а местами ты пишешь уже вполне профессионально и даже свой стиль кое-где проклевывается. Думаю, когда ты избавишься от пут ультрасовременной, преимущественно плохой прозы, стиль твой вылупится еще зримее. А на ощупь свой стиль — это не всем сразу удается, иногда люди жизнь на это убивают, но так и остаются эпигонами.

Однако хватит «обобщений», как ты говоришь, перейдем к делу.

Мне думается, над повестью нужно еще много рабо-

тать. Увы, после обсуждения ты очень мало чего сделал, а ведь писатель начинается с умения дорабатывать, дотягивать, иной раз пять процентов дотяжки занимают больше времени и требуют куда больше сил и терпения, чем все остальные 95.

Я помню, тебе говорили о том, чтоб ты прописал капитана, сделал его более зримым и действенным. Но ты его по-прежнему «обличаешь» от автора — и за что? А раз капитан не сделан, в действии почти не показан — ты не имеешь права обзываться. Ты сделай его так, чтоб читатели сами сказали: «Вот так сволочь!»

На тебя очень давит фактический материал, и ты не составляешь себе труда повыдумывать, домыслить, а ведь без фантазии вещь получается бескрыла, бытописательна и, несмотря на «смак», начинает прискучивать уже в середине.

Вот давай вместе пофантазируем! Беру первый пришедший в голову ход. Допустим, не комдей, а капитан совратил жену Баумана. Бауман — мужик тертый, он ребятишкам не исповедуется. О происшедшем знает Георгиевич и еще один-два человека, умеющих держать язык за зубами.

«Салаги» вякают насчет баб, треплются, но чувствуют, что на корабле что-то неладно, уж очень лебезит капитан перед Бауманом, уж очень натянуты у них отношения. Это сказывается на работе, на всей жизни команды.

Пришли в Находку. Капитан, пользуясь своим положением, назначает Баумана на вахту, а сам в город.

Георгиевич не выдерживает и велит Бауману сойти на берег и сделать с этим подонком все, чего ему захочется.

У «салаг» ушки на макушке, они начинают догадываться о чем-то, ждут действий от Баумана, а он колеблется, говорит Георгиевичу, предположим, такие слова: «Ну, прикончу я его. А потом что? Снова город Свободный? А бабе что? Дратвой зашить на это время?» Валерий впервые узнает, что Бауман был там же, где и его отец. А он-то врал, что отец на фронте! Можно сделать и так, что боцман знал отца Валерия, знал, как он погиб, но помалкивал, не давая парнишке лишиться красивой выдумки. Жалеючи его опять же. Все это углубит характеры, сделает отношения людей глубже, сложнее.

Так. Пойдем дальше.

Георгиевич не выдерживает, ругается и говорит, что

он сам пойдет тогда на берег и хотя бы набьет капитану морду.

Боцман сломался. Спрашивает: «Нет ли у кого выпить?» Нету. Он прячет что-то в карман, собирается уже сходить на берег, и в это время поступает известие о цунами. Георгиевич гонит боцмана, ругает, ребята ждут — чего будет? Боцман поднимается в рубку, дает гудок, второй, третий. Плачет и гудит. Матерится и гудит.

Все возвращаются — капитана нет. Удрали в море. Миновали цунами или волну землетрясения. В работе, в аду боцман малость забылся. Но вот шторм кончился.

Георгиевич спускается к ребятам, спрашивает, как сходили на берег. Ребята рассказывают, как достали спирт, но выпить его не успели. «Отдать боцману!» — приказывает Георгиевич. Но боцман один пить не хочет. Пьют все и вот тут только узнают в чем дело, а Валерка узнает, что боцман знал его отца... и молчал.

Естественный взрыв негодования, команда шлет петицию о нежелании иметь такого капитана и т. д.

Видишь вот, как на том же материале можно обострить сюжет, сделать напряженней действие, круче замешать отношения между людьми и, следовательно, и самих людей сделать емче, глубже.

Это же поможет избавиться от лишнего персонажа — комдея. Людей у тебя лишковато в повести. Необязательно описывать всех, удели больше внимания тем, кто тебе нужен для действия. Кстати, и во время лова рыбы надо делать не просто «процесс лова», а опять же действие, сплетать характеры. Сайру разогнали дельфины. Ну и что? Это можно вскользь сказать. А если подумать? Косяк попал небывалый. Я не знаю, как его берут. Подумай сам. Капитану мерещится план, новая машина «Волга», а пока у него ее нет, или дача, или поездка за границу. Деньги, слава, шум мерещится. А косяк, допустим, надо брать не сразу — нет таких возможностей (заболела часть команды, испортились подъемники, надвигается шторм — подумай, придумай что-нибудь).

И вот опять столкновение: команда тоже хочет взять рыбу, но по-людски, без рвачества, без обмана, допустим, соседних кораблей, а капитан стоит на своем.

И плевать на этих экзотических дельфинов! Пусть возьмут весь косяк, завалятся рыбой, а потом ее за борт придется выбрасывать. Бывало так? Слышал, бывало! — Вот тебе еще ход!

И так можно искать и искать. Нужно ПРОПИСЫВАТЬ вещь, изображать, а не пересказывать. И тогда размышления твоего героя, его сомнения, волнения и некоторый скепсис не повиснут в воздухе, а будут вытекать, как из речки, из самой жизни, изображенной в повести.

У повести неплохое, хотя и несколько традиционное, начало, но неважный конец. Повесть, по существу, кончается на эпизоде посещения семьи Георгиевича. Здесь, дома, он очень хорош, а вот на корабле его еще надо прописать.

Сюда же перетащи несколько мыслей о матери и обязательно о том, что она начала в Бога верить, а в прошлом, может быть, активисткой была.

Несколько мелких замечаний. Ты всех пишешь по кличкам. А этого делать не надо. Достаточно сказать раз, что Георгиевича звали Чифом и где-то к месту, с улыбкой еще разок-другой упомянуть это слово и все. Надо чувствовать этику слова, дорогой. Хлесткое слово «Чиф» не вяжется с лысым, домовитым, даже добродушным Георгиевичем. И других тоже посмотри с этой точки зрения.

О Владике: говорили ведь тебе на семинаре, что развязно фамильярничать — это очень плохо, а ты упрямишься и совсем напрасно упрямишься.

Есть такой прекрасный русский поэт — Борис Ручьев. Я как-то застал его в пьяной компании, где сидели литературные хлыщи, колотили его по плечу и орали: «Борька! Борис!»

Меня покоробило. Человеку пятьдесят лет. Он столько пережил, что этим хлыщам на триста душ хватило бы, и вот... Сам я не могу так. У меня язык не повернется. Он для меня — Борис Александрович, может быть, потому, что я умею уважать седины и горе человеческое.

Твои ребята форсят, жаргонят. Ну и пусть! Но почему же никто из старших не оборвет их? «Кого это вы Владиком называете?» Да и рассказал бы этим сосункам о том, что такое для России этот город, сколько он стоит жизней, слез. Какие люди основывали и отстаивали его. Рассказал бы так, чтоб сосункам и хотелось бы, да язык не поворачивается назвать этот город иначе, как по имени-отчеству.

Очень еще много у тебя вольности, граничащей с неряшеством. Распоясанный человек всегда неприятен, распоясанное литературное произведение неприятно во сто крат. И, между прочим, тут ничего общего со «свободой» нет. Литератор никогда не был и не будет свободен в том

смысле, в каком видится это тебе, ибо до него существовала литература! И какая! С традициями приходится считаться и уважать их. Традиций нет только у мещан и то лишь потому, что мещанин считает, будто до него ничего не было и история начиналась лично с него.

Есть такое жесткое определение — литературная дисциплина. Она не старшиной устанавливается, которого можно обозвать бандеровцем и послать подальше. Она собственной литературной культурой определяется. И если ты думаешь писать всерьез (а все данные к этому у тебя есть — партизаном не будь. Подпояшься, затяни потуже ремень, сожми себя в кулак, отмети из жизни все, что мешает писать, набираться ума-разума, — и тогда ты сам увидишь, как был смешон в литературном младенчестве, как «пускал петуха», выкрикивая о «политике» и плюя через борт в Великий океан.

Надеюсь, что я не зря потратил время на это длинное письмо и оно заставит тебя и поможет доработать вещь (стоящую того) и не выпускать в свет скороспелку и скородумку. Я жду НОВЫЙ вариант повести.

*С уважением, **В. Астафьев***

[1991 год]

Уважаемый Аскольд Михайлович!

Ну и времени свободного у Вас! Аж позавидуешь. И работоспособность адская! Надо же 13 страниц накатать по поводу пустякового рассказа и потом еще в переписку вступать, обличая уже и ответчиков, да все тоном прокурора, тоном вселенского брюзгливого судьи. А язык! Это меня, привыкшего читать трактаты экономического, социального и прочих свойств, да недоученных, но и переученных графоманов, едва хватило одолеть Вашу бумагу — как по молоку плывешь по Вашему тексту, по кислому, загустевшему. Есть простой способ, к которому прибегаю я сам: не по душе автор — я его и не читаю, давно не читаю и Пикуля — не «мой» он писатель, но у него первое место в стране «по потреблению» и не считаться с этим нельзя, как невозможно печатать и снимать одни шедевры. Смотрели же, читали и читают люди Софронова, а теперь вот Гельмана, а это Софронов нынешнего, перестроечного времени. Посмотрел разок, почитал другой — и хватит. Есть чего читать.

Должен Вам сказать, что Вы не одиноки в своем обличительном бумаготворчестве, тучи развелись людей, в основном пенсионеров, которых хлебом не корми, дай пообличать. Интересное наблюдение: чем выше уровень эстетический у человека, чем богаче его внутренняя культура (не грамота, нет, грамоте-то Вы куда как хорошо научились!), тем он сдержанней, уважительней и ЧЕЛОВЕЧНЕЙ в своих замечаниях, никогда не опускается до отповеди и хихиканья, показывая пальцем — «Смотрите! Смотрите!»

Много у меня появилось добрых знакомых заочных, которых я благодарил за замечания, ибо ошибки и в нашей работе, к сожалению, тоже неизбежны.

Сделав замечание о том, что колорадского жука на юге нету, крупный ученый и старый интеллигент Симолин через два года нашел время извиниться и написал, чтобы я не правил рассказ — появился колорадский жук и на юге, в том числе и на Кавказе, «это, мол, не Вам, а нам, работающим в «биологической энциклопедии», надо вносить поправку, жук нас и наши теории опередил».

Это не значит, что нет ошибок в моих работах, но с какого боку на них смотреть? Если с Вашего, то Николай Васильевич Гоголь, гений из гениев, на мой взгляд, по Вашему выйдет просто халтурщик.

Ну что это такое он пишет: «А у этого жида в бороде было семнадцать волосинок, да и те росли только с одной, с левой стороны».

Давайте по-вашему, с Вашей высокой колокольни посмотрим на это «безобразие». Как это старый человек, да еще горем убитый, Тарас Бульба, глядючи в окно, у разговаривающего среди улицы с другими жидами жида мог не только разглядеть, но и сосчитать волосинки? И где они, с левой стороны растут? Лица? Лба? Носа? И потом, отчего бы автору не заменить это хлесткое, ухо проживающее слово — «жид», ну и написал бы «еврей», «инородец», «человек, не помнящий национальности» — ведь мастак же пера, мог бы...

Нет, не мог. И не смог бы. Есть законы, именно этим писателем сотворенные, и они выше, как Вам ни горько сие слышать, наших с Вами законов, выученных из чужих книг и по чужим правилам употребляемых. Графоманов и плохих писателей плодит подражательность, следование выучке. Все у них точно, все «по правилам», ан не получается, нет самостоятельности. Мужик самостоятель-

ный, как говорят в народе пока не только крестьянину, но и писателю. Свои удила железные грызет, свою тропу топчет, свой хлеб ест, своим умом обходится человек, помня, конечно, всечасно, что на полке вон стоят Пушкин, Толстой, Достоевский. А у меня отдельно ото всех стоит еще и Гоголь, которого я так люблю читать, да времени нету, трачу его, дурак, на чтение писем, подобных Вашему, да еще порой и на ответы. Я уже чувствую, вижу, как Вы сжали руку не с ручкой — с мечом, плетью, чтобы высечь меня, поставить к столбу. Не надо! Не надо! Ваших писем читать я больше не буду и Вам не напишу. Почитайте лучше наших классиков. Или уж не можете без обличения? Это Ваш кислород? Судя по факсимильному штампику, шибко Вы уважительно относитесь к себе, так уважайте свое и наше время.

С поклоном, ***В. Астафьев***

8.12.91 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Прежде всего хочу Вас поздравить с высокой оценкой Вашего «Зрячего посоха».

Мне ее давала читать (в журнале) Анета Макарова.

Вы меня, конечно, не помните, но я хорошо помню, как Александр Николаевич познакомил нас с Вами — на макаровской кухне!

Я вдова писателя Адуева и по сей день живу в том же доме, и хорошо помню, как Александр Николаевич на следующий день пришел ко мне и долго рассказывал о том, какой Вы талантливый.

В дальнейшем я имела возможность оценить его дальнозоркость.

Сейчас у меня к Вам просьба. Мне уж много лет (я почти не выхожу из дома), в лавке давно не была, а очень хотела бы иметь Вашу книгу. Она мне напомнит и моего друга, и Вас — молодого, так хорошо оправдавшего предчувствия милого Александра Николаевича.

Прошу Вас, Виктор Петрович, пришлите мне, пожалуйста, «Зрячий посох». Заранее Вас благодарю и благословляю на Высокие творческие дела!

В. Адуева

15.12.91 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Почему я выбрал в «духовники» Вас? Да все очень просто — из всех писателей Вы мне самый близкий человек по духу, по мировоззрению, по нашей общей безраздельной любви к Енисею, нашему краю, нашему бедному и многострадальному Красноярску. Мало в Союзе мест, где бы я не бывал, и нет такой крупной реки, на которой бы я не ловил рыбу и не варил уху. Но нет на нашей планете реки чище и могучей. Нет той притягательной силы у других рек, как у Енисея. Он поражает раз и навсегда. Но для этого надо родиться на его правом берегу. И заметьте, я не оговорился, именно на его правом берегу. Раньше у Енисея, когда не было плотин, воды реки от правого к левому берегу никогда не смешивались. Вы помните, в былые времена воды Ангары от Стрелки и до Енисейска не смешивались, и струя Ангары и по цвету, и по вкусу отличалась от левого, была светлой, прозрачной, и в низовье это отличали. Левые притоки идут с низин, торфа, болот, а правые — стремительные горные реки. Вот и полагали коренные жители; что настоящие енисейцы живут на правом берегу.

Я родился в г. Минусинске, а он, как известно, стоит на протоке Енисея, в феврале 1929 года. Я был младшим из трех братьев нашей семьи. Старший умер во младенчестве, а средний погиб на войне 2 ноября 1943 года. Вот память о нем и побудила меня написать Вам письмо. Но об этом несколько позже.

Моя мама родом из с. Восточного, неподалеку от Минусинска, казачий поселок, она была дочерью казачьего урядника Клепикова. Отец питерский. Его занесла гражданская война на Енисей, и он, пораженный красотой Саян и края, остался здесь навсегда. Он был намного старше матери, по воспитанию старообрядец и держал нас всех в строгости, но не был деспотом, а был душевный человек. Очень любил книги и при частых переездах дарил их в те библиотеки, где был постоянным читателем. Матушка моя была учительницей в нач. классах, а отец служащий Госбанка, в должности кредитного инспектора. Второй его страстью была охота и рыбалка. Вот она-то и двигала его по краю.

Таким образом мы переехали, когда мне был один год, в с. Каратузское, в просторечьи Каратуз. Там я пошел в

школу, там у меня прорезалась память, и мир во всей красе его саянской я увидел в Каратузе, на р. Амыл, и прекрасное, божественное Синегорье. С г. Шумилихи смотришь вдаль и видишь до самого горизонта синюю-синюю даль тайги в легкой дымке, а тайга дремучая начиналась сразу с другого берега Амыла. Если Вы бывали там, то объяснять не надо. Это похожая панорама со 2-го и 4-го столба, когда смотришь на дикие Столбы на восток. На первом столбе я не бывал, так как был тогда мал и не позволяли подниматься туда, да и страшновато было, по правде говоря.

В 1937 году отца перевели в г. Красноярск, так как тогда был образован Кировской р-н и формировался Кировский районный Госбанк. Отец занял должность ст. кредитного инспектора, и мы на лошадях в декабре двинули на Абакан. Три подводы, где разместился багаж, мы сами и корм для лошадей. 120 км ехали с 2-мя ночевками в заезжих дворах. Тогда при гужевом транспорте многие держали заезжие дворы, где лошади отдыхали в конюшне, сбруя — в хомутовской, а извозчики — в общей избе. Ехали все в тулупах и дохах, в них же и спали на заезжем дворе. На дорогу наморозили мешок пельменей на нашу семью, извозчика и ему на обратный путь. Морозы были в ту пору очень сильные, лошади все стояли белые, а в поезде все окна были покрыты льдом, и, чтобы поглядеть в окно, надо было протаять глазок.

Приехали мы в Кировский р-н на 2-й участок; если помните, это было 109 или около этого 2-этажных деревянных домов — 2-подъездные по 8 квартир и по 12 квартир на 3 подъезда. Просторные отдельные квартиры, очень теплые, отапливались дровами. Дом наш № 60 был напротив ср. школы № 40, где мы и учились и где работала наша мама. На этом участке рядом с 40-й школой был построен единственный каменный многоэтажный дом. Звали его «авиадом», с центральным отоплением, там и был Госбанк Кировского района.

Вот и подошли наши жизненные тропы очень близко, а, возможно, когда-то и где-то пересеклись, и те бы перекрестки мне хотелось бы найти, переворошить кладовую памяти.

Ваше родное село Овсянку я помню. Пацаном я рос очень подвижным, шустрым, как говорят, я любил бродить везде, любил паромы. Тогда их ходило два; один от музея до острова Отдыха, а там на Переселенку через протоку; а второй до Затонского поселка на правый бе-

рег. Паромы звали «плашкоуты». Мостов тогда не было, и эти самоходные плашкоуты с колесом на корме исправно работали всю навигацию. Правый берег был связан еще и катерами, которые перевозили пассажиров. Был еще один вид транспорта — это пригородный поезд, который ходил до Клюквенной по прозванию «Ученик». Наш участок вплотную прилегал к ст. Злобино, а потом, когда через год мы переехали в дом № 91, оказались прямо напротив вокзальчика ст. Злобино. Мы и адрес указывали: Красноярск, ст. Злобино, 2-й уч., д. 91, кв. 3. Дом назывался «учительский», в нем жили только учителя и преподаватели ср. школ р-на № 39, № 40 и № 48 шк. 48-я школа была на Красмаше. По правому берегу — помните? — ходил рабочий поезд по прозванию «Матаня». Поначалу его таскал мотовоз, от него и произошло прозвище. На его пути были остановки: второй участок (это около аэроклуба) стадион, Злобино, топл. склад, канифольный, Красмаш, ТЭЦ и Бумстрой. Видите, сколько я описал транспортных средств передвижения. Все свободное время я любил кататься на них. Деньги проблему у нас не составляли, так как мы сами их хорошо зарабатывали: на складе топлива требовалась всегда рабочая сила штабелевать дрова и грузить подводы гортопа. По нашим понятиям, платили хорошо, мы даже зарабатывали на обувь.

Мой брат увлекался Столбами и носил даже форму столбиста. Она была очень своеобразна: была рубаха, жилет, шаровары, кушак и галоши. Кушак служил веревкой, а галоши помогали легко ходить по камням и не скользить. Я очень часто бывал на Столбах и поэтому Вашу деревню хорошо помню*. По-моему, у вас была пристань, и когда катер вез пассажиров на Столбы до пионерлагеря, то у вас делалась остановка и мы ездили до ст. Енисей, а дальше до пристани. Но саму Вашу деревню не помню. Помню, что от пионерлагеря шла тропа мимо «Чертова пальца» и называлась «Пыхтун». В предвоенные годы на Столбах была турбаза, и у меня сохранилось несколько фотокарточек. В сороковом году брат мой Юрий поступил в рем. училище № 2. Оно располагалось в Затоне. И стал учиться на судового машиниста, учился 2 года. В 1941 году грянула война и жизнь в Красноярске очень осложнилась. Наплыв эвакуированных все изменил. Учиться мы стали в 4-ю смену, заканчивали в 11 часов ночи. Ходили со своими свечками, так как электричество отдали заво-

* Автор путает поселок Базаиху с Овсянкой.

дам. Ночами стояли в очередях за хлебом. Моему внуку сейчас 14 лет, и он примерно проходит тот же путь без войны, но стоять в очередях не хочет.

Отец, чтобы как-то улучшить нашу жизнь, перевелся в г. Енисейск, мы, все упаковав, приехали на речной вокзал, стали ждать первого парохода. Брат ушел после выпуска пом. машиниста на пароход «Иван Папанин».

В нашем учительском доме жил старый учитель — пенсионер Шнейдер. Это был страстный рыбак, но это был не просто рыбак да и только. Нет, это был мастер высочайшего класса по ловле хариуса на обманку. Делал эти обманки он сам. Для этого ему нужны были крючки и петушиные перья. Поскольку до войны крючки просто так, как сейчас, купить было непросто, а купить их можно было только в ларьках «Утильсырья», где принимали цветной металл, я был главный поставщик цветного металла для отца. А разыскал я этот «клондайк» на заводской свалке Красмаша. Там были горы поршней и шатунов от двигателей. На той же свалке, добыв кувалду, я умудрялся в день выламывать до 50 бронзовых втулок. А на эти втулки отец приобретал любые крючки. Вот старый учитель и приблизил меня к себе, а за хорошее петушиное перо обещал взять с собой на рыбалку. Перья шли только от рыжего петуха, те, что свисают вдоль хвоста. Ловил он хариуса на речке Базаиха, но не там, где Вы работали составителем поездов, а в верховье этой речки. Дорога туда шла через поселок 1-го Мая, мимо Лысой горы через окраину пос. Торгашино, дальше через тайгу надо было перевалить хребет — и через пару верст речка. Текла она бурно, по камням, а кругом громадные пихтачи. Так вот, Шнейдер ловил хариусов огромных размеров по килограмму и выше. Леска у него была из натурального крученого шелка, а наши, из конского волоса, с треском лопались. Много я рыбачил по нашим сибирским рекам и забайкальским рекам, умел поймать на обманку не только хариуса, но крупного ленка и тайменя. На р. Ингода, живописная река в Читинской области, распространена ловля на кораблик, а по-ихнему «сани». Так очень неплохо ловил рыбу, но таких хариусов, как на Базаихе, даже близко не было.

Здесь обрываются папины черновики-письма, которые он Вам, Виктор Петрович, писал, но не успел дописать: 19 декабря папа заболел, а 22.12.91 г. он умер.

Его черновики я оставила себе как память, а Вам отправляю мною переписанные.

Очень прошу ответить мне на папин, так и не заданный вопрос о его брате Юрии.

Юрий Живов, 1925 года рождения, в 1943 году был призван в армию. Это было, кажется, весной 43-го, в Красноярске сформировали полк (забыла, как назывался), в котором были и Вы. Потом несколькими эшелонами всех вас отправили на фронт. Мой папа умудрился сесть в тот же эшелон, где ехал и его брат, но в Новосибирске папу обнаружили и с милицией отправили домой. Больше он своего брата не видел. Юрий, также как и Вы, служил телефонистом и погиб 2 ноября 1943 года на Днепровском плацдарме. Последнее письмо от него пришло 19.X.1943 г., а обратный адрес был: п/п 45872(Д?). В скобках букву трудно разобрать. Вот папа и хотел спросить у Вас — может быть, Вы знали его брата Юру*?

Елена Матвеева

31.12.91 г.

Глубокоуважаемый Виктор Петрович!

Сколько раз порывался Вам написать, зная, что Вы есть: и когда читал «Последний поклон», «Царь-рыбу», «Печальный детектив» и др., и когда Вас начали травить после «переписки» с Эйдельманом, и когда узнал, что у Вас сдало сердце... Порывался и откладывал ручку: зачем буду отрывать от дел?

Но в этом году взял книгу Максимова «Крылатые слова» Красноярского издательства и понял: молчать не могу. Спасибо Вам земное за добрые слова в адрес Сергея Васильевича. Просто диву даешься, когда Вы все успеваете делать?!

Сергей Васильевич мой земляк. Свой небольшой очерк о нем я пытался вставить в свою книгу «Люди и легенды Верхневолжья» (посылаю Вам ее), но издательство очерк о Максимове среди еще нескольких (о Бальмонте, Авенире Ноздрине и др.) выбросило в целях экономии бумаги. Вам это знакомо. Но вот недавно был разговор в издательстве, и они пообещали мне в 1993 году переиздать

* Увы, не знал и не встречал — *В. А.*

книгу, в которую войдут еще около десяти небольших очерков. В связи с последним решением у меня к Вам, Виктор Петрович, родилась просьба: можно я использую несколько строк из Вашего предисловия в своем опусе? И второе: я пишу, что Максимов оказал влияние на прозу Белова, Личутина, поэзию Высоцкого, Градского. А как Вы считаете: на Вас Максимов оказал влияние? Если да, то отпишите мне, пожалуйста, потеплее. А? Ради памяти Сергея Васильевича — я Ваш отзыв вставлю обязательно в очерк, который не считаю еще законченным. Буду рад Вашему любому замечанию. И не судите слишком строго: по профессии я врач (знаю, что Вы немного в обиде на нашего брата — предлагали платные клиники, после того как убедились, что они значат в деле). Писал книгу урывками в течение десяти лет, излазил многие архивы, библиотеки...

Пишу в канун Нового 1992 года. Пользуясь случаем, поздравляю Вас и желаю Вам всего самого-самого наилучшего, а главное здоровья. Помните, что армия почитателей у Вас гораздо шире, чем можно думать. С нетерпением жду Вашего романа о войне, знаю о его злоключениях.

*Искренне и сердечно — **Василий Баделин.***

Заранее спасибо за ответ!

г. Иваново

2.1.92 г.

Дорогой Николаша! (Негода)

Очень рад твоей весточке и тому, что в жизни твоей являются освещения творческой удачей. Желаю и в новом году тебе много стихов и песен, Бога свободы в сердце, а еще здоровья, чтобы работать и не унывать. А всем нам — просветления разума, хлеба, мира и всепрощения Божия за грехи наших дедов, отцов и за наши тоже.

Мы живем помаленьку, зима пока хорошая, в меру морозная, солнечная. Дети растут. Я пробую работать. Летом закончив «Последний поклон», новые, заключительные главы идут в №№ 2—3 «Нового мира». Сейчас пробую вернуться к роману, чтоб за зиму закончить хотя бы первую книгу. Получится ли? Настроение уж больно нерабочее, обстановка жизни у нас препаскудная, очереди немыслимые за всем, неразбериха, злоба, шквал преступности, все более неуправляемой и звереющей, закрыва-

ются магазины — нечем торговать, столовые — нечего варить. И в то же время полные поезда и самолеты уходят в свободные государства с ворованной продукцией, частью завезенной к нам из-за рубежа за лес, нефть, за то, что делаем атомную свалку в Сибири. Продается и ворується все, что даже не покупается и не подлежит продаже.

С Украины нет-нет да и получу весточку, недоуменную и горькую. Есть у меня подшефный колхоз «Зирка» в Харьковской области, в Богодуховском районе, так вот, колхозники больше всего горюют и недоумевают по поводу такого злобного отчуждения и совсем ему не радуются, даже наоборот, боятся будущего, готовы Бога молить за мир и согласие, за «життя по-русски, по-суседски». Но кому-то на Украине не дает покоя гетманская булава и ради нее готовы даже на кроволитие. Видел както по телевидению заседание украинского парламента, и Кравчук, видимо, удачно сострил насчет москалей, так идейный гетман Иван Драч аж до уха пасть раззявил. Дужэ смишно! Хохочут, хохмят и на всякий случай в Канаде дачи и виллы себе строят, чтоб было куда скрыться в случае чего. Но это мы уже проходили, и я видел в уральских и сибирских селах вымерших — в лесах и на лесосеках, — вымерших украинских бедолаг, обнявшиеся в смертном братстве скелеты, один взрослый и маленький на печи, обросшей кустами и пихтами, видел — мать и дитя Господь успокоил. Забыли драчи, и павленки, да яворские о сибирском страшном ГУЛАГе, но генералы и маршалы помнят и цепи куют...

Ах, как горько! Как безысходно на душе. Разве к свободе так ходят? Разве не объявлял Господь всех людей братьями? Так, по-братски бы и начинать строить самостоятельную Украину и спасать смертельно больную Россию. Прости, Коля! Прости! Не надо бы об этом, да из души крик рвется. Если не слышал анекдот, сочиненный тебе явно нашими друзьями. «Стоит на Крещатике негр и читает газету «Рух». Мимо бежит озабоченный хохол, не иначе как на митинг. «Хлопче, ты хто? — спрашивает у негра. «Вукраинэць», — отвечает негр. «Хлопче, а тоди я хто?» «А хер тебя знает! — ответил негр, — мабудь москаль, мабудь жид».

Обнимаю тебя, Николаша! Люблю всех вас, как и любил. Поклон от Марьи Семеновны, Поли, Вити. Сереже, Валентине и всем черкасцам мой братский поклон!

Виктор Петрович

19.1.92 г.

Дорогой Вы мой, В. В. Миронов!

На посылке — В. В., на старом письме, от девяностого еще года, тоже В. В. Вот и приходится обращаться к Вам.

Мы получили посылку и, скрывать не стану, обрадовались ей не только как презенту, но и возможности маленько подживить ребят фруктами, ибо у нас цены на них не просто кусаются, но зубы скалят крокодильи...

Живем мы помаленьку. Ребята растут. Как раз через день после получения посылки внучке Поле исполнилось 9 лет и кто-то из выдумщиц баб сделал чудесный торт, запихав, как в пирожок, по абрикосинке и выстроив их в виде башни, пусть и не кремлевской, но на византийскую похожей.

Внуку в апреле будет 16 лет. Никакого языка он всерьез не учит и вообще учится и живет пока не всерьез, в этом смысле Вы правы, нам бы у евреев поучиться цепкости в жизни и науке, да и усидчивости тоже.

Я все это время чего-то делал. Лето было худое, и непогода меня держала под крышей, в деревенской избе. Читать я много не могу, так пришлось писать, и я закончил «Последний поклон», заключительные главы идут в «Н. мире» №№ 2—3. Пописал немного «затесей» идут в 4-м томе. Ну и работали вместе с Марьей Семеновной над очередными томами. Вот уж заканчиваем подготовку 6-го тома*. Выйдет он, как предполагается, в начале 93 года. Вышло уже два, сейчас в производстве третий, готовится к сдаче в типографию 5-й том. Я посылаю Вам 1-й том, ибо понимаю, что в богоспасаемом Очакове Вам не подписаться, даже в Сибирь давали мало экземпляров, а уж на самостийную Украину и вовсе мало пошлют.

Бывал осенью в тайге, разбой там идет, невиданное избиение природы, люди бьют, ловят, гребут все, что можно сожрать, продать, урвать. Все наши неурядицы бьют больно, если не смертельно, нашу, уже изнахраченную природу.

Обычно я возвращался из лесу, с Енисея ли бодрым, заряженным на работу, а тут явился домой совершенно подавленным, растерзанным и долго не мог сам себя собрать в кучу, провольничал до поздней уже зимы и лишь недавно принудил себя продолжить работу над романом.

---

* Издание не закончено, остановилось на 3-м томе.

Сейчас я уже вошел в работу и даже надеюсь, если дело пойдет такими, пусть и не очень устойчивыми, темпами, к весне первую книгу доделать.

В остальном жизнь идет, как везде, смутно, тревожно, на грани отчаяния. Но жить-то надо? Детей растить надо? Значит, терпи, двигайся дальше вместе со своим, совсем уж разнесчастным, деморализованным народом, не зная даже, есть ли у него будущее. Одно ясно: великим народом он уже никогда не будет, сейчас он просто население, стадо, которое куда ломтем хлеба поманят, туда он и потопает, за очередным «кормильцем». Возрождение нашего народа, если Бог ему пособит, будет мучительное и длительное, и вернется к себе русский народ совсем уже другой дорогой, особью и сообществом, пока не только неугадываемым, но и непредсказуемым. Никаких капиталистов из нас никогда не получится, а коммунистов, теперь уже и слепым дуракам ясно, не получилось. Так каков же наш удел, путь, направление? И куда? Можем ведь и в яме оказаться, называемой могилой. На какое-то время спасет нас возврат к церкви. А кто же наш народ, разучившийся работать, научит работать? Мы пока что губили и разворовывали до нас наработанное и Богом в наши недра помещенное и на земле взращенное. А когда все разворуем, сожжем, сгноим, чем жить дети будут?

Ох-хо-хо! Какое трагическое время подступило, начавшееся с оперетки под названием Октябрьская революция. Попрыгали, попели, красными тряпочками помахали, ляжками покрутили — и вот проснулись! Да и проснулись ли? Очень уж крепко мы любим спать, и боюсь, когда проснемся, даже матрац из-под нас уже будет вытащен и унесен...

Ну, простите меня. Дело к вечеру, устал, побрюзжать тянет. Как получите первый том, подтвердите телеграммой, и я тут же вышлю Вам второй, а там и третий подойдет. И напишите, пожалуйста, имена-отчества свое и супруги Вашей.

Низко Вам кланяюсь и от всего сердца мы благодарим Вас за посылку.

Виктор Петрович* и *Мария Семеновна
Астафьевы,
г. Красноярск

16.2.92 г.

Дорогой Юй Ичжун!

Благодарю Вас за письмо, за поздравление с Новым годом и за фотографии.

Да, дела у нас пока идут неважно, и мы тоже надеемся на лучшее будущее. Несмотря ни на что, я пытаюсь работать, и весной, вероятно, закончу первую книгу давно начатого военного романа, и возьмусь за вторую книгу. Пока же рукопись еще не закончена, и я не могу Вам ничего послать.

Поздравляю Вас с профессорским званием и с тем, что Вы стали директором Института иностранных языков при Нанкинском университете. Надеюсь, что это посодействует развитию отношений российской и китайской культур.

Всегда с удовольствием вспоминаю свою поездку в Китай, так много мне открылось значительного в этой великой стране с ее причудливой и славной историей.

Желаю Вам и Вашей стране дальнейшего процветания и мира, и также доброго здоровья всем Вашим близким и друзьям.

*Ваш **Виктор Астафьев***

18.2.92 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Принесли мне на работе «Новый мир» № 2, и увидел я там: «В. Астафьев «Забубенная головушка», открыл и, не отрываясь, от всех отъединившись, залпом прочитал. И захлебнулся от восторга! Как же круто ты стал писать! Как плотно! Ни одного зряшного словечка, ни одного выдуманного случая. И все — правда! И все — жизнь, как она была и как есть. И самое великое для меня: сколь ни горька, сколь ни подла была жизнь, сколь ни забубенен был отец с его неисчислимыми обидами и ранами, нанесенными детскому сердцу отцом, ты эту прожитую жизнь не судишь и не пинаешь со злостью, наоборот — все пронизано такой добротой к людям, таким всепрощающим пониманием того, что жизнь — она одна-единственная и, как ни прожита, она — твоя и ничья больше вроде бы. А по прочтении и ты понимаешь, что она и твоя тоже, ибо

многое из того, что прочитал, и ты хлебал в той или иной мере в своей жизни, а значит, это и о тебе написано.

А когда я прочитал: «Желания и страсти всегда были выше и сильнее его воли, неспокойности, егозливости характера — губили его жизнь. И кабы только его!» — я вздрогнул: «Господи! Да ведь много такого же в каждом из нас сидит! Ну пусть не полностью, не во всем, но — много!»

По-моему, это и есть именно то, что и делает забубенной всю нашу бестолковую жизнь. А как точно ты это уловил и понял! Это такая, я бы сказал, ядреная часть нашего русского характера, что никуда от этого не денешься, да, наверное, и не нужно никуда деваться. А надо жить. Ибо другой жизни нет и не будет.

До слез обхохотался над тем, как тебя угощали ухой из осетра в Астрахани! Какая сочная поддатая баба — официантка! И хер с ними, с твоими французскими штанами! Они стоили того, чтобы на них плеснануть горячую уху — иначе не было бы этой поразительной страницы, над которой обхохатываются теперь тысячи и тысячи читателей! Ей-Богу, уж и не жалко тех штанов! Остальное-то ведь обсохло?!

Спасибо тебе, Витя! Сейчас в нашей литературе такой пронзительной искренности и правды истовой о жизни нашей почти что и не встретишь. Все политиканствуют и борются. А жизнь проходит...

Буду с нетерпением ждать следующего номера журнала.

А заодно и напомню тебе: ты обещал дать мне что-нибудь для газеты «Советская культура». Поскреби по сусекам, найди-и-и. И пришли. Или сам, или через Бримана — как тебе удобней.

Крепко тебя обнимаю, и пиши, пиши, пиши...

Низкий поклон твоей супруге, Марии Семеновне.

Твой ***Альберт Беляев***

5.3.92 г.

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Спасибо за «Тихую птицу»! Она благополучно долетела до Вологды. Правда, полежала на почте по случаю экономической стачки связистов — ныне ведь кругом стачки, словно все разом с ума сошли... Книга издана прекрасно! Фотография потрясает: выражение до конца осо-

знанной трагедии жизни и сострадания к людям. Взгляд, скошенный вбок, словно остановленный прозреньем какой-то тайны человеческого бытия. А за спиной — белая полоска, то ли реки, то ли жизни. Вообще в черно-белых заставках книги толщь Земли (или людского горя) настолько преобладает над узкими полосками света, что стынет сердце...

В этой книге многое из того, что стало уже памятью моей души. «Пастух и пастушка», «Ода русскому огороду», «Ясным ли днем...» Да, подарок дорогой. И за добрые слова посвящения спасибо, Виктор Петрович! И тронула нас с Асей твоя приписка, Мария Семеновна, — «целую вас...» Да, годы, прожитые совместно в Вологде, разные: то жаркие от праздников, то холодные от буден и раздоров. Годы эти оказались поистине великими для совместной работы и для совместного осознания самих себя и проклятых вопросов современности. А от себя добавил бы я еще и то, что в том «вологодском десятилетии» изначально светился некий Божественный Промысел для всех нас, а для троих — для Василия Белова, Николая Рубцова и тебя, — милый Виктор Петрович, еще просиял и полдень ваших трех гениальностей. В этом мнении я молчаливо и давно уже убежден. И во все последующие годы (вплоть до нынешнего) мне было горько и больно от того, что вы, такие могучие русские писатели (Астафьев, Белов, Распутин), живете не в согласии, а, кажется, даже в раздоре. Я уже несколько раз просил Василия Ивановича сдерживать свою сердитость, потому что злоба застилает глаза, и подняться бы вам троим до совместного осознания, насколько необходимо ваше единство для Родины, для погибающей России, именно теперь, именно сейчас.

Ну, извини, Виктор Петрович. Знаю, в советах ты не нуждаешься, да вот душа-то болит, болит...

Живем мы, слава Богу, по-домашнему согласно, в любви живем. Это — единственное спасение в нынешней жизни. Сыновья и внуки (а их семеро!) бок о бок с нами. Материально живем трудно, зато все «в куче». Я, конечно, пишу и стихи, и прозу, а публиковаться все тяжелее. Ну, это вам известно.

От всей души желаем вам здоровья. Мы вас, Виктор Петрович и Мария Семеновна, всегда помним и любим. Ася во всем со мной согласна.

Ваш ***А. Романов,***
г. Вологда

31.3.92 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Всегда с большим тщанием читал все произведенное вами, читал медленно, растягивая удовольствие. «Царь-рыба», «Зрячий посох», «Последний поклон» — изо всего обилия прочитанного эти вещи помнятся даже в деталях. Вам от природы отпущено умение тонко наблюдать жизнь, осмысливать ее глубоко, видеть суть. Очень хорошо вы строите предложения: они тянут мысль за мыслью, ведут читающего за собой.

Это во здравие. Теперь за упокой.

Настораживает в двух главах («Забубенная головушка» и «Вечерние раздумья») все, что вы пишете об отце, о своем родном отце, личности реальной. Страница за страницей вы судите и судите его, показываете, какой он был плохой. Особенно резанула вот эта фраза: «Подлая, унижающая привычка посылать мачеху и меня клянчить взаймы деньги... и т. д.» — № 2, стр. 59. Я понимаю: вам хотелось показать на примере отца, каким подлым, бесчеловечным был тот строй, та жизнь, сгубившая несколько поколений людей. Но ведь это отец! Неужели ради красного словца вы не хотите его пощадить? Дети не имеют и никогда не имели права строго судить своих родителей. Делалось правильно. Вот и в Евангелии сказано: «Не судите да не судимы будете». Вы судите, вы обличаете! По-моему, здесь явный перебор.

В предыдущих главах ваш отец был не таким. В нем было много привлекающего, легкого, веселого. Недаром к нему тянулись люди. Они любят вот такие яркие, легкие, общительные натуры. Я понимаю: ваше детство было трудным, слез было пролито много. Но несчастливого детства не бывает. Даже в самых трудных условиях дети делают его счастливым. Так мудро устроена жизнь.

Как бы ни горько было, не стоило т а к описывать отца.

И надо ли всякую гадость тащить в свою книгу? Ведь это не свалка мусора. Омерзительна вот эта тетка, которая при родах детей в ногах давила и в штаны сикала (!). Кому нужен этот вульгарный реализм? Никогда не поверю, чтобы человек, пройдя такую школу жизни, мог испугаться змеи. Как какая-нибудь институтка. И не норовит она никого за палец «сцапать». Почему «сцапать», то есть схватить зубами? Уж тогда «тяпнуть», «клюнуть». (Князя

Олега змея в ногу «уклюна» — точен летописец!) И не дождалась она, и не «тварина хитрая». Это мы к ней лезем, а она защищается. № 3, стр. 10 — «да до осени» — так нельзя писать. И трудно выговорить.

Стр. 11 — «Какой уж он был партизан, никому неизвестно, но человек пакостный, явствовало по морде, битой оспой, узкорылой, бесцветной, немытой». А что если и в самом деле он был неплохой партизан, тогда как? Это литературное заблуждение, когда считают, что если человек на лицо нешибко видный, то и внутренне подлый. И разве виноват человек, что его лицо побито оспой? Вам мало, и вот он уже «узкорылый», «бесцветный» и даже «немытый». И причем тут большевик? Разве Ленин, Свердлов, Дзержинский так уж внешне были отталкивающи? Отталкивающими были их кровавые дела.

Это очень распространенное в литературе заблуждение. Не виноват Наполеон, что был маленьким, не виноват Ленин, что был лысым, Сталин, что был сухоруким. Он у вас «обезьяноподобный грузин». Да нет же, внешне он был вполне нормальный человек. Чем так сказать — лучше уж ничего.

Стр. 13. — Что это за «теплое молочко в заднице»? Каково сочетание «теплое молочко» и «задница»! На стр. 25 — «дрищет». Эк вас на старости лет потянуло на вульгарности! Их много, таких слов, но причем тут литература? Так и до матерков недалеко. И это вы не отбрасываете. Не знаю, как у вас, а наши чалдоны до революции не матерились, стыдились родителей, детей, женщин, а если кто-то и выразится, то такому охальнику давали 15 суток за богохульство, просидеть их он должен был в холодном сарае и не работал. Тогда понимали, что наказывать человека трудом безнравственно. Самое тяжкое наказание — лишение свободы, отстранение от труда.

Стр. 13 — «парнишки показывали девочкам, а девочки парнишкам стыдные места». Простите, но это неслыханный поклеп на бывшего деревенского жителя. Народную стыдливость никакие режимы не смогли вытравить. Да, могли с 13—14 лет заниматься любовью, но «показывать» все равно стыдились. Нудизм не у нас родился.

Писатель знает, что такое «ашаульник», но каково читателю?

На стр. 27 я так и не понял, кто кому какая родня. Деверь — это «женская» родня, это брат мужа. Терентий все-таки зять Ксенофонту, да?

Извините за придирки, поучения. Но я не хочу, чтобы вы походили на Эдичку Лимонова, от которого воротит, как от туалета общественного. Я ваш внимательный читатель и почитатель. Буду рад, если вы мне напишете хотя бы кратко.

С уважением, ***Соловьев Геннадий Васильевич,***
Новосибирская область,
Убинский район, с. Владимировка

17.4.92 г.

Дорогой Виктор!

Когда долго нет от тебя письма, на меня нападает тревога — как-то ты, не заболел ли, не случилось чего...? В этот раз было так: за день до твоего письма снилось мне, будто я уже получил от тебя известие, просыпаюсь и точно — от тебя письмо! Телепатия! Значит, нечто во мне уже предчувствовало близость твоего письма. Ну, а само письмо, конечно, настоящий праздник. Твои письма всегда частица твоей души, совести, темперамента, истовой любви к живому миру и полыхающего гнева ко всему уродливому и лишенному совести. Формальных, равнодушных писем я от тебя не получал. Спасибо!

Думал ответить сразу, но не сподобился: замучило артериальное давление. Прежде у меня такого не было, хворь новая, интеллигентская, все ее причуды я еще не усвоил, но уже познал главное — делает она из человека мешок с непотребностями. Особенно мстит за выпивку: хватил где — через сутки жди, пожалует. Поэтому я тоже вынужден избегать сходок, где звенят стаканы и курево до потолка. Ребята собираются без меня, но это неизменно работает на мое отторжение от компании, невольно заталкивает в карцер одиночества, где утомляешь себя чтением да изредка работой.

Я уже жаловался тебе (получил ли ты это письмо?), где писал про Петю Сальникова, о том, что мы как-то незаметно охладели друг к другу. Он ударился в ГКЧПисты, сколотил себе компашку единомышленников, свой партбилет хранит как реликвию своей прежней значительности, когда сидел в президиумах и халтурных застольях. Живет он, конечно, скверно, бедновато. Новая его баба мотается по дочерям, высасывает из Пети последние

деньжата на ставшую дорогой дорогу, купила хату за Харьковом с огородом и садом, от которых Пете ничего не достается: ни картошки, ни моркошки... Вот умотала на весеннюю посевную, бросив мужика с его больными ногами на долгие месяцы холостяцкого прозябания на сухомятке й злом куреве. Ребята, конечно, пользуются его одиноким положением, заглядывают к нему выпить, а за одно съесть его скудные харчи, которые он с трудом добывает в очередях. Пенсия у него невеличка, всю жизнь служил в чиновниках, мало писал и даже нет документов, что участвовал в войне. Поневоле ударишься в оппозицию. Раньше ведь жилось как-то беззаботно: так или иначе где-то удавалось напечататься, а нет — зашибить на водку и колбасу выступлениями перед народом. У нас некоторые тем и кормились, и даже кормили семьи. Но теперь всему этому крышка. И ребята зашевелились, забегали в поисках способа уцелеть и спастись. Юра Першин (помнишь, с бородой) вернулся в медицину, к казенному спиртику; Вовка Детков занимается распространением московских коммерческих изданий, получая за это какой-то не очень твердый наварец; Миша Еськов тоже подумывает вернуться в лекари, да бытье не пускает: у него на руках старая мать да куча внуков. А вообще, какой-то политолог по радио сказал, что из всех писателей, ныне числящихся в таковых, уцелеет не более двух процентов. Все остальные вымрут или деградируют. Оно и без политолога ясно. На поверку вышло, что весь этот наш Российский Союз во главе с важным и вечно надутым Юрием Васильевичем оказался такой туфтой, такой пустышкой! Когда, действительно, пришло время помочь попавшим в беду писателям, среди которых много настоящих, Союз оказался полным банкротом и в материальном, и моральном смысле. Даже на свою зарплату наскребают тем, что сдают в аренду свои кабинеты. А подчиненные издания сидят без копейки. Так, журнал «Москва», где недавно напечатался, уже сложил руки — собрался помирать, и уже четыре месяца прошло, а я до сих пор не получил их стыдливый символичный гонорарищко.

Под конец зимы, вернее, уже по последнему льду был на рыбалке. Было припаристо, буро, нагрето, высились холмистые берега вокруг очередного льда, на крутых глинах высыпала доверчиво едва проснувшаяся мать-и-мачеха, а в раздерганной облачной вышине летели гуси. Я никогда не видел сразу столько гусей! В один погляд виде-

лось шесть стай от 30 до 150 штук. Небеса полнились их отдаленным приглушенным перекликом, а на душе творилось что-то невероятное: и радость весны, и тревога за все живое, за этих усталых гусей, которым негде присесть, не найти места на земле для передыха. Все под ними стало враждебно или погибельно...

Под конец на блесну попался окунище, который, расшеперясь колючками, застрял в лунке, как пыж в трубе. Ну конечно, я оборвал леску, а он еще долго топорщился в ледяном тоннеле, пока не догадался сложить колючки. Я кинулся за багром, но не успел... И прекрасно! А если бы вытащил, то, съел бы его, красавца, и забыл... А то вот помнится! И моя неудача обернулась удачей памяти, услаждения души... В мае — русская письменность в Москве. Поедешь? Напиши.

Обнимаю, целую. Твой ***Женя (Носов)***

26 апр. 1992 года, Светлое Воскресение

Христос Воскресе!
Дорогой Виктор Петрович!

Два месяца прошло, как я получил Ваше письмо... Кто-то (кажется, Биффон) не мог сочинять иначе, как в парадном мундире и при шпаге: нарядится и ходит туда-сюда по анфиладе комнат — в каждой по секретарю-писарю — и диктует. Я не ученый, секретарей и анфилад нет, не говоря уж о шпаге; есть, однако, некое дурацкое подобие необходимости этакого настроя, появляющееся, когда есть важный повод писать — в частности, Вам. Некоторая повышенная ответственность, которая писать-то как раз мешает.

Уж такою радостью-печалью было для меня Ваше письмо, что я как-то заиндевел. Я, и вообще-то, человек долгий, на подъем тяжелый, задним умом крепкий, а уж когда очень сильное переживание или впечатление, то и вовсе застываю на какое-то время (таким, как я, нельзя машину водить — слава Богу, ее у меня никогда и не было). Буквально через день после получения письма звонит Борис Конухов: завтра едет к Вам. Я кидаюсь писать — но сразу у меня никогда не получается, и на этот раз ничего не вышло, кроме глубокомысленных бессвязностей, так и бросил...

Однако все это время внутренне с Вами разговаривал, соглашался, спорил, вместе с Вами порой и газеты читал, будь они неладны, и радио слушал, и «ящик» этот поганый смотрел иногда. И вот недавно по московской программе смотрю разговор ведущего с Ал. Вас. Петренко и — несколько кадров, снятых у Вас, — и снова сажусь за стол, и... снова обнаруживаю, что, «брат, писать все так же трудно», в том числе письма.

До сих пор не читал Алешковского (не попала в руки «Звезда»), но, немало слышав про это сочинение и зная многое другое такого рода, заведомо верю Вам и не собираюсь «утешать», убеждая, что «все это прекрасно, все это нужно». Все это стыд, мерзость, мрак и распад — но все это прет не только из Алешковского и через «Звезду», а со всех сторон.

«Литературное обозрение» печатает (1991, № 10) полным текстом, без точек, то, что пишут обычно на заборах и в сортирах или распространяют в рукописных и слепых машинописных копиях для тайного услаждения, — печатает, сопровождая это восторженным ученым ржанием и именуя «эротической традицией в русской литературе» (кандидаты и доктора, а разницы между эротикой и похабщиной никак не уразумеют). Виктор Ерофеев, холодное, циничное литературное ничтожество, читается во всеуслышание по радио и возводится в мэтры «постмодернизма» (на ЛенТВ у него есть двойник — Сергей Шолохов, тоже очень крупный сегодня деятель).

Вся новая «элита» — от «крайне левого» и крайне самодовольного Бориса Парамонова (радио «Свобода», «Независимая газета», далее везде) до «крайне правого» (газета «День») 30-летнего Дмитрия Галковского, от бойкопёрых эмигрантов Вайля и Гениса (умопомрачительная книжка «Родная речь», рекомендованная в качестве «пособия» самим Мин-вом просвещения) до отечественного Л. Агеева (прошлогодний «Литобоз») — дружно поливают грязью «великую русскую литературу» (так и пишут — в кавычках), придумали забавную аббревиатуру ВПЗР — великий писатель земли русской — все это с тем же восторженным ржанием: и все это за то, что русская литература слишком учила, и вообще — учила чему-то, тогда как на самом деле учить — это тоталитаризм, а мы все свободные люди, литература же — не более чем искусная игра, ни к чему не обязывающая.

По радио часто передают несусветный «винегрет» из

классических мелодий, где Чайковский переходит в Вагнера, в Бетховена, в Рахманинова, Шуберта и т. д., и все это под острой приправой ритма, отбиваемого ударником: из выстраданных творений получается попурри приятных мотивчиков, и все это в исполнении великолепного, кажется, лондонского симфонического оркестра — блистательное мародерство, высокопрофессиональное разрушение культуры.

По телевидению в течение часа обсуждают, в компании трех десятков публики, в основном 20—25-летних сопляков, с участием видного детского хирурга (человека с порочным лицом морщинистого мальчика — вспоминается «Смерть в Венеции» Т. Манна), вопрос о т. наз. эфтаназии — «благой смерти», т. е. о нашем праве помочь страдающему от болезни человеку расстаться с жизнью; страшный выход, на который может отважиться только вполне безрелигиозное сознание и *только под свою личную ответственность*, — призывают юридически легализовать и разрешить всем раз и навсегда: «но проблем»!

В «Литературной газете» была статья, не помню чья, где содержится призыв отнестись лояльно к памятной хрущевской попытке упростить слишком уж сложное русское правописание (помните: «заец», «огурци»?): а не следует ли вернуться к этой здравой идее? В самом деле, в любом номере любой газеты берусь найти до десятка грубых орфографических, не говоря уж об иных прочих, ошибок — уже и корректоры безграмотны. А по радио говорят так, что уши вянут и хочется взвыть: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — где ты, моя надежда и опора, о великий, могучий...»

Все это и многое другое — вроде бы разнородная куча — ан нет, в этом безумии, как говорил Полоний, есть своя система. Уничтожаются границы между тем, что можно, и тем, что нельзя, между верхом и низом, чистым и грязным. Проблема «можно — нельзя» подменяется другой: «возможно — невозможно», стало быть, если возможно — то и можно. Совсем как в «цивилизованных странах»: там у них на одной и той же сцене сегодня поет живое чудо по имени Паваротти, а завтра, на равных правах и, может быть, даже при той же публике — порнозвезда *Мадонна*, и между ними не проводится никакой разницы: грань устанавливается *личным вкусом* каждого гражданина, а о вкусах ведь не спорят — «плюрализм», цивилизация, *свобода...*

Удивительно. Жили-жили, угнетенные, униженные и оскорбленные, с кляпом во рту, — и все это время, надо полагать, должны были вынашивать в оскорбленных душах что-то смелое и благородное, высокое и прекрасное, что-то ненавистное мастерам «душить прекрасные порывы», — и вот сбылась мечта, кляп выплюнут, и что же повалило из освободившихся уст? Словно у сестер Василисы Премудрой — что ни слово, то жаба или змея. Где же ваша «тайная свобода», «мастера культуры»? А ведь и в самом деле: чего было и ожидать? Вы сами говорите, что большевикам удалось поставить людей на четвереньки. А как себе представляет свободу раб? Прежде всего, как свободу нагадить на рояль или выкинуть его из окна, то бишь с парохода современности. Все должно быть «как в цивилизованных странах», а кто против, у того тоталитарное мышление. Что сотворили, то и получили, что уж тут удивляться.

У меня и самого то и дело закипает желчь, как думаю про все это. Останавливаю себя тем, что злоба и раздражение никогда ничего не исправляли, только увеличивали количество миазмов в окружающей атмо(ноо)сфере. Чем больше злимся, тем больше зла. И снаружи нас, и внутри. Оно ведь никуда не пропадает, а остается с нами — как те замерзшие слова.

К тому же думаю вот что: все это было неизбежно, должно было быть рано или поздно, и через все это надобно пройти. Это как промывание желудка. Ничто из этой мерзости у нас надолго и всерьез не задержится, не такая наша порода, при всей порче. Все, что нам не нужно — извергнем или выблюем, желудок у нас вылуженный, но и чуткий. Жаль только — одно или два поколения пострадают; вот этих ребятишек и впрямь жалко.

Но и тут есть надежда. Происходит среди молодежи довольно жесткая поляризация. Я видел столько примеров высоты и чистоты — и в области культуры, и просто в поведении, — что не поворачивается язык говорить о целиком «потерянных» поколениях — нет, нет, это — как и сказано в Евангелии, — зерна отделяются от плевел, это было предсказано, и это неизбежно для очищения. Сколько прекрасных молодых лиц и глаз я вижу в храмах, какие примеры бескорыстия, участливости встречал даже и в последнее время!

В одном не могу с Вами согласиться. «Что за чудище человек-то!» — говорите Вы. Да, чудище он бывает, ко-

нечно, обло, озорно и пр. — но не всякий же, не каждый. Не мне Вам рассказывать — Вы в тысячи раз больше видели и испытали, — каков он, человек, бывает непостижимо хорош. Ну что же делать, если это редко — хорошего ведь всегда мало. Опять же сказано: много званых, да мало избранных. Это Вы совсем неправы, что Господь обрек человека на гибель; тогда зачем было создавать его? Что же Он — чукча, что ли, из анекдота, неудачно сделавший операцию: «Не полути-и-лось!»? Или Он допустил «ошибку в расчетах», как считают те, кто мерит Бога убогими человеческими мерками? Но тогда Он вряд ли мог создать и столь совершенную и прекрасную природу, а это ведь организм не менее сложный, чем человек, — с той только разницей, что природа живет по законам необходимости, а человек — по законам свободы. Человек не на гибель обречен, а на свободу — свободу либо подниматься, либо опускаться. Последнее, конечно, легче, но там, внизу, ад. Жалеть их надо, этих чудищ, уже за то, что они чудища, ведь они уже в себе, в душах своих носят готовый ад, сами себя к нему готовят, как их не жалеть! Когда я вижу в троллейбусе или в магазине эту звериную ярость, эти искаженные злобой лица — чаще всего из-за ерунды, когда наблюдаешь мерзость или бессовестность, — невооруженным взором видно: это больные люди, они гибнут на глазах, они уже почти там. Тут уж нет порыва злиться, а если есть — то есть и опасность самому *туда* же угодить.

А природу, да, до слез и содрогания жалко... Как-то, будучи в ветеринарной лечебнице, я вдруг понял, почему это клиенты с собаками, кошками и прочим зверьем, почему они несравнимо любезнее, мягче, предупредительнее друг с другом, чем в людской поликлинике. Да потому, что всем жалко не себя, а их. Ведь если человек страдает, он обязательно сам себя жалеет, а зверь этого не умеет, он просто страдает, и все. И вся жалость остается на нашу долю и делает нас терпимее и лучше. *Жалость возвышает человека.*

И природа — она себя пожалеть не может, поэтому так смертельно ее жалко, порой больше, чем людей, она к тому же ни в чем не виновата.

Но ведь она — как и все истинное и прекрасное, в том числе и человек, — не погибнет окончательно, в небытие, — иначе, скажем честно, смысла в жизни нет и быть не может, а значит, смысла нет и в нашей с Вами деятель-

ности, и не нужно ни писать, ни говорить, ни любить, ни ненавидеть, ни жалеть, ни сетовать, ни жаловаться, ни делать добро, ни возмущаться злом, *ибо все все равно и все позволено*, раз смысла в жизни нет и человек, и природа обречены на гибель. Но это неправда, тупая и злобная неправда, внушаемая нам сатаной, а на самом деле и человек и природа возродятся — в неведомом нам качестве и облике, возродятся в том преображенном мире, который был когда-то, до грехопадения, мире, о котором гласом вопиющего в пустыне кричал Иоанн Предтеча, мире, о котором грезили гении культуры и который попытался вообразить Достоевский в «Сне смешного человека». И этот мир *будет*, он как никогда близок — не зря же мы чувствуем, что в *этом* мире жить скоро будет совсем невозможно, он на наших глазах избывает себя.

Вон я куда заехал в результате. Простите, Бога ради, Виктор Петрович, за такой водопад, — видите, чем оборачивается мое долгое запрягание...

Дай Вам Бог управиться как следует с романом — это сейчас так нужно: человеческий голос! Я тоже пытаюсь работать, кое-что удалось (сделать, не опубликовать!), но уж очень тяжелый год прожит. Прошлой весной в течение четырех месяцев каждую неделю — телесъемка «Онегина», вымотавшая до крайности; потом очень непростое лето, потом — онемение левой ноги по бедро плюс стопа правой — результат двухлетней давности защемления нерва; так и таскаюсь до сих пор с палкой, хотя не чувствую себя ни старым (еще 60 нет), ни поглупевшим, но физически — на четверть инвалид, а ведь я мужик в доме (и в деревне), а поднимать тяжести нельзя, и это страшная моральная тяжесть. К тому же ряд бытовых несчастий, из коих последнее: мой дом в деревне только что, недавно, крупно обокрали, ну просто на зависть... Последнее не так бы и страшно, но прибавляет забот. Вот и поработай тут. А между тем мыслей в голове достаточно; однако спрос сильно уступает предложению... Но все это скучно даже и самому, и неглавное. Главное сейчас — что наконец с Вами поговорил (пообщался, как сейчас говорят) — как будто и расстояния в тысячи верст нет. Ради Бога, работайте, пишите, ибо это *нужно*, ибо жизнь имеет смысл, ибо человек не приговорен к гибели! Держитесь — *и держите*. Вы из тех, кто *держит*.

Третий номер «Нового мира» я получил раньше второго — и, в ожидании начала «Вечерних раздумий», про-

чел «Кладовку» В. В. Домогацкого — замечательного художника, с которым я был знаком и, можно сказать, дружен, незадолго до его кончины. Удивительный, светлый, благородный был человек, настоящий русский аристократ-интеллигент. Читал с комком в горле. Так сейчас редко кто пишет. Это тоже такое — *держащее*. А вот теперь принимаюсь за Ваши «Раздумья».

Дай Вам Бог здоровья, сил, бодрости, радости.

Еще раз: Христос Воскрес.

Воистину Воскрес.

Ваш ***В. Непомнящий***
27 апр., Светл. Понедельник

P. S. Получили ли Вы в свое время мою книгу? Спрашиваю, вовсе не намекая на прочтение, а только из недоверия к почте.

28.4.92 г.

Виктор Петрович!

Разрешите в честь Вашей годовщины поднести к Вашему «алтарю» несколько тронувших меня фактов, в достоверности которых можно не сомневаться.

Первый. Осенью 1942 г. в Сталинграде случалось, что немцы прорывались к берегу Волги выше и ниже по течению, отрезая некоторые наши части. Приходилось тяжелораненных привязывать к плотикам (саликам) из фонарных столбов и отталкивать на течение, с тем, чтобы ниже их выловили и оказали помощь. Что они пережили, беспомощные, страдающие от ран, привязанные (!) к жалким бревнам, на холодной воде, в тумане, среди обломков и разрывов, находясь (истинно) в руках Господних! И сколько незамеченных проплыло в... Лету. Жуткий, но единственный способ реализовать хоть какую-то надежду на спасение.

Рассказал счастливый участник такого «заплыва» Шаров Николай Александрович, 1924 г. рождения. Живет в пос. Додоново. После выздоровления дядя Коля стал башнером СУ-152. Случилось ему «махом», тремя точными выстрелами подбить трех «тигров» (они пятились, а наша машина незамеченная была сбоку-сзади). Представили к награде. Но... новое ранение, госпиталь. И вместо ордена на крепкой груди юного дяди Коли сосед по койке искус-

но наколол Автандила, задавившего тигра на поднятых руках. Двух дохлых хотел разместить у ног богатыря, но не успел — выписали. По этой «наколке» мы и разговорили дядю Колю, когда попали с ним в одну больничную палату.

Второй. Говорят о западной цивилизованности, нашей отсталости. Вплоть до сожалений о победе в войне. Вспомнилось, что при отступлении из-под Москвы в 41 г. культурные немцы сожгли деревни, в которых сами же стояли. Как это было, написал в письме от *10 февраля 1942 г.* мой дед Соколов Михаил Васильевич, подмосковный крестьянин. Письмо (с его орфографией) прилагаю. Перечитываю письмо, плачу и не могу понять, зачем сожгли? Чтобы и духу немецкого не осталось? Разве что. Никакого ни тактического, ни стратегического значения эти жалкие деревушки не имели... А может, все-таки, из-за высокой западной цивилизованности? А что перенесли ни в чем неповинные старики, бабы и дети!

Виктор Петрович! Всего Вам доброго. Здоровья и всяческого благополучия. И успеха!

Глубоко уважающий Ваше творчество

Е. И. Соколов,
Красноярск-59

1942 года февраля 10 дня

Здравствуйте Милые детки и Милые внучатки Женя и Игорек шлю я вам свой горячий привет и желаю всех благ. И уведомляю я вас что мы покамись все живы и здоровы слава Богу. *но жизнь такова приотступлении немцы сожгли очень много деревень Шаликово Маденово Полочево Денисево Шиколово Александрово Аблянищево Аникино и т. д. и наше Захарьино за день доотступленія нас* выгнали из своих домов в 4 дома всю деревню а вкакия дома в баню в фанасову избу сафронихину и аверчикину *а на второй день велели идти в Мажайск* и вот Милые мои родные к Сафронихи на салазках привезли 4 раза 1 мешок ржи 1 мешок картошки кадочку с мясом взяли тулуп. 2 одеяла 4 матраса пилу топор косу 4 ведра чайную и кухан посуду Самовар. и наклали воз врят все на лошади и пуда полтора муки и печеного хлеба 5 чигунов и швейную машину и велисипед. *и вот тогда мы все сгово-*

Письмо Соколова Михаила Васильевича

1942 года февраля 10 дня

Здравствуйте Милые детки и Милые внучатки Женя и Игорек шлю я вам свой горячий привет и желаю всех благ.И уведомляю я вас что мы покамись все живы и здоровы слава Богу.но жизнь такова приотступлении немцы сожгли очень много деревень Шаликово Маденово Полочево Денисево Шиколово Александрово Аблякиново Аникино и т.д.и наше Захарьино за день доотступленія нас выгнали из своих домов в 4 дома всю деревню а вкакия дома в баню в фанасовч избу сафронихину и аверчикину а на второй день ведели идти в Мажайск и вот Милые мои родные к Сафронихи на салазках привезли 4 раза 1 мешок ржи 1мешок картошки кадочку с мясом взяли тулуп.2одеяла 4матраса пилу топор косу 4ведра чайную и кухан посуду Самовар.и наклали воз врят все на лошади и пуда полтора муки и печеного хлеба 5 чигунов и швейную машину и велисипед.и вот тогда мы все сговорились и никуда не поехали и они с обеда начали жеч поотройки тогда люди бросились кто-куда попало некоторые уехали на сабачник на баканцево кто на Черноторяз а мы выпросились у Пелагеи Кузнецовой в окоп.который ч ней зделал Александровский сват и этом 5 арщинном окопе 2дня жили 8 семей мне спосибо дали хотя скорчившись лежать стол а голову клал к егоровым детям на подушку,потом начали расходится 2 семьи чехали в Петришево 3 семьи на Петриково и вот потом мы остались жить 2 семьи Пелагея и мы зделали плиту Хлеб пекли на плите а потом узнали что у Форофона печка с материка и она не упала стали печ в ней

и вот Милои мои так и живем мучиемся

еще сообщу что было зарыто в земле кое что отрыли овинины часть топленова сала и одежу и платья и манафактуру соль

все осталось невредимо воск и васино руже было спрятано во дворе закинулось снарядом осталось целым

и вот милые родные пройдя несколько дней к нам первый из деревни заявился Илья и Маня узнать нашу судьбу

и Анисья и Маня меня на салазках довезли до аселка к машине на машине прехать было нельзя в Захарьино потому что немцы завалили деревьяни всю дорогу и вот мороз был 38 градусов а ехали мы слишним 6 часов

но только приезд мой был очень счастливый вылезаю из машины смотрю стоит наш милый Вася и они с Ильей меня втащили на 5-й этаж в комнату но комната неотапливается и нет часто свету

я прожил не раздевая пинжак и тулуп у них 11 дней

теперь в настоящее время перевезли меня к Нюши в Сабурово и я теперь живу как в раю Нюша в комнате теперь живет одна ее компан.уехал в Свердловск комната21 метр платит 27 руб в месяц жалованья получает475р.и есть приработка так что кормица можно меня там вымыли и вшей сняли и живу теперь хорошо Вася меня 3 раза в Москве навещывал.

и обещался приехать к нам с Нюшей

и Мани опять от заводу дали машину 10 февраля и она ездила опять в деревню привезла овинины и сала Хлеба не привезла муку отрывать трудно а рож в Москве молоть неди

в деревне жизнь налаживается дали 4 лошади с запряжками и уже 50куб.наметили лесу на Куртниково

в Денисеве уже выстроили один дом

государствои будто что будут строить всем 10арщинные дома но официально сказать немогу но государство в первую очередь обратило внимание пострадавшим от немцев

но просвоих сказать ничего немогу Нюша хотя и была за Хлебом в Москве но Маня назяблась и поговорить с кей ей не пришлось Меня прописали у Нюши и дали уже продовольственные карточки Хлеб получил 5 уже дней на иждивенцев дают 400грам Хлеба затем милые досвиданье остаюс жив отец вас любящий

М.В.Соколов.

рились и никуда не поехали и они с обеда начали жеч постройки тогда люди бросились кто-куда попало некоторые уехали на сабачник на баканцево кто на Черногряз а мы выпросились у Пелагеи Кузнецовой в окоп. который у ней зделал Александровский сват *и этом 5 аршинном окопе 2 дня жили 8 семей* мне спосибо дали хотя скорчимшись лежать стол а голову клал к егоровым детям на подушку, потом начали расходится 2 семьи уехали в Петрищево 3 семьи на Петриково и вот потом мы остались жить 2 семьи Пелагея и мы зделали плиту Хлеб пекли на плите а потом *узнали что у Форофона печка с материка и она не упала стали печ в ней*

и вот Милои мои так и живем мучиемся

еще сообщу что было зарыто в земле кое что отрыли свинины часть топленова сала и одежду и платья и мануфактуру соль все осталось невредимо воск и васино руже было спрятано во дворе закинулось снарядом осталось целым

и вот милые родные пройдя несколько дней к нам первый из деревни заявился Илья и Маня узнать нашу судьбу

и Анисья и Маня меня на салазках довезли до аселка к машине на машине прехать было нельзя в Захарьино потому что немцы завалили деревьями всю дорогу и вот мороз был 38 градусов а ехали мы слишним 6 часов

но только приезд мой был очень счастливый вылезаю из машины смотрю стоит наш милый Вася и они с Ильей меня втащили на 5-й этаж в комнату но комната неотапливается и нет часто свету *я прожил не раздевая пинжак и тулуп у них 11 дней*

теперь в настоящее время перевезли меня к Нюши в Сабурово и я теперь *живу как в раю* Нюша в комнате теперь живет одна ее компан. уехал в Свердловск комнате 21 метр платит 27 руб в месяц жалованья получает 475 р. и есть приработка так что кормица можно *меня там вымыли и вшей сняли* и живу теперь хорошо Вася меня 3 раза в Москве наведывал.

и обещался приехать к нам с Нюшей

и Мани опять от заводу дали машину 10 февраля и она ездила опять в деревню привезла свинины и сала Хлеба не привезла муку отрывать трудно а рож в Москве молоть неди

в деревне жизнь налаживается дали 4 лошади с запряжками и уже 50 куб. наметили лесу на Куртникови

в Денисеве уже выстроили один дом
государством будто что будут строить всем 10 аршинные дома но официально сказать немогу *но государство в первую очередь обратило вниманіе пострадавшим от немцев*
но просвоих сказать ничего немогу Нюша хотя и была за Хлебом в Москве но Маня назяблась и поговорить с ней ей не пришлось Меня прописали у Нюши и дали уже продовольственные карточки Хлеб получил 5 уже дней на иждивенцев дают 400 грам Хлеба затем милые досвиданье остаюс жив отец вас любящий

М. В. Соколов

Дед Михаил жил в деревне Захарьино, что — 3,5 км к северу от станции Шаликово Белорусской ж. д., 12 км не доезжая от Москвы до Можайска.

Упоминаются окрестные деревни, где были родственники и знакомые. Было деду в 42-м году 82 года. Кстати, можно судить, как крепко его обучили грамоте за 2 класса церковно-приходской школы.

[1992 год]

Дорогая Татьяна Васильевна!**

Поклон Вам из далекой Сибири и благодарение за письмо, за книгу, за работы ребят, довольно умные и порой писанные совершенно зрелым, устоявшимся почерком и содержащие свои ребячьи мысли и суждения. Если за учеников переписывали папы или мамы, то это совершенно напрасно — нынешние дети, чаще всего единственные в семье, и без того лишены самостоятельности мысли и действий, забалованны, ленью и инертностью пораженные. Я со страхом думаю, что с ними будет, если грянет беда: голод, война, свалка, отчего мы совершенно не застрахованы.

Мы оставляем детям землю больную, изношенную, химией угнетенную, небо дырявое и грязное, реки покореженные — только в Сибири 19 мощных гидростанций.

---

* Выделения в тексте сделаны автором письма.

** Письмо в Звездный городок.

Моря опустошенные и загрязненные. Если дети нашего поколения из леса не вылазили и знали, какой корень или цветок съедобны, то нынешние детки и в лесу-то не бывают, ничего «про природу» не знают. Бог — опять же Бог! — уже начал спасать людей, возвращая их к земле через дачные участки, где дети видят, что калачи растут не на березах и картошка — не на соснах. Хотя и здесь детки при попустительстве бездельничают, где родители не приучают их трудиться на земле, в больших семьях дети по своей воле трудятся и дома, и на земле. И когда придет пора окончательного возвращения горожан в деревню — а это произойдет непременно и скоро, иначе гибель всем, — снова начнется освоение целины — запущенных пашен, снова начнет воскресать деревня, вот тогда наиболее подготовленные к труду и приближенные к земле и природе люди и будут по праву царствовать на земле и из последних уж сил спасать смертельно больную Россию. И тогда интеллектуалы и интеллектуалки пойдут снова в села — менять на картошку и хлеб свои драгоценности, тряпки, свои знания, свой ум употреблять будут во спасение и процветание земли, а не на покорение, т. е. на погибель, как это делали наши 2—4 поколения.

Такое развитие человека, когда жители Вашего городка летают уж до Луны и живут на небе, а в деревнях землю копают лопатами; когда одни страны обладают оружием, от которого нет защиты, а где-то у озера Чад, люди — тоже люди! — в набедренных повязках ведут первобытный образ жизни и — «тайные» сношения с цивилизацией, — обменивают рыбешку и овощи на железки и стекляшки — такая разножопица (извините за деревенский лексикон) ни к чему хорошему привести не может, и если мы не одумаемся, не остановимся в полете, в беге, на танках, не уверуем в Божьи помыслы, то очень и очень скоро достигнем края пропасти.

Вместе с Вашим пакетом пришел конверт с сочинениями ребят на ту же, что и у Вас, тему: небо и земля! Звездного городка жители, конечно же, более развиты, чем в кубанской станице, откуда пришел конверт, но и в том, и в Вашем конверте все то же удивление поведением Васютки в лесу, и как много они «почерпнули полезного из рассказа». Но почему из рассказа? Почему не из леса, не у природы учатся дети? Давно пора в школах вводить уроки природоведения, надо проводить эти уроки в поле, в лесу, в огороде, заставлять их садить, копать, сеять, да хотя бы

цветы, очищать водоемы, лечить леса. Отчего же нас, деревенских детей, в 30-х годах учили этому, лесом врачевали, а ныне городские дети узнают природу разве что по телевизору?

Литература — вещь хорошая, молитва — тоже, но они всегда были и будут после хлеба насущного. Когда-то в одной комсомольской газете шел спор, кто ценнее в жизни — хлебороб или интеллектуал? Наши дети, да и взрослые, как всегда, демагогично, многословно вели вялый спор, но английский писатель, не владеющий приемами нашего привычного блудословия, оборвал этот пустозвонный спор одной фразой: «Жрать захотите и сразу ваш спор прекратится». Я, испытавший голод 33-го года и много раз познавший, что такое он, голод, знаю, что «этот царь беспощаден».

Не нужно «закормленных» пряниками детей закармливать еще и словесной мякиной.

Вчера у меня был целый класс ребят из города Бирюсинка Иркутской области, и, ведя их по берегу Енисея, я показал на противоположный берег, где раскапывают в пещере стоянку первобытного человека наши археологи, и сказал, что в пещере найдены приметы и «вещественные доказательства» людоедства, и один малый сразу врубил: «Завалил жену и сожрал!» — и все засмеялись, а учительница, конечно же, возмутилась, а малый из 5-го класса и такой уж «остромыслящий»! Вот, чтобы муж жену не жрал иль жена его — надо бы нам приостановиться, одуматься, попробовать для начала сдержать себя в смысле потребления и истребления всего сущего вокруг, а потом уж за лечение себя и природы приниматься, иначе на этих умненьких ребятах все и завершится.

Посмотрел я Вашу книжку, Татьяна Васильевна, еще один вздох и стон деревни, на стихотворении «Деревня Рогово» — прослезился. Стихи Вы пишете основательные, незаёмные, и «бабье» в них свое, только жаль, что все это пишется уже «во след» многих книг прозы и поэзии, отпевшей и оплакавшей нашу несчастную русскую деревню, с потерей которой потерял себя и наш народ, ибо Богом он задуман народом мирным, земным, и если авантюристы всех мастей, преобразователи и проходимцы красной масти сбили его с пути, ввергли в войны, перевороты и кровопролития, то они в конце концов и будут народом и Богом наказаны, и погибнут прежде самого народа, потому как прокляты Господом от рождения, а

народа нашего останется еще достаточно, ибо он велик, увы, велик чаще только по числу, и сколько его останется, что там, впереди, будет — масса или народ — судить не берусь, ибо и сейчас уже вижу вокруг не народ, не нацию, а население, среди которого не вдруг и распознаешь признаки нации, когда-то самой трудовой, самой выносливой, от прошлого, кажется, только терпение и осталось — признаки русичей.

За почерк меня простите — я с войны вижу лишь одним глазом, — за мысли невеселые. Писать ребятам я не буду — недосуг. Перескажите это письмо своими словами, а письма ребят отдам в нашу замечательную сельскую библиотеку, где есть мой архив.

Низко кланяюсь, ***Виктор Петрович***

1.5.92 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Сказали мне, будто Вы по телевизору выразились в том смысле, что не станете писать свой роман о войне. Не знаю, так ли это, но если так, то весьма и весьма огорчительно.

Я не любитель писать письма, Вам написал несколько, да не отправил, все мне кажется, что слово реченное есть ложь. А тут меня как-то пронзило и вот пишу.

Вы — писатель истинный, и понимаю, советовать истинному художнику вздорно, но выразить чувство свое — естественно. Жаль, если не прочту Вашего романа; я поверил в него сразу от фразы, которую Вы стеснительно изложили в письме ко мне — пишу-де что-то вроде романа о войне. И хочется мне надеяться, что слух не соответствует действительности: мало ли чего может послышаться или показаться...

Будьте здоровы, ибо литература есть занятие физическое, грузчицкое, камнеломное. Ясно, бывает и перекур, иногда затяжной, бывает, присядешь, зажмешь голову и такое разное в голову полезет...

А Ваша «Медвежья кровь» — читаю-почитываю страничку, другую, перечитываю и переживаю. Хороша книга!

Желаю Вам добра!

Искренне — ***Л. Лиходеев***

9.5.92 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Мне очень страшно Вам писать, хотя пишу уже второе письмо. Первый раз я писала сгоряча, когда увидела Вашу фамилию среди писателей, подписавших письмо в «Правду». И Вы мне ответили, и так мне и надо! Но... если бы у нас во дворе взорвалась бомба, я удивилась бы меньше, и мне было очень стыдно...

Первого мая по телевизору я вместе с мамой и взрослой дочерью смотрели, слушали Ваше выступление, мама только перед этим прочитала Ваши «Военные страницы», все повторяла: «Как хорошо пишет». А я, когда Вы произнесли есенинскую строчку — «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...» — будто приросла к стулу, слушая Вас дальше.

Виктор Петрович! Вы такой простой и сложный, такой земной и возвышенный! Если бы все были такими, как Астафьев, какой бы чистой, искренней и доброй была наша жизнь. Вы говорите, что Вы — провинциальный писатель, но зачем Вы так?! Вы — настоящий писатель, потому что пишете, как живете. Вы честный, русский, прекрасный писатель! Вы никогда ни под кого не подстраиваетесь, Вы были всегда самим собой, что любите Пушкина и Лермонтова, понимаете Блока и Есенина, никому не завидуете, спасибо за то, что у Вас постоянно болит сердце за многое, от чего страна и жизнь не делаются лучше, во многом помогаете словом, делом, авторитетом.

Когда кончилась война, вернее, когда освободили Днепропетровск, было ранее утро, было еще темно, но все люди вышли встречать солдат, усталых и измученных. Один солдат поднял меня на руки, а когда я бежала, с ноги спал ботинок и я ревела, — он поднял меня высоко и сказал: «Помни дядю Глеба из Москвы». И мне часто хочется (до сих пор!) закричать: «Дядя Глеб! Жив ли ты?» Если уж такое не забылось, то разве может забыть солдат, который был в пекле боев, и как можно забыть тех, кто погиб?

Ващенко Клавдия Ивановна. *Желаю Вам здоровья.*

16.6.92 г.

Дорогой Аркадий! (Нестеров)

Спасибо за партитуру оперы, за доброе письмо и приветы. Книжку Люкина тоже получил. Рад, что во время разгула темных сил ты работаешь и не поддаешься общей апатии.

Я сдал и уже отредактировал первую книгу романа в «Н. мир», предположительно — 9—10 номера. Дался он мне очень трудно, до сих пор не могу прийти в себя и отоспаться. А тут еще давление высокое мучает. Впереди же вторая и третья книги и на одного Господа упование, чтоб дал сил и не погрузил меня на дно всеобщего народного отчаяния и предчувствия беды.

Прошлой осенью умер мой приятель — сибиряк, с которым и выпивали, и певали. И у меня как-то разом написалось что-то подобное романсу. Посмотри. Может, он и «зазвучит» в тебе.

Живу в деревне, вожусь в огороде. Погоды нет, холодно. Читаю-перечитываю скопившиеся рукописи — столько наш народ плодит бумажного говна! Мало ему натурального, так стихотворным исходит.

Поклон тебе и твоей верной Таисии.

Обнимаю и хрустальных звуков желаю, прежде всего в душе.

*Твой **Виктор Петрович,***
Овсянка

18.6.92 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Последние месяцы я называю астафьевскими в моей жизни. Запойно, но понемногу, смакуя, перечитываю первые два Ваших тома. Прочитал прекрасные заключительные главы «Последнего поклона» в №№ 2 и 3 «Нового мира». Видел по ТВ вторую и третью встречу с Вами и все казню себя, что как-то умудрился прозевать первую встречу. Фильмы получились хорошие, запоминающиеся, приближенные к зрителю, а Ваши высказывания — мало кто так чувствует Россию и все русское в ней. И вот потрясение — наотмашь! вперехлест! — от опубликованных в «ЛГ» глав романа «Прокляты и убиты». Обожгло. Не могу

в себя прийти. Слезы застили строчки, когда читал. Читал — а сознание при этом увертывалось, не приемля гнусное убийство двух мальчишек. Срабатывает самозащитный рефлекс, чтобы умом не повредиться. Сознание увертывается от страшных действ — и все же касается их всеми пятью природными чувствами в предельном их напряге. До галлюцинаций въяве все. Пронзительно и страшно. И я, как и миллионы Ваших читателей, становлюсь живым — вплотную — свидетелем и как бы невольным соучастником одного из тысяч паскудств системы. Что ж, мы и вправду все — скопом — виноваты. Не может не быть виновным народ, 3/4 века покорный вурдалакам.

Я не скоро решусь перечитать эту Вашу публикацию в «ЛГ», для этого надо хоть как-то отстраниться, иначе сердце не выдерживает. Но, Боже, как Вы-то, автор, выдерживаете эту боль! Ведь каждое слово напрямую проходит через Ваше сердце — ...и рождается искусство высочайшей пробы. Я, Ваш очарованный читатель, с радостью и восхищением свидетельствую, что публикация в «ЛГ» — следующая вершина Вашего творчества. С каждым новым Вашим произведением круто растет силища Вашего слова. Это, наверно, когда-нибудь назовут феноменом Астафьева. Провидение сохранило Вас на войне и направляет Вас в жизни и помыслах, чтобы наш народ в век величайшей его драмы познал высокую меру возможностей родной русской речи. Сегодня **Вы** держите верхнюю планку этой меры. И то, что удается Вам воссоздать словесно — весь этот вещный и духовный мир людей, их чувства, ощущения, их подсознание, — невозможно равномощно передать средствами других искусств, даже и в кино.

А чувство вины остается. Ваше Слово тревожит совесть каждого из нас. Слишком терпеливый мы народ и безалаберно покорный. А теперь просто какая-то усталость. Я, мысленно вороша исторические реалии XX века, давно уже понял, что не будь большевизма с октябрьским переворотом, не было бы и гражданской войны, не было бы ведь и фашизма, и войны 1941—45 гг. И никогда не было бы над нами обезъяноподобного грузина.

Моего отца в 1915 году восемнадцатилетним парнем призвали в армию. Воевал в Бессарабии. Был пулеметчиком. Наступления, отступления. Потом гражданская война. И вот под Царицыном он однажды видел Сталина. Тот кого-то распекал, не стесняясь в выражениях и топая но-

гами. Моего отца тогда поразило несоответствие высокого чина с вульгарным поведением и матюгами. Отец умел мастерски имитировать речь и повадки других людей и уж особенно преуспел в изображении этого грузина. Мы хохотали до слез. И всю свою жизнь отец в нашем семейном кругу называл Сталина не иначе как Еська Базарный — по сходству с некоей личностью в Астрахани, родном городе отца, на главном астраханском базаре, что на Кутуме, были весьма тогда известные всему городу Ёська Базарный и Дунька-Рваный-Бок. Вот такие аналогии. А еще отец говорил, а я не верил, что Сталин маленького роста, кривоног, а лицо нечисто — угри, рябины.

Читая Вас, я как будто свои ранние годы перелистываю. Все знакомо до мельчайших подробностей быта и ощущений. Я не испытал детдомовского лиха, но голод, холод, неустроенность, выгороженные углы в бондарке либо «семейный угол» в палатке на 20—30 человек... Весь Дальний Восток изъездили... Отец пил. Не запойно, но каждый день, как все астраханские бондари. С начальством не ладил, и его часто увольняли с работы. А человек он был компанейский, всегда в центре внимания. Читая о Вашем папе, я вижу своего отца. Все мы из одного теста.

Нет, не понять всего этого Вашим читателям в других странах. Никогда им не постигнуть нашего уклада жизни в советские десятилетия, и никакие примечания и комментарии тут не помогут. И, к великому сожалению, нельзя в переводах передать тончайшую материю Вашей русскости, запредельной трепетности души. Вы можете убедиться в этом. Попросите русского филолога, свободно владеющего английским, к примеру, языком, сделать обратный перевод какого-либо абзаца Вашего произведения с английского на русский и сравните этот перевод с подлинным Вашим текстом. Издержки будут огромные. Правда, здесь уже будет двойная накладка, а потери в английском тексте составят половинную долю. Ваша проза, как и высокая поэзия, на другие языки равномощно непереводима. И подумать только, ведь в школе за образцы литературы выдавались «Цемент», «Бруски», «Электроцентраль», «Кавалер Золотой Звезды» и т. п.! Я, кажется, начинал, но так и не прочитал ни одной из подобных книг. Но я знал, что нужно говорить о них на уроках литературы.

...А из головы все нейдут братья Снегиревы, и я стараюсь увести мысли на близнецов, которые работали какое-то время под моим началом. Это Гена и Боря Беликовы, молодые инженеры-дорожники из Усть-Каменогорска,

специалисты с природным компьютерным мышлением, отличные фотографы. Они так друг на друга похожи, что первые 6—8 месяцев я их не различал. И только когда я улавливать начал какое-то подспудно-внутреннее их своеобразие, я научился их различать. Гена родился на 15 минут раньше Бори и по праву считал себя старшим. Сначала мне все это казалось дурашливым розыгрышем, но нет, покровительство и опека Гены были взаправдашними, и Боря иногда действительно был подавлен: старший брат отчитал. И был Гена внутренне чуть-чуть звонче, а Боря чуть-чуть приглушеннее. Это можно было уловить во взгляде, в черточках лица, в движениях. И это, конечно, не мешает им жить в великой приязни друг к другу. Они рассказывали, что в детстве постоянно слышали о себе в разговорах взрослых: однояйцевые близнецы! Это заставляло их лишний раз проверять себя. «Чего они? Нормальные мы! Двухъяйцевые!»

Я же сразу установил, что они все-таки разнояйцевые близнецы: узоры на их пальцах разные.

Виктор Петрович, извините меня, я в последнем письме неверно информировал Вас, сообщив, что в здешней библиотеке только одна Ваша книга. Надо было не на полке смотреть, а заглянуть в каталог. А по каталогу вот какие Ваши книги есть в нашей сельской украинской библиотеке:

Последний поклон. Повесть в 2 т., Молодая гвардия, 1989.

Перевал. Повести. М., Дет. лит., 1988.

Ведмеді йдуть слідом. Оповідання. Для мол. шкіл. К., Веселка, 1985.

Дядя Кузя — куриный начальник. Повесть. М., Дет. лит., 1981.

Пастух и пастушка. М., 1989.

Повести и рассказы. М., 1984.

Стародуб. Повість. Для серед. та ст. шкіл. К., Веселка, 1986.

Царь-рыба. Повествование в рассказах. М., 1980.

Заглянул я в библиотеку и местной средней школы, это украинская школа. Каталога здесь не оказалось, но целая верхняя полка стеллажа отведена Вашим книгам. Вот они — по нескольку экземпляров серии ШБ:

Где-то гремит война. К., Радянська школа, 1988.

Царь-раба. М., Молодая гвардия, 1984.

Кража. Последний поклон. М., Просвещение, 1990.

Перевал. Кража. М., Детская литература, 1988.
Последний поклон. Детская литература, 1983.

Извините за длинное письмо.

Желаю Вам, Виктор Петрович, и Марье Семеновне доброго здоровья, благополучия и успехов в работе.

С уважением, ***Миронов***

[Июль 1992 года]

Ох, Виктор Петрович!

Как мне сейчас страшно! Не за себя, конечно (чего уж теперь нам, всего повидавшим!), а за детей и внуков! И не только за своих, за всех.

Грядет рынок, капитализм. Распускают колхозы. Единоличники теперь фермерами зовутся, по-американски. Только как ни называй — страну они не прокормят. Вот начинают продавать землю — это уж последнее дело, может, и за кладбища примутся, чтоб с молотка — там земля удобренная. Иностранные стервятники уж и перья распушили, когти показывать начали, только чтоб ухватить лакомые кусочки от российской земли...

Ведь раздерут, Виктор Петрович, на куски и не подавятся. Мы же подавимся сухой коркой, если она будет... если нам ее бросят...

Иностранцам и всегда-то было наплевать на русский народ, им дороже свой карман!

В «Комсомольской правде» после выборов был такой заголовок: «Велика Россия и выбирать некого!»

Неужели это так, Виктор Петрович? Неужели Россия дошла до того, что матушку Россию уж и спасти некому?! Может, Господь этого все-таки не допустит...?

Страшно! Ох, страшно! Вроде в России такого еще не было? На окнах в домах — решетки, двери железные — тюрьма, а не жилье... Раньше воров ловили и за решетки садили, теперь бандиты на воле, а нормальные люди «обрешетили» себя, только есть ли в этом спасение?

Ну да ладно. Поживем еще, сколько Бог жизни даст, а мне бы дожить еще до Вашей, последней (о войне) книги...

Дай Бог Вам силы, терпения да добрых мыслей в сердце и в голове.

Подпись неразборчива

Август 1992 г.

Дорогой Женя! (Носов)

Вот уж лето покатилось под гору, а я все собираюсь написать тебе и послать журнал «Родина», который свозил в Москву — для тебя, и впервые не знал, радоваться или горевать, что ты не приехал. Сказали ребята, и ты, и мать твоя — заболели. А как сейчас-то?

Съезд, или то, что было названо съездом, был последним позорищем, достойным нашего времени и писателей, которые это позоище устроили. Раньше как-то незаметней было. А тут сивые, облезлые, старые неврастеники, еще более пьяные и дурные, чем прежде, дергаются, орут кто во что горазд, видя впереди одну жалкую цель, чтобы им остаться хоть в каком-то Союзе, возле хоть какой-то кормушки. О-о, Господи! Более жалкого зрелища я, кажется, еще не видел в своей жизни. Даже в пятидесятых годах, будучи на колхозном отчетно-выборном собрании, которое отчего-то проводилось весной и отчитывался однорукий председатель, а, опившиеся поганой браги с «колобком» и настоем табака, колхозники орали что попало, блевали себе под ноги, и дело кончилось тем, что отчаявшийся председатель тоже напился до бесчувствия и ушел в одной майке в родные поля, уснул на поле, и родной сын его, пахавший на тракторе, зарезал и запахал его плугом. Даже тогда я не испытал такого горя, беспросветности в душе и отчаяния от беспомощности. Наверное, молод еще был и конца своего и нашего не видел и не ощущал...

Почти все лето я в деревне. Мария стала шибко сдавать. А мы с внучкой съездили на Алтай, в деревню, что напрямую в 30 километрах от шукшинских Сросток. Внучка — человек контактный, как нынче говорят, село редкостное, по-сибирски первозданное, работают и пьют в меру, живут крепко, замков почти не знают, ограды внутренней «друг от друга», как и в Курске, на твоей усадьбе, нет, кони сытые, при сбруе с кистями и бляхами. Отрадно на все это смотреть. Климат почти крымский, землю можно на хлеб мазать — как масло. Жить бы да жить, но новые правители задавливают крестьян налогами; появились беженцы, в том числе азербайджанцы, армяне и цыгане, и присутствие их гостеприимные чалдоны уже начинают ощущать.

Ездил я на Шукшинские чтения — это уж второй год

подряд, и второй год говорю: «не надо каждый-то год» — на Пикете скоро совсем не останется травы, да и село покоя не знает от праздно-патриотического народа. Опять было многолюдно, торговля с машин на горе бойкая шла, торговали всем, вплоть до спиртного, и ни единой книжки, ни бумажки, ни открыточки Шукшина нету, и вообще это дело превратилось в дежурное мероприятие.

Был я и в Смоленском, где Толя Соболев лежит, — это в восемнадцати верстах от той деревни, где мы с внучкой отдыхали. Тут было все поскромнее и потише. Галя Васюкова приезжала. Внучка моя купалась, резвилась да и простыла, а в самолете добавила и так заболела, что враз вся опала, сморилась и нас перепугала до смерти, — самый здоровый человек в семье, и любим мы с бабушкой ее какой-то уж нездоровой любовью — сирота же, да еще такая вольная, к учебе не рвется, только бы прыгать да скакать да выдумывать всякую всячину. Я теперь понимаю свою бабушку, Катерину Петровну, каково ей было со мною. А через несколько дней сравняется уж пять лет со дня кончины нашей дочери, и как-то мы эту дату переживем? Прилетит из Вологды сын Андрей с внуком, маленько поможет, а Марья моя держится, по-моему, только ради внуков, лекарства ест горстями и не знает, встанет ли завтра. А без нее нам хана...

Лето было разное — то лило, то пекло.

В 10—11-х номерах «Нового мира» собираются печатать мою первую книгу романа, готовлюсь ко второй и вижу: какая «легкая» была первая. Одолею ли? Надел сам на себя хомут и тащу на стертой шее. Может, осенью выберусь в тайгу, отдохну, пообщаюсь со старообрядцами — они живут хорошо, независимо, даже от пенсий отказались.

Ну, ладно. Хотел много тебе сказать, да не получилось.

*Обнимаю — **Виктор,***
Овсянка

7.9.92 г.

Дорогая Надя! Надежда Юрьевна! (Папанова)

Как я ни изворачивался со временем своим, как мне хотелось бы встряхнуться и побывать на юбилее Анато-

лия Дмитриевича, ничего у меня не получается. Как раз на конец лета и начало осени выпало несколько срочных работ — подготовка нового Собрания сочинений, писание предисловия для него, вычитка верстки из «Нового мира» нового моего романа — и тут подошел пятый том идущего в «Молодой гвардии» Собрания, и я нисколько за лето не отдохнул, башка трещит. Но вот подоспела пора уборки в огороде — тут я немножко и отдохну, на земле и в земле роясь.

Словами-то я бы, наверное, об Анатолии Дмитриевиче сказал бы горячей и лучше, чем на бумаге. Но раз иного способа не остается, скажу главное.

Папанов — явление чисто российское, по-российски естественное настолько, что он даже из ролей, вроде бы чуждых его природе, делал подлинно узнаваемый характер — Генерал Серпилин, отставной полковник в «Берегись автомобиля», политический зэк в последнем его фильме «Холодное лето...» — эту роль вообще мог сыграть только он, вытянуть, вдохнуть в нее жизнь, потому как в сценарии она деревянная, сколоченная, будто табуретка неумелым плотником, когда все гвозди наружу и доски неоструганы. Анатолий Дмитриевич сделал роль не просто замечательной в «Лете», но и сам фильм подтянул на художественную высоту, где уже светится искусство... Я мало видел его в театре, не повезло, но там, в какой-то пустяковой пьесе из жизни домкома, он сотворил такую ли конфету, что облизываешься и от хохота слезы текут, а еще его умение перевоплощаться — от вечного волка до проникновенного, какого-то небесного прикосновения к стихам Тютчева — и это при его-то, вроде бы совершенно не «театральной», скорее, биндюжной дикции. Какое редкостное свойство таланта обернуть недостатки природы: грубую, нескладную внешность, голос, лишенный театральной изысканности, из всего этого сотворить не только достоинство, но и творческую ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, неповторимую, неподражаемую самобытность. Никогда и никто не сможет подражать Папанову. Его даже пародировать невозможно, хотя на первый взгляд кажется, кого и пародировать-то? Но эта редкость из тех, что близко лежит, да брать далеко.

Однажды я сказал Анатолию Дмитриевичу, что он всю жизнь играет не в своем театре. Это же я говорил и Ульянову, и Льву Дурову. А сейчас вот талдычу Алексею Петренко — для всех этих актеров, и для Папанова в первую

голову — должен был существовать «свой» театр, где бы и труппа, и репертуар подбирались самим актером, и пусть бы он играл один — два спектакля в году, но «своих», самим им, натурой и талантом его высмотренных, учувствованных и найденных. Может быть, тогда реже актеры вздыхали бы о «своих» несыгранных ролях, особенно в русской и мировой классике. Может, не один шедевр, подобный «Дальше — тишина» или «Соло для часов с боем», увидели бы мы.

Но, но как уже мне не раз говорили: «Тут тебе не Франция, где Жан Габен получает все, что захочет, тут тебе Россия, и в ней Олег Жаков, не менее талантливый и значительный, так и не удостоился роли, соответствующей его значительности...»

Но, как бы там ни было, жизнь прожита Анатолием Дмитриевичем, значительная по содержанию и не только на сцене. Память его соответствует обаянию, она светла, и остается только сожалеть, что Бог не дал ему долголетия и лишил всех нас радости общения с ним...

Кланяюсь русской земле, родившей сей редкостный самородок и упокоившей его. Царство Небесное достойному своего великого Отечества человеку, достойно пожившему на этом свете и много потрудившемуся во славу нашего, все еще живого, многострадального искусства. Низко кланяюсь всем, кто пришел помянуть Анатолия Дмитриевича, целую твои руки, Надежда Юрьевна. Храни тебя Бог.

Виктор Астафьев,
с. Овсянка

5.11.92 г.

Здравствуй, Валентин! (Сорокин)

Очень хорошо написал ты об Иване Акулове! Вот бы тебе и заниматься делом, какое Бог определил, так нет, давно пораженный зудом вождизма, лезешь ты на все трибуны, порой уж совершенно балдея от их манящего великолепия, и трясешь своими седыми патлами, брызгаешь слюной, защищая какую-то, мне неведомую Россию и какой-то, совершенно мне неведомый народ. Уж не гостиницу ли одноименную с ее населением обороняешь ты? У тебя, видно, еще есть жизнь в запасе, коль ты эту — бого-

данную — расходуешь так наплевательски? Я понимаю Прокушева, твоего предшественника на руководящем посту, — отпетый советский лодырь, демагог, а охота быть литературным барином, чем-то руководить, с кем-то бороться... Но ты, хотя бы судя по материалу об Иване, еще не пораженный демагогией, разве не чувствуешь, что суета и современное политиканство, как ржавчина, съедают талант за талантом. А ты-то во имя чего себя и свой Божий дар губишь? Россию никому, в том числе и тебе, и борцам твоим-побратимам, не спасти и не помочь ей, если она сама себе не поможет... Как мне тебя жаль и тех, в памяти моей все еще парнишек, которых вы оторвали от стола и вовлекли в бесполезную свалку.

«Литературную Россию» с нынешнего года я перестал выписывать — она неприлична, это боевой листок стрелковой роты, делающийся на казарменном уровне и под руководством казарменного унтера. Не думаю, что и твой друг и мой товарищ, тоже немало сил и здоровья потративший на «борьбу» и сделавшийся столичным чиновником, из-за чего многое не успел написать, будучи в восторге от твоей бурной деятельности. Я ему говорил о том, и он горько тряс головой, сожалея, что не делал Божье дело и много сил ухлопал ни за что, ни про что.

Неужели и это тебе не урок?

Я где только можно говорю об Иване и его книгах, но судьбы людские — они тоже в руцех Божиих, в том числе и посмертные. На Николая Рубцова обрушилась посмертная слава, а на более сформировавшегося, глубокого и серьезного поэта Алексея Прасолова как не обращал внимания дорогой наш читатель, так и не обращает.

Мне прислали фотографию Ивана с топором за поясом, в полушубке. Замечательная фотография! Такой Иван мне близок и понятен, а не тот, которого я однажды встретил в Госкомиздате — виноватого, суетливого, с бегающими глазами, чего-то оправдательное лепечущего, жалующегося: «Вот, занимаюсь всякой херней, писать некогда...»

И ты занимаешься «всякой херней». Осердись на меня, но больше на себя, укройся на своей уютной даче, а лучше поезжай на свой горемычный, ограбленный и угробленный Урал, схватись за сивую голову, помолчи, подумай, уединясь, о своем назначении на земле, может, Бог и обратит на тебя внимание, вразумит, вернет к делу, которое Он тебе назначил, и простит грехи твои вольные и невольные.

А за Ивана и за память о нем спасибо! Очерк этот убедил меня, что ты человек и писатель еще не конченный, иначе я бы тебе и не написал.

Кланяюсь. ***Виктор Петрович,***
г. Красноярск

5.10.92 г.

Дорогой Борис! (Кузнецов)

Как поет Газманов (или Гамзанов — не помню я фамилии современных кумиров): «Ты на море, я на суше, мы не встретимся никак»... Рад тебя приветствовать и на море, и на суше. Посылаю тебе на сушу третий том, несколько потемневший и подорожавший, а там, даст Бог, пришлю и остальные три, хотя уже и сейчас началась наша отечественная «химия»: складывают вместе 1—2 дешевых тома, воссоединяя его с третьим, и продают за 58 рублей три тома, не считаясь, подписчик ты иль не подписчик, если на сей день не выкупил тома — привет! Как и всюду сейчас в торговле, и в книжной тоже, жульничество и бесстыдство. Вот начинается в Сибири издание, наиболее полное, томов 14—15, так современные издатели на подписку особо и не рассчитывают, говорят, сами будем продавать. Но ты, как человек морской и богатый, наверное, можешь подписаться уже в 1993 году — должно выйти четыре тома. Издание предполагается в солидном оформлении. В первом томе будут ранние вещи, мое предисловие и комментарии. Будет даже отдельный том фотографий. Можете дать объявление на Вашу моряцкую газету, но в виде информации, за объявление молодому издательству платить нечем.

Посылку твою, если речь идет о давней, весенней еще, мы получили и благодарим тебя. Я особенно и отдельно благодарю за мазь от геморроя и за таблетки от давления, которые, увы, у меня кончаются, коринфара осталось совсем маленько, но это авось достану здесь.

Роман, первая книга — идет в №№ 10—12 «Нового мира». Надо бы приниматься за вторую книгу, а я вот расхворался. Съездил на рыбалку, подпростыл, и началось обострение в легких, с которым я никак не справлюсь, потому что осень на дворе, пусть и хорошая, но добавить простуды всегда возможно, и я лечусь в больни-

це и дома. Занимаюсь мелочами, даже чего-то помаленьку пишу, стараясь не обращать внимания на то, что происходит вокруг, да куда же от жизни и от такой проклятой действительности денешься?

Будь здоров! Благополучных тебе плаваний и радостных возвращений на берег!

*Кланяемся — **МарСем** и **я** — **Астафьевы,***
г. Красноярск

30.11.92 г.

Дорогой Виктор Петрович, здравствуйте!

Где только мы не «летали» со своей фамилией — и вот в Ташкенте. С лета мы тут, и я собкорю от «Огонька» по республикам Средней Азии. Обменялись квартирами с полковником-румыном: он — в Цыганию, а мы — в Арбузию. Там стало совсем невмоготу, а тут пока что стабильно. Квартира вполне нормальная — и даже в центре. Погода тоже нормальная, и вчера мы в речке даже покупались: вода — плюс 18°С. Такие вот контуры внешнего бытия. Это детали для зазыва сюда.

Честно говоря, очень и очень хотели бы, чтобы Вы с М. С., либо сами, а то и одна, как уж получится, прилетели к нам погостить, погреться среди зимы, поесть свежей зелени. Очень хочется обнять Вас, дать возможность уйти в тишину — отдельная комната будет обеспечена. А теплом оделит Аллах!

Ну, а если и нет такой раскладки, то склоняюсь попроситься к Вам дня на три в командировочку. Я бы Вас не потревожил, пожил бы в гостинице. Дело в том, что у меня возникла «огоньковская» идея, но я не знаю, как воспримется она Вами, дорогие М. С. и В. П. О Вас, Виктор Петрович, писали часто и хорошо, и я тут — пас. Во всех смыслах — пас. Но вот очень хочу написать очерк «Жена» — о Марии Семеновне, скромной и душевной женщине, о которой Вы, Виктор Петрович, говорите в каждом интервью. Вот такая задумка, которой Вы можете дать и зеленый, и красный. Ну, а если Вы этого не пожелаете, усомнясь в моих возможностях, которые вроде бы еще не поугасли, то тогда поводом станет мой приезд, чтобы заполучить для журнала отрывок из романа. В памяти моей двадцатилетней (нет, уже больше) давности

салехардская картина кладбища, где Вы, В. П., намеревались «похоронить» своего героя. Ах, дорогие, как хочется повидать Вас, что причаститься у родника...

Мои Вас прежне любят и чтут. Гера, чудо морское, женился, идиотик, мало этого — еще и родил нам внука, тоже Вадима. Доучивается в институте. Жанна уже в восьмом — спокойно говорит по-английски, девочка из способных. Женя прежне хлопочет. Жизнь поразбросала нас от родственников, да что о ней, клятой чертом, говорить-то...

Каждый пузырь, взойдя на кресло, оправляется на нем и говорит о р-рыволюции. Милые и родные, поклоны Вам от моих. Тут у меня еще и старшие дети, очень они хорошие люди, и с Женей у них лады.

Обнимаю. ***Летов Вадим,***
Ташкент

[Осень 1992 года]

Дорогой Виктор Петрович!

Так получается, что во всей этой людской замети потеряться и потерять куда проще, чем найти. В оренбургской глубинке залез я во всякие дела, литературные и около и никак не вылезу: областной Дом литераторов, писательские-издательские дела — заботы для нас немаленькие — 24 книжки авторов наших за три года, аксаковское и державинское имения, ну и всякое прочее. И вот передали мне знакомые, что слышали Вашу передачу — интервью с Володей Карповым, — хорошую, добрую, как они говорят. Выходит, слышат еще друг друга люди, слушают.

Конечно, на дело наше и так и этак можно глядеть, попробуй, отдели ее от политики или от идей всеобщую эту жизнь, на первостепенное раздели и на второе-третье. Каждый свое выбирает, по мере своей. Может быть, Вы и правы относительно нас, молодых сравнительно, в том числе и меня. Вообще-то, я и в лучшие времена для работы писал очень медленно, туго, с какими-то тяжелыми возвратами — не к написанному, а к передуманному. Тем более трудно, для меня именно, писать теперь, в пору такого раздрая душевного, который вполне сравним с Вашим, Вашего поколения в бытность молодости: слиш-

ком у нас резок поворот, переворот или сам антипедагогический этап — приемчик времени, опомнишься и перетрясешь все свои прибыли-убыли и уж совсем неизвестно, как и чем отстоится все это.

Прочитал первую книгу «Прокляты и убиты» и поражен, Виктор Петрович, сколько силы в Вас сохранилось, а еще больше — упорства ее, по одному этому Ваше фронтовое поколение ни с каким другим не спутаешь.

Роман Ваш настолько силен, жесток в живописи своей, порой нечеловеческой, что ему взывать, кроме как к Богу, не к кому — не к человеку же, не к обществу, какому бы то ни было, или к народу, потому что на земле никто на эти вопросы и никогда не ответит, даже и в каком-нибудь распрекрасном будущем. Он, этот роман, только тогда будет иметь смысл для нас всех, мне кажется, если в нем самом на посыл, на жалобу «Прокляты и убиты» сам Господь ответит. И спасет. Фигурально, конечно, но важен смысл. Спасибо за него, Виктор Петрович, но Вы-то сами лучше меня понимаете, какое оно тяжелое, даже просто читательское, спасибо.

Что касается политики, то тут я, Виктор Петрович, на одном стою, одно говорю соратникам, да и всем: мы Астафьеву не судьи, мурцовки не пробовали и не надо его трогать. Мне кажется, Виктор Петрович, что дополнительное упорство и жестокость Ваш роман получил еще и в силу отталкиванья, отвращения от нынешнего всего...

Всего Вам доброго, хорошей работы и здоровья! И мой поклон сердечный Марии Семеновне и всем семейным.

Ваш ***Петр Краснов***

[Осень 1992 года]

Дорогой Виктор Петрович!

Каждый год, если не десятилетия, — я с «Новым миром».

Благодаря Вам я вновь испытал книжный зуд, давно забытый. Трижды бегал в «Новый мир» — за номерами, нетерпеливо хватал журнал, читал, глотал страницу за страницей!..

Кстати о датах. В январе будет десять лет, как я с Вами познакомился, побывал у Вас в доме. Говорили об Александре Исаевиче.

Понимаю, говорю пошлость и банальность, и все же скажу: думал ли кто из нас, что Вы с ним встретитесь в Красноярске, а я — в Москве. Кстати, в ближайшее время у нас в Малом театре будет премьера его пьесы «Пир победителей». Будете в Москве — милости просим!

Пожалуй, эти встречи, Ваша книга, открытые храмы — вот то немногое, что действительно сбылось в нашей стране. В остальном — «смятенный вид родного края» остался смятенным, хоть и по-другому.

О книге Вашей пока ничего вразумительного написать не могу — впечатления должны отлежаться. Одно, самое сильное, — какие чудные ребята там были вместе с Вами, не святые, конечно, не монахи, не отшельники, но чудесные.

И второе, самое важное, — стыдно ныть по поводу ужасов нынешней жизни на фоне того, что было испытано совсем недавно, не во время крестоносцев или татаро-монгольского ига, а всего-то пятьдесят лет назад.

Так что для меня главный итог Вашей книги: она мне запрещает жаловаться на жизнь и унывать.

Поклон Вашим родным и близким.

*Ваш — **Бор. Любимов***

[Декабрь 1992 года]

Дорогой Виктор!

Сразу три тебе поздравления! Во-первых, с Госпремией, вчера по радио сообщили, правда, не сказали, за какую книгу. Ну да я тебе дал бы за любую: вот так зажмурился бы, выбрал бы, шарясь вслепую на полках — и не ошибся бы. Потому что дело не в моменте, как иногда дают, а в самой сути художника. Борьку Можаева большевики топтали, а меньшевики дали премию, потому что это им на руку именно сегодня. Но художеств у него не ахти, об этой его книжке сказал еще старик Олег Волков, в Мужиках и бабах» много брехни. В те времена, сказал старик, мужики и бабы так остервенело не матерились, они еще Бога помнили и совесть у них была, несмотря на горе, поруху, раскулачивание и коллективизацию.

А из тебя, Витя, просто прет живое человеческое слово, целебное, как бежит целебная вода из отрогов Пятигорска — подходи к ней кто хочет, сколько хочет — всем

хватит! Из народа взято — в народ и втекает, щедро, неистощимо. Честно сказать, я бы дал тебе Госпремию за одни только твои письма, ибо они ничем не отличаются от твоих книжных страниц: так же полны страстности, душевной боли и страдания.

О двух других поздравлениях я скажу в завершение письма, а пока пожалуюсь на свое единообразно затворническое житье, ибо протекает оно, как в эмиграции: город мне чужд, идти некуда, с ребятами почти не общаюсь, поскольку, как только встретимся, так сразу же напьемся и накуримся, а мне стало нельзя совсем заниматься этим греховным делом: гнетут головные боли, отказывают глаза, подскакивает давление, я уж не говорю о своем изодырявленном брюхе.

А главное, разбежались мы с Петей в разные стороны. Вот уже полгода, как не встречаемся. Он ударился в ГКЧПисты, говорит, что я был честным коммунистом и теперь никому не отдам свой кровный партбилет. Ну, дурак, что ты с него возьмешь?! А встречаться стало трудно, как-то не о чем говорить. Скажешь и сразу же кусаешь себя за язык: а может, не так... Давал я ему читать твою повесть. Он прочитал и молча вернул. Писать ничего тебе не стал... А живет он, конечно, плоховато. Баба его грабит, отбирает все до копейки. А живет он теперь на одну только пенсию — литература его никогда не кормила, а теперь тем более. Живет по существу один, сам с больными ногами ходит за хлебом и за картошкой — это при живой-то бабе! Ну, конечно, одному больше воли: заглядывают к нему ребята — выпить, а ему пить тоже край уже подоспел: недавно лежал в больнице с сердцем. Жалко мне его.

Мишка отнес свой партбилет в писательскую организацию, в Киеве, в Печерской лавре накупил крестов (восемь штук), Евангелий и всяких церковных брошюр, и перекрестил всех своих многочисленных внуков, и раздал всем домочадцам по нательному кресту.

А в общем как-то глухо, серо и беспросветно стало. Город в мышиной суете, в поисках поживы, быстро снуют туда-сюда, особенно жалкие, обтрепавшиеся интеллигентики, доцентики, кандидаты разных наук, которым не с чем играть в бартер, не та у них карта. Зато осторожные чины свирепствуют в наглом и открытом грабеже: всю заводскую продукцию, особенно ходовую, присваивают себе и меняют на все, что попадается. Танька, сноха моя,

работает на плевой фабричке — делают хозяйственные сумки. Прежде на этой фабрике и работать стеснялись: такая была захолустная, не поминаемая ни одной газетой. А сейчас — что ты! Оказывается, сумки всем нужны. Особенно теперь, в сумочно-авосечное время. Сейчас даже профессора читают лекции с потайной, складной сумкой в кармане. И вот запроцветала фабрика! Танька несет домой то мясо, то обувь, то свитера и кофты разные, мыло, картошку, цемент, кирпич. Недавно приходит и объявляет: кому надо велосипеды? Вчера на фабрику привезли велосипеды по 300 рэ за штуку — могу взять. Только думайте побыстрее, а то расхватают, берут по несколько штук сразу. Наберут, а потом продадут по 500 рэ.

Витя! Прочитал твою статью в «Родине». Как всегда, отважно написано! С большой форой и Мише Алексееву, и самому Бондареву — главным знатокам войны. Но, друг мой, есть и у тебя следы запальчивости. Возьмем такой абзац:

«Справедливость единственно где была, так это на передовой, на самой-самой. Сейчас пишут: комиссары тут, артисты в окопах, газетчики, фотокорреспонденты. Да ничего подобного! Спросите об этом у настоящего, честного фронтовика, у кого мозги еще не свихнулись. Никаких комиссаров, никакого НКВД, никаких следователей».

Да, ты прав: там, где проблема сходить на батарейную кухню за обедом, даже сбегать по большой нужде, — там я тоже не видел ни артистов, ни корреспондентов. Там не бывало и Симоновых, хотя его сделали окопным героем. Брехня! Спал он в дивизионных блиндажах, не ближе.

Но, Витя, когда ты говоришь, что в окопах не было НКВД, и когда ты, по наивности своей, мальчишеской, солдатской, думал, что... — дальше я цитирую: «Вот здесь была справедливость. И это меня потрясло. Уж здесь говорили чего хотели и делали чего хотели».

Нет, браток, ошибаешься. Щупальцы НКВД проникали даже в самые гиблые места. У нас есть писатель, бывший кегабист (правда, они бывшими не бывают, стучат до конца), так он как-то говорил мне, что у него на передовой каждый 15-й солдат был «мой». Я и сам однажды на батарее наскочил на стукача, не помню, что-то сказал, «что хотел», и поволокли меня, разумного. Но дело замялось потому, что стукача вскоре убило миной, а командир орудия отстоял меня, как наводчика. А то бы загремел я в штрафную...

Да и сам журнал «Родина» пишет об этом. Особенно цеплялись к каждому слову и сразу «лепили» дело. «Чего ж не лепить, — пишет журнал — если за четырнадцать законченных дел они получали орден Красной Звезды... Наград у них за войну больше, чем у боевых офицеров», — это из статьи «Штрафбат».

Ясное дело, что наиболее легкой добычей особистов были простые, беззащитные солдатики. На них легче зарабатывать ордена и повышения. Командира свалить труднее, он мог сопротивляться, он грамотный, у него были друзья в части, такие же офицеры. Конечно, валили и офицеров, и даже генералов, но с ними надо больше возиться, больше писать бумаг, а на солдата любой донос сгодится.

Маленько переборщил ты и относительно высшего командования: «Все они — достойные выкормыши Сталина». Правда, ниже ты похвалил Рокоссовского, который сидел , но предпочел ему Конева за его отношение к солдату. А у нас был командующий нашей 3-й армии Александр Васильевич Горбатов. Как уж этот генерал натерпелся от Сталина, похлебал колымской баланды, напилил мачтовой сосны. И твои слова, что большинство высшего командования совершенно не считались с потерями и совершенно не понимали, что такое человек, «солдат», — думаю, что к генералу — зэку Горбатову, — не относятся. Все было на войне перемешано: были и держиморды, но были и чуткие, мыслящие командиры. Ну, скажем, как твой маршал Конев или мой генерал Горбатов. Не читал ли ты его воспоминания? Как его взяли, как везли в Сибирь и он тайно выбросил смятую папиросную пачку с письмом к жене, как он вкалывал в колымских лагерях. Книгу эту запретили, изъяли из библиотек и больше не перепечатывали. Но у старых фронтовиков ее найти еще можно.

Вить, а насчет собак — что в одной Корее люди благоденствуют, а в другой — едят собак... Тут дело не в том, что собак едят из-за нищеты. Собак едят и в Южной, и в Северной Корее. Это их национальное блюдо. Я много лет жил среди корейцев и знал главного режиссера корейского театра, и меня угощали собачиной с такой же торжественной церемонией, как если бы это была осетрина. Я был под сильной «мухой» и отважно схряпал кусок. Трезвый бы я не решился. Корейцы же считают собачатину праздничной едой. На базаре можно было ви-

деть, как корейцы продают щенят. Их откармливают, доводя до кондиции, и забивают к столу. Кстати, у моего Талды-Курганского соседа, казаха, пастуха — корейцы украли его пастушью собаку и зажарили на пустыре, на заброшенных огородах.

А вообще, журнал «Родина» напечатал много любопытных вещей. Например, очень полезна статья командира поискового отряда — о солдатских костях. Любопытны «Заповеди немецкого солдата», интересны своей рыцарской направленностью и духом боевого товарищества... В них нет ничего гитлеровского — типа: «Фюрер думает за нас», как мы писали в своих агитках. Я бы хотел иметь этот журнал, и нет ли у тебя лишнего? Тебе, как автору, могли прислать. А купить его уже нельзя — поздно. Для меня-то он еще интересен тем, что там опубликованы немецкие знаки отличий, которые могут когда-либо пригодиться, если придется что-либо писать на эту тему.

Витя, дорогой! А теперь об остальных двух поздравлениях. Это — с Рождеством Христовым, с Рождественской неделей, с истинно всенародным праздником, раскрепощающим душу и делающим человека человечным. И еще — с Новым годом!

Тебя и Марию Семеновну, нашу милую, добрую Машу!

Будьте здоровы и умиротворенны сердцами и душами, насколько это возможно в наше время.

*Обнимаю и целую — **Е. Носов***

15.12.92 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Пишет Вам Ваша ровесница, москвичка, человек очень далекий от литературы. И даже не Читатель с большой буквы.

Впервые, очень давно прочитала Ваш рассказ «Конь с розовой гривой» и долго была под впечатлением чего-то для себя необычного: полученного удовольствия от искренности, тепла, душевности... С тех пор стараюсь не пропустить ничего, что выходит из-под Вашего пера, насколько мне это удается.

В 1980 году, находясь в Лаосе в служебной командировке, обнаружила там в посольской библиотеке Ваш трехтомник. Господи, какая это была радость! Впервые захо-

телось сесть и написать Вам благодарственное письмо, от всего русского сердца, с далекого экватора.

Потом вернулась в Союз и со старательностью следила за Вашими выступлениями, публикациями, изданиями. Приобрела «Посох памяти». И снова порывалась написать Вам. Но как это трудно человеку непишущему...

Наконец, подписалась и на Ваш шеститомник — повезло мужу, инвалиду войны.

Снова перечитываю все, получаю огромное удовольствие и снова, в уме, складываю Вам письмо.

Спрашиваю себя: почему мне, исконной горожанке, так близко каждое слово, каждый штрих, каждая деталь далекой сибирской деревни? Мне понятны каждая мысль и каждое слово — близки сердцу.

Но вот волею судеб я очутилась осенью в больнице, в «раковом корпусе». В палате пять женщин разного возраста, разного образования и интеллекта, объединенных только общим несчастьем.

И вот я выбираю и читаю им Ваши рассказы, повести вслух. Как же они слушают! Это ли не чудо!

В конце ноября вернулась домой и поняла — откладывать с письмом к Вам уже нельзя (физически!).

Понимаю, что самые добрые, искренние, самые сердечные слова благодарности — звучат казенно, высокопарно и не могут передать того, что хотелось бы Вам сказать.

За Ваш труд, за Ваш талант, за Вашу жизнь — низкий Вам поклон!!!

Здоровья, здоровья и здоровья Вам и Вашему ближайшему окружению!

С огромной благодарностью и уважением —

Елена Александровна Бурмистрова,
г. Москва

[Конец 1992 года]

Уважаемый Виктор Петрович!

Я преклоняюсь перед Вашим талантом. Ни одно произведение не вызывало у меня ни горьких, ни радостных слез, таких, как при прочтении «Прокляты и убиты».

Я моложе Вас. Служил в Таманской дивизии (48—50 гг.). Было голодно, но не было войны. В 5[illegible]-м году наш

саперный батальон был направлен на разминирование полей сражений недалеко от Киева...

А что это за желтоватые камни раскиданы по полю? Видимо-невидимо. Подошли ближе — и волосы дыбом... — Да это же черепа! Останки наших русских солдат — шинели, а в них кости... В пластмассовых пенальчиках узкие листки — ленточки бумаги: Томск, Омск — сибиряки лежали ровными рядами, незахороненные! А шел уже 1950 год!

Наши войска прорвали линию обороны немцев в марте 43-го и больше противник здесь не появлялся. Отчего же наши не похоронили своих?! Мы нашли только одного немца (останки) в глухой чащобе. А ведь они отступали...

И вот эти фашисты-нелюди — не оставляли на поле боя своих павших солдат. А наши лежали ровными рядами — их поливал огнем один немецкий пулемет из дота на небольшой высотке...

Мы писали родным в сибирские села и города, извлекая из капсул эти записочки. — Пусть знают, где лежат их родные. Многие фронтовики гордо носят ордена и медали, не захоронив своих товарищей... Один как-то сказал мне, мол, наверное, начальство не распорядилось... А ему, начальству, виднее, всегда виднее.

Не знаю. Мы своих, подорвавшихся на минах, хоронили. Правда, другие были времена, мы не отступали...

Я сам получил тяжелое ранение в ногу — мучит до сих пор.

«А ты сходи в военкомат, может, приравняют к участникам войны, какие-никакие льготы вырешат», — советуют мне.

Я послушал, подумал и пошел, документы предъявил.

А мне: «Вот если бы Вы пострадали при уничтожении националистических банд после войны — тогда бы, возможно, приравняли...»

Да ладно. Какие там льготы?! Не нужны они мне, а нога вот как нужна.

Виктор Петрович! У меня одно замечание к роману «Прокляты и убиты». Не надо бы в послесловии подстраховываться от злых откликов. Вы же знаете, что тех людей ничем не убедишь — им шельмовать привычнее.

За роман большое спасибо! Будьте здоровы!

Николай Лукоянов,
Нижний Новгород

19.12.92 г.

Дорогой Виктор!

Сам я «Новый мир» на 92-й год не выписал. Просто не потянул. Но у меня есть соседка — филолог, Ирина Ивановна Щербакова (в свое время занималась изучением творчества Алексея Толстого, как-то наткнулась в архивах Людмилы Ильиничны на мое письмо — мы были с Л. И. знакомы, и соседские отношения наши стали теплее) — так вот она недавно получила № 10 «Нового мира». Договорились, что даст почитать. С интересом и нетерпением жду этого момента.

Я, как мне кажется, немного знаю твое отношение к войне. И мое понимание этого трагического факта ближе, вероятно, к тебе, нежели к мемуаристам Отечественной. Очень хочу вникнуть в твои новые страницы.

Наверное, XX-й век — самый кровавый для России. Гибнут люди и сейчас. Только за этот год убитых на территории бывшей нашей страны в различных конфликтах и стычках более 150 тысяч. Это жутко! За десять лет в бессмысленной войне в Афганистане погибло 15 тысяч! А в этом году — 150! И гибнут-то, как правило, молодые.

Что происходит с человечеством? Нет ни дня на всем земном шаре, чтобы не стучали автоматы. Екатеринбург наш чуть ли не на первом месте по криминалу в России. Убивают средь бела дня. Недавно изрешетили владельца казино. Другого кооператора — из пистолета, в своей машине, буквально в ста метрах от райотдела милиции.

Насилие — уже как норма жизни. Раздевают до трусов детей на улицах, ибо хиленькая зимняя курточка стоит за три тысячи.

Западногерманский журнал «Штерн» опубликовал интервью с начальником частного сыскного агентства в Москве. Этот деятель утверждает, что в 1991 году у нас в России бесследно исчезло 22 000 детей!

Ошеломляюще-дикие информации идут отовсюду. Сами дети стали трудновоспитуемыми.

Как-то недавно приезжал к нам, останавливался у нас, Володя Леонов, директор тамошнего гуманитарно-экологического лицея, работающего по нашим программам и методам да возникшим с нашей помощью. Я знаю этого Володю лет семь. А в этот раз при встрече с ним был буквально поражен: из робкого он стал уверенным, из

мечущегося — устремленным. Даже распрямился как-то. Очень симпатичным стал человеком. А «секрет» — надо полагать, в том, что и сам Володя, и все в его лицее — педагоги, дети, родители, — стали православными. Кто-то, конечно же, был в родстве верующим и до этого, но лицею удалось сейчас приобщить к православию всех.

Вот там, как я понял, дети оказались значительно продвинутыми в нравственном отношении. Они — этакий светлый островок среди черного и озлобленного торгашеского моря. Кстати, Закон Божий детям читает отец Михаил, который до Барнаула жил в Красноярске и говорит, что был знаком с тобой, тепло о тебе отзывается.

Дорогой Виктор! Приближается Новый год. Я поздравляю тебя и Марию Семеновну с праздником! Желаю Вам здоровья и еще раз здоровья!

Кланяется тебе вся моя семья. Всего вам самого доброго!

*Всегда с уважением — **Л. Румянцев***

[1992 год]

Дорогой Виктор!

Легко и весело ты обмолвился о своей старости! Видимо, у каждого она своя: каков сам человек, каков у него характер, такова и его старость. В этом смысле тебе повезло. В силу своего иронического и гораздого подшутить склада ты непринужденно встречаешь и эту фазу человеческого бытия. Тем не менее она, злодейка со вставной челюстью, укорачивает и веселых, и не очень... Я себя отношу к «задумчивым», но это мое состояние не избавило меня от наступающих тягот и на многие мои прежние дозволения сам собой пришел укорот. Так, например, с бутылки водки я урезал себя до пары рюмок и это лишь в исключительных случаях. Поэтому все обыденные праздники типа артиллерии или Петра и Павла (день рождения Пети Сальникова) в рот не беру так же, как и в собственный день рождения, уж года три не созываю своих прежних приятелей. Хотел было написать «друзей», но в самый последний миг тормознуло перо, поскольку, как оказалось, друзей-то у меня мало, а были только собутыльники. Стоило только укоротить выпивку, как оказался в изоляции, даже телефон перестал звонить. Правда, тут не

последнюю роль сыграли и политические пристрастия, даже, например, общение с Петей перешло в какой-то отвлеченно-бытовой тон: о болезнях, о погоде, о московских случаях, все остальное за пределами наших бесед и действий, скорей, пристрастий.

Вить, тут очень просили, чтобы ты прислал в «Поле Куликово»* какой-либо рассказ, а еще — свой отзыв о журнале, что в нем хорошо, а что худо. Журнал живет трудно, каждый номер требует головоломных решений: где достать 30 миллионов на его выпуск (на один номер). Ездили к Ганичеву, но тот не дал ни копейки. После очередного номера Глеб, как правило, доходит до «ручки» и ложится под капельницу. А маленько оклемавшись, опять спрашивает себя: где взять 30 миллионов? Начали-то его с размахом, даже по виду чувствуется, что эта игрушка дорого стоит... Но вся беда в том, что такие издания не приносят дохода, впрочем, как и вся литература. За последние 2—3 года я написал штук пять новых рассказов, собралось на приличную книжку. Издавать же еще и не пытался. Может, потеребить Л. Фролова? Не возьмется ли он под какие-то собственные резервы издать мою книжку? В дни предвыборной кампании он дважды побывал в Курске. Виделись с ним. Маленько порассказал о тебе. Пообещали Толе Заболоцкому помочь издать альбом о Шукшине, а Толя за это пообещал своим аппаратом помочь создать им предвыборную рекламу, но я сказал Толе, что ни в какую Думу его протеже не пройдут. Я это пишу к тому, как Толе приходится выкручиваться, чтоб издать красивую и нужную книгу о Васе Шукшине. Я сказал Толе, что не проще ли сходить к Федосеевой — у нее же фонд имени Шукшина. Толя отказался наотрез, что с нею лучше не связываться — не было беды — наживешь...

Я отдаю иногда свои рассказики в «Москву», потому что больше некуда. Дважды приглашал меня Залыгин, но тоже как-то, будто к барскому столу.

Витя! Кончилась у меня бумага. Осталось несколько строк для того, чтобы обнять тебя и пожелать всего-всего доброго, чтоб не болел и держал свою старость за порогом твоего бытия. И еще строчка — сказать Маше все хорошие слова за то, что она есть, где-то там присутствует возле тебя, хранит и бережет, сколь может.

*Люблю и целую вас обоих — **Женя (Носов)***

---

* Журнал, издающийся в городе Новомосковске Тульской области.

28.12.92 г.

Здравствуйте, дорогой Виктор Петрович!
Большой привет Марии Семеновне и детям.

Прошел год, злой, вздорный. Одно, слава Богу, что все пока живы-здоровы, старухи на ногах, за это я им всегда бесконечно благодарна.

Рада, что имею наглость писать Вам письмо. Большое, потрясающее событие, что мы уже читали «Прокляты и убиты». Читаю с ходу, за ночь журнал и передаю дальше. Это не проза, а сгусток боли. Жалость пронзительная к этим мальчишкам, к русским, казашатам — переполняет сердце. Сколько Вами пережито вновь, создавая это произведение! Пошли Вам Бог сил и дальше!..

Мат непривычен, хотя он и в контексте. Вот только как будут через несколько лет читать по радио классику? Придется делать купюры.

Кстати, мне редко нравились читающие Ваши произведения. Этаким бодрячком читал Перельман — мне казалось, он не понимает текста. Но вот однажды я услышала, как Олег Борисов читал «Звездопад». Я очнулась вся в слезах, буквально раздавленная силой впечатления.

Нашла разницу между Вашими и нашими староверами. У нас запрещено стоять на коленях. Другое дело — класть земные поклоны. Это значит — поклонись в подрушник — маленькое одеяльце этак 30х30 см, которое лежит на полу и позволь встать. Нашего бы баловника бабка заставила отбить 17,40, а то и всю лестовку (100) поклонов.

Сама я в молельне бываю редко, пытаюсь на Николу выбираться. Стоять 4 часа — дело изнурительное, ноги болят и уже не молишься, а думаешь: «Дура, не вспомнила, что надо бы выпить хоть анальгин».

Как мы живем? Не бедно пока, точнее, не беднее, чем всегда. Но это пока. В 93-м году Анатолия Денисовича, очевидно, сократят. Ничего, поужмемся. Нина работает на полторы ставки. Ее ремесло востребуется. Я веду хозяйство и пасу Витю. Никаким особым развитием не занимаюсь. Оживаю только на пении. Когда голос звучит хорошо, то бываю счастлива. А днем мы с Витей бродим по городу — в одной руке сумка, в другой — его рука. Мальчик он незлой, но вспыльчивый, очень активный, общительный, хорошая память, как средневековый поэт, знает все книги наизусть. Музыкальный, хорошо поет.

Но игры... одна война. Хоть телевизор включается по минимуму, все равно дурная атмосфера витает вокруг, оттого и взрослые, и дети, как сумасшедшие, только что на стену не лезут. Бесконечный мир уголовщины продолжаться не может, все это кончится кровопролитием.

Вам, дорогой Виктор Петрович, подарен Богом пророческий дар, «Ловля пескарей» — это рассказ-предупреждение. Мы сейчас видим Грузию в крови, разбиты трехэтажные виллы, растеряны полиэтиленовые мешки с бриллиантами...

А насчет блокады Ленинграда — так людям трудно расстаться со стереотипным мышлением. Сосед, пожилой мужчина, умирая от голода в 42-м году, ждал, когда город будет взят и кончатся его физические страдания. В чем его, мученика, можно обвинить?

Вы же отчаянно смелый человек, Вы тот мальчишка, который крикнул: «А король-то голый!»

Днями уезжала в деревню — мне так не терпелось побывать на кладбище, на родном пепелище, надышаться родным воздухом. В деревне тоже печаль. Повадились грабители икон, выволокли у старух все, что они сберегли в войну от пожара, в скитаниях по концлагерям и прочих скитаниях. Там же увидела мартиролог Левашовской пустыни. В нем семеро крестьян из нашей деревни, в том числе и мой прадед. Все они взяты в августе 37-го и чохом в сентябре расстреляны. Видеть возле знакомого имени напечатанное «расстрелян» невероятно тяжело.

Простите мою писанину. Всем низко кланяюсь.

*Ваша — **В. Игнатьева,***
Санкт-Петербург

[1992 год]

Дорогой Виктор Петрович!

Миша Сажаев передал мне недавно Вашу книгу. Не представляете, как я был рад и книге, и Вашим словам, добрым и мудрым. Огромное-огромное спасибо! Разгребу дела и уеду в деревню, чтобы прочесть ее не в суете...

Что касается моей жизни, то многое в ней изменилось, многое осталось неподвижным. Прежде всего, возникли новые условия, к которым я, честно говоря, приспосабливаюсь довольно трудно и лишь отчасти... Оказа-

лось, сопротивление «рынку» не проще, чем идеологии. Ей-то противостоять было достойно, а «рынку» как-то глуповато... В прошлом был один миф: если ты беден, то, непременно, талантлив. Нынче другой: если ты хороший художник, то почему у тебя нет денег?..

Теперь надо не только рисовать, надо еще «спрос» организовать, найти покупателя и «вмылить» ему работу — это отдельное дело, да и характер нужно иметь особый... Может, в прошлом роль художника и была завышена, сегодня же — несправедливо занижена... И, правда, наступила абсолютная свобода, но, оказалось, что в ее холодном пространстве искусство как-то сжалось, стало малосущественным... Сфера потребления так безудержно разрослась, что искусству отведена скромная роль слегка эстетизировать сферу и среду, в которой обитают имеющие деньги...

Интерес к искусству приобрел иной характер, произошли какие-то существенные подмены... Вот хотят «комфортного», приятного искусства. Оно все более становится прикладным, фоновым: не выразить себя, свое понимание и ощущение жизни, а угадать вкус «потребителя». Кто это понял, становится «успешным» художником... Я в этой новой системе ценностей как-то не очень нашел свое место, да и, по правде говоря, не грущу об этом. И цену нужную не готов платить «за успех» такого свойства.

К сожалению, периоды энергии в работе сменяются тупостью и вялостью, и все «вдруг» обессмысливается. И шкаф, набитый работами, становится затоваренной лавкой с залежалым товаром... Все чаще ловлю себя на том, что я уже не внутри жизни как деятельный ее участник, а в стороне и все больше — как наблюдатель. Вероятно, это естественно, но, надо сказать, довольно грустно...

Последние годы я стал много работать с натурой и в цвете. Тобольск, Чусовая, Таватуй, Переславль-Залесский, старый Екатеринбург... И это необыкновенно меня увлекает. А вот вещи сюжетные — я ведь насквозь «книжный», литературный художник — так и тянутся из шестидесятых годов. И «Цирк», и «Средневековые мистерии», и «Женщины и монстры»... Конечно, они разрослись, изменились, стали цветными... Единственное, о чем я печалюсь, — исчезла книга как предмет культуры. Мне нравилось делать иллюстрации, интерпретировать идеи книги... увы, сейчас облик книги определяется экономикой, а иллюстрация только удорожает издание, и потому совершенно «не нужна»...

Но, кажется, я «перехитрил» эту ситуацию. Пора ведь и итоги подводить и, поскольку книгу или альбом издать непредставимо дорого и недостижимо, а работа кажется мне оконченной тогда, когда она лежит на книжной странице — я придумал издать свои серии, в одном, ксероксном экземпляре. — Это все-таки больше, чем ничего...

А еще я придумал себе новую работу, во многом итоговую по своему содержанию. Своего рода «затеси». Это будет роман в рисунках. О моей мастерской. Пространство мастерской как пространство жизни. Мастерская как театр — а жизнь художника как грандиозный по протяженности спектакль, в котором все перемешано, где жизнь неотличима от игры, а игра и есть жизнь... От глубоко интимного до «всё на продажу»; от «для себя» до выставленного напоказ. Возвышенное здесь перемешано с тщеславным, вечное — с сиюминутным. Я изображаю себя, фрагменты из моих гравюр, ситуации цирка, фарса, все, что действительно пережито, и то, что воображалось и в силу этого стало реальностью.

В общем, попытка еще раз прожить жизнь, восстановить ее заново... Может, искусство и есть заново прожитая жизнь. Рисунков должно быть много и в самых разных техниках и степени законченности. Делаю многочисленные эскизы, а уж с осени — провалюсь в нее окончательно.

Это — что касается жизни внутренней, а внешняя — заполнена суетой, множеством ненужных дел, бессмысленных знакомств, несущественных обстоятельств, которые постоянно возникают по слабости характера и неумению отказать... А это означает невозможность длительного и сосредоточенного труда, о котором мечтаю более всего.

Жить в городе — катастрофа, и «пафос» жизни заключается в том, чтобы все же прорваться в мастерскую.

Я очень люблю делать непосильную работу, громко стенать и жаловаться, говорить, что устал, надоело... А на самом деле, я только тогда и испытываю от жизни настоящую радость и ощущаю ее полноту. Как и все, с тревогой жду июня — неужели «святая» жажда перераспределения еще раз вернет нас к прошлому... Вообще-то, я часто думаю о том, что если прошлое, определенно, не было «моим» временем, то и настоящее — тоже не мое. Может, «мое» время — это короткие периоды наивысшего внутреннего напряжения, когда казалось, что в работе выра-

зилось то, что волновало и томило и, наконец-то, нашло свое выражение. И с внешними обстоятельствами это никак не связано...

Простите мне этот длинный монолог... Только собрался закончить письмо — услышал о присуждении Вам Государственной премии. Конечно, никакая премия неадекватна тому, что сделано Вами в литературе, и все же это замечательно, и я сердечно Вас поздравляю!

Большой привет и поклон Марии Семеновне! Любящий и почитающий Вас

Виталий Волович

[1992 год]

Это письмо, Виктор Петрович, Вам —
Человеку, Писателю,

единственному на бывшей нашей Родине, кому разум и сердце приказали отдать последний поклон в убогом, окончательно распятом 1992 году.

И письмо ли это?

Ведь я пишу не только мальчику в белой рубахе! Я пишу ликующей ласточке, пролетевшей над Вашим детством, хмельному дыханию русского огорода, несозданному памятнику кормилице-картошке, опьяняющей тайне сибирской тайги, колдовской силе Енисея, деду Павлу (хотя и одноглазому, но умевшему смотреть в оба!).

Я пишу Вам и всем, кто живет в Вас, кто был наивным запевалой и скорбным невольником нашего «обчего» испытательного полигона, кто, пережив «небывалый подъем социалистического строительства», тихо ушел — кто в землю, кто под воду, кто в беспамятство лагерей.

Я кланяюсь туруханской лилии, яростному ветру на Казачинских порогах; вероломству снаружи привлекательной Нижней Тунгуски, бедолаге Акиму и пучеглазому налиму, сегодня возомнившему себя Гайдаром (нет на него Вашего деда!).

Пишу — словно разговариваю с Вами (для моего так называемого почерка всегда не хватает бумаги)... и вдруг, надо мной, чаруя душу несказанной завороженностью — ...«далеко-далеко возникло легкое движение, колыхнулась серебряная нить, колыхнулась и поугасла, слилась с небесным маревом»... и снизошли на меня далекие и ласко-

вые звуки Мелодии счастья. Есть такая Мелодия у Него, кто ее автор, кто ее композитор, не знает ни небо, ни люди.

...О прошлом тоскуя,
Ты вспомни о нашей весне.
О, как Вас люблю я,
В то утро сказали Вы мне...

Или:

...Проснулись мы с тобой в лесу,
Деревья, листья пьют росу,
И хоры птиц наперебой
Поют для нас, для нас с тобой...

Да, это был самый *прекрасный* (в мире), самый *«Большой* вальс», созданный опечаленным (иначе в творении и быть не может) сердцем волшебника Иоганна Штрауса.

Ему, его музыке суждено было прикоснуться к нашей России, которую сегодня ведущие обезьяны «умом понять не могут», а уж насчет «аршина» и говорить не приходится. Они его просто проглотили вместе со свободно конвертируемой валютой — СКВ.

Отвлеклась от главного, простите. Так вот, город, который когда-то достойно именовался Санкт-Петербургом (это я про Ленинград), оставил глубокий и, как принято говорить, незабываемый след в душе Иоганна Штрауса. Здесь он любил: женщину, белые ночи, гордые дворцы и петербуржцев.

С каким прекрасным письмом обратился композитор к горожанам-слушателям, закончив свои выступления в Павловске и навсегда прощаясь с Северной Пальмирой! Убеждена, что дивная музыка «мирной марсельезы» — так европейцы назвали вальс «На прекрасном Голубом Дунае» — перекликается с беспокойным течением красавицы Невы: и волны те же, и цветом похожи. Оказалось, Дунай не голубой — голубое над ним только Небо!

Согласна: «Талан даден Богом», но он проявляется не только у того, кто творит, но высвечивается и у того, кому дано услышать творимое.

Как там у Гете: «Мы равны тому, кого понимаем». Это я не о себе, это я о Викторе Петровиче, который необласканным мальчонкой на равных услышал и Штрауса, и Дювивье, и Милицу Корьюс. Между прочим, композитор Дмитрий Темкин за аранжировку музыки к «Большому вальсу» удостоился «Оскара»!

Ваша дивная «Затесь» об этом — тоже музыка! Только она выражена не нотными иероглифами, а самыми что ни на есть обыкновенными буквами, из которых в нашей стране 74 года возводились идеологические крепостные сооружения в виде «выдающихся» произведений социалистического реализма. И вот в 1992 году, в одночасье — все рухнуло, все развалилось...

Отчего? То ли «Цемента» в фундамент здания коммунизма «ложили» маловато, то ли «Сталь закалялась» по несбыточному рецепту, то ли уж слишком «переудобрили» (костьми и кровью) «Поднятую целину», и она дала полный «Разгром» всей нашей кипучей деятельности, которая «Железным потоком», сметая на своем пути «Города и годы», затягивала в бездонную воронку «Оптимистической трагедии» «Людей с чистой совестью».

Но «Время, вперед!» — как писал «на русском языке» один известный литератор. И сегодня мы, заняв «достойное» место в ряду стран, борющихся не только за первенство, но и за пальму, тщетно пытаемся догнать и перегнать экзотическую Эфиопию, вместе с Папуа и Замбией.

А уж про то, «как нам обустроить Россию», знает на Земле лишь один человек, да и тот калифорниец.

Впрочем, о чем это я? Ведь я же хотела о любви!

О любви к «Талану» и творчеству писателя, с кем разговаривают Радуга и Звезды, кто приникает губами к прохладной росе листьев венского леса и пламенно верит в его «Сказки».

Не знаю, как Вы прочитаете мое письмо, мой личностный «тогомент». Отзоветесь ли?

Если искренно — то мне бы хотелось, чтобы Вы ответили.

Мое время остановилось, а жизнь почему-то — увы! — продолжается.

Господи! И чего только в ней не было? Иногда мне кажется, что в нее вместились тесячелетия: Сафо и великая Ермолова, пионерский галстук и Любовь Орлова, врубелевская сирень и музыка Чайковского, «Большой вальс» и блокада Ленинграда, Университет и вечное вдохновение, превратившее труд в творчество.

Год назад я потеряла мужа — Самого, Самого (для меня!) человека на земле. Чужой, холодный мир смотрит на меня, только иногда Ваши книги корнями женьшеня пробиваются к сердцу. Тогда что-то оживет и встрепенет-

ся во мне, озарится каким-то неуловимым свечением далеких печальных звезд, заслезится и засветится радугой.

Тогда я начинаю слышать, как моя «кибитка» и экипаж Карлы Доннер со Штраусом... «словно в тихом, бережно хранимом сне, уплывает в манящую вечную даль, а в небе, у самых звезд, пронзая время, пространство, тяготы жизни, обманутые надежды, горести и утраты, звучит музыка, вальс любви, кружа меня в волнах светлого света, еще не погасшего в усталой душе».

Спасибо Вам за это, дорогой Виктор Петрович!

Поклон Вашему дому, Вашим близким.

Августа Михайловна Сараева-Бондарь,
Санкт-Петербург

28.12.92 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Письмо твое шло долго, я не мог ответить долго: душа плачет, а слово и не поворачивается на языке. Москва ныне — Бейрут. Во дворе моего дома каждую ночь палят из боевого оружия, недавно автоматная очередь прошила у соседа советский фанерный балкон...

Обиды у меня на твои упреки нет. Я не вижу в них места для своей обиды, и вообще: во всех твоих высказываниях — твое страдание, а не «позиция», не соучастие в какой-то группе и пр., и т. д. Это — я тут и доказываю, относясь к тебе нежно и уважительно. Да и кого же еще моему поколению уважать? Акулов, Астафьев, Можаев — кого же нам, перед войною рожденным, еще уважать?..

Гляну я под Сергиевым Посадом на русские кресты, сгорбленные нищетою и вдовьими вздохами, гляну — а они в снегу, в белом, русском, горьком, огромном: увязли мы в нем и Россию свою в нем потопили!.. Вот сейчас в Москве и в областях арестовывают людей, журналистов, кто не забыл — кто он есть... Берут моего друга, Фомичева Володю. Прямой, грамотный, красивый. Четырехлетним немцы его с мамой загнали в сарай и подожгли — уцелел. Уцелеет ли в лапах сионистов?

А его отец под Смоленском в танке сгорел. Но демократические фашисты не хотят знать ничего: у них — тоска, ягодовская тоска по русской крови. На экране телевизора ежевечерне глотают комья русской крови чер-

ные вороны — Адамович, Гранин, Черниченко, Яковлев, Пощов...

Русская трагедия — на совести русских христопродавцев. И я не ищу врагов за рубежами. Русское пьянство и трусость — бронтозавры Гоби: их слетаются изучать специалисты из разных стран мира. Пока великий холм песком не завеет — будет течь по земле запах самогона и портвейна.

И я продолжаю защищать святого Фомичева, показывающего их — воров и казнителей наших, а озеро Байкал без меня и классического Сергея Залыгина защитят безвестные русские рабочие и инженеры: нет нужды к ним подстраиваться и, обогнав их, выныривать на трибунах гвалта.

Не волочу шлейф у платья Раисы Максимовны по Хельсинки, Лондону, Пекину. Не суечусь на иудиных глазах Горбачева. И никогда не просил внимания у растлителей моей Родины, даже на КПК, где — лагерь смерти: через КПК вели на расстрел и в 1978 году...

А в вожди я не лезу. Ты не поверишь? Но я в СП с 1962 г. И ни разу ни на пленуме, ни на съезде не произнес ни одной речи. Раз — вылез на пленуме с репликой против Бурлацкого. Раз — с репликой против Валеры Поволяева, не против самого, а против присоединения к нему лишней должности... Бондарев настойчиво звал меня штатным секретарем — отказался. Вождем согласен фигурировать мой Прокушев, но уже староват, да и я с патлами седыми, точно.

Виктор Петрович! Мы с Иваном Ивановичем часто о тебе вспоминали: грустно, весело, иронично, землячески, но — хорошо, доблестно и с пожеланием тебе светлых дней! Ты — труженик. Остальное — мыльная пена, пусть ею полоскают грязные марксистские бороды себе бушинские пионеры.

Спасибо тебе за добрый отклик на очерк мой об Акулове. Ты просто не в курсе моей каторжной судьбы... Подобные печальные очерки — часы отклонений моих от основной моей профессиональной заботы. Печатаюсь я, исключая «злободневное», оттодя пять, восемь, десять лет. Близкие мои считают меня рабом. Но усердие — не гарантия качества, да Бог милостив: вдруг и кое-чего пригодится позже!

Грешник я у Бога банальный — среди миллионов нахожусь, а у себя-то я один: виноват и виноват, как сгорб-

ленный крест, затерянный в крестах сгорбленных, русским смертельным снегом накрытых...

Если Бог услышит мою нежность к тебе, Он отзовется: пришлет тебе и твоей семье покой, волю и вдохновение нового 1993 года.

Обнимаю тебя, родной!

Валентин Сорокин,
г. Москва

28.12.92 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Прежде всего хочу выразить свое почитание в адрес Вашего таланта писательского, рожденное «Царь-рыбой». Но в последнее время меня постигает разочарование: и «Кража», и «Последний поклон», который я жаждал прочесть, — оставили у меня холодок недоумения, возникло ощущение, что вот человек пишет, старается писать, но «ко звуку звук нейдет», то ли потому, что «свеча темно горит». — С трудом и читаешь.

Вот читаю «Прокляты и убиты» — «Чертову яму». Вижу, тема новая, преподнесена круто и словарный запас не брезгует ничем. Вот о последнем-то мне и хотелось бы побеседовать с Вами.

Уважаемый Виктор Петрович! Наверное, ведомо Вам, что русский язык так богат и образен так, что его литературная форма совсем не нуждается в матерном орнаменте. И еще — я не мыслю себе учителя, опускающего свой уровень интеллекта до уровня интеллекта заборного.

Мне понятно Ваше отношение к кошмару существования обитателей «Чертовой ямы», но непонятно отсутствие той интеллектуальной узды, которую Вы часто сбрасываете со своего языка, будто бы раскрепощенной нравственности (на самом деле — безнравственности), отравляющей сферу литературы и искусства ныне. Как говаривал А. П. Чехов: «Надо себя дрессировать». Дрессировать, несмотря ни на что! Вот я и призываю Вас, настаиваю следовать этому призыву к нравственному совершенству. И в слове, и в деле. А Ваше дело, как я понимаю, и есть слово.

Вот и вся моя беседа с Вами.

Дивеев Вадим Николаевич, *инженер*

13.1.93 г.

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Пять десятков лет я ждал, когда появится рассказ о солдате. Не скрою, десятки лет я смотрел в Вашу сторону. Вы оправдали мои ожидания и, надеюсь, не только мои. Только-только я закрыл последнюю страницу «Прокляты и убиты». Нет, я не прочитал. Я не могу читать, я только просмотрел. Правильно сказано, что человек не может повторять свою жизнь. Простите меня, пожалуйста. Нервы, видимо, у меня не совсем в порядке.

«Прокляты и убиты» не совсем правильное название Вашего романа. Я думаю, что правильное название было бы «Прокляты и убиты, и забыты». Конечно, для Вас это нагрузка, и немалая. Но надо выдержать, надо найти материал. Я не верю в Бога, но Вы, Виктор Петрович, призваны Всевышним кончить этот труд. Если не Вы, то кто же? А. И. Солженицын нашел в себе силы, и Вы обязаны найти эти силы. Я понимаю, что это не так просто, но только Вам, видимо, дано закончить «сказку» о фронтовом солдате, о солдате бессрочной службы, о солдате, списанном с этого света. Дух русского солдата водит Вашей рукой, а мужества Вам не занимать.

Для убедительности несколько зарисовок. Очень хорошо Вы описали расстрел двух братьев. Майор, лейтенант, батальон, слезы, переживания. Эх, не было еще опыта. Научились стрелять в затылок, а публично еще не получалось. То ли дело после нашей Победы. Тихий день (скорее утро) микрофоны, стол, покрытый сукном, две бригады и артполк в строю, вокруг подготовленной могилы. Я стоял на правом фланге, в 20—25 м от могилы. А командовал «парадом» комкор 126 ЛГСК генерал-майор Соловьев (извините, имя, отчества не знаю). И зычным генеральским голосом была подана команда: «По изменнику Родины — огонь»! Это дословно. Солдатик бессрочной службы и фронтовик стал изменником Родины, когда в драке ударил лыжной палкой капитана. Очень хотелось генерал-майору получить вторую звезду на свои золотые погоны. Не поверил я генералу и председателю ревтрибунала, а поверил солдатику. Сказал же солдатик, когда читался приговор, что не ломом он ударил капитана, а лыжной палкой.

К сожалению, слышали его слова единицы, потому что микрофон от солдатика был далеко. А я слышал не только

его слова, но и его дыхание. Не беспокойтесь, дыхание было нормальным. Где же было солдатику достать лом на лыжной прогулке, да был это дефицит в нашем положении. Перед смертью человек не кривит душой, а он-то уж знал, что его расстреляют, последние слова солдатика были: «Никому я ничего плохого не сделал. Честно воевал». Вот последнее слово «воевал» и застряло в глотке, но было понятно всем, кто слышал. Простим же эту «слабость» солдатику. Не было слез, не было криков, была мертвая тишина. Даже суровая северная природа затаилась. Мир праху СОЛДАТА. А как была прекрасна расстрельная команда. Яловые сапоги, брюки ЧШ, а телогрейки, шапки и погоны солдатские. А ППШ небрежно висели на плечах. После генеральской команды последовала короткая дружная очередь. Мастерский огневой удар. Пули летели точно в голову. Шапка первая слетела с головы и упала точно — в могилу, а за ней и последовал уже мертвый солдат. Молодцы! Где же это было! 1947 г. Сопка «Пионерская», бухта «Эмма» (поэтическое название), порт «Провидение», Чукотка.

Зарисовка вторая. Спускаюсь по лестнице в подземелье. Один был там раз, а по какому случаю, не помню. В нос ударяет запах, которого не знал. Это был не трупный запах, не запах гноя и не запах солдатского пота и вони. Это был запах заживо гниющих солдатских тел, смешанный с запахом гнили, мочи и кала. В этой «землянке», без окон, без отопления, с одним выходом, вырытой в вечной мерзлоте, содержались в стойлах «государственные» преступники и бывшие солдаты, ждущие навигации для отправки в лагеря. А пароходы с заключенными шли в одну сторону — на Север.

Зарисовка третья. Осень 1946 г. Лежат голые солдатики на нарах из камней в палатке. Свет коптилки еле пробивается через испарения от солдатской одежды. В палатке 35—40 человек, топится печка-бочка из-под бензина. Вся одежда, включая белье, висит на телефонном проводе, сохнет. К утру одежда, конечно, не высыхает, но теплая — дневальный постарался. Впереди опять 12—14 часов изнурительного труда на бухте. Спасают солдатики себя: таскают хлысты из бухты, с кромки льда. Где это было? Бухта «Эмма», правый берег, Чукотка. Хватит вспоминать ужасы, которые преследовали солдат бессрочной службы после великой Победы. Солдатская ли была это победа? Ужасные слова на склоне лет.

Немного солдатской истории. В 1942 г. был призван 1924 год, в этом же году осенью прошли приписку 25-й и 26-й годы, в 1943 г. весной призван 25-й год, а осенью — 26-й год. В 1944 г. призван 27-й год — последний год призыва военного времени. В 1947 г. демобилизован 24-й год. В 1948—1949 годах демобилизации солдат не было. В 1950 г. демобилизованы одновременно 25-й и 26-й годы, а в 1951-м году был демобилизован 1927-й год. Списали солдатиков из этой жизни по воле системы во благо родины и во имя великого вождя. Поставили на них крест. Вернулись безграмотные солдатики домой после 6—8 лет бессрочной службы, но не ждала их уже гражданка. Где они? Что с ними стало?

Нет, сломан был хребет крестьянства не в гражданскую войну, не во время голода и раскулачивания, а во время войны. До войны крестьяне приспособились к колхозам, научились воровать, но любили еще землю, считали еще ее своей кормилицей. 1927-й год после бессрочной службы в деревню не вернулся, а остальные года были перебиты и изуродованы. Это был конец крестьянству, конец Руси. Хрущевское послабление всколыхнуло деревню, но это было последней судорогой умирающего организма. До сих пор в глазах стоит мужик с «литовкой» в руках, как он держит плуг, его уверенная поступь, как он слился с землей, по которой уверенно, по-хозяйски ступал. И в это же время поражала обнаженность крестьянской жизни, ее зависимость от окружающей среды, природы. Нет сейчас хозяина земли, нет тайны земледелия, на земле правит бал хищник и спекулянт. В городе, поселке парень и мужик еще могли зацепиться за институт, техникум, завод, фабрику, а в деревне военкомат выметал всех вчистую. Потеря не менее десяти самых работоспособных возрастов крестьянских мужиков для сельского хозяйства обездолила землю.

Парады и золото на плечах, на груди ласкают взор, а гниды и вонючие портянки не воодушевляют. Правы Вы тысячу раз, когда сказали, что Ленинград надо было сдать немцам, а не губить для защиты десятка тысяч жителей и солдат. Сдача Ленинграда только бы облегчила страдания народа. Вы правы. Кутузов сдал Москву, не побоялся гнева императора и суда истории, но спас армию, спас жителей, спас, в конце концов, и Россию в целом. История его не осудила, он стал героем русской земли. А для наших советских полководцев солдаты и народ были быдлом и

средством для достижения своих целей. Если Сталин левой рукой с трубкой загонял под пулеметы безоружных людей, то ему в этом, хотел он того или не хотел, Жуков правой рукой активно содействовал. Вы говорите, Виктор Петрович, что лучше работать, чем таскаться по митингам и таскать ветеранам портреты Сталина. Вот тут я с Вами не совсем согласен. Ветераны портреты Сталина не таскают, а трудятся, если у них остались силы. Вглядитесь в тех, кто это делает или сидит в регалиях в честь Победы в пышных залах.

Много я ездил по стране в 70-х и начале 80-х годов. Везде, где бы я ни был, искал доску с УВОВ. Что же я понял? В войну сражались генералы, адмиралы и офицеры, а солдат вроде бы и не было или их было очень мало. А где наши сотрудники знаменитой СМЕРШ? Видимо, они все полегли смертью храбрых в борьбе за праведное дело или их портреты красуются только на Лубянке? И последняя ария из этой оперы, которую забыл спеть Валентин Курбатов или побоялся это сделать. Скорее всего последнее. Вы сказали, что русская нация погибает. Нет больше Руси. На этой земле, конечно, будет жить народ, но русским его уже не назовешь. Вот это главное, что Вы сказали в телевизионной передаче. Опять же Вы правы. Я целиком и полностью с Вами согласен. Русский народ стал удобрением для истории. Видимо, такова наша судьба. Нас проклинают и татарин, и чечен, и грузин, и бурят, и чукча, а это я знаю хорошо. Есть одно слово русского происхождения «самоед». Это слово обозначало северные народы, но стало роковым для самих русских. Мы — самоеды. Мы в XX веке пожрали сами себя, продали отца, мать, продали брата, сестру, продали соседа и соседку за кусок хлеба, за конуру в земле, за чинарик и огрызок селедочной головы. Родина наша превратилась в помойную яму истории, легла удобрением для мировой цивилизации XXI века. А в последние годы наши доблестные «демократы» отдали страну на тотальное разграбление мафиозным структурам, хищникам и спекулянтам всех мастей и оттенков, а назвали все это «рынком». Опять же резвятся революционеры, а с трудяг и стариков сдирается последняя шкура. Произвол и беззаконие опять стало нормой жизни (в какой уж раз в этом веке). Стремительно идет построение государства — ГУЛАГ. Без статистики ясно, что вышли мы на первое место в мире по производству стальных решеток и дверей и продолжаем устой-

чиво занимать лидирующее место по изготовлению колючей проволоки. Успеет ли А. И. Солженицын написать роман «Государство ГУЛАГ»?

Уважаемый Виктор Петрович, не сомневаюсь, что Вы вытащите непосильную ношу, так как Вам помогает ДУХ миллионов солдат. Вы же знаете, что убитые солдаты в гробах не лежат. Уверен и знаю: третья книга «Прокляты, и убиты, и забыты» появится. И не надо послесловий: за Вами стоят еще и живые, и все мертвые.

Низкий Вам поклон. ***В. С. Бекетов,***
г. Екатеринбург

30.1.93 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Публикация 11-й главы в «ЛГ» была очень удачной. Ее не предваряет постепенное вхождение в наш антимир, как в книге, а сразу начинается гнусное действо против мальчишек. Такого стрессового потрясения от чтения художественного произведения я ни разу не испытывал в своей жизни. Слезы застили строчки. Вот сижу уже с полчаса, мысленно перебираю все самые сильные свои читательские впечатления, начиная с детства. Нет ничего сходного. А вот подобные ощущения были у меня в детстве в 10—12 лет. Однажды я нечаянно увидел, как ножом резали свинью. Меня тогда тошнило. В другой раз я, тоже нечаянно, оказался свидетелем выслеживания двумя бравыми чекистами какого-то мужика — за поселком, на меже картофельного поля. Когда тот понял, что обнаружен и скрыться не удастся, он встал во весь рост, рванул рубаху на груди: «Нна-те, стреляйте... вашу мать!» И они почему-то оба выстрелили в него, почти в упор.

И еще. В августе 1953 года. Я, студент четвертого курса Московского инженерно-строительного института, проходил производственную практику на намыве верховой дамбы шлюза строившейся Куйбышевской ГЭС. Обедать я иногда ездил не в Соцгород, где жил, а в столовку Комсомольска, что на Волге. Там в лагерях содержались тысячи зэков (вот память подсказывает — 14 тысяч). И вот на улице какой-то зэк догоняет убегающего другого зэка, всаживает ему нож в спину, распростерто бухается на него и продолжает кромсать его, уже умирающего...

Когда-нибудь я соберусь с силами и проанализирую каждое слово Вашей 11-й главы, чтобы понять феномен такого потрясения от чтения ее. Мне просто интересно это как читателю.

А шедевр сарказма — Ваше описание военного трибунала. Морды их так впечатляющи, что рука сама начертывает их профили. Вот где раздолье для современных Кукрыниксов!

Мне неодолимо хочется увидеть Вас — тогдашнего, неотличимого от миллионов других, впитывающего в себя все это необъятное бытие — всеми пятью чувствами, и даже шестым, подспудным, чтобы теперь, пропустив его через свое сердце, запечатлеть в слове — в упор и в отстранении, и сверху, и снизу, снутри и снаружи. Провидение уберегло Вас для русского народа и для его же самовыражения.

Поздравляю Вас с рождением еще одной прекрасной книги! Это огромное событие в нашей литературе. Планка поднята еще выше. Феномен Астафьева. Колдовство! И, наверно, есть определенная символика в том, что в последних номерах журнала — только два имени: Солженицын и Астафьев...

Я проработал на Сахалине 5 лет и на Камчатке 25, зарабатывал приличные деньги. При желании можно было бы накопить 100 тыс. руб. и даже 200 тыс. Но от предков своих я унаследовал полную неспособность копить деньги, потому и на Камчатке мы жили сегодняшним днем, одаривая всех — кому дом, кому автомашину... Мама говаривала: «Простодырые мы все». А ведь на Камчатке очень многих зацикливало на накопительстве. Боже, как хорошо, что мы только тратили деньги! По выходе на пенсию, после затрат на обустройство, на книжке остались только похоронные 6 тысяч рублей. Но когда эти деньги обесценились раз в 30, я без сожаления снял их и закрыл счет; заранее, по дешевке еще, я купил себе надгробие.

Еще десять лет назад я посчитал бы кощунством говорить вот так запросто о предстоящей смерти. Но ко всему человек привыкает, а с возрастом — и к неизбежному концу. Вот похоронили здесь маму, и сам теперь вышел на передний рубеж. Возле ее могилы оставил место для себя. Мои потомки живут на Камчатке и вполне благополучны. А сам я в жизни непритязателен, в быту обхожусь малым, погружен в свои праславянско-скифско-эллинские ретроспективы, в музыку, в литературу — и счастлив

вполне. И не нарадуюсь, что бывшее наше тоталитарное паскудство необратимо сверзилось в тартарары. Трудная, долгая, страшная дорога нам предстоит, но это все же будет движение вперед, а не стояние на запасном пути Истории.

В. Миронов,
с. Парутино, Украина

18.2.93 г.

Виктор Петрович!

Простите за задержку ответа. Я и заболел, и от этой проклятой жизни захандрил так, что ничего не хотелось ни писать, ни читать, кроме газет, в которых опять же сплошной мрак. А тут еще новая напасть — слепну на левый глаз из-за диабета, что ли, воспалилась правая почка, рана после второй операции заживает плохо.

Я удивлен, что Вы не получили мое письмо с оценкой вашего доклада и прочими моими оценками Вашей позиции. Если это так, я пришлю Вам копию заказным письмом, а коротко скажу, что доклад Ваш хорош, но меня удивляет следующее: Вы будто бы поверили наконец-то в авторство Шолохова, так как Колодный нашел его рукописи «Тихого Дона». Похоже, что и Солженицын после этого оставил свои бредовые утверждения, что великую книгу века написал не Шолохов, а Крюков. Виктор Петрович! Ведь не надо быть великим писателем, а просто хорошим читателем, чтобы, зная «Донские рассказы» и «Лазоревую степь», чуть-чуть очерки Крюкова, и тени сомнения не возникло в авторстве Шолохова. Оставим это.

В своем письме Вы опять никак не отрицаете тех моих обвинений в нелюбви к России и русскому народу, которые Вы публично высказывали и высказываете, в расхождении на этой почве с «Современником», Распутиным, Беловым, Крупиным, Бородиным, которые совсем недавно были Вашими ближайшими друзьями и единомышленниками. Вы зациклились на Шолохове, хотя это уже ни меня, ни весь народ уже не волнует и не возмущает, Ваша ненависть к коммунизму, Ленину, Сталину, старикам-фронтовикам достигла какого-то болезненного наваждения, которое затмит Ваш разум. Отсюда Ваши фантастические цифры наших потерь и жертв репрессий, Ваши «смелые»

заявления, что Ленинград не стоил 500 тысяч жизней его защитников, что наши военачальники сплошь были дебилами, а солдаты дураками, которые умирали не за свободу Родины, а за власть проклятого сталинского режима... И после этого Вы делаете наигранное возмущение моей нелюбовью к Чаадаеву, к некоторым стихам Лермонтова. Скажу больше: мне еще в школе не ложилось на душу стихотворение Михаила Юрьевича «Деревня», которое Вас так восторгает. На мой взгляд, Лермонтов обладал холодным и циничным умом, хотя я в восторге от большинства его произведений, знаю десятки стихотворений наизусть, его прозу ценю выше прозы многих больших писателей, но, думаю, самую верную оценку «Героя» дал не Белинский, а Николай I в своих письмах к жене. Я никогда не верил в «странную любовь» к России этого гениального поэта, ибо его утверждение «ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья» лукаво, поскольку он же написал много стихотворений о старине с огромной любовью и гордостью за Россию. Это стихотворение умиляет всех, но никто не хочет в него вчитаться, тогда бы в нем увидели бездну противоречий и просто вранья. Любить Россию лишь из-за того, что она сплошная тихая деревня, что ее мужички пляшут с топотом и свистом, по меньшей мере, странно. Кажется, Николай I сказал, прочитав бредовые «Философские письма» Чаадаева: «Молодой человек! Вы не знаете и не понимаете России, потому пишете, что у нее не было прошлого, нет настоящего и нет будущего. Между тем прошлое России — светло, настоящее — прекрасно, будущее — ослепительно!» Эти слова царя (я их, возможно, цитирую не совсем точно) передал Чаадаеву, по моему, Бенкендорф. Так кто же был больший патриот? Вы сейчас уподобляетесь Чаадаеву, и что толку? Ваша позиция вольно для Вас или невольно смыкается с позицией нынешних хулителей и губителей России. Потому-то они так повернулись к Вам, забыли о Вашем «антисемитизме» и с радостью предоставляют Вам эфир и газетные полосы. Старое правило: «Если тебя хвалит враг, подумай, с кем ты», Вас, похоже, ничуть не волнует. Ну да Бог вам судия!

Вы писали мне, что в больнице перечитали «Деревню» Бунина и были в восторге. Вообще Вы в восторге от Бунина. Не хочу быть оригиналом, но признаюсь Вам: Бунина я никогда не любил и не считал великим художником. Это изумительный стилист, прекрасный поэт и перевод-

чик (меня в третьем классе поразил его перевод — конечно, я не очень-то знал, что это перевод — Лонгфелло «Песнь о Гайавате»), но он не создал НИ ОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА! НИ ОДНОГО! Какой же это художник? Пейзажист? Рисовальщик тонких натюрмортов? Но где же его Гамлет, Болконский, Печорин, Раскольников, Карамазовы, Мелихов, Иван Денисович, Иван Африканович, чеховские герои, хотя пьесы Чехова я не понимаю и потому терпеть их не могу. Да Чехов их и сам не понимал, называя свои драмы... комедиями! Но у всех на устах дядя Ваня, Раневская, три сестры, Трофимов, Фирс, Лопахин, «человек в футляре», унтер Пришибеев, хамелеон, городничий... Я уж не говорю о Гоголе, Пушкине, Салтыкове, Горьком... при упоминании любого этого имени на ум приходит не тонкая словесная вязь, а ГЕРОИ этих ПИСАТЕЛЕЙ, а что приходит Вам на ум при имени Бунина? Его жуткие бесфамильные мужики? Его нелюбовь к ним, его представление о них как о темной, реакционной массе ничуть не отличается от представлений о мужике столь нелюбимого Вами Ленина. И не Шолохов был лакировщиком, стараясь даже рябинки на лице своих героев не выпячивать, а делать их симпатичными. Конечно же это образное выражение, и Вы вдруг делаете из этого вывод, что-де Шолохов — лакировщик. Побойтесь Бога, Виктор Петрович! Да неужто Вы так не понимаете Шолохова? Не верю в это! И не хочу Вас на сотнях примеров переубеждать.

Вы с ненавистью пишете о выступлениях Шолохова на самых высоких форумах. Да, из-за его коммунистической убежденности были и выступления, которые и я не всегда разделял, но Вы как-то забыли, что именно Шолохов ПЕРВЫМ выступил в защиту Байкала, сибирского кедра, потребовал увеличения писательских гонораров, написал письмо в ЦК КПСС о еврейском беспределе в уничтожении русской культуры, литературы. Это фактически он убрал в Канаду Яковлева после публикации его мерзкой статьи. Волею случая я в эти дни оказался в Москве у своего друга и наставника Ильи Глазунова, где обсуждалось письмо против Яковлева и состав делегации, которая вылетела к Шолохову...

Пользуясь Вашим авторитетом, озлобленные и одураченные люди называют нелепые цифры наших потерь, повторяя Ваши с подачи Солженицына и Конквеста данные. Я уже писал о глупости Руцкого, а вчера я смотрел

картину Говорухина: «Россия, которую мы потеряли». Я люблю этого художника, внимательно наблюдаю за эволюцией его взглядов: за эти два года из буйного «демократа» он превратился в патриота. Но последний фильм мне показался не совсем удачным из-за того, что о старой России сказано скороговорчато и некритически. Говорухин сделал главный упор на вампиризм Ленина и большевиков, обвинил их в голоде 1921 года. Но ведь хлеба уже не хватало еще в 1916 и особенно в 17-х годах при царе. Из 8 миллионов солдат на передовой крестьян было 99 процентов. А после гражданской мужика стало еще меньше, помещичьи хозяйства были полностью уничтожены, крестьяне действительно прятали хлеб, ибо и менять-то было его не на что, а продавать за пустые бумажки — себе в убыток. К реквизиции хлеба в подобных ситуациях приступали не только большевики. Далее, повторяя Вас, он брякнул, что Россия в гражданской войне потеряла... 66 миллионов человек, что каждый финн убил 10 русских, а немец... 14 наших солдат. Виктор Петрович, до каких же пор будет повторяться этот бред? Ведь теперь все данные о наших потерях рассекречены, а коли Говорухин работал в самых бывших секретных архивах, ему хорошо известны настоящие цифры наших потерь и в гражданскую, и в годы сталинского террора, и в войнах последних. Очень все проливают слезы по поводу наших потерь в Афгане. Их за 10 лет войны менее 14 тысяч убитыми. Но никто не уронил и слезинки по поводу того, что за год у нас на наших паршивых дорогах гибнет 30—40 тысяч человек, за послеафганские годы в нашей «мирной» армии погибло около 30 тысяч солдат и офицеров! Не правда ли, несравнимые данные? Кому выгодно их замалчивать, а потери в Афгане выпячивать? А ведь они почти в 4 раза меньше американских потерь во Вьетнаме за меньшее время. И опять вопли: мы не умеем воевать, командиры — дураки, наших окруженных расстреливали наши же с вертолетов. Это плел на Съезде народных депутатов СССР Сахаров с подачи бежавшего на запад еврея Тополя, автора авантюрных книжек, которые у нас широко теперь издаются. Я знаю сотни афганцев, и все возмущены этим бредом, а Вы все с радостью глотаете: чем хуже, тем лучше. В самые трудные годы войны мне делали операцию у Бурденко, я насмотрелся там на несчастных наших солдатиков, безногих, слепых и безруких, но никто из них не говорил подобной чуши. Наоборот, рассказывали, как под

шквальным обстрелом «духов» их вывозили из ущелий наши вертолетчики, рискуя собой. Как же мне после этого бреда уважать Сахарова?

Сейчас со страной творится самый обыкновенный грабеж. Все верха, кроме некоторых депутатов, врут, воруют, растлевают молодежь, а Вы, вместо того чтобы крикнуть: «Не могу молчать!», продолжаете поносить Сталина, большевиков, упрямо называете совершенно дурацкие цифры потерь, оплевывать все, что сделано при большевиках, делая вид, что забываете о здоровом духе русской нации, который был неубиваемый никем. Но ведь то, что творилось раньше, меркнет перед тем, что Ваши друзья «демократы» под дудку ЦРУ, МФВ, сионистов творят сейчас с Россией. Ваши бывшие друзья еще пытаются брыкаться, Вы же в рот воды набрали. В следующем письме я вышлю Вам статью, которая печатается в районной газете с продолжением. Я стараюсь, несмотря на болезни, говорить правду и рад, что ежедневно мне звонят благодарные читатели. Понимаю, Вы старше меня и больнее, но можно ли сейчас молчать и почивать на лаврах?

А о нашей переписке не жалейте. Эпистолярный жанр умер, я вот никому не пишу и рад переписке с Вами. Пусть мы не сходимся в чем-то, даже в главном, а может, это мое или Ваше заблуждение, но в любом случае переписка наша дает возможность и Вам, и мне высказаться. Потомки нас рассудят, ибо я берегу Ваши письма. Я бы никогда не писал Вам, если бы не любил Ваше творчество. Вот потому-то мне больно ударили по сердцу Ваши экстремистские высказывания в адрес русского народа, нашего прошлого. Уверен, Вы уже сейчас многое пересмотрели, но почему-то продолжаете упорствовать в своих заблуждениях.

Со своей стороны, я в отношении себя не строю иллюзий и не думаю, что я в своих убеждениях абсолютно прав. Привет Вашей супруге. Поменьше хворайте. Да, книга Пикуля о Сталинграде мне не понравилась. Это удивительный примитив, может, потому, что Саввичу не удалось как следует над рукописью поработать. Ваш роман на ту же тему еще не читал. На ночь читаю детективы и газеты, а потом снятся кошмары.

Ваш Куликов

29.5.93 г.

Дорогой наш окопник Виктор Петрович!

Честно говоря, не ожидал ответа вообще, а такого быстрого в особенности. Не писал, «Яму» в первый раз просто проглотил, а потом еще два раза читал. Вроде опять побыл восемнадцатилетним, начавшим уже стряхивать потихоньку дурь, вбитую в мозги искусными деятелями всех калибров.

Ничего подобного и такого правдивого я не читал о нашем поколении. Надеюсь еще прочитать продолжение.

Мне влепило мелкие осколки во все лицо. Спрашивают даже, не работал ли в шахте. Один осколок точно влетел в самый зрачок, повредил хрусталик, стекловидное тело, поранил сетчатку и остался в глазу.

Хватило умишка не дать выдрать глаз, а довезли аж до Баку, где была одна палата, выделенная в клинике для таких бедолаг. Глазной клиникой и кафедрой заведовал проф. Абасов, оперировал он и доцент Адель-Ханум. Глаз разрезали, мощным электромагнитом «достали» осколок. Вижу движение руки перед глазом. И все. В то время лежал в глазном отделении ЭГ (эвакогоспиталь) 36-81, Баку, ул. Ладо Кецховели, 113, в здании школы. В клинику переводили на время операции. В палате было 14 человек. Сосед слева — без глаз. Справа — без ноги и глаза. Дальше — моя копия. Потом Арам — слепой, культя бедра, десятиклассник. Пытался покончить жизнь 2 раза — срывал повязку и рвал швы бедренной артерии — кровь фонтаном, пытался выскочить из окна. С трудом поймали за шкирку. Несколько человек было из Глейвица — на Победу хватили метилового спирта. Кто остался жив — почти не жилец, а глаза целые, но слепые. Был сапер Миша. Ошибся. Мина взорвалась. Лицо в кашу. Что где приросло. На фото — красавец. А тут... В оба глаза ему и соседу справа вставили «стекляшки».

Если операция делается у молодых — сшивают глазодвигательные мышцы. Глаз («стекляшка») двигается, но не очень — косит, отстает от здорового глаза.

Они рассказывали, что во время операции при обезболивании делали уколы. Ощущение такое, что вот-вот глаз выскочит из орбиты. Испытал это «счастье» и я, да и Вы, наверное, тоже. При удалении глазного яблока — ослепительный свет — вспышка.

С протезом сначала облегчение — ресницы не лезут в

рану. Вспомните соринку. Быстро привыкают к протезу, ведь после стольких мук остальное позволяет притерпеться. Розовые слезы (примесь крови), конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки, светобоязнь. Потом на «стекляшке» и в углах глаза «насыхает». Поэтому на ночь «стекляшку» кладут в воду (отмокать). Если «веселый солдатик» носит протез уже несколько месяцев — привыкает (черт и к аду привык). Девки сразу заметят, что глазик то косит, то отстает, то на нем желтые полосы (подсохшие слезы и отделяемое глазницы). Похоже, как после ночевки на охоте — глаза «не продерешь».

В 1987 в Лабинске (Краснодарский край) отмечали 45 лет формирования дивизии. В ней 20 тысяч убитых, 40 тысяч раненых, а на встрече было 146 человек. Ни одного не видел с ранением глаза. Нам с Вами повезло — не было симпатического воспаления, при котором воспаляется раненый глаз, потом здоровый и... слепота. А слепые кому нужны? «Благодарной» Родине? В Лабинске меня окружили ребята. Кричат: «Юрка!» А когда узнали, кто сейчас, — вдруг стали величать и величали, как не знаю кого. Пришлось матюкнуться и рявкнуть: «Отставить». Вот хохоту было. Радости от общения с друзьями, братьями-окопниками.

О «веселой» солдатской жизни вы знаете лучше меня. Поскольку до призыва работал зооветтехником, дали по первой группе инвалидности агромадную пенсию — 400 р. на те деньги. Через полгода спохватились — срезали группу на вторую и пенсию на 100 р. А инвалидов — тьма тьмущая. Сверху ЕБЦУ (еще более ценное указание) — матюкнулся — сиди за хулиганство, с политоттенком — готова 58. И «веселых солдат» направили за скорой смертью. И дешево, и сердито. Отец в это время работал адвокатом. Ночами ворочался, кричал во сне. Можно догадаться о чем. У самого два сына, переживших войну.

Сдал документы в мединститут в Воронеже. Все экзамены на 5. Не приняли сразу. Больно покалечен. Не пишу о посещениях Минздравов РСФСР (отказали), СССР — разрешили в порядке исключения. Окончил с отличием в 51, в 54 — канд. мед. наук, в 58 послали зав. кафедрой в Ставрополь. В 71 — доктор наук, профессор. Подготовил 1 доктора, 10 кандидатов и пока вкалываю.

Да, в Воронеже, в досфлоте, из утильсырья, сданного военными, наладили несколько «штурмботмоторов». Это вроде мотора-весла, 4 цилиндра, 40 л. с. магнето с ускори-

телем, уключина. Понтон гоняет — с собаками не догонишь. А наши на Днепре (а форсировали его три раза) под Вовнигами — между Запорожьем и Днепропетровском — удачно. Сдали плацдарм другой дивизии, второй раз с полкилометра выше плотины Днепрогэса) держали плацдарм долго — с него ушли, так как «не было перспективы», третий раз по льду на Хортицу. Дивизия 203 Запорожская, полк 619, 1-й батальон, минрота. Ну а как форсировали — лодки да плоты на «пердячем паре». Учебная мишень. Не штурмботмотор.

Да, опишите, как сначала встречали вернувшихся фронтовиков, вторую волну — поезда с харей рябого грузина на паровозе, третий этап — «ты что один воевал?». Девальвация всего и вся, вплоть до отмены праздника Победы, «нескромность» ношения наград и пр.

Захватил еще тех, кто искренне верил в новое, был честным и верил в светлое будущее. Четко соблюдали «партмаксимум» — не имели права и не получали больше рабочего. Судьба их известна. Но в 45-м в г. Грязи Воронежской, теперь Липецкой, области дядя был управляющим Госбанка. Я сам видел процедуру, при которой в 30 пакетов клали деньги для «тридцатки» избранных. (Секретари горкома или райкома, председателя и замов РИКа, энкавэдэшники, ментовка и прочая братия.) С этой секретной суммы не брали ни налогов, ни взносов!!! А как бабы избранных, сидя на кучах одежды и обуви, гребли под себя и ссорились, деля подарки американского народа героическому русскому...

Интересно, а где бы была та партбоссиня, мать армянина-страдальца из Бердской «Ямы»? Ведь не на партмаксимум она оплатила щедрое угощение голодным страдальцам...

А теперь могу написать, что все правда, только правда. Это о том, как судьба сводила с сильными мира сего с «иконостаса», на который молились.

Встреча первая. После смерти рябого «вожди» стали ездить в «народ», избрав для этого Воронеж. В конце 54-го мчался я в типографию подписать в свет и печать автореферат. Никого не замечал. Вдруг впереди пустота, и я нос в нос встречаюсь с царем Никитой. «Топтуны меня раз десять схарчили глазами, и я прошел в нескольких сантиметрах от персоны. Посмотрели друг на друга без особого энтузиазма. Потом объявили общегородской митинг, где он «толкал речу». Четыре аспиранта, потом про-

фессора в шинелишках навязали красные повязки (уцелели с похорон грузяки!), а паразиты-дружки засунули втихаря их мне в правый карман шинели. Подвернули лишь траурные канты. Вояки все, окопники и короткими перебежками стали прямо перед трибуной. «Реча» была «на уровне». Профессор Ярлыков (будущий) в заключение сказал, что таких херовых на засранный колхоз председателями не ставят. Молол (не с трезва), показал всю дурь, что в нем накопилась. Через 10 лет во второй половине апреля смотрели с мамой по телевизору (я заезжал в Воронеж) прямую трансляцию обвешивания, как кобеля репьями, орденами Никиты. В заключение Ленька-болтун хотел ему повесить еще одну Звезду, но их пьяных так кидало, что стыковка не удалась и передачу вырубили.

В 58-м лицезрел маршала Булганина. На каком, уже не помню, активе его песочили за то, что нефтяникам живется голодно. А в это время магазины были буквально забиты колбасами сортов пятнадцати, икрой — 5—6, крабами, тресковой печенью, балыками белуги, севрюги, осетра, маслом 5 сортов и прочим, что сейчас и за валюту не купить. И тогда мне вкралась мысль, а не ввести ли тесты для «вождей», хотя бы один — как разделить корм трем свиньям...

Мишку Горбачева знал еще секретарем горкома комсомола, и был он членом приемной комиссии мединститута, а я зам. пред. Звал по имени, отчитывал за опоздания и неявки. Изворотливый мужик. Сумел пролезть в номенклатуру, куда «чужим» путь был заказан, лизал ж-у Кулакову. Стал своим, с хитрым размахом, кого и куда лизнуть. Но остальное и сами знаете. По имени (вот непочетник!) звал его до первого секретаря крайкома включительно. В одно время ему сказал, что заберут наверх, он спросил о причинах. Сказал ему, что слишком умен для первого.

С Кулаковым в 64-м летел вместе в ТУ-124. В носу у него вроде купе. Знакомые летчики взяли билет. Разговаривал с помощником и зятем о... кукурузе и ее универсальности. Я не выдержал и вмешался, сказал что белок кукурузы — зеин не содержит двух незаменимых аминокислот. Думаю, ведь тоже сельскохозяйственный техникум кончал, агроном как никак. А он: «Что это за незаменимые?» — начальническим тоном и на басах. Объяснил. А что делать? Растить с бобовыми! Тоже объяснил. А потом он стал секретарем ЦК по сельскому хозяйству... Ни

хрена себе! А Мураховский тот вообще окончил историко-географический факультет пединститута, да и то как общественный босс с оценками «по занимаемой должности». Этот чмырь кинулся решать... продовольственную программу!? А мы, дураки, сетуем.

Вы правы — не дай Бог возврата этой нечисти. Это в 10, в 20 раз страшнее монгольского ига. А ведь они все попрятались, обтянули волчьи шкуры овчиной.

Целиком и полностью согласен с характеристикой бывших фронтовиков. Из-за таких дурней и нас молодежь зовет «сталинскими недобитками».

Вас, верно, удивило польское звучание фамилии. У прадеда ее вообще не было, было прозвище. Деда-смышленыша из Больших Алабухов — села на границе Воронежской и Тамбовской областей — заметил поп и на казенный кошт определил в бурсу, потом в семинарию, и первый носитель ее, Иван Алексеевич, женившись на Марье, стал священником. Было 4 сына, сами пахали, сеяли, убирали, была корова, лошадь, и обходились всю жизнь без работников. Сыновья учились в семинарии и один за другим ушли вольноопределяющимися. К семнадцатому году уже был капитан, штабс-капитан, поручик и семинарист. Старший служил в Добровольческой армии, похоронен на кладбище Сен Женевьев Дю Буа, есть мой двоюродный брат и племянник. Поручик заворачивал у красных полком, здорово пил и закончил дни персональным пенсионером, до этого в войну для «профилактики» живший в Таре. Капитан отказался служить и тем, и другим, расстрелян в 37-м и посмертно реабилитирован. Отец (самый младший) сажался несколько раз по 58-6 — шпионаж, прогулялся в Салехард, в 56-м реабилитирован, а в 67-м награжден медалью ЗБЗ «За выполнение особых заданий в тылу противника в годы гражданской войны». Могилки деда и бабушки сровняли с землей (взорвали церковь, добыли груду щебня), и в ней лежат Иван и Марья, в Воронеже лежат, тоже рядышком, родители Иван и Марья.

В Салехарде, особенно в тундре, охота что охота, сами знаете, когда птица идет «валом». Рыбачил плавными сетями. Баловался ружьишком и в Воронеже, была классная моторка. Сейчас езжу на «иномарке» «Запорожец» с одноручным управлением. Не грешно ли Вам дразнить охотой и рыбалкой, а еще больше разговорами по душам двух «окопников»? На крылышках бы полетел, но больно зад-

ница стала тяжелой. Но даст Бог, свидимся. Ведь я крещенный самим дедом. Он имя выбирал. Но честно сказать, уж никому и ничему не верю.

Насчет названия. Ведь сначала было: «Лишь бы вернулся какой-никакой...» Потом уже — «Не смотрится».

Как хочется пожелать успеха в Вашем благородном труде. Низкий поклон Вам от окопника и наберусь смелости то же сказать от имени невернувшихся и недоживших. Мне кажется, что на это имею право, и они тоже бы одобрили.

Дай Вам Бог здоровья и чтобы Ваш труд увидел свет.

Как фронтовой собрат-окопник по-братски обнимаю Вас. Да хранит Вас и Ваш талант Бог.

Самые лучшие пожелания Вашим родным и близким.

Извините за конверт. Это почтари меня надули. Простите за оторванное время на чтение несуразного письма.

С искренним уважением, обнимаю,

Ваш ***Ю. И. Алабовский***

[Первая половина 1993 года]

Далекие-близкие сибиряки!
Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Здравствуйте, несмотря ни на что, живите, пожалуйста, долго: Ваша жизнь давно стала ЖИТИЕМ! Вас любят ваши читатели. В Вашем труде, в Вашем творчестве находят духовную поддержку — побольше Вам таких сил!

Паломничество моего Володи с Леночкой по святым местам в Осташкове и округе, по Валдаю было удачным. Однажды им пришлось найти приют в избушке двух старичков. Хозяин в финскую войну попал в плен, бежал в Швецию, где 3 месяца (был он механиком) служил шофером у «бабы Шуры» — Александры Коллонтай. Рассказывал, что «баба Шура» боялась возвращаться в Союз, где, по ее словам, могли отравить... У него самого сомнений не было, возвращаться после войны или нет.

В октябре сыну заменили 2-ю группу инвалидности на 3-ю с правом работать, но студия, за которой он числился, приказала долго жить, поэтому проблема трудоустройства у Володи сейчас на первом месте.

Есть у него одна мечта-задумка, но пока еще рано го-

ворить о ней вслух, пока только молитвенным старанием можно помогать ему приблизиться к ее осуществлению, поэтому и мне его тайное желание называть нельзя. Молчу. Я с сентября работаю в своем медучилище.

Медицинское образование среднего уровня так и осталось до сего дня на остаточном принципе: имея «голую» ставку, в ноябре получила 42 т. плюс 32 пенсионных. В Питере не самая дешевая жизнь, а зарплата почему-то ниже, чем в других «регионах»?!

4-го октября у Белого дома снайперской пулей подкосили Сашу Сидельникова. Для меня он — мальчик, если мне 56, а ему было 38! Во второй раз получила урок: нельзя ослушаться духовного отца. Никогда. Его духовный отец — священник о. Николай Беляев, настоятель храма при монастыре Иоанна Кронштадтского, в прошлом кандидат наук. Саша пришел к нему за благословением для поездки в Москву 2-го октября — уже с билетами на руках. Батюшка не благословил его на поездку. Безотчетно, даже сегодня батюшка не может объяснить, почему он советовал Саше не ехать после 4-го октября. Саша не внял просьбе отца, не послушался! У Саши была в руках видеокамера — хотел снять свою правду. Отпевали его в храме монастыря. Лежал он в гробу с красивым, светлым и благостным лицом. Сколько искренне скорбящих пришло отдать ему последнее целование! Милый, добрый, чистый помыслами Саша! Хоронили его на сельском кладбище. Все время вспоминались рубцовские стихи:

Замерзают мои георгины,
И последние ночи близки,
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...

Могила под высокой старой березой на высоком берегу Волхова, на противоположном берегу — сплошной лес, на линии горизонта бегут электрички, а вдалеке — кружева ж. д. моста. Панорама удивительная, и опять на памяти Рубцов:

«Не порвать мне мучительной связи»...
Но люблю тебя в дни непогоды,
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

В конце декабря за «Вологодский романс» — фильм 92 года — Сашу посмертно наградили хрустальной «Ни-

кой», вручали которую его вдове, тоже православному режиссеру. Осталось двое детишек без отца, и какого отца!

Ровно год назад Саша подарил мне пластинку с записью хоров Георгия Свиридова. В планах Саши было снять фильм о Свиридове и о казачестве. Последним фильмом, снятым им, был фильм «Петербургский романс» — об Агафонове. «Компьютерные игры» — о трагедии Аральского моря. «Полигон» — о катастрофе под Челябинском. «Преображение» — о том, как ломали хребет крестьянству. «Снился мне сад» — об агрономе-умельце, выводящем под Ленинградом редкий сорт черешни. Герой «Вологодского романса» — машинист электровоза, проникновенно исполняющий современные романсы на слова вологодских поэтов, фильм — признание в любви Вологодчине.

Приступая к работе над фильмом, Саша всегда испрашивал благословения у своего батюшки.

В музее-квартире Достоевского, где периодически представляют фильмы православных режиссеров, повторяли показ «Вологодского романса». Перед началом фильма служили панихиду о мучениках, убиенных в междоусобной брани.

В течение двух лет болела я потерей Валерия Агафонова, теперь долго буду перебаливать гибелью Саши Сидельникова. Светлая ему память! Работа стала наркотиком, а моей изобретательности не хватает, чтобы придумать другой вариант для дополнения к пенсии.

С ноября живу под одной крышей с «печальным детективом», только не с опером, а со следователем. Взяла по половинному тарифу близкую подругу своей невестки. Работает начальником одного из следственных отделов в Большом доме на Литейном. Прошла уже через покушение на ее жизнь. Родители живут стесненно: с семьей сына, братом и младшая сестренка в полуторке. Условий для отдыха в родном доме нет, а работа у нее, сами знаете, какая!

«Бригада» азербайджанцев — спортсмены, мастера-разрядники, члены республиканской и союзной команд физкультурного вуза (учатся у нас) — растлевали 11-летних девочек, запугивали. Единственный ребенок в семье, где папа — военный инфекционист, мама служит в консульстве. Девочка замкнулась. Папа выследил: утром, когда дочка пошла в школу, подъехала за ней машина. Угрожая номерным наганом, отец «отодрал» ее от дюжих «молодцов». Трудно было разговорить девочку. Следователь,

моя квартирантка, как представит на ее месте свою сестренку — в рев. На теле девочки синяки, следы укусов, зубы выбиты. Открыли дело. Девочку определили в больницу: нелюди успели ее заразить... Поставили коллеги перед «моим» следователем стакан водки вместо транквилизатора. Отопьет глоток (снимая показания потерпевшей) — все равно зубы клацают от ужаса...

В общем быту никаких претензий у меня к моей квартирантке нет, но... только обе мы не высыпаемся: придет мой следователь с работы и, пока не выговорится, не облегчит свою душу, спать не ложимся до двух-трех часов ночи. Пока она не имеет своей семьи, надо серьезно подумывать о переходе на другую работу: суточные дежурства, в обычные дни по 10—12 часов... Удивительно, что еще не забыла о своем женском естестве, но никакими «большими» (?!) деньгами не восстановить уже потерянного здоровья. Еще одна жертвенная профессия и, конечно, неженская.

Простите меня за такое письмо, но мне, как ни печально, но тоже надо было облегчить свою душу. Простите еще раз.

*С почтением — **О. Д. (Ольга Дмитр. Агафонова)***

[Первая половина 1993 года]

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

У меня к Вам большая просьба: дочитайте мое письмо до конца, не откладывайте его в сторону. Поверьте мне, я очень много думала, прежде чем написать Вам. Я понимаю, что Вы очень заняты. Совсем недавно читала Вашу последнюю вещь «Прокляты и убиты». Взяла в нашей школьной библиотеке. Я учительница. То, что я пережила после прочтения, трудно передать. Я всего этого не видела и не знала, мне 34 года. Но все равно очень тяжело. Примерно то же самое, что было со мной после Вашего «Печального детектива». Как Вы можете жить с таким тяжелым грузом на душе?! Вы меня простите, может быть, я не совсем точно выражаю свои мысли. Но это от волнения, которое я сейчас испытываю. Я когда читала, у меня душа разрывалась на части, особенно этот расстрел. Что же чувствовали Вы, когда писали? Наверное, я слишком эмоциональна, извините.

Мне нужен Ваш совет. Смотрела по телевизору передачу о Вас, читала статьи в «Огоньке» и у меня сложилось впечатление, что Вы очень прямой человек и говорите правду в глаза. Именно это мне и нужно. Наверняка, я не первая, с подобными просьбами к Вам обращались не раз. Вы скажете, что я могла бы найти критика и поближе. Я искала. Я ездила в Пермь, ходила в Союз писателей, меня направили к Гребенкину А. А., может быть, Вы его даже знаете. Он прочитал этот рассказ. Сказал, что поможет мне его напечатать даже в «Литературной России», но при условии, если я с ним пересплю. В конце концов мы с ним разругались. Я его обозвала и в досаде сказала, что пошлю этот рассказ Вам и Вы мне ответите. Гребенкин посмеялся и сказал, что Вы на меня наплюете и не ответите.

Вот так. Это было прошлой осенью. И все это время я собиралась Вам написать и вот наконец собралась. Рассказы пишу я давно. Я не могу без этого жить. Родные меня не понимают, считают, что я маюсь дурью. А я хожу, пишу, ношу это в себе и мне очень тяжело, если все это накопившееся не вылью на бумагу. Свекр говорит: «Херней занимаешься». Извините за натурализм. Вот и мучаюсь я сомнениями. Может быть, это все и есть то, что говорит свекр?

Вот это и есть моя просьба. Прочтите. И если Вам нетрудно, ответьте. Хоть одно слово.

Извините за почерк. Очень волновалась, рука не успевала за мыслями.

Спасибо, что дочитали до конца. Жду ответа.

Здоровья Вам, Вашей жене и внучке.

Челышева Елена Алексеевна,
Пермская обл., с. Аспа

3.8.93 г.

Глубокоуважаемый Виктор Петрович!

Уже прошло почти три года после нашей встречи в Нанкине. За это время я послал Вам в Россию два письма, получил от Вас ответ на первое. Думаю, второе, наверно, потерялось. Уже не одно письмо и не одну книгу, высланных мне из России, я не получил.

Я был очень рад Вашему письму о плане работы над «солдатским романом». Я ждал с нетерпением выхода его

в свет, следя за русской печатью. К сожалению, ни один номер «Нового мира» за прошлый год, который обещал опубликовать Ваш роман и который регулярно нами выписывается и всегда доходил до нас вовремя, до сих пор не пришел к нам. Только в июле-августе прошлого года я читал в «Литературной газете» отрывок Вашего «солдатского романа» и позже статью Аннинского о романе. То, что описывается в отрывке романа, меня потрясло. Это же опять новое в русской литературе и не только. Это же внутренние причины поражения в первые дни ВОВ, как говорит Аннинский. Не знаю, вышел ли Ваш «солдатский роман» отдельной книгой. Если вышел уже, примите мое сердечное поздравление и просьбу подарить мне один экземпляр. Я переведу роман и найду издательство, которое согласится его напечатать.

Немного о себе, о нашей жизни. У нас все стабильно. Экономика развивается быстро, иногда мне даже кажется, что она развивается уж слишком быстро. Перестройка продолжается очевиднее в экономике, а в других сферах ситуация не всегда радует. О культуре, литературе в том числе, все больше людей забывает. Помните журнал нашего института «Дандай вэйго вэньсюе» («Иностранная литература на современном этапе»). Три года назад он выходил пятитысячным тиражом, а нынче — трехтысячным. Бюджеты журнала вдвое сократились. Его бросили на произвол рынка. Мы с коллегами так и бьемся за наш журнал, но не знаем, что его и нас ждет впереди «на рынке», где пока мало кто интересуется серьезной литературой.

В начале нынешнего года старый главный редактор нашего журнала вышел на пенсию, меня назначили главным редактором. Я всегда считал и считаю, что литература — это душа нации, народа. Итак, вижу мою задачу в том, чтобы наш народ, наши читатели лучше знали душу народов мира. Поскольку наш народ и русский народ были и остаются так тесно связаны в последние сто лет, поскольку я сам русист, наш журнал будет уделять сравнительно больше страниц русской литературе. Вот в сентябрьском номере нашего журнала будет помещен отрывок Вашего «солдатского романа» «Прокляты и убиты» в моем переводе, наша беседа в Нанкине в 1990 году, также Ваш рассказ-сказка о маленькой рыбке в переводе моего аспиранта. На обложке номера — фотография Ваша, одна из тех, которые Вы мне прислали для «Печального детектива».

Наш университет решил послать меня в Россию в научную командировку, но куда — надо мне самому договориться с одним русским университетом или научным институтом. А я хочу еще раз поработать в МГУ. Срок командировки — полгода. Желательно, чтобы командировка состоялась в конце года. На этот раз я во что бы то ни стало найду возможность посетить Ваш город Красноярск, встретиться с Вами, одним из любимых моих людей поколения моего отца, который тоже был в свое время фронтовиком-бойцом в антифашистской войне. Хочу привезти Вам скромный подарок.

Передайте искренний привет и наилучшее пожелание Вашей супруге и всем Вашим родным.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и блестящих успехов в творчестве.

С уважением к Вам, Ваш ***Юй Ичжун,***
Нанкин

24.10.93 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за теплое, дружеское письмо. Я и сам было вознамерился написать тебе, рассказать, пожалобиться о нелегком моем теперешнем житье, но кому сейчас легко, все живут на пределе физических и моральных сил. А к тебе у меня и вовсе особое отношение, понимаю степень твоих забот и загруженности, до меня ли...

Вот уже два месяца я шастаю по больницам с опухолевым заболеванием пищевода, прошел облучение, сейчас готовят к операции. Чувствую себя скверно, ничего не могу есть, только жиденькое да и то с трудом. Усох за это время, как стручок, обессилел. Операция предстоит сложная, в два или три этапа, не знаю, выдержу ли, но иного выхода нет. В общем, когда будешь читать это письмо, меня уже прооперируют (26 октября), а пока на субботу и воскресенье отпущен домой набираться сил и мужества...

Ну, хватит об этом!

А написать я тебе хотел по другому поводу. Тут у меня как никогда в жизни открылась прорва времени, и я ударился в чтение. Я и так много читаю, а тут — чуть не сутками. Даже зрение надсадил. Первым делом перечитал близких мне людей — заново почти всего тебя, Ив. Аку-

лова, Вас. Белова, Вал. Распутина, Евг. Носова и других близких мне по духу современников. И понял, утвердился в давнишней мысли: не оскудела Русь талантами, ничем их не зашорить, не зашторить, не затуркать, не замолчать. Хоть в землю закопай, а талант все равно воспрянет, все равно заявит о себе миру. Говоря так, я имею в виду писателей, уберегших совесть, сохранивших мужество, у коих постоянно в сердце скорбь и сострадание к измученному народу, земле-матушке, ко всему нашему многострадальному бытию.

Я ли не знаю твои книги, знаю, как многие из них писались, но вот тянет к ним, тянет! Видимо, это потому, что часто вспоминаешь раз и навсегда врубившиеся в память эпизоды из них, поступки героев. Вот старшина Мохнаков из «Пастуха и пастушки». Ведь какая сложная, во многом нераспознанная натура! Вроде бы весь на виду, а его можно домысливать сколько угодно. И получается, что этот русский человек уже изначально велик сам по себе, раз так широка и неохватна его душа. Не мне говорить тебе комплименты, но права та читательница, письмо которой ты приводишь в «Зрячем посохе» относительно того, что «Вас я, Виктор Петрович, всегда буду читать...» Или что-то в этом роде.

Ты, Виктор Петрович, трагический писатель. По-достоевски показывая жизнь, безжалостно, не жалея читателя, обнажаешь самые застарелые ее язвы. Да и новые, только-только нарождающиеся — тоже. Но хоть ты в некоторых своих высказываниях и пророчишь России и ее народу мрачное будущее, от прочитанных твоих вещей, порой полных обнаженного драматизма (хотя бы рассказ «Людочка»), такого ощущения не возникает. А не возникает потому, что не ты так смотришь на жизнь, жизнь такова. За стихией народного языка, быта, деталей, ярчайших характеров в твоих произведениях видится первозданная Русь, Россия, Родина, не отравленная, не испорченная, не скособоченная всякими поветриями, а какая она есть, сама по себе, вечная. Отсюда и вера в лучшие времена, в лучшую долю, хотя Богу одному известно, когда эти лучшие времена для России наступят.

В общем, дай Бог тебе, Виктор Петрович, здоровья и многотерпения превозмочь все и оставаться каким ты есть.

До последнего времени здесь, в Екатеринбурге, руководил писательской организацией, да и сейчас еще не переизбран, нахожусь на больничном. Но уйду сразу же,

как вышишусь. Надоело, устал. Неблагодарное это дело — руководить писателями. Особенно сейчас. Особенно, если хочешь остаться самим собой и не вытягивать нос по ветру. Здесь, наверно, я и надсадил здоровье.

Одно светлое окошечко согревает душу: нашелся спонсор и наконец-то, кажется, будет издан мой роман «Стеклянный дом». Ты знаешь о нем. Это — тыл военных лет. Дети моего поколения, изработанные на полях бабы, фронтовики-калеки, тыловые прохвосты — все в этой книжке есть, все пропущено сквозь сердце, и она мне дорога, как никакая другая.

Дома все нормально. Галя хоть тоже с мая уже пенсионерка, а продолжает работать. Дочь Татьяна с семьей (у нас две внучки) живет отдельно. Недавно обменяли их однокомнатную квартиру на двухкомнатную в центре. Отдали в придачу новый «Запорожец». Сын Олег с нами. Ему уже 20 лет, здоровый, спортивный парень. Два года назад мы купили машину, и теперь он у нас извозчик, возит меня с матерью на дачу, по разным другим делам. До болезни все свободное время проводил в деревне. Там всегда мне хорошо и отрадно. Правда, нынче все залило водой — и от нескончаемых дождей, и от близкой Чусовой. Дом и огород почти на берегу. В этом году остались почти без картошки, все вымокло. Правда, ягоды были.

Вот коротко и все новости. Еще раз спасибо за чуткое письмо и извини за мое сумбурное: пока дома, спешил напечатать на машинке.

Поклон и самые сердечные пожелания Марии Семеновне. Всегда тепло думаем о вас. Вся семья передает вам привет.

*Обнимаю, целую — **Л. Фомин,***
г. Екатеринбург

3.11.93 г.

Дорогой Жорж Нива!

Приветствую Вас из Сибири и благодарю за приглашение посетить Швейцарию.

Приехать к Вам я смогу не ранее начала марта. К этой поре я надеюсь закончить и сдать в журнал вторую книгу романа «Прокляты и убиты». Освобожусь и от других текущих дел. И у Вас в стране уже будет тепло. В холод и

слякоть не решаюсь отрываться от дома — мои легкие нынче что-то совсем разболелись, а я надеюсь поехать к Вам здоровым и свободным от долгой и трудной работы.

Желаю Вам доброго здоровья и всего хорошего в этой неспокойной жизни.

Кланяюсь. Ваш ***Виктор Петрович***

16.11.93 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Одновременно с этим письмом я отправил посылку с гостинцем для Ваших внуков. Извините, что посылка получилась такая нескладная. Это все из-за дурацких таможенных наших установлений. Посылку на почте досматривают. Каждого вида продуктов — не более 2 кг, сушеная айва и абрикосы — один продукт, сухофрукты и должны быть в одной увязке, и в сумме не болеее 2 кг. Стыдобушка да и только! Вопреки правилам я все же вложил в коробку две статьи из «Московских новостей» — о счастливой семье Брагиных, живущей в енисейской тайге, и о кержаках Алтая. Если Вы не читали, то, уверен, с большим интересом прочитаете эти статьи. Современная жизнь староверов меня просто потрясла. Это полное вырождение — физическое и духовное, даже если допустить какую-то предвзятость автора статьи.

Боже, что сотворилось с нашим народом! Все нейдут из головы Ваши слова из Вашего письма: «...и вернется к себе русский народ совсем уже другой дорогой, другой особью и сообществом, пока не только не угадываемым, но и непредсказуемым... Можем ведь оказаться и в яме, называемой могилой».

К Вашему слову нельзя не прислушаться. Россию Вы понимаете не только умом, но сердцем и душой, потому Вы зорче многих наших историков, социологов, философов, политиков. Вот почему нешуточно звучит Ваше пророчество.

Лет 30 назад Л. Н. Гумилев сказал, что русский народ пушкинской эпохи — совсем не тот, что в советское время, это два разных этноса. И сама собой продолжается мысль: наши потомки будут тем более другим этносом по отношению к нам.

Наш философ парадоксального мышления А. А. Зино-

вьев, проживающий теперь в Германии, в сентябре этого года выступал по ТВ «Останкино» (у меня к нему особое пристрастие, так как я близко знаком с его дочерью от первого брака Т. А. Зиновьевой; она художник и каждый год приезжает сюда на раскопки античного города Ольвии, делает зарисовки для архива и для публикаций; а вещи свои до следующего сезона каждый раз оставляет у меня). Выступление А. А. Зиновьева произвело на меня сильное, хоть и противоречивое впечатление. Он считает, что русский народ — не тот, из которого можно строить любое социальное сооружение. Это из немцев, японцев или других каких народов можно выкладывать стены любого здания. А русский человек — слишком сам по себе и выворачивается из-под мастерка создателя. Потому и невозможно было построить с русским народом коммунизм. Потому и никакого капитализма с ним не построишь. А сам по себе русский народ никуда не денется, но через несколько поколений это будет совсем другой этнос. А свое величие русский народ якобы пережил в советское время — великая держава, великий народ!

Держава, пожалуй, была великой. Но народ, в рабстве пребывающий, не может быть великим. Ну а пока, по-моему, на несколько десятилетий нам ничего не светит. И снова у народа главная задача — выжить. Всем чертям назло — выжить! Искусство выживания — наша профессия, русская. Вот потянуло еще раз перечитать «Уху на Боганиде». Это вершина из многих Ваших вершин. Что там античный Лукуллов пир! Вот оно, наслаждение пищей — в своем изначальном ощущении, когда каждая крошка напрямую становится частичкой твоей жизни. И счастье при этом — всеохватное, бескорыстное, доброе. Читаешь — а на сердце щемящая грусть и жалость к себе, и глаза увлажняются. Но и слюнки глотаешь. Ведь уха-то и впрямь царская.

Я с волнением ожидал Вашего выступления по ТВ «Останкино» 12 апреля в 11.05 («Встречи для вас». Виктор Астафьев). И забыл начисто, что в понедельники у нас на Украине передачи ТВ начинаются только с 14.00 местного времени (15.00 моск. вр.)...

На события в стране Вы публично отзываетесь редко, но Ваше слово каждый раз удивительно четко, точно и прозорливо. «Придется голосовать» — полнее не скажешь. В двух словах! «Мямля»! Самое точное слово. Все припе-

чатано как есть. И предвидели — весенние события в Москве! И октябрьские!

С 94-го года я перестану получать «Литературную газету». Тутошная самостийная политика делает невозможной подписку на многие российские газеты и журналы. К примеру, «Московские новости» можно выписать за карбованцы, а «Литературную газету» — только за рубли, а где они здесь — эти рубли...? Это значит, и в библиотеках не будет «ЛГ».

Еще яркий пример. Всю ночь с 3-го на 4-е октября я не спал, ловил «голоса». Весь мир гудел в эту ночь. Только Украина молчала. С вечера по УТВ — футбол, потом песни-пляски, будто в России ничего не происходит, будто в России меньше, чем в других странах, живет украинцев, будто на Украине меньше, чем в других странах, проживает русских. Я не перестаю удивляться какому-то зоологическому национализму украинцев. Я почти всю жизнь прожил на Дальнем Востоке, где вперемешку давно живут потомки русских, украинских и белорусских переселенцев-крестьян, и я всех воспринимал как один народ. И исторический корень один. А тут, даже в Парутине, на каждом шагу чувствуется неприязнь к «москалям». Вот и в редакции украинского ТВ на октябрьские события — что-то мелкое, гаденькое, подленькое, злорадное.

Дорогой Виктор Петрович, неужели собрание Ваших сочинений в «Молодой гвардии» так-таки и законсервированно и не вышел даже 4-й номер? И никакой надежды? До чего же жаль!!

Желаю Вам, Виктор Петрович, доброго здоровья и новых творческих успехов. Желаю доброго здоровья и полного благополучия Марье Семеновне, Поле и Витемладшему.

С уважением, ***В. Миронов,***
с. Парутино Николаевской обл., Украина

17.11.93 г.

Дорогой Виктор!

Все лето ждал от тебя письма. И так и не получил... Теперь вот узнал, что ты посылал, но оно не дошло. А я тревожился, думал, что чем-нибудь нечаянно обидел тебя. В это смутное, пороховое время любое неловкое слово может наделать беды... Но, слава Богу, кажется, ты не сер-

дишься — просто подвела почта. Позвонила Лялька Полухина и сказала, что ты мне писал и даже предлагал издать мою книжку в Красноярске, а я, видишь, ничего этого не знал. Впрочем, есть ли смысл теперь издаваться? Ведь издательства почти не платят. Недавно купил в магазине свою новую книжку, изданную в Москве в прошлом году. Но ни денег, ни хотя бы авторских экземпляров так и не получил. Молчат. А может, обанкротились и разбежались?

Вот тоже: еще в августе «Новый мир» напечатал мой рассказ, писал, чтобы прислали экземпляр, но — глухо, молчат. Правда, еще тогда же прислали шесть тыс., а на письма не отвечают. В киосках «Нового мира» нет, нет его и в библиотеках. Так что писать и посылать куда-то нынче стало неинтересно: народ перестал читать, за исключением порнографии, а следом и издатели не стали печатать прежних авторов, вплоть до Шолохова, хотя «Поднятая целина», по нынешним критериям, сильно скомпрометировала сего классика. Зато на коне Борька Можаев: недавно видел толстую его книжку «Мужики и бабы» в цветастой детективной обложке, изданную еврейскими прогрессистами, с которыми он повязался, — «Апрелем». Просят за книжку 700 руб. (а за мою 70). Но я-то знаю, что книжка сиюминутная, по случаю нахрапистая, которую еще десять лет назад изругал в рецензии старик Олег Волков за ее разнузданный стиль. Да и ты, кажется, тоже писал на нее закрытую рецензию.

Получил ли ты от Глеба Паншина приглашение в редколлегию «Куликова поля»? Мужик он энергичный, замахнулся на цветной журнал, благо, что в Туле мощный полиграфический комбинат, куда он пробил доступ. Он хочет поддержать провинциальных писателей, не дать им захиреть и заглохнуть в своей невостребованности, в губернской глухоте. Ты бы прислал что-либо ему на ражженину, у него плохи дела с прозой. Не обязательно рассказ, можно и кусок из твоей новой книжки, какую-либо главу, эпизод, смачную картинку — все сгодится, а тебе это не повредит. Хорошо, если бы ты не мешкал, а прислал сразу же, поскольку Глеб формирует уже второй номер (выходят они пока 1 раз в 2 мес.).

Правда, несколько настораживает меня некий подтекст издания. По-моему, он с сильным национал-патриотическим душком, и я боюсь, что они проявят себя в публицистике, в какой-либо дискуссии. Ибо оба они — и Глеб, и его правая рука, наш любезный Петя Сальников, — исповедуют ГКЧПизм и все, что связано с этой демагогией.

Я говорил об этом Глебу, и тот уверял, что будут придерживаться умеренных взглядов и прочее. Но — посмотрим. Давай, Витя, пока поддержим это, в общем-то, нужное начинание, попробуем удержать его от экстремизма ради только того, чтобы поддержать пишущую провинцию, упавшую духом и почти забросившую перо.

А Петя уже третий месяц по больницам. На престол Петра и Павла они сильно подзагуляли, Петя три дня терпел, не ходил в туалет, и у него отказали «кранты», а мочевой пузырь вытянулся в четыре раза больше нормы. Пришлось прямо с пирушки ложиться под нож, да и до сих пор ходит с трубкой. Но, Бог даст, скоро должны отпустить домой.

Витя! Знаю, что ты чертячишь над книжкой. Представляю, как ухандокался, а потому желаю благополучной точки в конце этого беспредельного марафона. Обнимаю и целую.

*Твой **Женя***

P. S. Приехал Глеб Паншин вместе с членами редколлегии (выездная пьянка), остановились у Пети, который на это время отпросился из больницы. Будем обсуждать второй номер журнала. Читал твое выступление в «ЛГ» — все правильно.

Е. Н. (Носов)

[1993 год]

Дорогой Виктор!

Видимо, это общероссийское поветрие — я тоже переболел ленью. Особенно удручающа летняя лень, похожая на сонную одурь. И в самом деле, вроде бы жив: видишь, слышишь, а пальцем пошевелить не можешь. Мне кажется, не все люди и не в такой мере подвержены этому опустошающему недугу. Или у других людей применяются какие-то прививки, например у немцев. Сдается, что немец этим никогда не страдает, его не тянет в темную кладовку, на сеновал или под копнушку... У нас даже ухитряются спать за штурвалом самолета.

Лишь наступление осенних холодов заставляет медленно шевелиться, искать какое-никакое дело — для сугрева. Но за долгое прозябание так отвыкаешь от стола, от ручки, от бумаги, что не сразу берешься даже за пись-

мо, а сперва несколько ден чешешь затылок в поисках о чем бы написать, потом, севши за чистый лист и попробовавши что-то из себя выдавить, с ожесточением комкаешь написанное, потому как обнаруживаешь, что ты намарал уйму грамматических ошибок и что такую писанину отправлять через всю великую страну, занятую перестройкой и прочими умными и неотложными делами, просто неприлично.

А между тем у нас тут, как, наверное, и у вас и вообще повсеместно, организовалось рериховое движение, которое основывается на исключительно русской нации, которая со временем должна породить новую, более совершенную цивилизацию. В эти кружки ходят джинсовые интеллигентки, размалеванные дамочки в растебанных до трусов юбках, гнобят себя долгими цигарками и не менее долгими разговорами о махаратьме, об энергетическом поле, о космической сущности человеческой души... Курские православные непороки по этому поводу подняли в печати шум, грозят рерихам вторым пришествием и прочими неприятностями на том свете.

По все той же лени не был я на торжественном богослужении, свершенном на Курской дуге под Прохоровкой, где был заложен мемориальный храм, построенный попечительным советом во главе с Николаем Ивановичем Рыжковым. В изданной по этому случаю книжице «Сотворение чуда» написано, что Курск не имеет никакого отношения к Курской дуге, поскольку он находился в 85 км от фронта и что главный пуп событий — Белгород, город первого салюта и новых прогрессивных идей. Недавно, например, местные белгородские следопыты раскопали, будто Белгород вообще старше Курска, и по этому случаю тоже было большое молебствие, а Ельцин даже прислал правительственное послание. Наши ребята ездили на это торжество, тамошние власти выставили много вина и печеных пряников. Славка Клыков на Прохоровском поле тоже поставил свою часовенку. А вообще он налепил их порядочно по здешним среднерусским городам и весям. В Курске он тоже поставил против Дома офицеров символ иконы Божьей матери с апостолами, а еще хочет слепить самого Серафима Саровского, который родился-то в Курске, здесь в отрочестве и упал с колокольни, отчего и был свыше отмечен святостью. А еще Славка Клыков издает журнал всероссийского фонда славянской письменности и первый номер украсил снимка-

ми своих скульптур на священные темы, а также напечатал стихи, которые посвятила ему одна верующая поклонница и член редколлегии этого журнала. Символом же издания Славка избрал лозунг «Православие — самодержавие — народность», который и тиснул на первой обложке. Получилось как-то так по-домашнему уютно и благопристойно. Внутри же издания всякие серьезные философские раздумья и песнопения, и даже интервью одной равноапостольной старухи Макарии, которая побывала в раю, и опять вернулась на землю к своим делам, и которая делилась своими впечатлениями в том духе, что яблоки в раю крупнее наших, все до единого красные и внутри налитые медом. А цветы и травы такие же, как и тут.

А еще мы перезахоронили Костю Воробьева. Гроб привезли аж из Литвы, которая стала заграницей и всякое русское там пребывание, даже на кладбище, сделалось нежелательным, что ли... Было много народу, много начальства, музыки, цветов, венков, милиции, КГБ, панихиду отслужили в переполненной церкви, где было душно, сыро и пахло ремонтной побелкой и цементом. А вокруг стоял тихий золотой денек, и могила, и ее днище были запорошены золотыми монетами опавшей листвы. Говорили прощальные речи, читали стихи, церковный попик тоже произнес вдохновенную речь с литературоведческим уклоном... А потом взвод солдат, одетых парадно, трижды грохнул в осеннюю синь и мы кинулись собирать памятные гильзы меж начищенных солдатских сапог... Кажется, наконец-то успокоился Костя. Земля детства — она ведь и в могильном холме — родина.

А потом напились. Да так, что едва не помер от вскинувшегося давления.

Две недели отходил и вот дал зарок: все! Не стало силов. Да и край уже близко, не успеешь покаяться.

Милый Виктор! Побережись и ты! Люблю и целую.

*Твой **Женя (Носов)***

30.11.93 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Давно не видела Вас по телевидению и скучаю — очень интересно знать, что Вы думаете, какие у Вас планы.

Я о Вас не забываю с 86-го года, с того времени, как

прочитала «Ловлю пескарей в Грузии». Впрочем, я Вам писала об этом достаточно подробно. Очень надеюсь, что письма мои Вы получали. Я выражала Вам свою признательность и уважение и благодарила за то, что Вы существуете на свете и своим существованием даете жизнь, делаете ее светлее и выше. В Вас есть что-то отшельническое, святое, ведь Вы не принимаете участие в той вакханалии, которая происходит в нашей бывшей стране.

Я писала Вам, что запомнила последние строки Вашего рассказа, в которых говорится устами дяди Васи: «Кто обидит Вас, того обидит Бог».

С тех пор, как грузины, не поняв Вас, обидели Вас, их постоянно обижает Бог. Сначала это были стихийные бедствия, а теперь война, разруха, голод. Мы живем здесь как в страшном сне, вернее, в страшном анекдоте.

А русские и «русскоязычные» разбегаются кто куда, и нет у нас больше «экзотики», нет «исторического аромата», который был присущ городу Тбилиси — теперь это грязная, страшная, убогая провинция. Вот что сделали с нами «демократия» и национализм.

Описать то, что у нас творится, можно только за «тысячу и одну ночь». Я никогда не думала, что это возможно и что мне придется перетерпеть все это. В мирной, «застойной» жизни мне не снились все эти кошмары, ставшие реальностью! Почему это? За что? Я не знаю, как дальше жить и что думать. Не знаю, чему учить своего сына: я учила его добру 20 лет от самого рождения, а теперь он не умеет «пробиваться» в жизни, и я боюсь за него.

Уважаемый Виктор Петрович! Как жаль, что я не могу спросить у Вас совета, как дальше жить. Хотя я знаю, что каждый должен решать все сам, сообразуясь со своей совестью. Хочу еще раз поблагодарить Вас за Ваше благотворное влияние на нас, читателей. Все-таки в России поэт действительно больше, чем поэт. По крайней мере, так было. Надеюсь, что так и будет. Надеюсь на лучшее — иначе невозможно жить.

Привет Вашей семье.

С уважением, всегда Ваша ***Инга (Алексеевна)***

31.11.93 г.

Дорогой Женя! (Носов)

Приветствую тебя уже с зимних квартир — вот написал эту фразу, и на полмесяца письмо остановилось: суетился, по первому снегу и ветру простудился, самолечился, показалось — уже орел, поехал в город, добавил и слег уже тяжело.

Тем временем и Глебушек уже объявился с предложениями, и пришло твое долгожданное письмо, и, забегая вперед, сообщу, что я уже отправил Глебу отрывок, выбрав самый «смешной» из совершенно несмешной рукописи о том, как нас истребляли немцы и морили голодом наши «отцы» на Днепровском плацдарме...

Но маленько хоть по порядку. Уехал я, значит, в деревню четвертого мая и уехал оттудова третьего октября, т. е. в самый разгар «революции». За лето в городе был всего три раза, вынужденно, а ночевал только раз, потому как здесь бетонные стены, бездушные, то горячие, то холодные, а в деревне русская печь, деревянный пол и до суббот и воскресений хотя бы ночная тишина.

До начала июля у нас, как и у вас потом — лило, холодило, потом пошло прекрасное лето, урожай вырос отменный, погода для уборки и до се подходящая: солнечно, сухо, перепады есть, но нечастые, и снега в огородах еще не белеются, хотя леса ветрами ободрало догола. В такую пору на Урале, бывало, я до упаду бродил по тайге с ружьем, гонял орезвевших, поумневших, штаны на зиму надевших рябчиков. А ныне лишь в окно гляжу. Был в сентябре на Сыме, совершенно сказочной реке, брали белые грибы, которые тут растут морем и их заготавливают, а для кого не ведаю. Один раз поехали на ямку — окушков на блесну подергать, и прийди к нам в гости на пищик жеребец (так тут рябчиков зовут), и мой напарник, стервец, что стреляет с левого и с правого плеча, с пузы, с колена и со спины, желая, видимо, себя повеселить, втравил меня в охоту, и я четыре раза стрелял по рябчику, и он исчез куда-то, и я спрашиваю с надеждой: «Улетел, что ли, курва?» — «Да не, завалил ты его в конце-то концов».

Этот Вася-охотник сейчас в тайге соболя промышляет, на вид тощий, ходит всегда при галстуке, в кожаном пальто, стригется только в Красноярске, у знакомой парикмахерши и за сто рублей в старом исчислении. Он из одиннадцатидетной семьи, отчество его Несторович, и

Нестор — отец — тоже был охотник, и Вася, единственный из детей, пошел дорогой отца. Имеет участок с восемью избушками, в тайге строг, собран, а в городе и в поселке стеснителен, но зато рассказчик! Шабутной, но не бабник и не пьяница. Раза два напивался до плохелости, утром морду прячет, к обеду скажет мне и другу моему — художнику: «Если я еще хоть раз напьюсь так же — отрубите мне башку!»

Но уже и пить, и общаться ему некогда, завел ассоциацию по заготовке пушнины, рыбы и всего прочего, избу ешкейской группы называет «офис». В избе той главный охотовед района, бухгалтер, но-о... брусника почти бесплатно, грибы тоже, лицензии на пушнину, на заготовку дикого леса и пр. Купил Вася у генерала, ведавшего зэками, дом за 15 миллионов, квартиренку продал, дом в деревне продал, пушнины за прошлый год изрядно продал-сдал. И все же я его спрашиваю: «Где ты, Василий, такие деньги-то взял?». Тряхнув кучерявой головой, сказал: «Голову на плечах надо иметь!»

Ну, голова головой, а в тайге нынче расшибется, чтоб хоть часть долгов отработать. Он ведь еще и волков с вертолета бьет. Волков развелось — просто ужас.

Чего-то все на нас наваливается, начиная с коммунистов до волчья, крыс и ворон.

Того же Васю после покупки дома как взялись травить! Только они, работники «всемирной армии труда», получили право строить помещичьи усадьбы и жировать на них, а тут какой-то Несторович с двумя малыми девчушками и женой, истово верующей в Бога, о которой Вася теперь уж с проникновением говорит: «Она и мои, и твои, и все наши грехи замолит...»

Взялись, Женя, и за меня товарищи коммунисты руками крысиного зверолова Буйлова по наущению и под руководством писательского начальства и других защитников русского народа пишут всякую слякоть, но я не читаю, разумеется, ихних изданий и никогда не отвечаю, так домой звонят. И каков же уровень защитников чистоты морали и высот патриотизма! Поля — внучка — взяла трубку — и давай ей что-то про деда лепить, а она, бедная, лепечет, мол я все-равно деда уважаю и буду уважать. Потом взяла куклу, причесывает ее и ворчит: «Какая некультурная женщина, а еще читательшей себя называет...»

Я, конечно, помню, как в Блуднове взашей гнали из избы Яшина тех, кто его травил, и запретили им являться

к могиле покойного поэта. Помню и Федора Абрамова, как он тряс своим чубом, увидев подпись родного дяди под письмом в «Правду», как он ему говорил: «Ты чё, дурак, хоть понимаешь, чего подписал?» — «Дак я пьяной был, говорят, мол, тут про Федора, надо подписать. Откуль же я знал, чё там писано?..»

А как Василия Макарыча на родине честили, а теперь заливаются, слюнями брызгая: «Наш великий земляк! Наш знаменитый земляк!..» А Василя Быкова как брали в оборот? В стогу сена за городом ночевал мужик. Дома сделалось жить невозможно. Мальчишка-школьник, плача, спрашивал: «Почему тебя, папа, все называют врагом народа?» Один Володя Карпюк стоял грудью против всех, его так устряпали, что в последний раз я его едва узнал. Сейчас там какой-то сраный генерал организовал облаву на Светлану Алексиевич, да времена не те и, главное, нет направителей ЦК, обкомов и горкомов, партийных активистов из писательской среды, но сволочей у нас было всегда полно. Этого Буйлова, защитника русского народа, по национальности мордвина, за сволочизм по существу выгнали из Хабаровска, а мы пригрели, и я прежде всех...

Ну что ж, «хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца...». Вон когда сказано-то! И кем!

Жаль, что летнее письмо к тебе пропало. И не одно. Я что-то после творческой запарки расслабился и не узнал на почте, почем ноне письма, и отправлял в старых, копеечных конвертах, и все их, летние мои письма, на ближайшей же сортировке, т. е. в Дивногорске, побросали в помойку, в том числе и два письма деловых.

Писал я тебе то письмо сразу же после прочтения твоего рассказа «Красное вино Победы» и высказал тебе свою радость тем, что ты не оставляешь работу, и восторг тем, как написано. Сейчас я прочел и «Темную воду» и могу только повторить то, что писал летом. Болезнь тяжелая твоя, вопреки моим тайным опасениям, нисколько не отразилась на твоем, говоря пышно, «пере», все так же оно точно, красочно и певуче, и проникновенно, все так же лучший ты стилист в современной литературе, и дай тебе Бог здоровья и мужества. Знаю, каким трудом и мужеством тебе дается каждая строка. Таким же стилистом, равным тебе был на Руси Гоша Семенов, да сгубил он себя горьким зельем, и ты уж не откликайся на зов друзей, хотя и охота, хотя и компанейская твоя душа, да что сделаешь — годы берут свое.

26-го октября справили мы с Марьей 48-летие совместной жизни. И праздник этакий ныне уж редкостный, и я под грибки да овощи попил водяры, и руками замахал, и языком забрякал. Хватило меня часа на два и — «увял торжественный венок»...

Насчет книжки в Иркутске Гена Сапронов, хороший сибирский мужик, затеял издательство, выпускает двухтомник моей военной прозы, где заглавная часть романа — первая, и я закинул удочку насчет твоей книжки, на будущее, и он не отринул моего предложения. Ситуация, правда, меняется и по дням, и по месяцам, все страшно дорожает, но если мой двухтомник хорошо реализуется и они заработают деньги, то я составлю для них две книги — коротких повестей Дина Рида «Леопард» и Джона Стейнбека «Жемчужина», Хемингуэя — «Старик и море» Джима Корбетта «Тигр-людоед» и твою листов на двадцать, сам и маленькое вступление напишу. Это тебя ни к чему не обязывает, работы не добавляет и вообще теперь, как видишь, дело неблизкого будущего, а платят по совести, сколь могут и, как у буржуев, платят проценты с проданного экземпляра.

Видел, в «Москве» объявлены твои новые рассказы, буду ждать. Там же начала печататься совершенно изумительная повесть Ивана Шмелева «Нянька из Москвы» — и от такой литературы мы были отторгнуты, читали шедевры Панферова, Кочетова, Кожевникова и прочих! Ах ты, Господи! Морду бы кому-то набить «за бесцельно прожитые дни!»

Сейчас я отдал Марье на машинку уже читабельный вариант второй книги, а сам по приглашению министра культуры вместе с культурной челядью поеду в круиз по теплым морям — выгонять из себя простуду. Публика всякая, но, главное, тепло и едет Залыгин, для общения и его хватит. Авось за это время революции тут не случится?!

Обнимаю тебя, дорогой мой! Как я горжусь и радуюсь, что есть мы вместе на старости лет. Это так нынче много. И землячок мой, Шадрин, совсем с радости обалдел — прислал мне ящик яблок и бросил в них бутылку настойки. И представь — дошло!

*Целую тебя — **Виктор***

[1993 год]

Дорогой Виктор Петрович!

Еще в больнице прочел твоих «Снегирей» в «ЛГ». И вот что интересно, читаю и чувствую, что все это ты выдумал. Но... блажь эта никак не вышибается из моей головы. Вот что значит сила таланта! Ранил ты меня этим куском. Единственное, чего хотелось бы посоветовать тебе — меньше озлобленности, на которую, понимаю, есть у тебя причины. И все-таки: порою ты бываешь обнаженно-злой, хотя в жизни ты беспредельно честный и добрый, и это тебя как бы и украшает.

Вот у меня есть старший брат, тоже Витя, живет в Ленинграде. С 20-ти лет в результате бездарного и преступного наступления на Харьков он прыгает на оставшейся единственной ноге, а злобы — никогда и ни в чем. Удивительная выдержка!

Да, а ты помнишь, как угощал меня вкусным морковным пирогом, лежа в больнице, и тебе принесли его на завтрак. И я с удовольствием его съел! А ты с таким же удовольствием съел принесенное мною тебе яблоко! А помнишь ли ты медсестру Валю, хроменькую такую. Она и сейчас работает в этой больнице. Так вот она мне сказала:

«Астафьев всем нам прислал свои книги и, представьте, ни одной надписи одинаковой!»

Трогательное признание простого человека!

Всего вам с Машей доброго и хорошего! Главное, будьте здоровы! Теплого лета!

*Твой **Н. Вагнер,***
Пермь

[1993 год]

Дорогой Юй Ичжун!

Получил Ваше письмо и постараюсь ответить на все Ваши вопросы. Мой роман «Прокляты и убиты» помаленьку продвигается вперед. Сейчас на машинке один из последних вариантов второй книги романа под названием «Плацдарм», думаю закончить зимою.

Что касается первой книги романа — «Чертова яма», то она заявлена несколькими изданиями, точнее и быст-

рее всех, вероятно, выпустит книгу издательство «Молодая гвардия». Я уже прочитал верстку книги. Еще книга запланирована в массовом издании «Роман-газета», предположительно в №№ 4—5 в 1994 году. Сдавши вторую книгу в журнал «Новый мир», намереваюсь тут же приступить к третьей под предлагаемым названием «Веселый солдат». Если только хватит сил, постараюсь закончить роман в 1995—1996 году.

Жизнь у нас в России идет трудно, в каких-то судорогах, экономических и нравственных. Народ, переживая смятение и разброд, начинает понимать, что надеяться надо, прежде всего, на себя и начинать работать-строить, садить овощи, учится считать копейку, думать о завтрашнем дне. Есть и такие, кто жалуется на жизнь, возмущается тем, что к ним не идут кормильцы и каши не несут, пусть пересоленной слезами и потом, из прогорклой крупы, но зато «бесплатной» — так привыкли к распаскудной, зато «бесплатной» жизни. Если бы наши правители с прежней коммунистической ретивостью и безответственностью не обещали улучшения жизни «в будущем году», а настраивали народ на 15—20 лет терпения и напряженного труда, страна была бы уже на более твердом пути.

Свободой пользоваться русский народ не научен, века в кабале, сотни лет в крепостной зависимости, жизнь из-под палки — даже для такого большого народа оказалась слишком разрушительной. Нужно работать всем, много и честно на своем месте. И надежды нас все-таки не оставляют. Русскому и китайскому народу не привыкать преодолевать беды и потрясения. Желаю Вам и Вашему журналу выжить, а институту процветать. К концу года я буду дома, и если Вы поедете в Москву, можете остановиться у нас, только предупредите. Поклон Вашей милой супруге. Доброй зимы всем вам.

Ваш ***В. Астафьев***

16.1.94 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Я немолодая женщина, по специальности — врач. Впервые прочитала Ваш удивительный «Последний поклон». Читала долго — наслаждалась, смеялась и плакала. Читала совсем не так, как читала и читаю японскую литерату-

ру. У них меня потрясает отношение к природе, к деревьям, к камням! Читая Ваши произведения — после «Последнего поклона» прочитала замечательную Вашу повесть «Царь-рыба», — и была покорена Вашей милой русской речью, простотой повествования. Это началось с 80-х годов. Затем я стала собирать Ваши статьи, газетные заметки и, естественно, Ваши другие произведения. Меня до глубины души трогает Ваша образная, точная, меткая, сметливая, острая речь, Ваша любовь к каждой травинке, к каждому цветку, к Енисею, к рыбалке. Кстати, когда мы с мужем жили на Дону, то тоже рыбачили, и этого я никогда не забуду. Ловили на заре и на закате, наживляли переметы, удочкой и на спиннинг тоже ловили рыбу, и у Вас описания обо всем этом я читаю и оттаиваю душой. И вообще, в трудное для меня время, когда сваливается горе, я беру Ваши книги — они успокаивают меня, учат, придают сил и уверенности. И сейчас, когда мы живем в безумное время, когда мы живем, «как нелюди» — это Ваши слова — я сложила стопкой все Ваши книги и по вечерам я снова и снова открываю Вашу «Оду русскому огороду», «Последний поклон», «Царь-рыбу», «Стародуб», «Перевал», некоторые страницы Ваших прекрасных книг я перечитываю по несколько раз, абзацы, фразы — и сердце мое отдыхает.

Спасибо Вам огоромное за Ваш талант, за Вашу доброту, за любовь к природе, к своей Овсянке, за наблюдательный и философский ум! А вот последние Ваши вещи не трогают и не успокаивают, потому что эта мразь и грязь из «Печального детектива» — надоели и в жизни.

Т. В. Жданова

4.3.94 г.

Уважаемый Виктор Петрович, здравствуйте!

Получил вчера Ваше письмо от 19 февраля 1994 г., чему очень рад. Большое спасибо, что находите для меня толику времени.

Виктор Петрович, у меня нет секретов или каких-то амбиций по отношению к себе. Поэтому все, что я писал, пишу и буду писать (если, конечно, позволите) в полном Вашем распоряжении и можете использовать по своему усмотрению.

Желаю успеха в «Новом мире» с Вашим романом. А я только кончил читать в февральском номере «Нового мира» публикацию эмигранта гос. Г. Андреева «Обретение нормы». Удивительная вещь. Вот Вам еще судьба человека моего поколения. В СССР он — еврей. В те годы евреем было быть гораздо безопасней, чем немцем или даже русским. Интересно, какую национальность, немец по происхождению, имел его отец, работник Госплана, в те годы? Наверное, был нацменом. Была в те годы и такая национальность. Благодаря своему еврейству сумел эмигрировать в Германию, где оказался русским. И фамилия подходящая. Конечно, даже в нынешней Германии быть русским выгодней, чем быть евреем. Так, на всякий случай. Мало собаке научиться выть, чтобы стать волком. Надо еще, чтобы волчья стая пустила в свои ряды. Так же на всякий случай оставил в Москве и сынка у престарелых родителей. А как же иначе! Госплановская квартирка в Москве с пропиской и дачка что-то стоят, и базу надо иметь, если придется смываться из Германии, а для деток каналы на Запад уже обеспечены. Жил и не тужил в Союзе с кремлевскими подсосами. А как кончились кремлевские блага и почувствовал, что система скоро рухнет, так и дал деру. Не дурак. Понял, что придется долго разгребать дерьмо после крушения системы. Как-то для него дорогому и честному русскому человеку (так он пишет) им не без ехидства был задан вопрос: почему он гордится, что он русский человек, если роман «Война и мир» написан русским человеком, какой же его личный вклад в создание романа? Спросить бы этого интеллектуального придурка: какое моральное право имеет он гордиться, жить и наслаждаться жизнью в германской демократии? Не он же ее создавал, не вносил личного вклада. Немцы не просили соседей разгребать вонючее дерьмо фашизма после 45-го года, а сами все разгребли и построили свою демократию. Когда грабилась Россия, то и нашему «герою» было терпимо жить, так как капало от награбленного. А как капать перестало, так и потянуло на готовенькое. И не в Израиль, куда была виза, а в Германию, где безопасней. А как он восхищается своим приятелем-эмигрантом и интеллектуальным паразитом на теле человечества, который на пособие по безработице и на подачки ездит по всему миру и наслаждается произведениями искусства. Ему и невдомек, что этот бездельник по своей сути является «легальным» жуликом международного класса, который только потребляет материальные и духовные блага, а сам ни-

чего не создает — животное в образе человека. Чем не бомж международного значения. Пишет, что до тошноты ненавидит антисемитизм, а сам своим очерком фактически пропагандирует национал-социализм и антисемитизм. Парадокс. А какие у него сногсшибательные открытия. Например, оказывается, КГБ информировало Госплан о своих действиях. А может быть, в очерк вкралась опечатка и не в Госплане работал у него отец, а в КГБ? А сколько у него интеллигентной скромности! Просто поразительно. Об интеллигенции особый разговор. Многое бы еще можно написать по сему очерку, но боюсь Вас утомить. Можно еще только сказать, что очерк — прекрасный документ для пропаганды национал-социализма и антисемитизма. Спросить бы этого господина, не тайный ли он агент в Германии партии ЛДПР Жириновского? Вот такие-то кабинетные интеллектуальные придурки и были послушным орудием 70 лет в руках хищников, вот такието и освещали путь геноцида собственного народа и славили бандитов, как его дядюшка. А еще лезет чуть ли не в друзья к А. Солженицыну, который не из книг знает, что такое человеческая жизнь. И все-то они знают, все изучили и познали с древних времен до наших дней, изгрызли все науки. И не только знают, что такое «ДА — ДА или НЕТ — НЕТ...», а могут и дополнить. А вот разобраться в коммунизме ума не хватило до 50 лет. Можно ли в такое поверить?

В остальном потихоньку существую. Курсирую из сада в город и обратно. Все дела. А жизнь течет и течет помаленьку. На здоровье шибко не жалуюсь. Печатаю письма на машинке. И не потому, что не уважаю Вас, а знаю, что глаза у Вас не первой свежести. Извините великодушно. По силе возможности слежу за Вами и за А. Солженицыным. Ловлю сведения по радио, телевидению, иногда читаю периодическую печатать. Ваше слово и слово А. Солженицына для меня стоят дорого. Надо же поддерживать свой дух и сверять свои взгляды в смутное время. А в основном я давно уединился, замкнулся в кругу своей семьи. Раздражают меня люди, а тем более сборища всякие бесполезные. Даже сходить в магазин для меня мука. Художественную литературу фактически не читаю. Все ищу покоя, которого нет и нет, видимо, и не будет.

Желаю Вам и Вашей семье здравия и душевного покоя. Этого же и жена моя Вам желает.

С глубоким уважением, ***В. С. Бекетов***

21.4.94 г.

Виктор Петрович, родимый Вы наш!
Здравствуйте, батюшка!

Пишет к Вам бедная редакторша Богом забытой литературной редакции вконец обнищавшего Петербургского радио.

Во первых строках моего письма примите наилучшие пожелания здоровья и успехов на писательском Вашем поприще по случаю 70-го дня рождения, а в двух словах: живите и творите!

В подарок же примите пленку с записью страниц из первой части романа «Прокляты и убиты» — читает Кирилл Лавров. (Возможно, она уже у Вас).

А теперь, хоть и совестно, припадаю к ногам Вашим с нижайшей просьбой: дозвольте, батюшка, почитать в начале мая, в самый-то юбилей Ваш, по Петербургскому радио Вашу «Оду русскому огороду». Уж больно хочется, чтоб прозвучала она нынче, ан платить-то нечем. Вот и сознаю всю подлость моей просьбы — ведь Вы с трудов своих писательских кормитесь — а вынуждена просить, ибо и 70-летие Ваше не отметить тоже нельзя. Лет десять назад я сделала инсценировку рассказа «Ясным ли днем», а еще раньше радиоспектакль по повести «Звездопад», а уж рассказов Ваших просто прочитано по радио без счета. Но нынче и за повторы мы должны Вам платить. Начальники-то велят мне просить Вас заодно уж, скопом, дать разрешение их повторять даром, да и на запись второй части «Проклятых и убитых» выпросить позволение, да мне совесть не позволяет так нахально залезать в Ваш карман. А вот если б хоть «Оду» разрешили, то-то по-царски одарили бы бедных, сирых петербуржцев. И если таковое разрешение соблаговолите дать, то не сочтите за труд черкнуть нижеследующее: "Разрешаю передать по радио «Петербург. 5-й канал» мою повесть «Ода русскому огороду». Да и передайте с подателем сего из С.-Пб.

Простите Христа ради меня, грешную, что, начав о здравии, окончила за упокой и вместо поздравлений и подношений прошу милостыни. «Кончаю, страшно перечесть...» «Я приговор свой жду, я жду решения...» и все прочие цитаты, могущие Вас разжалобить.

Окажите мне Божескую милость. Вам же пусть Господь пошлет здоровья и сил на труды Ваши.

За сим остаюсь, редактор ***Стекляникова Людмила Дмитриевна***

[1994 год]

Мой дорогой Виктор!

Вот подлил водицы, поболтал и пишу тебе разбавленными чернилами. У нас тоже не стало черных чернил. Говорят, ты на всю Россию шумел из-за этого. Ну, да чё делать, ежели писателю нечем писать? Вот дождусь, пока пойдут «мерцающие» навозники — грибы есть такие, — закусывать ими нельзя спиртное, зато чернила из них получаются отменно-черные, поди, Пушкин такими сочинял — до сих пор не выцвели.

А понадобились мне чернила не роман писать, но ответить на твое теплое, милое письмо, на твое братское приглашение побывать в Сибири, на твоем юбилее... Вот как раз и телеграмму только-только мне вручили — все о том же.

Юбилейный комитет официально приглашает на торжества. Витя, дорогой мой! Какая уж тут Сибирь: ехать на твои гроши моя «пся крев» не позволяет, стыдно и горестно, а своих денег не стало, все, что было — отняли, а заработать не то чтобы на дорогу, но и на курево стало невозможно.

Да и дорога ужасна. Прежде ходил поезд «Киев — Хабаровск»: в Курске сел — в Красноярске вышел. А теперь нет такого. А надо теперь переться в эту чертову Москву, где тебя никто не ждет, где не пустят переночевать, не говоря уже о билете, который прежде Танька Капралова из Союза писателей чуть ли не в постель готова была доставить. Даже к Мишке Колосову не сунешься, он тоже очумел, ходит на вечер поэзии узника Матросской тишины Лукьянова, ищет у него справедливости... А самолеты нынче летают задом наперед, в небе отваливаются хвосты и крылья, и садятся, не выпуская колес, прямо на брюхо, а то и просто грохаются в тайгу. Но все бы это можно было бы стерпеть, если бы не мое собственное брюхо: вот настала весна, и разразилась моя язва, грызет и гложет, не дает спать по ночам, бегаю в сортир блевать зеленой жижей, желудок совсем отказывается принимать пищу и дохтора признают острую непроходимость привратника. В момент обострения он настолько воспаляется, что в нем не остается почти никакой дырочки, сквозь которую могла бы проходить еда. И потому все, что ешь, приходится выблевывать обратно.

Вот читаю твое письмо, где ты пишешь, что, возможно, это была бы наша последняя встреча, и становится жутковато от этого нагрянувшего предела: а может, и правда не станет больше возможности обняться и повидаться? Что, разве уже все? Все хорошее уже позади? А впереди только воспоминания, хвори да немочи? А еще недавно казалось, что что-то будет, мерещились какие-то надежды на недожитое, на запасец оставшихся сил, коих уже фактически не стало... Вот стоит в моей комнате новенький велосипед, еще не изведавший дорожной пыли, с ненакачанными колесами. Когда покупал, то будто бы разумно думал ездить на нем на рыбалку, на Женькин огород. Но уже стоит он возле книжного шкафа третью весну, а я ни разу не вывел его на улицу, да, пожалуй, и не влезть на него теперь уже. Так обыденно и быстро рушатся наши благие порывы, несообразные с нашими возможностями.

Пишу тебе, положив перед собой твою фотографию, которую ты мне прислал: старенькая, изболевшаяся Мария Семеновна, но все еще готовая сражаться до последнего патрона, внук Витька с ушкуйно сверкающим левым глазом, задумчиво присмиревшая внучка и ты — седенький, с резко обозначившимися рытвинами на лице, но в общем-то, слава Богу, еще крепкий, основательный, с достоинством во всем кряжистом облике. И дай-то Господь тебе еще сил и здоровья на благие дела и годы! Не напейся только на этом своем юбилее, не потеряй руля и бдительности, не загреми после этого в больницу. Народу-то нагрянет множество, и все будут жить тобой, греть свои души об тебя, не очень оберегая и щадя тебя самого.

Был на днях тут из Москвы, с Российского радио, разведчик на предмет моего участия в «Вечернем салоне». Малый какой-то скользкий, не показавшийся мне. Поговорили предварительно, а уходя и пообещав зайти на другой день, спер у меня книжку о тебе Ланщикова и больше не появился. Явился же он ко мне с бутылкой водки, сразу заговорил со мной на «ты», в гостиницу его не пустили, так как у него оказался просроченным паспорт, и где он ночевал с этой бутылкой, которую я велел опять положить в его портфель, — не знаю... В общем, практически ни о чем не договорились, но, может быть, хоть книжка Ланщикова пригодится на что-либо...

А буквально следом подкатил из Новомосковска Глеб Паншин, хромой, корявый, с таблетками во всех карманах, но рулил свой «Запорожец» сам. Приехал с Витей

Пахомовым, тульским секретарем, выгрузили на Петькином дворе кипы свежеотпечатанного второго номера «Поля Куликова» для распространения в Курске. Второй номер глядится и вовсе солидно: цветная обложка, цветные вклейки репродукций внутри, много стихов, неплохая проза, дискуссионные философские статьи, исторические записки, словом, вполне как у людей. В третьем номере дают твою «войну». Позарез нужен твой хороший «умный» портрет, хотят дать его крупно, гвоздем номера. Хотелось бы, если бы ты срочно выслал по своему выбору что-либо подходящее. Можно одно только лицо в самый обрез, а можно нечто сюжетное, вроде того, где ты стоишь у бани или над Енисеем, как сибирский пророк. Это я для примера, я-то не знаю всех твоих фотографий. Сделай, пожалуйста! Я понимаю, в предъюбилейной суматохе тебе теперь не до того, но поручи кому-нибудь, а? Времени — в обрез, надо уже сдавать, так что хотелось бы, чтобы ты прислал сразу же по получении этого письма.

А вообще-то, журнал держится на одном Глебовом энтузиазме и пробойности. Журнал, конечно, убыточный. Если его продать до последнего номера, то прибыль составит 1 млн. рублей, а стоимость его выпуска — 8 млн. Так что на каждом номере Глеб несет чистых убытков 7 млн. Но как-то выкручивается, занимается книжной торговлей, переизданием редких книг (вот издал «Историю русской церкви», том матерщинных частушек Коли Старшинова), приторговывает сахаром, сигаретами. И все для того, чтобы окупить журнал. Совсем недавно раздобыл аж в Австрии книгопечатное оборудование, думает заводить свое полиграфпроизводство, чтобы не платить сумасшедших денег. Одним словом, молодец, и ему надо по возможности помогать.

Вот когда выйдет номер с твоим отрывком, решили просить тебя обратиться к Татьяне Земсковой, чтобы та сделала на телевидении беседу с Глебом, поговорили бы о содержании журнала, о его планах. Как смотришь на это? Думаю, тебе она не откажет. А такая реклама нужна на предмет подписки. Люди-то пока не знают о существовании «Поля Куликова», пока идет трудное его прорастание по областям.

Витя! Просишь ты в своем письме не хандрить, написать весенний рассказ, про то, как мать выставляла зимние рамы и пр. Странное совпадение, но в день, когда получил эти твои душевные строчки, какая-то сволочь

подожгла осиротевший дом, и все, кто был способен, кинулись туда тушить... Такое глумление над памятью моей матери! А сперва этот заколоченный дом обокрали (сразу, как она умерла), выломали из сарая окно, проникли внутрь и унесли, что увидели: телевизор, швейную машинку, кресло-кровать, постель, электроплитку, часы, даже лампочки повывертывали из патронов... А теперь вот и подожгли... Правда, подлетели две пожарные машины, не дали огню разбушеваться, сгорела веранда и садовый угол дома... Но на душе мерзко от этого разбойного беспредела, от душевной человеческой темени... Так что весеннего рассказа не написалось. Вот маленько подсохнет, пойду обряжу материну могилку, которая зимовала пока без креста, без коего выглядит она особенно неприкаянно и горемычно.

Петя Сальников просил передать тебе сердечный привет и поздравления с юбилеем. Живет он неважно, ноги у него почти не свои, перенес операцию, три месяца ходил с подвязанной бутылкой, баба его больше живет в Харькове, наезжает, чтобы забрать у него последнюю пенсию, так что харчуется он одной картошкой да капустой, да и то картошки привезли ему ребята из Новомосковска. Завел от одиночества собаку, с ней и разговаривает. Как у Бунина: «Брошу пить, хорошо бы собаку купить». Но собаку купил, а пить так и не бросил. И его понять можно: собачья жисть...

Ну а от меня — крепкие мои объятия и молитвы к Всевышнему, чтобы Он не оставлял тебя и оберег тебя за всех нас, грешных.

Целую и поздравляю, твой ***Женя (Носов)***

20.4.94 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Так уж давно я хотел написать Вам, а вот все что-то останавливало. Думала, Господи, и без того у Вас забот и занятий много, а тут еще дамские лирические признания. И тем не менее я решилась, тем более что раздобыла ваш домашний адрес.

А сейчас сообразила: годы-то идут, чего же еще дожидаться?

Сразу представлюсь: Марина Иосифовна Стародубце-

ва, уроженка Петрограда, а ныне живу в Москве. Еще скажу, что пока мой город, в каком я родилась, был Ленинградом, я там выучилась и пробыла всю войну-блокаду безвыездно, а уж в Санкт-Петербурге пожить не удалось. Доживаю свою жизнь в Москве. Уже год, как потеряла мужа, человека самых благородных душевных качеств, человека духовного, умного, да еще очень красивого. Прожили мы много лет, и казалось, что эту потерю мне не пережить, а вот ведь жива и благодарю Бога, что Он послал мне на долгие годы такого человека.

Сразу оговорюсь: если бы он был со мной — это письмо к Вам было бы гораздо лучше составлено — он всегда и во всем был моим помощником, моим цензором.

Уважаемый Виктор Петрович! Если бы Вы знали, сколько Вы дали нам с моим мужем Палладием Сергеевичем замечательных впечатлением от чтения Ваших книг! Вы тот писатель, который заставляет оживать душу и пробуждать в человеке то, чего он и сам не подозревает в себе. После этого чтения, я помню, что мы долго ни за что не хотели браться. Ваш талант писателя так высок и общепризнан, что в этом письме давать оценку написанного Вами неуместно — только душевная благодарность и почитание. Мне хочется в высшей степени оценить Вашу гражданскую позицию в наше время, какое пришло.

Такой человек, как Вы — это опора и поддержка для многих.

А Ваш плач и скорбь о деревне, которая растеряла свое устроение и выродилась в худший вид пустоты и безделья! Эти девицы с пустыми глазами, пьянство и неприютность деревенской жизни глубочайшим образом всколыхнули у меня воспоминания о той боли, которую испытывала моя мама при мысли о русской деревне, о том растлении людей, которые, потеряв опору, мятутся, порой не видя или не понимая цели. Не могу забыть Вашего лица в телевизоре, когда Вы, не совсем здоровый человек, с хрипотой в голосе говорили: «Не верьте им!..» Это о писателях, но это было и обо всем, что разделило людей. Честь и слава Вам за это!

А еще я хочу чисто по-человечески поблагодарить Вас за статью о Виктории Ивановой. Это Вы тогда такое сделали доброе дело, которое зачтется Вам на небесах. Рядом было там и об Образцовой, но это другая судьба, другая личность, а Иванова — это явление во всех отношениях

особенное. Чистота ее голоса вполне соответствует чистоте и прелести ее человеческого облика.

Мне немного пришлось работать с ней на радио, я в прошлом музыкант, и восхищение ею было общим. Такая поддержка ее с Вашей стороны тогда была истинно Божьим делом.

Я пишу Вам, выполняя свое многолетнее желание. Теперь уж я не та, что была, когда взахлеб читала Ваши книги много лет назад.

Блокада догнала меня, и ходить я могу теперь только на костылях и только по дому, да и сердце иногда ведет себя не так, как нужно. Живу одна, но не без людей — приходит сын, друзья навещают.

Есть у меня и дело: решила написать о времени на примере нашей семьи, в которой много было интересных и самобытных лиц.

Хочу оставить в семье рассказы о том, как все было. Меня все торопят, да я и сама понимаю — я последний свидетель и рассказчик о семейных преданиях, о далеких годах. Почти полтораста лет захватывает рассказ о прошлом. Там много со слов моей матери, обладавшей большим талантом рассказчицы. Печального там больше, чем чего-нибудь другого, но ведь так и идет жизнь.

Уважаемый Виктор Петрович!

Я хочу поздравить Вас со светлым праздником Пасхи!

Желаю Вам жить и работать!

Не обременяйте себя ответом на это письмо. Но если бы я получила бы весточку, что оно до Вас дошло, — это было бы замечательно.

В любом виде, хотя бы просто открытка с видом Красноярска?

Если я Вам на что-то сгожусь — вдруг? — на этот случай пишу свой адрес.

С уважением, ***Стародубцева Марина Иосифовна,***
Москва

28.4.94 г.

Дорогой Витя!

Поздравляю тебя не с семидесятилетием — мне самому только что стукнуло семьдесят. Поздравлять тут не с чем. А дальше лучше не будет.

Поздравляю тебя с твоей семьей — родными и близкими, кто помогает тебе жить. С твоими читателями поздравляю — это прекрасные люди и ряды их множатся.

Поздравляю тебя с твоими книгами. И благодарю за них. А особенно за тот вечный памятник братьям Снегиревым — вечный и большой, как открытая рана.

Если когда-нибудь погибнет литература, то и тогда останется этот памятник — напоминать людям о том, что у них была большая литература.

Желаю тебе здоровья.

Его никогда не бывает много: чем больше, тем лучше. А все остальное — при тебе.

Сердечно обнимаю тебя и так же крепко, как люблю.

Твой ***Николай Воронов,***
Переделкино

[Май] 1994 года

Дорогой Виктор Петрович, с 70-летием Вас!

Я пишу Вам как своему спасителю и, право, сам не понимаю, какие силы небесные оттягивали это письмо в течение ровно 30 лет. Поведаю, как оно все было.

По своему злодейскому духу это событие напоминает картины из вашего рассказа об изнасиловании в парке девочки и отмщении за нее отца. То есть тут важен именно сам дух, само явление тупой, безмозглой и жестокой, крокодильей части нашего общества, размножающейся сейчас почти в дрозофильих масштабах (в «Комсомолке» за 20—23 мая № 88 четверка таких скотов взяла в заложники мальчика, слупила с родителей 60 тыс. «баксов» и... задушила, а потом утопила в пруду своего заложника, потому что он их знал, они были вхожи в дом мальчика, жрали там и пили; тут даже урки возмутились, ибо если деньги взяты — ребенка отдай). Так вот, осенью 1964 г. я после копки картошки с тещиного огорода стоял на автобусной остановке в п. Никольское Лен. обл. Я в Никольском и родился, но только в старой, деревянной его части, первых жителей которого в 1707 г. перевез из подмосковного Никольского еще сам Петр. Это были 9 семей, и среди них Ивачевы (вторая родственная ветвь — Ювачевы, и на кладбище в Никольском стоит камень начала XIX века именно с Ювачевым). Мои предки крыли крышу Зимне-

го, делали кладку Таврического, разбивали парки Царского Села, рубили времянки-избы, добывали в известных ныне Саблинских пещерах кварцевый песок и вместе с бутовым камнем с Большого Никольского каменного прииска гнали плотами по реке Тосне, из нее в Неву и далее в Питер. Не менее четверти питерских фундаментов — камень того прииска. То есть по своему происхождению я двустоличник, во мне и московская и петербургская кровь. Это прибавляет гордости. До сих пор, правда, не выяснил, являются ли мне хоть какими-то родственниками Хармс-Ювачев и секретарь общества русских художников-передовиков (1881—1886 гг.) Павел Андреевич Ивачев. На групповом снимке, где и Репин, и Куинджи, и др., этот Павел Андреевич очень похож на меня (то есть я на него).

Так вот, я стоял на остановке в сравнительно новой части Никольского, где проживает люд, мобилизованный сюда работать на недавно построенных аж 5-ти кирпичных заводах. Нетрудно догадаться, что осталось в округе от бывшего двустоличного духа.

На остановке я один. Вечереет. В ДК напротив идет кино. Я жду автобуса, читаю газету. Вдруг метров за 60 — звоны гитары, пьяноватая песня. Идут человек 5—6. Видят меня, скашивают дорожку. Я их «не вижу», читаю. Они совсем рядом, встали. Я — ноль внимания. Голос: ишь, грамотный, читает. Подголосок: ну, они же академии пооканчивали. И так далее. Я продолжаю читать, как будто их нет. Тогда вожак подходит вплотную и зажимает мой нос двумя пальцами. Ну, умирать — так достойно: я ставлю подошву правой ноги на стенку кирпичной кладки и с вытянутым вперед кулаком что есть силы отталкиваюсь от нее, бью врага в переносицу. Дальше, понятно, чувствую хрусты своего черепа, ребер и — мрак. Очнулся, через меня пéреливается, журчит вода, ощупал пространство — я в бетонной придорожной трубе. Кое-как выбрался, вроде с того света. Уже народ собрался, и автобус подходит. Я, чтобы никого не запачкать грязью и кровью, чинно встаю в хвост очереди. Уже заношу ногу на подножку... И вот, дорогой Виктор Петрович, я уже прожил 55 лет, много видел и читал, но непостижимее той мерзости, которая случилась в следующую секунду, я не знаю. Вдруг слева метнулась тень, я получаю зубодробительный удар в челюсть, падаю снова замертво, двери захлопываются, автобус уезжает.

Очнулся в больнице. Соображаю с трудом, где я, что, как. Потом пришли два милиционера в белых халатах, стали задавать расследовательские и полные идиотизма вопросы. Например: мы их, конечно, найдем, но есть сведения, что вы первый напали на них. Каково?! А ищут вот уже 30 лет. А я все думаю об этом последнем ударе: ну, избили, изуродовали («взяли баксы») — так и уйдите!

И вот однажды день начался не просто с солнца, но и с выдачи газет и литературы. Мне досталась газета «Смена» и журнал «Наш современник» — с Вашими «Пастухом и пастушкой». Я не буду говорить громких слов. Я прочитал повесть одним дыханием и еще часа два пролежал не шелохнувшись. Потом начал тихо улыбаться, хотя книга и оканчивалась горько. Палату словно залило солнце. Мне захотелось жить! И все сильнее и сильнее хотелось жить, хотя несколько последних недель хотелось умереть, ведь я был безнадежно переломан. И я стал так быстро выздоравливать, что врачи и сестры были потрясены. И я сам тоже. Ну буквально все заживало в три раза быстрей.

И с этой благодарностью к Вам прошли последние мои тридцать лет.

За это время я, само собой, прочитал все, что у Вас выходило. Радовался, что на пути от Игарки к другим портам мудреет Ваше перо. Я не знаю ничего светлее в литературе, чем постельная сцена в «Пастухе и пастушке» (Борис и Люся), ничего совестливее «Царь-рыбы» («Люби мать свою, она убирала за тобой твои нечистоты», — полушутя говорил мой покойный дядька; а та птичка-москвичка запомнит ли «нечистоты» неграмотного таежника с золотым сердцем?), ничего трагичнее расстрела двух мальчишек-красноармейцев «своими» за убег домой.

Ваши телевизионные выступления тоже прекрасны. Многих они заставят задуматься, кроме, само собой, бывших обладателей обкомовских дач и тех самых шакалов-дрозофил. Но тут уж ничего не поделаешь. Слишком выполол Россию великий генетик усатый со своей стаей, взлелеяв крапивное семя на полях ее.

Два слова о себе: окончил журфак МГУ, много работал в газетах (15 лет на Северах, включая Шпицберген), сейчас инвалид II гр. Когда-то начинал со стихов, но забросил, думал — навсегда, но вот наткнулся в пословицах Даля на строчку «Отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая», и сошел с ума от восторга. Не успокоился до тех пор, пока не нанизал на эту строчку песню, которую от

души дарю Вам. Вот интересно, можно ли считать, Виктор Петрович, что я эту строчку заимствовал, говоря проще, — украл (нитки, буквы в жизни не крал!!!)? У кого — у Даля? У народа? Но существует песня «Мы на лодочке катались, золотистый-золотой, не гребли, а целовались...» Дальше не помню, и это взято из частушечного народного фольклора (сборник этот, вышедший в 1949 г., у меня есть). А 2-я часть великого 1 Концерта Чайковского, основанная на народной мелодии? И так далее.

Одним словом, дарю Вам свою песню. Ее уже пели по местному радио, только мелодия мне не нравится.

Дай вам Бог жить долго и плодотворно. Привет и поклон Вашей жене-помощнице и всему роду Астафьевскому.

В. Ивачев

8.5.94 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Прошу извинить за доставленное беспокойство, за это письмо, которое написал Вам, представляя Вашу огромную занятость и немолодые, в общем-то, годы, и от написания которого попросту не мог удержаться, ознакомившись с известинским материалом «Россия все-таки выбирается из лжи» (газета «Известия» за № 82).

Ваши мысли, изложенные в беседе с Алексеем Тарасовым, пожалуй, впервые за несколько последних лет — мысли человека рассудительного, «не истеричного», «не бесноватого», не обозленного на все и вся. Это позиция человека, достойного своего огромного таланта. А и за то, и за другое Ваши поклонники, да и недруги, обязаны Вам.

Признательны Вам за боль о нашей деревне. Мало кто из пишущих «на аграрную тему» представляет себе подлинную степень деградации сибирского села. Смею Вас заверить, исходя из личного многолетнего опыта, что некоторые — и крупные даже! — села погибли в сердцевине своей. Погибли безвозвратно. Если под безвозвратностью понимать растленность, испитость, изворованность и повседневную озлобленность людей, пока еще остающихся на земле. Страшен поголовный цинизм! Именно в селе родился и торжествует принцип: «У соседа корова сдохла. Мелочь. А все равно приятно!» Взять недавний случай. Трое механизаторов с фермы не смогли привезти «клиен-

ту» тележку навоза лишь оттого, что каждый боялся быть обманутым двумя другими. А дела было всего-то: одному грейдером погрузить, другому предоставить в распоряжение третьего тракторную тележку и, наконец, последнему — отвезти навоз заказчику и получить обещанную водку. Так не смогли! Каждый из трех опасался, что «коллеги» выпьют водку сами, оставив его с носом.

Приведенный мною анекдотический случай и достоверен, и закономерен, если учесть, что свыше пятнадцати лет отделением руководил «глубоко партейный» товарищ, заявляющий во всеуслышание: «Мне с пьяницами работать легче. Они не зубатятся. А прогуляют, так потом сделают все, что я велю».

Впрочем, не сочтите меня плакальщиком. Мне думается, земля хозяина рано или поздно найдет. Как было это от Бога. У нас на отделении, к примеру, уже четыре года есть человек, арендующий землю, хорошо работающий на ней и мечтающий получить ее в собственность. Есть пока. Жаль, землю в собственность ему так и не дают.

Мы, Ваши почитатели, с удовольствием встретили упоминание в Вашей беседе с Тарасовым об Алтайских горах. Правда, старообрядчество в нашем удельном княжестве, именуемом Республикой Алтай, существенного влияния не имеет. А заповедная природа Горного Алтая, чем дальше, тем больше испытывает пагубное воздействие «цивилизаторов». Вновь руководством республики поднят вопрос о строительстве Катунской ГЭС. Принято решение о разработках залежей местного угля. Коренные руководители, пять-шесть лет тому назад кричавшие об «ограблении Алтая Барнаулом и Москвой», получив бесконтрольную власть, грабят недра и тайгу Горного Алтая хуже турка. Грабят так, как и не снилось «пришлым».

Виктор Петрович. Признательны Вам за надежду, что мы выберемся-таки из лжи. Выберемся, несмотря на изъездившуюся Россию. Выберемся, невзирая на пока что непокаянность нашу. Выберемся. При непременном условии, что совесть наша еще сохранилась в таких людях, как Вы. Ведь и совесть по-своему заразна. Кто инфицирован ею, тот вряд ли излечим. Да и других «заразить» может.

Для меня благим признаком того, что не погибнет наша деревня, служит... возродившийся порядок на кладбище. Если живые не забывают об усопших, значит, жизнь будет продолжаться. И что нам сетовать на тех, которых

нет. Толку ли злобиться на прошлое? Тягаться с ним — не от ума.

Не день и не два просидел я в местном архиве города Горно-Алтайска, и лишний раз уверился в том, что большая ложь не может быть одномоментной. Что большую ложь выращивают годами. А, следовательно, и не умирает она в одночасье. Позволю занять Ваше внимание несколькими выдержками:

«Постановление
февраля 8-го дня 1920 года

Общее сельское народное собрание имело суждение о том, что церковь отделяется от государства, а потому в содержании таковой не может быть обязательным принуждением для чего необходимо выяснить желающих и нежелающих. Народное собрание обсудило о сем постановило избрать из среды своего общества в числе двух человек для обхода села чрез опрос каждого домохозяина о том желает ли он и его семейство или не желает содержать церковь и избрали гр. односельцев Михаила Моисеева Колотева и Дмитрия Киприяновича Крутикова коим вменяется в обязанность как сказано выше и если кто откажется т. е. непожелает содержать то отобрать от таковых отзыв т. е. подписку о нежелании с тем чтобы он ни за какими требами не обращался к церкви и причту».

«Постановление № 5
1920 г. Марта 5-го

О снятии предметов религиозных культов во всех общественных учреждениях и обсудив всесторонне тот вопрос нашли, что в нашем обществе все граждане принадлежат к Православной церкви, не принадлежащих же к этому исповеданию в обществе нет, а потому мы все желаем в своих общественных учреждениях иметь предмет исповедаемой нами религии; признавая справедливым то что от этаго нам самим нет никакого вреда, —

Постановили:

Просить о разрешении нам иметь в своих общ. учреждениях предметов религиозных культур. До выяснения вопроса Культуры по снятию».

И наконец еще две выдержки:

«Устав на 1922—1925 г.

Православного религиозного общества при духосошествиевской церкви с. Маймы Ойротской области:

1. Майминское православно-религиозное общество имеет цель объединение граждан на основе св. Апостолов и установленных вселенскими соборами догматов и канонов православного вероисповедания в районе села Маймы и деревни Чергачака.

Члены учредители общества:

1. Корчуганова Парасковья М. 2. Казанцева Анна П. 3. Мурзина Августа Феодоровна. 4. Лашутин Александр...

Всего 168 членов».

«Выписка
из протокола № 26 заседания Майминского АИКа
От 18 февраля 1930 г.

Принимая во внимание, что общие собрания гр-н этих сел постановили церкви изъять и передать в ведение с/совета, религиозные общины от дальнейшего содержания церквей и культового имущества отказались.

Общее собрание граждан с. М.-Чергачак, состоявшемся 16 февраля 1930 постановили ввиду 100% коллективизации с. М.-Чергачак, имеющуюся в этом селе церковь закрыть и передать ее в распоряжение с/совета для использования под культ.-просвет, нужды».

Как Вы уже, наверно, поняли, Виктор Петрович, мною в написании этих документов ничего не менялось. Фамилии подписавшихся под ними везде одни и те же. Сами же документы находятся в беспорядке, рассованы по разным углам и совсем еще недавно хранились кое-как. Да и сейчас, наверное, то же самое.

К слову. Архив Майминского райкома КПСС так и вообще уничтожен, а библиотека растащена бывшими работниками райкома у всех на глазах. Зато — что для Вас, наверно, не новость — один из первых секретарей одного из райкомов КПСС является ныне президентом Союза Предпринимателей республики. Другой, бывший первый секретарь Майминского РК КПСС, строит собственную мельницу, получив в Москве (по его словам) полтора миллиарда рублей кредита. А прочие бывшие находятся у кормила долгожданной республики. Той самой «независимой» республики, бюджет которой на 98% наполняется из Москвы.

Впрочем, я скорее всего утомил Вас длинным письмом.

От всей души поздравляю Вас с юбилеем, с наградой и желаю Вам самого-самого сибирского!

Еще раз низко кланяюсь Вам. И если когда у Вас выдастся возможность попасть в Горный Алтай, будем счастливы принять Вас в гости.

Коротко о себе. 1946 года рождения. Последняя, и главная специальность — слесарь по наладке и ремонту животноводческого оборудования. Проживаю в Республике Алтай, село Майма.

Прохоров Борис Александрович

Виктор Петрович! Если у Вас появится какая-либо нужда, буду рад оказать услугу. В частности, у меня скопился обширный материал об алтайском селе за период... за довольно обширный период. Лишь небольшую толику его я использовал в своей повести, которая хоть и вышла в свет, но не задалась. Имеются у нас в Горном Алтае и золотой корень, и подлинное мумие, и... всего не перечислишь. Был бы рад оказаться полезным Вам.

10.6.94 г.

Дорогой Юра!*

Да, брат, отмучился, отсуетился: юбилей — это не для контуженых людей, юбилей — дело серьезное, если его затевают к тому же как народное торжество.

Да, из Пахры я звал двоих мне симпатичных человеков, Сашу Михайлова и тебя, но мои поручители и помощники именно с этими кандидатами в гости устроили путаницу, и, думаю, представитель нашего края сделал это не без «личных симпатий», пригласил бы я «пахринца» Бондарева, его бы и в самолет внесли. Но я знаю: и Саша, и ты были сердцем со мною, а телом мы уже старинные (как быстро подскочило-то!) и к передвижению уже малоспособны, да если бы судьбе было угодно вам попасть в Сибирь, то Родину свою, беспредельно и больно мной любимую, хотелось бы показать не в многолюдной суете.

Несколько раз за последние годы я принимался за письмо к тебе и всякий раз откладывал его, не закончив. Проступало в письме начетничество, а мы устали от него еще при большевизме и плодить блудословие в наши годы уже не к лицу. Первый раз начинал я писать тебе, когда

---

* Нагибин Юрий Маркович.

прочел твой рассказ в «Книжном обозрении», что-то об антисемитизме, об хороших евреях и плохих русских. Евреи любят говорить и повторять: «Если взять в процентном отношении...», так вот, если взять в процентном отношении, у евреев в пять, а может, и в десять раз орденов в войну получено больше по сравнению с русскими, но это не значит, что они храбрее нас, их погубили и погибло в огне и говне войны пять миллионов. Нас, с учетом послевоенного мора, раз в пять или десять больше, но вот миром оплакиваются те пять миллионов и та нация признается страдавшей и страдающей, а у нас что же, у нас вся Россия — погост, вся нация растоптана, так что же если одного человека погубят — это убийство, а сотни миллионов — это уже статистика, и я вижу и ощущаю, что мы, русские, становимся все более и более статистами истории. Что же касается качеств наших, то, опять же в процентном отношении, среди русских и евреев порядочного и дряни будет поровну и заискивать ни перед кем, тем более перед евреями, нельзя, они как нынешние дворняги: чем их больше гладишь, и кормишь, да заискиваешь перед ними, тем больше желания испытывают укусить тебя... об этом вот и писал я тебе в письме, и слава Богу, что не отослал его. Довелось мне побывать намедни в Израиле и встречаться с толпой еврейских писателей, при случае встретишься с Борщаговским, пусть он тебе расскажет об этом событии, тем более что рассказчик он и говорун по-прежнему неуемный...

Второй раз я начинал тебе писать, прочитав в «Литературных новостях» (мне ее иногда присылали, теперь перестали) какую-то совершенно яростную статью, и писал я о том, что нам, контуженым и нездоровым мужикам, иногда полезно сосчитать до десяти, а может, и до ста, прежде чем браться написать, но подумал, что на эту тему лучше толковать лично, однако в Москве я бываю редко, пробовал тебе звонить, увы, Бог не сулил нам встречи и беседы.

Но иногда я вижу тебя на экране, читаю по-прежнему все, что значится под твоей фамилией, привязанность моя к тебе, как к писателю, не претерпела никаких изменений, память моя благодарно хранит все, что связано с тобой, а о том, что ты помог мне впервые опубликоваться в столичном издании, я снова написал во вступительной статье в собрании сочинений, затеянном в Новосибирске и, кажется, тихо похороненном там же. Но если выйдет

что-либо, я тебе непременно пришлю том со статьей, а если хочешь, и раньше пришлю — выходил у меня двухтомник военной прозы в Иркутске — и там эта статья стоит как послесловие. Но издание это изобилует таким количеством ошибок и так неряшлив текст, что я неохотно дарю его кому-либо.

Сейчас я в родной деревне. И радуюсь себе, и не верю, что в кои-то веки я отдыхаю. Домашняя работа мне не в тягость. Я варю себе еду, но если перепадает время, можно не варить, так и не варю. Пол мне моет иногда сестра, иногда женщины из библиотеки, стирает Марья Семеновна, хотя она и больна очень, да куда денешься-то?

Зиму-зимскую я проторчал за столом, работал вторую книгу «Проклятых и убитых», залез в окопы, в кровь, в грязь, да еще и на плацдарм, и еле живой вылез на свет. Я написал страшную, убийственную войну, художеств там, наверное, мало, но того, во что можно и нужно ткнуть носом желающих предостаточно, написал произведение, какого в нашей литературе еще не было, а вот в американской подобное есть, и они в главном перекликаются — это роман Трамбо «Джонни получил винтовку», который я с трудом когда-то пробил в «Сибирские огни», а затем он выходил в «Худ. лите.», но книжка маленькая, невзрачная и затерялась в ширпотребе соцреализма, утонула в «Вечных зевах», толстой и, между прочим, много читаемой и много печатаемой книги. Невосполнимые потери понес наш читатель, вред от соцреализма неискупим и непростителен. Много времени потребуется, чтобы выправить деформированное сознание нашего общества, воспитать его нормальный вкус, вернуть к книгам нашей замечательной русской классики. Подвижки есть, но порча, напущенная на народ, так пагубна, что учить его и переучивать надо долго, может, через три-четыре поколения наша литература вернет классике достойного читателя.

Ну вот, расписался. Длиннота письма — это свидетельство того, что назрела пора встретиться и выговориться. Может, поздней осенью это и удастся, а пока желаю тебе относительного здоровья и хоть редкой встречи на страницах журналов и на телевидении. Алле поклон. Крепко тебя обнимаю, или, как прежде в русской деревне хорошо говорили, к сердцу прижимаю.

Преданно твой ***Виктор***

---

* Это письмо Нагибин не получил — умер.

[Июнь] 1994 года

Дорогой Виктор!

Пересохли все ручки от неписания. И чернила пришлось разбавлять, поскольку, как и у вас в Сибири, черных чернил в продаже тоже нет. Сейчас вот понадобилось черное для марания Солженицына. Любопытно, что пачкают (чернят) его главным образом «апрелевцы». Покойный Нагибин вообще высказывался против его приезда. И еще много чего о нем такого говорят, пишут, предостерегают. А по-моему, Александр Исаевич прав, говоря, что Казахстан — это вовсе не страна, а всего лишь российская окраина, где живет половина русских, где еще в прошлом веке возникло Семиреченское казачество в южном Забалхашье, а Гурьевское, Павлодарское, Семипалатинское казачества существовали со времен покорения России. Да и то сказать: сами-то казахи не построили ни одного города, даже миллионную Алма-Ату отгрохали наши зэки, не добыли ни грамма полезных ископаемых, не посадили ни гектара хлеба, не проложили ни километра железных дорог, а сейчас норовят ближе к Европе. Чего только не натворили большевики, в том числе и в развращении кочевников, завладевших ракетным полигоном в Байконуре, но до сих пор не знающих, что земля круглая, а не плоская, как Кзыл-Ординская степь.

Я ведь жил в Казахстане и воочию знаю, сколько труда, ума, терпения и превозмогания вложил русский человек в эту, в прошлом пустынную, малолюдную, запаршивевшую страну, терпеливо обучая этот полудикий, сортовой народ мылу, ложке, буквам, земледелию, и, живя в их среде, русский человек никогда не попрекнул их этой самой отсталостью, тем паче, ни разу не поднял руку, не пролил ни капли крови, а все трудолюбиво ухорашивал эту, забытую Богом, землю, и все старался сделать их нормальными цивилизованными людьми. А кончилось тем, что русские люди побрели восвояси с узлами и поклажами, сопровождаемые надменными взглядами и самодовольными усмешками как-то враз и вновь одичавшего народа, сбросившего с себя «русское иго».

Прав Солженицын, ведь так же нельзя — за здорово живешь отдавать половину южной Сибири (Павлодар, Кокчетав, Семипалатинск, Петропавловск, Усть-Каменогорск и множество других исконно русских земель), юж-

ную часть Заволжья (граница Казахстана подходит под самый Волгоград и Астрахань), отдать знаменитую реку Урал с ее царскими осетровыми тонями, с казацкими городами Уральском и Гурьевом... Разве это по-совести? Разве такой дележ по исторической справедливости, разве это не ущемление русского народа, не унижение его?

Шут с ней, с Алма-Атой, с ее электроникой и авиастроением, — чего уж мы только ни потеряли, но никак не пойму, зачем же отдавать Южный Урал и Южную Сибирь? И кусок Горного Алтая? Или нам «пальта не нада», уходя? И с рубля сдачи не берем?

Я завидую тебе, что ты пообщался маленько с Солженицыным. Правда, телевидение поскупилось и дало о вашей встрече совсем мало, показали только, как вы вышли, шли мимо каких-то заборов, тот махал руками и жарко говорил о чем-то. А ты похвалил его за трезвость. Написал бы, что ли, как прошла встреча, какое от нее впечатление.

Не написал ты мне и о другой важной персоне, навестившей тебя, — о Горбачеве. Был ли он в Овсянке и вообще удалось ли побыть накоротке? Или его сразу же заполонило красноярское начальство и не дало тебе поговорить по душам...

Я рад, что ты удержался на плаву после твоего юбилея, не захворал. Я представляю, каково тебе досталось пройти сквозь эти юбилейные пороги, как трудно вырулить целым и невредимым. Рад также твоим замечательным подаркам — «Волге» и ружью. «Волга» совсем кстати. Моя, например, совсем прогнила. Женька раскидал ее по гаражу, пытается что-то собрать из жалких остатков. Мы ведь ее не очень берегли, мотались зимой на рыбалку, буксовали в сугробах, заваливались в весенние колдобины, почти всякий раз ставили в гараж на ночевку в дорожной грязи, в намерзших наледях и сосульках. А новую купить не успел — отняли все деньги, а ныне крыло стоит что-то около ста тыщ... Так что «Волга» тебе очень ко времени. Будешь потихоньку ездить в Овсянку или Дивногорск. А больше куда еще? Я даже не представляю, куда у вас можно поехать? Ну еще в Енисейск. Не в Москву же? Ну, бывай здоров! Радуй меня и твоих тем, что ты есть, и не хворай.

*Твой **Женя (Носов)***

23.6.94 г.

Виктор Петрович, здравствуйте!

Перечитала Вашу повесть «На далекой северной вершине» — и снова помечтала увидеть Вас не по телевизору. И вот на юбилее, в Большом концертном зале... Поднимаю глаза и вижу Вас почти рядом, входящим в боковую дверь, и Горбачева рядом. И до того меня поразило, что вы так просто входите, оттуда — откуда входили все, а не из-за кулис, торжественно, недоступно. Нас же приучали к другим «появлениям» — была дистанция.

До этого прочитала «Пастух и пастушка», «Ясным ли днем», «Сашка Лебедев» — и снова, и снова удивлялась: как можно держать столько в памяти и какой надо иметь всплеск чувств, чтобы все выразить так ярко, образно, особенно тему войны, тему любви, природы, — все-все, о чем Вы пишете. И наша русская речь, так трудно переводимая на другие языки.

Недавно в передаче по радио переводчик Вашей прозы — поляк — говорил, что он изучил, познал, как и народный польский, язык русский, чтобы перевести Вашу прозу. Столько знать трав, цветов, чувствовать природу сердцем, чтобы вылилось все это в такую поэтическую прозу.

И какое прекрасное начало: «И в городе падал лист...»

Живите долго! Пишите больше! Не уставайте дарить нам — Вашим читателям — Вашу прекрасную прозу.

***Светлана Ив.,** 58 лет*

28.7.94 г.

Виктор Петрович!

Пишу я Вам в связи с рассказом «Медвежья кровь». Тоже лелею мечту побывать в верховьях Абакана. Главная цель — посмотреть! В прошлом году с геологами был в сердце Восточного Саяна, у истоков р. Казыр, у истоков Кижи-Хема. Спускаясь вдоль р. Катун (приток Казыра), на протяжении многих часов шли по затесям, сделанным курагинскими охотниками. В некоторых местах только они и выручали. Тропа зачастую мгновенно терялась, а они, хотя и старые, но видны, — выручали.

Очень был бы рад лично поговорить с Вами на эту тему. И по Сыму тоже. Храню Ваши статьи в газете (по сымской теме) — тоже благословенные места.

Если будет возможным, сообщите, когда и где можно с Вами встретиться.

Благодарю Вас за внимание и желаю добра — здоровья.

А. Кольцов

28.8.94 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Пишу с целью выразить Вам теплую благодарность за этюд (точнее — стихотворение в прозе) «Аве Мария» («Континент» № 75, 1993; долго разыскивал Ваш адрес).

Я Ваш усердный читатель и одновременно немного сумасшедший любитель музыки. Поэтому было радостно, что Вы так сильно музыку чувствуете. Тем более, что «Аве Мария» и «Неоконченная симфония» — действительно вершины музыки, глубоко трогают и возвышают душу (недаром Мастеру в его вечном приюте была обещана музыка Шуберта). «Неоконченная симфония» сыграла большую роль и в моей жизни — была утешением в трудные годы, когда мне довелось руководить пуском необычного завода в Заполярье. А Вы вот нашли верные, быть может — единственные слова, поэтичные, проникновенные, трогающие сердце.

Читать «Аве Мария» было тем приятней, что в традиции русской литературы, к сожалению, скорее, непонимание музыки. Например, Чайковский записал в дневнике: «Вчера приходил Лев Толстой и сказал обидную для всякого музыканта глупость, что Бетховен был бездарен». А «Крейцерова соната»! Как великий писатель не почувствовал, что героическая музыка сонаты несовместима ни с легкомысленным (и даже с серьезным) романом, ни, тем более, с мерзкой ревностью и убийством. Не говоря уже о том, что исполнение фортепьянной партии сонаты требует немалого профессионализма, которого у героини Толстого быть не могло.

Другой пример писательского непонимания музыки — у Мариэтты Шагинян. Она слушала IV симфонию Чайковского и пишет в своих мемуарах: «От части к части я

все больше убеждалась, что смысл симфонии — счастье в труде». Но ничего похожего на эту благородную, но отвлеченную идею в симфонии нет. Первая часть: стук судьбы, потом главная тема — радость и страдания жизни, затем мечта и т. д., вторая часть — прекрасная песня, последняя — народный праздник, звучит «березынька», и неприкаянная поначалу личность все же растворяется в народном веселье. («Жить все же можно» — заканчивает свой комментарий Чайковский.)

Конечно, интерпретация музыки неоднозначна. Например, слушая вторую (фа-мажорную) балладу Шопена, думал: тут любовь простой девушки (первая тема), потом ее сметает налетевшая буря чувств (вторая тема), попытки любви вернуться неудачны, печальный конец (первая тема в трагическом миноре). Но оказалось, что Шопен был вдохновлен «Свитезянкой» Мицкевича, любовь действительно была, но ее погубила не буря чувств, а обычная, «метеорологическая» буря. Вот с такой «точностью» можно интерпретировать музыку.

Я это к тому, что «Неоконченная симфония» — сложное произведение. Грозные аккорды вступления — предупреждение судьбы. Затем — сердечная мука. Потом, как и в жизни, — просветление. Во второй части трагизм усиливается, но есть короткий светлый эпизод — как мне кажется, прямой разговор души с Богом.

Ну а если пытаться сказать о симфонии в двух словах — то лучше, чем Вы написали, — не скажешь.

С теплым приветом,

Адриан Михайлович*

P.S. Известен ли Вам такой эпизод. Одновременно с Францем жил в Вене еще один Шуберт, капельмейстер. Кто-то из журналистов в печати их перепутал. Капельмейстер оскорбился, что его перепутали с каким-то Ф. Шубертом, в письме в редакцию выразил свое возмущение и потребовал его с Ф. Ш. больше не путать. И тем самым обеспечил себе не особо почетное, но бессмертие!

---

* Розен Адриан Михайлович, доктор химических наук, профессор, почетный академик Российской инженерной академии, главный научный сотрудник ВНИИ, участник ВОВ, Москва.

24.10.94 г.

Здравствуйте, ЧЕЛОВЕК, Виктор Петрович!

Я увлекаюсь вопросами космоса и поэтому так обратилась к Вам...

По характеру я эмоциональный человек. Мать моя «Карман» — дочь мельника и была больна эпилепсией. Так что она нас всех замучила: меня, отца, брата моего Владимира Грэсс (он меня младше на 11 лет), к которому я ездила в июле 1994 года в село Атаманово, что в 135 км от Красноярска вниз по течению. Наш отец по специальности инженер авто и по всем двигателям внутреннего сгорания. Он по национальности латыш, мать тоже латышка.

Я родилась в 1912 г. в Риге 25.12, так что в декабре мне будет 82, и поэтому я решила поехать в ваш чудесный край, чтоб с ним, и братом, проститься, так что это была моя последняя надежда... Но, увы, он меня из своего дома выгнал, да простит его Бог! Он в 1941 г., живя в Самаре и работая в авиачасти, сказал «роковую фразу», «что немецкие самолеты лучше русских», и его моментально арестовали, он получил 7 лет (восхваление вражеской техники), а ему тогда было 18 лет, и вот все эти годы провел в Атаманово. Он там был и даже сейчас в большом почете. Он там ремонтировал всю технику: тракторы, комбайны, авто, был после окончания срока главн. инженером совхоза. Теперь он на пенсии, не работает и очень зол, что не может купить даже детали к своему «бобику». Это его маленькое авто, которое он сам собрал, и когда был в отпуске, то носился на нем по всей Сибири, даже приезжал в Ригу. Он говорить по-латышски не умеет и очень зол на латвийский народ, а почему, я сама не знаю. Прошу Вас меня простить о том, что я еще навязываю судьбу моего брата (у кого что болит, тот о том и говорит). У меня была цель, чтоб он отнесся ко мне по-человечески, когда я вошла в его дом, он на меня стал кричать, ну да ладно. Знаю, так было угодно судьбе, чтоб так все произошло, — это, наверное, моя карма, а то, что была в последний раз в ваших краях, я приобрела новых друзей, как Зинаида Иосифовна, и Вас я осмелилась включить тоже в число новых друзей, несмотря на то, что лично я с Вами незнакома. Но у меня есть маленькое оправдание, я попросила по телефону разрешение у жены М. С., она мне разрешила Вам писать.

Ну, так теперь терпите мои душевные излияния, и знаете почему? Потому что Вы писали и в числе своих любимых писателей упомянули имя Шарля Бодлера — а это мой любимый поэт, да еще Альбер Камю — это самый выдающийся писатель и философ нашего столетия. Его книга изд. М. «Фабр», 1993 г. Он лауреат Нобелевской премии (1913—1960). Я думаю, раз А. Солженицын был у Вас в гостях — то, наверно, Вы говорили о А. Камю. Так вот, я к своему списку присоединяю Вас, Виктор Петрович. Я как старый библиотекарь могу немного судить о хороших, умных писателях и их интересных книгах. Как видно, так было угодно судьбе, чтоб я в последний раз посетила ваш суровый, чудесный, прекрасный край. Об этом я не могу писать без душевного волнения: ваши озера, реки, горы, леса, а особенно ваш Енисей — могучий богатырь, почему-то я его сравниваю с Пугачевым, Степ. Разиным. Вот эти черты у вашего сибирского народа: гордость, смелость, очень большая фантазия, доброта, нежность, а главное — удаль! Вот как!!!

Знакомству с Вашими книгами я благодарна Зинаиде Иосифовне, она мне дала возможность с ними познакомиться. Я перед отъездом в Ригу ночевала у нее и в 5 утра читала Вашу чудную миниатюру «Падение листа» из книги «Затеси». Нужно быть глубоким художником слова, чтобы в маленькой поэме о листе показать целую человеческую жизнь. Это Вы сумели показать в маленьком листочке, упавшем в Вашу руку. Если бы я была комиссией, присуждающей Нобелевские премии, я бы присудила за эту чудную миниатюру, так как я сама еще и садовник, увлекаюсь японской «икебаной», Вам эту премию.

В этом письме шлю Вам маленький пустячок. Я читала, как Вы восторгались сибирскими цветами. Ведь к тому же я старый бродяга. В молодости мы с моей семьей много путешествовали: Украина, Кавказ, Крым, Волга, Средняя Азия, Дальний Восток, Сахалин — мне тогда было 15 лет. Только за границей не была. Если б была возможность, поехала б в Париж. Меня интересуют дом Бальзака, мастерская Родена, ну, и конечно, уличные художники. Так как я нечаянно вот уже 21 год стала художницей, было уже 5 выставок. Люди почему-то радуются, глядя на мою мазню. Они говорят, что от картин идут какие-то флюиды. Они несут радость, грусть, кажется, главное в моей живописи — детская непосредственность, вроде наивности что-то от Иванушки-дурачка. А может, еще что-ни-

будь и от Бога? Так как в школе я нигде не училась (не было времени), нужно было путешествовать по всей стране, это у меня с отцом была такая страсть. Я по карте выбирала, куда ехать, — и мы, как цыгане, только без кибитки, пускались в путь. Если б я училась, то, став писателем, писала б только о цветах. Мои увлечения: цветы, музыка, литература, живопись и весь Божий мир!

Читая Ваши рассказы «Конь с розовой гривой», мне казалось, что все это происходит со мной. Столько теплоты, очарования, что местами я даже плакала, особенно «Монах в новых штанах». Я много разговаривала и рассказываю о Ваших чудесных книгах. Жалею, что так поздно познакомилась с Вашими книгами. Возможно, это еще потому, что люблю вашу суровую, но прекрасную Сибирь! Жаль, что я еще не композитор, я бы писала музыку в честь Сибири. Виктор Петрович, я Вам еще не надоела своей чрезмерной болтовней? Буду бесконечно счастлива, если Вы мне ответите, а особенно о «Падении листа».

Ну, а Вы мне можете написать, что Вас интересует. Желаю Вам бодрости и буду за Вас молиться, чтобы Бог дал Вам силы работать и работать!!! Ну, пока, всего Вам светлого и держитесь, как говорит народ, назло разным злопыхателям. Жду Ваших новых работ. Я знаю, что Вам много помогает Ваша жена М. С.

Герта Ивановна,
г. Рига

[1994 год]

Дорогой Виктор!

Летом, в сушь и зной, умерла моя матушка, Полина Алексеевна, кончина ее порушила мое и без того непрочное душевное устройство, и это послужило причиной, почему я долго не мог собраться с мыслями, чтобы ответить на твое последнее письмо (журнал тоже благополучно получил — спасибо!) — откладывал со дня на день, ловя в себе необходимый настрой в сумбуре и хаосе чувств и мыслей.

В осиротевшем доме перед портретом матери на телевизоре кто-то еще во время поминок поставил стопку водки и накрыл ее хлебушком. Да так и стоит до сих пор. Хлеб замочурился, высох, водка тоже наполовину высохла —

горестно смотреть на это языческое подношение, заменившее свечу.

В брошенном саду, уже присыпанном снегом, все еще цветут поздние цветы, дорожки усыпаны полусгнившими сливами, а на яблонях обнаглевшие от безнаказанности дрозды долбят, добираются до самых семечек, курочат яблоки поздних антоновских сортов, почти истребленных повсеместно.

Где-то в траве до весны упрятались подснежники и совсем по-лесному вольно росли в саду ландыши и кружевные папоротники — всех их опекала моя матушка, как и пичуг, поштучно знала всех синиц и всю зиму сыпала им на кормушку. Но теперь некому будет обихаживать птичью мелочь, не просунется в форточку корявая рука с зернами... Надо бы перед зимой выкопать корневища садовых георгинов, надо бы... Но никто так и не выкопает, и померзнут они за зиму и не взойдут весной... А Танька сразу сообразила насчет опустевшего дома: стала давать ключ подружкам, и те развели в доме бардак, стали приводить хахалей.

Я застал одну такую пару и отобрал у Таньки ключ. Она надулась и уже неделю не разговаривает.

Горестно мне было читать о твоем старшем внуке. Читал и все на своего прикидывал. Очень похоже. Спит до 12, потом поест — и до полуночи на гулянки. И так каждый день. Танька одевает его в «фирму», по осенней грязи ходит в белых штанах и белых, никогда не мытых импортных кроссовках. Пробовал и я ему кое-что покупать, но мое он не носит, в моем ходить стыдится. Уже три года висит теплая куртка на меху — ни разу не надел. Не нравится, что она с цигейковым воротником. «С воротником, — говорит, — одни чокнутые ходят. А я пока еще в здравом уме». Добегался до хронического бронхита, кашляет непрерывно. Из-за этого нынешней осенью не взяли в армию, дали отсрочку на полгода. Рад, что еще шесть месяцев будет бездельничать. Я ему говорю: шел бы сразу в солдаты, чем раньше отбудешь, тем легче. А то дите наживешь — тогда труднее будет служить. Правда, бездельничает он не только по своей склонности. А еще и потому, что нынче молодняк никуда не берут, никуда не устраивают. Ромка мой летом закончил техникум, получил диплом технолога-химика, специальность вроде бы хорошая, раньше всех дипломников распределяли по предприятиям, а сейчас просто выставили за дверь техникума

и иди куда хочешь... А ведь одни цигарки четвертную стоят. А ему пачки на день мало... Отсюда — воровство, грабежи, уличные драки между праздно болтающимися верзилами.

Теперь уже ясно, что новое поколение жить по-нашему не будет: у них свои ценности, свои критерии, свои моральные издержки, а главное — все поражены вселенской ленью, которой не стыдятся, а, напротив, кажется, выставляют напоказ. Такими сделали их время, среда, система и, в общем-то, сытая до сих пор жизнь.

А я тоже заимел свою картошку... Женька на заводе получил 10 соток. В этом году насажали всякого разного: луку, моркови, огурцов, ну и картошки, конечно. И почти все погибло. С мая не было дождей, земля иссохла, и все посаженное или не взошло вовсе, или же, родившись, промучилось, обретя карликовые, уродливые формы. Морковка толще карандаша не пошла и получилась какая-то жилистая с горьким привкусом. Огурцы сразу же, еще в опупках юродиво закубастились и тоже горьки, даже будучи посоленными в банке. Картошка зацвела аж в августе после случайного дождя. А в сентябре еще и копать было нечего: один горох! Так что картошку пришлось покупать — тысячи на четыре купили.

Я очень завидую тебе, потому что у тебя есть изба в деревне, где можно отключиться от постылой коммунальной жизни. Если бы Женька получил землю пораньше, то мы бы успели построить там домик. А теперь цены взбесились, одна дверь три тысячи стоит. Были у меня деньги, если б знал, так мог бы хороший дом купить, да и новую машину, а то «Нива» моя продырявилась, колеса истрепались, и мотор стал сыпаться. Но правители отняли у меня деньги, которые я копил, считай, всю жизнь и посадили меня на одну пенсию. Заработать же я теперь уже не смогу. Пишу мало и медленно. Написал рассказ, послал Крупину, а тот заплатил за него 400 руб., т. е. на одну палку колбасы, а я два месяца над ним корпел! Вот еще один рассказ отдал евреям в «Знамя». Может, те чего-то заплатят, может, у Бакланова совесть есть, еще не износилась. Кажется, в «Знамени» платят по-божески. Ольга Трунова звонила мне, говорила, что они на своем хозрасчете, и у них деньги водятся. Наш общий друг Леня Фролов отказался печатать мой трехтомник, выбросил из плана. Я ему теперь не литература. Им порнуху теперь подавай, Войновичей всяких.

Но в общем я особенно не сетую, считаю, что за «свободу» надо платить. И я считаю, что заплатил сполна за изгнание большевистской мафии. Поэтому я не скриплю зубами на Ельцина, как наш Петя. Хотя его понять тоже можно. Вся эта поруха достала его врасплох: на пенсию он себе не заработал, получает какую-то минимальную за свое многолетнее пребывание в секретарях. Литературных же заработков, чтобы из них выкроить пенсию получше, у него не оказалось. А тут еще баба-дура, все время живет в Харькове, купила там себе хату с огородом, приезжает изредка, да и то, чтобы отобрать у Пети последние деньги. А он перебивается кое-как на макаронах, даже покурить нечего, кошт окурки, которые остаются после загульных гостей. Жалко мужика — весь хворый, замшелый, неухоженный, ноги совсем не ходят, бронхит затюкал окончательно. Вот он и митингует, костерит демократию, пачкуется в какие-то заговорщические объединения, ездит на собрания каких-то спасателей русского народа, подобно Вале Распутину, которого как-то показали среди отчаянных головорезов вроде кагэбиста генерала Стерлигова, рядом с которым Валя сидел по правую руку. Впрочем, ты меня предупреждал, что ты сознательно не хочешь говорить ничего о политике, и ты, конечно, прав. Злоба — плохой спаситель для народа. Хватит уже крови и революций. Все ведь просто: отдайте землю народу, отдайте. И народ напашет и насеет всем благополучия и сытости за пару лет. Кто бы к власти ни пришел, кого бы мы ни тащили на престол — ничего не будет, если у народа не будет земли. Но, Валя, видно, этого понять не хочет, ему слепит глаза смертная ненависть к евреям, и потому он оказался в самых черных рядах заступников, готовых развязать гражданскую войну и новое смертоубийство, которое так рьяно накаркивает Проханов, Валин сподвижник. Не знаю, может быть, эти мои размышления не совпадают с твоими, но я уверен, что Вале надо бы писать, а не тратить себя на это пьяное дело — пьяное от жажды свержения, расправы и кровавой мести. Не понимаю, как можно сидеть рядом с Прохановым — этим авантюристом, недавним воспевателем милитаризма, киплинговского топота солдатских сапог по сопредельным странам, а ныне размахивающего православными хоругвиями во имя даже не социализма, а оголтелого святошества?

Витя! Написал бы ты письмишко Мише Колосову.

Совсем одиноко прозябает мужик. Бросили и забыли. Ведь все, что ему тогда приплели, — чушь собачья. Это правда, редактор из него был неважный, но мужик он совестливый, нефашизированный, неспособный на подлую групповщину, один на один восстал против бондаревщины. Ведь Бондареву нужна была своя подгавкивающая газета, какую он и заполучил в лице Проханова. Мишка был неспособен на такое поддакивание, он преданно любит саму литературу, нежно и верно любит тебя и не таит на тебя ничего худого даже после того письма в «Правде», которое было несправедливо по своей сути и которое сочинил Мишка Гусаров и подсунул вам на подпись.

А впереди зима... Сколько их еще впереди? Вот сегодня, 30 октября, по телевизору была передача о Гоше Семенове. Показывали его собаку, его ружья, курительную трубку, самого смеющегося Гошу. Но он — уже в прошлом... Витя, родной, обнимаю тебя.

*Твой **Женя (Носов)***

[Конец 1994 года]

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Знаю и уважаю Вас давно как писателя-фронтовика. Больше бы таких смелых, мудрых и откровенных писателей нашей России-матушке. Я тоже фронтовик, инвалид 2-й группы, 1923 г. р. Родился на хуторе под Тихвином, но от хутора и следа не осталось. До коллективизации скот держали, землю пахали. Я, пацан, в окрестных лесах шастал, по деревьям лазал, птичьи гнезда зорил. Потом собрались переезжать в город. Отца в 1938 году арестовали, как врага народа и расстреляли. Мать с нами, троими, сослали в Красноярский край, Канский район. По пути в Сибирь мы остановились в Красноярске, и я в Злобине, по коровьей тропе поднимался к знаменитым Столбам. В Канске меня призвали в армию. Воевал в эстонском корпусе, в 44-м году был тяжело ранен и долго лечился в госпиталях. Демобилизовался в 1945 году, в Ленинграде. Домой меня не отпустили, мобилизовали на восстановление Ленинграда. 40 лет я занимался делами строительными. Теперь на пенсии и живу в Павловске. Уходит жизнь, бегут годы. Не думал, что доживу до такого позора, когда

страной правят мерзавцы. Смогут ли здравый смысл и добро победить зло.

Для чего я все это пишу Вам, отнимаю у Вас драгоценное время. Простите! Я должен был хоть каплю чувств своих излить Вам и поблагодарить за то, что Вы есть и что есть настоящая литература. Только у нас, в С.-Петербурге, на всех вокзалах, всюду, где есть свободный угол, — на столах разложены книги, но что это за книги? Они о сексе, ужасах и прочей похабели, и торгуют ими здоровенные крутые парни. На этой литературе растет очередное наше поколение...

Вот и поговорил с Вами. Здоровья Вам и успехов!

С почтением, ***Покк Эдгард Эдуардович,***
г. Павловск
Ленинградской обл.

31.10.94 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Письмо это должно было быть написано 15 лет назад. Но, знать, не пришел час. А это письмо написано вот почему: сижу я и читаю книгу Г. Миронова «Короленко». В ней говорится: «Всю жизнь трудными путями героя он шел навстречу дня, и неисчислимо все, что сделано Короленко для того, чтобы украсить рассвет этого дня».

И вдруг приехавшая моя сноха дарит книгу В. Астафьева «Зрячий посох». Так Вы же такой, как Короленко!!! И нужно быть такой встрече в моем доме! Правда, Короленко знал Сибирь, но не в такой мере, как знаете Вы. И не читая еще Ваших произведений, я бывала в ваших краях в 1958 году очень недолго. Но не забыть мне ни тех людей, ни тех мест никогда. И когда читаю Ваши произведения, начиная с автобиографии, верю в победу добра над злом. Доброго Вам здоровья. А чтобы это сбылось надолго, купите «Гербалайф» (это американский продукт питания). Помогает очистить организм от засоренности шлаками, сбрасывается обременительная тяжесть. Пишу об этом так уверенно, что сама его принимала. Мне 85 лет, но после его применения чувствую себя на 70. Приезжайте, убедитесь. Живем с дочерью в однокомнатной кварти-

ре на берегу Иртыша, но тесно не будет, даже если приедете с супругой. Домашний телефон 23-30-94.

Искренне Ваша почитательница

В. Богданова

18.11.94 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Пишу под впечатлением от глав Вашей книги в последних номерах «Нового мира».

И вот посылаю свою статью «Так что же построено на Поклонной горе?», напечатанную в «Литгазете» за 10 августа 1994 г. и перепечатанную в нашей районной. Возможно, вы ее читали, и в таком случае она Вам запомнилась. Но ради диалога, который я предлагаю Вам, посылаю эту газетную страницу.

К сожалению, напечатанное — это меньше половины от статьи, которую я послал в «ЛГ». Но спасибо им и за то, что осмелились напечатать.

Но вот откликов на статью — не получил ни одного. Так и осталась она гласом вопиющего в пустыне...

С письмами аналогичного содержания я обращался и в газеты — «Известия», «Культура», — и в государственные инстанции, включая президента России. Оттуда получал ответы через Министерство культуры РФ, что, мол, мой проект сам по себе интересен, но строительство на Поклонной горе зашло уже так далеко, а установленный срок его завершения — 9 мая 1995 года — так близок, что никаких изменений в реализуемый проект внести уже невозможно...

Но вот — и Вы тоже, конечно, знаете этот эпизод — разбойник из двух, распятых рядом с Иисусом, в последние минуты своей жизни уверовал в то, что Тот — Сын Божий, за что и получил от Него обещание места в раю... Так что, полагаю, если есть уверенность, что мой проект Мемориала на Поклонной горе лучше того, что возводится там сейчас, то не нужно падать духом, опускать руки, отступать перед торжеством дела безнравственного...

В последние недели я обратился с аналогичными письмами к А. И. Солженицыну, В. А. Солоухину, в «Известия», где несколько раз печатались отрицательные статьи о том, что возводится на Поклонной горе, — к Отто Лаци-

су, с которым я лично общался еще лет пять тому назад — и именно по поводу вот этого моего проекта. А с ним познакомился лично через И. А. Дедкова.

Ответов пока нет. Теперь решаюсь побеспокоить Вас...

Несколько слов о себе. Степан Ефимович Ильин, 7 мая 1924 г. р. Преподаватель литературы, ныне, конечно, пенсионер. Сам пишу, но к многомиллионному читателю прорваться не удалось. Вот эта статья в «ЛГ» по-настоящему единственный серьезный выход к читающему народу с московской трибуны.

Предмет моего литераторского интереса — жизнь русских, молоканских и духоборских, сел Закавказья. К моим трудам проявили интерес в «Новом мире», брали в редакторскую работу «Закавказскую Россию» — вещь того же жанра, что и «Капля росы» В. Солоухина, но нанеся ей множество ран острыми редакторскими инструментами, выпустили из нее кровь и душу, и полученный препарат оказалось лучше не печатать...

Из знакомств с писателями самым дорогим для меня оказалось знакомство с Федором Александровичем Абрамовым. Не сразу он принял меня в свою душу, но — в какой-то момент пригласил меня присылать ему на чтение все, что я напишу. Состоялось и личное знакомство, нечастые, но очень содержательные и добрые встречи. Хлопотать за мои вещи он не брался, но устное доброе слово за меня в «Новом мире» замолвил. Болельщица за мои рукописи Инна Петровна Борисова и сейчас держит у себя очередной вариант «Закавказской России», выражает надежду на успех, но, мол, Сергей Павлович не хочет печатать вещей, которые можно расценить как вмешательство во внутренние межнациональные распри в нынешних суверенных государствах...

Борис Андреевич Можаев считает, что «Зак. Россия» заслуживает публикации...

Другая тема моих работ на протяжении последних пятнадцати лет — становление семейных ферм на российской пашне. Поначалу я мыслил их как первичные производственные подразделения в составе колхозов и совхозов. Один из первых моих текстов на эту тему Федор Александрович успел обозвать и письменно, и устно маниловщиной, редакторша из журнала «Москва» — в письме без слова «уважаемый...» определила меня как антисоветчика и контрреволюционера, апологета религиозного сектанства, на что я тогда очень обиделся, но с ком-

сомолкой годов коллективизации спорить не стал... Но теперь я вижу, насколько она была проницательна и точна в своей оценке...

А что касается фермерства — если бы мои предложения насчет фермеризации нашего сельского хозяйства были бы поняты и приняты общественностью и правительством еще в начале 80-х годов, не пришлось бы ныне формировать фермерство как дивизии народного ополчения в Москве осенью 1941 года... Статью «Да будет русский фермер!» не очень давно, когда уже редактору не было страшно, напечатала наша районная газета...

Еще одна тема моего общественного интереса — восстановление доброго союза народов, входивших в СССР. Я мыслю образование Конфедерации Восточный Союз, в которую приглашаю — в отличие от Александра Исаевича — все народы республик бывшего СССР. С накопленным добрым опытом государственной независимости и с восстановлением доброго опыта жизни в составе Российской империи и советской империи. Письма на эту тему тоже рассылаю в высокие инстанции и в редакции газет. В ответ — молчание...

И, наконец, проект «Мемориала второй мировой войны 1936—50 гг.» и проект «Мемориала XX века» — памятника всем жертвам всех преступлений преступных правителей нашего государства и соседних стран против народов на протяжении всего двадцатого века, который я сегодня вижу возведенным в новом городе — столице Конфедерации Восточный Союз (КВС) — в ближнем Подмосковье. Проект этого мемориала прорисован и прописан у меня достаточно подробно. Но тоже пока государственным мужам не до него...

Так вот и остается мой духовный и нравственный наработанный багаж и потенциал невостребованным ни народом, ни властьимущей элитой...

Так-то вот, Виктор Петрович, надеюсь, Вы получите это письмо. И надеюсь получить от Вас ответ. Если даст Бог дней, здоровья, сил, предполагаю выехать в Москву около 20 декабря. Там живет моя дочь. Хотелось бы получить от вас ответ к этому сроку.

*С приветом — **С. Ильин,***
г. Новопавловск Ставропольского края

[1994 год]

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Мне удалось купить Вашу «Царь-рыбу» — юбилейное издание, и это, пожалуй, самая большая ценность в моей библиотеке!

Когда трудно в жизни или тяжело со здоровьем, я всегда беру Вашу книгу и снова, и снова ее перечитываю, скоро, наверное, буду знать ее наизусть. Перечитаю — и опять спадет камень с души, она отмякает, как, наверное, бывает на рыбалке или на охоте. И я молю Бога, это для меня матушка-природа продлила бы еще хоть немного мою жизнь, а Вашу на многие-многие годы! Чтоб Вы написали для людей, читателей своих и почитателей еще много-много прекрасных книг.

Я, как могу, слежу за Вами: иногда увижу по телевизору, иногда прочитаю в газете Ваше что-то или о Вас.

У меня жизнь идет по-другому. Я изъездил по нашей стране, матушке Родине, от Ужгорода до Камчатки, побывал и на Чукотке... А потом тяжело заболела мама, и мне пришлось перейти на оседлый образ жизни. Осталась она одна, отец после фронта болел и рано умер.

Желаю Вам крепкого здоровья, многих лет жизни и новых прекрасных произведений!

До свидания!

(Подпись неразборчива)

22.11.94 г.

Владимир... ич!

Мы доживаем с женою полсотни лет и, сами понимаете, за это время находилось не менее 500 человек, которые пытались нас поссорить. Так неужели же вы, 501-й, надеетесь на это?

Все Ваши письма дошли, они не заслуживают ни внимания, ни ответа от людей, по горло занятых, давно уже нездоровых. На это письмо я отвечаю только для того, чтоб Вы отвязались от меня и тем более от жены. Я знаю, кто Вас науськивает.

Издательскими делами я не занимаюсь. Рукопись Вашу читать не буду — не хочу читать ни письма, ни рукописи склочника.

Хорошие рукописи ищут и ждут во всех журналах, печатают каждый год десятки произведений и открывают авторов, даже покойных, в том числе и диссидентов. Для того, чтобы напечататься, требуется сущий пустяк — хорошо написать, талантливо.

Стращать меня бесполезно, за сорок с лишним лет работы в литературе я такое повидал и почитал, что Вам и в психиатрической больнице не снилось, даже и конвертом с грифом «правительственное» меня не проймете. Я знаю, как и где их достают и сколько они стоят.

Будьте здоровы! ***Астафьев***

22.12.94 г.

Родной Виктор Петрович!

Пишу Вам среди ночи под свет ночника. Вижу, что строчки сикось-накось. Извиняйте. Тут главное, что за качеством письма... А ни хрена за ним...

Во-первых, примите и мои запоздалые поздравления с премией. Дай-то Бог, что она вернет Вас в статус-кво человеческого проживания, в относительную независимость от дня. А с остальным и поздравлять неча, так как Вы есть Вы. И живите долго, от жизни не уставая. Во-вторых, и в-последних, ставлю Вас в известность, что мой одинокий танк, а может, и бульдозер попал в окружение. По нему, как в тупичке Грозного, палят из «града» прямой наводкой. Вот и паленым дышится. Чё-то горит... За этой красочной аллегорией скрывается то, что я в своем жизненном вояже по России с семьей своей ненужным оказался. С Омском даже, где я бывал уже в давнем молоденчестве, меня пидманулы-пидвелы. Обещание, как всегда, провисло сперва, а потом и рухнуло, замеченное лишь мною. И чтобы выкарабкаться из лабиринта, куда загнался во имя и для, оставалось вскрикивать: «Ма-а!»

А мама моя, как знаете, еврейка. И я, русский языком, душою — тоже, еврей, значит. За квартиру, размером с Вашу, и мебель мне дают, 6,5 тыщ. долларов плюс пинок под зад. И никаких перспектив на горизонте в ожидании пенсии. Она состоится в мае следующего вот-вот года.

Кстати, с Новым годом, родные и хорошие, не кляните нас в нем за то, что сую седую главу свою в окончательную петлю.

Едем мы уже в страну, не для нас обетованную, где лишь в море купаются бесплатно. Надеюсь лишь на то, что стану нештатно, как бывало уже в Сухумах моих, печататься в «Огоньке» на сей раз.

Заложник системы шлет Вам последний, прощальный и пламенный привет и при этом сообщает, что кровь из-под ногтей, дочку свою младшую куда-то в жизнь выведу, а там хоть в туалет не ходи...

Нет у меня обиды на судьбину, жил честно. И одним из счастий было то, что Вас однажды повстречал и на весь остаток дней Вашим вниманием обогрелся.

Отъезд состоится, видать, по весне — и с Ташкента. Маму беру с собой. «Матрена» моя плачет и тоже едет.

И поздравьте гонца: «Золик — лавуреат» за серию авиааварий в Сибирях и вне.

Целую Вашу милую хлопотунью.

*Ваш **Вадим Летов,***
Москва

В Израиле говорят, что моя фамилия переводится: «к лучшему»...

[1994 год]

Дорогой Виктор!

Прости, что задержался с ответом на твое письмо с тайменем. Да, брат, подходит время, когда будем только смотреть в окно и жить одними только воспоминаниями. Этой зимой я всего лишь однажды был на подледной рыбалке, а ведь были времена, когда я не пропускал ни одной недели. Помню, однажды собрался ехать, а утром — пурга, сечет в стекла, мотает раму... Ехать — не ехать? И поехал-таки. Приезжаю — едва докопался по снегу выше колен, а на реке — ни единой души, а обычно набиралось человек по 30—40. Согнулся я на коленках над лункой, натянул на себя плащ и куковал там до обратного автобуса. А сверху меня намело целый сугроб! Теперь уже нет такого рвения даже летом.

А задержался с ответом потому, что сидел и писал рассказ. Писал, как всегда, трудно, тяжело, много переписывал, на одну чистую страницу штук пять черновых, в общем, ушло более месяца. Все время помнил о твоем письме, но всякий день уже не оставалось сил и мыслей для ответа.

Вот подвел печальные итоги: на рассказ потратил более 40 дней, а если напечатают, то получу не более четырех тысяч. Сейчас нищему подают больше. Да и печатать-то негде. Все обанкротились. В январе послал один рассказ Залыгину, ответил, что будет печатать, а когда — неизвестно. «Новый мир», кажется, тоже дышит на ладан. Прежде можно было и подождать, но теперь всякая неизвестность угнетает морально, порождает чувство своей ненужности и напрасности писания. О книжке пока и думать не приходится. Писательская братия разбилась на корпорации: «Апрель» свился в свой клубок, бондаревская шатия — в свой, Пенклуб курит свои трубки, мнит себя недоступными снобами, а у самих — носки с потертыми пятками. Я же оказался между всякими этими кланами и потому никому не нужен. Прислал мне какие-то предложения Валя Свининников, он затеял свою бражку вокруг славянской идеи. Но мне что-то не нравится эта замаскированная игра. Возжигать в себе славянскую гордость, выпячивать грудь и рвать на ней замызганную тельняшку — это не по мне. Тогда автоматически появляются враги — хохлы, белорусы и т. д. Видимо, надо не противопоставлять себя другим, мнить себя не славянином прежде всего, а Человеком. Надо пробуждать человеческое, а не славянское, потому что и славянин не хуже других подличает, убивает, ворует и насильничает. Или свое дерьмо — не пахнет? Славянство не афишируют, оно для меня естественно, как моя земля, как мой язык, как мой хлеб, который я зарабатываю в поте лица, как и всякий пахарь. Говорят, что русский народ пострадал больше других, и надо поднимать его самосознание. Но ведь мы сами, славяне, все эти мордовороты и захребетники, и загнали его в скотный загон, в дерьмо и вонючую толоку. Ведь не хохлы, не соседние белорусы, не узбеки заставили бросить неубранный хлеб, морить голодухой скотину, курочить и мордовать землю, которая нас кормит, заживо сжигать лошадей, обливая их керосином, привязывая к рельсам перед проходящим поездом?! Сами! Сами выделываем все эти художества! Ведь это мы тысячами гнали по этапу, набивали концлагеря эстонцами и латышами, присвоили их курортное побережье, засрали стоками из бесчисленных престижных дач, построенных на их пляжах, — Мин. обороны, Совмин, ЦК профсоюзов, Центросоюз, Минфлот, Литфонд, дача Косыгина, дача Гречко, дача Пугачевой и т. д. Летом в Риге скапливается нашей

братии больше, чем самих жителей, все шастают, шарахаются по магазинам, набивают авоськи дешевой жратвой, дешевыми шмотками, хватают рижские унитазы, всякую мишуру. Чего же на них теперь обижаться, выставлять свой славянский пуп, если довели их до ненависти и презрения?

Нет, мы не воскресим в себе национальных достоинств, если не посмотримся в собственное зеркало. Надо прежде всего изживать скверну из самих себя, а не искать ее у других. Вот смотрю я на наше депутатство, на Верховный Совет — Бог мой, сколько же сволочизма, подлости, цинизма, неуважения к собственному народу свезли они в Кремль на всеобщий показ! И я полностью разделяю твой святой гнев, когда ты обратился через газету к этим временщикам и губителям своей же страны. Даже Валерка Хайрюзов, дурак, в безумном раже ерничает, ушкуйничает и шушукается со всеми этими мерзкими рожами, у которых за отворотами пиджаков — портреты отца родного и знаки КПСС — чего, глупый, хочет, чего он добивается?

Или вспомним многострадальную судьбу Кости Воробьева! Это же мы не пустили его домой, не дали дышать воздухом своей Родины, омыть ноги в ее росе. Но это мудрые терпеливые литовцы дали ему свой хлеб и свою бумагу, чтобы он написал то, что не дали написать в собственном доме. И спасибо им за Костю! Не написать бы ему этих изменяющих душу вещей, окажись он среди «своих». Сидеть бы ему в психушке!

Милый Виктор! Я жалею, что написал тебе все это. Я знаю, как тебе обрыдло читать и слушать все это словоблудие.

Недавно видел неожиданный сон. Будто я поехал к тебе. Но не в Овсянку, а куда-то на побережье Белого моря. Там, на чистых песках, в пустынном одиночестве, у самой воды ты построил себе белую двухэтажную дачу. Встретила меня Маша, вся в побелке, сошла мне навстречу по строительным мосткам через оконный проем. Мне понравилось это место. Катились барашковые волны, парусили над водой белые чайки, летели белые облака, и дом был белый, и Маша в белом, обрызганная белой известкой на загорелом лице. И было много простора и волн, и мне даже во сне стало радостно и хорошо. Я спросил, где ты, и Маша сказала, что тебя нет дома, что ты уехал на встречу с читателями. И я вернулся домой, так и не повидал тебя. Когда я потом обдумывал этот сон, то стало

почему-то тревожно за тебя. Но потом я успокоился, подумав, что сновидение навеяно телепередачей о тебе, которую еще раз показывали недавно, сделанную Галей и Лешей Петренко.

Прекрасная, впечатляющая работа. Ты там монументален и самобытен, как и все, что тебя окружало, — и величавый Енисей, и скальные громады, и твой кержацкий быт и основательная обжитость. Именно этот овсянский дом придал многозначительность всему тому, о чем ты говорил, о чем печалился и радовался чему. Все это как-то по-особому высветило все твое творчество, придало ему зримую убедительную весомость и истинность, нежели все напечатанные о тебе монографии и литературоведческие статьи. Ты там выглядел, как шаман, как сибирский оракул, — основательно и могуче, вселявший веру в ту самую славянскую самобытность, о которой не требуется кричать и махать руками, а надо чувствовать душой, как это удается, как ниспослано тебе.

Спасибо Леше, что он проникся в понимание тебя, спасибо, что он так неназойливо и достойно и сам вписался в сюжет, в истинность твоего бытия. Я видел эту передачу второй раз, но смотрел как заново, найдя в ней что-то еще и еще, и смотреть ее можно многажды, открывая прежде не увиденное.

Слежу за вашей красноярской погодой, тебе уже довелось пережить по-настоящему теплые, весенние дни. А у нас тут все еще серо, хлюпко, а сейчас, когда пишу, на крышах гаражей белый снег. Но все же — весна! Будем жить дальше.

Обнимаю. Твой ***Женя (Носов)***

30.12.94 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Сегодня прочитал в 12-м номере конец второй книги. Низкий поклон тебе, фронтовой побратим, за ПРАВДУ, СОЛДАТСКУЮ ПРАВДУ. Все это прожитое и пережитое развертывается лентой перед глазами (извините, перед глазом), прощупано руками (рукой). Вот и через 50 лет нас тешат разными байками, в которые никак не укладываются прожитое и пережитое. Даже кровью омытые награды отменены, а собираются ввести новые. Наверное,

как рубли сегодняшние, которые притягиваются магнитом (не пробовали?). А тут еще влезли в Чечню. Я там был в мирное время. Ко мне относились по-доброму, может быть, в ответ.

Жаль только, что правдивую книгу твою молодежь мало читает, так как многие годы «себя изжившие и все позабывшие, пропившие память», а также политпросветчики, готовые лопотать все что угодно и как угодно в «свете ЕБЦУ* правителей и заправителей» обрыдли еще с начальных школ и вызывают у слушателей рвотный рефлекс. Но есть надежда, что и до них это все дойдет.

Как мало нас осталось, опаленных, как много «сгребли конными граблями», и во имя чего? Как нас встречали братушки, братья славяне, об этом не пишут и делают вид, что не помнят, а какая была искренная радость тех, закордонных... Помню старую словачку, наварившую огромную кастрюлю фасолевого супа, кормила, поила, крестила уходящих, говорила: «Таке млоды, а вже вояки! Путь Свят!» А потом туда с танками... Сволочи...

Оглянешься назад, и пустой, и бесцельной кажется жизнь и пролитая кровь. А сейчас опять взвились, видно, потребовались им наши голоса для усадки в сановные кресла.

Прими мой низкий поклон и самые хорошие и добрые слова благодарности за такую хорошую и правдивую книгу. Спасибо тебе, наш дорогой окопник, от меня и моих побратимов горемык-солдатушек, погибших и померших и еще живущих.

Успехов тебе в твоем благородном труде, сил и здоровья в выводе «на гору» конца трилогии.

С искренним уважением твой собрат по мукам, солдат-минометчик, профессор

Ю. И. Алабовский

11.1.95 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Пишет Вам из Калининграда капитан-рыбак Татарин Леонид Серафимович. Спасибо за Ваше хорошее письмо, которое шло ко мне очень долго, но причина не только в плохой работе почты, но и в моих длинных рейсах.

---

* Еще более ценные указания.

Часто вижу Ваши выступления в газетах и журналах, по радио и телевидению. Слышал, что скоро выйдет из печати Полное собрание Ваших сочинений — очень хотелось бы их иметь. Но на книжных прилавках горы всякой макулатуры, а хороших книг купить невозможно.

Виктор Петрович, когда мы вместе летели самолетом из Перу (Южная Америка), Вы рассказывали, что собираете материал для книги о том, как уничтожаются рыбные запасы наших рек, и расспрашивали меня о том, как мы, рыбаки, уничтожаем запасы рыбы в океанах. Так вот, теперь приходится писать вам о том, что у нас в Калининграде уничтожается под корень сама рыбная промышленность. Калининградский морской рыбный порт, построенный кровью и потом тысяч рыбаков, в результате странной перестройки попал в руки очень хозяйственных, но не совсем честных людей, имеющих высоких покровителей в Москве, которые полностью «перекрыли кислород» рыбной промышленности и превратили рыбный порт в порт по перевалке удобрений для сельского хозяйства, только не для российского — для немецкого.

Виктор Петрович! Если у Вас появится возможность, я был бы очень рад встретить вас с Марией Семеновной в Калининграде как дорогих гостей. Думаю, что и для Вас было бы очень интересно посмотреть наш город, встретиться с нашими рыбаками. Бытовые условия обеспечим самые лучшие или в самом городе, или на берегу Балтийского моря — у нашего рыбацкого профсоюза есть свои дома отдыха. Надеюсь, Вы с Вашим огромным авторитетом смогли бы оказать очень большую помощь нашей рыбной промышленности. Если будет желание просто отдохнуть на берегу моря — только дайте знать. Надеюсь получить от Вас письмо. С искренним уважением —

Татарин Л. С.

14.1.95 г.

Дорогой Саша! (Михайлов)

Эта Ваша Москва... Как Вы в ней и живете? Я едва вырвался, отдыхиваюсь — рукава ведь отрывают — всем чего-то надо, каких-то слов, бесед, будто и без меня трепотни мало!.. От двух газет, даже от трех так и не смог отбиться, чего-то наговорил впопыхах и обязательно глу-

пость какую-нибудь ляпнул, оплошность сделал, а ее за углом с топором ждут Проханов с Бондаренко.

Дома среди почты нашел и твое письмо со статьей. Очень хорошо и доходчиво ты написал, а то ведь вместе с твоей статьей появилась статья Немзера, по-моему, в «Сегодня». Ну ведь неглупый человек, иногда и мысли толковые высказывает, но хочется вот человеку вывернуться овчиной наружу да и только. Я тут встренул в «Сегодня» статью Курицына о Хименесе, обрадовался — поэт-то замечательный, человек колоритнейший, испанцами обожаемый. Ну, думаю, и до наших дойдет. Да Курицыну до того ли Хименеса, ему как до полтавского хохла! Ему надо свою умственность продемонстрировать! После его статейки и истолкования жемчужинки мировой словесности «Мой Платеро» Хименеса не только искать, но и читать не станут.

У меня, Саша, одна к тебе претензия иль даже просьба: когда будешь впредь толковать о «правде войны», не забывай, пожалуйста, Костю Воробьева, он ведь раньше всех нас на боевой-то рубеж вышел и пал на нем, всеми брошенный и одинокий. Бондарев, да, в «Горячем снеге» многое нарисовал, но и похитрил, полукавил достаточно с этими положительными отцами-комиссарами, с иконописным советником фронта — Весниным, а дальше уж и вовсе в эстетизму ударился. Последний роман его в «Нашем современнике» я не смог читать, одолел полста страниц и утомился так же, как утомляли всегда его умственные, многозначительные речи, где и слова единого в простоте человек не скажет...

А дела мои крутые. После сдачи романа в «Новый мир», работы изнурительной, обескураживающей, я хотел отдохнуть. Но тут фашисты забегали, красными флагами затрясли, снова к бою и насилию призывают, и Марья моя, страдая за внука, которого замордовали в армии, и изнурившись с моим романом, слегла. В больницу отправилась, а ее туда не завлечешь, ее только утащить туда возможно, — ей, бедолаге, и болеть некогда. А я вот, моральный урод, такой уж моральный урод! Как только моя Марья сваливается — за стол, работать. И захотелось мне выплеснуть на бумагу повестушку о судьбе незадачливого инвалида войны. И хотел я ее взять на шарап, раз, раз и... на матрац. Не-е, паря, силенки уж не те и графоман плодовитый. Пришла Марья из больницы, за стенки держит-

ся, но в деревню меня спровадила. («Чем ты мне тут поможешь? Звони почаще».)

И я засел в деревне-то, засел, и бабу бросил — превыше сил моих и сознания ущербного работа-то. Одновременно внука из армии выцарапывали, бабка получила первую группу инвалидности. Куда уж дальше-то?

Я тем временем накорябал повесть, ноне она называется «Так хочется жить». И опять же Марью, кого больше-то, засадил за машинку. Дело идет к развязке, с повестью-то. Делаю последнюю правку. В конце января из Москвы прилетит Ольга Трунова, мы с нею отредактируем повесть и подготовим ее в 5-й, победный номер «Знамени». От «Нового мира» я решил маленько отдохнуть.

Повесть на 10 листов. Писалась «вне плана», через всякие уж силы и возможности. А тут еще юбилейный год — нет-нет да и настигнет отголосок пьянки. И я полежал в больнице, вроде бы подправился, сил подкопил, но в Москве их и потратил, поскольку не высыпался — уже не могу с ходу войти во время, как раньше бывало, просыпаюсь часа в три-четыре и хоть ты матушку-репку пой, а ведь дела-то надо делать.

Вышла первая книга в «Вече» «Проклятых и убитых» вместе с «Пастушкой», затеивается издание 15-томного Собрания сочинений. На него нужны деньги, и большие. Хлопотали. Выхлопотали под премию и шум премиальный. Издание будет почти благотворительное, из 30-ти тысяч тиража 20 пойдут бесплатно в библиотеки, в основном в рабочие, и только на 10 тысяч будет проведена подписка. Надо бы как-то и тебя «обхватить» с Санькой твоим. Умен он у тебя, но бродяга. Читал его колонку о книжной выставке в Германии — хлестко мыслит и пишет и в отличие от Курицына почти не умничает — в отца пошел, коли и так умен, так чего ж из кожи-то лезть?!

Вот, Саня, доканчиваю работу над повестью и без передыху надо приниматься за Собрание сочинений, надо самому составлять и комментировать, ибо много врут издатели. И снова — срочно! Издание будет осуществляться в Финляндии и за полгода — это чтоб подешевле хоть маленько вышло. А силы мои богатырские оставляют меня, третьего дня закружилась голова, мгновенное отключение — и я упал, да на кухне, об плиту разбил и без того поврежденную половину лица, колено ушиб, на башку шишек насадил. И сейчас голова кружится — на улицу пока не выхожу — боюсь упасть, да и рожа снесена, ска-

жут, Марья Семеновна, наконец-то, добралась до этого эксплуататора, за все обиды, ей во множестве нанесенные за 50-то лет, рассчиталась! И справедливость торжествует! Бог без наказания никого не оставит.

Ну раз меня на юмор повело — закругляюсь и еще раз благодарю тебя за доброе слово о труде, который шибко тяжело мне дается, как бы уж не мне и принадлежит, отчужденно я роман-то чувствую, а вот повесть мне родная получилась, ибо о таком же она мудаке, как я сам.

Ну, поцелуй свою половину, Саше-младшему привет передай. Сегодня Новый Старый год! Дай Бог, чтобы у Вас все было ладно.

Целую, обнимаю преданно — твой ***Виктор***

7.2.95 г.

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Пишу и не знаю, дойдет ли до Вас письмо, но очень уж хочется поговорить с Вами. А если не дойдет и кто-то другой его прочтет — ничего, только на пользу будет.

Дело в том, что Вы сделали меня сегодня, 7 февраля, счастливым человеком. Прочитала Ваше интервью в «АиФ» и расплакалась. Если бы Вы знали, как мне тяжело знать Вас такого, от какого Вы сегодня отреклись — непримиримого, категоричного, агрессивного даже. Таким Вы были в интервью в газетах 80-х годов, в Вашем «Печальном детективе».

Я считаю Вас необычайно талантливым писателем и человеком, а как мне было больно, когда я видела, как Ваше временное, слава Богу, состояние растерянности перед тем негативом, в котором мы жили тогда, люди расчетливые умело использовали для подтверждения или иллюстрации своих убеждений. Мы спорили до оскорблений с одним режиссером нашего театра, собиравшегося ставить «Печальный детектив». Главная его радость: народ обречен. «Этот народ». Я говорила ему о том, что русским литераторам всегда была свойственна милость к падшему, милосердие, а в «Детективе» этого нет, значит, нет там Бога, без которого истинного искусства не бывает. Вдвойне обидно, что все это написано было талантливо. И я будто лишилась друга, нравственной опоры и поддержки, хотя мы не были с Вами даже знакомы.

Слава Богу, что я обрела Вас снова — и в самое трудное время, когда сомневаться в правильности выбора стали самые стойкие демократы. Господи, как люди не понимают, что мы уж все перепробовали на своей судьбе, все, кроме нормального и разумного. И как я рада, что Вы, именно Вы, думаете так же, как и я (простите за нахальство).

Второй раз в жизни ко мне приходит желание написать известному человеку после прочтения его вещи. В первый раз я постеснялась и неисправимо опоздала — Анатолий Эфрос умер. В свое время, да и сейчас, я была покорена той степенью искренности, что была в его книжках. Поэтому на этот раз решила отбросить стеснение. А вдруг и Вам нужно такое общение с читателем?

Немного о себе. Мне 45 лет. Работала и в журналистике, в газетах, на областном радио и ТВ. Год назад работу сменила, чтоб оглядеться, перевести дух. В журналистике я свое хлебнула: три судебных процесса, два выиграла, один, связанный с ГКЧП (самый бесспорный в мою пользу), — проиграла, а чуть позже, его проиграла и страна — не так обидно. Живу в провинции, сын — студент — он Ваш поклонник, хотя и из нового поколения. Муж — капитан 2-го ранга, подводник. Обожаю провинцию. Объехала Карелию, Архангельскую область — удивительные места. В Сибири не бывала.

Жизнь у нас несладкая. «Первые» партейцы пересели в АО газа, нефти, алмазов, а на свое место пересадили «второй эшелон». Живем в богатейшем районе, а толку...

Извините за отнятое время.

Вам и всей Вашей семье доброго здоровья и поклон с Белого моря.

С уважением, Т. Тимоха

23.2.95 г.

Дорогой Виктор!

Отправил тебе письмо, после этого три дня ошивался в Москве, устал до потери сознания, добрался до Пахры и день пролежал на диване, отходил. За эти три дня пообщался с разными людьми, прочитал беседу с тобой в «ЛГ» (с этого года не выписываю), которую, конечно же, не обходят вниманием разные люди. Из-за нее-то и сел за

письмо, хотя, может быть, зря. Не знаю, как ты, а я очень дорожу нашими отношениями и, как мне кажется, лучше многих вижу твое место в литературе русской, высоко тебя ценю и потому не хочу никакой кривды между нами.

Правда, однажды я уже пытался вызвать тебя на разговор, писал тебе, но на то письмо ты не ответил. Может, и теперь не откликнешься... Сказали мне, что есть еще одно твое интервью — в «Аргументах и фактах», этого я не читал. А вот в «ЛГ» прочитал довольно внимательно, и кое-что меня сильно задело.

Витя, я не из хора твоих нынешних критиков, я сам по себе, более того — где могу, тебя защищаю, хотя не всегда это удается. Поэтому все, что я здесь скажу, это — мое отношение к твоей позиции, к твоему взгляду на события. Если где-то в чем-то оно совпадает с другими, это не значит, что я выражаю групповые страсти. На митинги я не ходил и не хожу, в партии и движения ни в какие не вступаю (хватит одной, которую, слава Богу, прикрыли, а в новую не прошусь), создал клуб независимых, сейчас им руководит Володя Костров, человек порядочный, клуб объединяет более двухсот московских писателей, людей некрикливых, скромных.

С либеральными иллюзиями я распрощался, помогли демократы. А как жить, как обустраивать Россию, — я не знаю. Только вижу, что западная демократия в российском варианте — это нечто настолько уродливое, воровское, бесовское явление, что и сравнивать-то не с чем. Как-то в телефонном разговоре со мной ты сказал, что главное для тебя — чтобы не было гражданской войны. А как иначе назовешь войну в Чечне — внутри России? Армию тоже развалили. Ты в свое время мог хотя бы подумать, когда в 42-м был на передке, тянул нитку связи, чтобы отказаться идти в бой?! Словом, порушили демократы, пожалуй, не меньше, чем коммунисты в 17-м году. Те хоть державу сохранили. А эти в хватательных рефлексах превзошли коммунистов, гребут под себя бессовестно и открыто, не стесняясь, детей своих пристраивают учиться в Америке, внедряют в коммерческие структуры, в дипломатические и прочие ведомства, строят особняки... и лицемерят, лгут — на каждом шагу, в каждом выступлении. Я согласен с Володей Максимовым и с Александром Исаевичем, что нынешняя власть по бесстыдству, демагогии, нелюбви к народу и России превосходит своих предшественников, которые, как ты знаешь, преуспели в этом.

Ты посмотри на писателей-царедворцев, которые шьются возле Ельцина и правят бал. Черниченко — любимый герой телеэкрана — на втором месте после Жириновского. Разве по лицу не видно, что это больной человек? Это он 3 октября 1993 года призывал по радио «Раздавить гадину!» Нуйкин! Прозелит. Ястреб. Демократ № 2 после Новодворской. Брызжет злобой и отравленной слюной. Он и Алла Гербер (лучше бы — Цербер) заседают в Думе! Стукач Савельев (знаешь такого поэта?) вместе с Оскоцким (знаешь такого критика?) руководят то ли Содружеством, то ли Союзом писателей-демократов... Визжит на встречах с Ельциным Мариэтта Чудакова, просит вернуть старухам «гробовые деньги», тогда, мол, дорогой Б. Н., они проголосуют за вас на президентских выборах. Да до этого он в вытрезвитель попадет!

Словом, не скушно на этом свете, господа, если все это не дурной сон...

Все мы герои и все мы изменники,
Всем одинаково верим словам.
Что ж, дорогие мои современники,
Весело вам?

Когда это написал Георгий Иванов — а прямо ложится на сегодняшний день. Мало изменилась Россия. Да если и изменилась, то — к худшему. XX век катастрофичен для русского генофонда.

Вот ты тоже про фашистов заговорил вслед за некоторыми писателями-демократами. Виктор, если бы они были главной опасностью — эти шуты гороховые со свастикой! Да это не в нашей природе, никогда на Руси фашизм не пройдет, если демократы своим воровством повальным и продажностью, презрением к народу сами не приведут их к власти.

Ты обратил внимание, как нынешние политиканы, которым, ради собственных амбиций и корысти, плевать на Россию, вдруг заговорили о *патриотизме*, прибавив к нему эпитет «просвещенный»? Так же Сталин спохватился в 41-м, вспомнил про русский народ, когда жопу поджаривать начали. Ты, солдат-окопник, называл себя патриотом, да еще просвещенным, когда кормил вшей на передке и шел под пули? Думал об этом?

Нет, Витя, не вижу я просвета для России, для народа, пока эти оборотни у власти. Ты спросишь — а кто? Вот этого я не знаю, оттого и мучаюсь в раздумьях о завтраш-

нем дне, в котором мне уже и жить-то с гулькин нос... А ведь останутся внуки, что им-то мы уготовили?

Правда, по твоему интервью у вас в Красноярске уже что-то вроде коммунизма наступило, «бабы одеты в меха, в дорогие меха, в соболя. Мужики — в кожу. Детки, как попугайчики, нарядные». А рабочий и пенсионный люд трех поселков ездит на иномарках. Тогда вовсе непонятно, чего они «ругают власть». В своей губернии, в том же Архангельске, хоть и портовый город, а иномарки я видел: раз-два — и обчелся. Да и мехов что-то незаметно, хотя в северных суземах зверь еще водится. Конечно, нынче многие носят и дорогие меха, и дргоценности, и ездят на иномарках. Но — кто? А вот кто робит в деревне, вкалывает по-мужицки (есть еще такие!), он-то что получает? В чем ходит и что ест?

Есть и среди нашего брата старики, которые легко приспосабливаются. Вот «фронтовая корреспондентка «ЛГ» Ришина» (это я так назвал ее в печати, когда она писала злобные донесения с фронта борьбы за имущество между двумя Союзами писателей) «наводит» тебя на Гранина, а я, после его вертуханий, уже не могу читать этого господина. Почему? Да потому, что видел, как он чуть ли не в обнимку позировал на телевидении с последним секретарем Ленинградского обкома партии Гидасповым, через год, вместе с Г. Баклановым и Шатровым, тиснули в «Московских новостях» верноподданническую статейку на тему «Руки прочь от Горбачева», а еще через год написал холуйскую рецензию на антигорбачевскую книгу Ельцина, за что был удостоен звания Героя Соцтруда и введен в президентский совет. После этого — что он ни напиши, я уже ничему не поверю. Все будет ложь.

Ты вот в конце своей беседы с Ришиной сказал, что видишь «силы», способные возродить («воскресить») Россию. Где они, кто, к кому прислониться, приткнуться, в кого поверить? Ей-Богу, я что-то нынче совсем и во всем разуверился, это плохо. Ведь в конце-то концов Россия оживала после многих смут. Только в нынешнее время чудо уже не спасет, надо что-то реальное, жизненное, молодое, сильное, что могло бы стряхнуть с людей одурь и заставить их жить по людским законам.

Понаписал я тут тебе всякого — не сердись.

Поначалу-то думал: напишу-ка я своему другу открытое письмо через «ЛГ», конечно, постарался бы написать его иначе, в ином ключе, да потом рассудил, что меня

туда и на порог с таким письмом не пустят. Я знаю, какую роль в редакции газеты играет Ришина (знаю по фактам) — самая яростная русофобка. Да, видимо, и не надо выносить на люди то, в чем мы расходимся. Пусть уж будет все между нами. Коли захочешь — ответишь.

Да поможет нам Бог, хоть вот и поздно мы о Нем вспомнили.

Всего тебе доброго, Витя, не откладывай надолго третью книгу романа.

Обнимаю — твой ***Ал. Михайлов,***
Пахра

1.3.95 г.

Дорогие лысьвенцы!
Дорогой редактор Ворошеин!

Я был удивлен и обрадован, получив Ваше письмо и газеты с письмами читателей. С времен молодости я пристально смотрю провинциальные газеты, особенно и в первую очередь «родные» — районки и городские.

Вижу, как скромно Ваша газета оформлена! Но какая она неузнаваемая! Была тихонькая, более чем скромная, со снимками стахановцев и стахановок за станком и на тракторе, с детьми, загорающими у пруда, а читать в ней было нечего, ее лишь «смотрели».

И вот, прочитав присланные мне номера, увидел, что лысьвенскую газету делают мужики умелые и неробкого десятка — используют с толком благоприятные для журналистов времена. Иной раз я аж вздохну горько и завистливо: «Эх, мне бы в такое время, да в газету бы...»

Что же касается неоднозначного отношения к роману, я и по письмам знаю: от отставного комиссарства и военных чинов — ругань, а от солдат-окопников и офицеров идут письма одобрительные, многие со словами: «Слава Богу, дожили до правды о войне!..»

Но правда о войне и сама неоднозначная. С одной стороны — Победа. Пусть и громадной, надсадной, огромной кровью давшаяся и с такими огромными потерями, что нам стесняются их оглашать до сих пор. Вероятно, 47 миллионов — самая правдивая и страшная цифра. Да и как иначе могло быть? Когда у летчиков-немцев спрашивали, как это они, герои рейха, сумели сбить по 400—600

самолетов, а советский герой Покрышкин — 2 — и тоже герой... Немцы, учившиеся в наших авиашколах, скромно отвечали, что в ту пору, когда советские летчики сидели в классах, изучая историю партии, они летали — готовились к боям.

Три миллиона, вся почти кадровая армия наша попала в плен в 1941 году и 250 тысяч голодных, беспризорных вояк-военных целую зиму бродили по Украине, их, чтобы не кормить и не охранять, даже в плен не брали, и они начали объединяться в банды, потом ушли в леса, объявив себя партизанами...

Ох, уж эта «правда» войны! Мы, шестеро человек из одного взвода управления артдивизиона — осталось уже только трое, — собирались вместе и не раз спорили, ругались, вспоминая войну, — даже один бой, один случай, переход — все помнили по-разному. А вот если свести эту «правду» шестерых с «правдой» сотен, тысяч, миллионов — получится уже более полная картина.

«Всю правду знает только народ», — сказал незадолго до смерти Константин Симонов, услышавший эту великую фразу от солдат-фронтовиков.

Я-то, вникнув в материал войны, не только с нашей, но и с противной стороны, знаю теперь, что нас спасло чудо, народ и Бог, который не раз уж спасал Россию — и от монголов, и в смутные времена, и в 1812 году, и в последней войне, и сейчас надежда только на Него, на Милостивца. Сильно мы Господа прогневили, много и страшно нагрешили, надо всем молиться, а это значит — вести себя достойно на земле и, может быть, Он простит нас и не отвернет Своего Милосердного Лика от нас, расхристанных, злобных, неспособных к покаянию.

Вот третья книга и будет о народе нашем, великом и многотерпеливом, который, жертвуя собой и даже будущим своим, слезами, кровью, костьми своими и муками спас всю землю от поругания, а себя и Россию надсадил, обескровил. И одичала русская святая деревня, устал, озлобился, кусочником сделался и сам народ, так и не восполнивший потерь нации, так и не перемогший страшных потрясений, военных, послевоенных гонений, лагерей, тюрем и подневольных новостроек, и в конвульсиях уже бившегося нашего доблестного сельского хозяйства, без воскресения которого, как и без возвращения к духовному началу во всей жизни, — нам не выжить.

До третьей книги далеко, а до юбилея уже близко, вот и написал я новую повесть о судьбе военного инвалида.

Идет она в № 4 журнала «Знамя». Писалась она уже сверх сил, тоже надсадно, да еще в ту пору, когда моя помощница и домовод, Марья Семеновна, в тяжелейшем состоянии лежала в больнице, и потому я затянул с ответом. Да еще ведь и текущие, общественные дела не обходят меня стороной, и народишко докучает жалобами и просьбами.

Но все это жизнь, повседневное бытие, куда же от жизни денешься? Пока ноги ходят, руки ручку держат, башка хотя и болит, но думает, — надо шевелиться.

Мой низкий Вам поклон! Отдельный поклон городу Вашему, где жили и еще живут дорогие моему сердцу люди. Поклон и Уралу, уже воистину седому, старому и мудрому, хотя и обобрали его разбойники и варнаки всякие.

Преданно Ваш ***Виктор Астафьев***

Я же, которая Мария Семеновна, закончившая когда-то Лысьвенский техникум и потому редко, но получаю поздравления, краткие, чаще деловые письма и просьбы — прислать книги либо что-нибудь, узнала от них, что при техникуме том (теперь он зовется иначе, по-моему), что там есть архив. Меня же, к сожалению, и в первую очередь интересует: есть ли архив участников Великой Отечественной войны? Мне бы очень нужно «определить» документы, фотографии, награды, удостоверения и пр. брата моего, умершего, проживающего в Лысьве ранее, инвалида войны Корякина Сергея Семеновича 1914 г. р. Дело в том, что из детей у нас остался один сын с семьей, живет в Вологде, с дядей (моим братом) виделся он раз-другой — на юбилее Виктора Петровича, в родственно-близких отношениях с ним не был, и мне более некуда обратиться с этой печальной просьбой, а мне бы, пока жива, надо бы пристроить документы и пр. своих родных — братьев, сестер, дядьев и т. д.

Заранее благодарю (или прошу извинения за беспокойство) —

Мария Корякина-Астафьева

[1995 год]

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Прочитала я статью «Край жизни» и решила написать про своего деда, Кочева Арсения Ванифатьевича, участника войны, инвалида, погибшего на производстве в 1946

году на Урале, г. Миасс, пос. Мелентьевский. Знаю его по рассказам матери и общалась с ним только семь месяцев, когда он пришел с войны. До 1939 года жили они в Забайкалье в г. Сретенске. Жили зажиточно: было хозяйство, заимка в тайге, всякие соленья, варенья и прочее.

Дед участвовал в революции до установления советской власти в Забайкалье. Был в плену, кажется, у Колчака, выводили два раза на расстрел, но возвращали. Потом бежал. Был на Халхин-Голе. Только зажили хорошо, кому-то понадобилось отправить его на Урал, на какой-то угольный разрез, работал механиком на горнорудной фабрике. Жили в большой нужде. Если сравнить с нынешним временем, то просто нищенствовали — не хватало еды главным образом.

В январе 1942 года ушел на фронт, в 45-м был тяжело ранен — были разорваны ноги от паха до колен, кое-как перевязал сам себя и пополз по дороге, делал отмашку проходившим машинам, иная останавливалась, но... с машины (кто ехал) отчего-то, как сговорились, кричали «не наш» и ехали дальше. Он уже был без сознания, когда его подобрали и сдали в госпиталь.

Я только помню, что если кто из знакомых зайдет и угостит его самогонкой, он выпивал, плакал и все пытался петь какую-то странную песню (слов не запомнила). Жили мы в 11-метровой квартире-комнате, если точнее — 11 человек, зимой у порога жила с нами и коза. Мама учительствовала в две смены и, когда вечером приходила домой, из карманов пальто, перешитого из шинели, доставала маленько чего-нибудь съестного — кто-то из учеников ей незаметно заталкивал в карманы: то краюшечку, то что-то наподобие блинов, иногда сахарок.

И вот случилась беда: в помещении фабрики под давлением прорвало трубу, деду ударило в глаз, глаз вошел в мозг, при падении разбил мозжечок. Через три дня умер наш дед. Бабушке выдали пособие две тысячи рублей, а жилья для нашей семьи так и не нашлось.

Бабушка умерла лет через восемь после деда, от гангрены. Происходила она из поляков, была очень красива. Мама походила на нее, но теперь и ее уж нет в живых...

Зачем я все это вам, Виктор Петрович, рассказала, сама не знаю. Простите. Скажу только, что в моей семье очень любят читать книги, особенно Ваши. Спасибо! До свидания.

Кочева Лидия Васильевна

[Март] 1995 года

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Пишу Вам — а может быть — никому после того, как прочел в красноярском «АиФ» Ваше интервью с Михаилом Успенским. Надоели Вам, наверное, такие послания — все пишут, пишут Астафьеву: кто протекции просит или рекомендации, кто с книжкой своей суется. Мне, в общем-то, есть дело до того, что Вы сказали, — какой уж я писатель — Бог весть, но я пишу, замкнулся на истории Петра, а живу в провинции. Тема петербургская, вроде граду Петра и Петр ближе, но что делать, если меня захватила «несибирская тема». У нас ведь до последних времен культивировалось какое-то дурацкое понятие провинциального писательства. Раз ты сибиряк — пиши о Сибири, раскрывая красоты края, описывая жизнеутверждающие начала в диком краю. За редким исключением провинциалу «разрешалось» забраться в историю европейской России, и даже для этого ему нужно было перебираться в столицы. Вот и получалось: Астафьев пишет о Чусовом, Игарке; Распутин — о Байкале и Ангаре; Белов — о Вологде. Уж не знаю, кого в этом винить — КПСС или какую-то самоизолированность?

Мне 32 года. У меня нет Вашего опыта, я не знаю, как на Вас давили партийцы, что и как заставляли писать. Я только думаю, что понятие «провинциальная литература» напрочь отсутствует где бы то ни было. Только у нас. А то, что провинциализм в русской литературе существует, это как раз пример «большого культурного невежества».

Вы говорите: «Мы изживаем этот век невежества», но почему же изживать тогда надо-то, надо, но пока это произойдет...». Почему же «пока», когда это уже происходит. Я имею в виду не только себя и не только писателей. Почему мы боимся стать столичной культурой? Да у меня есть свое корыто, капуста, картошка, но я не болото. Я не могу даже сейчас думать только о капусте. Мои мозги погибают от одной только мысли, что это — вечный удел. Я хочу думать о Петре, об Истории, которая дает мне надежду выкарабкаться из болота. Я хочу рассказать об этом всем, потому я и пишу о том, что хочу. Но я и в мысли не хочу держать то, что я — провинциал, что надо мной потолок, выше которого не прыгнешь.

Вам может показаться смешным, что какой-то неизве-

стный бумагомаратель берется потрясать основы. Тот же М. Успенский уже заметил мне, что у всех провинциалов есть этот комплекс непризнанной гениальности, донкихотства.

Я, вообще-то, почему на Вас так рьяно набросился? Просто, вращаясь изредка в кругу красноярских писателей, заметил, что имя Виктора Петровича Астафьева всеми упоминается чаще, чем другие имена. На Вас смотрят, к Вам прислушиваются как к писателю, заметно оторвавшемуся от провинциализма, которого знают на нашем олимпе.

Конечно же и я не могу не прислушиваться к тому, что говорит Астафьев. Но когда Астафьев говорит, что не до провинции, выжить бы, пережить бы «век культурного невежества». Да как же его пережить, коли провинцию не пестовать. Если оставить все по-старому — езжай-ка, мол, молодой да ранний, в Питер, в Москву, становись в очередь в толстый журнал, — то кто же будет в провинции болото-то осушать?..

Простите, Бога ради, мою запальчивость, но не понимаю я этого. Это ведь «непозволительная роскошь» на такую здоровую, глупую, нищую страну иметь всего один-два центра, где развивается культура, искусство. Мы ведь все с Европой равняемся, но в Европе наших центров десятки, сотни. И то, что там называлось удельными княжествами, на самом же деле это были очаги культуры. Что ни город, то произведение, что ни провинция — то старинный храм, имя, история. Я был в Германии, я видел, что там есть. Даже обыкновенный жилой дом посмотреть — на нем... какой-то год. Там совершенно другое понимание истории — она окружает повсюду.

А чем же похвалимся мы, великороссы? Жил в Красноярске Суриков, да и он уехал в столицы, чтобы не сгореть впустую. Он ехал за признанием. Почти сто лет прошло с тех пор, а ничего не изменилось. Виноваты ли в этом одни коммунисты с их допотопным самодержавием? Да нет же. Провинция сама от всего отказалась, от первенства отказалась или хотя бы от стремления к нему. Зачем же продолжать старое?..

Не верю я Вам.

Я не знаю, что и как я смогу сделать сам. Устаю сам себя на плаву держать, писать по ночам, друзей искать. Может, моя писанина и не нужна никому, может, и не напечатаюсь никогда... Да черт с ним. Но ведь что-то я

уже написал, сделал. Может быть, сыну моему или дочери как-то поможет — поможет удивиться, что их отец, заурядный инженеришко, в заурядном городишке, в сером тупоумии, посреди болота, захотел, посмел сделать что-то не от мира сего. Может быть, у внуков моих останется в предании моя попытка, и у них будет в памяти чувство гордости...

Простите еще раз за сумбур. Писал с надеждой, что мои слова переубедят Вас. Нельзя же так ставить крест на всем. Неужели опять «вавилонской блуднице», зажиревшей, зарвавшейся столице можно передоверять свое возрождение...

Всего доброго. ***Холкин Борис,***
г. Ачинск

26.3.95 г.

Дорогая Маргарита Георгиевна!

Занятость и ужасная суета гнетут меня, как и прежде, но я все же с подбегом, с перерывами прочел Ваши миниатюры. Хватка литературная у вас уже есть, но как-то все у Вас недописано, порой и недодумано, сочинено как бы на ходу и потому порой неряшливо. В таком виде в серьезное издание эти этюды предлагать бесполезно. Но вот что я подумал: из всего этого можно сделать повесть от лица женщины, намотавшейся по свету и навидавшейся всякой всячины. За основу нужно взять рассказы из жизни на озерах, а главы уплотнить в неторопливое, но единое повествование, куда войдут и рассказы-воспоминания о детстве и даже рассказ об аборте. Ох, какой это тяжелый и нетронутый нашим блудливым пером материал. Одна лишь Лена Ягумова отважилась написать об этом страшное, горьким криком овеянное стихотворение.

Словом, материала в папке уже достаточно для небольшой пронзительной повести. Представляю, сколько его еще в Вашей памяти и за душой. Дерзайте! Пробуйте!

Ваш муж Сережа прислал мне приглашение «на гусей и на рыбу», и я было встрепенулся, позвонил даже своему спутнику по рыбалке, работающему в авиаотряде, но вот съездил в Саяногорск на три дня и понял, что для лесных походов и отрыва от дома, пусть и ненадолго, не гожусь. Одряхлел. Легкие больные и всякие геморрои не распола-

гают терпением и удобствами. Поблагодарите его и скажите, что разбередил он мою душу и только. Поеду в Овсянку огород садить и пузо разминать в ближних походах, которые в мои годы уже называются прогулками, даже не гуляньями, далекие, счастливые таежники это поймут.

Желаю во всем успехов, удачи в большом и малом! Скорой вам весны и тепла!

*Преданно — **В. Астафьев***

20.04.95 г.

Дорогой мой Женя! (Носов)

Как ты там, на самой на границе с сопредельным государством живешь? Чего жуешь? Бульвоном, небось, питаешься? Брюхо болит? Пьешь только чай и узвар, как его называют донцы-молодцы.

Я в детстве не видевший в глаза ни яблок, ни груш, ни прочего фрукта, думал, что это что-то подобное кулаге, которая из калины напаривается. Она, эта кулага, была тем знаменита, что, растворившись дотла в какую-то сладчайшую жижицу, в загнетке русской печи обратившись, шла насквозь до самых до штанов, потому как трусов-то не было, а штаны стирали от бани до бани, то и ходишь нараскоряку от засохшей в штанах кулаги, и чирку бедную всю изотрет до костей и оттого она, испуганная, и оставалась в детском возрасте на всю жизнь. А коль я пишу для того, чтоб поздравить тебя с нашим горьким днем, то никакой политики и философии касаться не буду, а стану тебе рассказывать только славные боевые эпизоды из жизни своей и окружающей меня самой героической армии.

Значит, впервые я попал на фронт в Тульскую область, на границе с Орловской. Наступление наше началось почти серединой лета, во фланг Курско-Белгородского выступа. Гениальный тут замысел был: отсечь, окружить сосредоточенные на дуге силы противника и «на плечах его» — как говорил Василий Иванович... закончить войну еще в 1943 году. Ни хера из этой затеи не получилось, как из многих затей наших мудрейших... умылись кровью и те, и другие, немец отвел оставшиеся силы, оставив и Курск, и Белгород, да и заманил в харьковскую ловушку

шесть наших армий — округлил, паразит, шестерку за шестую армию Паулюса...

Но речь не об этом. Туго, медленно продвигаемся вперед, часть наша почти сплошь сибирская, на Дальнем Востоке, в какой-то бухте спасалась и вышла оттудова вся в чирьях. Вот в одной орловской деревушке увидели мы черешню. Спелая, алая, и кто-то из чалдонов громко удивляется: «Гляди-ко, ягода кака хрушка, а растет на дереве, как наша черемуха». Тут же какой-то неустрашимый сибиряк влез на дерево — попробовать. «Ну кака ягода? На скус-то?» — «А навроде нашей костяницы и кислицы совместно» (кислицей у нас красную смородину зовут). — «Ты, еппой мать, пьяной, чё ли? Как ето может быть, чтоб и костяница, и кислица?!» «Нате, сами пробовайте!» — кричит с дерева чалдон, и поскольку вырос он в диком лесу, привык все ломать, рубить и жечь, то наклоняет вершину черешни, а черешня, да еще старая, — дерево ломкое, как тебе, великому натуралисту, известно. Словом, сломилась вершина-то и промысловик вместе с нею вниз сверзился, ничего вроде не переломал на себе, но ахает, хромает, а ребята черешню едят и соглашаются, что и на костяницу, и на кислицу, и еще на что-то ягода похожа скусом, головой качают: «Н-ну, блядь, и земля-а-а! Ну все на ней непонятное! И как тут люди живут?» А из людей баба явилась и говорит: «Вы зачем, дураки, дерево спортили? Зачем вершину сломили?» «А как же иначе-то? Мы завсегда хоть черемуху, хоть рябину — если не нагибается, ломам или пилим, не рубим, а спиливам, чтоб ягоды не осыпались, и так берем» «Дикий вы народ!» — покачала головой баба и, махнув рукой, ушла прочь.

А в Сумской области первый раз, попав в сады уже в августе иль в сентябре, наелись мы слив до отвала, и тоже, как от кулаги, обдристались все, и врага били беспощадно, и гнали прочь — в засохших галифе, и снова бедную чирку, свету не видавшую, еще и бабу не нюхавшую, терзало, будто наждаком обстругивало, аж отруби из штанов сыпались.

Хотел еще тебе описать, как под городом Львовом я обосрался и здорово обосрался, килограмма на два с половиною опростался (сейчас вон полено осиновое в зубы беру, чтоб крику не слышно было по городу и за два дня едва закорючку выдавлю, бледную-бледную, на червяка похожую), а тогда в духе еще в сильном был: раз — и готово, полные штаны — враг на два километра отходит,

не выдержав моей вони! А ежели полк, дивизия, армия опростается? Так вот, этой страшной вонью мы и допятили культурного врага до границы, а потом все его логово обосрали. Но я там уж не участвовал. Жаль! Война бы на неделю раньше закончилась, ежели б там я был и по утрам опрастывался...

В «Знамени» № 4 вышла моя повесть о судьбе инвалида войны, и там ты, ежели посмотришь, многие занятные эпизоды этакого рода узришь. А пока я тебя обнимаю, целую и поздравляю, что дожили мы до этой даты, но хорошо это или плохо, с уверенностью сказать не могу. Порой бывает так уж противно жить, что хочется покою. Но вот наступила весна, я засобирался на ток глухариный, в тайгу — и сердце встрепенулось. Весь праздник, и день рождения свой, и этот горький день Победы постараюсь пробыть в тайге. Там я себя равноправным существом чувствую, а здесь, как деревянная куколка на нитке: и дергают, и дергают со всех сторон, и то ты кверху жопой, то вниз головой — фашисты наши во главе с недоноском нашим — Пащенко — за меня взялись, но я отбиваюсь, работаю, иначе... даже на юмор еще гожусь. Скоро в деревню, огород садить, то-то отдохну.

Будь здоров, старичонка!

Вечно твой ***Виктор,***
Красноярск

24.4.95 г.

Дорогой Виктор!

У нас натикало порядочно времени с того дня, как я получил твое последнее письмо. А время набежало по моей неосмотрительности: надо было сначала ответить тебе, а я, не ответив, сел писать рассказ. Рассказ тоже нельзя было откладывать, потому что он про войну, а про войну следует писать до 9-го Мая, а не после. После печатать уже не станут. Любой редактор скажет: «А где ж ты был раньше-то?» Все уморились от этой войны: и редакторы, и власти, и сами ветераны, что не чают поскорее с этим покончить.

Учитывая все это, я и пустился писать во все тяжкие. Тебя уж вовсю по радио транслируют, а я только сел сочинять. А поскольку было сказано, что я должен поставить точку не позднее 15-го апреля, то пришлось мне ру-

копись передавать с поездом. Рукопись сырая, плохо отпечатанная, плохо вычитанная: я писал, а внук печатал, одним пальцем, не понимая многих слов и изображая их по своему усмотрению.

Сегодня должна звонить из «Литературки» Ришина: она хочет знать, как я смотрю на войну по прошествии 50 лет. А я ей отвечать не стану, потому что на мое 70-летие они напечатали мой портрет без текста... У них нечего было обо мне сказать. А я еще не все забрал у них присужденные мне премии. Последнюю — какую-то хрустальную вазу — так и не удосужился заехать забрать...

Ну, ежели у них не нашлось слов, то и у меня для них тоже кончился алфавит.

А мстят они мне за два момента. Первый: тут жена одного нашего общего с тобой друга наладилась приезжать. Тут у нее завелись подружки — директрисы школ, они ее приглашают за школьные гроши, оплачивают гостиницы, устраивают ужины. Как-то притащила с собой из Москвы и Игоря Золотусского со съемочной бригадой. А Золотусский уже писал сценарий фильма про ее покойного мужа, и они вместе красовались на экране. Ну да Бог с ними. А тут решили было подключить и меня в их-ние планы. Ну я, может быть, и подключился бы, если б заранее был предупрежден, но не походя, а как бы просто поставить меня перед фактом их намерений. Я же не дворовый холуй и послал их подальше, ну, не послал, а просто не отвечал на их звонки и домогательства. Дело дошло до того, что они решили меня «накрыть» поздно вечером. Но ведь ночевать-то домой я должен же приходить! Но я тут не открыл, слышал, как какой-то бойкий оператор костерил меня на лестничной площадке — ему же камеру таскать, но моя отмычка не срабатывала на одно только то, что они же явились из Москвы и все должны падать ниц...

2-й момент: в день моего юбилея газета «Завтра» («Прохановка»), не спросив меня, перепечатала из «Поля Куликова» мой рассказ и... печатают мой портрет в нижнем углу полосы, без подписи, а сверху — огромная статья о Чечне — с очевидным намеком. Утонченная гнусность!

А вообще — на курской земле становится суматошно. 2—3 мая предстоит открытие на южном фасе Дуги обелиска под Прохоровкой, а также нового храма, посвященного памяти павших под Прохоровкой. Обе эти работы принадлежат, опять же, Клыкову. На открытие приедет

Глеб Паншин с женой (она у него за механика и продюсера), ну и конечно, крупное начальство, приедет и В. Г. Распутин.

А 23—25 мая там же состоятся Дни славянской письменности и приедут литературные современные начальники. Я к чему это? Не хочешь побывать в наших местах?

А дома у меня: Валентина лежала в больнице — парализовало, теперь уже дома, малость полегчало. Самое это скверное, что может случиться с человеком, самое страшное, кажется, позади... Жизни нашей подходят пределы. Надо бы мне собраться с силами и временем да и почистить бумаги: кое-что отдать, чего-то спалить. Все мы на крюке, но та, костлявая, не поспешает вроде пока крутить спиннинговую катушку, лишь иногда придержит леску, чтобы сильно-то не выпендривался, но уж освободиться от того крюка никогда и никому не позволит.

Поздравляю с огромной трансляцией романа. Желаю скорого и благополучного переезда в Овсянку, на землю, в сухую избушку.

*Поцелуй Машу. Твой — **Женя (Носов)***

Ну, а ружьишко. Тоже ведь здорово. Еще постреляешь — ведь не утерпишь из нового-то жахнуть. Хотя... годков бы на десять пораньше, когда в глазу не двоилась мушка.

Что касается «Почетного гражданина», то, поздравляя, думаю вот, что это эфемерное звание — не знаю, но думаю, дает же какие-то привилегии, бесплатный билет — проезд на автобусе от городского пункта А до городского пункта Б. А как насчет бесплатного проживания, бесплатного телефона и пр.? А вот наше курское начальство отчего-то даже стыдится своих почетных граждан, потихоньку убрало их портреты и вообще о них ни гу-гу. Лично я в почетных хожу уже 12 лет. Как-то хотел купить жел. дор. билет, но кассирша повертела мое удостоверение и сказала: «Это нас не касается».

И больше я ни разу не раскрывал это удостоверение. Наверное, и все твои привилегии на этот счет — чистая самодеятельность и благая воля вашего начальства, а не буква закона. Ну что ж, и на том спасибо, если не станешь его поносить.

Ах, Россия, Россия, где все ходят под Богом, а не сами по себе.

Пытался услышать о тебе на недавнем съезде российских писателей. Но тебя, похоже, там не было. Я тоже не

поехал и таким образом автоматически выпал из списка секретарей правления. Не поехал потому, что не хотел окунаться в клановые разборки и в лжепатриотизм. Валя говорил что-то о чистоте русского языка, что само по себе и правильно, но никому не интересно. Думаю, новый генсек может дипломатично сохранить тебя в секретарях, дабы не лезть на рожон. Вообще-то, мне тайно хотелось, чтоб ты побывал на съезде — с тем расчетом, что ты, как в былые времена, взял бы да и завернул в Курск, до нас 7 часов езды на поезде. А то когда теперь увидимся и увидимся ли вообще? С каждым новым годом, с каждым месяцем, даже днем мы будем лишь что-то терять, а не приобретать. Пришло время необратимых потерь: здоровья, сил, возможностей. Все это мы про себя знаем, но для вида еще хорохоримся, строим планы и стараемся жить наивным самообманом, что живем по-прежнему полнокровной жизнью, а не старческой самомнящей суетой.

Лично я почти полностью утратил тщеславие, которое прежде еще двигало пером, писать стало трудно, да и неохота, все больше убегаю от бумаги, ловлю себя на том, что с удовольствием чиню будильники, вдуваю в них новую жизнь, реанимирую их изношенные сердца; строгаю новые поплавки, которых накопил уйму, а на рыбалку хожу все реже, да и рыба вроде бы перевелась, а та, которая еще водится — изуродована Чернобылем, до которого от нас рукой подать и которым мы по горло сыты.

Витя, дорогой, пуще всего береги себя.

Обнимаю и целую тебя — твой ***Евген***

9.5.95 г.

Здравствуйте, Мария Семеновна и Виктор Петрович!

Сегодня 9 Мая, и я скрылся в лес, как делаю это многие годы. Сидел на могиле отца, пил Реми Мартин, пел песни, а сейчас пишу Вам — в Сибирь. В этот год отношение у меня к празднику очень непростое. Умильные братания ожиревшей до состояния свинины сановной братии с ограбленными ими же калеками войны, с их изношенными до предела окопными друзьями давно уже меня не удивляют и не потрясают. Чего не простит русский человек за стаканом! Пришло и давно пришло также ясное осознание плодов Победы. Кто собрал эти плоды, на-

питанные не соками земли, а соками человеческой плоти, как использовал, куда продал, а многие и просто сгноил, как худой и негодный хозяин. Это я все знаю. Бывало, правда, обидно, когда некий американский философ, трясся перхотью в бокал, спокойно доказывал мне, что по результатам сегодняшнего дня реальным победителем в этой войне объективно является самая умная, богатая, красивая и т. д. страна — Соединенные Штаты. Ну, и он, разумеется... как представитель ее и одновременно еще одного маленького веселого государства. Возразить мне было особенно нечего, да и удовольствие доставлять этому пигмею горячей полемикой также не особенно хотелось. Я глядел в московское окно, за окном валила толпа москвичей. Веселая молодежь, как и положено любой молодежи, играла свое маленькое представление, но почему-то делалось нехорошо, невесело от их смеха, от слов, от песенок, от какой-то тупой беззаботности. Победа — это ведь освобождение. Но мы, видимо, ни хрена ни от чего не освободились. Сейчас уже ясно, что выросла новая генерация рабов. В новой, правда, яркой упаковке, более на вид симпатичная, но с тем же старым предназначением работать на дядю, сейчас уже, похоже, на англоязычного. Это народ. Все то, что народилось (по Далю). Это для него и придумано печатное заклинание — «народ всегда прав» — чтобы он, народ, не сильно думал о грехах своих, ведь на то и вожди, чтобы думать за него и отвечать за него. Чтобы не влезла в бедную головушку мысль о том, что грешить можно скопом, толпой, нацией, а вот отвечать придется каждому в отдельности. Пока конвейер — гениальный вождь — сука — новый «гениальный вождь» — действует безотказно. Ведь главным механиком конвейера состоит великое русское чиновничество, не изменившееся ни в чем со времен Гоголя. Пожалуй, только ставшее кровожадней. Не ленины—сталины—брежневы лепят народ, это он сам выдавливает из недр своих эту мерзость на поверхность, коронует ее и полосует ею себя самого, и сколько так будет?..

Сейчас и о русских-то можно говорить уже только в целом. Мы похожи на разбавленную брагу. Нет градуса — на вкус коровье пойло. Сейчас активно вливается кавказская мразь, а и узкоглазый народец всех оттенков тоже глядит все нахальнее и веселее. Новый Вавилон закручивается здесь, у нас, на наших бывших хлебных полях. И все-таки...

Существует один огромный исторический факт — Парад Победы в Москве в 1945 году. Как бы мы ни оценивали все, что следовало за этим Парадом, одно можно утверждать точно: мы получили шанс на сохранение и развитие, которого при другом исходе войны вполне могло и не быть. Как мы использовали этот шанс — этот реальный плод Победы — я уже говорил. Это для меня печальная-печальная тема. И все-таки большая часть нашего народа погибла не зря, хоть и скверно тут применять арифметику, да и трудно разделить — кто героически, а кто — понапрасну...

Я вполне понимаю, что очень и очень многие, чудом заглянув в нашу жизнь, в мерзкие уголовные будни, не стали бы проливать свою кровь и слезы тогда, в сороковых. Увидев нынешнее поколеньице, воевать было бы возможно, только поделив армию на половины. Половина — бойцы, половина — заградотряды. Многие бы просто ахнули — и вот за это, и за этих мы отдали жизнь? А больше у них и не было ничего. И орали «За Родину! За Сталина!» — я думаю, не от горячих чувств, хорошо понимая, что и Родину, и Сталина защитят, если защитят самих себя. Жизнь так устроена умно, что не знаем мы, слава Богу, что там впереди будет. И я думаю, точнее, надеюсь, что у Господа есть какой-то особый замысел о нас — русских, о России. И если не развеет Он нас по миру, как когда-то народы израильские, то, может быть, через несколько поколений, выполов из нее чертополохи, Он явит миру действительно новых русских? Может быть, Он положит конец дьявольской пляске в душе нашей? Ведь все, что мы сотворили с собой без Него, обрушило все пределы. Нарушив все заповеди до одной, и с какой-то особенной страстью нарушая самую первую, мы попробовали жить сами, без Бога. Пролив реки своей и чужой крови, мы бродим в сумерках по изрытому обгорелому полю среди жженого тряпья, бумаги, обрывков культуры, торчащих костей и кричим, как нам кажется, а на самом деле шепчем: «Эй, кто-нибудь! Есть кто живой?» Ведь все мыслимые и немыслимые преступления против плоти и души, от трупоедения до растления собственного потомства, было совершено здесь, на этой земле. И что это была за земля, если плешивая беспородная сифилисная гадина сумела ее опустошить?

И все-таки... Еще не угасает вера в то, что однажды Господь скажет нам: «Вы все испытали, вы попробовали

сомнения и предательства. Я дал вам урок, и вы поняли его. Вы испытали силу мышцы моей, и Я поселяю мир в ваши души. Я прощаю вас... и тех, кто ходит по земле, и тех, кто летает возле Моего престола, Я собрал вас вместе — живых и мертвых, чтобы объединить неразрывными узами и снова одеть вас в одежды нетленные. Отныне живите спокойно. Радуйтесь, кто может радоваться, и плачьте, кто может плакать. Разбрасывайте свое семя в плодородную почву и взращивайте плоды. Любите и не бойтесь за детей своих. Война окончена».

М. Сажаев,
Екатеринбург

9.5.95 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Понимаю, как Вам надоели «писатели» в Ваш адрес, и все-таки осмеливаюсь. Осмеливаюсь сразу по нескольким причинам. Главная: успеть сказать добрые слова. Вы, конечно, сами все о себе знаете, как о писателе. Но Вам ведь не безразлично, знают ли это и Ваши читатели. Я о том, что если бы и хотели позавидовать кому-то из коллег, то Вам завидовать некому: все в чем-то уступают Вам. Об этом можно долго говорить, и нет смысла именно Вам доказывать, что это так. Важно сказать об основном отличии: вас не просто интересно читать, но можно и хочется перечитывать, потому что Ваше слово и учит, и укрепляет, и утешает. И очень жаль, что многоумные искушенные критики для простого читателя не находят нужным говорить о потаенном смысле многих Ваших вещей, о том, что в писательской среде называется подтекстом, который зачастую появляется и помимо воли и самого писателя и который является составной частью писательского магнетизма. Ну и сама ткань, манера повествования завораживают — так можно сказать, хотя это и не совсем точно.

Вы — писатель от Бога. Ваши коллеги-писатели (настоящие) это понимают, а вот читатели, к сожалению, — не всегда, и мне жалко их, и зло берет на тех, кто обязан им в этом помочь — это библиотекари и критики-литературоведы.

Я, наверное, почти все Ваше прочитала. Последнее,

что читала, это: «Прокляты и убиты» и «Так хочется жить». Тяжело читала, даже бросала несколько раз... Но куда денешься? Все так. Все — правда, и надо за шиворот себя ставить и держать перед зеркалом правды, иначе вся твоя жизнь по касательной пролетит и душа никогда не успокоится. Вот вроде бы что мне? Ведь у Вас совсем другая жизнь, и все не так, и много не по мне и даже отталкивает, а вот понимаю я Вас до конца и даже понимаю то потаенное, о чем Вы и не говорите, потому что и я в чем-то могу покаяться только перед Богом. И человеческое Ваше, обычное, земное тоже понимаю именно сейчас, с возрастом, в конце жизни. И мне хочется сказать Вам спасибо за Ваше понимание нашей современной жизни и бесстрашие в оценке ее. Не сочтите это за лесть, но Ваше слово я воспринимаю всегда как откровение.

Продолжаю письмо тяжело, медленно, но на это много причин: и настроение, и обстоятельства, и...

Еще раз говорю Вам спасибо. Все Вами написанное мне по душе, и все дорого, хотя по-разному: что-то читаю с удовольствием, что-то — с трепетом, что-то — с ужасом и смятением. Но все не зря, все для души.

Дай Вам Бог здоровья и сил на новые труды и добрые дела. И пусть все у Вас будет благополучно!

Людмила Сергеевна Дроздова,
Кострома

28.5.95 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Прочитал в «Знамени» Вашу повесть. Читал на одном дыхании, не отрываясь. Смеялся и плакал. Спасибо Вам за правду о войне, за любовь к хорошим, простым людям, на которых и стоит наша земля.

Эта повесть, прочитанная мною, — не первая. Не одну библиотеку пришлось «бомбить», иногда выменивая Ваши книги. В продаже они бывают очень редко, и таким образом собрал почти все, Вами написанное. Для меня стали родными образы Вашей тети Гути — Августы, брата Коли, бабушки. Чистые и светлые люди. Но не об этом я хотел написать.

В журнале «Огонек» № 18 за 1995 год вслед за повестью «Так хочется жить» прочитал Ваше интервью. Ска-

зать, что оно меня огорчило — значит ничего не сказать. Я до того матерился, что мои домашние меня еле успокоили. Меня возмутила не фотокопия телеграммы в Москву О. Пащенко — красноярского — Сыроквасовой (от таких «патриотов» и не того ожидать можно. Я знаю их шакальи фокусы), а то, что начиная с нашей «первопрестольной» и по всей земле русской (от Москвы до самых до окраин) фашистская нечисть набирает силы, и это после такой кровавой войны и 50-летия Победы, которую «славяне» вынесли на своем многострадальном горбу. Естественно, что их, фашистов, злейшими врагами становятся в первую очередь люди честные, непримиримые к фашизму, такие как Вы. И Вам нужно не огорчаться, а гордиться тем, что Вы им «кость поперек горла». Подавятся!

Даром что ли пропахали войну, чтобы всякая мразь расцветала своим махровым цветом?!

Держись, Воин!!! Посылайте всех их... (а сами не ругайтесь).

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна! Самое главное — берегите друг друга, золотые юбиляры, дай Вам Бог долгой и счастливой жизни со всем Вашим «гарнизоном».

Немного о себе.

Судьба моя немного схожа с Вашей. (Правда, я старше — в этом году отпраздновал семидесятипятилетие.) Воевал, трудился, растил детей. У меня два сына. Один — инженер-электронщик, второй — сыщик (профессиональный детектив). Дочь воспитывает маленького нашего внука Руслана. Двое взрослых внуков — внук и внучка. Немного охотник и рыбак. Перед отходом в отставку рыбачил и охотился на Крайнем Севере (Тикси), так что вкус хариуса, омуля, нельмы мне знаком. Родился на Украине, где жили мои деды и прадеды.

Очень хотел бы видеть Вас, Виктор Петрович с Марией Семеновной у нас в гостях. Приезжайте в наш Киев, к нам. Разместиться есть где. Генеральского харча не обещаю, но к украиньской горилке найдем и на зуб кое-что. Будем искренне Вам рады. Что касается этой «шелупени» — Пащенко-Дрищенко и К°, то у нас есть охотничий тост: выпьем за нас с Вами и за х... с ними!!! (Мария Семеновна, простите за непотребное выражение.)

Пишите и приезжайте — будем рады.

Александр Петрович и ***Ирина Георгиевна,***
г. Киев

10.5.95 г.

Дорогой Виктор Петрович!

С праздником тебя прошедшим! Спасибо судьбе, что жив ты остался и столько умного и талантливого принес в нашу литературу. И не только в литературу... а вот просто так, в жизни радостно, что есть Виктор Астафьев — мужик настоящий и человек настоящий, искренний, всегда свое гнет, не зависит ни от каких конъюнктур, ни от какой моды или влияний! Здоровья тебе и живи долго-долго! Ты очень нужен всем нам, грешным!

Конечно, у меня тоже сердце кровью обливалось, когда видел, как кромсали роман, хотя и понимал, что по радио полностью воспроизвести его невозможно. Вероятно, кромсание это можно было бы сделать и поэлегантнее, но все равно я благодарю их за эти передачи, за возможность поработать с твоим текстом. Мне тоже очень многие писали и звонили — передача понравилась. Хотя, честно скажу, что чтецу работать с твоим текстом трудно. Твоя манера, твой стиль (длинные периоды, фразы, которые надо по несколько раз перечитать, чтобы понять, что главное). Очень сложны для чтения вслух. Но в этом и прелесть, и самобытность твоей прозы. Могу только сказать, что работал я с большим волнением и радостью.

Просьбу твою на радио я обязательно передам и сделаю все для того, чтобы и вторая часть романа у тебя была.

Лебедеву привет передам. Он работает во всю ивановскую, но, к сожалению, не только в нашем театре, но в основном на стороне, потом лечится, потом снова за кордон куда-нибудь стремится. Характер с возрастом тоже лучше не делается (как, вероятно, и у всех нас). Так что ко всем сложностям еще и свои внутренние добавляются. Так что привет-то я передам, а вот твое мнение по поводу (действительно говенной) картины «Прощание славянки», может, и воздержусь... А то пятнами покроется, трястись начнет, да, чего доброго, спектакль играть откажется. А Раневская (как я знаю) говорила позаористей — «Сняться в плохом фильме — это насрать в вечность!» И у всех у нас это было, к сожалению. Я вот тоже иной раз смотрю старую свою картину, и краснею, и только об одном думаю: Господи, только чтобы народу поменьше увидело

ее! Что ж теперь поделаешь, жизнь прошла, новых картин уже не предвидится, да и то, что предлагают, сейчас еще говнее прежнего. Все-таки, наверное, что-то и толковое сделать удалось. Раз помнят, знают и вроде бы уважают.

А с Литвяковым свяжемся и обязательно узнаем, где и как можно будет организовать просмотр. Желающих будет много, я уверен.

Письмо это передаст тебе наш режиссер Андрей Максимов, который, судя по твоей рецензии, поставил у вас хороший спектакль. Я рад. Парень он славный, хотя и не проявил твердости и воли в последней работе в театре. Пусть он расскажет тебе. Кстати, Лебедев тоже участник этой истории.

Ну вот как расписался! Очень я рад был получить твое письмо. Дай Бог тебе здоровья! Очень хотелось бы еще повидаться. Крепко обнимаю.

Твой ***К. Лавров***

Спасибо за симфонический оркестр. Ваня Шпиллер теперь машет палочкой у меня на столе.

30 мая 1995 г.

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Я очень радуюсь Вашим письмам, перечитываю их не по разу и перечитываю Ваши книги.

Наша дочь живет в Воронеже, и они с зятем зовут меня туда. Но я отсюда никуда не поеду, здесь мы с Митрофаном Ивановичем прожили 50 лет, и я останусь здесь до конца своей жизни. Есть уже внуки и правнук. Ваше и М. И. фото всегда передо мной. Деревья в огороде и в палисаднике посажены Митрофаном Ивановичем. Здесь его могила и мое место тоже тут, рядом с ним.

Обнимаю Вас, Виктор Петрович, и желаю всего хорошего! После Митрофана Ивановича вы для меня самый дорогой человек!

Ваша — ***Капитолина Ивановна Воробьева***

[Первая половина 1995 года]

Дорогой Виктор Петрович, здравствуйте!

Прочитал в «Новом мире» «Прокляты и убиты» одним заглотом (строя дом, ничего не читал 3 года), враз опрокинув концентрированную крепость этого писания, прожигающего все нутро, как спирт. Да, горькое лекарство правды приготовили Вы для больного народа и умалишенной власти — выпьем ли мы его, привыкшие к сивушной слащавости лжи? Вот ведь от истины Солженицына отказались же! Да и патриоты любых мастей и окрасов не пожалуют, не помилуют Вас, как и его.

Умной, надрывающейся душой, мыслью, удобренной сердцем, здравым осветленным сознанием сотворялась Вами эта вещь. Всеобзорен Ваш огляд, зорок, зряч — так только и подобает смотреть художнику на святую и злобную громаду жизни, в три ока сразу: и телесным оком, и оком души, и оком сознания.

Виктор Петрович, Вами написана потрясающе мощная книга о том, как проклятая власть проклятой державы в проклятое время убивает своих людей. Теперь в литературе XX-го века две таких книги: «Архипелаг Гулаг» и «Прокляты и убиты».

И кто же думал, что роман, подводящий черту правды под минувшими временами, вдруг вновь разорвется, как бомба, животрепещущей раной свежей и горячей насущности. Мы не просто прокляты, мы прямо-таки сатанински закляты и не на все ли впрок времена?! Дочитывал и додумывал Ваше писание уже под канонаду известий с очередного «плацдарма», на этот раз с кавказского. До чего же нещаден к нам суд Господень! Стыдно и больно: стране-самоубийце не опротивело прокручивать человеческие жизни на прокорм своих державных вождей-паханов. И нынешняя «заздравная» чаша опять во имя и славу России, как всегда, кровью самой же Родины вспенена, — будь прокляты все эти собутыльники власти, когда же они захлебнутся, кремлеисчадцы! Давно не русское, в четвертом уже поколении «новая общность людей», наше стадо государственное беспрерывно стельно советской нелюдью. И всегда-то в этом темном лесу какой-нибудь беспутный космач ненароком да и взгромоздится на государев пенек власти и кучкой на все готовых поганок узурпирует людское урочище, заразит всю полезную челове-

ческую грибницу червоточиной и источит ее податливую на отраву телесность, ознобит холодом лжи, затиранит, загубит.

Глядя на все, что вытворяется сейчас, как не вспомнить сказанные Вами в «Последнем поклоне» слова о крестьянине, тихо воняющем в валенок, и о сопле, так и не брошенной в сторону Кремля! Веками кряж российский питался соками народа, сейчас же Россия держится на волоске — на одиночках, зрячих разумом и душой. Мы являемся очевидцами не просто умирания народного, а какого-то срамного и смрадного погибалища целой нации.

Разобран до винтика, разломан человек, перемешано все деталье его, перемешано и расшвырено, чтоб не собрать заново. На такой земле — и так неправедно, глупо и слепо жить! Человек сегодня, как вещь, затарен в ящик убогого миропонимания своего и — брошен на брезентовую подошву транспортера судьбы. И несет эта адская лента человеческую душу, несет транзитным маршрутом жизни, и не жизни даже, а не то житухи, не то безрадостного рабского избывания, а точнее, — маршрутом серого, нудного, больного и заклятого прозябалища. Туда несет, туда — в отвал бытия. В общую кучу кладбищенского праха! И уносит так тысячи и миллионы — вчера, сегодня, завтра. И можно, надо было бы пожалеть человека, но кто ж и виноват нам, если так ожесточились, так привыкли видеть в ближнем не брата и друга, а противника и врага. Редко-редко, может быть, что-то людское шевельнется в нас при виде новорожденной жизни, или какую-никакую человеческую слезу все же выдавим при виде покойника, а в промежутке от рождения до смерти уж как пластаем друг друга, как унижаем, как безнаказанно обманываем и издеваемся над равными себе. И, как безумные, не в себе ищем причины собственного бесчеловечия, а внешнего супостата вынюхиваем, чтобы на нем выместить все, все, все. Неужели бедным матерям нашим надо было в муках, теряя свою святую кровь, рожать нас, ухаживать за нами, лечить, кормить, ночи над нами не спать, любить — чтобы потом из чистого, ясного ее дитяти вырос хам, пьяница, распутник, лицедей, лжец — вражина!

И вот мы, такие — в семье доводимся друг другу внуками, детьми, родителями, мужем и женой, братом и сестрой; улице приводимся — соседом, приятелем, другом; городу — радетелем; народу своему — соплеменником;

государству — гражданином, а Родине — служителем. И вот такие мы: жизни — певцы, а смерти — плакальщики! Чему же дивиться: каковы мы сами, такие у нас и семья, и улица — город, такой вот мы народ, такое государство и такая Родина.

Но чтоб не заражать друг друга отчаянием, переведя дух от задышья, — не опрокинулось бы сердце, и пусть оно, сколько ему осталось, стучит во здравие, а не за упокой.

Из всех насущно необходимых для жизни дел-подвигов, ныне осмеянных как никчемные, дело искусства едва ли не самое обессмысленное в ряду бесполезных. Да, в заблудном обмороке живет сейчас и искусство, не счесть званых в нем, но мало избранных. Но Вы вот, Виктор Петрович, слава Богу, стоите по-прежнему, без пошатия, подпорным колом для падающей стены нашей отчей домовины. Черт с ними, кто не верит в искусство, потому что с ними поистине черт. Все избудется, а хлеб, любовь и правда — а это и значит искусство, но великая книга сотворена — умопомрачительная, убийственная, испепеляющая жуть — «Прокляты и убиты».

Давно уже так сложилось, что для русского художника стало нормой использовать Божий дар своего искусства как скребок, которым он счищает коросту омертвелых пластов жизни, злом отравленных до полного бесплодия. Ради этого и создавались ими произведения, а не для любования красотой нетленной только, хотя в учувствовании гармонии русские писатели вовсе не последние среди собратьев народов иных. По мере того в каких размерах обнаруживалась художником нравственная порча в самом человеке и в жизни в целом, зрячее искусство до поры пыталось усовестить человеческую душу своим отцовским увещеванием. Вот такими увещеваниями нерадивости и малодумия народа (правильно назвал Вас А. Битов народным писателем) были все Ваши произведения до «Последнего поклона» включительно. Но люди дичали, а страна летела к чертовой матери, и искусство подошло к пределу душевного вразумления, когда просто моральным наказом уже не пронять, не взять отпавших от добра изгоев истины. В надсаде сердца и разума художник перестает быть учителем, воспитателем, врачевателем и становится судьей, жестким и неумолимым. И вот, начиная с «Печального детектива» и «Людочки», Ваш роман «Прокляты и убиты» — это истинно судные произве-

дения, в коих кончились уговоры. Да уж сколько взывалось праведными в литературе к нам, неслухам, — остановитесь, одумайтесь, опомнитесь! Тут и самый любящий, терпеливый отец не выдержит и сына-олуха оглоушит! Звереет зло — ярится и правда!

Мысли о бойне, пережитой Вами в 20 лет, настоялись еще и на 70-летнем опыте созревшей и горячей мудрости, на опыте измученного людским безобразием сердца. И хорошо, что эта вещь сотворилась сейчас, а не раньше, она объективно была бы жиже, если бы означилась лишь знанием молодости. Временной разлет книги шире срока событий войны, это едва ли не весь горизонт человеческого бытия. Внимая «Проклятым и убитым» сейчас, в самом истечении двух тысяч лет по Рождеству Христову, невольно качаешь головой — да, такая вот «новая эра» у людей получилась!

Поэтому сильнейшие описания страстей смертных — они, в подтексте своем, уже даже не увещевания о человечности в человеке, а прямо-таки какой-то духовный стон, надрыв, взвой, клич, призыв, крик, пропаганда к людям: да будьте же вы все человеками. Только во имя жизни, в предчувствии обвальной катастрофы, позволено художнику разрывать душу себе и читателю таким описанием анатомии ужаса.

«Прокляты и убиты» — это правда лютая. Это лишь на поверхности книга о прошлой войне, но бьет она своим кулаком по нашей теперешней морде. И понятно, откуда этот воинственный скрежет духовности в книге — он вызван тем, что Россия, в начале века катапультированная революциями в тартарары, и все последние после войны полста лет исторгалась из правды, вываливалась из бытия, гибла. В спирали погребального смерча вздыблены — стоймя стоят! — неупокоенные смерти тех, кого положили на том военном гноилище. Мы не победили зло, которое ругалось над жизнью, мы уничтожаемся и посейчас тою же обездушенной неумью, своей и державной, от которой мерли и мрут люди на всех коммунистических плацдармах великих — от Днепра до Сунжи — рек.

Ужас правды в том, что глотка погубления жизни не была замурована Победой, но изведав адского государственного зла, все так же ненасытно глотает и глотает человеческий корм без меры, без счета!

Всю жизнь мы учимся сопряжению мира человека и мира природы. И с помощью еще и Ваших, Виктор Петро-

вич, книг я постигал изначальную взаимозависимость этих двух великих миров-суверенов. Сколько раз думалось: если бы люди уподобились травам, цветам и деревьям! Мне давно уже блазнится сравнение нас с ними. А ведь схожи мы и с лугом, и с садом, и с лесом. Но там, в отечествах произрастающего Смысла, в этих издревле их государствах листьев, все живые души цветов, былинок, стеблей, веток, стволов и стволищ — все души живут, согласуясь и со своими собратьями, и с космосом земли, небес и времени: одною порой они зацветают, одною — завязывают плоды, враз утучняются ростом и, к своему общему сроку, румянятся одинаковой степени спелостью, укрывая в темном своем и теплом нутре-закроме заветное зернышко — венец поколения, семя нового зарода жизни. И мудро, и в лад, и ни в чей ущерб. И в тех пенатах так все скомпоновано, что иерархия в соцветном мире никого не подавляет, она признает требы всех характеров равновеликими, соподчиняя отдельные суверенные доброволия ко благу всех и каждого. И не отягощает природное царство разнородность растительных личностей, а умножает рост и силу его пользы и красоты.

Не так в нашем сожительстве: один бедолага до веку мыкает горе, другому до гроба не расхлебать своей сытости, один наперекосяк болен, другой наперекосяк здрав. И когда и куда ни взгляни, всегда и везде — чреватое взрывом разномастье национальных кровей, возрастов, опыта, привычек, чувств, характеров, навыков ума, интересов, знаний, воззрений, идей, политических сборищ, религий... И все это вразнотык, вразнобой, вразнолад. Каждая человеческая персона особлива, но особость ее зловеще обособлена ото всех остальных персон Мира Жизни, каждая втиснута в самою себя, не расширена миром и потому ущербна и несчастна. И как результат — в миллионы ног и голов вечно разбредающееся людское стадо, гурт, табун, судорожная слепая толпа, толпа, толпа. И бешеный накал озверелости, и слабое, угасающее свечение сердечности. Сколько людей — столько же степеней их человеческой спелости. Вот так мы, высокоумные, живем-бываем в сравнении с лишенным разума растительным миром.

Ничто нас не вразумляет. Ох, Виктор Петрович, я не так стар, как Вы, но немолоды мы одинаково. И горько, что так малозаметен даже нашему возрасту замедленный прирост правды. Мы подошли к тому критическому ми-

нимуму наличной правды в нашем сожительстве, за которым начинается распад и каждого в отдельности, и всех вместе. А по Замыслу в Мире Жизни все люди должны были бы произрастать плодами на этом самом древнем — от Адама — дереве правды. Могучая его крепость способна удержать на своих ветвях всю человеческую семью, но ветки его почти голы, червь обмана подъедает сердца, и люди падают в смерть преждевременно, зеленым кислом своей неспелости негодные в удобрение жизни. И чем больше людей нарождается, тем гуще устилает землю опадыш человеческих недозрелостей и, сгнивая, отравляет своими ядами и почву вокруг святого ствола, и воздух его кроны. Потому нарастают кольца правды по окружному прочерку древесного тулова таким мучительным, судорожным зигзагом, от крика лжи изломанным, — стиснутыми, впрессованными один в другой слоями, прирождается железная сила подпоры жизни.

Но вот зачем-то же, опять и опять, с каждой весной новоявленного поколения людей на дереве правды зацветают хрупкие лепестки человеческих судеб — зацветают вновь и вновь, до сих пор, несмотря ни на что — освещенные Богоподобием!

И опять — тот же свычный проворот старо-пройденного, но как первопуток: от надежды — к отчаянию, от отчаяния — снова к надежде.

Рубежами шести дней отграничивалось Богом сотворение мира, и сроком тех же дней означено в «Проклятых и убитых» светопреставление живого времени в адову кромешность на плацдарме великой реки. Эта книга о взрыве истории. А история — это многоголосие плачей и радостей разновидий времени.

В книге клокочет ураганной силы схватка жизни и смерти. И разметываются покровы невидимого, открывая истину как она есть: становится зримее и понятнее сущность, определяющая самое жизнь, — сущность времени.

Дикое коммунистическое краснилище переродило, перекорежило человека со всеми его потрохами, но с истовостью особенной вковыривалось именно в его человеческое сокровение — в органы чувств и мысли. Вот и стали мы на манер скотов — слабовидящи без разума, тугоухи без мысли, слабоумны без сознания. Ухо, природой сотворенное музыкальной раковиной, в глубинах которой плескались звуковые шорохи прошлого, настоящего и грядущего, пропагандистский эсэсэрный комсостав

отформировал в жестянку раструба, узилище которого раздирает крикоговорение команд, лозунгов, призывов, приказов.

Но и ясный свет правды в том еще, что для Бога чужих слез не бывает. Не бывает их и для истинного художника. Вопреки всему, ничье голошение не глохнет в дольнем и горнем пространстве истории. И цепким природным слухом Вашего писания улавливаются и оглашаются внове счастье и страдание — звуки сказные сущности времени. Время — это былина пережитого бытия, а не просвист анекдотов жизни, и не все равно чем обозначать свершающееся. «Все течет» — это мы усвоили и привыкли, приучили себя к тому, что и время жизни протекает в чем-то неопределенно-порожнем и ненароком подхватывает и нас, живущих, волоча и кувыркая человека от даты к дате, как мусорную щепку.

Нет, время — это не толкотня вприпляс мелюзги минут, часов и дней и не стихийное неуклюжее толпение зим и лет. Время — это ипостась Бога, оно могуче, прочно, величаво, торжественно. Наше суетное, штрихпунктирное бывание пишется дуриком, скорописно чиркнутой скособоченной буковкой. Но Великий Текст жизни подобает означивать старинною рисованной Буквицей Времени — глубоким, страстным животворением сердечного, умного, светоносного и обоженного чувства.

Вся наша судьба, общая и свойская, протягивается во времени, а наше житейское было — есть — будет все еще вымеряется негодящей равнодушной статистикой минут, часов, дней, лет. Но пойди, измерь людские радость и горе, мысль и безмыслие арифметикой линейки, шкалы или циферблата, если человеческую судьбу так нещадно швыряет и колотит в центрифуге жизни, если человек ввергнут в водоворот двух мощнейших потоков бытия — добра и зла, ввергнут в самое их перекрестие, где чуть не в узел скручивает хребтину его позвоночника, если ристалище души и сознания всполошено энергией двух вселенских прожекторов — то пожарищем черной Тьмы, то кострищем Света белого, то мертвом, то жизнью. И редко, редко чья душа не ослепнет вконец от шока мятущейся гигантской этой светотени.

Нет, время не может быть равнодушно-бессмысленным протеканием невесть чего, невесть откуда, невесть куда и невесть зачем. Непостижима сложноустроенность жизни, и также невообразима многосложность вещества

времени. Всевеликая явь времени разновидна, и время Материи и Духа — это разные лики единого Образа. Тем же разноличием отмечены время человека и время Мира Жизни, но составы их сроков слиты воедино так же, как растворены одно в другом тайны времен Духа и Материи.

Многомерным и универсальным вылепила природа человека: посредством тела — он величина лично-отдельная, посредством души и сознания — он сущность лично-всеобщая. Разнолика, неоднородна и его временная среда: в нем архитектурно-косно время его телесности, в нем бушует огонь времени сердца, в нем сверкает свет времени мысли. Но и мысль в человеке царюет по-разному — ум квартирует в голове, разум проживает еще и в душе и сердце, а сознание парит везде, где захочет. Поэтому воздух времени человека насыщается озоном здешних энергий — близких и дальних — земных, и энергией тамошнего — небесного запределья.

Но все, все разновидия времен и сроков бытийствуют целокупно. Время не поток, и ничто в нем не опадает в донный осадок — ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Время — это таинственно становящаяся живая взвесь сопряженного было — есть — будет. Божественная, священная зыбь, сияющая самородная слитность ныне-присно-во веки веков — вот определение времени. «Пресуществления вечные» — вот его сущность. В духовном, царственном и абсолютном своем выражении время — это (повторю) ипостась Бога, а время Бога превечно и беспредельно. Сроки же Мира Жизни — они у порога Его времен. И Ему исповедны.

Так мерою какой насущности подобает исчислять эту священную взвесь, в каждую частичку которой вживлены нервные волокна всего миролюдия? Только тою насущностью, в которой зарождена любовь, — время отсчитывается ударами человеческого сердца. Каждый удар его — это молекула времени.

Время не протекает, оно пульсирует токами крови, следовательно — токами жизни. Время — это кровь и жизнь, а не цифра и число. Время — это дыхание сердца, а ритм дыхания у всякого человека свой, он не повторяется ни в чьем пульсе. Поэтому время каждого живущего уникально, сколько людей — столько ликов у времени.

Время переживается всею полнотой человека — и его телесностью, и душевностью, и сознанием. И насколько здоров наш телесно-духовный организм, настолько и вре-

мя в нас живее или мертвее, конечнее или бесконечнее. Оно процветает силою и энергией человека и Мира Жизни, человек и Мир нераздельны, а времена и сроки их взаимопопечительны. Время человека внутри времени природы, а не вне его. Мир — гармония единоценных личностей жизни. По Библии Мир Жизни вверен в попечение человеку, но находится под призором Бога. Человек задуман быть широтою в широте, и, когда он скукоживается в исключительность своей горделивой самости, ссохшись, — он вываливается из Единства и лишается благодати общего достояния, в том числе и временного. Человек без Мира — сирота, и время человеческое без бытия Природы тоже сиротское, оно ужато до обыденного бывания между датами его прихода в жизнь и ухода из нее.

Ознобно, дрожно существование человека, оно постоянно чревато Богом и дьяволом, жизнью и смертью. Время — это свойство жизни и ее условие, а значит, оно есть развитие, становление и устремление. Все живое хочет быть, длиться и не хочет исчезнуть, жизнь — благо, и время — это обретение блага или утрата его.

Томление жизни и времени разрешится тем, что предвечное станет всевечным: отсекутся бесконечности былого и будущего и все, что являлось плотью, душой и духом, утвердится в бесконечности единственного всеширокого *есть*. И это *есть* или освятится Светом Добра, или поглотится мороком смертного зла, станет или абсолютным всем, или абсолютным ничем.

Кое-как нарожденные, мы сразу из комбината родильни попадаем не в бытие, не в отчий мир и дом, а в безблагодатную «среду обитания». Вызревая возрастом, задуренные воспитанием, как поле пестицидами, мы усваиваем, что жизнь есть жестокая борьба за хлеб, за место под солнцем, за идеалы. Ну, а раз она борьба, то надо подобающе подпружинить мышцу, выпрямить в голове извилины и пользоваться мыслью, как вожжой, — править жизнь к своим «интересам». Ничто в этом потемном мире само по себе не имеет цены, а полезно лишь то, в чем присутствует мое костоломное я и где оно владычествует. Тут порабощено даже время, оно не бытие, им пользуются как способом и орудием борьбы за существование.

Код этого времени простой, в нем нечего разгадывать: до рождения меня не было — пустота, потом череда суетливых удовольствий и страданий — пустота, и опять пус-

тота — черная могила, гроб и черви. И как следствие этого — грабежная философия «однова живем». Нет прошлого, нет будущего, а настоящее сморщивается до *сегодня*, до *сейчас*, до *сего момента*.

Безрелигиозного человека судьба вышвыривает в жизнь как в тюремную зону, отороженную от бытия Мира Жизни колючей проволокой срока рождения и срока смерти. У каждого «каторжника» этой «лагерной зоны» своя «пайка» времени. Бессмысленно все в бессветном пространстве безнадежия — и внутри человека, и вокруг него. Здесь правит мистика коммуны: здесь коммунально время — толчея часов и суток; коммунальна жизнь — сутолока людских самолюбий, грязнилище, общага; здесь коммунальны места рождения и смерти; здесь кладбище — роддом наоборот.

Бескормною дорогой понурый гурт, где дни и месяцы вместе с людьми уперты в затылок один другому, слепо бредет от вчера к сегодня, от сегодня к завтра, от завтра — куда? Здесь нет любви, все несут тяжкую ношу темного, тупого терпения и страха, гасимых вспышками ненависти. Каждому в помрачении души и разума, молодому и старому, его пайка времени кажется меньшей, чем у ближнего, и он ярится злом на братву по стойлу, на ту несправедливую начальственную Силу, которая распорядилась этой пайкой не в его пользу.

В юности свою порцию недель и лет «зэк» хлебает беспечно, но с годами «баланда» жизни в миске убывает, вот-вот уже и дно обнажится, а там — грехи в осадке, их горечь жжет нутро, но чем меньше остается «хлебова», тем больше хочется есть, тем меньше он насыщается — рад и отраве. От любого несчастья его начинает судорожить, любой окрик болезни приводит «зэка» в отчаяние, расширяя его глазной белок ужасом страха смерти. Помощи ему ждать не от кого, он знает, что все ему враги, как и он всем, каждый стережет свое «жижево» и делиться ни с кем не желает. Срок его избывается, «пайка» выхлебана, «добавки» в этой безжалостной зоне обреченности не бывает — не за что, не предусмотрена. Сей день — последний? — вот чем вскипает сердце и закупоривает жилу у виска его задыхающегося сознания. К кому кричать? И он в отчаянии: мое человеческое семя — чьим произволом высеяно? Зачем, для чего я так тяжко прорастал сквозь утрамбовку плаца времени? Почему, по какому закону осатанелым людьем вытаптывался «стебель»

моей единственной для меня жизни? «Зерна» моего заморенного, чахлого «колоса» — на прокорм кому пошли? Какою роковой звездой мы все руководились и чьим же произволом я скончаюсь без следа и памяти, никем — и миром — не опознанный?

Уже вдавленный грудью в «проволоку срока бывания», он понимает последним пониманием, что каждый из узников не жизнь проживает в этом мраке безбожия, а копает яму времени, чтобы «ссыпаться» в ее провальную глубину всею своей распадающейся сутью. Безвременьем был, безвременьем стал, и в том, и в другом — весь без остатка.

Время, в котором Бог, — свободно. Отграниченное сроком время становится неподвижным, мертвенным и конечным — оно уже несвободно. *Загнать человека в условия«времянки» его земного бывания, отобрав у него врожденное ощущение вечности жизни, — это значит отлучить человека от свободы времени, отлучить от Бога.* И тогда он — смертен и временщик. И самая мучительная из всех несвобод для человека — это быть закованным в сроки существования. Может быть, главным определением Богоподобия человека является не столько свобода воли, сколько свобода времени. Лишаясь времени, всей его полноты, всей его свободы, человек теряет самую суть своего Богоподобия — *в несвободе времени не может быть радости жизни. Когда пространство мира суживается до тела, а бесконечность времени — до срока жизни, тогда благодать отлетает от людей.*

Человек навечно укоренен в мир Земли и Неба. Мир пронизан тайной, он объят неразгаданным смыслом, человек распят на огромности и непостижности бытия. Но в пространственном и временном обиталище Жизни у каждого из нас есть связанная с человеком какая-то духовная укрома, из которой в моменты нашего критического колебания между добрым и недобрым, между человеческим и зверским испускается благой сигнал Света охранной для нас помощи. А в душе и сознании нашем есть приемное устройство — инстинкт самосохранения, — налаженное принимать эту Световую весть.

Да как же и не быть этому Световому духовному источнику, если мы рождаемся на свет не простейшим организмом, а плотью, в которой Мир, Природа, Дух. И самою неистребимой сутью в себе — силою инстинкта нашей воли быть — разве не предполагается такое духовное

средоточие? Ведь к чему-то или кому-то вечный вопль этого инстинкта да обращен? Не сам же на себя он замкнут?

Раз укоренен в нашем телесном и духовном я запрос вечной жизни, значит, он должен быть какою-то энергией Природы обеспечен, — Природа умна, все, что является Миром Жизни, целесообразно, эта целесообразность подтверждается всем достоянием накопленных знаний.

Эти духовные центры сверкающей ясности в мире человека и в Природе бесчисленны, и сливаются они в единое световое поле спасительного благотворения ко всему сущему, великому и малому, равною мерой.

А если есть такое световое поле жизни, добра и блага, то должен быть и источник, его питающий.

Какой же очистительной яркости, какого же отрадного свечения, сияния, источения сверхбелого должна быть изначально-данная духовная материя всевеликого Того, который и есть тот причинный Светоч, коим прозревается вся необъятная Вселенная! Какова же тогда светоносная сила самого Перво-Светила, если перед Его Ликом воссвечена такая лампада — Солнце!

Свет пресветел и живоносен, жизнь изрождена светом и им питается ее величественная извечность. Все могущее процвесть развитием, но до поры мертвенное, отзывается только на свет лишь в тех толщах земли и вод, куда проникает луч света, взволновывается волшебство жизни.

Все образовано светом и все разновидия Мира Жизни произрастают из почвы светового блага. Все, что светло, — то красиво, и причина всякой дисгармонии в недостатке света. Любое доброе созидание обращено к световой радости, против света — только тьма, но и она, чтобы проявиться как черноте, нуждается в противостоянии света.

Свет — оживитель материи и духа, светом жизнь возвидняется и Мир обнаруживается его сиянием. *Жизнь есть свет, а свет есть Бог, Он — обоснование света и жизни, а свет — это выражение Бога.* И истина, которая открывает зрение и видение человека, очеловечивает его душу, размыкает мысль и возводит сознание к идеалу — эта истина тоже светолюбива.

Жизнь и человек без Бога — пропащий хаос. Считай, весь мир с его искусственной, растратной цивилизацией погружается в него. Утопая, мы и природу, в которой Бог, затягиваем вместе с собой в сажную пучину. *С исчезнове-*

нием Мира Жизни закатится и солнце Бога — во чье имя ему светить, в ком воплощаться!

Но нас опять выносит на стремнину ложного верования. Божий свет, льющийся отовсюду, в чем еще осталась живая земля и что дышит высотою неба, — этот Свет опять обращаем в безбожественное электричество, в иллюминацию, включаемую на час-другой по нужде церковной обрядовости. После «обморока» коммунистического атеизма кинулись все скопом «на том свете» жить, а этот, нерукотворенный, по-прежнему в упор не замечаем, заливаем его чернотой, как и встарь.

Нет, вера, из дела выхолощенная в действо, бесполезна для людей, Л. Н. Толстой еще вразумлял нас в этом, за что, по русской «благодарности», мы записали его в бесы. Такая дырка в нашем духовном теле разверзлась, разве закроешь ее декоративной пробкой обряда. Разве через церковный шланг только — накачаешь чистого воздуха в порожнее нутро человека, природой приспособленного дышать всеми бессчетными своими фибрами! Да и вряд ли нужны Богу пониклое угодничество и коленопреклонные служки, мы этим самым Бога превращаем в божка: истинное величие предполагает к себе ответное прямостояние. *Нельзя быть рабом в вере и быть свободным в жизни.*

Мы по-старому крутовольны и поперечны истине. И все так же готовы разрушать миропорядок, основанный Богом на нераздельности материи и духа. Только ныне уже под другим знаком — пришибаем материю духом, как недавно побивали дух кирпичом материи. Оголтелы были в безверии, безрассудны теперь и в вере. Нас, русских, все швыряет из крайности в крайность, мы как заколдованы: то превращали святилища в мусор, то исчадия кабаков, казино и госучреждений окропляем святой водой и кадилом облаговониваем — таким вот манером строилище тутошнее превращаем в Царствие Небесное.

Если бы для большинства людей вера не была бы только обрядом, то не была бы Россия брошена в советский позор. Но и искренне жаждующие веры вновь загоняют себя в застарелый соблазн, который поныне разъедает православие. Это — уничижение плоти во имя духа. Искаженная вера видит в человеческой телесности зло, которое надо еще при жизни на земле унизить, преодолеть духом. Не в этом ли главная причина того, что Русь и Россия часто загоняла сама себя в убожество физических

условий быта и жизни, не этим ли порождался извечный русский междоусобный мордобой? Не дай нам Бог утвердиться в прежнем знании, что земная жизнь — это юдоль печали и стезя плача, к чему тогда выкладываться в любой работе, если тело и материя мира — обман и ложь!

А главное, что вытекает для последовательно мыслящего из такой «веры», — это уверенность в том, что нельзя посягать лишь на дух, в котором Бог, и совсем не грех уничтожить плоть, которая безбожна. Наберется ли жалости к чужой жизни у такого верующего, тем более, к жизни чужого еретика, или своего отступника? На уровне личного бытия такое понимание христианства закрепит нас в положении безумия, ничуть не меньшего, чем сегодняшняя бездуховность. А на уровне государственном такое «православие» «беременно» новыми бойнями, в которых будут перемалывать русских же, такое «православие» не успокоится просто на России, как Отечестве, ему под стать кобениться не меньше, чем державой — царством кесаря. Излишне говорить, что такое вероучение уничтожает любовь и лишает надежды.

Но будем верить в то, что истинно живое не застит собою свет, оно пропускает его насквозь через свои недра. Бесконечность Мира Жизни и человека подобает измерять не абстракциями цифровых мер пространства и времени, а просиянием веры света, надежды света и любви света. Мир и свет взаимоустремленны, и когда-нибудь и Мир, и Жизнь, и человек — да будут о-Божены Светом, а Бог-Свет будет о-мирен, о-жизнен и о-человечен.

Когда-нибудь грядет единение родимого и родящего. Иначе должно утвердиться нынешнее, посейчас все еще непреодоленное их одиночество, давно уже обессмысливающее разрывное и раздельное бытие Бога и человека.

С уважением, ***Владимир Миронов***

[Лето 1995 года]

Товарищ Куликовский!

Я благодарю Вас за письмо и прежде всего за то, что Вы подписали его, а то ведь эти храбрые коммунисты подписываются словами — «участник ВОВ и труда», боясь за свою шкуру и здесь, в мирной жизни, где писатель, ими отчитываемый или обматеренный, в лучшем случае, мо-

жет наплевать оскорбителю и поучителю в глаза. Благодарю за то, что не унизили звание фронтовика и седины свои каким-нибудь псевдонимом или подписью — «ветераны».

И за откровение благодарю. Конечно, мне было бы больно читать Ваши откровения, если б Вы оказались единственным читателем, отклик свой изложившим на бумаге, да еще так пространно.

Увы, увы! Родина наша велика и разнообразна, как и народ, ее населяющий. Есть у меня письма, есть и рецензии на роман совсем другого свойства и содержания, чем Ваш отзыв. Особенно мне дороги отзывы тех, кто служил в том же стрелковом полку и воевал под началом командиров, которые не стали бы менять двух взводных на одного политрука. Менять кого-либо, как и стрелять, и судить согласно человеческой морали и Божьего завета нельзя, невозможно. Это только по советской морали можно угробить сто двадцать миллионов своих сограждан, чтобы торжествовала передовая мораль и было всеобщее советское счастье. И полководец здесь может считаться великим и ясноликим, угробив сорок семь миллионов соотечественников и выслуживаясь перед партией и вождем своим в мирное время, погнать целую армию русских парней на место атомного взрыва, как подопытных кроликов, что и сделал Ваш обожаемый Жуков. Есть за ним и другие черные делишки и преступления, которые Вам хотелось бы не знать, забыть, а главное, чтобы все сплошь обо всем забыли, воспоминали бы прошлую войну как некое сплошь героическое действо, где русские люди только то и делали, что били врага с патриотическими выкриками, и вперед вел их неустрашимый комиссар.

Кроме того что коммунисты и такие непреклонные патриоты, как Вы, опустошили войнами и преобразованиями Россию, унизили и растоптали ее несчастный народ, они выработали под страхом штыков демагога-моралиста, присвоившего себе право всем ставить себя в пример, и поучать, и направлять неразумных собратьев своих. Отвратительная, дремуче-невежественная категория людей, чуть схватившая каких-то знаний и, как им кажется, «овладевших» глубинами культуры, в том числе и читательской. Чаще всего они водятся среди наших учителей, при всеобщей грамотности ввергших и приведших страну и население ее к еще большему невежеству, чем то, которое было в безграмотной России, жившей по Бо-

жьему закону и велению, еще наше дремучее офицерство, закономерно приведшее армию к полнейшему маразму и краху и оскорбившее своим присутствием в военных рядах звание русского офицера.

Вам, так страстно меня уличающему, как, думаю, уличали и обличали Вы своих собратьев на войне, на производстве, — и в голову не пришла Божья заповедь: «Не судите, да не судимы будете», как, наверное, совсем уж не могло прийти в голову, что есть читатель, Вам подобный, которому понравься моя книга, так в удручение и в горе я впал бы.

Я пишу книгу о войне, чтобы показать людям и прежде всего русским, что война — это чудовищное преступление против человека и человеческой морали, пишу для того, чтобы если не обуздать, так хоть немножко утишить в человеке агрессивное начало, а Вам надо, чтобы воспевалась доблесть на войне и многотерпение, забыв при этом, что чем более наврешь про войну прошлую, тем скорее приблизишь войну будущую. И те писатели, которых Вы перечислили, продукцию Вам потребную поставляли для души Вашей, жаждущей победных радостей, эту радость и преподносили. И... постепенно, победно шествуя, сочинили угодную таким, как Вы, героическую войну. А я и сотоварищи мои, настоящие-то писатели и страдальцы, восприняли войну, как отвратительную, подлую, в человеке человеческое убивающую. Список Ваших любимых писателей потрясающ, эти покойнички, за исключением Симонова, ничего уже, кроме вздоха сожаления, часто и насмешки, — не вызывают. В Вашем списке нет мной уважаемых писателей, есть беспомощные приспособленцы, елеем мазавшие губы советскому читателю. Константин Воробьев, покойный мой друг, Александр Твардовский, Виктор Некрасов, Василий Гроссман, Василь Быков, Иван Акулов, Виктор Курочкин, Эммануил Казакевич, Светлана Алексиевич — вот далеко не полный перечень тех, кто пытался и еще пытается сказать правду о войне и кого за это согнали в ранние могилы такие вот, как Вы, моралисты, присвоившие себе право поучать всех и объяснять «неразумным» правду да выгонять их за границу, как Солженицына иль того же, прекрасного писателя, — Георгия Владимова.

Но согласуйся свет с уровнем Вашего понимания правды и читальскими требованиями таких мыслителей, как Вы, так бы на Стаднюке и сладкоголосых Чаковском и Е.

Воробьеве дело закончилось, и не появилось бы ни «Дон-Кихота» — этого величайшего художественного достижения, ни Свифта, ни Дефо с его «ненормальными» персонажами, ни тем более нашего непостижимого гения — Гоголя, который смел написать, что отрубленная саблей голова казака, «матерясь, покатилась в траву».

Есть закон у Вашей любимой партии, согласно которому за войну расстреляно миллион человек на фронте, так необходимых в окопах, да еще двенадцать миллионов в лагерях медленно умерщвлялись и столько же их охраняло в ту пору, о которой всуе упомянутый Вами писатель Богомолов писал, что «на фронте был катастрофический недокомплект», так вот есть и у писателя свои законы, согласно которым он и пишет, даже свою пунктуацию сотворяет. Уже с первой повести, наивной, простенькой, ущучили меня дотошные читатели, подобные Вам, что на «казенке» (сплавном плоту с домиком), бригада бывала до двадцати человек, но не менее одиннадцати, у меня же в повести бригада состоит всего из семи человек. А мне так надо, мне удобнее подробно написать семь человек, а не согласно «правде» соцреализма бегло упомянуть двадцать. И если я написал всего двух медичек на переправе, значит, мне так надо. Если написал, что был иней (а он в ту осень был на самом деле) в конце сентября на Украине, то так оно и должно быть. Вот если я схематично, неубедительно это сделал — другое дело. Тут мне надо «всыпать», я и сам себе «всыплю» как следует, ибо сам себе есть самый беспощадный критик. Кстати, мой командир дивизиона, Митрофан Иванович Воробьев, умерший два года назад в Новохоперске, тот самый единственный офицер, который не матерился (эко мне везло на людей и на офицеров тоже! Не дай Бог, попался б на Вашу батарею — извели бы ведь неразумного, дерзкого парнишку), так вот, Митрофан Иванович, с которого во многом списан Зарубин, никогда, ни в одном письме не сделал мне ни единого замечания насчет калибров, расположений и количества орудий, ибо понимал, что такую малость, как 1+2 — я знаю и без него, и оттого еще, что был он читатель и человек огромной культуры. И вообще, читатель стоящий, человек воспитанный, а больше — самовоспитанный, не подавляет никого самомнением и, если сделает замечание — не превращает его в обличение, в суд, не сулится послать на Соловки иль расстрелять, четвертовать, «как только мы придем к власти».

Толковать на эту тему, в общем-то, не хочется, да и бесполезно, но чтоб Вы, когда Вам вздумается еще кого-то «ущучить», «пригвоздить», а, судя по тому, что у Вас уже имеется и почтовый штамп (у меня вот нету, а надо бы — для экономии времени обзавестись, но все недосуг), шибко много пишете и обличаете, я поделюсь своим наблюдением, и не только своим все о той же «правде» и достоверности, как Вы ее понимаете, и как понимаю ее я — авось маленько образумит это Вас и укротит самомнение Ваше.

Десятки тысяч полотен в мире написано с распятым Христом, и только в ранних полотнах правильно написан крест, то есть тэобразно, и гвозди, вбитые в предплечья Спасителя, а не в ладони. Христос, согласно сведениям, до нас дошедшим, измученный большевистскими идеологами и палачами того времени за то, что не мыслил и не говорил, как они, имел всего 32 кг веса, но и этот вес достаточен для того, чтобы слабая кожа и жидкое мясо прорвались на гвоздях, и поскольку меж пальцев нет никаких перепон, распятый просто тут же б и свалился наземь. Но проходят века, Христос все висит распятым, и гвозди, где уж и не самоковные, а фабричные, изображены вбитыми в ладони. Так вот нужно художникам — для большей выразительности, так они «видят» — и вся тут недолга.

Вот Вы всуе, опять же для обличения, упомянули имя Толстого, видимо, не зная, как его молотили по поводу «Войны и мира», но особенно из-за «Анны Карениной», а после отлучения от церкви Ваши, патриотически настроенные предшественники требовали у царя сослать крамольника в Сибирь, но царь был не чета Вашему любимому Сталину, вырубившему под корень русскую культуру, царь урезонил крови гения жаждущих начальников: «Я не могу и не хочу делать из графа Толстого мученика». Он не мог и не хотел. Вы же, люди передовой морали, с искаженным самосознанием, обуянные жаждой мести, готовы менять взводных на политрука и ради того, чтобы потрясти медалями в День Победы, подчистую снести население страны, Вы, в общем-то, и не готовы читать гуманиста Толстого и тем более — русского гения Достоевского, который из-за одной слезинки ребенка не приемлет никакой революции.

Степень нашего одичания столь велика и губительна, что говорить о правомерности того или иного суждения

уже и не приходится, и я, говоря «нашего одичания», имею в виду не только свое и соседа моего пьяницы и разгильдяя, но и Ваше тоже. Но я свое «одичание» сознавал и сознаю постоянно и стыжусь его. Вам и этого не дано. И тут уж не знаешь: завидовать Вам и Вам подобным или нет, Вы так здорово и правильно прожили жизнь (живя семьдесят лет в бардаке, остались целками, как ехидно заметил один современный поэт), что и каяться-то Вам не в чем. Иисусу Христу было в чем покаяться, а владимирскому обывателю Куликовскому не в чем! Один отставной полковник — графоман, осаждавший редакции, написал в свое время бессмертный стих. Дарю Вам его на прощанье, потому как он наиболее других произведений соответствует Вашей бодрой морали и нравственным критериям: «Наша родина прекрасна И цветет, как маков цвет, Акромя явлений счастья, Никаких явлений нет!» (написано в 60-х годах нашего столетия). Ну, а если всерьез, то запомните слова поэта Виктора Авдеева, бывшего пулеметчика, умершего от ран еще в сороковые годы: «Победой не окуплены потери. Победой лишь оправданы они...» Почаще их вспоминайте, когда упоения от победных маршей и блудословия победного Вас снова посетят. Не знаю, сколь раз ранены Вы, а я трижды, и заключительная книга романа будет называться: «Болят старые раны». У Вас, если верить Вашему письму, ничего не болело и не болит — ни раны, ни душа. Счастливый человек живет себе в несчастной стране, среди несчастного народа и руководствуется моралью, выработанной советскими патриотами: «Не верь тому, что видишь, верь нашей совести».

Прозреть не желаю, бесполезно — уже не успеете, да и мучительно прозревать у нас, а здоровьишка, хоть относительного, пожелаю, хотя бы для того, чтоб подумать еще и вокруг ясным взглядом посмотреть.

*Кланяюсь — **В. Астафьев***

Если Вам потребуются отрицательные отзывы на мой роман, кроме нижегородской газеты могу назвать и «Труд» — генерал Беликов, бывший нач. политотдела дивизии — тоже бравый вояка и большой страдалец войны... И еще: в № 4 за 1995 г. журнала «Знамя» напечатана моя новая повесть, оттуда Вы узнаете, что артиллерия, даже тяжелая, была и на автотяге, как и вся наша дивизионная, за исключением 202-х калиберных гаубиц.

15.6.95 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Неожиданно и обрадованно получил я Ваше письмо и поздравления. Значит, не забыли Вы про меня. А я все эти полтора года воздерживался Вам писать, не напоминал о себе, чтобы не потревожить Вашей одержимости в работе. Я знаю, чувствую, что Вы пребываете в последнее время в этом прекрасном состоянии души, живете на высоких оборотах, и дай Бог Вам осуществить все задуманное. Я полагал, что Вы заканчиваете военный роман. А Вы уже завершили его и еще новую повесть написали. А прочитал я только первую часть романа в «Новом мире» 1992 года. Вторую часть так до сих пор и не смог достать. Подписаться на российскую периодику стало невозможно из-за целенаправленной политики нашего самостийного государства (только за рубли, а где они у меня...), да и просто не по карману стало. Когда-то у меня годовой подписки бывало на 180—200 рублей. Теперь, вот уже несколько лет, даже ни единой газеты не выписываю. Местная сельская библиотечка тоже не в состоянии подписаться на российские журналы, получает только «Аргументы и факты». «Новый мир» брали для меня из Очаковской районной библиотеки, но на второе полугодие 1994 года подписка ею не была продлена. И все! В Николаевской областной библиотеке читать журналы можно только в читальном зале, по МБА на высылают. За ксерокопии берут несуразно большие деньги. Автобусы ходят с перебоями, можно сегодня уехать, а вернуться только завтра, если сумеешь втиснуться в автобус. (Автомашину здесь я, слава Богу, с самого начала не стал заводить.)

Теперь я знаю, что прочту Ваши последние книги. Спасибо Вам! В душе зашевелились давние, еще детские рефлексии книгочея. Бывало, возьмешь в библиотеке книгу и бежишь домой, на ходу открывая страницы наугад, выхватывая то одну, то другую строчку, и от волнения у тебя какой-то холодок под селезенкой... А дома нужно побыстрее устранить все отвлекающее и — на чердак, на сено, на старый полушубок возле крохотного оконца... К шестому классу мною уже была перечитана вся библиотека нашей средней школы, и, зная мое трепетное отношение к книгам, наша библиотекарша стала давать мне на дом один за одним тяжелые тома Большой Советской

Энциклопедии, еще довоенного издания, в красном переплете. Тогда же я записался и в довольно хорошую поселковую библиотеку. (Наш поселок Хор под Хабаровском был самый большой в районе, тысяч 5 жителей, и самый промышленный: три завода — кирпичный, лесопильный и гидролизный, где гнали «сучок» — метиловый спирт.)

А читать я научился совершенно случайно, нечаянно, в четыре года, даже чуть раньше. В 1934 году (мне было три года) мы уехали с Дальнего Востока, ставшего голодным краем, на родину моих родителей — в Астраханскую область. Но там, оказалось, тоже был голод, только еще пострашнее. Отец, астраханский бондарь, снова уехал на Дальний Восток, чтобы, подыскав подходящее место, вызвать нас. А мы с мамой остались жить у отцовой сестры в доме на Трусове (это продолжение Астрахани на правом берегу Волги). Жили мы с мамой в прихожей, спали на сундуке. В прихожей жила еще одна квартирантка — тетя Тося, которая стала моей крестной. Крестили меня в три года там же, на Трусове. Отцова сестра Наталья Андреевна и ее муж Василий Сергеевич Бураков были горькие пьяницы. Их старший сын с семьей жил отдельно. Младший сын Витька ходил в первый класс, учился очень плохо. Взрослые шпыняли его, побуждая хоть к каким-то успехам, и он, обливаясь слезами, что-то читал и писал — то и другое с превеликим трудом. Вот застряли в памяти строчки из его букваря:

По дворику хохлатка,
По дворику мохнатка
С цыплятами идет.
Чуть детки зазеваются,
Шалят иль разбегаются —
Тотчас к себе зовет.

Сидел Витька всегда за кухонным столом, его табуретка стояла вплотную к сундуку, и я, стоя на сундуке, вжавшись в какую-то занавеску, внимательно, не шелохнувшись, чтобы не прогнали, часами следил за процессом просвещения. А потом однажды (это уже в 1935 году), к удивлению всех взрослых, обнаружилось, что я в свои четыре года довольно свободно читаю, и не по буквам, не по слогам, а сразу словами, и никто не мог понять, откуда это у меня, ведь никто меня не учил. Я и сам не связывал эту свою способность с муками просвещения Витьки, просто читаю и все, будто так всегда было. В тот день мы с

мамой были в городе, побывали на Кутуме, где городской базар, заходили в какие-то лавки, а когда остановились у книжного киоска, я попросил маму купить мне книжку «Усатый-Полосатый». Мама: «Откуда ты знаешь, что эта книжка так называется?» — «А вот написано: «Усатый-Полосатый»!» — Продавец в киоске заинтересовался и дал мне прочитать названия других книг. Я прочитал. «Сколько ему лет?» — «Четыре года». — «Не надо таких маленьких учить». (Расхожее мнение нашей тогдашней педагогики.) — «Да кто его учил!» — «Ну, не сам же он научился». — Мама досадливо дернула меня за руку, и мы пошли дальше. «Кто тебя научил читать?» — Я не знал, что ответить. Человеком удивительной скромности была моя мама. В мои школьные годы она всеми правдами и неправдами избегала родительских собраний: там меня хвалили, и ей было мучительно быть в центре внимания многих глаз.

Там же, на Трусове, в том же возрасте, я, тоже нечаянно, научился счету в пределах сотни. Не считать до ста — это пустяк! — а именно вести счет, прибавлять и отнимать двузначные числа, умножать и делить внутри сотни. Дело в том, что Бураковы «взяли патент» на продажу воды. Им провели холодную воду, в комнате под подоконником поставили вентили, а за окном из синей трубы шла холодная вода, а из красной — горячая (очень редко, впрочем). Уголок оконного стекла был отбит, и в него люди, пришедшие за водой, просовывали деньги. Ведро холодной воды стоило три копейки, горячей — пять копеек. Отпускать воду — дело несложное, но для взрослых докучливое — с самого раннего утра до позднего вечера, и потому все чаще они, занятые делами, просили меня отпустить воду, подсказывали, какую сдачу дать, ведь деньги совали разные. Это занятие доставляло мне величайшее удовольствие. Даже гуляя на улице, я опрометью бросался домой, завидев человека с пустыми ведрами. Без малейших усилий, не осознавая этого, я быстро освоил счет и считал даже быстрее многих взрослых, ведь в то время мало у кого было образование больше двух-трех классов церковно-приходской школы, многие же вообще были неграмотны. А я с утра до вечера, забавляясь, упражнялся в счете. Все монеты укладывал столбиком по номиналу, составлял из монет рубли и завертывал их в бумажки. Наталья Андреевна с утра время от времени спрашивала: «Вова, сколько уже денег?» Я говорил. Когда сумма была

достаточна на четвертушку, она брала деньги и уходила в магазин. Надо сказать, водка тогда продавалась свободно в любом магазине с самого раннего утра, а за хлебом были тысячные очереди, которые занимали с двух часов ночи...

А до того, как я пошел учиться в школу в первый класс, я уже был читателем городской библиотеки на станции Вяземской (городок на железной дороге между Хабаровском и Владивостоком), и первую книгу я выбрал сам: «Три Поросенка и Серый Волк», а в нагрузку мне дали патриотическое — детскую книжку о военных кораблях, которые не очень меня интересовали, как и все военное (странное для мальчишки свойство — не любить военные атрибуты, но это так!). Но (какова цепкость детской памяти!) до сих пор помню один стишок из той книжонки:

Миноносец с дымной гривой
Мчится, волны бороздя.
Слава Родине любимой!
Слава мудрости вождя!

И картинка — зеленый корабль, зеленые волны, и даже небо зеленоватое... Мой любимый цвет. Даже и в детстве он меня завораживал. Может, потому и застряли в мозгах эти строки. И еще, будучи дошкольником, я прочитал, к слову, книгу Дж. Лондона «Белый Клык».

Таков мой читательский стаж. Со временем переборчив стал. Редко, очень редко испытываю наслаждение от чтения. В этом году добрался, наконец, до «Улисса» Дж. Джойса. Боже! Какая тягомотина!

Да, для начала XX века эта книга во многом была откровением, открытием новых стилей и возможностей слова. Тот же внутренний монолог (хотя он, по-моему, встречался у некоторых писателей уже в XIX веке). Отдаю должное интеллекту многих восторженных и очень известных читателей этой книги, но себя я просто заставлял читать «Улисса» и дочитал-таки до конца этот бред маньяка. А вот «Замок» Кафки я приступал читать трижды, но осилил только одну треть и куда-то надежно засунул эту книгу, чтобы уже больше она не попадалась мне на глаза. Мои привыкшие к логике технарские мозги просто не выдерживают нагромождения абсурдных ситуаций.

Вкусы мои, наверно, слишком особые, может, даже предвзятые. Ко многому я оказываюсь равнодушен, а коечто иногда насквозь пронзает мою душу. Вот, к примеру, в «ЛГ» несколько лет назад были опубликованы стихи не-

известного мне (тогда и теперь) Низаметдина Ахметова, написанные им по-русски с дактилическими рифмами и (разновидность выпендривания) без знаков препинания, и вот одну его строку помню до сих пор:

«...и позабыть меня
некому»

Вот силища!

Здесь до меня доходят только отголоски литературных событий последних лет. Очаковскую библиотеку я уже замучил своими заказами через нашу сельскую. Из последних российских публикаций почти ничего сюда не доходит. Но зато доступны стали мне многие старые поэты, изданные в последние годы, но еще до отделения Украины. Прошлой осенью и зимой я читал-перечитывал Инн. Анненского, Дм. Мережковского, Вал. Брюсова, Конст. Бальмонта, Ивана Бунина, Андрея Белого, Зинаиду Гиппиус, Николая Гумилева, Велимира Хлебникова, Георгия Иванова (всех уж сразу и не перечислю). Оказывается, Осип Мандельштам существенно не дотягивает до уровня Б. Пастернака, А. Ахматовой, М. Цветаевой. Наряду с гениальными есть у него стихотворения заурядные и даже весьма слабые, и таких немало. А Иосиф Бродский был знаком мне только по отдельным стихотворениям либо в чтении артистов по ТВ, и у меня было стойкое неприятие его стиля, хотя в хорошем исполнении производил впечатление. Но вот прислали мне из Очакова его издание, самое полное у нас, и я с головой окунулся в его стихию языка. И он сумел обратить меня в свою веру. Да, он велик! Да, он гениален! И Нобелевскую дали ему заслуженно. Необъятность русского языка — это его стихия, и он в ней — как рыба в воде. И ведь я продолжаю считать, что прозу жизни негоже втискивать в поэзию. И мне не по себе от корежения слов, которыми он грешит. Он забавляется словами, и эта игра увлекает, однако. Я даже кое-что перепечатал на машинке. А ведь он вроде бы считается учеником Евгения Рейна. Вот кого я не приемлю абсолютно. Его стихи, по-моему, — не стихи. Их даже не назовешь эмоциональной прозой, скорее, плохая проза, еще и с разными вывертами.

Продолжаю это письмо после большого перерыва. Больше месяца не мог сесть за машинку. Огород. Виноградник. Двор. На что ни посмотришь — все рук требует.

Прополка. Рыхление. Колорадский жук. Жара. Более месяца не было ни капли дождя. В водопроводе нет напора для полива. Иногда удается ночью что-то полить, но для этого приходится караулить воду все ночи напролет. Сплошной сюр в быту. До того как деньги сгорели в инфляции, не догадался вот пробурить себе водяную скважину на участке. Нет-нет, я, дальневосточник, не сожалею, что переселился сюда доживать свой век. Быт — дело нестоящее, хоть и досаждает иногда. Живу я здесь совсем в других реалиях. Вы раза два назвали меня «мой очаковец». К сожалению, я плохо знаю Очаков, очень редко бываю в районном центре и то только по делам. Был в историческом музее, в картинной галерее. Исторические события двухсотлетней давности знаю не лучше других. А приехал я, чтобы жить остаток дней в селе Парутине, в 37 км от Очакова. Название села ничего не говорит. Но расположено оно на месте античного города Ольвии, Ольбии в эллинской огласовке. Античностью меня стукнуло — нет, шарахнуло! — совершенно случайно в 1974 году. Потом я четыре года искал и нашел-таки античное средоточие, которое полнее всего соответствует состоянию моей души, — Ольбию. В 1978 году мы приезжали сюда на машине, и я сразу сказал: здесь я буду жить! И приезжал сюда в отпуск каждый год. В 1980 году купил здесь дом, а в 1986 году по выходе на пенсию в 55 лет сразу же переехал с Камчатки сюда жить, и я счастлив здесь так, как и не мечталось. Античность тут всюду, даже в самих молекулах воздуха, и я с удовольствием погружаюсь в мои праславянские, скифские и эллинские ретроспективы. По этой тематике у меня в каталоге значится уже около 3500 научных работ, которые я проштудировал и перелопатил в свое мирочувствие — роскошное, равновесное, языческое. Изучил праславянский язык, все научные публикации по скифскому языку, познакомился по двум учебникам с эллинским (древнегреческим) языком, а из МГУ мне прислали ксерокопии подлинных текстов античных поэтов.

Живу под стенами Ольбии. На своем огороде нахожу черепки античной керамики, откопал даже алтарную плиту. В самом городе знаю все, что раскопано. Город расположен на склоне высокого берега лимана, распахнут навстречу утреннему солнцу. В каждое полнолуние невозможно удержаться, чтобы не побродить по античным улицам и закоулкам. В небе круглая луна. Через весь лиман про-

стирается завораживающе-переливчатая лунная дорога, пустынная до самого края, а взгляд ускользает в дальний ее предел, к той непроницаемой полосе, где воды Понта Евксинского касаются ночного неба, — предел и запредел пространства, времени и мысли. Даль и огромность пространства, и тревога, и надежда, и неизвестность — и все это было во все времена... Иной раз до утра брожу по античной Ольбии, бормочу по-эллински строки Алкея, Сапфо, Анакреонта. Иной раз и свое что-то выборматывается.

И снова над Ольбией лунный морок.
И снова здесь ищу я с вами встреч,
Слоняюсь, как сиротствующий отрок,
Всю ночь по Граду вдоль и поперечь.

Мир отрешен, нездешен в лунном свете,
Как в мерклой дымке бронзовых зеркал:
И есть я здесь — и вот уж как бы в нетях...
Так зыбок ваших теней матерьял.

А Хронос — он слепой Эдип на сцене.
Минувшего и яви единенье —
Предел и запредел у той межи.
Все смутно, будто Пифии реченье...

Я стану здесь такой же лунной тенью,
Когда наступит смертный сон души.

Потрясает душу и глухая темная ночь в мертвом Городе, особенно когда в селе вырубается свет.

Бываю и безлунной ночью здесь я,
Чтоб видеть после жизни бытие,
Где пустота до самых звезд разверста,
И — одинокость в этой пустоте.

Над Градом, как в заклятом сне, зависла
Обугленная давняя печаль.
И лёта нет пульсирующей мысли.
На тыщи стадиев — слепая даль.

И ветер душу пылкую остудит.
Ведь завтра вправду ничего не будет...
Зачинов всех — постскриптум пред тобой,
Всего былого — отдаленный отзвук...

Горчащий черный ветер над землей...
Над ветром —
звезды...

Никогда в жизни не писал стихов, а тут на старости лет стало иногда что-то накатывать. Пожалуйста, не смейтесь. Подобные строки — только для моего, так сказать, внутреннего потребления. Ведь без античности под боком и в душе мое пребывание здесь было бы полной нелепицей, особенно в последние годы, когда уровень жизни на Украине все более становится шизофренищенским. Покупательная ценность моей пенсии (когда-то 132 руб.) упала до уровня, который соответствует 12—14 долларам в месяц, а деньги на книжке сгорели в инфляции. Всю свою взрослую жизнь я не испытывал нужды в деньгах и потому не научился их ценить, но сейчас просто не на что жить. Удивительно легко восстанавливаются рефлексии убогого моего детства в военные и первые послевоенные годы. Останься я на Камчатке, я, конечно же, снова начал бы работать на прежней должности, получал бы сейчас (с северными надбавками) более 2 млн. руб. Этого было бы достаточно, чтобы съездить, например, в Грецию (голубая моя мечта!). И все же нет, не хотел бы я доживать свой век на Камчатке. Не променяю свою античную Ольбию ни на какие блага. Здесь легче сохранять хоть какое-то равновесие души, погружаясь в пятый век до Р.Х. Иначе реалии нашей теперешней жизни могут повредить разум. Я не сожалею, что развалился СССР, что рухнуло в одночасье все это большевистское паскудство, счастлив, что дожил до этого. А впереди у народа — долгие десятилетия выкарабкивания к свету со всеми ужасами стихийного хаоса. Вот собачьим репьем сидит в сердце война в Чечне. Это какими же нужно быть недоумками, чтобы заранее не предвидеть ее последствий! А наши, да, наши зверства там! У меня нет оснований сомневаться в достоверности сообщений Би-Би-Си и радиостанции «Свобода». Ведь эти воюющие там мальчишки — частицы, сколки, оскребыши всего нашего народа, частицы его души!.. Иногда мне бывает стыдно, что я русский. И эти наши омоновцы в масках! Безликая вседозволенность! Разгул звериных инстинктов — безнаказанный, беспредельный. И это русские люди! Да, но ведь и во мне, чувствую, сидит зверь. Вот запусти машину времени, вложи мне в руку пистолет, и я спокойно — рука не дрогнет! — перестрелял бы всех большевистских паханов, за которыми стоят десятки миллионов загубленных жизней. Может, только ихних баб пощадил бы — Крупскую, Коллонтай, кто там еще... И это

я, который даже мышь не может убить, который птицу во дворе не заводит только потому, что не может курице голову отсечь.

Весь XX век — нечто надрывное, выморочное, ублюдочное. Апокалиптический Страшный Суд? Да вот он — весь XX век! Он и есть Страшный Суд в истории человечества. А впереди маячит 2000 год — межа даже не столетий, но тысячелетий! Нечто длинное и облое, как кол. И радости от него никакой, только удивление.

Дорогой Виктор Петрович! Спасибо Вам за открытку с Вашим портретом. Искусствоведов, пожалуй, покоробит слишком лобовое решение художником замысла. Но в этой картине обширный подтекст. В ней равновесие света, цвета, объема. Чем больше вглядываюсь, тем глубже открывается подсознательное, сокрытое в живой душе этой картины. Да, это истинно Память. То, что было. Оно и теперь есть — прочное, осязаемое — и обреченное быть только воспоминанием. Родной дом. Лиственничный сруб, почернелый от времени, в лишайниковой цвели, он все еще звеняще крепок. Он и еще сотню лет мог бы простоять на этом месте. И чуть-чуть привядшие живые цветы — жарки? прострел (сон-трава)? Вот он — «Последний поклон»! И вот он — Человек, в белой одежде, живая плоть, живая память. Жизнь Человека протекает уже в другом мире — светлом, просторном, но в воздухе какое-то неспокойство, и окоём не обозначен, ведь безоблачной жизни не бывает, и конечного предела не дано людям знать. Тут три ступени человеческого бытия: родной очаг — окружающий мир — космос. Да, в прорехе небесной пелены — темнеет глазницами Вечность. Прекрасный во всем подтекст. Прекрасный портрет. На вечную память народу. Спасибо Валерию Кудринскому! Ваш портрет с автографом теперь всегда будет стоять у меня за стеклом на книжной полке возле моего стола среди нескольких фотографий самых дорогих мне людей. Спасибо Вам превеликое!

Из Вашего письма не понять, дошла до Вас моя посылка или нет. Но только на днях я узнал на почте, что никакие посылки теперь за пределы Украины не принимаются, что посылать можно только старые вещи. Я не понял. Мне объяснили: только старую одежду и только на таможне в Николаеве. О Боже! Если таковы установления теперь и с российской стороны, то мы уже далеко зашли. Но каков ход мыслей! Если не будем высылать за рубеж продукты и добротные вещи, то страна будет богатеть!..

Особенно это понятно здесь, на Украине. Кстати, почему это в России так безропотно приняли по требованию украинцев новую для русского языка грамматическую форму предложенного управления: в Украине, в Украину? И в газетах, и по радио, и по ТВ. Явное насилие над русским языком. В украинском языке равно допустимы оба варианта употребления предлогов, например:

песня:

«ПОВІЙ, ВІТРЕ, НА ВКРАІНУ»...
из теперешнего гимна Украины:

«А завзяття, праця щира
своего ще докаже,
Ще ся волі в Україні
пісь гучна розляже».

(А упорство, усердный труд
истинно скажутся еще,
звонкая песнь свободы
еще раздастся на Украине).

из Т. Г. Шевченко:

«Як умру, то поховайтэ
Мене на могилі,
Сэрэд стэпу широкого,
На Вкраіні милій...»
«...J на Украіні
Я сирота, мій голубэ,
Як і на чужині».
«Було колись — в Украіні
Лихо танцювало...
...Було колись добре жити
На тій Украіні...»

и мн. др.

А став независимой, Украина вдруг стала требовать, чтобы в русском языке употребляли только один предлог — «в», в винительном и предложном падежах. Случай занятный. И я, кажется, разгадал его. Украинцы, конечно, заметили, что с названиями всех стран и государств русские употребляют предлог «в»: в Америку, в Чили, в Англию, в Италию, в Японию, в Китай, в Шри-Ланку, в Непал, в Эфиопию, в Люксембург, в Сан-Марино и др. А для их страны — предлог «на»: на Украине, на Украину! Обижаете, панове! Унижаете!.. Давайте без этой дискриминации! И настояли, как видно, на своем. И не только они.

Замелькали у нас языковые выверты — «Таллинн», «Ашгабад», «Кыргызстан», «Молдова», «в Украине»... Продолжая идею, нужно было бы срочно перелопатить всю географию: «Рома» «Наполи», «Пари», «Дойчланд», «Скотленд», «Нипон» и мн., мн. др. (Рим, Неаполи, Париж, Германия, Шотландия, Япония...). Но лингвисты быстро спохватились, исправили оплошку, вернулись к исторически сложившейся в русском языке топонимии. А вот падежную форму «В Украине, -ину», видно, решили оставить. Зачем гусей дразнить? А ведь это насилие над русским языком! Наш язык улавливает тончайшие смысловые оттенки. Ведь слово «Украина» (древнерусское «оукраина») этимологически восходит к слову «окраина», т. е. это пограничная часть какой-то большой цельности, в нашем случае — государства, и язык выделяет эту часть целого. Мы говорим «на Кавказе», «на Урале», «на Алтае», «на Таймыре», «на Дальнем Востоке», «на Курилах», «на Камчатке», «на Чукотке», «на Аляске» и т. п. Все это части целого. Но — «в Сибири», «в Сибирь»! Исключение? Нет. Просто язык уловил беспредельность просторов этой земли и воспринял ее во всей цельности, самодостаточности как нечто великое в еще более великом. А «Украина» — она и есть «окраина», и нечего насиловать русский язык. При таком болезненном комплексе украинцам следовало бы задуматься над самим названием своего государства. Уж очень выпирает из него этот общеславянский корень «край», так унижающий достоинство теперь уже независимого народа. И ведь есть историческое название этой земли, и очень-очень древнее. «Скифия»! И тогда отпадают все грамматические и прочие несуразности. «В Скифию», «в Скифии» — никакого насилия над русским языком. Скифия! Она здесь по всем статьям Скифия и есть!

Дорогой Виктор Петрович! Извините, пожалуйста, меня за многословность, за то, что отнимаю Ваше драгоценное время. Извините! С нетерпением буду ждать Вашей бандероли. Желаю Вам доброго здоровья, все той же творческой одержимости и полного благополучия Вашим родным.

Ваш ***В. Миронов,***
с. Парутино, Николаевская обл., Украина

И вот — события в Буденновске! Одно из самых страшных. Душа цепенеет. Из рук все валится. Жизнь наших

граждан — ничто! Вести огневую атаку, когда на одного бандита приходятся десятки несчастных заложников!.. И где, где голос А. И. Солженицына о войне в Чечне!

20.8.95 г.

Уважаемые Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Как Ваше здоровье? Как Вы поживаете?

Шлю Вам искренний привет из родного города Нанкина.

В середине апреля я из Москвы послал Вам одно письмо, не знаю, дошло ли оно до Вас. Извините за долгое молчание. Но о Вас с Витей и Полей я всегда помню. Да, подаренная Полей лошадь стоит у меня на полке и все напоминает о той неделе, которую я так счастливо провел у Вас в Академгородке. Дело в том, что первое время по возвращении на родину (18 апреля) я лечился, а потом будничные суеты мои как преподавателя и как администратора меня совсем поглотили. Только сейчас, когда идут у нас летние каникулы, я чувствую себя свободным и могу делать то, что хочу делать.

Чем больше я читаю текущую русскую литературу, тем страстнее у меня желание систематически знакомить моих соотечественников с шедеврами русской литературы на рубеже 80—90 годов. И на днях уговорил начальство издательства «Хунань вэньи (Художественная литература в провинции Хунань)» издать библиотеку «Новая русская литература» (не в смысле том, какой имеет этот термин сейчас в России, а в смысле нового в русской литературе). В библиотеку я включил Вашу «Так хочется жить», которую я прочитал в феврале у Вас в Красноярске. Хотел предложить в издательство «Прокляты и убиты», но потом раздумал: еще не вышла вторая часть отдельной книгой, в которой, как Вы мне сказали, должны быть важные поправки, да не вышла и третья часть романа. Я решил потом предложить в издательство отдельно Ваш роман.

Директор издательства, зная о моей дружбе и связях с Вами, Виктор Петрович, поручил мне выпросить у Вас согласие на издание вашей вышеупомянутой повести в китайском переводе. Я ему, директору, уже сказал, что Вы выразили уже согласие на мои слова о том, что если я найду в Китае подходящее издательство, то для него пе-

реведу Ваши «Так хочется жить» и «Прокляты и убиты». А директору нужно письменное свидетельство. Итак, я составил бумагу и прилагаю ее к настоящему письму. Прошу Вас, Виктор Петрович, ее подписать и мне прислать обратно заказным письмом. Когда получу Ваше согласие, сразу передам в издательство и начну переводить. Ваш гонорар будет выплачен издательством «Хунань вэньи» в конце издательской работы, ибо только тогда будет известно количество иероглифов текста перевода и тираж книги, а у нас ими определится гонорар. Гонорар будет вполне приличным. Об этом не беспокойтесь. В случае чего я буду заступаться за Ваши интересы.

Уважаемые Виктор Петрович и Мария Семеновна, оглядываясь на только что прошедшие пять-шесть лет, я заметил, что новая русская литература у нас переводится плохо. Причин этому много. Вот главные из них: одни переводчики-литераторы (их немало) еще не избавились от стереотипов соцреализма и не могут воспринимать новинок в русской литературе, другие (их много) перешли на коммерческую работу — туда деньги сильнее манят; третьи не хотят иметь дело с вещами, которые пока еще не получили положительной оценки официальной критики; четвертым не так уж доступны периодика и книги: много вузов и НИИ из-за недостатка денежных средств значительно сократили (или даже прекратили) выписку литературы из России (да русские книжно-торговые учреждения так вздули цены). А что может лучше литературы сблизить народы разных стран? По-моему, нам, китайцам, нужна русская литература потому, что нам надо понимать русский народ, который переживает свою важную переломную эпоху, надо обогатить себя тем духовным опытом. Надеюсь, что «спровоцированная» мной библиотека будет способствовать делу дружбы и взаимопонимания народов Китая и России, духовного обогащения моего народа.

У нас все стабильно. Инфляция снизилась по сравнению с прошлым годом. Начали давить на взяточников и других преступников с большой должностью. Но эта борьба длительная и сложная.

Постоянно слушаю «Голос России», слежу за ситуацией той части мира, где живете Вы со своими внуком и внучкой — дорогие мне люди. Надеюсь, что с окончанием войны в Чечне Россия станет на путь строительства «нор-

мального демократического общества», как Черномырдин сказал.

Желаю Вам, Виктор Петрович и Мария Семеновна, и Вашему внуку Вите и внучке Поле всего наилучшего.

Жду Вашего ответа.

С уважением к Вам, Ваш ***Юй Ичжун,***
г. Нанкин

11.9.95

Дорогая Ася! (Гремицкая)

Взобрался я снова в больницу с тяжелейшим воспалением легких (в баньку сходил!) и сразу же собирался надиктовать письмо Мане, ибо сам ни писать, ни дышать. А Маня поехала в Овсянку, поскольку я в панике все бросил вплоть до ручки и адресного блокнота, да на обратном пути угодила в автоаварию и поломало ей «рабочую» левую руку. Были вместе с нею в машине Поля с подружкой, но они отделались испугом.

Сейчас Маня кукует дома, а я лечусь, верчусь и не скоро отсюда выйду.

Я чего пишу-то? Был у меня тут Полторанин с группой телевизионщиков, снимали они нашу с ним беседу, долго снимали, намучили вдосталь, а деваться-то некуда, построили в деревне прекрасную библиотеку, ты сама видела, дали ей самостоятельный статус, а содержать-то ее некому, денег никто не дает. Вот я под будущие деньги и работал. (Была у меня знакомая в Москве во время учебы на курсах, та говорила: маляр пришел — подставляй; поэт пришел, стишки принес — опять подставляй, ну и т. д.). Вот и мне, страдая за опчество и в пользу бедных, приходится подставляться. Дали деньги библиотеке, говорят, серьезные.

Полторанин был у меня и во второй раз и пообещал выхлопотать — вставить мое Собрание сочинений в какую-то экономическую программу. Сказал, что, прежде чем это все произойдет, сюда, в Красноярск, приедет Лапшин с представителем издательства «Дом», и назвал представителем тебя, а тут на съемках оказался директор нашего полиграфического комбината «Офсет», только что очень хорошо отпечатавший для российских школьников

25 учебников на новом, немецком оборудовании. Он сказал: «Никакой Твери! И тем более Финляндии. Это дорого и канительно. Я напечатаю Собрание и быстрей, и дешевле».

Вот такие вот дела. Если что зашевелится, имей в виду и потихоньку готовься к поездке. Я же все лето ни хрена не делал, копил силы. В начале октября должен был поехать в Индию, и вот все накрылось, поехал в больницу, с воспалением легких — это надолго. Но что же делать? Усмиряет М. С. — она и одной рукой за все хватается. Соседка сказала, что и вторую руку ей к туловищу привяжет, если она будет так себя вести.

Более писать мне не о чем, да и бумаги нет. С трудом выхожу из душевной депрессии, в которую попал по причине лекарств и бед, на нас свалившихся.

*Обнимаю, целую, желаю — **Виктор Петрович***

6.11.95 г.

Дорогой Саша! (Михайлов)

Есть какие-то предчувствия или шепот свыше — я тут долго болел, полтора месяца провалялся в больнице со своими гнилыми легкими, и на этот раз навалилась на душу такая смута, что не мог работать в больнице, да и дома до се на рабочий лад никак не настроюсь. И вот, в праздности и безделье чего в голову не лезет, и среди прочего взошло: «Что-то Саша не пишет, ни слуху ни духу, уж не обидел ли я его чем?»

И вот пакет от тебя! Я не читал этой критики, не слышал о ней. Прочел, пожал плечами — несерьезно это, хотя и небеспричинно. Это ж мне за начальника политотдела Лазаря Исаковича Мусенка гонорар, разве ты не понял? Меня как-то за слово «еврейчата» в «Печальном детективе» и за плюху Эйдельману доставали аж из Бостона, через «Континент». Володя Максимов дальнюю критическую эпистолу не стал печатать, так криво сикающая Горбаневская, сама себя записавшая в известные и потому гонимые поэтессы, как только редактор надолго отлучился, тиснула статейку. И в ней было то же самое, жгучее, через слюнявый рот бьющее желание унизить во что бы то ни стало русского лапотника, смеющего чего-то еще и

писать. Громила жидовка мой лучший рассказ «Людочка», заступаясь за русский народ, за русский язык, за нашу святую мораль и в конце статейки уж без маскировки лепила: «Он и раньше не умел писать, а ныне и вовсе впал...» Затем Агеев, ныне работающий в «Знамени», в разовой ивановской газетенке трепал ту же «Людочку», как подворотний кобелишка штанину, и все это с углубленной и сердечной заботой о русской культуре вообще и о литературе в частности. И нигде ни звука ни хрюка о первопричине. Заметь, что худо написанное они у меня никогда не трогали. Стервятники! Хитрые и подлые. Меня, увы, это уже не бесит. Прочел и прочел. Газетенка избыла честного русского мужика Третьякова и вот с чего начинает восстанавливаться.

Читают и знают ее в стране, тем более в провинции, мало. Пронесет, как кислый дождь над городом, только желто станет на грядах и тошнотно. Что любопытно: нападают на меня жиды именно в ту пору, когда мне тяжело, или я хвораю, или дома неладно. Лежачего-то и бьют. Но я еще стою, и меня, как Суворов говорил, мало убить, надо еще и повалить. Можешь это другу своему Ваншенкину не читать, он-то, как мне кажется, на жидовские штуки не способен и историческую, затаенную злобу в себе не несет, а Наум Коржавин — выродок, и ему все равно, кто он по рождению, неуклюжий, почти слепой и глухой, но какой чудесный человек.

А меня увозили из села срочно, на «скорой», и все я оставил там на ходу и на лету. М. С. поехала за моими вещами, попала в автоаварию, и ей поломало левую «рабочую» руку, но уже и она, и я маленько наладились, ведем домашние дела. Она, М. С., неугомонная, еще умудрилась летом ремонт квартиры провести, чтоб, когда Витя из деревни с каникул прибудет, так работалось бы ему.

А осень стояла такая золотая и почти до ноября, что сердце мое разрывалось — в тайге не побывал, а поездка в осеннюю тайгу для меня всегда заряд на работу и поддержка во всю зиму. А зимы у нас худые. Енисей-то не замерзает на 300 верст, парит, знобит — для легочников вовсе беда и хандра. Вот и захандрил, вот и не могу смотреть на бумагу, но, думаю, пройдет. Надо мне доделать два рассказа, написать детскую повесть, «Затеси» написать, а тогда уж и за третью, самую тяжелую книгу романа приниматься.

Планы, как видишь, более чем наполеоновские, но вполне посильные, лишь бы не было обострения в легких — тяжело они у меня стали проходить. Но что ж делать? Года! И времена какие-то промозглые, ненастные, но надо засаживать себя за стол вплотную. Благодарю тебя, друг мой, за письмо, за статью. Вижу, как больно тебе было читать это злобное, подлое варево, когда уж бьют и по раненому глазу, да что же делать? Вспомни историю русской литературы — чего только не делали с русскими писателями, но чем их больше казнили, надругивались над ними, срамотили и унижали, тем лучше они писали.

На том и стоять будем!

Обнимаю тебя и целую, брат мой окопный. Поклон всем твоим. Саня-младший все холостякует, да? А «Водник»-то держится, вперед движется, но наш «Енисей» обмелел и закис.

Будем жить!

Преданно твой ***Виктор Астафьев,***
г. Красноярск

4.10.95 г.

Глубокоуважаемый Виктор Петрович, здравствуйте!

Осмеливаюсь беспокоить Вас по вопросу всеобщей беды, свалившейся на Россию и россиян. Как истинный россиянин-христианин я не могу, да и, по долгу землянина, не смею равнодушным быть и молча, уподобившись быку, которого ведут на бойню, созерцать на творимое и творящееся зло в России.

Посему и решаюсь обратиться к Вам, Виктор Петрович, за советом-помощью по поводу написания книги-определения исторического момента, книги-призыва к борьбе со злом, книги-приговора зло творящим.

Да, я, человек с образованием аж в четыре класса, взялся, или, вернее, берусь писать такую книгу. И напишу. Непременно напишу. Но не откажусь, ибо очень нуждаюсь в помощи профессионала в этом деле. За такой помощью я уже пытался обратиться к одному писателю-красноярцу. Но, к сожалению, у него альбо времени не нашлось, альбо просто оказалось «недосуг». Ну, да Бог с им. Пытался поискать по России Владимира Михайлови-

ча Запецкого, автора «Колпашевского яра», но найти его не удалось.

Тогда вот я и решился рискнуть обратиться к Вам. Почему теперь, а не раньше? Да, видит Бог, говорю правду, во-первых, как-то и боялся, и стеснялся беспокоить самого Астафьева со своими замыслами о книге. А во-вторых, попросту не знал Вашей точки зрения, Вашего мнения и отношения к корежещему Россию социально-экономическому, правовому, экологическому и национально-демографическому землетрясению. А когда не так давно послушал Вас по радио и услышал Вашу боль и Ваше искреннее переживание за случившееся, я понял, что Астафьев — это истинный россиянин, русич-христианин и... Человек. После этого как-то и на душе стало потеплее и полегче, и... смелость появилась побеспокоить Вас со своими мыслями и чаяниями.

Но, уважаемый Виктор Петрович, полностью в этом письме откровенничать по поводу своих замыслов не решаюсь. Ибо, а вдруг это письмо, прежде чем попасть к Вам, заскочит в «черный кабинет» — у нас в городе такой кабинет есть, и я даже знаю, кто его возглавляет, — и там кто-либо своим «вальдшнеповым» оком — ученые утверждают, что природа наделила только одну птицу вальдшнепа видеть своим глазом на 360 градусов, — заглянет в это письмо.

Поэтому в этом письме хочу просить у Вас адрес, по которому письма будут попадать только к Вам. Если, конечно, у нас состоится переписка. Ну, а если Богу и случаю будет угодно явить Вас у нас в Братске, буду безмерно рад встретить и принять Вас у себя в нищенской «берлоге».

Ну вот, наверно, покуль и все.

Извините за беспокойство.

Очень рад тому, что Вы живы и здоровы.

Рад тому, что Вы есть у России и у нас, россиян.

С искренним уважением,
ветеран Великой Отечественной,
бывший узник фашистского,
детского спецконцлагеря
Богданов Константин Константинович,
г. Братск, Иркутской области

[1995 год]

Уважаемый Виктор Петрович!

Давно читаю Ваши книги, а по долгу и призванию своей работы знаю, что и читатели не обделяют вниманием Ваши книги, вашу прозу.

Обычно по произведениям знают и судят и об авторе, и это, по-моему, правильно. Что человеку больно, близко и понятно, о том он и пишет, если Бог талантом не обделил. Настоящий писатель у нас — это совесть народная!

Читая Ваши книги, я старалась не пропустить и интервью с Вами, особенно за последнее время. В них много о войне, и Ваш взгляд на нее совсем не такой, как у большинства.

Виктор Петрович! Судя по Вашим высказываниям — это тяжкая, большая и грязная работа. Кстати, я обратила внимание на то, что Вы часто употребляете это слово по отношению к войне. Мне трудно судить об этом, я родилась в 1956 году. Войну знаю по книгам, фильмам и рассказам своих близких и знакомых. И боюсь, что Вы правы: мы не знаем настоящей правды о войне. Не знаю, надо ли теперь ее нам знать, может, пусть останется хоть что-то романтико-героическое в нашем недавнем прошлом. Или наоборот — пора открыть глаза?!

Насколько я знаю, не все люди Вашего поколения согласны с Вашим взглядом на войну, на сегодняшний день. Я работаю в библиотеке, часто беседую со своими читателями. Для меня дорого то, что они делятся со мной воспоминаниями о своем прошлом. Говорим мы о прочитанном, говорим и о Вас.

Я слышала разное: от полного неприятия до глубокого уважения. Мне кажется, что многие из моих старших собеседников просто устали и сегодня хотят видеть в прошлом нечто светлое и героическое, и не мне их за это осуждать.

Но, не рассчитывая на свои аргументы, мне хотелось бы дать им почитать (и самой прочесть) Вашу книгу «Прокляты и убиты». Поэтому вот и решилась обратиться к Вам с просьбой: помочь нам прочитать роман «Прокляты и убиты».

Экономические и политические проблемы не могли не отразиться на библиотеке: мы уже почти год не получали ни одной новой книги, а те, последние, что были —

не выдерживают никакой критики! Я знаю, что этот роман был напечатан в «Новом мире», но и этот журнал нам недоступен, а ведь мы — Центральная городская библиотека!

Виктор Петрович, я так надеюсь на Вашу помощь.

С пожеланием Вам и Вашим близким здоровья.

Наталья Васильевна Морозова,
Луганск

[1995 год]

Дорогой Виктор!

Когда ты долго не пишешь, то меня начинают одолевать два предположения: или ты заперся и работаешь — и тогда слава Богу; или ты занемог, расхворался — и тогда не дай Бог...

В июле дважды видел тебя на экране: вид свежий, в пижонских темных очках, необязательных в Красноярске, в добротном летнем костюмчике — и облегченно вздохнул, и понял, что ты пока ничего, а не пишешь, видимо, из-за жары, лени и самотечно бегущих дней, а может, потому, что я не пишу...

Фотокопию с твоего портрета поместил в рамочку и повесил на стене. Портрет сделан удачно, с толстовскими аллегорями, с намеком на колючий твой характер. Словом, портрет хорош, и даже встрепанные твои седые вихры обыграны художником.

Ну вот, прибил я к стенке портрет, а писем от тебя все нет. И стало как-то разлаженно и скучно.

Дня три назад приезжал Глеб Паншин, привез кипу номеров очередного номера «Поля Куликова» — для здешнего распространения. Куряне не хотят на него подписываться, потому что не местный, а из какого-то Новомосковска. Но уходить с лица земли жалко: столько сил и средств ухлопал Глеб на поддержку его существования. Ради этого торгует сахаром, консервами, настенными календарями и еще всякой всячиной. Ездили мы с ним на рыбалку, так он к воде сам не может сойти, надо поддерживать его под руки — весь кривой и покореженный. У него ведь вырезали из мозгов 400 граммов опухоли. Говорит, журнал — его последняя стимулирующая отдушина, без журнала-де я загнусь...

А как ваши «Дни и ночи»? Тянете или бросили? На Дни славянской письменности ты не приехал, а я надеялся, может, приедешь. У нас стоит опасная жара, иссякли ручьи, обнажилось дно в верховьях прудов.

Нет ли у тебя рассказика для Глеба?

Обнимаю, ***Е. Носов***

[1995 год]

Дорогой мой собрат по войне!

Увы, Ваше горькое письмо — не единственное на моем письменном столе — их пачки, и в редакциях газет, и у меня на столе, и ничем я Вам помочь не могу, кроме как советом.

Соберите все свои документы в карман, всю переписку, наденьте все награды, напишите плакат: «Сограждане! Соотечественники! Я четырежды ранен на войне, но меня унижают — мне отказали в инвалидности! Я получаю пенсию 55 тысяч рублей. Помогите мне! Я помог вам своей кровью!» Этот плакат прибейте к палке и с утра пораньше, пока нет оцепления, встаньте с ним на Центральной площади Томска 9-го Мая, в День Победы.

Вас попробует застращать и даже скрутить милиция, не сдавайтесь, говорите, что все снимается на пленку — для кино. Требуйте, чтоб за Вами лично приехал председатель облисполкома или военком облвоенкомата. И пока они лично не приедут — не сходите с места.

Это Вам сразу же поможет. Через три дня, уверяю Вас, везде и всюду дадут ход Вашему пенсионному делу. Но будьте мужественны, как на фронте. Держитесь до конца!

Если же Вас начнут преследовать, оскорблять — дайте мне короткую телеграмму об этом, и я этим землякам-сибирякам такой устрою скандал, что иные из них полетят со своих теплых мест.

Сделайте еще один подвиг, сибиряк! Во имя таких же униженных и обиженных, во имя своей спокойной старости.

Желаю Вам мужества!

Ваш ***В. Астафьев****, инвалид войны, писатель, лауреат Государственных премий*

Копию письма Кожевникова вместе с моим — в Томский облисполком.

Копия письма остается у меня.

[Конец 1995 года]

Здравствуйте, глубокоуважаемый мной и моей семьей Виктор Петрович!

Тут купила Ваши две книги (дополненные и исправленные) «Последний поклон».

Когда десять лет назад я читала Ваши книги, душа была полна благодарности и сопереживания за Вас, за Ваших героев. Я тогда очень хотела с Вами поговорить, но услышала, что письма к Вам приходят мешками и Вам физически некогда их разбирать. Думаю, не хватало еще и моего письма. Теперь, я думаю, другое время и писать письма охочих мало. А пишу я потому, что Вы мне как родной, близкий человек. И хочется высказаться. Вот вы поделились с нами, написали книгу, как бы освободили душу, и мне хочется освободить душу. Читаю Ваши книги я вновь вместе с Вами, прожила Ваше детство, юность, зрелость. Я диву даюсь, как вы много видите, вмещаете в себя и как все пишете. Я вот прочитала книги и растерялась, как будто бы рассталась с близким человеком. Спасибо Вам за Ваше такое большое сердце, за язык. Я как будто бы жила вместе с Вами в Вашем селе, испытала вместе с вами грусть и тоску по прежней Овсянке. Что же теперь делать? Теперь вот вся страна в подвешенном состоянии. Хотелось бы, чтобы рьяные коммунисты почитали Ваши книги на примере одного села увидели, что происходит с землей, с народом.

Виктор Петрович, знайте, что Вас читают, Вас любят, Вам желают жить в здравии много-много лет. Пишите, нам нужны Ваши мысли, размышления, думы, Ваше слово. Время теперь интересное, трудное, переломное, очень хотелось бы знать, как вы относитесь к теперешней нашей жизни.

Немного о себе. Мне 54 года. Образование среднее. Читать люблю с детства. В молодости была комсомолкой, ура-патриоткой, ездила в Казахстан убирать целинный урожай. Затем поехала строить Саяно-Шушенскую ГЭС. Но там таких отчаянных приезжало в день по 200 чело-

век. Работой нас обеспечить не могли, и мне пришлось остановиться в селе (совхозе). Село стояло на берегу Енисея. Так что я целое лето купалась, мылась енисейской водой. Вода быстра и холодна.

Так вот, когда, ничего толком не зная и не ведая (нас ведь никто не звал и не вербовал), так сказать, по зову и поехала не великую стройку. С чемоданом и с 20 р. в руках. Автобус старенький, весь дрожит, вечереет, я думала, мы до конца рабочего дня доберемся, но куда там. Автобус вниз-вверх, горы, леса, наступает вечер. По дороге познакомилась с женщиной, тоже ехала на стройку века (ей-то что надо, думаю), ну ладно, едем и рассуждаем. Приедем, никого не знаем, где ночевать? Добрались до конечной точки. Темнота. И вот тут к нам подошла пожилая женщина и взяла нас, гавриков 5, к себе домой. Нажарила большую сковороду яиц, нарезала хлеба, налила чай. Без лишних слов бросила на пол матрацы. А когда нам дали от ворот поворот на стройке, я прибежала за своим чемоданом и стала ей давать за ночлег, за еду 2 р. Стыдно, что мало даю, но больше дать не могу. А она категорически отказалась брать деньги. Вот так за будь здоров накормила, приютила совершенно бескорыстно. А на вид суровая, строгая, высокая, худощавая. Так и осталась загадкой для меня эта суровая, но добрая сибирячка. Село, кажется, называлось Майна, и был это 1964 год.

Прошло более 30 лет, а я все помню эту женщину. Пусть душа ее будет в раю. По молодости я поездила немного по стране и почему-то попадались мне добрые люди. Да и у меня мыслей много, да не буду утомлять хорошего человека зазря. Всего вам самого доброго, здоровья Вам побольше. Знают ли ваши селяне, с каким человеком они рядом живут!

До свидания. Извините, может, где не совсем соблюдена орфография. Писала от души.

Раиса Васильевна Хайрулина

22.10.95 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Я когда-то будучи в Красноярске смотрела телепередачу — и впервые услышала Вас и увидела. Вы говорили о солдатах, до сих пор незахороненных, пропавших без ве-

сти, следовательно, война, длится и по сей день. И это правда! Ведь для родных это непроходящая боль, незаживающая рана. Я прониклась к Вам доверием, решила, что такой человек не может быть равнодушным к чужому горю, ему можно рассказать все.

Мой брат, Слепченко Владимир Иванович, 1917 года рождения, в 1938 году был призван на военную службу, в Тихоокеанский флот, служил в Де-Кастри, в береговой охране. Жили мы очень бедно: переехали с Украины на Дальний Восток — искать лучшей доли, и поэтому очень обрадовались его письмам, что он сыт, обут и одет. Он с гордостью называл себя «краснофлотцем», а служить ему предстояло пять лет, с 38 года и до войны. Об отпуске не могло быть и речи — он не приезжал к нам, родители не могли поехать к нему — не на что. И так мы больше не виделись.

В 1942 году он написал, что у него скоро изменится адрес, на всякий случай сообщал адрес товарища, родители которого жили в Красноярске. Но случилось так, что письмо с адресом товарища и многие другие вещи были украдены при переезде родителей в Среднюю Азию вместе с семьей старшего брата — брата отправили на фронт, а родители эвакуированы. И так мы потерялись. Письма с Де-Кастри возвращались с надписью: «Адресат выбыл», а на запрос главнокомандующего Т/о флотом ответили, что брат убыл в октябре 42 года в действительную армию, пункт формирования — г. Владимир. Переписка с «инстанциями» или с разными военштабами запуталась и оборвалась. И только в 1954 году на наши розыски ответили, что он, верный присяге, в марте 44 года пропал без вести.

Господи! Столько лет он был на войне и не получал ни единой весточки из дома! Как же он переживал? Какая была безысходность!

Родителей в живых уж нет, а я все о брате, о Володе, переживаю, о горькой его судьбе...

Зачем я все это Вам рассказываю? Может, Вы, Виктор Петрович, по радио или на телевидении расскажете о горькой судьбе моего брата. Может, кто еще жив из его сослуживцев? Я все помню, когда Володя уходил из дому, мама кричала: «Володя, вернись!» Наверно, сердце ее уж чувствовало горе горькое?

Когда мы собираемся в праздники, то поем (Володя тоже петь любил), поем песню, которую он любил: «Вот

умру я, умру я, похоронят меня...» — поем и плачем, плачем и поем — песня эта оказалась роковой. Я к маминому памятнику присоединила и Володину фотографию... А на обелиске, который открыли в юбилей Победы, была встреча, и там мэр Владивостока говорил, рассказывал о погибших моряках. Была названа и наша фамилия, но я не разобрала — имя-отчество, может, однофамилец, а может, наш Володя? Владимир Иванович Слепченко.

Виктор Петрович, я знаю, Вы человек занятой и, может, не будете заниматься моей просьбой, может, и не ответите мне. Но я сделала последнее, что могла сделать для Володи, в память о моем любимом брате.

20.11.95 г.

Люди добрые!

Администрация края! Голова города! Духовенство! Речистые наши депутаты! Толпы кандидатов в депутаты! Состоятельные люди и организации!

Письмо это не нуждается в комментариях! Я лишь напомню всем Вам Христову заповедь о любви к ближнему и к христианскому же святому призыву: всегда помнить об обездоленных, убогих и сирых людях, помогать им в первую очередь, а тут речь идет о детях, рядом с нами бытующих и растущих.

Я недавно был в этом интернате, где когда-то жил, учился, приобрел профессию столяра и всю трудовую жизнь проработал в доке мой двоюродный брат, много пользы от него было государству, и сейчас, будучи на пенсии,он не сидит ни у кого на шее, копается в земле, трудится день и ночь, не дожидаясь кремлевских милостей и повышения пенсий.

Когда я был в гостях в этом интернате, воспитатели, завуч — все настойчиво призывали меня любоваться на своих воспитанников.

— Вы посмотрите, какие у нас красивые дети, особенно девочки.

Пусть они, обиженные судьбой, и будут красивыми, пусть знают, что они не забыты нами, не брошены на произвол судьбы, — милость нужна не только падшим, которую призывал гениальный Пушкин, но и этим, ми-

лым и славным девочкам и мальчикам, обиженным судьбой.

Виктор Астафьев,
писатель, академик, инвалид Отечественной войны

[Конец 1995 года]

Дорогой Виктор Петрович!

Я считала Вас совестью народа, наверное, так мне внушили русские патриоты, которых, как оказалось, Вы недолюбливаете. Сейчас, извините, я разочаровалась в Вас окончательно.

Вот уже три года в печати, на ТВ, на сцене и на радио, ерничая, нагло и цинично оскорбляют русский народ, его историю, национальные святыни и народные традиции, а Вы равнодушны к этой схватке, как если бы оскорбляли мать, а сын стоял бы и смотрел со стороны. Я видела, как окружала, обхватывала Вас русофобская пресса, льстила Вам, и думала: клюнете Вы или нет? И Вы клюнули! Горько.

Вот Вашего друга В. Распутина подло травит пресса. Я бы не подала руки этим журналистам из газет и журналов, а Вы им раздаете интервью.

Я знаю, Вы не любите генералов, ну а солдат? Войнович изобразил солдата придурком и дебилом, но для Вас и Войнович, и Аксенова «свои», Россия для Вас — империя. И «Комсомолка» тоже воспела предательство и порнуху, а ведь она — Ваша любимая газета!

Вы сказали: надежда России — староверы. Что это? Ненависть? Я с уважением отношусь к староверам. Но будущее России, к сожалению, в руках тех, кто захватил власть: средства информации, финансы, юристы. И обучаются всему этому дети избранных. А какая же участь уготована русским, особенно из неперспективных деревень (по преступному плану Заславской). Русских сделали второстепенными. Я плачу от унижения.

Если уважаемые (пока) мной люди, такие, как Вы, Залыгин, Лихачев — ничего не делаете в защиту русского народа. Вам, Виктор Петрович, все это, видимо, позволяет сохранять душевный комфорт?!

Елена Смирнова,
г. Борисов, Минской обл.

1.12.95 г.

Дорогой Женя! (Носов)

Пролежавши всю осень в больнице, веду я, как сказали бы медики, вялотекущий образ жизни. Вроде как дохварываю или уж хворать теперь и до конца не перехворать. В доме я живу в блочном, и оттого, видать, с больной головой спать ложусь и встаю тоже с больной головой.

Чего-то делаю, куда-то хожу, даже в городок Боготол съездил — на юбилей кинорежиссера Вити Трегубовича. Он работал на «Ленфильме», снимал много и неплохо, может, помнишь по Вите Курочкину фильм «На войне как на войне»? Мужик был здоровый, выходец из белорусов, имел трех детей. Цыганка ему как-то наворожила, что он доживет до 72-х лет, он этому истово верил, строил дачу под Петербургом, полез дощечку какую-то пришивать, а она оторвалась, он рухнул вниз и убился...

Познакомился с его сестрами, братом, женой — все славные люди, не то что у Шукшина — там родню ближнего смерть не объединила, а сделала злыми, а женушка покойного Макарыча, как колхозная кобыла, под любого, даже выложенного мерина зад подставляет. Вот последняя ее пылкая любовь — руководитель педерастов под названием «На-на», даже на вид отвратный Алибасов. Она интервью налево и направо дает, помолодела, повеселела, ни креста ни совести у нее, одно бесстыдство и позор.

Я еще до твоего письма узнал из письма моего земляка Шадрина, что Костю перевезли на родину и сделали это достойно, с почестями, а мне вспомнились стихи, которыми я когда-то заканчивал статью о нем: «И все цветы, живые, не из жести, придите и отдайте мне теперь. Теперь, теперь, пока мы еще вместе...»

Нечего этим ливонцам куражиться над живыми и над мертвыми русскими. Одно время прибалты выкапывали своих родичей в Сибири, четверых выкопали в Овсянке. Делали они это с вызовом, оскорбляя русских. Я же думал: «А нам-то куда перемещать своих, невинно смерть принявших русских людей? Ведь вся Россия — сплошной погост? Им, прибалтам, выделяли бесплатно самолеты, ссуды давали, и не знаю, ведомо ли тебе, что все время платили им 30% зарплаты — добавки к основной. Нашкодившая партия и советская власть выслуживались перед

этими онемеченными нациями, платили «за братство» нашими деньгами и кровью. Но прибалты хоть и куражились, но собой и честью своей дорожили, работать не разучились, а вот братья-грузины и хлеб перестали сеять, одни мандарины, чтоб продавать презренным русским втридорога, а сами ели хлеб за 8 копеек, да такой, какого наши дети и в глаза не видели. Сейчас обижаются, что русские перестали их кормить. Но наши правители помогут им оружием и хлебом, и солдатам — маленькую Абхазию задавить и «восстановить справедливость». Правда Ардзинба сказал, что пока жив хоть один абхаз — не видать грузинам Абхазии! Ну, то же самое, что Дудаев говорит нашим дубарям. А вообще-то, давно уже идет скрытая от всех русско-турецкая война на Кавказе, и ее умело направляют гвардейцы из-за океана, нашедшие способ справиться с Россией без войны.

Эк, куда меня понесло с самого начала письма!

Заболел-то я 3-го сентября, побезалаберничал, сходил в баню, а печь не протопил (шел какой-то жуткий итальянский фильм про городскую итальянскую окраину), залег сырой в постель и едва не сдох от воспаления — умудрился заболеть в субботу, никакая «скорая» иль тихая — не едет в деревню, потом уж ребята со «скорой», заслышав перебранку диспетчера и моего врача, на свой страх и риск приехали, довезли едва пыхкающего. Марья поехала в деревню за моими бумагами и документами, взяв с собой внучку, и попали они в аварию. Марье руку сломало, ее левую, «рабочую».

На Полины плечи легла и забота о нас, и дела по дому. На беспомощную Марью и смотреть-то было невыносимо. Но уже все позади. Я долго прокисал в хандре, но все-таки заставил потом себя сесть за стол, делал два давно написанных рассказа и хреново делал-то, память ли износилась, обленился ль, но так плохо написаны черновики, будто я сроду ничего не писал. Однако, Марья стучит на машинке, не дает ломаной руке застояться. Кудри вон навила, кофту шелковую надела, юбку черную. А я брожу по избе в халате и в кальсонах «навыпуск». Спрашиваю: «Ты чё?», а она мне: «Ниче, нарядилась и все тут».

Недавно открывали на берегу Енисея памятник А. П. Чехову. Я никогда не разделял восторгов по поводу его творений, особенно по поводу его скучнейших пьес, удивлялся его многораздутой славе, но это ж не Бланку-Ленину оче-

редной памятник, не большевику Перенсону, на улице, названной его именем, и стоит ныне Чехов — а русскому писателю, истинному доктору, я с удовольствием перерезал ленточку и дернул шнурок на покрывале. А потом, конечно же, пьянка — ныне без нее ни шагу. Но Марья с Полей меня ждали, чтоб ехать на концерт. И попустился я пьянкой-банкетом. Ныне уж рюмку-две осилю и «конец пределу!» — как мой незабвенный папа говаривал.

Ах, какое неподходящее для моей егозливой и веселой натуры состояние — старость. Как она, милая, угнетает меня. В деревне выспался, на земле поработал, воспарил было — ан не балуй! хрен старый — Господь не велит в годах старых забывать о летах своих и о грехах тоже. Иногда тужусь, пущусь в россказни, бурно поведу себя и тут же, как опара в квашне, осяду, устану, давление поднимется, на боковую потянет.

В деревне все старшие родичи повымирали, младшие состарились и вообще деревня моя стремительно меняет лик свой: место красивое, от города недалеко, на берегу реки. И сносят деревенские гнилушки, и воздвигают на их месте особняки, виллы, дворцы. С Енисея, глядя на них, все угадывают, который же из них дворец мой, ибо и в мыслях не допускают, что писатель может и должен жить в деревенской избе, которую я, кстати, все больше и больше люблю и зимою страшно по ней тоскую. По огороду у меня вырос лес, есть ели и лиственницы уже выше избы, кедр пышный, на пол-огорода растут рябина, калина, береза, даже пихта есть. Середина лета нынче была жаркая, картошшонка у всех наросла неважная, а у меня-то, под кустами и деревьями: с двух ведер пять кулей накопали! Все вокруг охают и ахают, а я, как покойной тетке говорил, так и всем гробовозам толкую: «Колдунья» тетка Апроня, считавшая меня по прадеду — колдуном, возмущалась: «Родной своей тетке «слово» не говорит! Знат и не говорит! Вот, блядь, какой человек!» Как же всех их сейчас не хватает! Бывало, и досадовал, и ругался, Апроне, жившей напротив, говорил не раз: «Ты ко мне в первой половине дня не приходи». — «А пошто?». — «А по то, что в первой половине дня я работаю». — «Чё работашто? Это ручкой-то по бумаге водишь? Пузу на стол навесит, бздит в штаны — и это работа? Я вон картошшонки счас окучивала — вот работа! А тебе, небось, за это ишшо и деньги платят?» — «Да побольше, чем тебе» (пенсия у

нее была 17 рублев)». — «А у нас вечно так: кто пластатца — тому фигу, а кто дурака валят — тому все!» Потом, когда ей пенсию увеличили, она с четушкой ко мне прибежала: «Давай оммывать!» Ну, оммыли, и я спрашиваю: «Сколько прибавили-то?» — «А семисят пять копеек». Это генералу, у которого пенсия 500 рублей, согласно проценту вышло прибавки на 50 рублей, а тетке, надсадившейся на земле, вышло 75 копеек!

Ох уж эти коммунисты-мудрецы! И народец наш их достойный, снова покупается на их посулы и обманы.

«Поле Куликово» получаю. Рад, что ты пишешь и печатаешься. Понимаю, что на копейки от гонорара сейчас не прожить, но хоть какое-то утешение от работы происходит и время не так утомительно течет.

Обнимаю тебя и целую. Зимы у нас все еще нет, тепло и солнечно, значит, весною будет зимно и слякотно до середины июня. Вот уж шесть лет: затяжная осень и еще более затяжная весна. Так, видно, и остынет обиженная израненная земелюшка, и скоты, ее населяющие, в пьянстве, зле и суете не заметят, что давно уж погибают. И погибнут, танцуя и воя о всеобщем совокуплении, называя это любовью.

*Преданно твой — **В. Астафьев***

Женя, милый! Извини меня за такую неряшливую перепечатку! Бывает. И примите от меня поздравления с приближающимся Новым годом, здоровья всем вам и крепости духа!

3.12.95 г.

Глубокоуважаемый Виктор Петрович!

Прочитали ваше «Прокляты и убиты». Низко и благодарно кланяюсь Вам за горчайшую правду, за воистину «соц. реализм»! Наш знакомый, бывший десантник, говорит про Вашу книгу: «Написано один к одному!»

Мы с сестрой прожили при советской власти всю жизнь (и Ленинградскую блокаду тоже), знаем всю ложь и циничную фальшь, но каждая вновь открытая страница нашей истинной истории заставляет нас содрогнуться от ужаса.

От всей души желаем Вам, читаемый и почитаемый нами, Виктор Петрович здравия и постоянной зоркости.

Вам и Вашим близким — житейского благополучия.

В. И. Левина

3.19.95 г.

Глубокоуважаемый Виктор Петрович, здравствуйте!

Полагаю, что Вы удивитесь тому, что письмо написано из Нью-Йорка. И, пожалуйста, наберитесь терпения, чтобы его прочитать.

В конце 1984 года или в начале 1985 г. я из Ивано-Франковска по поручению командования и совета ветеранов 38-й армии приглашал Вас прибыть в Ивано-Франковск 9-го мая 1985 года — на празднование 40-летия нашей Великой Победы. Ваша прославленная 17-я артиллерийская дивизия прорыва, которую возглавлял замечательный артиллерист Герой Советского Союза генерал-майор артиллерии С. С. Волкенштейн, успешно поддерживала боевые действия 38-й армии, будучи по существу армейской артиллерийской дивизией.

Вы мне прислали в дар свою книгу «Повести и рассказы» изд. «Советский писатель» 1984 года, за что благодарен и поныне. Книгу с теплым автографом привез с собой за океан.

О себе. Я родился в 1922 году, в одном из самых древних русских городов — Старой Руссе. Отец по профессии кузнец. Его мать отдала в 12 лет в учение к кузнецу ст. Бологое. Семья проживала в одной из деревень под Валдаем.

Во время первой мировой войны был ст. унтер-офицером и возглавлял ковочных кузнецов артиллерийской батареи и дивизиона в боях под г. Ригой.

Во время ВОВ отец был на брони (1894 г. р.), работал кузнецом в г. Валдае. Кстати, в 1943 году я сам видел, что молотобойцами у него были молодые женщины.

В 1940 г. я с отличием окончил Валдайскую среднюю школу № 2 и осенью того же года был призван на действительную службу, которую проходил в качестве орудийного номера 124 ГАП РГК (152 мм Г обр. 1938 г.), входившего в состав артиллерии 10-й армии Западного Особого военного округа. Командующий армией К. Д. Голу-

бов. За две недели до начала войны полк на ст. Мосты погрузился в ж. д. эшелон и обосновался в летних лагерях возле г. Ломжа (ныне территория Польши), в 13 км. от государственной границы.

На рассвете 22-го июня полк был поднят по тревоге и получил боевую задачу поддерживать соединения 5-го стрелкового корпуса, находившегося в Белостокском выступе и ведшего тяжелые бои с наступающими немецко-фашистскими войсками. Нет смысла описывать ход трагических событий первых дней войны: с боями отступали, бежали, бросая боевую технику из-за отсутствия горючего и боеприпасов, убитых и раненых. Страшно вспоминать о событиях почти 55-летней давности.

Но до сих пор стоит сакраментальный вопрос: почему и по чьей вине случилась такая катастрофа, почему войска в приграничных округах не были своевременно приведены в боевую готовность? См. книгу А. М. Самсонова «Знать и помнить», изд. «Политиздат», 1989 г., стр. 91.

В ходе отступления под городом Могилевом был ранен осколком мины в мягкие ткани туловища. После госпиталя в г. Муроме я был направлен в числе других имевших среднее образование в г. Свердловск — для последующего направления в военные училища.

В середине сентября 1941 года я оказался в числе курсантов Одесского артиллерийского училища БМ, эвакуированного в августе 1941 года в пос. Сухой Лог Свердловской области. Это было лучшее артиллерийское училище. Сын Н. Н. Воронова Владимир при мне начал там учебу.

20-го апреля 1942 года нам присвоили звания лейтенантов и направили в Москву, на формирование новых частей. Начинал не с БМ (203 мм и выше), а с 45 и 76 мм калибра командиром огневого взвода. Летом 1942 года наше соединение направилось на Сталинградский фронт, в Калмыцкие степи, где вели оборонительные бои северо-западнее города Астрахани. После ликвидации Сталинградской группировки был направлен в Москву, на формирование на должность командира батареи. Наш 1331 ИПТАП 3 (76 мм пушки ЗИС-3) в начале лета 1943 г. убыл на Западный фронт, где занимали оборону на ст. Барятинская. 7-го августа 1943 года началась Смоленская наступательная операция. При отражении контратаки танков и пехоты противника в конце августа я был тяжело ранен в ногу. В санпоезде загремели аж из Калуги в Сочи, где из-за общего заражения крови (сепсиса) чуть было не

отдал Богу душу, однако крепкий организм (в отца) помог выкарабкаться.

В начале 1944 года оказался на 2-м Прибалтийском фронте в 25 гв. АП 7 гв. СД 10 гв. армии, где и провоевал в должности командира батареи и начальника разведки полка почти до конца войны. Освобождали Псковщину, Латвию и ее столицу Ригу, доканчивали Курляндскую группировку. Был еще два раза ранен.

В середине марта 1945 года попал в госпиталь в Балахне Горьковской области. Кстати, туда вез саппоезд, который описан в книге В. Пановой «Спутники» и в фильме «На всю оставшуюся жизнь».

Из госпиталя в Балахне выписался 7 мая 1945 года и День Победы встретил в родном Валдае, в кругу родителей и сестер. Войну закончил гвардии капитаном.

После окончания войны из полка резерва офицерского состава в Гороховецких лагерях получил назначение на 2-й Белорусский фронт (северная группа войск) в 69 Севскую четырежды орденоносную дивизию в 118 АП на должность нач. разведки полка. В начале 1946 года дивизию передислоцировали из Польши в северную Вологду. Служил в Красных казармах. Вологжане на первых порах нас называли «бандой Рокоссовского».

В 1949—1953 служил в Череповце на окружных курсах офицерского состава Беломорского военного округа. После их расформирования продолжал службу в Вологде в 69 СД нач. штаба 31 ОПКТД.

В 1956 году поступил в военную артиллерийскую академию в г. Ленинграде, ракетный факультет, который успешно закончил в 1960 г. и получил назначение на должность старшего офицера ракетных войск и артиллерии 38 армии в г. Станислав (с 1962 г. — Ивано-Франковск). С 1965 г. одновременно был зам. начальника штаба РВ и армии. В 1968 году по болезни был вынужден оставить службу. Ранимый и впечатлительный характер, а также напряженная служба привели к тяжелой форме нервного расстройства с депрессией, чем маюсь и страдаю до сих пор.

С 1969 г. по 1990-й год работал в Ивано-Франковском филиале Украинского государственного института проектирования городов Гапроград ст. инженером-электриком, а затем инженером-электриком I-й категории.

В Ивано-Франковске и области есть немало уникальных зданий и сооружений, куда вложен мой труд, знания, старания и опыт.

До прихода 1990 года к власти «демократов» обстановка в Ивано-Франковске была более или менее терпимой. Под «демократов» рядились отъявленные украинские националисты-бандеровцы, ставившие своей целью развалить Союз и создать самостийную Украину. Их эмиссары курсировали по всей Украине и мутили воду, взбудоражив и Восточную Украину.

Я считаю основным виновником распада Союза Украину, и конкретно, Кравчука, а на Украине — Западную Украину. Они взяли Кравчука за «горло» и принудили не подписывать союзный договор. И финал — сговор в Беловежской пуще. А теперь жестоко поплатились за это.

Советская власть и коммунисты за счет других республик и Восточной Украины, как никто, много сделали для преображения Западной Украины. Школы, больницы, институты, университеты, масса современных предприятий, преображенные города и села. А чем оплатили — черной неблагодарностью и ненавистью.

Какой лозунг у «западинцев»: «Москали и жиды гэть з Украины!», «Утопим жидив в москальской крови» и т. д.

Помню, как в 1990 году доказывал своим колхозам из местных, что развал Союза приведет к непоправимым катастрофическим последствиям, на что мне одна ответила: «Гирше нэ будэ», т. е. хуже не будет. А когда в мае сего года заходил в институт прощаться, то мне сказали, что я был глубоко прав, ибо на своей шкуре почувствовали, к чему привела самостийность: заводы и фабрики стоят — нет сырья, комплектующих; массовая безработица, низкие заработки, повальное увлечение рынком и т. д. и т. п.

Бандеровцы, придя к власти, и вовсе распоясались.

Приведу примеры: в конце июля 1994 года, когда праздновали 50-летие освобождения Ивано-Франковска от немецко-фашистских захватчиков, на колонну ветеранов войны, направляющуюся к мемориалу, чтобы возложить венки, было совершено нападение бандеровцев (т. е. власти), в том числе и на ветеранов-женщин. Несколько ветеранов были убиты, разорваны венки, отнято боевое знамя одного из полков, освобождавших город, сорваны с груди награды. Виновники остались безнаказанными.

Новая власть чинит всяческие препятствия в работе советов ветеранов.

Второй пример. В этом году — 50-летия Победы — местная власть никак не хотела отмечать этот великий день. «Цэ нэ нашэ свято». А изощренная русофобия. Вот

бы господам — И. Шафаревичу, А. Проханову и иже с ними — приехать бы во Львов или в Ивано-Франковск, Тернополь или Ровно и лично убедиться, кто в бывшем Союзе русофоб. По их представлениям — представители «малого народа» — евреи. Ложь и чепуха!

В этих условиях оставаться в Зап. Украине не имело никакого смысла. Мой зять Хохлов, русский, из Самары, офицер, авиационный инженер (Миг-29) был вынужден принять украинскую присягу в 1992 году, чтобы дослужить до пенсионной выслуги лет. А мне с моим нервным недугом и ранимостью как жить в этой обстановке?

И мы решили уехать. Сюда меня вызвала моя родная сестра, которая жила в Риге и приехала в Америку в 1990 году.

В мае 1994 года мы были в посольстве США в Москве, и нам предоставили статус беженцев со всеми льготами. И ровно через год беженцы оказались на восточном берегу Атлантического океана, в Нью-Йорке.

Я ничего не сделал для Штатов и их народа, как говорят, и пальцем не пошевелил, скорее, наоборот — нацеливал ракеты на них, на учениях и маневрах.

Я получил неожиданное пособие по бедности в размере 544 доллара в месяц плюс 115 фудстемнов (талонов) на питание. Один фундстемн — 1 доллар. Совсем неплохо. За 80—100 талонов можно неплохо питаться. Дорогие квартиры. Я за комнату с кухней, туалетом с душевой в подвале плачу 400 долларов. Нормальную квартиру не потянуть. Бесплатная медицинская помощь и лекарства по т. н. медикейту. Сейчас в Конгрессе принят закон, ужесточен по иммиграции и выплате пособий и медикейту.

Дочь и ее семья (зять и 16-летняя внучка) пока еще не устроены. Если бы у зятя было нормально с английским языком, его взяли бы на работу с хорошей зарплатой, на обслуживание самолетов в аэропорт им. Кеннеди. Дочь по специальности преподаватель английского языка. Ей предлагали работу, но с низкой зарплатой и без мед. страховки, оплачиваемого и других бенефитов. Внучка пока продолжать обучение в школе не захотела. Мать ее устроила в небольшую рекламную фирму секретарем с оплатой 4 доллара в час, узаконенный же предел 4,5 доллара в час. Внучка очень довольна. По вечерам посещает колледж, где изучает английский язык.

Сам я английского языка не знаю, так как в школе и в военной академии изучал немецкий. Сейчас посещаю бес-

платные курсы англ. языка при одной из синагог на Брайтон-бич.

Функционирует ассоциация инвалидов и ветеранов 2-й мировой войны, выходцев из бывшего СССР. Всего в штатах до 6,5 тысяч человек, из них большая половина в Нью-Йорке. На улицах Бруклина (район Нью-Йорка) тут и там слышна русская речь.

Несколько лет тому назад мне в самом прекрасном сне не приснилось бы, что я буду участвовать 11 ноября 1995 года в Манхеттене (центральный район Нью-Йорка) в параде ветеранов 2-й мировой войны. Наших (часть в форме) было около ста человек. Особенно тепло ньюйоркцы приветствовали нашу колонну. Всего участвовало до 25 тысяч американских ветеранов, военнослужащих и слушателей вузов армии США.

Это осталось в памяти на всю оставшуюся жизнь.

Очень хорошо работает русское радио и телевидение WMNB, прекрасные программы и талантливый авторский коллектив, многие из которых — работники бывшего ВР и ЦТ в Москве, дикторы Марина Бурцева и Валентина Пехорина и др.

Мне очень приятно сообщить Вам, Виктор Петрович, что недавно в трех передачах Алла Григорьевна Кигель — известный московский театральный режиссер, педагог и театровед, читала Вашу известную повесть «Пастух и пастушка». Я с большим удовольствием прослушал эти передачи. Широко на радио и телевидении отмечаются знаменательные даты, связанные с русской культурой, литературой и искусством. Особенно много передач было посвящено 100-летию Сергея Есенина.

Алла Кигель только что возвратилась из поездки в Москву и по русскому радио проинформировала слушателей, что Вы выступали в «Останкино» с резким осуждением разгула фашизма и антисемитизма. Огромное Вам спасибо!

Виктор Петрович! Не верьте тому, что за океаном и в Израиле собрались русофобы, ненавистники всего русского. Они есть, но их буквально единицы. Мы живем и воспитаны русской культурой, литературой, искусством, русским духом и менталитетом. Всем хорошим, что у меня есть, я обязан Тургеневу, Чехову, Толстому, Горькому и т. д. Мы очень интересуемся тем, что происходит в России, бывшем Союзе, переживаем, что делается на нашей русской Родине.

От А. Г. Кигель с горечью узнал о горе, постигшем Вас и Ваших близких, невосполнимой утрате и беде — кончине Вашей дочери. Примите наше искреннее сочувствие и глубокое соболезнование.

Жаль, что пропала моя библиотека, которую собирал почти 50 лет. В ней было около четырех тысяч книг, более тысячи о ВОВ. Сюда послал около 50 бандеролей по 3 кг каждая. Чехов, Куприн, Пушкин, Цвейг, Фейхтвангер, справочная литература и другие книги... Книги о начале ВОВ. Почти два года назад управление 38 армии переформировано в Управление 38 армейского корпуса армии Украины. Русских офицеров осталось очень мало.

Я и А. Г. Кигель поздравляем Вас с наступающим Новым, 1996 годом и от души желаем Вам и Вашим близким здоровья на долгие годы, счастья, творческого долголетия, всяческих удач, спокойной жизни, быстрейшей стабилизации обстановки в России, сокровенных желаний и надежду на лучшее.

Виктор Петрович! Если позволят здоровье и время, — буду рад получить от Вас ответ на мое письмо.

В Ивано-Франковске осталось много моих бывших сослуживцев, русских и вост. украинцев. Завидовали мне, когда я уезжал. А куда деться им? России они тоже не нужны, эти старики, хватает и так беженцев.

В Нью-Йорке сейчас выходит до тридцати еженедельных русских газет, цена — 20 центов. Кстати, проезд в метро и в автобусе — 1,5 долларов в один конец. В газетах часто — перепечатки из российских газет и журналов. Есть материалы интересные.

Александр Фишман,
Нью-Йорк, Бруклин

12.12.95

Дорогой Борис! (Екимов)

Прости за вторжение в твой дом. Крайняя необходимость.

На войне у меня погибли двое дядьев — «кулацких деток», одному из которых в годы коллективизации исполнилось шестнадцать лет, и он за это отсидел несколько месяцев в тюрьме, а осенью, с последним пароходом, вместе с отцом, тоже сидевшим в тюрьме в одной с сыном

камере, были отправлены в Игарку, где бедовала вся их сосланная семья и за старшего в ней был Иван четырнадцати лет.

Первого из дядьев, Василия Павловича, я довольно красочно описал в рассказе «Сорока», вошедшем в книгу «Последний поклон». Второй дядя по характеру был полной противоположностью первому. Работая рубщиком на лесобирже, он здорово готовился к войне с фашистами, был весь обвешан значками и не сходил с Доски почета, а потом внезапно открылся Ачинский сельхозтехникум, был в него большой недобор, и мудрая наша власть разрешила «кулацким деткам» выехать из ссылки и поступить в это учебное заведение. Парень рабочий, лишь в Заполярье видевший опытный сельхозучасток, вместе с друзьями по переселенческому бараку ринулся во вновь открытое учебное заведение. Там дядя мой не успел обучиться, но успел жениться, но тут началась война, и все эти недоученные сельхозники гуртом ринулись в военкомат. Мои сельчане свидетельствуют, что будучи на краевой пересылке, Ваня накоротке наведался в родное село, но ко мне, в ФЗО, не заглядывал, не знал, где я есть. И если с дядей Васей я попрощался ладом и описал это наполненное трагическим предчувствием прощание, то дядю Ваню с 1939 года так и не видел и теперь уж никогда не увижу, хотя обоих дядьев любил я шибче, чем любили их девки.

С Васей я воевал на одном фронте, часто получал от него письма, в одном из них он изобразил танк с номером три, и я догадался, что воюет он в третьей танковой армии. На Лютежском плацдарме, под Киевом, был он тяжело ранен и отправлен в госпиталь, но в пути он был означен, как «без вести пропавший» — или выбросили его, мертвого, из машины, освобождая место для живых, может, закопали в сыпучие приднепровские пески. Я придумал встречу с ним, уже мертвым, его похороны и тем закончил рассказ «Сорока».

Вася и после войны возникал то в рассказах общих знакомых, то в переписке, то в воспоминаниях мачехи, которая заменила мать всем детям деда, даже в ссылку с ними поехала, хотя по закону «не подлежала» и пенсию получала по справке за «без вести пропавшего» Васю, и на мемориальную гипсовую доску в Игарке Вася попал, а Ваня как в воду канул.

Я писал в инстанции, в том числе и в волгоградские, но ниоткуда ответа не получил, видимо, потому, что в сво-

их писаниях не прославлял героизм, а изничтожал комиссарство как тунеядскую, хитромудрую разновидность приспособленцев и блудословов.

И вот к юбилею Победы вышла у нас в краевом издательстве Книга Памяти, и в ней оказался не только Василий Павлович, но и Ваня — «Астафьев Иван Павлович. г. р. 1918, рядовой. Погиб в бою, сентябрь 1942 г. Похоронен в д. Самофаловка Волгоградской обл.»

Боря! Узнай, если не в труд, где эта Самофаловка есть? В каком районе? Сохранилась ли там могила? Есть ли люди, которые доглядывают ее? Помоги мне связаться с ними, с районом или администрацией села. Душа моя не устает болеть о сгинувших солдатах, особенно об этом, горя хватившем через край родном дяде.

Извини за беспокойство, да извинения за беспокойство и не прошу, поскольку святое это дело — память о погибших, где-то ж вот лежала справка о гибели человека столько лет!

Обнимаю тебя. ***Виктор Петрович,***
Красноярск

17.12.95 г.

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Как Ваше здоровье? Межсезонье.

Я с самого лета часто думаю о Вас, думаю разное, больше о жизни и земле. Думаю еще и потому, что прочитал «Прокляты и убиты». Прочитал сам и передал прочесть своему отцу. Он прочитал и сказал: «А, это правда!» Отец немногословен и любит вышить. Вышив нужную «норму», он отправляется в «четвертое измерение» и тогда уж говорит часами. И даже тут он не говорит много о войне. Попрошу что-то рассказать — ответ один: «Кисло было». Прочитав «Чертову яму», сказал, что это — правда. Маленько приукрашено, но — правда и стал просить продолжение. Отец много книг прочитал о войне, но ничего ближе ему читать не приходилось, ничего ближе и правдивее, как «Чертова яма». (Продолжение у меня есть.)

Но для меня этот роман имеет особое значение. Судьба моих земляков, потерявшихся на войне. Я безотчетно искал их в то время, когда работал на Севере. Там у меня всякий год был большой отпуск, и я искал: сначала —

отцовского брата, но когда в военкомате показали мне тетрадь военного времени и там я увидел старательно записанные фамилии фиолетовыми чернилами тех, кто уходил, то я проникся интересом к судьбам и других людей. Я их искал, встречался с теми, кто еще не умер, и они рассказывали о своем трудном пути на фронт. Конечно же, я эти рассказы записываю.

А в нынешнем году редакция газеты «Манская жизнь» объявила конкурс на военный рассказ. Я решился и написал рассказ на конкурс.

Виктор Петрович! Как это было трудно писать! Не хотелось пересказывать, хотелось передать реальную картину. Я несколько раз приступал — не выходило. Вспоминал свою армейскую жизнь. Мне повезло, что я встретил тех, кто был «там». У меня получились свои «Прокляты и убиты», своя «Чертова яма». Я отправил свой рассказ. Долго не отвечали. Потом пригласили приехать и доказать, что это — не плагиат. Я был воодушевлен: «Ура! Признали за настоящий рассказ!»

Но я нашел вот Ваш роман, начал его читать и увидел, что мне удалось правильно, хотя и неуклюже, и кратко, описать путь солдата на фронт.

Потом мне попала критическая статья О. Давыдова на «Прокляты и убиты». Я так возмутился и огорчился, что весь следующий день не мог ни о чем думать. На другой день, придя домой и убравшись по хозяйству, я сел писать ответ. Написал. А что с ним делать? Так и лежит на полке, вместе с газетой — мне на память.

Виктор Петрович! Мне очень хочется поговорить с Вами, хотя бы час или минут 45. Не о войне. Я знаю, о чем мне надо говорить, «тема» моя конкретная, хотя и звучит обобщенно, — о значении отдельного человека. О значении земли (места, где живет) — для этого человека.

В. Смолев

Многие отказываются обсуждать эту тему, считают ее праздной. Я поехал в редакцию газеты «Манская жизнь». Там меня уже знали, хорошо встретили. Выслушали. Я сказал, что в древности люди ходили за советом к мудрецам. Затем — к ученым мыслителям. Вы, журналисты, скажите, кто у нас в районе мыслитель, который может выслушать и обсудить со мной эту тему, на равных, не как психолог. Мне ответили: «Вы и сами, извините, не

дурак». Мне бы с Вами поговорить. Выделите немного времени — для меня, когда Вам будет удобно.

В. С.

20.12.95 г.

Дорогой Виктор Петрович, здравствуйте!

Давно уж, полгода назад, получил Ваше замечательное письмо. Писали Вы в нем о нашем Севастополе, о бедах нашей Родины.

Так вот, и мне она представляется как старая, усталая, мудрая мать с грустными глазами и в бедной одежде. И — жаль ее до слез.

Но о себе — ладно. Только вот еще очень тронуло меня то, что Вы нашли время так хорошо и добро ответить на мое письмо, и, конечно, очень обрадовало, что Вы запомнили — ведь пишет Вам уйма людей. Крест нести — только перевернуть эту почту.

Видел интервью с Вами. Как всегда — в чем не согласен. Спрашивали Вас, как Вы думаете насчет развала Союза. Я, как и статистическое большинство народов Союза, об этом жалею, но это — кому как. Дело другое — вот говорили Вы, что они, мол, нас ненавидели. Тут я не согласен. Бесспорно, репрессированные Сталиным, и прежде всего чеченцы, крымские татары — да. Пожалуй, большая часть прибалтов, хохлов-западинцев. В общем, те, что пострадали. Да и понять их нетрудно. По совести — и стоит. Насчет ненависти всех остальных я очень сомневаюсь.

Теперь не помню, где именно слышал о том, что Вы собирались (или Вам предлагали) баллотироваться в Думу. И вот мнение человека немолодого, очень уважающего и любящего Вас. Высоцкий писал: «Я не люблю манежи и арены, на них мильон меняют по рублю...» Дума эта — вроде манежа для Вас. Когда Вы из Овсянки или из Академгородка что-нибудь скажете, как Лев Толстой из Ясной Поляны, все слушают, определенно кривятся (ой, многие!). Ну а в Думе, среди этих говорунов, все девальвируется быстро. Будут отмахиваться, как от Солженицына. Моральные затраты несравнимы будут с результатом. «Отмахивания» Вы не потерпите — не тот характер. В общем, надо думать о здоровье.

Не сомневаюсь, не один раз говорили Вам об этом Ваши друзья, не сомневаюсь, сами Вы об этом тоже конечно думали.

Был в море. Принесли мне статью в «Литературной газете» за 25.10.95 «Война и мир Астафьевых». Там и фотографии хорошие. Порадовался за Вас, Мария Семеновна тоже нашла «звенящие слова». Сохраняю эти газеты. И вот пишу, а прямо напротив с фотографии 1-го тома строго так Вы на меня поглядываете.

Вчера достал «коринфар». Поэтому и пишу только сегодня. Там еще есть у меня «от писательской болезни». Вот позвонил сейчас, проводница в нашем доме до Москвы ездит, там с корешем договор уже есть — писал ему. Но она до февраля, оказывается, не поедет. Буду искать другой способ переслать. Так хочется хоть минимально быть Вам полезным.

Читаю и перечитываю написанное. Конечно, писал черновик. Но и, наверное, тоже есть какой-то в этом смысл — без единой поправки. Но вот берет сомнение — вправе ли я Вам так писать? Не обижу ли чем? Да и время на прочтение — хотя бы отнимать не вправе.

Но вот сказали Вы в последнем письме ко мне, что я человек читающий. Верно, прочел много книг. И, конечно, имею возможность сравнивать. Поэтому так и пишу, и если что не так, думаю, поймете и простите меня.

До свидания. Храни Вас с Марией Семеновной Бог.

Борис Кузнецов,
Севастополь

20.12.95 г.

Дорогой Виктор!

С Новым годом поздравляю тебя и супругу твою верную! Надеюсь, что она поправилась. Как же это она в автоаварию-то попала? Хотя немудрено теперь, ездят без правил и без совести.

Вот вчера у нас на Троицком мосту аж шесть штук закрутились и побились одна об другую... А все из-за одного мерзавца, я его еще раньше заметил — он меня лихо перегнал при подъезде к мосту, на голубом «оппеле». А дорога скользкая, вот его и «закрутило», и пошел сшибать невинных. Полдня потом битое железо растаскивали.

Жаль, что и ты приболел и не насладился любимой своей тайгой. Я несколько лет тому назад снимался в Красноярске, и местный шофер один все уговаривал меня полететь с ним на вертолете в глухую тайгу, на охоту. Он каждый отпуск с артелью какой-то это проделывает: недели на две заходят — завозят их в глухомань, а потом обратно на вертолете домой. Очень мне хотелось осуществить этот план, да заела текучка, дела все какие-то. Так и не собрался.

А жаль! Надеюсь, что на следующий год ты совершишь свой таежный ритуал. Дай Бог тебе здоровья и всем близким твоим в новом году.

В театре у нас, конечно, тяжело, а в этом сезоне особенно — все как-то наперекосяк идет. Есть такое поверье, от англичан идущее, что нельзя ставить «Макбета», а особенно — произносить вслух это имя... Английские актеры никогда его не произнесут, а назовут его «Шотландская пьеса»! Якобы несет она в себе некую темную силу, заклятие какое-то, приносящее несчастье...

А мы пренебрегли, посмеивались — и пошло, и поехало! Началось со Стржельчика — он репетировал роль Дункана, на генеральных репетициях стал забывать слова, заговариваться, сознание потерял, речь пропала — опухоль в мозге — и в полгода сгорел. Пришлось мне вместо него с трех репетиций вводиться в спектакль.

И до сих пор театр преследуют неприятности, большие и малые... Режиссер один так меня подвел! Год ходил за мной, умолял дать ему возможность поставить у нас спектакль на малой сцене, пьесу принес «Четвертая стена» — милая такая шутка, театральная, вроде «капустника». Пусть, думаю, поставит... В наши горькие времена люди хотят посмеяться, отдохнуть от забот... Так он, сволочь, оказался таким прохвостом! За два месяца работы трижды запивал, срывал репетиции, замучил артистов и, главное, что результата никакого — ноль! Пришлось его выгнать, а спектакль закрыть. А сегодня утром звонят из театра — ночью прорвало батареи и залило кипятком полтеатра — пришлось отменять спектакль очередной и возвращать деньги за билеты... Список неприятностей, больших и малых, можно было бы продолжать и продолжать...

Вот и не верь в приметы!

Нет, не Шекспира надо ставить, а своих. А свои не пишут ничего путного, за редким исключением.

Буду с нетерпением ждать твою повесть — а вдруг

пьеса получится?! А девок найдем. Алисе пора уже на старушек переходить — ведь 60 уж стукнуло! Но они, все эти знаменитые старушки, молодых норовят играть. Да и старики знаменитые, которых у меня хоть пруд пруди, — тоже не сахар! Все с капризами, с амбициями. И мне с ними тяжко очень.

Решил я тут весной уйти в отставку, благо, кончился мой контракт с министерством. Собрал коллектив, объявил — куда там! Как завопили. Хорошо, говорю, тогда извольте — тайное голосование, как шесть лет назад, когда меня избирали в худруки. Проголосовали — и опять единогласно. Ничего не поделаешь, куда деваться? А устал я, действительно, очень и с огромным удовольствием занялся бы только своим актерским делом. Ну вот. Прости, что утомил длинным и неинтересным письмом. Всего тебе доброго, главное, здоровья, чтоб радовал нас, грешных, новыми книгами.

*Твой **Кирилл Лавров***

P.S. Ну, а что касается унижения перед «деньги дающими», — конечно, ты прав! Это страшно унизительно... Но что делать?

Хорошо вам, писателям — лист бумаги, перо — и твори! А нам надо декорации построить, костюмы сшить, а каждый костюм стоит сейчас два—три миллиона. А весь спектакль — 200—300 миллионов! А зарплата у артистов — двести-триста тысяч. Хорошо еще, что на зарплату министерство деньги дает.

Вот мы организовали фонд поддержки БДТ, и, слава Богу, в число попечителей в совет прошли приличные люди, которые любят наш театр, пекутся о его судьбе и стали уже вроде как бы членами труппы: они всех знают, их все знают и нет этого оскорбительного, жуткого чувства нищего, выпрашивающего подаяние. Но сперва приходилось и спину гнуть. Правда, это ведь во всем мире так, но у них все это делается как-то по-благородному.

Привет и мои новогодние поздравления Марии Семеновне!

*Обнимаю — **К. Лавров***

25.12.95 г.

Дорогой Саша! (Михайлов)

Прими мой новогодний привет и самое искреннее пожелание доброго здоровья и всего хорошего, что еще возможно в нашей жизни.

Не знаю, получил ли ты мое письмо в ответ на письмо и вырезки из «Независимой», которая утвердила антибукеровскую премию, и он ее взял! Это Алеша Варламов, написавший в самом деле хорошую повесть «Рождение». Но довелось мне, Саша, читать присланную из Петербурга повесть, конечно же, с претенциозным, конечно же, с выверченным названием, которые горазды давать интеллигентно себя понимающие евреи, вот я забыл название и фамилию автора. Вот это — страх и страсть. Повесть о том, как от орального рака умирает восьмилетняя девочка, и как отец с матерью пытаются ее спасти и на пути своем, ужасном, мученическом, встречают много равнодушных людей и мерзавцев тоже, но еще больше людей бескорыстных, добрых, понимающих и даже на себя принимающих чужое горе.

Писано с натуры, думаю, сам автор пережил сию трагедию и вот эта-то чудовищная, вроде бы для литературы и непригодная книжка вселяет в сердце веру в доброе начало человека, уважение к жизни, до стона выстраданную любовь к ребенку. Девочка — крошка, проходя через страдания невыносимые, становится мудрой, всепонимающей женщиной и даже в какой-то период болезни делается мудрее своих родителей, даже пытается их успокоить невинным и святым обманом, пока не раздавливает ее болезнь, ищет компанию среди детей и находит ее среди таких же обреченных малышей, дружит с мальчиком, тоже обреченным, но на вид «хорошо» выглядящим, по школе тоскует, по всей этой жизни, которую мы клянем. Будь я каким-нибудь начальником иль лучше волшебником, я бы все премии, в том числе и Букеровскую, отдал бы этой книжке Михаила Черкасского — «Сегодня и завтра, и в день моей смерти», изданной однотысячным тиражом и затерявшейся бесследно в кучах литературного хлама.

Какой все же плавун или плывун под всеми нами, под всей нашей жизнью бродит, шевелится, готовый нас засосать в любой час, утопить бесследно.

Кстати, еще одна книга в моем зрелом уже возрасте произвела на меня такое же ошеломляющее действие — это маленький, но великий роман Трамбо «Джонни получил винтовку». Читал ли ты ее? Если нет, возьми в библиотеке, она шесть лет назад выходила в «Художественной литературе», и я горжусь тем, что первую публикацию помог пробить переводчику Шрайберу, пусть и в «Сибирских огнях». Шрайбер этот, старый переводчик, когда-то подарил нам «Три товарища» Ремарка и еще что-то. Читать такие книги тяжело. Я с трудом одолевал за присест три-четыре страницы, но уж и в голову, и в сердце входят они дюймовыми гвоздями. Прочитавши «Джонни», ты поймешь, почему его автора, коммуниста, отсидевшего в тюрьме за свое творение, переведенное на все действующие в мире языки, экранизированное в «Голливуде», не пускали к нам так долго и упорно. Не прочитав «Джонни», я бы писал совсем по-другому и другой роман о войне. Таково разлагающее влияние заокеанского янки на русского писателя.

Статью Давыдова немедленно перепечатала наша фашистская газета, называющая себя «народной» и никак выше трехтысячного тиража не выбивающаяся, а редактора ее, в третий раз возжелавшего власти, народ никак не изберет, забодал и на этот раз вместе с фашиствующим предводителем, вечным военнопленным Руцким, посулившимся на предвыборных встречах всех пишущих отправить на лесоповал.

После всего этого предвыборного бесовства, дурнописи и стадного ора с каким же восторгом прочитал я в «Литературке» заметки Ваншенкина. Обними его за меня, облобызай и поздравь с Новым годом! Учусь у него выдержке, мудрой печали, хотя мой сибирский норов, называемый интеллигенцией выдержкой и воспитанностью, часто мне мешает. Хер ли сделаш, ковды детдом, ФЗО да казарма — основные средства воспитания позади, а впереди одно средство осталось — смирение?! Марья моя на меня уж петухом иной раз налетает, но хвост у нее тоже вылез, один голосишко остался, а что мне одинокий голос человека?

Меня может токо медведь подмять аль змея ползучая вроде Давыдова укусить, да и то я, уж антибиотиками напичканный, выдержу. Однако и укус змеи, и когти медвежьи оставляют раны на теле.

Осень прошла, в больнице я ее провел. Зима стоит

сиротская, без мороза и снега — это значит, по весне она ударит холодами и снегом, цветы подомнет, больных легкими в постель свалит. Ох-хо-хо-хо-нюшки! Но будем жить, радоваться остатным летам и солнышку, ждать победы на футбольных полях, ибо на полях разума по просторам российским ждать уже нечего. Оборзели, еще больше ослепли и очумели русские люди — сами в яму лезут. Ну, да Бог им судья!

Крепко обнимаю тебя. ***Виктор***

[1995 год]

Дорогие ребята! Дорогой Гена! (Васильев)*.

Пишу Вам потому, что с уважением отношусь к Вашей газете. В неуважаемые газеты я не пишу и в неуважаемых газетах и журналах стараюсь не печататься, особенно когда «органы» отсебятиной занимаются. Вот подхватились и ну писать о том, что я в депутаты наладился. Ну, что бы позвонить, спросить, уточнить, нет, садят напропалую и с уверенностью излагают «мою платформу», а журналист Никитинский в «Комке», ко всем и ко всему относящийся с высокомерной гордыней, отчего-то разразился руганью, демонстрируя знание лагерного жаргона. Рядом, кстати, с опровержением на его же материал, разухабистое «перо» его звучало особенно убедительно.

Ну да Бог с ним, таково, видать, время, таково отношение к своей профессии — в прежние годы «опровержение» в газете дорого обходилось журналисту, можно было и работы лишиться, а сейчас, видать, и «легкость пера» и реагаж на него подобны тому, что зовется по-русски: «будто с гуся вода».

Мне хотелось бы предостеречь от излишней горячности и легкомыслия прежде всего журналистов, а молодым Вашим читателям и Вам пояснить насчет Букеровской премии — отчего это я «вылетел из списка» кандидатов на премию вторично.

Первый раз это произошло по моей личной просьбе — роман не закончен, вышла всего лишь первая книга, вот когда закончу, — писал я в комитет по премии Букера...

Второй раз мне и писать не пришлось — «хозяин»,

---

* Письмо в «Красноярский комсомолец».

«меценат» или «спонсор» премии Букера, Фрэнк Грин, кстати, сын писателя Грэхэма Грина, летом побывал у меня в гостях, в Овсянке, и поинтересовался моим отношением к нынешним кандидатам на премию Букера. Я уверенно, не раздумывая, назвал роман Георгия Владимова, с которым с молодых литературных лет знаком и к сочинениям которого отношусь почтительно, к «Верному Руслану» с восторгом, к первой половине романа «Генерал и его армия» — тоже. «А еще кого назовете?» — спросил гость, и я, подумав, назвал «Казенную сказку» Павлова, на мой взгляд, самого крепкого, талантливого и умного из нынешних молодых писателей. Естественно, возник вопрос и насчет моей персоны, и я снова был вынужден попросить подождать окончания романа и, стараясь смягчить и закруглить разговор, добавил, что премий всяческих я наполучал много, а старый, гонимый и всегда ругаемый Владимов ни одной российской премии до сих пор не получил и, не глядя вроде бы на убедительную критику уважаемого писателя Владимира Богомолова, я считаю Владимова кандидатурой номер один. Писатели, да еще писатели, занявшиеся критикой, всегда очень субъективны, — сказал я Фрэнку Грину, — и если придерживаться точки зрения русского реалиста, в том числе и Богомолова, то ни «Гулливера», ни великого «Дон-Кихота», ни тем более «Барона Мюнхгаузена» в мировой литературе не существовало бы, с чем «букеровский бог» весьма охотно согласился.

Сын писателя Грина сносно говорит по-русски, человек он не только глубоко образованный, «юморной», но и богатый. На севере старой, доброй Британии у Гринов имеется родовой замок, которому вроде бы девять веков. Я тогда еще тоже был способен на юмор и не думал о больнице, откуда сейчас пишу, и спросил гостя у меня в Овсянке:

— Фрэнк! Где лучше: в Вашем родовом замке или у меня в Овсянке?

И, ни секунды не раздумывая, гость ответил:

— Совершенно котэгорычно — в Овсянка! Замок — это много, скучно и дорого.

Вечером мы с гостем распрощались, и не думал я, что возникнет надобность писать по «наградному поводу», хотя и понимаю Вас как истинных «болельщиков» — хотелось Вам, искренне хотелось «гола», но погодите, наберитесь терпения — может, Бог и поможет мне в борьбе за здоро-

вье, и я закончу третью книгу романа «Прокляты и убиты» — и это будет мне Высшей наградой жизни, а о других наградах я никогда не думал, не хлопотал — они сами собой ко мне приходили, помогали мне материально, радовали и поддерживали морально меня и моих добрых читателей.

Виктор Астафьев

27.12.95 г.

Дорогой Виктор Петрович!

... Какой год позади! У Вас 50-летие супружества! Прочитала в «Лит. газете» страницу, посвященную Вашему семейному событию. Прочитала в журнале «Знамя» Вашу повесть, а на днях дочитала книгу Ваших рассказов — закончила год писателем Астафьевым. Иногда такая боль, такая тоска ложилась на сердце, что и не высказать.

Ваше слово, Ваше проникновение в природу, Ваша жалость к людям и даже к дикому зверю, несчастному, погибающему от войны, от людей, — все это пронизывает душу и надолго остается в памяти. А как же знакомы Вам растения земли! А какая у Вас обратная дорога с войны!

И всегда одно: ходит по земле человек такой огромной талантливости, такой чуткий и чувствительный, а внутри у него биение: война, война, война и судьба, судьба, судьба всех замордованных, загубленных солдат, людей крестьянских и все, что засорило и замутило нашу землю и наших людей. Тяжел Ваш груз, ох как тяжел!

Низкий поклон Вам и Марии Семеновне!

С уважением, ***Марина Иосифовна Стародубцева,***
Москва

29.12.95 г.

Дорогой Виктор Петрович!

С Новым годом, с новым счастьем! Приветствую Вас в наступившем году с пожеланиями добра, здоровья и творческого аппетита, чтобы много и в охотку.

Минувший год прошел у меня без книжечки, три издательства по усам текли, а книжек так и не сделали. Те-

перь и Курган хочет поманить обещанием книжки. Это Вы им подсказали? Спасибо, независимо от исхода. Видел Вашу книжку в курганском издании с портретом автора в тельняшке! Впечатляет.

Я тоже не хочу остаться в долгу. Зашел у меня разговор с моими земляками, затеявшими свое издательство. Сначала они были как бы при журнале «Звезда», «Библиотека журнала «Звезда», но дела у них пошли так неплохо, что журнал вообразил, будто это его заслуга. В результате — журнал остался при своем интересе, а издательство живет уже под своим флагом. Я им рекомендовал «Прокляты и убиты». Готовы делать и в двух томах, и в одном. Платят они 7—10% от отпускной стоимости. Ребята честные, Боря Хмельницкий и Володя Кавторин, оба писатели, входили раньше в редколлегию «Звезды». Если нет возражений, если не запродали права кому-нибудь, не сочтите за труд сообщить решение. Сделают книжку в этом году, так как делают на свои деньги, а не ждут от «дяди» «под Астафьева».

Из хороших дел прошедшего года — «Жребий № 241» в "Знамени". Не мне судить, что получилось, но поклон своим предкам, с которыми Бог не дал пожить рядом, отдал.

В октябре-ноябре был в Дании и Англии с лекциями в университетах на факультетах славистики и в обществе «Британия — Россия». Зато теперь сижу в телогрейке с двумя электропечками в одной комнате. Батареи чуть теплые. Холод. А тут еще и метро рядом со мной закрыли. Утешаюсь тем, что обошлось без жертв. Чудо!

Обнимаю сердечно. Жду отклика.

*Ваш **Миша Кураев***

[1995 год]

Дорогие Тоня и Ваня!

Поздравляем Вас, ваших детей и внуков с Новым годом! Всем доброго здоровья и чтоб год наступающий был не хуже уходящего! Главное, чтобы коммунисты вновь не подняли войну и не залили бы Россию кровью, ибо на этот раз войну России не выдержать — она утонет в собственной крови...

Я со дня на день собирался тебе, Ваня, написать, но

всевозможные дела и обязанности, и я никак не могу закончить список, составленный для поздравлений. Зато теперь отправлю письмо и поздравление вместе с книгой, где есть и повесть, вам полюбившаяся. Право слово, она недурна, во всяком разе, боли моей и бедолаг-солдатиков, окопных землероек — в ней много.

Год мы завершили тяжеловато. В сентябре я заболел в деревне, и меня едва живого привезли в больницу. Мария поехала за моими бумагами в деревню, попала в автоаварию и сломала левую «рабочую» руку. Весь дом, все заботы легли на плечи внучки, а ей всего двенадцать лет, но она у нас когда захочет, горы свернет, но учится шаляй-валяй, читать не любит. Я говорю: ладно, хватит одного читателя на дом, для нее важнее, чтобы варить или стирать умела.

Как я понимаю тебя, Ваня! Тема легкой и незаметной смерти занимала и занимает всех стариков. А мы ведь уж старики! Конечно, жизнь наша пролетела незаметно, в борьбе с нуждой и бесправием. Мы и оглянуться не успели, а он, конец, вот уж!.. Еще древний восточный поэт писал: «Легкой жизни я просил у Бога, надо б легкой смерти попросить...»

В Японии, в Токио, есть храм, и люди заносят в этот храм продающиеся у входа дощечки со всевозможными просьбами, на них написанными. Я спросил, каких просьб больше всего? Мне ответили, что половина — с просьбами к Богу о легкой смерти, есть просьбы о хорошем, умном муже и красивой, богатой невесте — это на втором плане.

Ах, как хочется повидаться с тобой еще на этом свете, чтоб обнять тебя, но далеко мы друг от друга, а, может, Бог и пособит нам...

Обнимаю, целую вас обоих с Тоней. Будем жить, сколько отпущено нам жизни и надеяться на лучшее. Вечно твой собрат, да уж и брат по окопам, —

Виктор

2.1.96 г.

Здравствуйте, Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Это письмо из Боготола, от сестры Виктора Трегубовича — Надежды. Мария Семеновна, я думаю, что письмо

открывать и читать будете первая Вы. И знаю, что у Вас время рассчитано по минутам, и больше убедилась в этом, увидев телепередачу «Дороже дорогого». И если Вам совсем туго со временем, то бросьте, не читая, это письмо в урну: ничего нового и необычного Вам оно не даст, а моя душа освободилась от навязчивого желания сказать Вам большое спасибо, а Виктору Петровичу низко поклониться за то, что он приезжал в Боготол, на юбилей Виктора.

Вы люди мудрые и понимаете, что даже заслуженной памяти человек на своей родине часто вполне не имеет. Живет он со всеми рядом, ничем особенным не отличается от других и вдруг более других в чем-то проявился.

Не вдаваясь в подробности, я думаю, что некоторые боготольцы шли на юбилей не столько для того, чтобы вместе вспомнить Трегубовича, а затем, чтобы «живьем» увидеть Астафьева, а большинство для того и другого.

А увидеть Астафьева, тем более в Боготоле, — это событие. Вы, Виктор Петрович, возвысили авторитет мертвого и благородство души живого. Поистине: «Это надо не мертвым, это надо живым». Вы преподнесли пример человеколюбия.

Мы, родственники Виктора, восхищены Вашим поступком, восхищены Вашей простотой и мудростью.

Дай Бог Вам здоровья, дай Бог Вам прожить столько лет, чтобы Вы увидели своих внуков, прочно опершихся в жизни. Дай Бог Вам дождаться правнуков. Хорошего Вам настроения.

Не знаю Вашего адреса, пишу, как «на деревню дедушке», но, понимая, что по сравнению с Вашим авторитетом и известностью Красноярск — деревня, надеюсь, что адресата найдут.

С глубоким уважением

Надежда Душкина (Трегубович),
пос. Боготол

6.1.96 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Получить от Вас весточку — для нас всегда подарок. Не говоря уже о том, что читать письма — большое удовольствие. Конечно, очень печально, что лето закончилось для Вас так неудачно, но без болячек нам уже жить

не суждено, а те нехитрые земные радости, которые Вам подарил Ваш огород, я словно воочию вижу, как на нем все росло и зрело, и Ваше пребывание в родных местах, и даже некоторая легкость в мыслях — все это говорит о том, что судьба одаряет Вас своей благосклонностью еще довольно щедро. Не говоря уже о том, что и творческий источник еще не собирается иссякать. Вы по-прежнему много и хорошо пишете. Замечательно, что у Вас такая помощница-внучка, а учеба, ей, как говорится — свое место, но не более того. Помню, для меня получить четверку было трагедией, не из-за себя, правда, а из-за родителей, боялась их огорчить, ну и глупо, сколько нервов было потрачено зря из-за какой-то ерунды собачьей.

И конечно, это прекрасная мысль свозить ее в Тайланд, поскольку есть такая возможность. Отец в свое время немало повозил меня по стране, правда, за границу тогда не было возможности поехать, но государство наше тогда было столь обширно и разнообразно, что и незачем было куда-то ехать. Мы побывали и на Кавказе, и в Прибалтике, и в Крыму, и на Украине, и в Молдавии, и везде чувствовали себя, как дома. Можно было поставить машину где угодно и спать в ней, хоть в лесу, хоть на дороге, хоть где, и никто и никогда не посягнул на наш покой, а уж тем более жизнь. Вот это ощущение безопасности, которое тогда принималось как должное, я очень хорошо помню, оно теперь утеряно и для нас, я думаю, невозвратимо.

А в 1978 году мы были в Кабардинке, Сашке было тогда десять лет. Пошли мы с ним на море и как-то разошлись, словом, я его потеряла. Я начала метаться, как сумасшедшая, бегать по городку, населенному, наверное, не одним десятком национальностей — это к югу от Новороссийска, забежала в какую-то мастерскую к восточному человеку, кричу: у меня ребенок пропал, ребенок пропал. А он спокойно так говорит: ну что вы, у нас такого не бывает. И правда, тогда такого даже там не бывало. А теперь... Да что говорить. Впрочем, это так, к слову, немало хорошего принесло нам и наше время, но ни в Крым, ни на Кавказ теперь без риска для жизни не поедешь. Зато есть возможность поехать в еще более экзотические места, а воспоминаний об этой поездке, уверена, у внучки Вашей хватит на всю жизнь. Это именно то, что остается в памяти, как остались в моей все наши поездки.

В Москве послевыборное затишье, одна Дума закончила, другая еще не начала, чего от нее ждать, пока никто не знает. Меня несколько удивило то, что в Думу не вошел КРО, — это лишнее подтверждение отсутствия у русских националистических представлений, что, возможно, и явилось одним из важных факторов величия русской нации и создания такого уникального образования, как Россия. С другой стороны — обостренное чувство социальной справедливости, которое побудило четверть населения голосовать за коммунистов, принесших России достаточно испытаний. Словом, подход и в том, и в другом случае нерациональный, наверное, в этом наше величие и наша слабость одновременно. И из этого противоречия нам вряд ли дано выбраться.

Впрочем, все это лишь досужие размышления, а жить приходится в какой-то совершенно абсурдной ситуации, когда мы сами уничтожаем целые города, которые потом берем по второму разу, или начинаем переговоры в самой невыгодной для нас ситуации, может быть, наши политики только вчера родились, но мы-то помним, чего стоила Европе политика «умиротворения» в 38—39 гг. Ну хватит! Политики Вам и без меня хватает, и нечего с ней к Вам приставать. Вот приедете, Бог даст (все-таки надеюсь), тогда поговорим, а пока с праздником Вас Рождества, Крещения Господня и радости, и здоровья Вам и всем Вашим. Санька все собирается Вам сам написать, но у молодых вечно не хватает времени. Целуем Вас крепко и обнимаем горячо —

Аннета, Юра, Саша. (Макаровы — Кутейниковы)

Все мы желаем Вам получить Госпремию России.

Ваши ***Аннета, Юра, Саша***

22.1.96 г.

Дорогой Феликс!

Пишу, чтобы поблагодарить Вас за щедрый дар! Теперь мне хватит книг надолго, а то я присланные прежде книги расфукал и спохватился, когда их осталась одна пачка.

Но пишу я не только ради этого, а еще и ради моего самого близкого друга, почти брата — Евгения Ивановича

Носова, прекрасного писателя, несомненно, лучшего стилиста в современной русской литературе. После долгой и тяжелой болезни он с трудом «разломался», восстановился и написал пятнадцать новых рассказов. Печатает он их в журналах: «Поле Куликово», «Знамя», «Москва» и «Новый мир», а издать нигде не может. Бедствует.

Я прошу Вас, даже умоляю, включить в Вашу серию «классиков» книгу Евгения Ивановича Носова и, если получится, известить его об этом по адресу: 3005004, Курск, пер. Блинова, 2, кор. 4, кв. 17, т-н: 3-83-92.

А я пока и отвечать не буду на его последнее горькое письмо. Мужик он не из тех, кто любит жаловаться, даже другу, и если пожаловался, значит, подошел край. Нельзя допускать, чтобы писатели такого уровня и высоты духовной голодовали и холодовали, упрек это будет России вечный.

Я предлагаю состав сборника Е. Носова такой:

Повести: «Усвятские шлемоносцы»,
«Шопен — соната номер два»,
«Шумит луговая овсяница»,
«Моя Джомолунгма»,
Рассказы: «Красное вино Победы»,
«Шуба»,
«Игнатьич» — «Объездчик»,
«За долами, за лесами»,
«Домой за матерью».

А из рассказов, написанных в последнее время, пусть отберет сам автор.

Предисловием можно поставить мою статейку о Носове, писанную к книге «Берега», — лучше и свежее мне все равно уже не написать, а уж с той любовью, которую я там «высказал» — и подавно никому не высказать. Виктор Федорович Потанин тоже знает и любит Евгения Ивановича и дополнительно может рассказать все, что Вам потребуется.

Моя Вам благодарность и за то, что включаете в свою серию книгу М. Кураева, из «новых» пишущих «по-старому» — это самый крепкий и умный писатель.

Кланяюсь и еще раз благодарю

В. Астафьев,
г. Красноярск

29.1.96 г.

Дорогая Ася! (Гремицкая)

Прости, что долго не отзывался. Что-то мы с Марьей Семеновной то болеем попеременке, то дохварываем и никак дохворать не можем. А я еще затеял «мероприятие» — свозить Польку в жаркую страну — Тайланд — за ее праведные труды по дому во время нашей болезни — все ведь было на ней, да еще соблазнился тем, что рейс прямой: «Красноярск — Потайя», а он, как и все у нас, вышел кривой. Десять часов прокантовались в родном городе, сперва в таможенном зале, где температураа +7, потом сидели в самолете.

Полька отдохнула на славу! Она человек контактный, быстро нашла подружек, которых опекали надежные тети, я посмотрел, как она умеет плавать, понял, что не утонет, и махнул на нее рукой, ибо воспитывать этого человека, приучать к порядку — все равно что дикого мустанга заануздывать! Поездила она и по стране, и накупалась вволю, аж ночью купалась — дня не хватало! Фруктов и мороженого поела вволю. А я больше сидел в номере гостиницы и читал, потому что климат влажный, липкий. Два раза съездил в город Потайя, но всюду душно и жарко, по помещениям гуляют сквозняки, питье подают только холодное, да еще со льдом, и на этом я вылазки закончил, стал выходить к заливу, к Сиамскому. О, Боже! Куда только черти не занесут! Сидел в тени, дышал, раза три даже опустил пузо в воду, и залив сразу выходил из берегов...

Обратно летели, вернее, почти прилетели хорошо, не хватило керосину, сели в Абакане — уже в другой стране, в Хакасии, а там свои пограничники, свои таможенники и свои вымогатели. Они продержали нас три с половиной часа в открытом самолете, пока не выморщили у директора туристической компании взятку по своему аппетиту. Долетели, час ждали багаж, холодно, у меня ноги остыли. Я попросился на улицу, в машину, а Витя и Поля остались ждать багаж. Ноги мои согрелись только на десятый день после жаркой-то страны. У нас в середине зимы начались морозы с солнцем, и радоваться бы им, но горожане-то замерзают — все врасплох, все мы не готовы к зиме. Правда, в нашем старом поселке, в домах, очень тепло, у нас тоже, а то и не знаю, что бы делал с моими гнилыми легкими.

Очень тяжело мне было дописывать «Подводя итоги»,

да и чего допишешь-то к законченной, себя исчерпавшей статье? Ну дописал и сам вижу, чего получилось. А насчет денег? Ну кто мне даст этакую сумму? Зачем и почему даст? Я поднаметил два крупнейших предприятия, куда надумал скрепя сердце адреснуться. Днями узнаю. Завод КраМЗ почти остановился, и «Саянскстрой», дела у которого все шли в гору и в гору, начал он строить аж в Израиле, чего-то и кого-то победив в конкурсе. Ан прогорел — видно, евреи надули ретивых сибиряков, а они уж их надували, да, видно, не очень смертельно...

Словом, никуда и ни к кому я не пойду, как не ходил и прежде. Нужно будет, когда-нибудь издадут, а не нужно, значит, и Богу неугодно. Да и сумму-то ты назвала такую огромную и несуразную, что ее с похмелья и не выговорить! Вот закончу новую повесть, составлю книгу с жалобным названием «Плач о несбывшейся любви» и исполу буду договариваться со здешним, шибко прытким и хватким владельцем полиграфии об издании ее — у меня лежат деньги от продажи машины и что-то там накопилось — может, этого «что-то» на половину и хватит, а остальное пусть берет полиграфист на себя. И еще «для разогрева машины» начал писать «затеси», так может, и их где-то издам. Тебе нужно лишь прислать мне ксерокопию с тома с «затесями», а остальные две положишь в мешок и увезешь домой, да и самой надо подаваться ближе к дому, раз такой у тебя начальник! Зачем он тебе без меня? Скоро весна, поезжай в деревню, покопаешься в земле. Отдохни от начальства, и от нас, и от литературы этой, которая всем уж надоела своей сладкой канителью, — вроде бы так какую-то сладкую стряпню называют?

Андрей наш в Вологде, живучи с однодетной семьей, бьются вместе с Таней, чтоб хоть как-то удержаться и прокормиться. Зарплаты он не получает с августа прошлого года, и Тане вот перестали платить. Чего нас, их и всех россиян ждет? Президентские выборы? Целая рота претендентов выстраивается! Вот так бы в пахари рвались мужики, как рвутся они к власти или в ансамбли орущих придурков.

Днями ездил в Овсянку, на совет библиотеки. Библиотека-то хорошая, но на ее содержание и зарплату нужны двести миллионов! А где их взять? Наши попечители и так называемые спонсоры угасают один за другим и боюсь, что скоро многое позакрывается.

Словом, скорей бы весна, хоть люди не дрогли бы, дети не простывали и не мучались.

Ну вот вроде бы и все. Что надо тебе знать, напиши иль позвони за казенный счет. Марья Семеновна будет печатать письмо, может, чего добавит от себя. А я кланяюсь всем вашим и целую тебя —

Виктор Петрович

Асенька!

Я очень сожалею, что ничего интересного сообщить не могу. Скажу лишь, что со здоровьем терпимо, ибо знаю, лучше не будет, а так, даст Бог, еще и поживу. Правда, рука моя, работящая и ломаная, все больше огорчает своей все убывающей «мощью». Но все равно делаю дела, сижу за машинкой, стираю, глажу и вообще чего-то все делаю. Витя-младший до удивления изменился: стал добр, даже внимателен, с одним парнем снимают комнату поблизости с работой. (К нам и добираться проблема.) Вот и сегодня звонил, сказал, что приедет завтра, сегодня не может. А я боюсь сглазить. Как тот итальянский поэт, который написал: «Ты говоришь, что любишь цветы — и рвешь их. Говоришь, что любишь животных — и ешь их. И когда говоришь, что любишь меня — я боюсь...»

Вот так и я. Мне чем дальше, тем больше хочется тебя повидать, поговорить, послушать тебя. Я давно и преданно тебя люблю.

Твоя ***МарСем***

8.2.96 г.

Уважаемый Виктор Петрович и Мария Семеновна!

Шлю Вам искренний привет из теплого южного города Нанкина.

Письмо было написано в августе, когда один мой знакомый уезжал к первому сентября в Москву. Попросил я его передать это письмо. А он, очевидно, послал его из Пекина. И потом оно вернулось ко мне из-за неправильного адреса. Итак, мне приходится послать его прямо по почте. Надеюсь, что оно дойдет до Вас перед праздником весны.

У меня все нормаально. Читаю, преподаю, пишу, пере-

вожу и печатаю. Главное содержание моей жизни — работа над русской литературой, чем и доволен.

Как Вы поживаете, как Ваше здоровье, как учится Поля славная, нашел ли себе работу честный Витя?

Жду Вашего ответа.

С уважением к Вам

Ваш ***Юй Ичжун***
Нанкин, Китай

8.02.96 г.

Дорогой Виктор Петрович, здравствуйте!

Читаю все, что выходит из-под Вашего пера, что доходит до меня в заброшенную и никому не нужную теперь Ялту. Недавно ознакомился с Вашей повестью «Так хочется жить» и вот уже более недели не нахожу себе места. Ведь эта повесть обо мне...

Между мной — инвалидом Великой Отечественной войны — и моим «фронтовым братом» Николаем Ивановичем Хахалиным разница только в том, что я не детдомовец, что после войны вернулся в родительский дом, учился, стал врачом, заимел свою семью, много работал, благополучно дожил до внуков и, в конце концов, вдвоем с заботливой женой отдельно от детей доживаю свой век на скромной пенсии, добавив к фронтовым недугам еще инфаркт миокарда.

Во всем остальном я — Коляша Хахалин, только некурящий, непьющий, вполне серьезный и здравый человек, самокритичный, любящий юмор... Как и Коляша, с детства пишу стихи. После войны и по настоящее время опубликовал более сотни стихотворений, десятка два статей, одну брошюру, четыре очерка и семь рассказов. Все это в основном печаталось в районной, немного в областной и в нашей республиканской «Крымской газете». О войне я написал документальную повесть, где попытался рассказать о ней правду, хотя и не всю. Редакция многое из текста изъяла.

Но вот наконец настало время, когда о нашей боевой юности можно поведать люду все начистоту. Я стал писать. И вдруг Ваша повесть — «Так хочется жить». Не скрою, я испытал одновременно чувство досады и радости. Вы рассказали о войне и о жизни бывших фронтови-

ков так, как хотелось бы об этом рассказать мне — Вашему сверстнику, инвалиду войны. Но так, как Вы, мне не написать. Глубже, лучше, правдивее, прекрасным русским языком о нашем прошлом и настоящем вряд ли кто сможет написать вообще. Ваша повесть «Так хочется жить» поставила последнюю точку в военной тематике. Я в этом убежден... Спасибо Вам! Будьте здоровы, живите и творите долго-долго. От имени всего фронтового братства кланяюсь Вам до самой земли.

Ваш ***Карамелев Анатолий Николаевич,***
г. Ялта

P. S. Посылаю Вам на память один рассказ и два стихотворения. Думаю, что нашему мемориалу «Березкам из городов-героев» Вам захочется когда-нибудь поклониться лично. Я и моя жена **Галина Николаевна** милости просим Вас с супругой к нам в гости. Квартира у нас большая, в ста метрах от Черного моря. В складчину поживем достойно.

13.2.96 г.

Дорогой Юра!*

Мы с МарСем так были рады твоим письмам, что и слов нет выразить нашу радость. Рады и мимоходному упоминанию, что Митя жив и находится в Петербурге. Я не пробовал, не знаю, каково двум свободным мужикам жить вместе, наверное, неловко и едва ли у кого это получится, даже при условии, если они чужие друг другу.

Обрадовался, что у Толи так хорошо прошел юбилей и погрустил от того, что ему уже шестьдесят! Как-то неожиданно это. Всю жизнь он, как кузнечик, скачет по земле, а на скаку как определишь возраст человека? Грустно — шестьдесят — это жирная черта, за которой остается осязаемая жизнь, по эту сторону черты — уже многоточие, а многоточие смутное в нашем правописании (означает) обозначает и в то же время многозначительно оно: усталость, болезни, ожидание конца, беспомощность от сознания, что все там будут, и ты — тоже за этим многоточием. Какая самоуверенная особенность молодости на фронте,

* Ростовцев Юрий Алексеевич.

среди смерти уверенное сознание было: кого угодно могут убить, только не меня. Много преимуществ у молодости, и эта вот спасительная особенность — одна из главных сил и возможностей молодости. Правда, сейчас, наверное, уже мало на кого из молодых сие распространяется. Они в молодости уже усталые, как старики, и оттого равнодушны ко всему, в том числе и к своей жизни. Может, нами накопленная сверхусталость как-то и для нас незаметно перешла, перекочевала иль перелилась в следующие поколения? Мы-то — люди крестьянского корня, были крепки именно этими корнями, которые подпитывали нас, придавая терпения и сил в этой сверхтяжелой, для других людей и наций непосильной и невыносимой жизни. Одно несомненно: за нами идут слабые люди и от слабости, в первую голову духовной, неспособны они постоять за себя, побороться за свою самостоятельность, выжить и укрепиться трудом, а не ожиданием благ и хлеба от хороших царей и мошенников-коммунистов. Боюсь, что на нас Россия и кончится, если ей снова не поможет Бог и не спасет ее от страшной, невиданной на земле погибели.

Юра! Зауральские книжки пусть будут у тебя, мне, слава Богу, прислали достаточно, а вот в издательстве «Книжная палата» вышел сборник под тем же названием, так похлопотать бы, чтоб мне выслали, пусть и по почте, наложным платежом штук пятьдесят. Вот данные издательства: редактор Массалитина Елена Алексеевна. Москва, 127018, ул. Октябрьская (за театром Армии), строение 2, «Книжная палата».

Денежки, что у тебя, надо как-то передать нашему Андрею. Плохи у них дела. Реставрационные мастерские закрылись, Андрей с августа прошлого года не получает зарплаты, тянет Татьяна — невестка, а она, ты видел, какой богатырь, набрала работы сверх всякой нормы, но и ей стали задерживать зарплату. Адрес и телефон Андрея ты знаешь.

И еще: кажется, налаживается возможность повидаться нам нынешним летом. Петербургская публичная библиотека предложила на базе Овсянской сельской библиотеки провести общероссийскую конференцию о литературе и библиотечном деле. Налаживается это дело на конец июня — очень хорошая пора. Сможешь ли ты с бродягой Заболоцким быть в Сибири на сем мероприятии? Я и Андрея с Таней запишу в список приглашенных, и вы

все вместе можете катить в Сибирь бесплатно, если наш аэрофлот согласится взять на себя транспортные расходы. Затея эта, уже по первым прикидкам, стоит 150 миллионов, я же насоставлял список с расчетом, что многие почтенные люди уже не смогут подняться в поход на Сибирь. Вы-то холостые, почти молодые, на подъем должны быть легки. Словом, напишите — согласие иль отказ, а там — светай или не светай, лишь бы петух пропел. По междугородному телефону я и Марья С. звонить не станем, техники, грамотные советские люди, начали пользоваться чужими номерами, в том числе и моим. Способа борьбы с этой бедой нет. Все борцы за правое дело. Чуть не забыл поблагодарить тебя за «Роман-газету» — теперь я без горя.

Вот пока и все, обнимаем и целуем — я и МарСем.

*Преданно — **Виктор Петрович***

17.02.96 г.

Дорогой Женя! (Носов)

Памятуя, что у тебя в марте день рождения, но из-за старческого склероза, забыв число и зная, как ты любишь все изящное и красивое, посылаю тебе эту папочку с запасом бумаги, может, мысль какую в нее запишешь, может, нарисуешь чего, а может, потянет письмо мне написать, и мы его с Марьей читать будем и радоваться ему, как редкому подарку от родного человека. В клапанок папки я тебе вложил пташку, чем-то — уж не пузцой ли? — похожую на тебя и сурьезную такую, а чтоб повеселить тебя маленько, картинку сексуальную, из золотой старины, когда еще, рисуя женщину иль по современному литературному языку — пиша, не обезображивали ее, а обожествляли, в то же время оставляя ее такой, чтоб любой мужик обернулся, даже если он музыкант иль рядовой советский колхозник, и, чтоб чирка евоная сразу начинала «бросать вода», как говорил мне мой товарищ по охоте, татарин Генка Хабибуллин, по-ихнему Хайрулла, уже давно покойный, оттого что в четырнадцать лет начал зарабатывать хлеб тяжелой работой, поддерживая мощь и славу родного государства.

Живем мы, как и все уже старики, похварывая и тревожась о будущем детей наших и совсем почти разру-

шенного Отечества нашего. Державшееся на ржавых гвоздях и гнилых веревках лжи и демагогии государство рухнуло, началась расхватуха, мародерство и первыми грабителями были и остались партийные деятели, которым удалось убедить наш убогий народ, что обокрал его американец клятый, а коммунисты — святые люди, лишь то и делали в своих партийных квартирах в двести метров на двоих, что печалились о народе.

Мы со внучкой в январе слетали в Тайланд на мою прошлогоднюю премию. Она у нас растет неряха и неслух, но как осенью я залег в больнимцу, а бабушка сломала руку, так она тащила весь дом на себе. Вот я и решил отблагодарить ее, пока жив, показать мир и побаловать солнцем, покормить фруктами и мороженым. Первый раз (у нас прямой рейс с аэрофлота, тем и соблазнился). Ездил я туристом и с так называемыми новыми русскими — это уж сынки и внуки нашей воровской комшайки, и они еще гаже и тупее своих отцов и дедов.

Сидел я в основном в гостинице, ибо климат на Сиамском заливе липко-влажный зимою. Полька накупалась и отдохнула хорошо. Тем временем у нас подступила настоящая сибирская зима с морозами, которые держатся и по сию пору.

Делал я тут два старых рассказа, а они взяли и соединились в повестушку. Опять о любви, опять о несчастной военной доле. От этого мне, видать, уж никуда не уйти и не отболеть.

Похоронил тут в Дивногорске мачеху. Мало что нас связывало в моей взрослой жизни, иногда заезжал к ней, продуктишки завозил, разговаривал о том, о сем, а хоронить пришлось мне — неповоротливы, несообразительны сделались наши деревенские люди, главное для них — поминки. Земля промерзла, Сибирь, паря, — с нею не шутят! Чего-то жалко, чего-то накатывает, с каждыми похоронами подступает ближе мысль о скором конце и строка из восточного поэта: «Легкой жизни я просил у Бога, надо б легкой смерти попросить» — приобретает все более глубокую и покаянную значимость. А хоронить приходится часто, родня моя густая падает и падает. Недавно умер двоюродный брат Иван, самолучший из родовы певец, а умер в психушке. Я не хоронил его, болел как раз, и чувство вины угнетает, а похороны еще собирают близких людей, и горе — на время объединяют. Даже свадьбы перестали собирать людей в кучу, только похороны. А по-

смотришь на овсянское кладбище — на нем все виднее, чем на необозримом городском — одни старики своей смертью умерли, все остальные, что окружают могилу нашей дочери — извели себя, сгубили. И я вздохну иной раз: «Ах, Ирина, Ирина! При жизни ты все собирала вокруг себя каких-то падших и обездоленных, пыталась всех пожалеть, накормить, и теперь вот, мертвая, — сгруппировала вокруг себя этакую публику...» Спившиеся, опустившиеся, загнали себя под никем не оплаканные, пьяно насыпанные бугорки...

Что-то на беды меня повело. Буду закругляться, авось в другой раз будет в голове яснее, и мысль пойдет бодрее, и слово ляжет в радостную, но не в горькую сторону. Хватит ее, горести-то, всюду и всем.

Обнимаю, целую — твой ***Виктор***

Да, тебе послали приглашение на библиотечную конференцию, которая будет проходить на базе Овсянской библиотеки. Приедешь — не приедешь — дело твое, но если б поднялся да собрался (все будет оплачено), повидались бы. Может, в последний раз...

Красноярск

20.02.96 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Не хотелось бы говорить всуе о Ваших последних литературных работах. Просто — СПАСИБО! — и все. Но я стараюсь не пропускать и телепередачи с Вашим участием, когда у Вас в гостях были Петренко, Желнорова, последняя, недавняя, — на берегу Енисея — самая грустная.

Если бы сравнить (грубо) душу русских людей с сосудом, то без всякой лести могу сказать, что Ваша большая душа (лучшая и светлая ее часть), книги Ваши уже много лет питают и наполняют души читателей. Знаю, что непросто Вам всю жизнь карабкаться по пикам нравственности, но, упаси Бог, разувериться в своем предназначении духовного пастыря. А то вон, Юрий Нагибин к концу жизни вконец измаялся из-за своего мнимого еврейства, ослаб духовно так, что помирал в безверьи и темноте (а ведь как восхищался «огненным протопопом Аввакумом»!)

Может быть, вместо дифирамбов Вам будет приятно

услышать короткую историю. Отец моего приятеля (сын попа, фронтовик, в плену в шахте пробил себе ногу отбойным молотком, чтобы на Пасху не работать), так вот, этот дядя Витя очень любил Ваши книги. Однажды, прочитав «Рыбаков» (то место, где «...кто погасил свет в душе нашей?»), бегал по двору с Вашей книгой и кричал что-то пушкинское: «Ай да Астафьев, ай да сукин сын!» Совал всем книгу в нос и кричал: «Что, большевики, съели?! Римская империя тыщу лет существовала, но камни от нее остались! И от вас ничего не останется, пока живы такие люди, как Астафьев!» Дядя Витя умер, но пророчество его сбывается. Так что, дорогой Виктор Петрович, живите еще много-много лет, раз Бог отметил Вас редким даром помогать людям словом.

Низкий Вам поклон, кланяюсь и сибирской земле, Вас родившей.

С любовью, ***Булгаков***

P. С. Выдирать листы из книги — кощунство. Но я не вижу другого способа получить Ваш автограф, потому что библиофил и всегда мечтал его заиметь. Виктор Петрович, не откажите и в этой любезности, а уж я страничку аккуратно вклею в том.

P. S. 21.02.96 г. Не знаю, выслали ли Вам из редакции альманах. Решил послать от себя. Подарите, пожалуйста, своим знакомым охотникам. Надеюсь, что еще не все они разучились читать.

21.2.96 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Читаю Ваше письмо — и содрогаюсь: «оба всю осень проболели, я едва не умер». Миленькие мои! Да ведь надо же Вам обоим блюсти свое здоровье. Надо основательно обследоваться и лечиться. У Вас-то есть такая возможность — на самом высоком уровне, у самых высоких светил! И с вылазками на природу Вы уже рискуете жизнью. Возраст! И как много Вам еще есть что сказать! И лебединая Ваша песнь еще впереди! И Поленька должна стать на ноги при Вас, обрести себя в жизни. И сейчас известно, наукой доказано: если нет роковых стечений обстоятельств или фатальной болезни, то в организме человека работают его биологические часы до того срока, который

человек подспудно, на подсознательном уровне сам себе назначает. Долгожители потому и живут долго, что сызмальства знают, что жить будут долго. А мой отец, к примеру, — дня не проходило, чтобы он не разжалобливался: «Мне уж скоро на сопку!..» (Жили тогда на Сахалине, кладбище было на сопке над морем.) И вправду рано умер, в 59 лет, не дождавшись пенсии. Но он, как все астраханские бондари, не мог дня прожить без вышивки, отсюда и высокое кровяное давление, и однажды — кровоизлияние в мозг и мгновенная смерть. А Иосиф Бродский умер в 55 лет — так ведь у него был врожденный порок, перенес несколько операций на сердце, и курил до последнего дня, и выпивал.

А Поленька у Вас — умничка, показала себя хорошей хозяюшкой в семье в трудную минуту.

У Вас, Виктор Петрович, уж планида такая — боль народа пропускать через свое сердце, страшные реалии войны заново переживать, и не один раз, чтобы запечатлеть все это на бумаге. Но и оптимизма Вам не занимать стать! И юмор Ваш великолепен!

Благодарю Вас за письмо, за книгу. Какой прекрасный праздник для души сотворили Вы мне! Вот уж две недели читаю я Вашу прекрасную повесть. Не удивляйтесь. Чем выше Слово, тем медленнее я читаю. По 10—15 страниц в день, чтобы растянуть удовольствие.

Уж скоро 20 лет, как я пребываю Вашим очарованным читателем-почитателем. Каждое новое Ваше произведение — это для меня ожидание нового потрясения, и по-детски страшно бывает открывать книгу, когда она наконец-то оказывается у меня в руках. Но я только из Вашего апрельского письма (1995 г.) узнал, что Вы написали еще и повесть после военного романа. Я, восторженный поклонник Вашего таланта, об этом и не знал. Можете по этому факту судить, до какой степени разделились мы в своей самостийности. И сейчас время от времени я счастливо спохватываюсь: книга-то — моя теперь! Да еще с дарственной надписью.

Начинаю читать — и сразу же обнаруживаю себя внутри Вами воссозданного мира и воспринимаю все всеми органами чувств. И эта прежде всего наполненность Словом, русским словом, еще невиданной силы. Это когда то, что в душе как предчувствие, как неясное ощущение, словами невыразимое, вдруг оказывается выраженным — что-то из запредельных истоков сознания, какая-то прамело-

дия, что ли, души, нечто от изначалья Всебытия. Я убеждаюсь и все не могу до конца поверить в эту всемощность русской языковой стихии. Слово Мастера каждый раз доставляет мне радость и счастье, и гордость за свой народ в самой престижной сфере — в духовной. И это когда, в общем-то, вся наша современная литература на раздорожье. Будь я филологом, я специализировался бы только на Вас, и был бы это для меня во всю жизнь истинно «пир духа», как где-то нечаянно выпало у Наума Коржавина. Более того, Вы убедили меня — меня-то! — в том, что так называемые «непечатные» слова и выражения вполне здесь уместны. Дело в том, что я по натуре своей вовсе не пуританин и не ханжа, я, выросший в семье астраханского бондаря, где матюги — самые расхожие слова, абсолютно не приемлю их, и за всю мою жизнь никто ни разу не слышал от меня ни одного такого слова. Ни разу! Я даже не знаю, не понимаю, почему со мной случилась такая «ненормальность». Это, наверно, один случай из тысячи мужиков или даже из миллиона? Одна бывшая моя сотрудница даже пытала меня: «Владимир Владимирович, вот когда Вы нечаянно ударите молотком себе по пальцу, как вы вскрикиваете?» А в Вашем тексте эти слова оказываются в строку и вполне печатны, и только так, не иначе. Они — само существо того быта, того повседневья. Но это для чтения глазами. Хотя в литературных передачах радиостанции «Свобода» подобные слова и выражения идут открытым текстом во всеуслышание и без запинки. А вот у Валерия Пискунова, неплохого стилиста, натурализм почему-то совершенно непереносим, вызывает омерзение.

Ваша книга — действительно пиршество для книгочея. Это когда уловишь ритмику, мелодику повествования, войдешь в речевой образный поток и дальше тебя уже несет как бы во взвешенном парении, в колдовской невесомости. Повесть написана ярко, страстно, пристрастно. Люди в ней — не безликая масса, не совокупный народ, но человек прежде всего, сумма очень разных людей. А временная отдаленность позволяет участнику тех событий видеть все в ироническом свете. У Вас блистательный юмор, иногда вперехлест с убийственным сарказмом. И публицистические обобщения столь же ярки, до потрясения, обостренные сегодняшним видением.

Всегда прекрасна у Вас лирика Жизни. Как всегда,

изумительны у Вас пейзажные зарисовки; даже глаголы у Вас, к природе относящиеся, очеловечены.

Я медленно читал Вашу повесть, и не раз глаза мои были влажными.

У каждого свое ощущение окружающего мира и себя в нем, и если повествование сразу ввергнет меня силою Вашего Слова в то пространство и время, значит, герой душевно близок мне. Но в нем много Вашего личностного. И получается созвучие душ — Мастера и читателя. А явь — не каждому и дано еще такое перенести. В ней все природе человеческой вопреки, сюр наяву, когда реальность смещается в пятое измерение. Война и по природе своей бесчеловечна. Да еще в государстве бесчеловечном. Отсюда всесветская боль, пространственная. И «дар напрасный, дар случайный...» — жизнь простого человека. Такой обнаженной беспощадной правды о войне нет ни у кого (но я еще не читал 2-й части Вашего романа), такой обостренной правды, честной и потому жестокой. И детали, приметы, черты, дух времени — в упор, и широта взгляда — в охват, сиюминутность событий — и воспарение мыслью над ними.

«Так хочется жить». Очень точное, распахнутое название. Не мелодрама с главным персонажем, как я предполагал, а инстинктивное желание всех и вся жить.

И Ваша повесть, несмотря на ужас крови, боль и беспощадность, укрепляет желание выжить и жить. Это уже стало нашей русской профессией — уметь выжить. И на протяжении десятилетий наш народ ни разу не углубился в себя, все не было такой возможности.

А я все же нашел имя, с которым могу Вас сопоставить. Я ведь по роду своих увлечений активно живу еще и в античности. Вас будут называть Петронием XX века. Тот Петроний, который среди прочего написал свой знаменитый «Сатирикон», жил около двух тысяч лет назад во времена Нерона, и та Римская империя тоже ведь была для своего времени империей зла. И ярчайшие бытовые зарисовки тогдашнего повседневья, которые мы находим у Петрония, стоят больше десятка трудов тогдашних ученых и философов. После нас пройдет еще 2000 лет. Хронос — неумолимый педант! Наши далекие-предалекие потомки в сороковом веке будут изучать наше время по самым совершенным методикам, в том числе и по способу вживания в наши реалии, восчувствования в наши тела и души и в наше подспудное, словами невыразимое не-

что. Бесстрастные ученики, научные исследования с марксистско-ленинских и иных вышек, голые факты и увертливые слова нашего официоза тут будут бесполезны, никчемны. Для этого востребуются такие книги, как Ваши, а их в мировой литературе — раз, два и обчелся. Но только с их помощью, возможно станет воссоздать плотную, глубокую интеллектуально-психологическую индукцию, в которую и будут погружаться любопытствующие ученые головушки. Но и чтение будет доставлять огромное эстетическое наслаждение. У Петрония XX века они найдут яркие объемные характеры людей во всей гамме их разновидностей. Думаю, что переводы на язык четырехтысячного года после Рождества Христова будут вполне адекватны оригиналу, но, ясно, бережные и ответственные примечания и комментарии к словам, выражениям, к нашим реалиям будут превышать объем самого произведения. Так уж всегда бывает в академических изданиях очень далеких классиков.

Вся история — это неохватный итог отдельных жизней. А боль — она нарастает от века к веку. Разве можно сравнить боль XX века с болью любого другого столетья! XX век — это и есть апокалиптический Страшный Суд. Но дальше, в последующие века, боль, по-моему, должна все же умаляться, потому что уже не будет герметически изолированных стран и народов, хотя экологические беды еще долго будут нарастать. И еще очень тревожно чудовищное скопление людей в Юго-Восточной Азии — и почти пустой наш Дальний Восток, да и Сибирь тоже. Ведь к востоку от Енисея российской земли намного больше, чем к западу. Пришлось мне на Камчатке побывать в рыбачьем поселке Усть-Пахаче, чтобы решить вопрос водоснабжения. Поселок расположен на морской косе. Водозаборные скважины, проработав несколько месяцев, начинали подсасывать морскую воду. А источник прекрасной воды был рядом: сама река Пахача. Большая река. Ширина в устье — около 100 м. Бассейн реки — около 13 тысяч кв. км. И ни одного селения на этой площади! И даже ни одного стойбища коряков! После анализов оказалось, что вода не требует никакой очистки, никакого обеззараживания, бери — и пей!

Но я отвлекся.

Как говаривали древние греки, все когда-нибудь кончается. Кончил я читать и Вашу повесть. Сразу следом еще кой-что полистал, зачитываясь, — «Людочку», «Пас-

туха и пастушку», Командора, Грохотало, главу «Царь-рыбы», «Уху на Боганиште», она, кстати, по эмоциональному воздействию мощно перекликается с «пиром Тримальхиона» в «Сатириконе».

К великому моему сожалению, Ваша «Царь-рыба» у меня только в «Роман-газете». У меня только три подаренных Вами тома шеститомника и последний сборник «Так хочется жить». У меня нет Ваших «Затесей», кроме нескольких газетных публикаций.

Первую часть Вашего военного романа два года назад я прочитал в «Новом мире» из библиотеки и сразу же написал Вам о своих впечатлениях. Вторую часть до сих пор не читал и воспринимаю это как затянувшееся несчастье. Очаковская районная б-ка подписку «Нового мира» на второе полугодие 1994 года не продлила. По получении от Вас последнего письма я сразу же позвонил им: «Роман-газету» на второе полугодие 1995 года не выписывали, поэтому № 18 у них нет. Вот так мы развиваем нашу самостийность. В Николаевской областной б-ке есть журналы, но только в читальном зале. Но автобусы ходят очень нерегулярно, и в автобус еще надо суметь втиснуться. В тот же день можно еще и не уехать домой. Автомобиль я здесь не стал заводить и, в общем-то, правильно сделал.

Да, только из Ваших книг я узнал войну. Другую войну. Не ту, какую нам преподносили в школе, в героических фильмах, на военной кафедре МИСИ, в академических изданиях. Спасибо Вам великое. Хотя и сейчас каждого участника Отечественной войны я рефлекторно воспринимаю как героическую личность. Но на некоторых моих знакомцев у меня теперь есть основания смотреть иначе. И мне очень хочется поведать Вам об одном из них, о моем двоюродном дядюшке, которого я никогда не видел и который уже умер. Мы с мамой только слышали о нем от наших родственников в селе Оля в дельте Волги, где моя мама родилась. Но сначала короткая картинка из его детства. Вот мамины — слово в слово — воспоминания, записанные на пленку (мама умерла в 1988 году).

«...В 1919 году был тиф. Отца в это время не было. В апреле его вместе с тремя другими олинскими мужчинами сельсовет уполномочил в Ставрополь за хлебом, дали коней, арбы. В Ставрополе их захватили белые, отняли коней, заставили работать в обозе. Доходили до Ростова. Там где-то наших олинских прихватил тиф, валялись пря-

мо на земле под арбой, но выздоровели. Когда белых прогнали, они пешком без ничего вернулись домой.

Без него мама родила дочку, Марией назвали. Потом мама заболела.

Без отца мы с двоюродным братом Андреем (он на год младше меня) ловили рыбу. В это время уже все болели тифом, лежали наповал... Потом я заболела. Сижу на веслах — в глазах все двоится, голова кружится, видно жар. Ловили селедку. Пришла домой, свалилась на сундук — и пролежала полмесяца. Никакой помощи, никакой медицины в селе не было. Как все было страшно! Во время болезни я ничего не ела, глаза ввалились...

Мама — в бреду — подойдет и все укрывает меня, укрывает... Потом спросит: «Когда отец приедет?» Открою глаза — она стоит, на ладонях муку пересыпает...

Маму повезли в Астрахань, как раз туда шел небольшой пароход. У мамы были длинные косы, там их остригли. Тетя Таня каждый день навещала ее. Она же и похоронила маму.

А младенец остался. Давали ей соску из жеваного хлеба с сахаром. Соседка Луша, кормящая мать, хочет Манечку покормить — а она уже отвыкла, грудь не берет.

Дети постепенно выкарабкались из болезни. Я, еще больная, ухаживала за ними, уборку делала. В комнате — жуть брала, все перебрались на кухню. О маме еще ничего не знаем, сообщения с Астраханью не было: то белые, то красные...

Утром встану, Манечку поцелую, выйду во двор — весна! Воздух чистый! Хорошо! А голова кружится...

Помощи от родни — никакой. Все на мои плечи взвалили. Было мне тогда тринадцать лет.

А однажды рано утром проснулась, подошла к Манечке, поцеловала ее — а она уже холодная... Умерла...

Недели через две с первым пароходом тетя Маня, Андрея мать, сообщила, что наша мама умерла.

А все же некоторые сны сбываются. Считается, что видеть во сне стружки — к покойнику. Когда мама была в Астрахани, я как-то днем заснула, и мне снится сон: на кухне столько стружек! Я их заметаю, брызгаю на них соленой водой. Потом проснулась, расплакалась, сказала: «Мама умерла». И все мы так наплакались! Именно в этот день мама умерла.

Тиф многих покосил, в основном взрослых. Осиротевших детей отдавали в детдом, или родня воспитывала их.

Когда умерла наша мама, я осталась старшей в семье, мне шел четырнадцатый год. Ни от кого я не получала ни утешения, ни поддержки, ни совета. Родные отца были холодные люди, равнодушные к нам, сиротам.

В августе вернулся отец, но его сразу же забрали в армию, тогда на то не смотрели, что дома остается куча детей... А я — рыбу ловила, детей кормила, камыш возила...»

Да, моей маме тогда шел четырнадцатый год, а на ее попечении были шестеро младших сестер и братьев. А ее напарнику в рыбачьей лодке, двоюродному брату Андрею, было двенадцать лет. Он с 1907 года рождения.

Так вот, этот Андрей во время войны 1941—45 гг., как я теперь понимаю, не воевал на передовой. А когда вернулся домой, он привез, как потом рассказывали нам, 17 узлов всякого добра. Он позвал родственников, чтобы помогли ему перенести багаж от пристани до дому. А дома каждый узел не спеша развязал при всех, проверял, все ли в целости, молча похваляясь добром, какое и не снилось нищим жителям села. Родственников, говорят, не одарил даже носовым платочком. Он построил себе капитальный дом, это в селе, где до сих пор почти все живут в землянках с камышовой кровлей. Бог не дал ему детей. А когда он умер, то во всем селе не могли сыскать ни одного человека, который согласился бы выкопать для него могилу, такое ненавистное презрение к нему жило в душах всех сельчан. Из районного центра — села Лиман — бывшие его подельники-гэбисты прислали в с. Оля экскаватор на колесном ходу, который вырыл яму и засыпал гроб землей.

Пожалуйста, извините за мое, как всегда, длинное и нескладное письмо, только время Ваше драгоценное отнимаю. Начиная печатать, я потом не могу остановиться. И о том хочется сказать, и о другом.

Вот, например, под Новый год на нашем лимане плавали десятки лебедей.

Желаю Вам, Виктор Петрович, здоровья! Прежде всего здоровья! Благополучия и новых успехов в работе! Мой поклон Марии Семеновне.

И спасибо, спасибо Вам за подарок!

В. Миронов

P. S. А українська мова Вам, оказывается, хорошо известна, и Вы, похоже, любите ее.

PP.S. Где-то промелькнуло Ваше определение Зюганова: ликом и ухватками похож на Чичикова. Ну до чего же точно! Я начинаю хохотать всякий раз, как вижу его по ТВ. Но будет не смешно, если наш народ выберет его в президенты. Ведь может статься, что к финишу выйдут он и Жириновский. Тогда уж лучше Зюганов...

В наше зарубежье из России теперь уже почти ничего не доходит. И в Россию посылки не принимают, я не могу послать Вам абрикосов, орехов. Даже не уверен, что мои письма доходят до Вас. Ваша бандероль с книгой, похоже, вскрывалась. Наклейка с адресом была с трудом отделена и после вторичной обвертки вновь наклеена. Штамп на бандероли: «Перезаделано в РСІ-2».

22.02.96 г.

Уважаемый Виктор Петрович, здравствуйте!

Знаю, что не надо бы отнимать у Вас время, но не могу удержаться. Мне теперь стыдно признаться, что до 10-го класса я не читал Ваших книг, великолепных Ваших произведений.

И вот по программе: Ваше творчество. Никто из класса не был готов к уроку — никто ничего Вашего не читал... И тут учитель буквально заставил кого-то читать вслух Вашу «Оду русскому огороду». А потом — несколько рассказов Паустовского. И весь урок мы читали, читали, читали Ваши короткие рассказы — «затеси».

Не могу сказать, что все в классе сразу стали горячими поклонниками, но тот восторг, может, для некоторых и на время — забыть невозможно! Это было буйство чувств.

Сейчас в Латвийском университете я стараюсь заниматься современной литературой, и Ваша поддержка (извините) по некоторым вопросам была бы для меня бесценной. Круг моих интересов — 60—80-е годы — живая, клокочущая эпоха и, кажется мне, еще не закончилась. Занимаюсь жанром: повести и рассказы и, думаю, именно они и составили славу русской литературы на этом

этапе. А Вы, Виктор Петрович, признанный мастер этих жанров. Ваша статья «Не в жанре дело» (анкета «Лит. России», май, 1980 г.) с прекрасным определением рассказа и сейчас является значительным явлением. Есть много и научных определений, но содержание Вашей анкеты для вузовских преподавателей является эталоном, по которому проверяются, пишутся диссертации, и это знание остается уже на всю жизнь.

Если бы я мог задать Вам некоторые вопросы и удостоиться бы чести получить от Вас ответ — это уже само по себе явилось бы событием в моей жизни. Спасибо!

С уважением, ***Павел Глушаков,***
Рига

22.2.96 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Посылаем Вам интервью. Вышло оно уже давненько, но газеты здесь у нас не было, пришлось просить отправить из Италии, а пока суд да дело — времени прошло порядком. К сожалению, многое осталось за кадром, но с газетами всегда так.

У меня большая неприятность: сломала ногу, теперь в гипсе, и отъезд наш отодвинулся.

Прочитала в «Знамени» Вашу военную повесть, снова подивилась свежести ваших восприятий и нравственной бескомпромиссности. За всем ужасом, грязью и темнотой нашей жизни встает образ чистой души, неподдельного чувства, подлинности. А рецензенты-чистоплюи прежде всего думают, как бы соригинальничать, сохранив, по сути, советско-ждановскую закваску.

Надеюсь, Вам удалось разделаться с простудными хворями. Мы с Витторио с особым теплом вспоминаем встречу в Овсянке и не теряем надежду на новую. Из Италии пришлю фотографии.

Привет от Витторио. Кланяйтесь Вашей жене.

Клара Страда

3.3.96 г.

Дорогой Ваня! (Яган)

Я безмерно рад был твоему письму и альманаху. Пока я его только полистал, а читать буду уж позднее.

Случилось так, что осенью нас настигли хвори и беды: я в Овсянке помолодечествовал — забыв про свои года и застарелые хвори, в результате чуть не умер от тяжелого воспаления легких. Умудрился после бани (тепленькой, слабой, — как дядя мой говаривал: «Идите, Вихтора зовите в баню, в ей уж покойников мыть можно») — и тем не менее, не моясь жарко и не парясь совсем с тех пор, как напарили и накупали меня в Днепре, я нет-нет да и подзабудусь — и сразу обострение, сразу каменья под лопатками и легкие мои пищат, как слепые щенята...

Из деревни уезжал я на «дикой» «скорой помощи» — все осталось на столе и в избе «на ходу». Марья Семеновна поехала в Овсянку за бумагами и документами, поломала «рабочую» левую руку, попав в автоаварию. С нею была и внучка, но, благодарение Богу, с нею все обошлось, и она всю осень «вела дом», а я поглядывал из окна больницы на осенний лес, и сердце мое разрывалось от досады — я ведь каждую осень уезжал иль уплывал в тайгу и дней за 15—20 подзаряжался там на всю зиму воздухом и бодростью от природы нашей, все еще прекрасной и великой, хотя все мы делаем, чтоб изуродовать ее, обезобразить и погубить. У нас снова сметают с лица земли тайгу пожары и шелкопряд, что похуже пожаров, и «борются» с этим бедствием так, как только у нас и умеют бороться «за природу» — говорят, постановляют, а как до работы дело доходит — «карасину нету», финансы не отпущены, и летчики с пожарными напились да передрались.

После больницы, начитавшись в ней газет и насмотревшись телека, впал я в несвойственную мне тяжелую депрессию — не только работать, а на свет белый не глядел бы. Но не работать — значит совсем духом упасть и раскиснуть. Достал я два старых рассказа и начал из них лепить какое-то художественное произведение, а из старого делать новое — это все равно, что «из болота тащить бегемота». Много времени и сил потратил на то, чтобы слепить небольшую, на четыре листа, повесть.

Сейчас она на машинке у Марьи Семеновны, которая

не дает пощады себе и своей ломаной руке, шлепает и шлепает, и, когда дошлепает рукопись, я пройдусь по ней последний раз и отошлю в «Новый мир», где ждут третью книгу романа, но пока на нее у меня нет сил, а сил надо много и приходится собирать их по крохам, при нынешних моих летах и при той жизни, которая так «способствует» вдохновению и творчеству, что порой хочется уснуть и не проснуться.

Для этого — «для разгона» — пописал «затеси» и, как долажу их, парочку пришлю.

Ваня! Ты вот сам лоб подставляешь и сердце рвешь, чтоб помочь писателям и альманаху, а здесь подставляют мой толоконный лоб, мое сердце и время на части рвут. Хожу я «в прицепе» с редактором иль секретарем выпрашивать деньги на журнал «День и ночь» — на оплату помещения и прочее, о чем ты знаешь лучше меня. У нас Волокитин секретарит давненько уж без зарплаты, ругается, сулится все бросить, но ведь тогда бросит и «всех», вот я и брожу по этажам и кабинетам, чаи вельможные пью, иной раз с печеньями дорогими, шутки шучу, лекции выслушиваю об экономике и политической жизни страны... Пожалуй, уж обошел всех людей и начальников, что еще не покраснели и порядочными слывут, а таких и было-то немного, а к красному же ворью да карьеристам-аферистам я не пойду, — и что? А то, что и журнал, и альманах «Енисей», и вся наша достославная писательская организация замрут и скончаются от белокровия. Мы тоже добиваемся того, чтобы взяли нас со всеми потрохами в муниципальную собственность, «посадили» на бюджет, но современное начальство, вышедшее из прошедшего большевизма, не понимает, как и прошлое не понимало значения местной культуры, презирает ее и платить не хочет, а то, прошлое-то, платило хотя бы для того, чтобы с трибун похвалиться собою — вот как оно о народе и духовном его подъеме заботится! Ночей не спит, из рота своего селедку вынает и в клюв артистам да писателям отдает, как пташка-кормилица иль колхозная корова, подпускающая к сосцам неразумного телка.

Поклонись ты своим издателям. Гляди-ко! Они ведь средь делячества и всякого рвачества еще издают что-то, даже библиотеку общероссийскую тянут. Наши молодцы вон все помещения распродали, себя и девок своих готовы распродать, да пенсионерки они сплошь, а напротив «казино» работает, там прыгают, и пляшут, и кальсоны с

себя сымают ядреные халды и голубые молодцы — какое тут соревнование выдержит? Вот и издают книжонки за плату, за денежки, не сократив ни одного человека, не ударив пальцем о палец, чтобы хоть что-то сделать, издать. Я уж три года не переступал порог сего достославного заведения, а издавали меня частные издательства, да в Москве несколько еще понимающих или помнящих обо мне издателей.

Ну ладно, Ваня! Обнимаю тебя. А ты обними Витю и позвони Василию в Шадринск. Чего-то перестал он мне писать, даже по праздникам, видать, совсем мохом зарос иль обиделся на что, а я так любил читать его письма — три-четыре строки на целую страницу и, глядишь, письмо в полтора десятка страниц размахом.

Всем поклонись, всех поздравь с наступлением весны. У нас зима была хорошая, и весна началась хорошо, может, коммунисты позволят нам и лето, и осень еще встретить, а там чего уж Бог даст.

Я думаю, Он посылает нашему народу последнее испытание, и если мы вновь отдадимся сатане — отвернется от нас совсем, — и тогда уж конец придет и сатане, и народишку нашему неразумному, с круга давно сошедшему.

Еще раз обнимаю тебя и кланяюсь.

Виктор Петрович,
Красноярск

4.3.96 г.

Дорогой Олег! (Хомяков)

Во какой бланк соорудили мне мои почитатели! Он хорош еще и тем, что на нем не разбежишься и надо мыслить и писать коротко.

Письмо твое получил, статью про Шолохова прочел. Не хочется мне спорить по поводу ее, а надо бы. Но я вчера закончил третью, самую трудоемкую редакцию новой повести и, конечно, устал. Сегодня в ванную сходил и выходной себе устроил.

Есть великая книга «Тихий Дон», и автор ее — молодой русский мужик — Шолохов Михаил Александрович. До книги этой не взошла ни одна литература двадцатого века, а любовь такую не скоро кому-либо удастся сотво-

рить на бумаге, ибо она-то и есть главная мощь, и трагедия русской нации, и краса ее, и погибель. Евреи отчего набросились на это творение — величайшее творение века! — ты прав: оттого, что ничего подобного они создать не могут и еще долго не смогут, ибо выносили много отдельных трагедий и страданий, но трагедию нации своей им не дано было выносить и разродиться ею, потому как нация была раздроблена, разъединена на части и пока еще нацией себя не осознала. Только поэтому они хватают любого своего художника — от Фейхтвангера до Гроссмана, от Мандельштама и до Бродского — и поскорее объявляют его гением, а творения его — гениальными. Хочется — вот и торопятся, ведь «Жизнь и судьбу» — роман, еще сырой, незавершенный по всем «разделам», без крупных общечеловеческих характеров, без глобальных проблем и судеб, — поспешили объявить выше «Войны и мира», а уж «Тихому Дону» и делать нечего, рядом не лежать.

Если бы такие вот доброхоты, как ты или Валя Осипов, да и вся «ростовская рота», не бросились, не поспешили бы защищать то, что в защите не нуждается, — никакого, не только мирового, но и местного масштаба скандала евреям устроить не удалось бы. Я преклоняюсь перед твоей искренней, юношеской, бескорыстной восторженностью, но я знаю многих защитников и «шолоховедов», которые на этом имели капитал и имеют его по сию пору, и не только духовный, но и денежный. Им в отличие от тебя есть чем печку топить, есть что кушать, носить и в «героях» ходить. Многим из них тут же смерть придет, как только евреи устанут и переключатся с Шолохова обличать другую величину, например, Льва Толстого! — ведь чем огромней величина, тем они вроде бы храбрее выглядят при нападении на нее.

Но, Олег, есть еще Шолохов, написавший подлую книгу — «Поднятая целина» и оперетку на военную тему — «Они сражались за родину», — тут-то уж, надеюсь, никто не менял ему названия? А оно ведь из области «Детгиз», а поведение его в старости, которое тебя так восхищает, с этими «бессмертными» словами: «Говорят, что мы пишем по указке партии, но наши сердца принадлежат партии, а мы пишем сердцем». Ты, помнящий каждое слово, каждый штришок, вдруг забыл эти слова, которые цитировались на каждом углу и которыми в кровь, до костей, как

казацкой нагайкой, секли нашу с колен поднимающуюся литературу.

Говорят, что муж Маргарет Митчел сжег у нее все, что она написала после «Унесенных ветром». Жаль, что около Шолохова не нашлось никого, кто бы сделал то же самое — и был бы лик великого русского писателя ясен и к Богу он, глядишь, был бы допущен. А так что ж — роились около него подхалимы и фанатики, иногда он их разгонял, бил. Но от себя-то не убежишь, не скроешься...

Нам кланяться ему и благодарить его приходится за то, что он наглядно учил, как не надо себя вести в жизни и литературе, да ведь и на душу наслаивая тяжкий груз и горечь в сознании — уж если гений наш, российский, подвержен был такой порче, что спрашивать с народа, с простого, «Тихого Дона» не написавшего, — пусть себе дальше бегает под кровавыми знаменами, торопясь со своей партией к счастливому прошлому — ведь сам(!) говорил про партию родную эвон как! Эвон чё!

У нас сегодня первый день весны! Лучезарный! Светлый! Капель началась, синички тенькают.

Господи! Еще одну весну подарил Ты мне, всем нам! Спасибо! Спасибо! Нынче и зима у нас была путная, с морозцем, с солнцем. Авось и весна, и лето тоже будут хорошие.

Посылаю открытки, если надо — пошлю еще. У меня их много. Есть возможность повидаться нам, пока еще призрачная, но есть. Петербургская библиотека совместно с Овсянской и краевой публичной библиотекой затеяли в июне провести у нас конференцию: «Литература и библиотечное дело». Мне разрешено пригласить кого захочу. Захоти и ты — приглашу — все оплачивается. Повидаешься с народом хорошим, увидишь и Андрея моего — он может приехать с семьей. (Все, Олег, исписался, рука устала, передых.)

А с костромским профессором Лебедевым я когда-то перебросился несколькими письмами, не помню повод. По-моему, я писал предисловие к книге Максимова «Крылатые слова», и мне понадобились какие-то сведения об этом замечательном русском человеке и писателе, но не это меня поразило, не сведения, а почерк профессора. Я такого красивого почерка (вот бы на деньгах-то кому писать!) почти и не встречал, а если и достигал он меня, в совершенстве владеющего каракулями, то, как правило, от людей истинно русской культуры, в совершенстве вла-

деющих словом, учившихся не «где-нибудь и как-нибудь», а у родителей своих, у истинной российской словесности, но у большинства писателей, даром от Бога награжденных, культура нахватанная, лоскутная, сумбурная и почерк таков же. Есть у меня несколько писем от Нагибина — так там просто закорючки и палочки да скобки. Более других меня умиляет почерк моего неизменного друга, почти брата литературного — Жени Носова — застенчивый, ровненький, угловатенький, с школьной тетрадки в жизнь перешедший без изменения и порчи, только что мельче.

Почти таким же, но только чуть конторой «исправленным» почерком писал ко мне покойный мой друг Александр Николаевич Макаров, а был он сверхобразован, имел феноменальную память, но застенчив и зажат в себе, с сиротского детства, что и сказалось на почерке.

Почерк — это характер!

У меня характер — хуже некуда, вот и отдам Марье Семеновне письмо на машинку — иначе тебе его не прочесть.

*Обнимаю — **Виктор Петрович,***
Красноярск

4.3.96 г.

Дорогие костромские писатели!

Привет Вам из Сибири и поздравление с наступающей весной! Пишу Вам по поводу Хомякова Олега Михайловича, который давно уж зимогорит в одиночестве на Родине, в Шарье. Одиночество его плодотворно, но и угнетающе, поскольку всю сознательную жизнь он проработал в шумном и людном бардаке под названием «Советское кино». Одиночество его угнетает, ему хочется с кем-то словом перемолвиться пообщаться «культурно», и он требует от меня, старого его приятеля, рекомендацию в Союз писателей, а я ни в каком Союзе нынче не состою, разве что в красноярском — чтобы помогать землякам-писателям. Хожу по этажам и кабинетам, клянчу деньги на уплату за аренду помещения, за электричество и санузел, на альманах «Енисей» да на журнал «День и ночь», который, однако, все же не устоит. К кому не стыдно — я

уж сходил, чаю попил и людей порядочных утомил, а к непорядочным идти мне неохота.

Я это к тому, что рекомендовать Олега не могу, ни в какой, даже самый прогрессивный Союз, так письмом этим прошу Вас: приберите человека, одаренного, любвеобильного и доброго, приобщите его к своему коллективу, чтобы он хоть раз в году вылезал из своей берлоги.

У Олега есть книги прозы, пишет он и стихи. Но в последние годы преуспел в публицистике, очень интересной и по жанру своеобразной. Он пишет о кино, о людях, ему в процессе работы повстречавшихся, иные из них стали его друзьями.

Почитайте и увидите, что в коллектив Ваш рвется прекрасный собеседник и одаренный человек и в смысле сочинительства, и в смысле общения, — это сейчас особенно необходимо русским людям, живущим разобщенно и потому неинтересно.

Всем Вам желаю творческих и всяческих успехов, а главное — здоровья.

Виктор Астафьев,
г. Красноярск

4.3.96 г.

Дорогие мои зауральцы!

Рад, очень рад, что Вы, как и вся российская провинция, в том числе и творческая, не сдаетесь, не ждете «милостей от природы», милостыни из Москвы и от властей наших, о культуре российской и творческом облике ее вспоминающих во дни юбилеев, по большим праздникам и тогда, когда им, властям, требуется поддержка «народа» и культуры, чтобы и самим выглядеть покультурней и подуховней. Вожди, прежние и нынешние, и в церковь ходят, и свечки жгут затем же, чтобы все заметили, что они с народом и с Богом заодно.

Я получаю со всех концов России журналы, альманахи и газеты, издающиеся на энтузиазме и нервах творческих людей, на копейки разум не утративших местных предпринимателей, администраций, руководителей предприятий. Лучшая на сегодняшний день в России литературная газета провинции «Очарованный странник», из-

дающаяся в Ярославле, сумела даже организовать и провести всероссийское совещание молодых русских писателей*.

Бог пособил ярославцам, не иначе.

Во Владивостоке издается солидный альманах «Рубеж»; в Костроме — журнал «Губернский дом», в Новомосковске — симпатичный журнал «Поле Куликово». Редактор его — инвалид, с трудом передвигающийся, русский писатель Глеб Паншин, держит два коммерческих ларька, чтобы на выручку от них и с помощью спонсоров — крупных предприятий — выпускать журнал. Героические усилия и неслыханную изобретательность проявляют и в Вологде, и в Томске, и в Улан-Удэ, и в Архангельске, и в Краснодаре, и в десятке других городов, чтобы начать и вести местные газеты, журналы и альманахи.

Как это трудно, как сложно — знаю по нашему красноярскому журналу «День и ночь» и едва дышащему, старейшему в России, альманаху «Енисей». Многие из новых, очень славных и нужных изданий уже замерли, остановились, так и не выпутавшись из младенческих пеленок, наглядно показав, какие колоссальные творческие возможности в недрах российской земли, какие таланты, какие мощные духовные силы невостребованно засыхают на корню.

Надеюсь, Ваш славный альманах «Тобол» не постигнет участь многих новых изданий и Вы устоите — ведь, не печатаясь, не получая внимания, не сообщаясь с читателем, опустят руки пишущие одаренные люди. Я думаю, у общественности города Кургана достанет ума понять, что накормить народ досыта — дело непременное, большое, но не дать окончательно одичать этому самому народу, поддержать его духовно, помочь разуму и просвещению страны — дело не меньшей значимости и важности.

Кланяюсь «тобольчанам», желаю, чтобы всем вам хорошо дышалось, пахалось, писалось и жилось.

Преданно Ваш

Виктор Астафьев,
г. Красноярск

---

* Спонсора газеты Поволяева застрелили, и газета тоже умерла.

5.3.96 г.

Уважаемый Федор Кашулевич!

Вот, дошло и до Ваших записок. Они добродушны и наивны, как рассказ доверчивого дитя, ясноглазого, мало чего понимающего в хитростях искусства и не слышавшего вроде бы о сложности работы со словом.

Записки Ваши могут быть напечатаны только после того, как вы сможете нанять или уговорить опытного редактора, переписать их от начала до конца, при этом сократив рукопись наполовину. В литературе существует одна из главных особенностей — искусство отбора, т. е. не все может быть интересно читателю так же, как самому воспоминателю — автору.

Вы валите в кучу все, что видели и пережили, но подобное уже написано и напечатано десятки тысяч раз, а то, что может быть интересно не только Вам, но и читателю, тонет в малограмотном многословии, в какой-то утомительной хлопотности текста. Очень большая беда рукописи заключается еще и в том, что Вы в больших неладах с русским языком, поэтому я не читал текст, а продирался в нем, сквозь него, как сквозь непролазную чашу, оттого и читал так долго и трудно. Такие воспоминания писались и пишутся бывшими фронтовиками, хватившими лиха на самой кровавой войне и прелестей пребывания в нашей доблестной армии, ныне закономерно деградировавшей до маразма, превратившейся в сборище воров, деспотов и нравственных недоносков, и рукописи остаются на память своим родным и близким.

Вот и Вам я советую положить Вашу рукопись на домашнюю полку, написав на ней: «Детям, внукам и правнукам, — если они захотят что-то знать о жизни моей и того поколения, в котором я вырос и как мог служил, работал на благо своей Родины и народа».

Желаю Вам доброго здоровья!

Виктор Астафьев

26.3.96 г.

Дорогой Виктор!

Получил твой очень полезный подарок: вот видишь, пишу на нем ответ, а заодно благодарю душевно!

...Да, брат, такое вот нескладное дело... Эти первые две строчки я написал еще три недели назад и с тех пор, оторванный, сиротливо и без продолжения пролежал до се дня. Прихватило сердце. Так прихватило, так болело, едва знакомые врачи отходили. Да и сейчас еще грызет, гложет по ночам. Потому прости, что так надолго задержался. А с моими юбилеями ты малость напутал: не в марте я родился на свет, а в январе. Вспомни, как ты с Марьей прилетали на мой день рождения. Гоша Семенов тогда был, Колосов. Зимой дело было, 15-го января. Ай-яй-яй... куда жизнь девалась, уже восьмой десяток разменялся на мелкие рубли, на мелкие расходы. Оно и верно — время мое расходуется как-то мелко, никчемно. А Борька Можаев и вовсе сыграл... Все гонорился, а ни хрена путного и не написал... Правда, за свое горлопанство получил в Переделкино полдачи — очень уж хотелось ему побарствовать на природе. Дали им дачу на двоих с Солоухиным... А Ваську Емельяненко, поди, изгнали из тех мест. А он ведь числился секретарем партбюро, и за это схлопотал апартаменты Назыма Хикмета... А все — прахом... Все суета...

Месяца полтора назад я написал Лене Фролову письмо. Набралось у меня с дюжину новых рассказов, хотел узнать, нельзя ли их как-то издать в «Современнике». Просил сообщить, как теперь издают, на каких условиях. Денег, конечно, у меня нет, чтобы оплатить расходы. Но, может быть, Леня рискнул бы издать под аванс? Нет, не ответил Леня на мое письмо, промолчал... А может, сделал вид, что не получил письма... Такие настали времена... Не хочется думать, что это была бы моя последняя книжка. Еще одной мне уже не написать. Нет ни здоровья, ни времени.

Петя Сальников решил помирать на своей родине — в Плавске. Присмотрел там избу, хочет купить, а курскую продать. Подробностей не знаю, но это его последнее душедвижение я понимаю. К тому же он наладил отношения со своей родной дочерью, ныне живущей в Туле. Она уже доктор каких-то там наук, знает языки. Да и кое-какие родичи еще остались в Плавске и разные племянники, которые быстренько приведут избу в порядок, проведут газ, переберут крышу и все, что потребуется.

Витя! Мелькнул тут у нас в Курске твой роман, но я не успел застать его на прилавках. Не прислал ли бы ты

мне экземплярчик? А то я, пока хворал, куряне все твои книжки раскупили. Они ведь тебя знают и помнят.

Ну вот. На большое письмо не хватило пороху. Сел с желанием хорошенько отписаться, да не рассчитал — опять жмет, давит под рубахой, отбивает мысли да и саму охоту. Прости, пожалуйста!

А в открытую форточку слышно зяблика. Рад без памяти, что долетел до родной ветки! А я рад его радости. Все-таки пришла весна наконец-то, а то уж больно долго тянулась нынче зима. Может, оттого, что было морозно, без единой оттепели. А я так и не посидел на льду, не порыбачил. Это первая зима, когда я не был на льду.

Обнимаю и желаю тебе здоровья и душевного обогрева на нашей старческой завалинке.

Женя (Носов)

7.04.96 г.

Дорогой Саша! (Михайлов)

Всюе-то зиму-зимскую бился я над маленькой повестью под странным названием — «Обертон» и днями, слава Богу, отослал ее в «Новый мир».

Повестушка все из тех же военных и сразу-послевоенных времен — о любви несбывшейся, о молодости пропащей. А об этих предметах — о любви, о женщинах, если ты не Бунин Иван, надо, видать, объясниться письменно в молодости. Едва ли я еще раз возьмусь за такую щепетильную и ответственную тему.

А на роман сил и вовсе нету, надо передохнуть, осмотреться и, если коммунисты не повесят, тогда уж и продолжить роман. Но две последние повести вполне могут читаться как продолжение описанной в романе «жизни». Интересное еще одно дело: во время работы над повестью получил я просьбу из альманаха «Охотничьи просторы» написать справку для охотничьего справочника о моих охотах. И вот, излагая сей материал, написал я два листа текста, непринужденного, светлого, свободного, — и получилось лучше, чем в повести, а, главное, полезнее и безвредней для души.

Так было не раз — после натужных, измучивших меня вещей, «для разрядки и сердца утишенья* написал я «Дядю

---

* Утишить, успокоить.

Кузю — куриного начальника», «Оду русскому огороду», ряд лирических рассказов и «затесей». Вот тут и вспомнил поэта, недаром называвшегося символистом: «И женщина, которою дано, сперва измучившись, нам насладиться!..»

Помню, как Серега Викулов сатанел от названий моих сочинений, особенно от «Пастуха и пастушки» — «Об колхозах опять подумают читатели» — об «Оде огороду» говорил, что это вообще выпендреж, как это «Ода огороду» — и старательно объяснял со школы усвоенное понимание, а тут мало что проза, так еще и... «Царь-рыба» — тоже, я, грудью ложась на редакционные амбразуры, защищал. То-то была бы схватка с «Обертоном» — ах уж эти в школе нашей почерпнутые знания о литературе, они так и не дали развиться до понимания иль хотя бы своего собственного прочтения книги большинству российских читателей. Нет-нет да и получу от учительш и комиссарствующих пенсионеров поучения о том, как надо писать и обретать вкус да не губить вульгарностями и грубостями нашу дорогую молодежь. В сущности, при всеобщем-то образовании, порой и «высшем», но без Бога в сердце и без царя в голове, народ наш остался еще более невежественным, чем это было в царской безграмотной России. И кабы невежество это оставалось втуне, оно же воинствующе, громогласно. Едва научившись читать и считать свою получку, часто мнят себя передовые советские трудящиеся интеллигентами и мыслителями, способными себя ставить в пример и высокомерно бряцать своим «интеллектом».

Слава Богу, были и есть среди постоянных моих читателей истинные интеллигенты. Какой же заряд световой и согревающей энергии исходит от них, как глубоко и деликатно их обращение со словом, как уважительно отношение к труду другого человека.

Их было и есть немного, но кислорода ими в легкие общества и творческого, прежде всего, вдыхаемого, еще хватает, чтобы поддержать мысль и жизнь в России. Но они уходят иль стареют, и нет им замены, никто не хочет занимать ими согретый старый стул. Все в кресло норовят сесть и в кресло, желательно, заморское.

Зима у нас была сухая, солнечная, что помогало бодриться, дышать, работать. И весна вроде бы началась ничего, но вот задурела: ночью холод, днем кислятина, и хорошо, что я закончил к этой поре труды свои, в недомо-

гании садиться за стол и угнетать «больной и маленький свой организм», как писал Коля Рубцов, очень даже тяжеловато.

Собираюсь в конце апреля слетать в Тарханы. От нас ходит самолет в Самару, а оттуда своим ходом двинемся к пензякам. Давно зовут, и соберусь, пока народ не хлынул в святые места. Ну, а потом в деревню — в огороде садить, по берегу Енисея побродить, в ворон пострелять — совсем обнаглели, все скворечники опустошили... Писать, если и буду, то после отдыха и какие-нибудь пустяки. А может, и не буду — футбол нынче европейский, чтения много накопилось и вообще книг очень уж много написано, да не поумнел от них человечишко, так чего и надсажаться-то?!

Ну вот, оторвали! В гости с Марьей сходили к одной бывшей моей односельчанке. Со стола валится закусон, напитки дорогие, компания простодушная и веселая. Выпил пару рюмок коньяку, поел разносолов, стряпни всякой — и домой. И ведь куда ни придешь, в рабочую семью допустим, к двоюродной сестре на поминки ходил — и-е мое — неслыханное, невиданное на столе изобилие — нет, сидят, клянут жизнь и власти. Ох, накажет наш народ Господь, ох, накажет! Еще раз сатана с кровавым флагом явится, умоет кровью и слезами этот слепой и тупой народишко.

Кстати, если власть не переменится, петербургская библиотека на базе нашей деревенской красивой библиотеки хочет созвать конференцию, общероссийскую, — о литературе и библиотечном деле. Хочешь — пришлют приглашение — это в августе намечается. Народ приглашают умный, все разомнешься маленько.

А за «Водник» я порадовался. Наконец-то, хоть какая-то радость северянам. А у нас футбольная команда «Металлург» в первую лигу прорвалась. Изобьют ее, наверное — больно уж с деньгами худо и «силы» в основном местные, простодушные. А вот регбисты наши всех в грязи валяют и выталкивают за кромку поля. Хоть бы американцев повалили, а то уж больно они на всех тырятся и всем диктуют. Чуть чего — авианосец посылают и самолет, взлетая с него, не падает в воду, курва! А наш, красноярский, опять где-то на Сахалине иль на Камчатке грохнулся.

Ну, обнимаю тебя. Не хворай. Христос воскрес! —

твой ***Виктор***

24.4.96 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Задержался я с письмом. Весна у нас запоздала месяца на полтора. Травка уже зеленеет, но — не поверите! — еще ничего не цветет. А работы на земле — невпроворот, ведь все сроки просрочены, — огород, виноградник, сад-палисад...

Отдаляюсь от «Плацдарма». Мысли упорядочиваются. Здесь не с кем поговорить, поделиться впечатлениями. Уже несколько лет не держал в руках «Литературной газеты». Такая книга — большое событие в литературе, хотелось бы почитать профессиональные высказывания литературоведов. Марья Семеновна делает нужное дело — перепечатывает Ваши письма и письма к Вам. Вы — классик, писатель звездной величины в России и в мире. Каждое Ваше слово — драгоценность, которой нельзя разбрасываться. И Ваша переписка когда-нибудь всенепременно будет издана. Вместе с письмами Ваших адресантов, которые должны по своему уровню хоть малость соответствовать Вашему Слову. Мое косноязычие рядом с ним будет просто неуместно. Разве что для контраста, но зачем Вам оно. Сами решайте, печатать — не печатать. Я не возражаю, ибо никогда не увижу такого издания и даже не услышу о нем. Я только страстный-пристрастный Ваш читатель-почитатель, и эмоции мои в высказываниях не причесаны литературоведческим гребешком. По образованию я счастливый технарь. И еще с головой влез в античность — эллины, скифы, праславяне. Вхож в мир высокой Музыки. Благоговею перед всем высоким, что создано человеческим духом, и Слово — не исключение. Ненавижу твердокаменные каноны, уставы, схоластику, талмудистику. Таков склад моего мышления.

«Плацдарм» — Ваша вершина. Самая высокая. Очередная. Феномен Астафьева! Это великая книга. О нас в XX веке. Ваш «Плацдарм» — самый достоверный документ одного из эпизодов той войны. Правда! Только правда! Ничего, кроме правды! Война воссоздана в масштабе один к одному. Читая, ощущаешь этот ад всем своим существом, до галлюцинаций въяве. И все это — правда! Только правда! От очевидцев-участников мы слышали только короткие фразы: «Да-а! Немало утонуло наших в Днепре!..»; «Да, уж полегло там наших...»; «Вода Днепра розовела от крови!»...

Провидение сохранило Вас, чтобы Вы, единственный, могли поведать своему народу и человечеству — грядущим векам — всю правду, как она была, со всеми деталями, знаками, клеймами, метами времени... В Вас мне даже видится порой некая мистическая личность. Но нет, вон на полке книги, Вами присланные, с дарственными надписями, папка с нашей перепиской, Ваш портрет на открытке «Память»...

Машина времени? Да, во все времена эта Ваша книга будет той нишей Пространства-Времени, куда желающие смогут ввергнуть себя, чтобы испытать въяве все, как было на переправе через Днепр. Тут все оценочные литературоведческие критерии сникают. Это — самая военная давность. И, как мне кажется, ни в каких других искусствах недостижима такая явь. Но и в литературе — какие еще есть книги о войне, которые можно было бы поставить рядом с Вашим «Плацдармом»? Какие? Чьи? Чтобы в них был весь этот ад — въяве, в упор. Больше нет такой книги. Ведь нет! Наверно, и в мировой литературе нет. Здесь все — правда! Конкретно о переправе через Днепр — что есть еще более достоверного, чем эта Ваша книга? Архивные данные? Но там все, о чем можно было, замолчано и все перекрыто потом победными атрибутами. Такой книги, как эта, ведь за 50 лет так никто и не написал и, ясно теперь, никто не напишет. Ваш «Плацдарм» — единственное в своем роде произведение. И в этом — исключительность Вашего таланта, исключительность Вашей судьбы. В этом — воля Провидения.

Ощущение после книги — что я побывал в этом аду, и вот остался жив, и удивляюсь, что жив, ведь в той войне я не мог бы остаться в живых, — я это понял, читая «Плацдарм». Я даже и плавать-то не умею. Так и сяк примеряю себя: нет, не смог бы я выжить в той войне. То есть я, конечно же, вместе со всеми терпел бы и голод, и холод, и вошь, и все сопровождающее все войны паскудство. Но не мог бы я чувствовать себя защитником, просто человеком, пребывая «в унизительном повиновении» между врагом и заградотрядом. И эта постоянная тревога, как боль... И это не Лешка Шестаков, а я — я! — оглушаю насмерть своих же...И содрогаюсь, и плачу... И бормочу: «Боже мой! Боже мой! Боже мой!».. И остатком уже не сознания, а звериного инстинкта что-то делаю... Нет, лучше погибель!.. Потому что иначе после войны моя душа не смогла бы мирно жить сама с собой... Так и эдак примериваюсь —

нет, не смог бы я воевать и выжить. Вот только по Вашей книге я и прочувствовал все это.

Создание плацдарма так, как его создавали, — это ведь способ мышления и действ коммунистов, когда цель сразу абстрагируется (извините за слово) и для достижения ее не жалко загубить весь народ. И давили врага нашими трупами, топили его в нашей крови. Человек — ничто во все времена советской власти. Смертники и их палачи — как само собой разумеющееся. И смертники знают, что они смертники. И палачи убеждены в своей нужности. Но ведь в заградотрядах могли находиться люди только вполне определенного склада. Я-то не смог бы! И в этом «гибельном безумии» смерть — вот она, рядом, как избавление от ада. Жизнь? Существование? Бытие — небытие?.. «...огонь или свет преисподней и крик беспредельного пространства, крик покинутой живой души, последний, безответный зов».

И ведь нет в Вашей книге надрыва. Просто привычная жуть советской яви, еще более сконцентрированная войной. А Шорохов считает даже, что здесь, на войне, еще можно жить. Для него ГУЛАГ — пострашнее фронтового ада.

И как ярки, как разны персонажи! Русский народ — без умиления, как есть. Многоплановое повествование, объемное по охвату русской жизни за 25 лет советской власти. Все — как было. Но — и убийственный сарказм, но и прекрасный юмор. Одна Клара Целкина чего стоит! И — почти пастораль в «Остальных днях» о Финифатьеве. И еще, как всегда, ярчайшие персонажи Вашей книги — Природа и Река. Так и у пращуров наших — прославян, и у древних греков было: каждая река — божество, малое или большое. Природа, покалеченная, опоганенная человеком, все живет. «Значит, и мир жив! Значит, оторвало от земли, будто льдинку, клок этого желто-бурого берега и несет в гибельное воющее пространство».

С каждым новым произведением Вы превосходите самого себя, предыдущего. А я, после ошеломления, ликую своей радостью: самая верхняя планка возможностей русского слова стала еще выше. Ни разу в жизни своей я не встречал такой плотности слова, такой точности, такой колдовской всемощности — ни у одного автора! Ваше произведение — единственное во всей военной беллетристике. И никто никогда подобного уже не напишет. Таланта не хватит. И очевидцев уже не остается.

В «Плацдарме» Вы развенчиваете войну как таковую. В книге есть космологический фон, даже нечто апокалипсическое. Истинно прокляты. Истинно убиты. Даже и уцелевшие. Уже привычное название книги не сразу, потом доходит сполна до сознания.

При чтении художественного произведения я почти всегда, в зависимости от настроя, слышу музыку как общий фон. При чтении «Плацдарма» не завязывалась у меня гармония звуков, только на переднем слуху какофония одного из самых мерзких человеческих безумий — войны. Слишком велико потрясение. Даже и спустя время. И снова склоняю голову перед всемощью Вашего Слова, языка нашего русского.

Кажется, есть журнал «Литературная учеба». Я ни разу не держал его в руках, но, судя по названию, он писательскому мастерству учит. И что? Вправду можно научить? Но уж тогда на самых высоких образцах. Уровень писательского мастерства в русской литературе, как мне видится, медленно повышаясь в XIX веке, начал в XX веке круто взмывать вверх по гиперболической кривой, и где-то там, вверху, — Ваше Слово. О такой осязательности могли ли мечтать мастера слова сто лет назад? А современным ученикам-литераторам я бы давал на урок анализ той или иной страницы Ваших книг. Пусть въедливо внедряются в морфологию, синтаксис, в динамику, гармонию, в созвучия Вашего Слова. Пусть каждый по крупицам разгадывает его тайну. Всю ее не познать. Я ее не знаю. И никто не знает. Может, даже и сам сочинитель не знает. Но учиться надо только на таких образцах. Понятно, этому на научаются. Но будущий литератор должен хотя бы почувствовать, на какой высоте планка установлена, хоть что-то уловить в таинстве Вашего творчества и по мере своего таланта стремиться к своим высотам.

А вот за «горячего грузина», которому «было все равно что женщина, что ишачка», Вас из Грузии изгонят насовсем.

Впрочем, и на Украине в последние годы Ваши новые произведения стали недоступными. Не знаю, как на областном уровне, а на районном — книги из России в библиотеки и в продажу не поступают. Литературные журналы России выписывают, наверно, очень и очень немногие. Когда-то я выписывал каждый год с десяток разных

журналов. В последние годы не могу позволить себе подписаться даже на «Новый мир». Так что любые Ваши новые произведения для меня здесь абсолютно недоступны и без Вашего содействия мне их не прочитать.

Желаю Вам, Виктор Петрович, доброго здоровья, творческой взволнованности и полного благополучия. Мой поклон и наилучшие пожелания также Марии Семеновне.

Сердечно Вам преданный ***В. Миронов,***
с. Парутино, Украина

21 мая 1996 г.

Кудеснику русского слова
Виктору Петровичу Астафьеву

Дорогой Виктор Петрович!

В день Вашего рождения — сердечный поклон и привет Вам от чтущих и любящих Вас пензенцев, которым хорошо памятны недавние встречи с Вами на пензенской земле.

Однажды Вы сказали: «Музыка есть в каждой минуте жизни».

Благодаря Вам звучит и никогда не умолкнет в живой душе, не исчезнет запечатленная в Ваших книгах радостная и печальная, трагическая и озорная, буйная и торжественная симфония нашей жизни.

Ее слышат, внимают ей — и будут внимать — поколения читателей в России и вне ее. И, слушая, преображаются, уже по-иному воспринимая «все краски, звуки, трепет мира и чувств пленительный обман».

Спасибо Вам за это, и храни Вас Бог, дорогой Виктор Петрович! Доброго здравия Вам, благоденствия и высокого долголетия!

С давним почтением к Вам —

Е. С. Попов,
руководитель департамента культуры
Пензенской области

10.5.96 г.

Добрый день, уважаемый Виктор Петрович!

Пишу Вам от своего имени и от имени своих учеников. Я работаю в обыкновенной средней школе маленького городка в Иркутской области учителем русского языка и литературы, а мои ребята учатся в 8 классе.

Конечно, считать себя и своих учеников знатоками Вашего творчества я не осмеливаюсь, но что Ваши рассказы оставляют в душах ребят «затеси», это точно.

Началось все с 5 класса, с урока внеклассного чтения, с «Белогрудки». Потом, конечно, и «Фотография, на которой меня нет», и «Старая лошадь», и «Конь с розовой гривой», и другие рассказы. Теперь пытаемся осмыслить «Прокляты и убиты». Теперь я знакомлю их с Вашими публикациями, интервью в газетах. И хотя живут-то они той жизнью, которая их окружает, стараюсь, чтобы они почувствовали и приняли Вашу боль и заботу за нашу погибающую природу, за нашу страну и народ, за них самих.

В последнее время («АиФ», «Артфонарь») Вы говорите об этом, мне кажется, еще «больнее», и кажется, что веры в то, что мы выживем, у Вас теперь нет совсем. Я помню, где-то Вы говорили: не надо мне задавать вопросов: что делать? как быть? Я же от себя и от имени своих учеников обращаюсь к Вам, наверное, с очень дерзкой просьбой — просьбой о встрече с Вами. И, конечно, я надеюсь, что мудростью своей, опытом жизни Вы не откажетесь ответить на вопросы моих ребят. Виктор Петрович, дорогой и уважаемый, вы даже себе не представляете, каким событием на всю жизнь станет для ребят и для меня встреча с Писателем. Я думаю, что для нас главное — это просто послушать Вас. Я точно знаю, что вы найдете, что сказать нам. Если Вы не откажете нам, дайте знать об этом. Конечно, нам хотелось бы встретиться с Вами в это лето, хотя нас устроит любое время, удобное для Вас. Мы ничем не стесним и не обременим Вас. С глубоким уважением к Вам,

ученики 8 «А» класса
Бирюсинской шк. № 16 и их учитель
Игнатова Галина Михайловна,
г. Бирюсинск

28.5.96 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Я обращаюсь к Вам (к Вашему уму и Вашему сердцу) как к замечательному писателю земли русской.

Я инженер-химик (ныне пенсионер) весьма озабочен состоянием нашего могучего и яркого языка и обращаюсь к Вам, как к человеку, язык которого является орудием труда и творчества.

Не скажу Вам ничего нового, утверждая что наш русский язык является, может быть, основным национальным богатством, иммунной системой нашей нации. Это как раз то, что наравне с оружием помогало нам, русским людям, в самых тяжелых исторических передрягах.

Известно, что разрушение иммунной системы приводит к самым тяжелым последствиям.

На мой (непрофессиональный взгляд) наш разговорный русский язык сейчас испытывает не лучшие времена. Он обеднен, засорен и разоружен. Люди говорят друг с другом какими-то серыми штампованными блоками. Язык наш испытывает очень сильную и агрессивную интервенцию со стороны других языков.

Емкие и яркие русские слова заменяются какими-то неясными, но модными суррогатами. С экранов телевизоров на миллионы слушателей обрушивается вал безвкусицы, серой словесности, неправильной речи. Можно привести множество дополнительных примеров, подтверждающих мною высказанную тревогу.

Я глубоко убежден, что с таким положением (если мы хотим сохраниться как самобытный народ) мириться никак нельзя. Необходимо, чтобы наиболее влиятельные писатели земли русской подняли свой голос в защиту нашего языка.

К сожалению, язык наш в школах преподается как некий скучный свод правил, не всегда вызывающий интерес у учащихся. Следует поменять способ преподавания языка. Изучение языка следует предварять беседой о великом подвиге Кирилла и Мефодия, свершивших великий подвиг и давших нам грамоту, о том, какое историческое значение в распространении нашей российской культуры сыграла православная церковь с ее монастырями, как язык наш объединял наше Отечество, являясь стержнем этого объединения. В школе необходимо учить правильной и красивой речи.

Почему, имея огромные словесные закрома, мы столь косноязычны? Может быть, такая серость кому-то полезна? Серая масса легче управляется и одурачивается!

Виктор Петрович! Может быть, этот страшный процесс разрушения нашего национального богатства еще не дошел до берегов Енисея? Слава Богу! Но есть ли гарантия, что этого не случится и в Ваших краях?

Не могли бы Вы, уважаемый Виктор Петрович, объединившись с А. И. Солженицыным и другими выдающимися писателями земли русской, поднять свой авторитетный и громкий голос в защиту языка нашего и, следовательно, всей нашей национальной культуры.

Я прошу у Вас прощения за то, что, может быть, не совсем ловко нарушил Ваше, безусловно, очень занятое время. Искренне желаю Вам и Вашим близким здоровья и благополучия.

Кирилл Владимирович Муруметс-Полетаев,
Санкт-Петербург

10.6.96 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Сердечным почтением приветствую и поздравляю Вас с присуждением Вам Государственной премии России!

Радуюсь вместе с Вами этому высокому признанию.

Ваш проникновенный талант и без премий давно признан миллионами людей. Пронзительно явленная Вами миру правда о нашей жизни и о войне помогает народу лучше понять и войну, и мир, и свою судьбу, и самого себя.

Низкий поклон и сердечное спасибо Вам за это, дорогой Виктор Петрович! Храни Вас Бог — для всех нас и Ваших близких, для Родины нашей и родной литературы.

*Глубоко чтущий Вас — **Е. С. Попов,***
руководитель департамента культуры
Пензенской области

15.6.96 г.

ТЕЛЕГРАММА

КРАСНОЯРСК ОВСЯНКА
ПИСАТЕЛЮ АСТАФЬЕВУ ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ СОЧИНЕНИЯ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ ШКОЛЫ ПИСАЛИ В ОСНОВНОМ ПО ВАШИМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ЦЕНИМ ТАЛАНТ МАСТЕРСТВО РАЗДЕЛЯЕМ ТРЕВОГУ ЗА СОСТОЯНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ

ПЕРЕДАЙТЕ НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ С УВАЖЕНИЕМ УЧИТЕЛЬНИЦА ЛИТЕРАТУРЫ ИСАЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА. ТЮМЕНЬ.

15.6.96 г.

ТЕЛЕГРАММА

КРАСНОЯРСК 36
АКАДЕМГОРОДОК ДОМ 14 КВ 15 АСТАФЬЕВУ

ДОРОГОЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ СЛЫШАЛ ВАШЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ ЕЩЕ РАЗ ИСПЫТАЛ ОГРОМНУЮ ГОРДОСТЬ ОТ ТОГО ЧТО ОТ ВАС УСЛЫШАЛ О ЧЕМ ИМЕННО ДУМАЮ И ГОВОРЮ САМ ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ВЕЛИКАЯ НАГРАДА ИБО ТО ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ И ПИШЕТЕ ЕСТЬ ГЛУБИННЫЙ ГОЛОС НАСТОЯЩЕЙ СОЗИДАЮЩЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НАДЕЮСЬ БЫТЬ ВАШИХ КРАЯХ ШЕСТОГО СЕДЬМОГО ИЮНЯ МОЖЕТ БЫТЬ БОГ ДАСТ ЕЩЕ СПОЕМ ЖЕЛАЮ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЯ ДУШЕВНОГО ПОКОЯ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ У ВАС ЕСТЬ ИЛИ ВАМ НЕ НУЖНО ОБНИМАЮ С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ ВАШ НИКИТА МИХАЛКОВ-

15.6.96 г.

Дорогой Виктор Петрович!

От души поздравляю Вас с наградой! Вы достойны ее, как никто другой из российских писателей. Читаю и перечитываю Ваши книги, восторженная и потрясенная си-

лой вашего слова!! Желаю еще многих плодотворных в творческом отношении лет, доброго здравия на радость Вашим близким и нам — Вашим преданным почитателям!!

Храни Вас Бог на многие лета —

Ваша землячка ***Светлана Мощева***

15.6.96 г.

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Давно хотел написать Вам, но все как-то неловко. Прекрасно осознаю, что письмо это нужно больше мне, а не Вам, что, может быть, затраченное на него время (если дойдет) будет стоить нескольких ненаписанных Вами строк или непрочитанных из книг других, да просто минут, проведенных Вами, как Вам нужно. Вы уж простите меня. В прошлом году в апреле я уж было совсем собрался и даже написал кое-что, извиняя себя тем, что имелся и повод — Ваш день рождения и юбилей Победы. Тогда как раз его готовились отмечать с шоу-образной бестактностью и спекулятивно-политической шумихой. Трещать речами, палить фейерверком из пушек, открывать статуи полководцам и фараонски-помпезные мемориалы. Одним словом — суетиться. Словно бы дату небольшой удалой драчки, а не память о величайшей трагедии в истории страны, о величайшем самопожертвовании лучших сынов народа, о величайшем цинизме и презрении к человеческой жизни этой страной управляющих с их «псами», «пастухами» и «подпасками», об их черной неблагодарности к своим спасителям, безропотно и, к сожалению, добровольно отдавшим им и свою славу, и свои заслуги. И то, что ТАКОЕ отмечалось (праздновалось) именно СУЕТОЙ, навевало горькие мысли о традиционной тщетности всяческих жертв ради безуспешного российского дела избавления потомков от ошибок и грехов предшественников. А ведь этому дню давно бы уж должна сопутствовать молчаливая скорбь, непоказное покаяние, скромное поминовение у обихоженных могил да так и не построенных поныне часовенок и тихий колокольный звон. Для этого, правда, нужно самую малость — всего лишь стать другой страной. Может быть, я не прав, но мне кажется, стань этот день днем всенародного поминовения жертв, от количества которых, навер-

ное, пришли бы в ужас самые жестокие воители древности, жертв, в огромнейшей степени бездумно и безжалостно брошенных в мясорубку войны, не было бы у нас сейчас ни хвастливой, оплаченной чужой кровью доблести, ни белеющих по болотам да буеракам солдатских костей, не было бы танков на улицах Праги, Вильнюса и Москвы, не было бы афганских гробов и развалин Грозного, не было бы наглых чернорубашечников, вольно разгуливающих в стольном граде победившей фашизм страны. Как красноречивое подтверждение таких мыслей в то же время палили совсем не потешные пушки, неся смерть невинным людям, и зажравшиеся, потерявшие всякое понятие о чести и совести генералы, верные последователи своих забронзовевших учителей, гнали на убой пушечное мясо, вкупе с обслуживающим бойню чиновничеством, набивая тугие мошны. И в этом году Победу замусоленной картой пролупили по столу политические игроки всех рангов и мастей, а кровь той Победы так и остается только лишь широким полотнищем знамени одних, полоской поуже на флаге других и казенными строчками в учебниках третьих, которые сейчас эти учебники таскают в своих школьных сумках.

Почему я пишу это именно Вам? Потому что написать именно так в огромной степени помогли мне именно Вы. Своими книгами, статьями, интервью в прессе и на телевидении, да просто тем, что Вы есть. Наше время, время соблазнов и искушений, удивительно ПРОЯСНЯЕТ людей, а людей искусства в особенности. Дает такое знание о них, которое в других условиях вряд ли можно было бы получить. (Конечно, я не имею в виду факты, подсмотренные в замочную скважину.) Надо сказать, что знание это, увы, далеко не всегда утешительное. И как раз Вы, Виктор Петрович, одно из исключений. Поверьте, это не лесть и не читательский фанатизм. Мы с вами люди разных поколений, и есть, наверное, вещи, на которые мы смотрим по-разному, но основное, краеугольное, ту меру вещей, которая превыше всего, я всегда находил и нахожу в Вас.

Знаете, давным-давно, в 1977 году, Ваш покорный слуга закончил в карельском городишке Беломорске забавное заведение, готовящее всего за 7 месяцев крупных специалистов, а именно матросов для рыболовной промышленности, и вместе с сотоварищи был откомандирован для обеспечения населения рыбой в город-герой Мурманск.

Отвели нам для путешествия целый вагон, сквозь пальцы посмотрели на пронесенный в оный «боезапас» в виде изрядного количества забористого портвейна и благословили на труды праведные. Нелишне сказать, что овеянное наивно-романтическим ореолом длиннорублевое будущее, белая полярная ночь и портвейн образца 70-х — смесь весьма взрывоопасная для «юношей бледных со взором горящим». И вот уже самые переполненные чувствами натуры принялись срывать с молодецких плеч немудреные, а потому неподходящие для мореманов куртенки и швырять их в окна, грезя уже грядущими «алясками» и пуховиками. Конечно же, в числе их был и я. Северный порт встретил нас, однако, недружелюбно. И если рубашка со свитерком-безрукавкой еще как-то сгодилась для первого дня, проведенного в основном в приемных морских начальников да в Доме моряка, то, естественно, не могло быть и речи, чтобы назавтра в таком легкомысленном виде отправиться чуть ли не через весь заснеженный после циклона город в порт на судно прописки. И потому товарищи мои благоразумно оставили меня на хозяйстве, пообещав раздобыть у боцмана какой-нибудь старенький бушлат. Так остался я один в комнате мореманской общаги. Надо было как-то скоротать время и отвлечься от голода. Я начал обследовать жилище, и в одной из тумбочек наткнулся на несколько номеров «Роман-газеты». Теперь уже не могу сказать, почему я выбрал тот из них, название которого гласило — «Царь-рыба». Как-то незаметно окружающее куда-то пропало, поблекло и рассыпалось, вытесненное новой реальностью, и лишь иногда напоминало о себе острой мыслью — только бы никто не вошел. Очень уж не хотелось, чтобы что-то постороннее вмешивалось в ту щемящую мелодию, которая лилась в душу с журнальных страниц. Да и разве могло случиться так, чтобы мальчик, выросший среди полей и лугов Харьковщины, среди ковыльных холмов и тенистых балок Донецкого кряжа, научившийся читать по замечательной книге Соколова-Микитова «От весны до весны»; отрочество которого прошло под знаком ночных дедушкиных рассказов о седой старине и «Маленьких дикарей» Сетон-Томпсона; юношеские мечты которого были устремлены не в будущее, а в невозвратное прошлое с бескрайними прериями, бизонами, дымами костров у вигвамов и силуэтами коней в черном тумане, всего того, что так волнующе описывалось в «Моей жизни среди индейцев» Шульца,

разве мог он по-другому воспринять Вашу удивительную вещь? Тем более во времена, когда Природа преподносилась только в виде вспаханных га, вырубленных кубов и перегороженных русел. Впервые я читал у моего современника о том, что так волновало меня и о чем другие, более горластые, говорили совсем по-другому. Ту «Роман-газету» я забрал с собой в рейс, и она не раз одаривала меня прекрасными минутами литературного наслаждения и душевной болью, когда мы забивали трюма мороженными брикетами недоросшей рыбешки. «Мойва. Мелочь III группы» гласила надпись на этикетках, и я чувствовал себя невольным, беспомощным соучастником преступления и предателем. Наверное, оправданием мне может послужить только то, что, кроме левосторонней паховой грыжи и 400 рублей, я ничего больше за тот рейс не заработал. На берегу меня ждала повестка в военкомат. Была медкомиссия. Одним словом, поехал я в родной Донбасс резать свою грыжу. На том моя полярная одиссея и закончилась. А «Роман-газета» хранится у меня до сих пор. Потом, конечно, были и «Последний поклон», и «Пастушка», и «Кража», и «Печальный детектив», и «Зрячий посох», и другие. К сожалению, не читал еще «Прокляты и убиты», «Затеси» в сборнике. Но к «Царь-рыбе» отношение у меня особое. Недавно купил ее полностью, изданную Красноярским издательством. Бывают еще удачи, когда в книжных лавках среди пестрой ерунды попадаются такие вещи. Приятно и то, что они потихоньку и незаметно раскупаются. Значит, есть еще люди, читающие ЛИТЕРАТУРУ. В прошлом году ходил два месяца вокруг четырехтомника Лескова — всего-то 40 тысяч. Но для меня, «вынужденного переселенца из Таджикистана» с двумя детьми и безработной женой, безуспешно выкарабкивающегося из финансового кризиса, в который нас ввергли миграционные мытарства, это были деньги. И душу наполняли чувства противоречивые. Зайду, бывало, стоят тома — обрадуюсь, есть надежда поднакопить и приобрести. А с другой стороны, обидно. Посмотришь — берут люди всякую дрянь, деньги платят немалые, а на Лескова ноль внимания. Потом собрался-таки, прихожу, а четырехтомник уже продан. Опять я раздвоился. Ну, дай Бог, чтоб взяли не «для мебели».

А вообще, грустно все это и горько. У Достоевского в речи о Пушкине есть такие слова:

«Будущие русские люди поймут уже все до единого,

что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».

Вот мы и являем миру образец. Получается ведь совершенно противоположное, до анекдотичности. Многовековая держава-собирательница свою «новую» историю начинает с бессмысленного Дня независимости. От кого? От чего? Неужели же человек с таким пророческим даром и так ошибся? Или, может быть, он просто переоценил вероятность одного варианта? Был ведь и второй, подсказанный им самим в «Бесах». Вот и сейчас стоим мы перед всем миром, запаршивевшие, погрязшие в таких мерзостях, что стыдно глаза поднять, тем, конечно, у кого стыд остался. Соседи смотрят на нас в лучшем случае с жалостью, да и то не без брезгливости. А мы все туда же, о величии толкуем. Вот великая мы Россия и все тут, ВЕЛИКАЯ! На другое не согласны. И очень напоминаем собой отпрысков Громкого имени да Славной фамилии. Но отпрысков, изрядно промотавшихся, и даже со следами вырождения. И никак мы не можем или не хотим понять, что из Громкого имени да Славной фамилии денег не напечатаешь и штанов не сошьешь, что под Славную фамилию даже в мясной лавке дают не всегда и до поры. Нам бы сейчас в самый раз забыть про нее. Не выпячивая грудь, не бряцая оружием, посмотреть на себя как на простых представителей рода людского и честно разобраться, что мы на данный момент своими руками, мозгами и сердцами можем, а что нет, и без гонора, честно поставить себя на подобающее среди других место. И работать честно, чтобы в будущем трудами и жизнью своей добиться хотя бы того, чтобы брезгливая соседская жалость сменилась если не уважением, то хотя бы сочувствием. Да воспитывать детей так, чтоб хотя бы они или их дети стали бы достойны того, чем мы сейчас так кичимся. Да и о том не следует нам забывать, что и в прошлом нашем, если честно, на одного достойногоо носителя Славной фамилии всегда находилось у нас не менее трех, а то и пяти той же фамилии мерзавцев.

Все это, конечно, благой наивняк. Потому и тоскливо, и страшновато. За июнь страшновато. За то, что если и дается нам выбор, то не между добром и злом, а между злом большим и меньшим. В политике оно-то, в общем, и всегда так. Но только зазор у нас уж больно маленький. Страшно, что, похоже, опять выберем зло большее. Оглянешься — вроде бы мы люди как люди, а коснись важного, судьбоносного, так сказать — в головах каша, мыслискакуны, упоение всегдашнее хлесткой фразой, неспособность к простейшему анализу, черно-белый колорит, «люблю, обожаю — ненавижу» всего лишь через зевок, одним словом, все та же лесковская стихия. Или, как Вы метко говорите — «СКУДОУМИЕ». А может быть, все и обстоит так, потому что вместо памяти — памятники, вместо человеческого погребения жертв — фейерверк, вместо Лескова — «Просто Мария» в яркой обложке? Зачем это я Вам пишу, Вы ведь и так все это знаете лучше меня. Я ведь просто хотел поздравить Вас с днем рождения и Днем Победы. Пожелать здоровья, успехов во всех делах, а главное, долгих лет жизни и Вам и Вашей супруге. Потому что Герцен когда-то сказал: «Мы не лекари, мы боль». К несчастью, лекари у нас все больше шарлатаны да коновалы, а претендующие быть болью и не боль вовсе, а гной, ей сопутствующий. А Вы — БОЛЬ. Это трудная роль, но необходимая. Если есть боль — больной жив. Дай Вам Бог всего наилучшего. Дай нам Бог всем, чтобы мы снова, как в начале века, не захлебнулись бы гноем, чтобы не залечили нас жестокие хирурги и невежественные знахари.

До свидания.

С уважением, ***Александр Шаповалов***

Еще когда мы жили в Таджикистане, все как-то мечталось, что вот, дескать, приеду в Сибирь и махну это как-нибудь в Овсянку. Найду Ваш дом. Конечно, бесцеремонно вломиться к Вам, мол, вот он я, прошу любить и жаловать, я бы не осмелился. А увидеть Вас, побыть хоть немного рядом хотелось. И вот придумал я, как мне казалось, остроумный выход. Зайду, думалось, к Вам и скажу: так, мол, и так, может, у Вас работа какая найдется для меня в хозяйстве, ну там дровишек ли нарубить или в огороде чего. Вы бы и согласились, показали бы что делать и ушли писать, а я бы работал и на Вас в окошко поглядывал. И Вам бы не мешал, и хоть как-то материально выразил бы мое к Вам отношение. К сожалению, на

таких мечтаниях жизнь визы свои ставит, как правило, только красным карандашом, тем не менее решился написать это и как будто побывал у Вас, поговорил с Вами. Легче на душе стало. Правда, ничего материального так и не сделал. На дармовщинку обошлось. Вы уж простите.

И храни Вас Бог.

А. Шаповалов,
Кемеровская обл., г. Прокопьевск

[Июль 1996 года]

Дорогой Виктор!

Сегодня встал в четыре часа утра, чтобы писать тебе это письмо. Дело непростое, но главным образом деликатное, могущее по неосторожности нанести обоюдный моральный урон. Поэтому рассчитываю на твое понимание того, что я руководствуюсь единственным соображением — не дать попасть в печать явным опискам, которые помогут составить хлеб да еще с маслом определенным критикам.

О том, что рукопись производит сильное впечатление, я уже писал в предварительно посланной открытке. Поэтому сразу перейду к замечаниям.

Ну, прежде всего, категорически возражаю против оголтелой матерщины. Это отнюдь не мое чистоплюйство, и в каких-то чрезвычайных обстоятельствах я допускаю матерок. Но не походя, во многом без особой нужды, как у тебя. Это говорит вовсе не о твоей смелости или новаторстве, что ли, а лишь о том, что автор не удержался от соблазна и решил вывернуть себя наизнанку, чтобы все видели, каковы у него потроха. Когда ты пишешь: «Не стращай девку мудями, она весь х. видела» — то сквернит слух не твой герой, а сам автор. Тем самым ты унижаешь прежде всего самого себя. Ты становишься в один ряд с этой шпаной. А больше того, посредством этой отвратительной фразы ты унижаешь женщину вообще. Надо иметь в виду, что многие-многие читатели не простят тебе этого. Жизнь и без твоего сквернословия скверна до предела, и если мы с этой скверной вторгнемся еще и в литературу, в этот храм надежд и чаяний многих людей, то это будет необратимым и ничем не оправданным ударом по чему-то сокровенному, до сих пор оберегаемому. Разве

матерщина — правда жизни? Убери эти чугунные словеса — а правда все равно останется в твоей рукописи и ничуть не уменьшится, не побледнеет.

Стр. 50. «Песок хрустит в волосах, штанах, белье... и даже на мудях,» — это говорит не какой-либо тип, а сам автор, что вообще недопустимо! Если уж разбирать фразу дотошно, то правда в ней относительна, а «на мудях» добавлено ради эффекта. В самом деле, ни в штанах, ни в белье, ни на этих самых мудях песок скрипеть не может. Для того чтобы он скрипел, ему нужен в напарники материал такой же твердости. Песок может скрипеть на зубах, в винтовочном затворе, в соприкосновении со стеклом и т. п. Это если по правде.

Было бы жаль, если бы эту книжку покупали по такому доводу: «Слушай, давай возьмем. Тут такие у автора матерки! Чешет открытым текстом. Обхохочешься!»

Возможно, так и будет: редакторы будут визжать от остроты ощущений, бегать с твоими листами по кабинетам, показывая злачные места: во Астафьев дает!

А еще горше, когда книга, уже напечатанная, одетая в благообразный переплет, будет стоять на полке. Мы уже уйдем в мир иной, а она будет стоять со всей этой скверной, обжигать душу будущих читателей не столько правдой, которая к тому времени может померкнуть, а немеркнущей дурнотой словесной порнографии.

«Как фамилия? — Моя фамилия — п. кобылья» (стр. 29). Подумай: эта грязь останется в твоей книге на долгие времена! Написанное пером уже не вырубишь топором. Прости эту банальную истину. Кстати, в этом месте (стр. 29) попалась такая фраза: «Ботинки насунули до половины ноги». Надо: до половины стопы. До половины ноги насунуть ботинки нельзя. Но это попутно.

Теперь о хлебе. Я уже коротенько говорил, что все эти страницы об уборке новобранцами брошенного хлеба сделаны щедро, живописно, лирично, много там прелестных мест и о природе, и даже о комбайне, который под твоим пером обращается чуть ли не в живое существо. Это касаемо художественной части. Что же относится к публицистике и твоему авторскому гневу по поводу неубранного хлеба, то тут надо кое-что переделать, поскольку публицистика здесь опирается больше на твои гневные эмоции, нежели на историческую суть дела. Ну, например, стр. 228: «О поле, поле, хлебное поле! Тысячи, может быть, миллионы лет прошло, прежде чем возникла живая тра-

винка...» — все правильно! Но дальше ты живописно добавляешь: «...на огненно дышащей, пеплом и дымом охваченной земле...» И сразу становится неправильным. Когда земля огнедышала, ни о каких травинках речи быть не могло. Первые растительные организмы в этих условиях были возможны только в океане, в водной среде, в виде водорослей — сначала простейших, потом — многоклеточных, и только потом, когда земля поостыла и стала доступной для жизни, на ее прибрежные зоны постепенно выползли первые заповедные растительные организмы. Это, конечно, мелочь, но даже малейшие неточности в подобных ретроспективных рассуждениях недопустимы.

Стр. 229. Я бы также не решился утверждать, что матери-земле не удавалось сотворить большего совершенства, нежели хлебный колос. В порядке патетики — да, можно пойти на такое утверждение, по строгой сути — едва ли: а разве виноградная кисть — не шедевр природы? А кукурузный початок? А подсолнух? Все дело в степени полезности. Хлеб, разумеется, наиболее продуктивное, основополагающее растение. Отсюда и его условная (но не безусловная!) эстетика. Но это — тоже мелочи, а главное, можно оставить так, как написано у тебя: кому нравится хлебный колос, а кому — виноградная кисть. Тут дело вкусовое.

Стр. 229. Но на этой же странице есть и явно неверные представления. Ты пишешь о первобытном человеке, который принялся «пожирать хлебные злаки на корню, полнясь силою, все двигаясь и двигаясь по бесконечному кругу земли в поисках хлебного зерна».

Тут почти все неверно. Первобытный человек не мог полниться силой от поедания хлебных злаков, потому что произрастали они случайно, разрозненно, а главное, колос существовал всего лишь около двух недель. За две недели «морду не наешь», тем паче что колос от колоса отстоял на слышимость голоса. А главное, первобытный человек не мог двигаться «по бесконечному кругу земли в поисках хлебного зерна», потому что хлебный злак произрастал всего лишь в предгорьях передней Азии. Дальше ни на восток, ни на запад его уже не было. Продвижение хлеба началось только с распространением земледелия. Существуют целые цивилизации, так и не узнавшие хлебного зерна. Это Китай, Япония, Индия (долгое время), Америка. В Индию хлебный злак опять же пришел из пе-

редней Азии и прижился только в горных районах Западной Индии (Пакистан, Кашмир). Речная, равнинная часть Индии осталась верна рису. Америка же до Колумба вообще не знала пшеницы и довольствовалась кукурузой и маисом. Африка познала впервые хлебное зерно через Египет. Так что первобытному человеку некуда было податься в поисках дикого хлеба. Он произрастал в узком обособленном регионе.

Стр. 229. Верно лишь отчасти утверждение, будто, творя хлебное поле, человек творил и самого себя. Оно справедливо лишь в отношении тех людей, экономической базой которых являлось пшеничное зерно. Но, как я уже говорил, китайцев, индусов, японцев, вьетнамцев, индонезийцев и многие другие народы сделал рис.

Стр. 230. «И когда человек первый раз позволил себе это самое страшное варварство и кощунство (уничтожение хлебного поля), тогда он и обрек себя на самоистребление». И ниже: «...человек, надругавшийся над хлебным колосом, отбросил себя на миллионы лет назад...» Тут надо иметь в виду, что надругание над хлебным полем — дело не последних лет. Оно сопровождает человечество с самого начала земледелия. Все тогдашние войны и нападения включали в себя обязательный поджог поля. Например, нападавшие на северскую (курскую) землю половцы первым делом жгли хлеб. Так было и тысячи лет до Рождества Христова. Так что твое, Витя, заклинание — чисто риторическое. Практика, увы, этого не подтверждает. Никого не отбросило на миллион лет назад после сожжения хлебного поля. Даже немцы, топтавшие наши поля, живут и процветают, а мы, не топтавшие, у их порога с шапкой.

Стр. 230. Патетична, но не диалектична вся тирада о дармоедстве. Например, утверждение, будто человек, не сеявший, не создававший хлеба, не имеет права притрагиваться к нему, ибо он дармоед. Так ли это? Дармоед ли кузнец, которому нет времени заниматься хлебом? Или ткач? Ткач и кузнец вполне законно входят в долю крестьянского каравая. Это — исконное разделение труда всегда считалось справедливым. Поэтому нельзя называть человека дармоедом за то, что он не притрагивался, не творил хлеба. Человечество никогда не сдвинулось бы с места, если бы все до единого сеяли хлеб! Вот в чем парадокс прогресса! Древний египетский писец и учитель —

был ли он дармоедом, обучая крестьянских мальчишек иероглифам за ковш ячменя?

К тому же есть целые народы, которые сами никогда не притрагивались к хлебу — не сеяли, не жали и не пахали... Например, Исландия. Между тем это один из трудолюбивейших народов! Возможно ли называть этот народ дармоедом?

Стр. 230. «Человек, научившийся по книгам лукавой грамоте и презрению к труду, не имеет права притрагиваться ко хлебу...» Опять же не каждый, обучившийся «лукавой грамоте», презирает крестьянский труд. Ты, например?

Стр. 231. Считавшие себя интеллигентами... все эти Филиппы первые и Карлы вторые... Ну, во-первых, Филиппы и Карлы не считали себя интеллигентами, ибо этот термин возник только в XIX столетии. А во-вторых, я бы переставил эти имена: сделал бы Карла первым, а Филиппа — вторым. Потому что Филипп Первый — почти неизвестное лицо, тогда как Филипп Второй предстает сразу в трех видных ипостасях: один Филипп II был отцом Александра Македонского, другой Филипп II — не менее знаменит — король Франции, возглавивший один из крестовых походов, и третий Филипп II — король Испании, владеющий Нидерландами (вспомни «Сказание о Тиле Уленшпигеле») и покоривший могущественную Португалию. Что же касается Карлов — то тут все наоборот: все Карлы II — никчемны и малоизвестны, а потому лучше взять Карла Великого, создавшего великую Римскую империю от Черного моря до Атлантики.

Стр. 231. «...сверкая узкими ненавистными глазами кочевника». Употребляя слово «ненавистными», я бы не дразнил наших киргизов и кугультинов... Вспомни, как накинулись на тебя грузины...

Незначительные частности. Конечно, впечатляюще выглядит брошенное золотистое поле на снегу. Может быть, это «золотистое» более драматично, эффектно, но тут надо учесть некоторые свойства злаков. Золотистой до самой зимы и зимой останется только нормально скошенная солома. Как лик солдата, скошенного пулей в молодости: он навсегда останется молодым. Если же хлебный стебель вовремя не скосить, а дать ему зазимовать, то он умрет собственной смертью и примет землисто-серый цвет, как и все перестойные злаки.

И еще: на стр. 228 — «Многие соломинки утеряли ко-

лос, и трубочка стебля, налитая дождем, держала в узеньком отверстии застывшую каплю, и оттого так яростно сверкала...»

Написано, конечно, прелестно. Но дело в том, что всякая капля имеет законченную и напряженную поверхность, а потому в узенькое отверстие обломанного стебелька попасть просто не сможет по закону физики. Тем более колос обламывается в верхней четверти стебля, где и вообще, как правило, нет никакого отверстия. Если же соломина переломится ниже, то никакая капля под таким углом зрения сверкать не будет, так как ее застили бы уцелевшие стебли. Одним словом, картинка красивая, но придуманная.

А теперь скажи: по какому поводу гнев, ведь ты нигде не объяснил, почему брошен хлеб? Если это связано с уходом на войну, то на кого гневаться? Даже у Некрасова: «...только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она...» Думу, но не гнев. А гнев тогда, когда был бы злой умысел.

Видимо, весь публицистический кусок о брошенном хлебе надо привести в соответствие, в какие-то грустные раздумья, более уместные здесь. А то эти строки больше походят на психическую атаку на редактора с целью ошеломить его каскадом гневных, шумливых слов. Кстати, хлебом питается меньшая часть человечества, но она нисколько не глупее и не богохульнее нашего брата.

Стр. 198. Хороши страницы дезертирства и расстрела братьев Снегиревых. Но, на мой взгляд, сцену последних минут этих ребят надо бы почистить, убрать некоторые натуралистические подробности, некоторые сантименты. Например, брат закрывает брата. Или то место, где недобитый Серега пытался вылезти из ямы и царапал стынущими пальцами мерзлые комки земли. Надо было сделать сдержаннее, суровее, без особых подробностей, не дать читателю сообразить, что все это придумано автором. Мелодраматично убегает к лесу Скорик, в том же ключе звучат возгласы Васконяна: «Убийцы! Убийцы!» Коли Рындина: «Бога!.. Бога! Не боитесь... Он покарает! Покарает! Прокляты и убиты будете! Прокляты и убиты... Все, все, в геенну огненную...» Тряслись и плакали казашата: «Нас тоже убьют? Нас тоже расстреляют? Мы картошкам воровали...»

Все эти сценки разжижают самую суровость момента, вносят слезливый элемент, а главное, отдают нарочито-

стью, сделанностью. Но, я знаю, тебя от этого не оттоворишь: это твой стиль, твоя манера. Кстати, я тоже присутствовал при таких расстрелах. Раздались выстрелы, потом команда: «По-о-олк! Напра-во-о!» и т. д. И все это в полном и страшном молчании.

Стр. 140 и др. Не удались страницы трибунала над Зеленцовым. Получилось легковесно, смешливо, карикатурно. Ну, сам посуди. Зеленцов на судью: «Не рви хавало понапрасну — язык прокусишь! Чем комсоставную пайку жрать станешь?» Нет, друг мой! Там так долго не поразговариваешь. Дело ведут бывалые мастера. Карцер и вода угомонят в два счета. А за личные оскорбления так врежут по почкам, что не до восклицаний будет... И вообще у тебя многовато шпаны: Зеленцов, Мусиков... Иногда кажется, что это не полк, а солженицынский лагерь. Я ведь тоже был в учебно-запасном. Разный там народ, были и такие. Но их быстро уделывают, отучают от шмона. А если задерется со старшиной или помкомвзвода, то мигом вылетит на передовую. Но самое главное, страницам о Зеленцове, его похождениях и суде не веришь, видно, что придумано, видно, что автор любуется своей шпаной, видно, что эта шпана выполняет роль мессии, защитника слабых и сирых, видно, что он нужен автору, чтобы его посредством высказать кое-какие авторские крамолы.

Стр. 220. Зато прекрасно, задушевно, тепло описан постой солдат у Настасии Ефимовны. Хорош дедуля Кондрат, хороша даже их живность во дворе, особенно жив и мил поросенок. Там, где ты спокоен, не злишься, — там все прекрасно! На злые страницы нельзя давать себе волю, нужен холодный и верный взгляд.

Давай передохнем, пройдемся по мелочам.

Стр. 43. «...ножиком финского штыка» — надо: лезвием финского штыка так как в понятие «нож» входит еще и ручка. У тебя же получается так: будто при штыке есть еще и ножик.

Стр. 56. «В родном, теплом краю» (о Казахстане). Зимы в Казахстане суровые, бесснежные, как в Монголии. Даже на самом юге морозы до 40°. Лично я пережил мороз в марте в 52°. После этих весенних морозов в Талды-Курган долго возили мерзлых баранов, громыхавших в кузове, как клубные стулья. Что же касается Северного Казахстана (Павлодар, Кокчетав, Семипалатинск), то это уже сама Сибирь, почему-то отданная Казахстану вместе с русскими казаками. Так же как отдали Гурьев, и реку Урал,

и уральское казачество. Видимо, потому и отдавались эти исконные русские земли, чтобы замести следы после истребления двух казацких войск и всего ихнего народонаселения. А теперь вот эти земли не возьмешь обратно, хотя об их возвращении намекает Солженицын в своем размышлении об устройстве России... Так что в Казахстане зимой холодновато и казахи привычны к ветрам и морозам. А вспомни описания бурана у Пушкина, хотя Оренбургские степи помягче, чем Акмолинские.

Стр. 56. Из этого представления о Казахстане вытекает еще одна неточность: «Где-то в Казахстане степные воины надыбали поезд с овощами и вскрыли вагон со свеклой». Поскольку это происходило в конце ноября — начале декабря, то свекла должна быть уже мерзлой. Везти куда-то мерзлые овощи бессмысленно. Впрочем, в России и это возможно...

Стр. 67. «...десять тысяч молодых парней двадцать четвертого года». Разумеется, не все десять тысяч: среди них обязательно были и другие возрастные группы, ну, скажем, 23-го, 22-го годов, не взятые ранее по болезни, снятые с брони, отбывающие срок и т. п.

Стр. 83. «Казахи, более других страдавшие от холода...» — Надо учесть, что те, довоенные казахи, зиму коротали в юртах, скудно отапливаемых кизяком и кураем. Так что на ветрах, в голой бесснежной степи они прошли хорошую закалку. Я там живал и знаю, что они в самые холода покрепче нашего брата, кто из российских широт. Ведь так они жили со времен Чингис-хана и раньше. Это же врожденные степняки. Уже лет с десяти они пасут свой скот в зимней степи и проводят в седле, на ветру с рассвета до захода... Разумеется, вовсе не значит, что после моих этих досужих рассуждений ты должен кидаться исправлять текст.

Стр. 87. «Ранка от нашего трехгранного штыка...» Ты какой штык имеешь в виду? В минувшую войну на вооружении был четырехгранный штык. Что касается трехгранного, то он был в русской армии еще во времена Крымской войны до введения в 1891 году четырехгранного.

Стр. 102. Витя! Прекрасно о солдатских сортирах! Целая поэма! И без всяких скрабрезностей.

Стр. 108. Занятно, когда генерал с поварешкой гоняет кухонную челядь (обломал о спины две поварешки!). Но... опереточно! Ну, конечно, потом прижимал руку к левой части груди, тяжело дышал... Все это смотрелось бы в кино,

но при чтении возникает соответствующее шутейное восприятие: «Во Витя дает!» Т. е. принимается не как правда, что так было на самом деле, как сочинение, литературный треп. А ведь при чтении о войне главное — достоверность, читатель, особенно фронтовик, дотошно сверяет каждую строку с тем, как было лично с ним, а уж потом — художества. Вот как-то надо так, чтобы было и достоверно, и художественно, как о сортирах.

Стр. 179—186. Также не верится во вставную новеллу «Лешка — Тома». Написано добротно, сочно, но всерьез не воспринимаешь эту идиллию. Подобные сюжеты кочуют по многим твоим вещам: он и она и что между ними произошло. «Пастух и пастушка», «Сон о белых горах» и еще, и еще... Я знаю, это твоя слабинка, твой любимый конек, и сгонять тебя с этого конька бесполезно да и не имеем права. Но у читателя остается неверие в эти милые сказки. А неверие — вещь вредная и переходчивая, как золотуха: она распространяется и на весь остальной текст. Такие вещи, как сказание о Лешке и Томе, надо заглатывать сразу и целиком, не разжевывая, не препарируя, ибо эта история не выдерживает житейского анализа, сразу же свертывается, как молоко от прикосновения лакмусовой бумажки. При этом возникают десятки и сотни «почему», на которые невозможно дать ответа, как нет ответа на то, как сварить суп из топора. Поэтому новеллу надо брать на веру и отдыхать душой на ее убаюкивающем розовом сновидении. Но пусть она останется в тексте. Возможно, она такая там и нужна, как кучка соломы, на которую должен упасть читатель, чтобы не разбиться о грубую материю остального текста из хроники казарменного бытия.

Стр. 98. «Жизнь этих людей в большинстве была убога, состояла она из стояния в очередях, получения пайков и талонов...» Наша тогдашняя армия на 85% набиралась из деревень. А какие в деревне очереди, какие пайки и талоны? Деревня всегда была предоставлена сама себе и даже в войну ничего не получала — ни талонов, ни карточек. Поэтому сельские дети военной и послевоенной поры годами не видели сахара, бросовой конфетки, затхлого печеньица — деревня была брошена на произвол судьбы, на подножный корм, на предсмертное прозябание. Во всяком случае, распределение, очереди и талоны не касались деревни. Это были крепостные, люди третьего сорта.

Стр. 156. «...на голову взошедший лоб». — Ну конечно

нелепица! Ведь лоб — часть головы. И как часть головы может взойти на голову? Часть целого — взойти на целое?

Стр. 207. «...Хомутами потертой заезженной спины», — опять нелепица: хомутом спину не натрешь. Холку — да!

Стр. 224. «Те заглядывали в окно (с улицы) в продыханную ими дырку». — Продышать с улицы дырку невозможно, так как стекло намерзает только изнутри.

Стр. 232. «О, хлебное поле, о, дивное творение человеческих рук, что с тобой? Отчего ты так уныло, так пустынно, так больно и трагично?» — классический астафьевский сантимент, ставший стереотипом. Вспоминается: «О чем плачет кедровая ветка», так, кажется...

Стр. 248. «Она, эта министерша культуры...» — в 1943 году так сказать еще было нельзя. Министерства у нас появились лишь в 1947 году.

Стр. 256. «...и тень дуги, концов оглобли, даже пара, клубящегося из ноздрей коня, — скользила рядом, мотала хвостом...» Получается: тень дуги мотала хвостом.

А теперь, Витя, давай займемся полковыми харчами. Я совершенно был изумлен, когда прочитал, как роскошно кормили в разгар Сталинградской битвы в 21-м запасном полку. Право, в нынешнем Переделкине кормят хуже. Не удержусь, выпишу обширное меню: "Полк был хорошо подготовлен к зиме в смысле питания: запасено и засыпано достаточно овощей (интересно, куда засыпали при 40 градусах мороза?), с Дальнего Востока получена большая партия рыбы, баранины из Тувы и Казахстана (надо иметь в виду, что Тува стала «советской» в октябре 1944 года), свинина поставлена колхозами и совхозами Сибири, крупы, сухари, сахар, соль, консервы — от всего этого ломились просторные дощатые склады полка... У полка была своя пекарня, откуда каждый день поступала партия круглых, по-крестьянски роскошно испеченных пшеничных ковриг — на день полагалось солдату восемьсот граммов хлеба, и по существу коврига разрезалась всего на четыре части, каждому едоку доставался кусок хорошего, пропеченного хлеба с хрустящей корочкой (Счастливчики! Между прочим, где-то обронено, что в полку было 20 тысяч едоков, значит если буханка на 4-х, то на день надо 5 тысяч таких ковриг ручной выпечки! Ничего себе заводик!) Суп варили густой, очень часто из горбуши и кеты с гречневой крупой и сытно белеющей в нем картошкой либо со свининой, и в супе на каждого из 10 едоков пла-

вало по куску жирного свежего мяса, иногда и с мягкой косточкой. На второе чаще всего выдавалось картофельное пюре, и в середине его воронкой желтело сливочное масло (не комбижир, как на передовой, а сливочное масло, как в санатории!). По утрам и вечерам на завтрак, ужин варили кашу пшеничную, ячневую, гречневую, перловую. Случалось, дополнительно ко второму выдавали вареную свеклу или морковь, добавляли квашеной капусты, огурцов, помидор или грибов. Плюс ко всему этому утром пятьдесят граммов сахара, иногда пусть небольшой кубик сливочного масла. (Если масла давали по 20 гр., то полк в один присест съедал 400 кг масла! Интересно, где его брали? Ведь уже к этому времени все колхозы и совхозы были обобраны и ободраны, скот почти весь забит и съеден, а сами колхозники тайком крали колоски в поле и в хлеб подмешивали картофельные очистки).

Бог ты мой! Какое там Переделкино! Нынешнему Дому творчества далековато до 21-го запасного полка: там уже давно не добавляют ко второму овощей, грибы подавали еще в начале перестройки, а красная рыба разве что снится во сне. Подумать только: 800 граммов превосходно испеченного белого хлеба! 50 граммов сахара! Это за какие же заслуги такие щедроты? И что это за нормы такие? Я, например, в своем запасном полку получал всего лишь 600 граммов тяжелого присадистого, глиноподобного хлеба. На передовой нам давали 700 — тоже полухлеба-полуглины. А тут 800 "превосходно выпеченного пшеничного"! А сахару даже на передовой мы получали вдвое меньше — одну столовую ложку. И, разумеется, никакого сливочного масла. Масло я впервые увидел в подмосковном госпитале, как и белый хлеб тоже.

Я выписал это долгое меню затем, чтобы еще раз изумиться на 82-й странице, где говорится, что через полтора месяца такой жратвы Коля Рындин сосем дошел с голодухи. В полку появились дистрофичные, опустившиеся солдаты, бродившие возле кухни, рывшиеся в помойках, облизывавшие чужие миски. Читаем: «Стоило за обедом кому-то выплюнуть рыбью кость, как из-за его спины просовывалась рука и жадно хватала эту выплюнутую кость». В полку началась смертность, которую тут тщательно скрывали...

Братцы мои служивые! Дорогие сибиряки-слабаки! Да побойтесь вы Бога! Дохнуть с таких-то харчей?! Через полтора-то месяца? Еще не успев прикончить домашние

сидора с мясом и салом? Я, например, в своем запасном за полгода пребывания не едал не только масла, баранины, свинины, красной рыбы, белого хлеба, но не видел за это время ни скибки огурца, ни пуговки морковки, тем паче — грибов. Нам бы такой харч, как в 21-м, но я не знаю случая, чтобы кто-либо одичал, оголодал до такой степени, чтобы лизать чужие миски, и, главное, никто не околел! Да, было голодно, потому что хлеб был ужасен, с мякиной, с долгими остями и еще с чем-то, малопитателен, а хлебали мы в основном баланду на комбижире (какая там баранина! Какая там свинина! Какая горбуша! Пока донесешь хлебово из ячневой сечки с зелеными ошметками помидоров, комбижир уже примерзал по краю ведра). Да, мы тоже делили хлебные пайки. Но не делили баланду, как в 21-м сытом полку, где распределяли каждую картофелину, пойманную в супу, и даже делили кашу. Все это сильно отдает солженицынским ГУЛАГом, одним днем Ивана Денисовича, где действительно лизали миски и хватали выплюнутые рыбьи кости. Но там хоть были веские причины для одичания и маразма. А тут с чего? Ведь автор сам не без гордости за свой полк утверждает: «Все это в нормальное время ни одному парню было бы не съесть...» Тогда с чего начали отбрасывать копыта?

Прозрачно ты намекаешь, что дело не столько в харчах («было бы не съесть»), а в изнурительной муштре, в нечеловеческом обращении, а также в начавшейся эпидемии.

Но ей-Бо какая там особенная сверхчеловеческая муштра? Ну походят туда-сюда строем, поорут, ну иногда покажет норов помкомвзвода, прогонит лишний раз строевым, покрикивая: «В-выше ножку!», ну сколько-то проползут по-пластунски, а что еще? Не лежать же им весь день на нарах! Я, например, в своем запасном на нарах просидел полгода, так как ни разу не получали полного комплекта обмундирования: выдадут сапоги, но отберут гимнастерки для маршевых рот и т. п., и был бы счастлив хоть единожды походить строем, поорать песни. А как же в американской армии: там каждый солдат должен уметь отжаться сто раз! Наш солдат и теперь на такое не способен. Одним словом, когда эти самые дистрофики добрались до деревенских девок, то от них только перья летели. На стр. 260 автор свидетельствует: «...время даром не теряли, мяли девок на ворохах хлеба, залазили рукой в места сугревные». Нет, тут что-то не получается с массовым

голоданием и мором. Надо хотя бы уполовинить харчи... К этому времени страна все съела и обнищала ужасно, в том числе и запасные полки.

Что же касается эпидемии, то, как признает сам автор, она приключилась не столько от дурных харчей, сколь от дурного обращения.

На стр. 282 читаем: «...и эта самая гемаралопия, превратившаяся в массовую эпидемию, порожденную наплевательским, часто бесчеловечным обращением». Но как же так: Щусь — прекрасный, отзывчивый ротный, старшина — чуть ли не повивальный дядька, командир полка Азатьян — отец родной. Это его стараниями полк был надежно обеспечен продовольствием. Командующий округом сам лично гонялся с поварешкой за нерадивыми поварами. Даже сотрудник секретного отдела — вполне лояльный, демократически настроенный офицер, назвавший исполнителя расстрела мерзавцем... Что-то опять не получается и с дурным обращением.

Я тоже когда-то, еще до войны, болел этой самой гемаралопией, хотя на меня никто не кричал, не топал ногами, не относился наплевательски. Просто недоставало витамина А и В2. Но, судя по богатому и разнообразному рациону, по морковкам и капустам, выдававшимся «сверх того», полку не грозила массовая эпидемия. На передовой для нее было гораздо больше причин, но и там ее почему-то я не видел. От козней же политруков она возникнуть не способна. К тому же от куриной слепоты не мрут.

Вот, Витя, я уже начал раздражаться и ехидничать. Прости, пожалуйста. Просто досадно, когда из хорошо пошитого сапога торчат незаколоченные гвозди. Такое впечатление, будто бы боишься, что у тебя не получится страшно и никто в ужасе не всплеснет руками.

Эти же гиперболы дают себя знать, когда ты описываешь тоцкие лагеря. Они страшны и без допингов. Но ты не удержался и пошел ва-банк. У тебя солдаты вымирали целыми землянками и трупы не убирали по несколько дней, а то и закапывали в тех же землянках. Конечно, сильно, страшно, производит впечатление. Но есть вопросы: что же, в этих землянках умирали все сразу, единовременно, как после отравления грибами? Конечно, нет! Допустим, кто-то действительно умер. Но остальные-то оставались пока живы! А раз живы, они что же, так и оставались жить рядом с трупом? А как же быть с утренним построением? Спросит командир: «А куда девался

Иванов, Петров, Сидоров?» Или там уже не было никаких построений, никаких поверок? Никто тебе, Витя, не поверит, особенно фронтовики. И уж конечно сплошные байки, когда солдаты поджаривают на кострах ягодицы павших товарищей. Такого не было даже в блокадном Ленинграде, где не получали 800 гр. хлеба в день. Да и, пожалуй, в самых чудовищных ГУЛАГах. Это ведь опять твоя психическая атака на читателя: во что бы то ни стало повергнуть и ошеломить. Ты уже такой величины писатель, которому не надо больше прибегать к слезоточивым приемам.

А книжка, несмотря на это, все равно получилась. В ней много истинного добра, человечности и душевной красоты, в том числе и авторской. Видно, что писал добрый, душевный, глубоко сострадающий человек.

Что же касается моего брюзжания, то можешь наплевать и забыть.

*Твой **Женя (Носов)***

20.6.96 г.

Глубокоуважаемый Виктор Петрович!

Пишет Вам студент-филолог 4 курса Андрей Труфанов (Казанский университет). Издавна питая глубокое уважение к Вашему писательскому и человеческому облику, я решаюсь наконец обратиться к Вам с этим письмом. Извините сразу за то, что я печатаю. Почерк у меня прескверный, и я не хочу создавать Вам бессмысленные трудности с прочтением, тем более что для Вас это был бы напрасный труд. Пишу я Вам в глубокой надежде на Ваше внимание и снисходительность. Я очень нуждаюсь в Вашем компетентном совете, в дружеском слове старшего наставника. Дело в том, что меня очень заинтересовали недавние слова Ваши о раскольниках, тем более что я сам давно интересуюсь этим предметом и по преимуществу с точки зрения живого общения. У меня есть огромная библиография по расколу, но без общения с ныне живущими людьми все это ведь только мертвая буква. Известная консервативность раскола позволяет надеяться найти там и сейчас сохранившиеся культурные традиции, почти или совсем утерянные современной русской деревней. Раскол для меня сейчас — это, без преувеличе-

ния, оазис культуры, давно сгинувшей в своем бесконечном разнообразии в эгалитарном прогрессе буржуазной цивилизации. В современном городе я вообще не могу жить и обязательно переселюсь в деревню после окончания курса в университете. Хотел бы посоветоваться с Вами, возможно ли мне жить в раскольничьей деревне, могу ли я там быть, скажем, школьным учителем? Хотел бы расспросить Вас вообще про сибирскую деревню, к которой питаю большую склонность. Я бы хотел поселиться в глуши, подальше от всего, что напоминало бы современный город, чтобы не было вокруг этих ужасных автомобилей, бездушного камня современных строений, вони и грязи улиц, всего этого нового буржуазного уродства, которое нет нужды описывать и которое в кратчайшие сроки поглотило все и вся уже безвозвратно. Чтобы, наконец, сама деревня оставалась деревней, чтобы сохранялся традиционный принцип ее застройки, без уродливых трапециевидных крыш пошлой дачной архитектуры, без каменных «коттеджей», без всякой всячины мещанского и бессмысленного буржуазного «вкуса». Словом, я хочу настоящей деревни, и Вы, конечно, меня понимаете и не назовете врагом «прогресса». Я надеюсь, что Вы, так превосходно зная сибирскую деревню, тайгу, ее уклад и законы, сможете помочь мне добрым советом. Я хочу переселиться в деревню навсегда и намерен осуществить это во что бы то ни стало. С успехом этого намерения связан для меня смысл всей дальнейшей моей жизни.

С глубоким увжением, ***А. Труфанов***

[1996 год]

Уважаемый Виктор Петрович!

Внимательно прослушал радиопередачу (9 мая), в которой Вы высказали свое мнение о ВОВ и Жукове Г. К. (кстати, он раньше был Егор).

Во многом солидарен с Вами. Эх! Если бы у меня появился писатель? Какой бы написали мы сценарий для кинофильма. Какие эпизоды!

Это не бред сумасшедшего или честолюбца. Никогда не забуду комдивизии полковника Федюнькина (м. б., сейчас он небольшой генерал? Хотя и бездарь до преступления) и 149 с. д. 476 с. п. Как это... посылала нас, 18—20-

летних, на убой! В феврале вступили в «бой», а в марте дивизии уже не существовало. Смерть или ранение — другого исхода не было. Раненых считали счастливыми. Шли на убой по белому полю в серых шинелях — на доты, сделанные немцами под каменными домами села Веснины. Ни единого орудийного выстрела с нашей стороны. Шли на пулеметы, автоматы, под минометным огнем.

Я гнал солдат, угрожая пистолетом ТТ (с ним я шел брать село). Четыре раза ходил я в «наступление», 1-й раз — в разведку, за «языком», и ни разу не видел немца.

Эпизод: лежит солдат, уткнув голову в снег, и строчит из автомата (я был комвзвода автоматчиков) в воздух (в полку было 30 автоматов).

— Куда стреляешь? — спрашиваю.

— В немцев.

— Вперед — или пристрелю!

Вскакивает, пробегает метров 10—12 и бух в снег.

Избиение продолжалось у меня на глазах до начала марта.

В отношении Жукова. Если вы читали внимательно «воспоминания и размышления», то убедились бы, что царский унтер любил лошадей и был зверем для солдат и вот поэтому у него были передовыми эскадрон, полки т. д.

Мое мнение о его полководческой деятельности: за Берлинскую операцию его надо было отдать под трибунал, он — виновнен более чем за девятьсот тысяч убитых и миллионы раненых! Имел двадцатикратное превосходство в силах и ему нужен был только жезл Наполеона: «Вперед!»

1-й Украинский фронт перед операцией Жукова, успешно прорвав оборону пр-ка, начал обходить Берлин с юга на запад. Сталин об этом звонит Жукову, сообщает и предлагает дать ему две танковые армии — и он обойдет Берлин. А Жуков заявляет Сталину, что он сам возьмет Берлин. Но ведь и дураку было ясно, что взять Берлин с запада, почти незащищенный, было бы легко, главное, с малыми потерями. Но... Жуков имел влияние и на Сталина, иначе он приказал бы ему передать эти армии 1-му Укр. фронту. Да и в Берлин вошли первыми бойцы 1-го Укр. фронта. Это-то и обеспечило окончательный прорыв 3-й линии обороны Берлина. Так кому надо отдать первенство взятия Берлина?

У меня написано несколько произведений об этом.

Никому пока не показывал. Раньше было опасно, а сейчас поздно. Одно из них — «Победа ли?»

С уважением гв. майор запаса, инвалид ВОВ.

Чиркин В. Б.

10.9.96 г.

Многоуважаемый Виктор Петрович!

Письмо будет сумбурным, совсем непродуманным.

Вот дочитал Вашу новую для меня повесть «Обертон» и заплакал. Пишу и плачу. А я — дитя послевоенное. Рожден в Восточной Пруссии. В 1948 году мама моя была угнана немцами с Житомирщины в 18 лет. О том, что это было, я узнал в сорок лет. Мама моя жива и об этом мне рассказала сама, а потом Вы, Виктор Петрович.

Мы с Вами по отцу почти земляки. Родова наша есть в Канске, Решотах, Алтае, Новосибирске. Вот и поверите. А отец мой, гулеван и оторва, как и у Вас, только он с 1917 года, с Алтая, был летчиком, а братья мои Николай и Алексей — шофер и моряк. Сразу после войны отец был направлен в Пруссию по партийной линии на завод, производящий спирт, что его и срубило. Там он женился на моей маме, по происхождению польке. То, что она была красива — лишне говорить, а то, что война и предыдущие ей события сотворили с маминой семьей и ее судьбой — это 12 кругов дантова ада. Достаточно сказать, что мой родной дед по маме и его четыре брата были в царской армии на войне с немцами: дед Станислав — офицер, Вацлав тоже, а Збигнев и Ярослав — рядовые, и Владимир, самый младший, тоже захватил, в 17 лет, полгода войны с немцами да австрийцами. Но когда началась гражданская война, они были красными командирами. С 1929 и до 1938 годы они все были посажены, а потом расстреляны. Осталась моя мама и ее брат, мой родной дядя и две сестры без отца и без матери — сироты.

И вот началась Великая Отечественная война, и маме так досталось... Так ведь моя-то мать говорит вот, что сестра ее Анна семи лет потерялась при нашествии немцев. Тогда я поехал в Ленинград, но, увы, безуспешно. После была еще одна возможность разузнать об Анне, но тоже тщетно. А отец мой жил нормально. Комсомольцем пошел в аэроклуб и до начала войны успел жениться три

раза. А потом, уже после войны — он женился на моей маме.

Я не осуждаю его за довоенное житье, и на войне он не опозорил сибиряков. Но зато после войны... Я вспоминаю, как он издевался над матерью, называл ее немецкой овчаркой. Но я не понимал почему, только догадывался. Жили мы плохо. Отца сослали в Иркутскую область, там я и вырос, и мои брат и сестра.

Низкий Вам поклон, Виктор Петрович, за то, что Вы — писатель. Дай Вам Бог здоровья.

Владимир Горлов,
Якутск

19.9.96 г.

Здравствуйте, дорогой Виктор Петрович!

Слава Богу, мы пока живы, дышим, особо не хвораем — спасибо и на этом.

Прочитали «Обертон». Что и говорить, песня эта спета Вами мастерски. Легко, раскованно сделана вещь, по языку она особо хороша, сказитель Вы в ней упоенный. Ландшафт словесный излажен в повести привольно, без излишнего громождения, по обзору видно далеко, оглядно. Мысли и чувству просторно на местности, и мне, как читателю, в удовольствие смотреть и под ноги, и назад на пройденное, и вперед, где еще не читано. Можно и остановиться, полюбоваться деталью без боязни, что собьешься с ритма. Вы как-то хорошо и точно вымерили пульс сказа, выбрали нужный тонус, Вашему собеседнику удобный: текст не жмет, не давит, не мнет бока, не погоняет толчками в спину, не попирает грудь — идешь везде беспрепятственно.

Вся речевая земля в повести повсюду, с первых до последних слов, орошена вдосталь и в меру, без подмоканий изгрязненных или пересохлостей коростовых. Поэтому все посеянное в повести растет крепко и одинаково сильно, не зажухло, здорово. По чувству вещь получилась горячая, свежая, речь в ней струится энергично, не по заузи изъеденных ржавью труб еле-еле пробиваясь, а течет с подпором, по прочищенному кровотоку, проточно, молодо, донося питание смысла и красоты легко до самых окраин сотворенного художественного пространства.

И хотя повесть серьезная и страстная, я, как читатель,

пройдя весь путь сказания, не измотан, а наоборот — окреп и стал бодрее, чем был. И мне вспомнить пройденное в радость. Что еще немаловажно — автор не надоел, по-прежнему ты в нем нуждаешься, он приятен, потому что видишь его спокойную, размеренную, умную силу, он не загнан, на лбу нет испарины, и руки у него не трясутся от напряжения нервического, и дышит он спокойно, ровно, хотя, хотя уже с первых абзацев знаешь про него, что волочет он не просто тяжелую ношу, но сверхзадачу, и дивишься — как это он не измотается, а так легко, споро делает свое дело? И на одном дыхании прет свою поклажу, так и до оконечного слова доносит безнатужно, а ставя точку, говорит: «Походи здесь теперь, подумай без меня, я тебе уже не нужен».

Остаешься один, а из души писатель не уходит, он врос в нее, и меня это не обременяет, он мне друг, я им обогатился. Право, здорово, Виктор Петрович, чтение ладное!

И покуда не вызвучилась могучая музыка русской речи, точное, богатое Ваше слово в украсе чистых подголосков в ней не заникнет, оно в прозвени родимого языка не утеряется, тонким слухом восчувствовано будет. И сбережется!

Моими детьми слово Ваше услышано, они давно им, как камертоном правды, сверяют многое, хотя занимаются совсем другим делом. Впрочем, все полезные, насущные дела промеж собою сладны.

Я вроде бы все время в забеге рабочем, рук сложа не держу, а сроки проходят — готового на посмотр мало. За прошлый год — три живописных портрета, только и всего, правда нехудых. Несколько месяцев работать не мог — умирала моя мама в Курске, потом похороны... Летом наконец-то зацветил давно готовую в прориси новую вещь на огромном левкасе, дел с нею еще невесть сколько. Да еще вот это словесная угрюмость сочинилась — размышления вдогон умершему прошлым декабрем другу, художнику, Царствие ему Небесное! Знаю Вашу занятость, но все же решусь послать Вам, Виктор Петрович, на прочтение свои додумки одиночества, абсолютно полного у нас здесь, только в семье и живу. Это хорошо, но творчески бывает тяжело: дело, направленное еще и вовне, безотзывное, давит изнутри. Да здесь и высказываться не к кому со своим художеством или словом, не достучишься, как в пороженесть мертвую, кулак собьешь.

После того как Вы отдали мое письмо о «Проклятых и убитых» в сибирский журнал, я снес его в журнал Новгородского университета. Напечатали, так до сих пор (год прошел) хоть бы кто полсловом кивнул в сторону того, о чем писалось, — замрело все в глухоте и немоте, как впотьме, в то время как чушь зловредная и гнусная дребезжит и газетно, и по теле-, радиоящику местному, выдуривая людям последние мозги. И с превеликой наглотой нелюди бесятся, как в последнем безумном остервенении. Все живое утопили в безбытьи эти сукины дети — интеллигенты вшивые.

Простите, Виктор Петрович, мне мою назойливость, понимаю, что много времени у Вас отниму, но глядишь — не обожгусь шибко.

Я вроде бы мужик крепкий на покач, упор под ногами есть. Но человеку нельзя долго думать о себе, что он — сплевок жизни.

Ох, Господи! Летит Россия, летит из последних сил на тяжелом, больном крыле, а люди, ее перышки, сроняются, и не по одному, а разом просыпью. И гадай — кому же досталось большее лихо: тому, кто уронился прахом в черную некудь смерти, или тем, кто до времени дышащий упал на рядовой саван нищенского дневания. И тех, и других не счесть! И до жути всех жалко.

Прощаюсь с Вами, Виктор Петрович, хоть на горечи и не принято у людей, а что поделаешь!

Дай Бог здоровья Вам и семье всей! До свидания!

Владимир Гребенников,
Новгород

20.9.96 г.

Многоуважаемый Виктор Петрович!

Извините, что я снова решилась обеспокоить Вас своим письмом. После того как я уехала от Вас, прошло несколько месяцев, но я вот лишь второй день, как добралась до дому. Долгое время жила в Москве и Подмосковье. А точнее, в г. Дубна, где обитают ядерщики.

К сожалению, результат по изданию моей рукописи остался нулевым. Да иначе и не могло быть: нужны деньги, а у меня таких средств, конечно же, нет. Хотя с рукописью знакомились три издательства и никто не сказал,

что она непригодна. Отзывы были положительными. Но я-то знаю, что за деньги можно напечатать что угодно. Один из тех, что с рукописью знакомился серьезно, сказал, что, если бы у рукописи была статья, предваряющая ее Вами, он попытался бы издать ее без предварительной оплаты. Я ему ответила, что этого я сделать не могу и что это несерьезно. Секретарь Солженицына сказала, что они берут любые рукописи только на бессрочное хранение, а с ним самим встретиться мне не удалось, он был на даче. В общем, ничего положительного по изданию рукописи не получилось.

К сожалению, я не смогла встретиться с дочерью Ельцина, Татьяной Борисовной, занимавшейся делами отца во время предвыборной кампании, а если бы это произошло, думаю, что проблема с изданием рукописи разрешилась.

У меня было велико искушение на обратном пути снова наведаться к Вам, но без предварительного на то Вашего согласия я сделать этого не отважилась. А очень уж хотелось узнать Ваше мнение о моем «литературном труде» в надежде на то, что Вы изыскали время заглянуть в рукопись посерьезнее. Я знаю, что оценить ее можно лишь после того, как прочтешь до конца, ибо ответить на вопрос, поставленный в ее конце лишь в том случае, если прочтешь ее полностью. Все пять-шесть ее частей очень взаимосвязаны.

О ее литературном качестве я не говорю, зная, что это всего лишь дилетантский труд. Вся ценность рукописи заключается в ее содержании. Это мое личное мнение, и оно, естественно, предвзято и может быть ошибочным. Но... Это вся цель и весь смысл моей жизни, и не хотелось бы их потерять. Жизни, которой никак не позавидуешь и которую вторично не проживешь.

Я понимаю, что Вы, скорее всего, щадя меня, не сказали мне об истинной ценности рукописи, что именно мне и хотелось знать. Да Вы и не могли этого сделать: для этого нужно было с нею ознакомиться более близко, чего Вы сделать не могли за неимением времени.

И цель этого к Вам письма все та же: если у Вас будет возможность всерьез вникнуть в рукопись, пусть на это уйдет еще несколько месяцев, написать мне Ваше настоящее мнение о рукописи. Стоит ли она того, чтобы думать об ее издании, или бросить это дело. Хотя я знаю, что будь у меня средства, ее бы не раздумывая издали уже

через два месяца, как сказал мне один из познакомившихся с нею издателей. Еще раз извините за отнятое у Вас время.

С большим уважением и самыми наилучшими пожеланиями, главное в здоровье, и Вам, и всей Вашей семье: и супруге, и внучке.

Изините за назойливость.

Екатерина Логиновна Сергиенко

30.9.96 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Пишет Вам Клепацкая Лариса Дмитриевна из Петербурга.

Прочла «Обертон», прочла 3 раза, после третьего чтения завидую тому, кому предстоит чтение, кто еще не читал.

Понравилось очень, после третьего раза заплакала, после третьего чтения стала думать, как в 9 и 7 классах — прочитать, или рассказать, или проанализировать. Думаю уже неделю. Не могу, чтобы учащиеся, которые так полюбили прочитанные в прошлом году Ваши произведения, не узнали «Обертона». Ну, а некоторые отрывки, несомненно, использую на уроках русского языка, самые лучшие, на мой взгляд, выучим наизусть. Стоит передо мной проблема, как до родителей донести Ваше произведение.

Как много горестных слов в повести о России и русских людях, и все они, почти до единого, совпадают с моими чувствами, мыслями, думами. Но больше всего меня растрогал, поразил самый конец повести, где говорите Вы о детях, к которым милосердней будет время, может быть. Ну, а когда Вы заговорили об обертоне в конце повести, тут я совсем уж не могла. Вы удивительный писатель, Вы чувствуете, вероятно, тот момент, когда чувства читателя обострены, когда Высший момент единения душ — читателя, автора, героев — настал.

«Да что вы, Наталья Дмитриевна?! Что вы? — Я обнял ее осторожно, поцеловал в голову... и я вдруг, сминая слова, торопясь, рассказал ей о совхозе «Победа», о встрече с Беллой, которую оставил средь дороги, о том, как страшно все погибли...

— Ни следочка, ни памяти! — плакал я».

После этих слов я вдруг полюбила героя так сильно,

проникаясь к нему какой-то неземной нежностью. До этого были страницы, эпизоды, где он мне не нравился. А конец?! Прекрасно! мне думается, что вы своему герою отдали много личного, потаенного, свою Думу, душу Великого и самого Простого Русского человека.

Мне очень понравились все герои, женщины — удивительные, кто бы они ни были, в каких бы условиях ни жили. Мне понравилось Ваше отношение к героям.

И не могу не сказать о Великой Силе Искусства. Когда я в метро читала страницы о пении Любы, я до того забылась, что стала читать вслух и вдруг остановилась, пораженная тишиной. Все окружающие меня люди затихли и смотрели на меня с превеликим удивлением (не знаю, что подумали), но я скоро вышла из вагона. Вот такой странный случай. Прекрасная песня (слова), вероятно, и мелодия удивительная, но я, к сожалению, ее не знаю. Мне очень понравился этот кусок повести. Ваш язык — необыкновенен, и моя задача увидеть в каждой маме то прекрасное, что поможет ей (и мне) тоже раскрыть истинно человеческое, увидеть, «какой силой наделил... женщину Создатель»!

Уважаемый Виктор Петрович! Если разрешите, я пришлю Вам написанную мной и Василием рецензию. Ему повесть очень понравилась, и я согласилась с ним, что в ней очень много от романа «Прокляты и убиты». Это любимое современное произведение моего сына Василия.

Думаю, что должна буду Вам сказать, что после третьего прочтения почему-то сразу вспомнились «Записки сумасшедшего» Н. В. Гоголя. Не знаю почему, но и теперь не могу отделаться от какой-то общности этих произведений. Прошу прощения, если это кажется вам неуместным, но тем не менее...

Дорогой Виктор Петрович! Я благодарю Вас за Ваш труд, за Вашу повесть. Спасибо.

Итак, вывод — показать учащимся и их родителям чудо русского слова, чтобы это произведение смягчило их характер — и «их сердце ныть перестанет», — чтобы трепетало их сердце великим сочувствием к человеку. До свиданья. Здоровья Вам! Силы, Веры.

С глубоким уважением ***Клепацкая Лариса Дмитриевна,***
Санкт-Петербург

2.10.96 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Это письмо я начала писать Вам мысленно больше двадцати лет назад — с тех пор, как подарили моему сыну книгу «Синие сумерки». Посмотрела автора — фамилия незнакомая. Открыла книгу, и с первых строчек душу охватил такой покой, такая тишина, что я сразу поняла: вот оно, настоящее! Прочла книгу залпом, без остановок, следя только за фабулой, потом второй раз, медленно, внимательно. Особенно поразили меня рассказы о детстве.

Дело в том, что я почти Ваша ровесница, росла в Предуралье (Ижевск, на окраине города), быт там почти деревенский, обычаи, уклад жизни, язык тот же, что и в Сибири. И в этих рассказах вставали картины буквально моего собственного детства. Все узнаваемо, все родное. Потрясающе! И сундук у нас такой же был, только картинки были другие — не генералы, а красавицы на лаковой обертке от туалетного мыла, и даже жестяная шкатулка с китайцами! Стояла она у нас на кухне, на полке, рядом с бураком* (полдня мучилась, вспоминая название) из бересты, пожелтевшим, коричневым от времени, в нем хранилась соль.

Когда прочла о скандалах в доме Бетехтиных, меня как громом поразило: ведь и это я видела!

В доме напротив, у Сазоновых, жили молодые еще супруги, и почти каждый выходной повторялась картина: она бежит по улице, расхристанная, патлатая, а за ней — он, пьяный, с дикими глазами, с проклятьями, с кулаками, а то и с ножом. Вся улица упивалась этой картиной: у Сазоновых опять дерутся! Из-за занавесок, в щелях заборов, в подворотнях торчали любопытные глаза.

Я восхищаюсь Вашей памятью. Многие слова и обороты речи вспомнились мне. Треко, ларь, заплот, вехотка, простокиша, Таля, дак, чё ли. У моей подружки, Зойки Сидоровой, мать так говорила: «идешь ли, чё ли?», «ладом», «базлать», «морговать» — вот словечки и выражения, давно и прочно мною забытые.

Я еще тогда подумала: хорошо бы все эти рассказы соединить в одну отдельную книгу.

Я вообще люблю книги о детстве, о жизни. Толстой,

---

* Туес

Горький, Аксаков, Паустовский, Ковалевская — «Моя жизнь», Смирнов — «Открытие мира», Вертинский — «Дорогой длинною», Н. Сац — «Новеллы моей жизни», Гурченко — «Мое взрослое детство» — вот мое любимое чтение.

Из ваших рассказов-новелл, как живой, встает образ бабушки. Я в детстве очень сожалела, что у меня нет бабушки. Маме всегда некогда, а вот бабушка — другое дело!

Мою подружку, Зойку Сазонову, как-то остригли наголо, она горько плачет, а бабушка, которую все звали Хохлихой, сидит на лавочке, обняла Зойку, прикрыла ее стриженую голову шалью и утешает ее: «Не плачь, батюшко, волосики ишшо вырастут!» И мне стало так завидно — ведь меня так никто не приголубит!..

Ваша бабушка стала моей собственной бабушкой. Я помню, как в одном из каких-то очень далеких съездов писателей кто-то из них писал в «ЛГ» (в те далекие времена, когда я еще могла выписывать 5—6 газет и 3—4 журнала): «Астафьев все бьет поклоны своей бабушке». Я за вас оскорбилась. Из них никто не сообразил не только бить поклоны, но даже сказать простое спасибо своей бабушке.

А дедушка, Илья Евграфович, добрейшая душа, упорный молчун! У меня отец был такой же немногословный. Бывало, мать скажет:

— Чё ты все молчишь?

— А што говорить-то?

Я своих деда и бабушку знаю только по старинной семейной фотографии. Дед — русский крестьянин с очень добрым лицом. Он переехал с семьей в Ижевск, на завод, и проработал там остаток жизни, пока не ослеп. Умер в тысяча девятьсот двадцать шестом году, когда я только что родилась. А бабушка моя, рассказывал отец, да и на фото видно, была суровая, неулыбчивая, строгая характером.

Так вот, «Синие сумерки» стали моей любимой настольной книгой. Всем своим друзьям и коллегам я говорила и писала: «Я открыла нового замечательного русского писателя — Астафьева! Читайте. Это сама жизнь». И всякий раз, когда были какие-то неприятности, или просто уставала, или было тяжело на душе — я брала книгу и покой нисходил на меня, я возвращалась в свое детство. Я прочла эти рассказы не менее 14 раз. Ни одну книгу в жизни я не перечитывала столько!

Вначале с каждым новым прочтением я открывала для себя все новые подробности, новые краски, новые грани, а потом зачитала настолько, что выучила чуть ли не наизусть, и уже не было прежнего восторга. Тогда я пошла на хитрость. Нарочно по полгода, по году не прикасалась к книге, а потом читала снова!

С тех пор я стала искать в библиотеках все, что есть, Астафьева. Помню, следующая книга, которая попала мне в библиотеке, была малюсенького формата — «Затеси». Я тоже прочла ее букально взахлеб, и так ясно представляю себе зимнюю ночь, лунную, снег горит искрами. Удивительно: я как будто вижу и слышу все, что написано там.

Потом мне дали прочесть «Последний поклон». Как хорошо, что Вы это в одной книге! Забегая вперед, скажу, что, когда я читала третий том шеститомника, я с удивлением и радостью обнаружила в некоторых рассказах по нескольку раз в предложениях — новое, а в «Монахе» и в «Бабушкином празднике» даже большие вставки, свежие для меня, незачитанные мною, и прочла их с огромным удовольствием.

Потом, когда гостила у брата в Ижевске, прочла «Царь-рыбу». Читала не отрываясь. Эта вещь буквально околдовала меня. Потом «Сон о белых горах». Один раз случайно в маленьком магазинчике, в букинистическом отделе просматривала книги и вот вижу «Наш современник» № 1 за 1971 год. Главы из «Последнего поклона», которые я еще не читала! Я буквально схватила этот журнал! И опять все это — родные картины! У меня был брат старше меня на 6 лет. Как он играл в бабки! Как здорово у Вас написано — и первая травка на только что оттаявшей земле, и запах снега в воздухе, и мальчишки, играющие в бабки у забора (у заплота). И их азарт, и ссоры. И мальчишеские игры в лапту, в чижика, в кол-балду.

Улица была широкая, и ребята дотемна гоняли по ней, играли, ссорились, дрались, мирились. Этот журнал я тоже берегу, и прочитан он без числа!

А совсем недавно, может, лет пять назад или меньше, в магазине «Военная книга», где есть и цивильный отдел, спрашиваю, что есть Астафьева. И мне выносят первые три тома шеститомника! Радости моей не было границ! Через несколько дней я опомнилась — что же я себе-то купила, а ведь надо брать еще для подарка моей приятельнице. Пошла. Уже нет! Да потом, мне кажется, Украина не очень-то закупает книги русских писателей или вооб-

ще книг не берет. На Украине не до книг! А частники в основном ориентируются на тот слой читателей, которых интересуют разные «анжелики», фантастика да проблемы секса.

Не могу себе простить, что несколько лет назад, когда я еще работала, попадался мне «Зрячий посох». Пожмотилась тогда, не купила, что-то не было денег, а потом так и не пришлось увидеть и прочесть.

Еще кроме «Сумерек» и журнала у меня есть Ваши книги: «Всему свой час», «Жизнь прожить», «Военные страницы», «Пастух и пастушка» и первые три тома шеститомника. Да еще «ЛГ», в которой три Ваших рассказа ко Дню кино. Мало, бесконечно мало! «ЛГ» покупает сын, когда она ему попадается, и обязательно отдает мне.

В середине августа была в Одессе книжная ярмарка. Открывали с помпой отцы города. Выступал Жванецкий. Вход в главный корпус ярмарки стоил 150 тысяч карбованцев — позор! Разве можно за свидание с книгой брать деньги?! Сто пятьдесят тысяч — вроде не очень много, мы ведь на Украине, где все теперь миллионеры, правда, большинство — нищие миллионеры. Это стоимость белых булок по 1 кг весом или цена трех кусков хоз. мыла. Но 33% населения Одессы живет ниже низшей черты бедности. Эти данные опубликованы в местной газете «Слово». Вот им и остается 150 тысяч или даже меньше на каждый день — на питание и гулянье, на одежду и надежду, на увеличение и на развлечение. Тут уж не до книг. А теперь у нас ввели гривну — один черт! Классики на ярмарке были как единичные вкрапления. Позор! Ваших книг не было ни одной. Позор!

Конечно, я читаю не только о детстве. Обо всем просто сказать нельзя. Как здорово у Вас описаны сумерки в тайге и лесное озерцо, и как «свивалась струйка клубком в посудине» — точнее и поэтичнее сказать невозможно. Я точно вижу все это. Или описание елки в «О чем ты плачешь, ель?» До боли в душе все это такое родное, что выразить не могу. Нам, жителям каменных коробок в городах, прочесть такой рассказ — все равно что побывать в лесу. В Одессе и леса-то нет, а в родной Ижевск уже и не попасть! И не к кому, и по другим причинам.

«Ясным ли днем» — какая поэтическая вещь! Как точно переданы все движения души героя, как чудесно все это выражается в диалогах. Как неподражаемо точен и красочен наш уральский выговор!

Родной язык — великая сила! Я как-то раньше не задумывалась над тем, что главная ценность народа — его язык. А теперь, прожив почти сорок лет на Украине, отчетливо понимаю, что это верно.

В Одессе все не такое. Здесь говорят «мьясо», «мьед», «я за вами соскучилась»... «Займите мне денег» (вместо — «дайте взаймы»). «Где ты идешь» (вместо «куда»)... Здесь ударения делают не по-нашему. «Пересыпь. Тирасполь-ская. Он так пережил».

Лет двадцать назад мне случилось плыть из Ростова-на Дону на север, в родной Ижевск. На этом же теплоходе плыли домой ребятишки-пермяки 10—12 лет со своей учительницей — целый класс. Я не могла наслушаться их речи! Это было для меня как самая лучшая музыка на свете! Просто душа отдыхала.

А вот теперь у нас на Украине Кучма обещал сделать русский язык — вторым государственным. Да, видно, не смог или не захотел. В Одессе, где 70% русскоязычных, процветает украинский национализм. Даже моя коллега-украинка, с которой мы дружили 30 лет, которая немало видела добра от меня, когда Украина стала независимой (так и хочется добавить — от здравого смысла) и я выразила недовольство этим актом, заявила мне: «Не нравится? Уезжай, никто не держит».

Вот так друг! А теперь сама стонет — жизнь невыносима. Я согласна, надо знать язык той страны, где живешь, но приучать людей надо ненасильственно, и постепенно. На Украине везде возвеличивают и восхваляют Шевченко. И замалчивают Гоголя. Не потому ли, что Гоголь писал по-русски и ни разу, как Шевченко, не предавал анафеме москалей?

По ТВ тоже сплошная украинизация, два канала у нас полностью на украинском языке. Еще один занимает Одесса. Мало того — Украина влезает и в Российский канал и на ОРТ. На ОРТ с 10 до 18 часов по российскому времени нет передач. Тишина. После новостей и до программы «Время» московские передачи тоже заменяются киевскими, правда, на русском языке. С марта сего года перестали транслировать прекрасную, умную, занимательную передачу «Умники и умницы». Уже несколько раз не показывали «Если». Давно уже не показывают «Тему» и «Играй, гармонь», но иногда показывают утром на другой день. И что обидно — ведь ничего равноценного не пред-

лагается взамен. Но без конца реклама и мексиканские сериалы. На радио тоже почти круглые сутки украинская мова. Уже больше года не транслируется «Маяк».

Ну, слишком далеко увело меня рассуждение о языках.

У меня вкус к чтению определился давно. Из классиков мой кумир, конечно, Пушкин. Люблю А. Н. Островского, Гончарова, Некрасова. Из современников многих читаю с удовольствием, но любимого как-то не было. Теперь есть. Вы — мой любимый современный писатель.

Спасибо, что Вы есть. Что Вы такой, какой есть. Что после ужасных лет в Игарке сохранили душу живу. Что Вы — надежный и верный человек. Что выбрали в спутницы жизни нашу, уральскую. Что Вы вернули мне мое детство, стоит открыть книгу и погрузиться в нее.

Желаю Вам много-много сил и здоровья, чтобы Вы могли написать все, что задумано. Сердечный привет и наилучшие пожелания Вашей супруге, сыну и его семье, внукам и внучке.

Почитательница Вашего таланта — Шкляева Валентина Ивановна.

Да, дорогой Виктор Петрович! Наверное, многие письма к Вам заканчиваются одинаково — просьбой прислать книгу. Я не исключение. Но я знаю, что на этих пересылках разориться можно. Теперь это очень дорого, тем более в другое государство. Если можно, прошу выслать наложенным платежом, Я в состоянии заплатить. Хотелось бы 4, 5, 6 тома шеститомника. Или окончание «Последнего поклона», или «Прокляты и убиты». А если этого ничего нет, то любую Вашу книгу из тех, что у меня нет. Хорошо бы с автографом.

Извините за такое длинное и многословное письмо. С огромным к Вам уважением

В. Шкляева,
Одесса

[1996 год]

Дорогой Борис! (Черных)

Этот «Крик в ночи», конечно, написан умным мужиком, но, вероятно, из тех самоуверенных интеллектуалов, которые считают, что умнее их на свете нет и быть не

может. Односторонности и отсебятины не избежал он и в истолковании «вечных» истин, как Боговых так и человеческих. И самое большое, непростительное в суждениях Грицюка, когда он уподобливается злому обывателю, поддается его самой оголтелой и живучей демагогии, там, где дело доходит до суждений об интеллигенции. Причем суждения Грицюка мало отличаются от рассуждений галифастых комиссаришек и деятелей комбедов, которые точно опознавали интеллигенцию: раз в очках и в шляпе, тем паче в пенсне — стреляй его, падлу, — интеллигент!

И в рассуждениях о том, кто имеет отношение к Руси и кому разрешается на ней и в ней жить, Грицюк близок к установкам Зюганова и его подвижников. Сановитость и претензия на исключительность всегда приземляют человека, оскопляют его мысли, и даже если он приветствует «коммунистический химер», сам того не сознавая, впадает в коммунистическую категоричность и спекулятивное суесловие.

У меня нет сейчас времени и здоровья обширно возразить разгульной демагогии Грицюка, но и в папке моей хранятся письма художника из Новгорода Владимира Гребенникова, последнее из них, думаю, будет толковым и убедительным ответом Вашему автору и твоему, Борис, другу.

Пусть Вас не смущает, что письмо начинается с отклика на мой роман. Сие лишь повод для разговора. Чтобы у Вас не создалось впечатление, что письмо это пишет праздный, в «словесную дурь» впавший человек или бездельник, от излишества свободного времени, в целях «независимости» духа и жизни подавшийся работать в дворники иль кочегары и там, за горячим котлом, с похмелья изливающийся философскими откровениями, которые всенепременно выведут его в отчаянные борцы за свободу своего и всех угнетенных народов, и он будет носить звание — диссидент, как провинциальный народный артист юбилейную медаль на пиджаке.

Автор этой статьи-письма — человек многосемейный, обстоятельный, если мне память не изменяет, ребятишек у него семеро, они долго ютились в трехкомнатной «хрущевке» и жили огородом. Все ребятишки в семье труженики, с малолетства добывающие свой хлеб трудом, и не только земляным. Насколько я знаю и слышу, старшие уже вышли «в люди», старшие сын и дочь сделались художниками, обзавелись семьями, имеют детей. Когда сде-

лалось тесно в «хрущевке», независимый ни от кого, кроме Бога, никакой власти не признающий глава семьи попросил участок земли рядом с заброшенным и запущенным собором, с тем, чтобы срубить два дома — себе и детям, — и доглядывать храм. Они семейно срубили большие, основательные дома, а уж как художник Гребенников умеет обиходить, украсить и обставить жилище, я видел, будучи в Новгороде.

И художник Владимир Гребенников не последнего ряда, художник синтетический, из дерева, золота, прикладных материалов и ярких красок сотворяющий такие полотна, скульптуры и что-то совершенно новое, необъяснимое, что невольно замираешь перед его божественными творениями. Он долго упорствовал, никому не продавал свои работы, надеясь, что родные ценители искусства, Отечество наше заинтересуются его творениями. Нет, почти невостребованно, не боюсь этого слова, Великого современного художника. Слух до меня дошел, что некоторые замечательные его работы уже уплыли за далекую границу — «Распятие» и «Русь светлая». Если это так (жить-то и Гребенниковым надо, да еще и строились в годы инфляции), я готов плакать и проклинать равнодушие наше к скромным нуждам наших бессребренников, творцов наших и впадающих в интеллектуальную истерию тех ценителей, что восславляют и рекламируют всяческую модную мазню.

Я потому позволил себе так подробно написать об авторе письма, что празднословие, политическая трескотня затопили наше шаткое общество. Кругом ждут «хорошую власть», которая каши даст и жизнь наладит, а Гребенниковы, количество их по Руси, к сожалению, убывает стремительно, добывают все своим трудом и очень не любят, когда им мешают жить своим трудом блудословы и бездельники.

Получил последний номер «О. с.»* и с удивлением увидел хвастливое, самоздравное интервью с общественным деятелем Есиным, который хвалится тем, что в Литинституте, им ведомом, нет ни пьяниц, ни хулиганов, ни подозрительных студентов, — в институте ныне все правильно, не шляются по общежитию разные Рубцовы, Передреевы, Мерзликины, Беловы, Сафоновы, Олжасы Сулей-

---

* «Очарованного странника».

меновы — все, как из показательного крыловского хора. «Они хотя немножко и дерут, зато уж в рот хмельного не берут».

Вы хотя бы из чувства брезгливости не пускали на чистые полосы своей пока еще не загрязненной газеты, Есиных-то, тем более в один номер со светлым мучеником, несгибаемым бойцом, честнейшим человеком нашего чудовищного времени — Василием Стусом, который, кстати, замучен в Кучинском политлагере, что неподалеку от города Чусового, где я прожил почти восемнадцать лет. В газете «Чусовской рабочий», оскверняя родное слово, я прославлял любимых вождей и неутомимых советских тружеников, ничего не зная о Кучинском лагере, ибо весь западный склон Урала был осыпан лагерями разного профиля. В некоторых я бывал и позднее изобразил их в меру сил своих, но к Кучинскому лагерю нас, верноподданных горе-журналистов, и на винтовочный выстрел не подпускали.

А ныне ...ныне решено на базе кучинского смертного полигона, где тренировались коммунистические мясники, создать мемориал политических лагерей и возглавить это заведение поручено сокурснику по Пермскому университету и другу моего сына, если, конечно, не спохватились, не раздумали те, кто там, в Кучино, перевоспитывал, идейно направлял разных стусов, а ныне заседает в обкомах, переименованных в администрации и разные отстойники для бывших партократов вроде страховых и коммерческих компаний.

Очень хороши в «О. с.» стихи, особенно из города Мышкино поэта Смирнова, а строки из стихотворения Поворова Владимира: «...теперь вот из трамвая ты жаждешь высадить меня» будто адресованы напрямую Грицюку. Очень хорош очерк Илюшина о переселении с материка на остров допризывников, а описание армейского «дэнди», самого себя украсившего, снарядившего для жизни на материке и потрясения советского простофилистого общества и для сокрушения слабого пола, — это прямо шедевр, на уровне Гоголя исполненный. И вообще, в очерке у «Странника» удач больше, чем в рассказах и повестях.

Семинар, затеваемый в Ярославле, в наши дни можно почесть уже подвигом отчаянных русских людей. Когда заведется счет семинара или адрес, сообщите. В Красно-

ярске создан фонд моего имени, и я попрошу из него перечислить вам какую-то сумму, а пока иду подписываться на газеты и переведу вам деньжонок на «О. с.».

В. Астафьев

6.10.96 г.

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович,
любимый мой писатель!

Страшновато мне было браться за это письмо, ведь у Вас нет лишнего времени, но очень хочу признаться Вам в любви к Вашим книгам и Вам как Личности. Низкий поклон Вам за Ваш «Последний поклон»! Читала с необыкновенной жадностью и не чувствовала, что это книга — это жизнь, рассказанная удивительно талантливо, читала упиваясь (не бойтесь, я не пью), смеялась и плакала, страшно переживала. Сердечная, увлекательная, правдивая книга. (Алексею Максимычу очень-очень далеко до Вас.) Вот как прочитала ее, с тех пор первого сентября приносила эту книгу во все классы, с пятого по одиннадцатый! (С этого года я насовсем на пенсии.) Слушают дети, удивляются, до чего интересно, доходит до самого сердца, а раньше ведь и не подозревали, что за сокровище эта книга. Ученица Женечка Егорова подарила мне «Последний поклон», красиво, с любовью подписала, это было для меня так неожиданно, так радостно. А Женя сама такая умница, такая кроткая, добрая, но и немало пережившая девочка. Все, что у меня есть Вашего, я прочла. С каким воодушевлением, восторгом и любовью в 11-м классе читала эпизод под лестницей из «Печального детектива», написано гениально (!), куда там «Трем мушкетерам»! И другие потрясающие эпизоды из этой книги... пишу, и меня охватывает волнение! Ах, спасибо Вам за талант, за Ваш гений, за то, что смогли выжить и поведать потомкам о своей и нашей жизни. Учительницу, некогда отвергшую «Последний поклон», считаю странным и случайным явлением в школе, по недоразумению попавшим в преподаватели литературы, она заблудилась. Она-то и послужила причиной написания этого письма, негодую, протестую против непрофессионализма. Понятно всякому: беда, коль сапоги начнет тачать пирожник...

Раньше любимыми были «Русский лес», «Eugenia

Ivanovna» Леонида Максимовича Леонова, а с конца 80-х — Ваши книги; «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова; «Очарованный странник», «Тупейный художник» Николая Семеновича Лескова. Когда становится тяжело, я перечитываю эти книги.

Знаете, Виктор Петрович, роман «Прокляты и убиты» я боялась начать; на обложке «Роман-газеты» такая иллюстрация... Читать все-таки начала, уже не могла оторваться от книги, столько слез пролила. Это трагедия в прозе. В ней жуткая правда. Как жаль русских людей. Живем мы с сыном в Созиме с 1991 года, приехали сюда из Молдовы в октябре, а с января 1992 года повысились цены, учительницы-подруги мои писали мне: тебе хорошо, ты успела... до повышения. Меня выручает иногда интуиция. Во время войны я была в детдоме в эвакуации, было мне 4 или 5 лет. Все дети легли спать, я легла, а свои туфельки спрятала почему-то под матрасик, что-то мне не спалось. Ночью входит вдруг мужик с мешком и собирает у всех деток сандалики. Когда он подошел ко мне, я от страха закрыла глаза. Он не нашел у меня ничего, поднял матрас в конце, а я-то их спрятала в середку; утром все детки в палате босые, только я обутая. Зато меня водили на допрос в милицию. Наш детдом был в Андижане, а братов (Царство ему Небесное, он умер в 88-м году в Акмолинске, геолог) — в Байтоке. Вот и теперь, в это смутное время, сработала моя интуиция. Отец мой, Лыков Семен Васильевич, воевать кончил в Молдавии, а так партизанил с братьями в Курской области — это моя родина. Мама умерла в 1989 г. в Котовске, это в 36 км от Кишинева, с ней я не могла ехать, больная и немощная она была. (Царство им Небесное). Созим я нашла по адресу в «Учительской газете» — вот и махнули мы с сыном сюда, мне 53 года, ему 13, сейчас ему 18 лет, он работает на заводе.

Всю сознательную жизнь хотелось мне вернуться в Россию, на родину. Но горько нам пришлось здесь, особенно вначале. Обматерили с первых дней подростки и ребятня, с ног до головы облили грязью. Первые два года я болела все время и должна была умереть. Сын возненавидел Созим, все время убегал, я привозила его из детприютов: Кирса, Петропавловска, из Кишинева. Как-то сын был в бегах, я болею, чувствую смерть моя близко, наконец кончатся мои мучения, до того плохо. Забылась, вдруг слышу: по коридору тяжелые, гулкие шаги, волосы на затылке у меня зашевелились от страха, как закричу:

«Кто там? Ведь я же закрыла дверь!» Вдруг дверь стала открываться, я бросилась, хочу закрыть... вдруг кто-то ее закрыл. Все пропало, ни стены, ни двери. Неземной красивый алый свет, цветы, никогда мной невиданные. Тихо, блаженно, так хорошо... Открываю глаза: дверь закрыта, я живая, но понимаю, что была на том свете, Ангел мой спас меня. Бог оставил меня еще пожить на земле. Очень неласково встретила нас юная Россия. Матерятся здесь страшно от мала до велика, а я не могу, ведь от своих родителей не слышала никогда и худого слова, и не хочу так одичать. Пьют и матерятся жутко, за редкими исключениями встречаются и цивилизованные люди. Странные вещи происходят со мной в России. Дважды видела я призраков, правда, людей живых. Поехала на экскурсию с ребятами в Киров, купила там две иконы в Успенском соборе Трифонова монастыря! Казанской Пресвятой Богородицы с младенцем Иисусом Христом и Иисуса Христа Вседержителя; два молитвенника, крестик такой, какой хотела. Стала молиться утром и вечером, теперь многие молитвы наизусть знаю. Три года молюсь — ни разу не была на больничном, сейчас мне 58 лет. В прошлом году крестилась в Кирсинской церкви. Через 12 дней после этого приехала опять в Кирс с сыном на комиссию по делам несовершеннолетних, стою в коридоре напротив роно, разговариваю с сотрудницей. Вдруг к моим ногам с космической скоростью подлетают три колеса сказочной красоты, стремительно вращаются, излучают необыкновенный, неземной свет: ободки золотые, середина паче снега белее. Стою, смотрю, радостно мне, улыбаюсь, говорю Тамаре Геннадьевне: «Смотрите, какие колесики!» «Ничего не вижу!» — отвечает она. Смотрю вокруг, вверх кругом свет разлился, весь коридор светлый стал. А сын зовет: «Мама, идем, уже началось». А колесики прямо у ног. Я говорю им: «Ну, идите!» Все пропало. В книге о Сергии Радонежском я прочитала, что свет — это Бог слышит того, кто Ему молится. А в тот момент я ничего не понимала, но это был счастливый, светлый миг в моей жизни! Я все записала как было, через 12 дней сочинила об этом стихи.

Вот что интересное произошло со мной в России, так далеко от Молдавии, где прожила я почти всю свою сознательную жизнь. Когда вижу во сне улицы, по которым столько исхожено, дома в Котовске (теперь Хынчешить; кстати, молдаване простые так и называли его всегда по-

старому, «Котовск» им не привился)» — просыпаюсь, плачу от радости, здесь я совершенно одна, всем чужая, и мне все чужие, в мои годы не обзаводятся подругами... Переписываюсь со своей университетской подругой. А любимый мой, с которым судьба разлучила меня, и две учительницы-подруги из Котовска (Царство им Небесное) уже в ином мире, я молюсь за них.

Вот об этом мне хотелось Вам рассказать. Простите великодушно за украденное время. Храни Вас Господь.

Раиса Семеновна

[1996 год]

Уважаемый Виктор Петрович!

Решил обратиться к Вам с письмом, чтобы затронуть одну из трагических сторон нашей истории.

Нам, сибирякам, пожалуй, наиболее близко и понятно Ваше творчество. Прошло уже много лет, как я прочел «Последний поклон». Эта повесть оставила во мне глубокий след своим правдивым и волнующим показом и раскрытием довоенного периода нашей жизни. И хотя она автобиографична, у меня было такое ощущение, будто все описанное в ней происходило со мною или совсем рядом со мною — столько здесь схожего, созвучного, я бы сказал, родственного. Видимо, в этом и состоит истинно художественная ценность Ваших произведений — затрагивать сокровенные чувства и мысли, раскрывать величие человека, его извечное стремление к добру и свету, а главное — к нравственному совершенству.

Я моложе Вас — 1927 года рождения, в боевых действиях принимал участие лишь на востоке — с Японией. Прослужив около семи лет на Тихоокеанском флоте, я после демобилизации работал, закончил Читинский пединститут, преподавал в школе. В 1957 году был направлен на учебно-воспитательную работу в органы МВД по линии ИТУ. Отдав около 30 лет этой службе, вышел на пенсию.

Со студенческих лет увлекся краеведением, стал заниматься в архивах. Моя курсовая работа была посвящена теме «Ф. В. Гладков в Забайкалье». Эта работа затем была помещена в «Ученых записках» Читинского государственного пединститута.

Со средины 60-х годов стал накапливать и систематизировать материалы по истории Забайкальской милиции. Это явилось основой для создания музея УВД, которым я и заведую вот уже несколько лет. За последние два года познакомился с рядом архивных документов по репрессиям 30-х годов в Забайкалье, кое-что опубликовал в местной печати, в журналах «Советская милиция», «Воспитание и правопорядок», «Север», в альманахе «Енисей».

А сейчас заинтересовался новой проблемой — раскулачиванием в нашем крае. Изучил в архивах несколько десятков томов. Оказывается, эта тема была по существу нетронутой. Знакомясь с документами, прихожу к выводу, что раскулачивание — это генеральная репетиция 37-го года. Вот где по-настоящему начал раскручиваться маховик репрессий, подкосивший основательно сельское хозяйство, погубивший истинных тружеников земли. Безжалостность к людям становилась нормой жизни.

Разыскал несколько ныне здравствующих «кулацких» семей, в частности Григория Григорьевича и Анну Федоровну Бурдуковских (им соответствввенно 90 и 86), записал их воспоминания, нашел и документы, их касающиеся. Сколько же эта семья (как и другие, подобные ей) перетерпела в своей жизни, проделав путь от приграничного с Маньчжурией села Кыра до Игарки, где и пробыла 18 с лишним лет. Проходили они и Ваши родные места, о чем особо подчеркнули.

Вот это-то упоминание Вашего имени и натолкнуло меня на мысль написать Вам,

Не всякий крестьянин мог предположить, что в конце 20-х — начале 30-х годов на тех, кто подпадет под злополучное определение «зажиточный», обрушится такой потрясающей силы удар. Да не дай Боже, если в хозяйстве в личном пользовании была «техника»: сеялка, молотилка, конные грабли, а еще хуже — мельница, (своедельная, как, например, у семьи Бурдуковских, на маленькой речушке сооруженная).

Но были и своего рода провидцы, как мой дед по матери, к примеру, — Павел Александрович Конюков, 1860 года рождения. Имел он крепкое хозяйство, любил во всем порядок, жил безбедно. Получив звание «лишенца», он с тремя сыновьями и двумя дочерьми, почуяв недобрую ситуацию, в 1928 году из родного села Шишкино (в 37 километрах от Читы), всем большим семейством выехал в тайгу, на Витим, где и обосновался. Занимались охотой, рыб-

ной ловлей, кустарничеством. Детские впечатления о виденном и пережитом живы до сих пор — они перекликаются с Вашими: сибиряки везде сибиряки.

Помню я свой последний приезд к деду Павлу летом 1937 года в маленькое село Бугунда на берегу Витима, где он жил. Наша семья проживала в 20 километрах от него — в селе Юмурчен, где была начальная школа, а отец мой работал председателем сельсовета, обеспечивал план пушнозаготовок (весною 1938 г. был арестован по 58-й статье, но в конце года выпущен из тюрьмы).

Помню, бегаем мы с ребятами, резвимся и непроизвольно заглянем в избу к деду, а он в это время, стоя на коленях, молится. Весь угол избы сверху донизу — в иконах, горит лампадка.

— А ну, ребята, на колени, молитесь, — прикажет он.

Мы послушно исполняем его волю. Молимся. Рука устает, перестаем креститься. А он, не поворачиваясь, все видит:

— Ай-я-я, как нехорошо, — скажет он.

Мы опять усиленно начинаем молиться. Вскоре он нас пожалеет:

— Ну, бегите, играйте, ребята.

Мы стремглав убегаем.

А вечером посмотрит мои тетрадки (он просил их привезти, показать ему), где преобладали хорошие и отличные отметки, похвалит меня, погладит по голове и скажет: «учись и дальше хорошо, будь умницей». Это было редкой, но высшей похвалой. Показывал он мне свои «божественные» книги. Их было много — толстые, красочные, хорошо оформленные.

Запомнились мне картинки, где грешные люди попадают в ад...

В конце 1937 года моего 77-летнего деда Павла арестовали. У него уже были больные ноги — ходил с костылями. В морозные ноябрьские дни его везли по таежным тропам несколько суток — доставляли в районный центр в тюрьму.

Летом 1938 года в тюремной больнице он и скончался. Более подробно о нем я узнал в прошлом году, ознакомившись с его архивно-следственным делом в управлении КГБ.

31 декабря 1937 г. тройкой НКВД дед был осужден по ст. 58-10 на 10 лет лишения свободы и обвинялся в том,

что «проживая на территории Аламатского с/совета, систематически проводил а/с агитацию, используя религиозные убеждения верующих, проводил читки Библии, предсказывал падение Соввласти и призывал на борьбу с большевизмом, активно выступал против проводимых мероприятий советской власти».

Во время допроса 30 ноября 1937 года на вопрос следователя Попова: «Скажите, Конюков, по вашему значит, что в нашей стране социализм не построен?» последовал ответ:

«По-моему не построен, и к тому же он должен быть построен на духовном основании, т. е. на правде истинной, когда не будет таких людей, которые воруют, убивают и т. д.»

Но главным в обвинении были показания бывшего учителя Рудина, соседа, который 25 ноября 1937 г. показал на деда:

«Человек он — глубоко верующий, все время молится и поет, но один, особенно утром и вечером. В частых разговорах с последним он все всегда твердит одно: «Так должно быть. Нам пророки говорили правду. Красный дракон должен пройти всю землю, но он будет убит. Должны встать семь царей и убить этого дракона, а потом на три года воцарится монарх-антихрист. Советская власть, а также возглавляющие ее коммунисты должны быть, по писанию, истреблены».

Этот же свидетель поведал, что дед когда-то был станичным атаманом (по делу значится: в 1887—89 гг.). А это — был в то время серьезный криминал.

Я знавал этого Рудина, дружил с его дочкой, но никогда не мог и подумать, что он окажется таким. Были еще два более мелких показания односельчан, причем таких людишек, которые, как говорится, не выводились из дома деда — он их и кормил, и поил.

Вот так, «убежав» от раскулачивания в тайгу, спасшись от одной расправы, мой дед не ушел от другой — в 1938 году.

Семья Бурдуковских была первый раз раскулачена в 1930 году как «лишенцы» и «зажиточные» — с конфискацией имущества. Глава семьи был направлен отбывать трудовую повинность — на лесозаготовки. В марте 1931 года эта семья подпала под новую полосу раскулачивания — с выселением в северные края, а на самом деле — в Красноярский край.

Вывозили их конными подводами до узловой станции Карымская, затем спецэшелоном, по железной дороге, а там — по Енисею до самого почти Ледовитого океана.

Из того, что мне довелось услышать от Бурдуковских, сверяя все это с документальной основой, поражаешься дикости и нелепости этой широко задуманной крупномасштабной правительственной кампании.

Представьте себе нелепость положения, когда батрачка Александра Федоровна, выйдя замуж за «зажиточного», вдруг стала «классовым врагом бедноты».

А с какой бесцеремонностью и скоропалительностью проводилась операция по выселению «кулачества» — не давали даже по-человечески проститься с родными, обращались как с преступниками, да и не скрывали этого, называя их арестантами.

На общем фоне этого явления: безжалостность к «кулакам» представителей власти («тройки», ОГПУ, комендатуры и т. п.), с одной стороны, и жалостливость, сочувствие к ним местного населения, особенно жителей Красноярского края — живых свидетелей издевательского отношения властей к ссыльным. Благодаря их моральной помощи и в ряде случаев материальной поддержке многие, особенно дети, уцелели от голода, болезней, хотя потери людские были большие — в зависимости от того, кто куда угодил.

А золотыми руками поселенцев, несмотря ни на что, были построены жилища, созданы более или менее сносные условия для того, чтобы, поддерживая друг друга, както выжить, адаптироваться в новых условиях, стать на ноги.

И что удивительно: некоторые дети, родившиеся в ссылке, повзрослев, не могли при переезде родителей на родину прижиться там — их тянуло в свои «родные» края. У Бурдуковских, например, один из сыновей по приезде семьи в Читу настоял на том, чтобы уехать снова в Игарку. Его отпустили, он уехал и пропал без вести — видимо, что-то непредвиденное, трагическое случилось в дороге.

Можно еще многое затронуть из истории «странствования» этих людей, но есть какая-то закономерность и в том, что в семьях репрессированных, как правило, дети и внуки выросли порядочными людьми.

Мне хотелось бы попросить Вас, Виктор Петрович, поделиться со мною, если сочтете возможным, некоторыми мыслями по затронутой теме. Вы много лет общались с поселенцами в Вашем ссыльном крае. Не встречались

ли на Вашем пути раскулаченные из Забайкалья, попавшие из одного сурового края в другой?

Нет ли где-либо в хранилищах — архивах, музеях Красноярска, Игарки и других мест иллюстрированного материала об этих гонимых людях, их судьбах?

Я решил в своем музее сделать тематическую экспозицию, кое-что уже есть. Но хотелось бы почерпнуть дополнительный фактический материал из мест поселения наших раскулаченных — для большей полноты освещения.

Вот, собственно, то, с чем хотел обратиться к Вам и о чем хотелось поведать.

Был бы счастлив иметь у себя или в своем музее одну из Ваших книг с автографом

Артем Власов

[1996 год]

Уважаемый Виктор Петрович!

После окончания пединститута по распределению была направлена в сельскую местность. Деревня встретила матом, пьянством, без различия чинов и специальности... Ребятишки в основном марийцы, значит, с русским языком — никак.

Хотелось удавиться с тоски или криком кричать... Через полгода произошла неожиданная перемена: ненависть к деревенской действительности переплавилась в совершенно искреннюю любовь, более того — в любовь с открытыми глазами, то есть вполне сознающая все плохое, но тем не менее существующая поверх всего.

Эту «тайну» я до сих пор не могу определить словами, то, что родилось во мне...

Может быть, это и было чувство Родины и Дома, каких я никогда не знала, только мечтала всю жизнь, не ведая того...

И действительно, дом бабки Поли стал для меня первым домом, который я ощутила как дом, в нем я ощутила себя как бы хозяйкой, умеющей одной спичкой растопить печь, без лишней суеты управляться с деревенским бытом. А сама бабка Поля, овдовевшая в войну и тащившая на себе все хозяйство (в образцовом порядке), умевшая при своей небольшой комплекции: и дрова колоть, и быка забить, и шерсть на всю деревню прясть, и до слез

рассмешить своими рассказами, подначками и всякими «фокусами» — стала моей подлинной, любимой бабкой, ничему не учившей, но научившей всему! Нашим детям таких бабок уже не видать, и потеря эта — главная трагедия наша.

По ряду причин и обстоятельств я была вынуждена уехать из деревни, но с твердым намерением — непременно вернуться...

Ваши книги я прочла уже в городе, и душа моя была для них благодатной почвой.

Причина, побудившая написать Вам именно теперь, — это то, что я, как и все, скоро дойду до края. В этом смысле моя история типична: встретила перемены с воодушевлением, читала и смотрела все подряд, ужасалась и негодовала. В общем, активно впитывала негатив, но где-то год назад щелкнул предохранитель. Многие мои знакомые все это впитывают и до сих пор, причем с болезненным наслаждением. А я думаю: на каком-то этапе произошла подмена, и сейчас вовсю пошла эскалация бесстыдства, вакханалия, фарс. Теперь не читаю, не смотрю — боюсь сойти с ума. И дело даже не в материальных трудностях, ведь с трудностями военных лет они несравнимы, а в том, что ненависть преобладает и идет по нарастающей, и никакие призывы ее не рассеивают, наоборот, и воздух уже дымится от взаимных проклятий.

За эти пять лет я открыла для себя русскую философию и «закрыла» советскую интеллигенцию. Чтобы задушевно аплодировать победившему, необязательно называться интеллигентом. Лакейство нашей интеллектуальной элиты лично меня не потрясло, но смотреть на все это все же противно.

Как Вы думаете, не может ли то, что мы так легко поддаемся злу, стать нашим общим концом?

Выжить-то можно, да жить как?

*Искренне Ваша — **Вера Тумарь,***
Нижний Новгород

17.10.96 г.

Дорогой и уважаемый Виктор Петрович!

Вот и свершилось то, о чем я раньше не могла и подумать. Хотя после Ваших слов, что Вы предложите часть моих записок о блокаде в журнал, засветилась у меня та-

кая надежда. Знаю, как все теперь тяжело, трудно, да еще Ваше нездоровье, да еще заботы по изданию Вашего Собрания сочинений, а вот Вы себе верны. Благодарю Вас сердечно — мне это такая в жизни награда! Такой это краеугольный камень. Для меня большая честь быть опубликованной в таком журнале. Блокада и все с ней связанное тяжелым грузом лежит на мне, а теперь, когда удалось сказать об этом публично, благодаря Вам мне стало легче.

Когда я написала о блокаде, я поняла, что не смогла рассказать о людях так, чтобы было понятно, что они собой представляли — не было «разбега». Поэтому еще при жизни моего мужа я решила углубиться в старые годы, пролистать их хоть как-то (здоровье такое) и на примере нашей семьи и ее окружения, памятуя рассказы моей матери, записать то, что удержала моя память о тех дальних временах, и дойти на этом пути до войны. Там все правда. Это труд нескольких лет, и теперь он приходит к концу. В этом у меня были моральные помощники.

Первый — это мой муж, Палладий Сергеевич Стародубцев. Царство ему Небесное. Были несколько друзей, верных мне в моем горе, а потом явились Вы, прямо, как посланец с небес! Я собрала уже первую часть. Кончаю вторую, а первую уже растащили по рукам. У меня появилась новая молитва: «Господи! Не лиши меня благодарной памяти!» Есть у меня мечта: так мне хочется, чтобы Вы прочитали это — душа у Вас особенная. Я Вам пошлю — не обессудьте на меня за это и не сочтите для себя это обязательством.

Дай-то Господь Вам здоровья, и Вашей Марии Семеновне, и внучке Поле.

Сердечно Ваша ***Стародубцева***

[1996 год]

Глубокоуважаемый Виктор Петрович!

Поверьте, что пишу так без лишней лести. Воистину уважаю Вас за мужество, необходимое для того, о чем Вы пишете и как это делаете. Низкий поклон Вам от меня как ровесника (я с 22-го), и как участника войны, хотя я и видел ее «с другой стороны».

Вышло так, что в Красную Армию меня не взяли, а

призывался я в 40-м, определили в запас 2-й категории, а в 41-м не успели мобилизовать, потому что убегали от немцев, жил я в то время на старой польской границе, так что к началу июля немцы уже были у нас. Как и многие из нас, мечтал я об армейской службе, пытался поступить в училище еще в 39-м после школы, но...

В 1938-м расстреляли моего отца, кузнеца в колхозе, отчего все дороги передо мной закрылись. Для меня это было настоящей трагедией, я писал самому Ворошилову, клялся в своей верности Родине и, конечно, вождю и учителю. Напрасно.

В войну попал в Германию. Там и узнал, что такое война. Был в американской и английской зоне, откуда нас и выдали на расправу в Смерш.

Потом после «фильтрации» этап в 52-е суток, с ноября по январь. Что это такое, Вы, я думаю, знаете. Все бывшие в вагоне латыши, эстонцы не доехали. Выдержали только русские и украинцы.

В итоге Колыма, 25,5 и 5 знаменитый БЕРЛАГ до 1956 года.

Но к чему я все это пишу?

Я хочу прочесть Ваши последние книги «Прокляты и убиты» и еще Вы упомянули о повести в интервью прогр. «Воскресенье».

До нас дошла только первая часть в журнале «Новый мир», дальше подписка прекратилась. Никаких возможностей достать продолжение нет.

Помогите мне, хотя я знаю, что это трудно. Я ведь не один такой. Здоровья, силы закончить очень важную и нужную работу.

С искренним уважением, ***В. Загирный,***
Москва

30.10.96 г.

Дорогой Виктор Петрович!

После «Литературных встреч...» долго не расставался с Вашей семьей, перечитывал Ваш двухтомник и исповедальную книгу Марии Семеновны. «Знаки жизни» было интересно читать, в первую очередь, как комментарий к Вашим устным рассказам о встрече и знакомстве, а здесь взгляд с другого берега и в косвенном смысле, как версия

или фон «Обертона». Очень это интересно, поздравьте автора, не пропадет ее труд, тем более что он был Марии Семеновне, уверен, в радость.

А что касается «Последнего поклона», то это действительно последний поклон великой русской литературе. Так нынче уже не пишут, не умеют, не знают, не могут и писать едва ли уже будут.

Я тут давно задолжал питерскому журналу «Звезда» статью о Чехове. Никак не мог «разродиться». Увидел памятник в Красноярске, сел и написал. Поскольку Красноярску и Сибири там — мой поклон, решил показать это сочиненьице Вам. Естественно, перечитывая письма Чехова с ощущением близости Астафьева, натолкнулся на его «русофобию», как он нашего брата костерит, и никто из высокоумных и бдительных, м. их е., не спешит спасать русских от Чехова! Теперь, когда в моем присутствии начинают говорить об «обидчике» малых сих Астафьеве, я задаю вопрос: как бы вы отнеслись к человеку, писателю, который назвал бы людей целой нации свиньями? Ну, тут начинаются танцы индейцев — «Гнев», «Негодование», «Позор на его голову». Я им цитирую Чехова и предлагаю заняться его воспитанием немедленно. Вот как полезно перечитывать классиков. Кстати, у нас пышно отмечается «провал» «Чайки», съезжаются татары, будет предъявлено чуть не 14 «Чаек». Но половину времени этого фестиваля пробуду в Дании, куда через день уезжаю по приглашению преподавателей русского языка.

Был в М-ве, разговаривал по телефону с Залыгиным, тяжел старик, похоже, что в кресло уже не вернется. Правда, избранный с Вашей помощью президент может издать Указ: больным и немощным от штурвала не отходить, вахты не бросать...

Вышла книжечка в М-ве в «Книжной палате», 26 листов, но скудным тиражом в 5 тыс. Похоже, что до конца года появится книжечка и в Питере. Ни в Ленинграде, ни в Санкт-Петербурге у меня книжек не выходило, а в М-ве и за границей уже больше десятка. Вот кажется и в своем Отечестве опубликуют пророка в объеме шести листов, это развернутый вариант «Путешествия из Л-да в С. Пб», напечатанного в № 10 «Н. мира».

Какое короткое время пробыли в Ваших краях, а кажется, что много-много, Париж помню хуже, чем Ману и Овсянку. Куда-то затерялся у меня адрес и тел. Валентина Курбатова. Хотел с ним созвониться и съездить к нему

во Псков на денек-другой. Если будете мне писать, напишите его адрес, по гроб жизни буду Бога молить и за Вас, и за Вашу семью, читателей, издателей и спонсоров.

Всем показываю фотографию, где В. П. Астафьев сфотографирован на фоне Кураева, и поясняю: тот, что слева, это я.

Обнимаю Енисей, Красноярск, Овсянку и Виктора Петровича — персонально.

*Ваш **Миша Кураев,***
Петербург

[Осень 1996 года]

Дорогой Витя!

Да как же ты меня обрадовал своим письмом! Очень и очень! Словно бы и не пролегла между нами росстань на долгие годы, опять мы рядом, вместе, как в ту далекую пору великих надежд, искренности, откровений и познаний друг друга, и мира, и жизни, и добра. И остро ощутил, не мудрость твою нынешнюю, не усталость, не горькое разочарование, не тяжкие испытания, выпавшие на твою долю, но неудержимую доброту твою, открытость души, свет, на который так обильно летели стаями и стадами как чистые, так и нечистые друзья, приятели, кто погреться, кто отдать, а кто и взять полной ладонью от той астафьевской доброты.

Я благодарен Богу, который подарил мне долгую дружбу с тобою, коей я по-прежнему предан и верен. Не баловала нас судьба всю эту долгую жизнь частыми встречами, но каждая из них, даже мимолетная, даже горькая (слава Всевышнему — их было ничтожно мало), была для меня бесценным даром. Были годы, когда я ежедневно обращался к тебе письмами о своем житье-бытье, о тогдашних творческих, о том, что удалось прочитать твоего (слава Богу, почти все) и о тебе.

Не раз и не пять пытался снова писать к тебе, и неоконченных, и на бумаге, неоконченных и неотправленных писем этих не счесть числа. Однако, как справедливо пишешь ты мне, я тебя нечасто радовал своими весточками. Вот и ныне принялся писать тебе, закончу ли?

Спешу сказать тебе, что мы с Майей вполне оценили твой великий роман «Прокляты и убиты». В русской на-

циональной прозе, в ее культуре это особенно нетленная страница. Она должна была рано ли, поздно ли быть кем-то написана, и я несказанно рад, что это сделал ты. Такого не было в нашей русской литературе до тебя. Ты исполнил этот страдательный труд. Не могу понять тех, вроде бы тоже русских людей, как бы близких к тебе, кто не увидел в романе истинную русскую страсть, любовь и правду, саму-самую суть национального характера. Правду не только достойную, но и великую не увидели. Я оставляю за пределом всякой подлинной жизни всю ту возню, кою до сих пор ведут современники вокруг твоего имени и твоих убеждений, мне это — знак невежества и полной душевной слепоты.

Думаю теперь вот о том, что, послушав когда-то тебя, дескать, не покупай, Юра, моего Собрания сочинений, я тебе подарю, так и остался я без оного. И понимаю, что вспомнить этого уже ни тебе, ни мне не дано. А вот коли найдешь возможность как-то одарить меня «Проклятыми» либо какой другой новой книгой, буду от души рад. Кстати, все эти непонятно сделанные сокращения в «Новом мире» я ощущал как боль в сердце, как раны на теле.

Что рассказать тебе о себе? Живем мы с Майей по-прежнему в деревне. Очень трудно, но, слава Богу, чисто. Майя опубликовала в 10, 11, 12 номерах «Москвы» новый свой роман, после чего совершенно по-страшному залегла в больницу. Перенесла сложнейшую операцию и, слава Богу, весной вернулась домой. Для меня зима эта была испытанием, и долгим. Молился за нее в трех храмах. Выдюжил только потому, что выдюжила она. Одиночество, которого порою просим мы, дабы остаться наедине с чистым листом бумаги, не идет ни в какие сравнения с тем, что испытал я в течение всей долгой зимы. А потом вместе, во всяком случае мне, было куда как легче.

За долгую жизнь тут, в деревне, лицом с лицом с теми, кто «проклят и убит», кто сам себя убивает да еще и поглядывает по сторонам, кого бы «жахнуть» за компанию; с теми, кто вопреки напрягу пустить все в тартарары все еще пашет, сеет, ростит, собирает, — за все эти ох какие непростые годы для Руси кое-что и написал, и немало вроде, но почти ничего не напечатал.

Грею себя только тем, что есть кое-что написанное. А кроме того, сделали мы сообща с Майей кое-что и на клочкѐ своей земли. Земля — это великая ответственность, потому мы и жили на ней ответственно. Построили дом,

двор, амбар. Кстати, совсем неожиданно из наших рук громадный сад, и Майя частенько повторяет ахматовское: «За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет». Нам послан этот сад, и теперь уже ясно, что и переживет нас. Вот папани-то моего давненько нет на этом свете, а сад цветет, плодоносит, и так будет долго.

Глядя на свой огород, частенько вспоминаю о твоей бабушке, так вкусно, так нутрено и так зримо описанной тобою. Так и наш сад — в нем да в огороде все так же растет и плодоносит, до каждой мелочи из твоего повествования, да еще кое-что и сверх того, сибирского. А к огороду мы добавили и хозяйство: свиноматок и поросят, коих приходилось продавать братикам-писателям, что все доныне ратуют, радеют о Руси. Было и целое стадо коз и курей (есть и ныне), и индюшек — Собчак, Попов и другие, которые только и делали, что болтали, наживались и старались как можно больше содрать, и утей заводили.

А теперь вот на старость лет — куры, две собаки и тайная моя гордость — пасека и сад, «за этот бред, за этот ад», который вокруг людей и в них самих. Шестой уж год держу пчелок и, главное, что без меда уже и не живем. Приезжай — накормим от пуза, обласкаем, оттаем вместе. К слову, я в своих писаниях стал зело строг, потому и не спешу явить их миру. А вот ныне страсть как разболтался. Хочется от души, как бывало в далеком далеке, наговориться с тобою. Вспоминаю Мотовилиху, горбатый домик Лехи Домнина (вечная ему память). Господь свел нас незадолго до его смерти, наболтались всласть и по горам набегались. Помнишь, как мы в этом дому до рассвета, всю долгую ночь говорили. Ты тогда нарассказывал нам, за одну ночь, столько, на что ушло у тебя десятки лет труда.

Леху вспоминаю еще и потому, что вот уж многие-многие годы залажу я в «Слово о полку Игореве», в 11-й и 12 века. Страсть как много поистине великого там. Перевел «Ипатьевскую летопись» почти целиком. Боже, какие там, Витя, кладези красоты и мудрости, какие ошеломительные, неведомые миру русские гекзаметры...

Не помню, говорил ли я тебе, что живем мы тут, в Талеже, подле святого источника, который дарит чистейшую святую водичку вот уж по самому скромному счету две тысячи лет. О нем, если даст Бог жизни, следует написать огромную книгу. Это место — последний привал перед уходом за Оку, в Поле, в орду, в степь. Тут и дорога

древняя пролегла из старой Руси, так что слушивали мудрое речение родника этого все московские, тверские, суздальские, новгородские и т. д. князья. А молились тут русские люди, приезжали сюда со свадебным чином. Мы когда сюда сели, ни дорог не было, ни самого некогда могучего селища, как в Быковке позаколоченные пятистенки и свезенные прочь. А свадьбы, Витя, по грязюке, в дождь, в непогоду ехали. И так, представляешь, тысячи и тысячи лет. Ведь святой источник был и плодородия женского — Вениса. Никто об этом уже и не знал. А ехали, тянуло их, предание было — предки велели. По оставшемуся названию родника, славу Богу, не переименовали. — Вениса, я ее раскрутил, всю историю и нашел в древних письменах наших.

А еще — местные русские ребятишки, с отцами и дедами, коих я учил в начальной и средней школе, собрались и миром своим возрождают это Святое место Руси. Уже стоит кладезная часовенка, где проходят молебны и где я ежедневно молюсь за тебя, Витя, построили небольшой шатровый храм да такой, что глаз не оторвать. Это греет душу, где жил я целый год, а теперь вот помалу все потекло и без меня, и научились братички многому. И слава Богу!

Хочется еще и много о многом поведать тебе, но и так уж заболтался. Да и висит на мне нынешний небывалый урожай. Мешками раздаю яблоки, их нынче столько, что и уберечь деревья надо, чтоб не поломались.

Будешь в Москве, ведь бываешь же, звони и приезжай. А главное, будь здоров и не будь одинок. С тобою, друг мой, вся истинная Русь, тебя помнят и любят. Хотелось многое сказать и Мане. Я ее люблю и помню. И читаю ее. А уж коли пришлет свою книжку, то и в пояс поклонюсь. Храни вас Бог!

Всегда ваш ***Юрий Сбитнев***

1.11.96 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

На днях прочитала в «Новом мире» Вашу повесть «Обертон». Начала читать днем, а вечером закончила и была просто потрясена, так как сразу защемило сердце и две ночи не спала!

Что это такое, после этого ничего не хочется читать? Я вся была в том времени и даже ночью не могла от этого освободиться.

Это талант! Вот что! Я старая одинокая женщина, инвалид второй группы, перенесла десять операций, а в 23 года после тяжелых родов стала терять слух и в 26 лет одела слуховой аппарат, теперь и с ним не слышу...

Очень любила читать, прочла почти всех наших классиков и зарубежных. Мы с мужем собрали библиотеку — более двух тысяч книг, и теперь единственной радостью мне осталось чтение, хотя и его ограничиваю, но читаю. Пятнадцать лет работала в библиотеке, читала все новые журналы, книги и газеты. Наверное, я прочитала все Ваши произведения, даже одолела «Царь-рыбу» и стараюсь не пропускать ни одной вещи. Недавно прочитала «Людочку» — я бы скорей всего этот рассказ назвала бы «Канава», так как наша жизнь теперь стала именно такой.

Прочла «Так хочется жить» и тоже была в шоке! Неделю из головы не выходило. Ведь это все правда, все о нас, и лучше Вас об этом никто не напишет!

Я вдова, мне 74 года, и хотя я не была на фронте, но все, что Вы пишете, — это как бы обо мне и мне подобных... о нашей молодости, от нее не уйти и не забыть, какой бы трудной она ни была в те годы, да и любовь!

Немного о себе: мне было 18 лет, жила в Липецке и после школы поступила в Московский геодезический институт. Зимой 1941 года я приехала домой на зимние каникулы и в ГорДК познакомилась со студентом ВИТУ в Ленинграде. Красивый, рост 184 — и сразу влюбилась! До этого ни с кем из мальчиков не дружила. Он тоже влюбился впервые, и недели две мы не отходили друг от друга, утром я ждала вечера, чтобы бежать на танцы, затем проводы и поцелуи. Потом совместная поездка в Москву — опять почти сутки вместе, ходили в кино, в ресторан, и он провожал меня на последнюю электричку — я жила в общежитии на Яузе. И письма каждый день или через день — почти год! Я в институте была старостой группы, занималась спортом, занималась в кружках, иногда ходила в театр, а чаще в кино — с подругами по комнате. Никаких кавалеров — жила письмами и отвечала часто. После первого курса отработала практику, заболела, перенесла операцию, а 22-го — война! Я об этом узнала в больнице...

Рыли траншеи, потом институт эвакуировался: ребят

призвали на войну, а нас — в колхоз, а меня направили домой, где ждали меня мама, отчим и пятилетняя сестра. Надо было работать, чтоб получать хлебную карточку, поступила на мотороремонтный завод, в проектный отдел — копировщиком. Прошел год, я работала, ходила на танцы, куда ходили тоже 18—20-летние вояки, одетые в обноски — война шла к Воронежу через Мирный и Липецк.

Зимой 1942 года завод тоже эвакуировали, а нашего начальника кадров, Ивана Филипповича, оставили в партизанском отряде с поручением: в случае подхода немцев — взорвать завод, потому что еще пока работали два цеха — изготовляли заряды. Нас перебрасывали то на одно место, то на другое, но мы работали, чтоб иметь хлебную карточку. Дома мама с сестренкой получали карточки «иждивенческие». Отчима в августе 1941 года арестовали — по доносу соседки — и выслали без суда и следствия в Ивдельлаг, где он и погиб. У нас при доме был сад, и мама кое-что продавала иль выменивала, шила бурки. Нашу семью стали избегать соседи и знакомые, город опустел, сделалось тихо и тревожно. Из-под немцев освободили Воронеж. В Липецк пришло распоряжение: восстановить завод, так как приближалась весна 1942 года, надо было ремонтировать трактора. Ивана Филипповича, работавшего начальником отдела кадров, коммуниста с высшим образованием, назначили директором завода, и стал он ездить по жел. дор. станциям, собирать оборудование и пр., появились подростки на ящиках возле станков да кое-кто из старых рабочих, и завод заработал. Я стала у него секретарем. Я по-прежнему ходила на танцы и писала письма своему жениху. А в октябре, за две недели Иван Филиппович ворвался буквально в нашу семью — не побоялся, что мой отчим сидит по 58-й статье, стал нам усердно помогать — дрова, уголь, продукты. Мы с мамой не знали, как за это рассчитываться? Он сделал мне предложение, а мне только исполнилось 20 лет. Я сказала, что у меня есть жених, и я его жду, что не люблю, а он сказал, что если я его узнаю поближе, тогда все будет хорошо, и еще пригрозил, что он позвал на свадьбу своих начальников и, если я его опозорю, он застрелится — у него был наган.

Куда же мне деваться, уехать некуда, везде война. Поплакали мы с мамой, и я согласилась. Пришли на свадьбу более сорока человек, все пожилые, я никого не знала и сидела как бы в президиуме. Гости пили, ели, как во вре-

мя чумы! Мне было стыдно: все голодают, а тут — столы ломятся!.. Потом наступило похмелье. Он день и ночь на работе. Я тоже. Мама с сестренкой с нами, все получали хороший паек. Только полюбить своего мужа я так и не смогла. Прожили год, и я решила уехать, попытаться поступить в институт и домой не возвращаться.

В Ярославле поступила в мединститут, на жилье определила меня к себе двоюродная сестра, делились со мною всем чем могли, пайка же хватало на полмесяца, а есть хотелось каждый день... Зимой, в лютый мороз, приехал мой муж на грузовой машине — привез продукты, всем понравился, а меня принялись грызть, что не люблю такого человека. Он всех пригласил переезжать к нему в Липецк, и летом мы все туда уехали. Мама развела огород, все наелись и полюбили Ивана Филипповича на всю жизнь!

Я опять стала заложником в семье! Осенью я снова уехала, теперь уж в город Воронеж (он почти весь был разрушен), нашла койку в проходной кухне и стала учиться в мединституте на 2-м курсе. Затем постепенно вся моя родня переехала и прожила со мной 34 года. Муж мой был необычайно добрым человеком, никого куском не попрекал, хотя семья была сложная. При рождении сына он всю свою любовь перенес на него, хотя я всегда была любима. Сын рос слабохарактерным, и его окружили плохие друзья. Когда у нас появилась 4-комнатная квартира, сына женили, пошли внуки. Когда умер муж, я осталась одна. У сына уже было трое детей, а я одна, никому не нужная, лишняя.

Живу на маленькую пенсию, трудно, но у сына ничего не прошу. Вот вкратце я рассказала Вам про свою жизнь. Вы один из самых моих любимых писателей. Дай Вам Бог здоровья, чтобы я, пока жива, смогла почитать Ваши произведения.

Л. Ханина,
Воронеж

28.11.1996 г.

Виктор, дорогой Человечище!

Да, ты — Человечище, это уж давно было ясно по твоим произведениям, хотя понимание того медленно входило в общественное сознание. Но, кажется, вошло. И я очень

рад тому, потому что давно восхищаюсь твоими страницами и безмерно благодарен Астафьеву-автору. Особенно если учесть, что мы — одной судьбы, одного поколения. И, как я давно понял, очень сходных политических взглядов — на войну, не генералитет, на партию коммунистов, от которой нас уберег (в свое время) сам Господь.

На днях я прочитал твою книгу «Так хочется жить» и, как всегда, был ошеломлен твоей яростной прозой, твоим оглушающим реализмом. Даже иногда становится непонятной эта твоя яростная приверженность правде, реализму, особенно в наше последнее время разгула разного рода постмодернизма, этой литературной шизофрении. Вполне может сказаться, что к XXI веку реализм кончится, зато перед концом он, по всей видимости, выдаст великих реалистов. И я рад, что мой друг и ровесник, далекий сибиряк и великий русский писатель останется в их рядах. Исполать тебе, друже!

У меня же дела плохи, особенно из-за политики, оккупировавшей нашу несчастную республику. Даже недавний большевизм выглядит сейчас как светлое время во всех отношениях. К власти пришли люди непредсказуемые, злые, беспощадные; стая полковников заправляет культурой, в которой Быкову места нет. Да я и сам не пойду в эту их культуру, как и в их политику. За отказ они, конечно, по головке не погладят. Хуже всего, что пропадает всякое желание работать, возникает неприязнь к печатному слову, да и жить не хочется. Я уж не говорю о материальной стороне: 50 долларов в месяц.

Из всех радостей остается природа. Но до нее, доброй и ласковой, еще надо дожить — ныне хлябь, слякоть, поздняя осень. Дышится скверно. Валя Оскоцкий написал мне о твоем знахаре и твоем предложении — спасибо тебе, дружище! Но моя астма — уже не главное. Я кое-как приспособился ее усмирять, может, дотяну до финала. Если позволит Бог. И начальство, от которого теперь на 90% зависит моя судьба.

Вот такие дела.

Очень желаю тебе здоровья, тянуть — топать по этой неласковой жизни и — работать.

Сердечный привет твоей солдатке. Дай Бог вам счастья!

Обнимаю, дружище — твой ***Василь***

Забыл написать: из твоего романа прочитал только первую книгу. Конечно, прекрасно! Жаль — не читал остального — у нас просто нет.

Василь (Быков)

[1996 год]

Виктор Петрович!

Вот уж никогда не предполагала, что придется написать Вам (хочется и местоимение написать с маленькой буквы!), писателю, которого я почитала как великого, — такое письмо...

Разумеется, Вы можете и меня, и мое письмо послать на три буквы — ведь как оказалось — вы дружны с ними.

Но как могли Вы изменить своему таланту, слову, литературе?! Нет! «Так жить не хочется», тем более так говорить и читать про это. Сквернословие, поселившееся в Вашем творчестве, меня, да и не только меня, просто потрясло! Не поэтому ли и само повествование поблекло, посерело, перестало БЫТЬ. Не надо приписывать эту матерщину «простым» людям. Вы и раньше писали не об аристократах, но как нежно, целомудренно. А ведь они, «простые люди», наверняка, умели пользоваться подзаборным лексиконом.

Я с мамой вместе с бойцами отступала из занятого немцами пригородного г. Пушкина. Были: отчаяние, кровь, смерти, но не было мата!

Блокада: были смерть, голод, холод, но не было мата!

Уже в публикации «Огонька» (июль-93) я услышала «нотки» голоса совершенно другого человека, а потом — примитивно-пустотелая рекомендация с телеэкрана: «Работать надо!..»

Виктор Петрович, у нас на Руси это делать умеют, как умеют и эксплуатировать этот труд.

Да, Вы варварски ранили «мальчика в белой рубашке». Не знаю — ожил ли он?

Ну да Бог Вам судья.

Прощайте, писатель Астафьев.

Августа Михайловна Сараева-Бондарь

[Конец 1996 года]

Здравствуйте, Виктор Петрович!

...В Москве я побывал на Поклонной горе. Внимательно всмотрелся в мемориал. Там и написал статью для «Лит. газеты» — с моими о нем впечатлениями. А впечатление такое.

Весь внешний облик мемориала и его внутреннее содержание адресованы людям, малосведущим в истории вообще, в истории Отечественной войны в частности. Кощунственная роскошь отделки призвана ослепить глаза и разум, и душу посетителей, а вся экспозиция представляет собой иллюстрацию к томам истории войны, написанным еще в хрущевские и брежневские времена. Умалчивания, искажения фактов оказываются прямой ложью, фальсификацией истории. Механически прицеплен православный храм, а выше креста вознесена языческая Ника — богиня победы. Какое-то недоумение, которое обернулось кощунством по отношению к российскому православию.

В зале памяти так и оставлен голый, неопознанный труп, который не может опознать склонившаяся над ним женщина... Так он и оставлен непогребенным... (это очень по-советски, но не по-христиански, не по-человечески. И вообще, от всего этого учреждения несет коммунистической идеологией. Перестроить экспозицию музея сумеют разве что ученые, служители следующих поколений, но и им будет мешать то, что так просто не сковырнешь с Поклонной горы... А мне остается только, пока голова соображает, сочинять проект мемориала «Век XX. Советский Союз», в котором было бы можно честно, откровенно, широко в музейных экспозициях, в скульптурных группах, в картинах дать представление обо всей истории нашего государства на протяжении всего XX века. Памятники всем мертвым всех преступлений против народов, совершенных преступными правителями нашего государства и соседних стран, а также памятники добрым людям, добрым делам, добрым свершениям — ведь это тоже было.

У меня был двоюродный брат, Тимофей Максимович Ильин, 1911 г. р. В 1943 году осколок мины оторвал ему обе руки... Хирург из остатков костей соорудил ему клешни, и с их помощью он прожил еще 45 лет. Он не побирался — он остался человеком, с 4-мя классами образова-

ния, мужик, колхозник, к довоенной дочке добавил еще дочку и двоих сыновей. В захудалом колхозе он бывал и бригадиром, и зав. МТС, писал грамотно, и почерк его был лучше моего и Вашего. Был он хозяином в доме, хорошим мужем и отцом, хорошим соседом. Имел хозяйство: коров, овец, птицу. С другими мужиками наравне участвовал в сенокосе, а сенокосы-то были на горных склонах в Азербайджане, в русском селе в горном ущелье. Он пережил свою жену, после жил у дочери. Умер он скоропостижно: утром увидели его на полу в его комнате без сознания и первым движением было: вернуть его к жизни.

Вот такого человека мне бы хотелось на памятнике победителем поместить в группу победителей, живыми вернувшимися с войны на Родину, на танке Т-34.

Полагаю, что брату моему помогло остаться достойным его молоканское происхождение в молоканской среде. Полагаю, Вы имеете некоторое представление о молоканах: они и в сибирских местах жили и живут.

Я писал о молоканах, но само слово «молокане» в советские времена было нецензурным, а сейчас, в разгул человеческой похабщины, книга о порядочных людях тоже никому не нужна... хотя на нее появилось много положительных рецензий от людей, мною уважаемых, в т. ч. и Федора Абрамова.

Теперь по поводу Вашей повести. Я читал ее с интересом. В образе Коляши угадывал Вас. Но... старый — он представляется мне как личность менее крупная, чем Вы сами — в моем представлении. Мне не хватает конкретных деталей, прицепок к датам послевоенных десятилетий его жизни. Но, желая Вам Собрания сочинений и включения в него «Так хочется жить» — позволю себе указать на несколько неточностей, которые Вы допустили. Их не каждый читатель заметит, но я заметил и укажу на них.

Ваш Коляша весной 1943 года проезжает город Мценск. Не мог он этого сделать: в то время Мценск был уже под немцем. Фронт проходил по реке Зуше, на южном берегу которой Мценск, Зуша впадает в Оку, по небольшому ее отрезку вблизи от Болхова проходил фронт дальше на запад. Коляша как рядовой солдат в те дни не мог хорошо представить и запомнить места, через которые проезжал. Вы, пожалуйста, сверьтесь по карте «Истории ВОВ», там отчетливо, и прочертите маршруты Коляши на войне.

Затем — Бердичев. Он был освобожден от немцев в декабре 1943 года, так что Элла не могла носить Коляше яблоки из сада, груши и тем более абрикосы. А что до боевого крещения Коляши в районе этого города — тут я верю Вам на слово.

Речка Псел названа между Винницей и Киевом. А она, как Вы сами раньше упомянули, — между Киевом и Москвой.

Зачепа. В Верховный Совет он был выбран, видимо, весной 1946 года, когда Молотов сообщил народу, что СССР потерял в войне 7 миллионов человек, а денежная реформа, на которой разбогател Зачепа, прошла 15 декабря 1947 года. Видимо, есть и другие неточности в географии и хронологии, на которые могут обратить внимание дотошные читатели.

Несколько слов о себе: 7.5.24 г. р., в Азербайджане. На Ставрополье живу с 38 года. Десятый класс закончил 17.6.41 г. в Минводах. К этому дню имел пригласительные документы на проезд в Севастополь, на вступительные экзамены в Черноморское высшее военно-морское училище, прибыть к 29 июня. Началась война. Родители отпустили, поехал, но медкомиссию не прошел, отправили назад. Вскоре выяснилось, что у меня туберкулез в открытой форме. Выжил. Даже мединститут закончил и работал — 45 лет — в станице, а теперь в Новопавловске. Две дочери.

С уважением, ***С. Ильин***

11.12.96 г.

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Разрешите поздравить Вас с Новым годом и пожелать самого лучшего!

Пусть нашим подарком будет хоть этот сборник, авторами которого являются в основном преподаватели и студенты томских вузов. Он неплохо свидетельствует (а особенно то, что не вошло в него или оказалось, так сказать, между строк) о том, что мы все еще живем при коммунизме, правда, в эпоху его заката...

То и дело приходится слышать: дайте финансы, и мы будем петь романсы. Но ведь у нас были и финансы немалые, и государство было богатое. Однако это не помешало нам войти в полосу глубочайшего кризиса. Значит, дело

не в финансах: нельзя выйти из тупика, идя той же дорогой, которая завела в тупик. Из тупика можно выйти, лишь идя в обратном направлении или по другой дороге. Призывать к «стабилизации» нынешнего болота могут лишь те, кто неплохо себя в нем чувствует и кто ловит в его мутной воде золотых рыбок. Но старые привычки оказываются нередко сильнее новых слов.

В прошлом году, например, с философского факультета Томского университета был уволен с помощью доносов и сфабрикованной клеветы доцент, проработавший в универе 26 лет и не имевший ни одного нарушения трудовой дисциплины. А у него жена — инвалид 2-й группы, дети — студенты. Дети вынуждены были бросить учебу и пойти работать. К тому же он в 61—62 гг. был целый год на новоземельном полигоне в разгар самых мощных испытаний (10 000 Хиросим). К тому же научных работ опубликовал по своей дисциплине больше, чем вся остальная его кафедра вместе взятая. К тому же подготовил докторскую диссертацию... Но ему не дали ее защитить, не дали доработать до пенсии лет 5 и уволили, хотя на факультете полно работающих пенсионеров. По закону сократить его, конечно, не могли, но не зря же старой партноменклатурой был создан механизм проведения нашего брата, преподавателя, по конкурсу каждые 5 лет. И, воспользовавшись этим механизмом (а он действует без всяких изменений и по сей день), Беспокойного (назовем так этого бедолагу) уволили инквизиторским методом тайного голосования членов подобранного администрацией факультетского совета. Так что в нашей системе продолжает функционировать и советская власть, причем в той же роли, что и раньше. Разница лишь в том, что если раньше Советы маскировали произвол парткомов, то сегодня они прикрывают и служат фиговым листом для произвола администрации, т. е. той же номенклатуры.

Беспокойному угрожали увольнением в 83-м, потому что он не хотел тогда вступать в КПСС а в 85-м ему организовали увольнение те же угрожатели, но уже за то, что он не замкнулся на «деньги давай, давай деньги!» и продолжал заниматься общественной работой бесплатно.

Пытавшиеся защитить Беспокойного тоже были уволены: маленькая сталинская чистка такая была на факультете произведена. Одному преподавателю не дали полгода доработать до пенсии и вынудили уйти, хотя он тоже отдал университету около 30 лет добросовестного труда.

Другой защитник (с 39 г. рождения) не выдержал этих безобразий и помер. Ничего общего с любовью к Истине, Добру и Красоте эти действия «философского» ф-та, конечно, не имеют: так могут поступать лишь явные или тайные враги философии.

Активно участвовали в составлении компромата на Беспокойного и некоторые профессора других факультетов, особенно старался «дурак» с филологического, т. е. тот самый, который во времена оные утверждал, что «Солженицын — изменник Родины и давно деградировал как писатель», и которому в этой связи Вы вполне справедливо просили студентов передать во время выступления в 82-м году в актовом зале ТИАСУРа: «Скажите вашему профессору, что он дурак». Правда, от чрезмерных стараний «дурак» и сам слег в больницу, хотя и пережил своего более молодого декана Ракова, которые тоже неожиданно вдруг помер. Он тоже участвовал в травле Беспокойного, да кишка оказалась, что называется, тонка и не выдержал угрызений совести...

Вот такие баталии тут у нас развернулись. Так что тема данного сборника продолжает оставаться актуальной: хочется, чтобы Сталин ушел, а он продолжает вершить свои темные делишки. Главный же мотив подобных безобразий, мне кажется, указан в стихотворении *Николая Ляпина* «Делание денег» (1991):

Город погряз в маразме ныне жутком.
Без тормозов мораль летит с горы.
Все делают лишь деньги — проститутки,
Партийцы, спекулянты и воры.

И, пожалуй, в этом сегодня главная проблема:

И коммунисты, и тля буржуйская
Лишь только думают о себе...

Когда здание коммунизма у нас рухнуло, то обнажился его капиталистический фундамент, а из подвалов выбежали духи наживы и устроили дикую пляску вокруг золотого тельца. Потому и зарплату стало нечем платить: она похищена этими нечистыми духами...

С уваж. Ваш неравнодушный читатель

В. Томилин, *(профессор),*
г. Томск

15.12.96 г.

Милый Виктор Петрович, здравствуйте!

Пишет Вам вятский мужик. Живу я в маленьком поселке Красная Поляна, на берегу реки Вятка. Работаю на деревообрабатывающем комбинате. В бригаде у меня есть друг по имени Иван, мы с ним оба любим читать. И вот как-то он дал мне журнал «Роман-газета», а там роман «Прокляты и убиты» — с этого все и началось.

Я и до этого слыхал: «Астафьев... Астафьев», но ничего из его книг не попадало. Роман мне понравился. Захотелось еще. Поспрашивал у знакомых и, ничего не найдя, пошел в библиотеку; на счастье мое, откопал две книги, старые, изорванные, засаленные. Припер их домой и стал читать. Это были повести и рассказы. И вдруг — о Господи! Милостливый Ты мой! — этот «Последний поклон»... Меня с первых же строк затянуло.

Не знаю, возможно, я просто дурак, только, читая, вскоре захрюкал, начал вскрикивать, как ущипнутый, и вскоре заорал. Баба глаза выпучила.

Виктор Петрович! Я такой человек, всю жизнь я ищу и жду такую книгу, чтобы она была написана для меня, жду такую песню, чтобы она была только для меня, такие стихи, чтобы глаза вывоpотились на лоб. Читал детство Горького, Толстого, Аксакова, уж как они написаны, куда бы лучше, но все как-то вроде бы не то. Дурак, дурак, а все же я счастливый. Нашелся наконец человек, который позаботился именно обо мне, написал «Последний поклон».

Я все хотел как-то выразить свою любовь к бабушке, с которой прошло мое детство (так она и осталась мне самым дорогим человеком, хотя была и теперь есть родная мать), мы жили с ней вдвоем. И любовь эту я хотел выразить как-то особо, потому что там у меня к ней такое лежит, его, чувство это, могла бы выразить только музыка. Вы сказали за меня все. Вы почерпнули с самого дна. Я читал и не то что зверел, меня будто кто шлепал по щекам, хватал за ухо, и вел, вел по родимым местам, и тыкал носом в малинник за деревней, в ключи наши медовые, в земляничные поляны и мое солнышко, которое будило меня сквозь щели в сенях. Дерюговая постель на полу в сенях, она и теперь в глазах. Да разве расскажешь все и разве передашь? Вы, Виктор Петрович, не только мое самое заветное, в Вас я встретил лекарство, которое всю жизнь искал. Описывая детство свое, слова Вам сам

Господь Бог подавал. Уж я вроде как люблю природу, как она на меня действует пронзенно, вроде и мысли есть, а нет, не дал Бог. Один раз вдохновился и хотел что-то написать, вроде воспоминаний, и залез в такой бурелом, в такую темень, выбирался, употел весь от страха. А после как понесло — будто в телеге по кочкам, захохотал я и бросил это дело.

Да мне теперь ничего и не надо. Только вот какая беда, дорогой Вы мой. Дочитал я там до главы «Монах в новых штанах», прочел листа два и обнаружил вырванные листы. Это меня так ошеломило, верите, нет, даже слезы у меня вышли, бросил, конечно, читать, побежал снова в библиотеку, перерыл там все, больше, конечно, книг Ваших там не оказалось. Так надо ли таким быть варваром! Кто ее читал и читал ли, если поднял лапу свою грязную, пьяную на такую святость. Виктор Петрович! Милый мой! Пожалуйста, если можно, если есть у Вас хотя бы один экземляр «Последнего поклона», пришлите, я заплачу (и заодно заплачу от радости). Гармонь продам! Плохо живем. (Заработки махонькие, и те по пять месяцев не платят.) Ну да ничего! Карточка есть, на хлеб дают — не пропадем. Я бы не осмелился обратиться к Вам, а что поделаешь, если душа так рвется почему-то. А как Вы цветы описываете! Я, как баба, почему-то всю жизнь люблю их, тащу летом из леса, везу с родного поля. Маленько фотографией занимаюсь. Хожу в художественную самодеятельность, хотя и с трудом теперь это все дается, пою в хоре и пою со сцены один русские народные песни. Не хвалясь, скажу: меня, когда услыхал на конференции наш директор, пробрался из зала за кулисы, подошел ко мне, взял за уши и поцеловал «Как ты поешь, чертенок ты полосатый!» — сказал он. Все засмеялись. «Что надо будет, приходи», — сказал он, уходя. Мне после ой как надо было кое-что (хотел комнату попросить, жил-то я один), но из-за скромности не пошел, а после он умер. Люблю я петь и неполитанские песни. «У вас, молодой человек, очень красивый природный голос», — сказал мне один человек, а точнее, брат Михаила Александровича, певца — помните Вы его? Сказал мне это Моня, свела нас судьба с ним в тяжелом месте, точнее, в лагерной клоаке, когда мне было 20 лет отроду.

Ой, Виктор Петрович, извините. Меня уже понесло. Это Чехов называл (вроде Антон Павлович!) словесным поносом. Я бы Ваши книги берег как не знай что и гордился бы всю жизнь, а она у меня, черт возьми, горькая!

Так я из-за разорванных листов и прекратил чтение, а вижу, писатель Вы прекрасный. Ловлю Вас на телевизоре. Каждое слово Ваше стараюсь поймать и даже дыханье Ваше сипленькое слушаю с любовью. Сказали бы мне: отдай ему такой-то орган, отдал бы, вот я как полюбил Вас, Виктор Петрович. Если Вы даже не ответите мне и книгу я если не дождусь — что ж, ведь любовь-то мою, уважение-то мое глубокое останется, потому что писатель Виктор-то Астафьев не для меня одного живет, а для миллионов, и все его, наверняка, любят не меньше моего.

Вот что я хотел сказать Вам, дорогой Виктор Петрович. И — до свидания. Дай Вам Бог крепости, силы дай Вам Бог от русской земли нашей матушки.

С низким поклоном, ***Анатолий.***

Поклон и супруге Вашей. И жена моя кланяется Вам

15.12.96 г.

Здравствуйте, дорогой Виктор Петрович!

Вот и минул еще один нелегкий для России год и, к сожалению, ничего хорошего, кроме личных добрых пожеланий, я Вам написать не могу. Дай Бог Вам здоровья, творческих сил, прозрений и озарений! Пусть будут здоровы ваши родные и близкие! С Новым годом!

Попалась мне тут на днях одна русская зарубежная газета. Смотрю, а в ней статья Солженицына. Прочитал ее и купил еще одну газету для Вас. Посылаю. Если Вы ее еще не читали, то обязательно почитайте. Статья очень хорошая, объективная, точная, хотя и пессимистическая. Радоваться действительно нечему. Мудрый старик дал эту статью на Запад, а не в центральную нашу прессу, и это грустно. Уж если Солженицыну опять приходится печатать правдивое слово за бугром, то какая же у нас свободная пресса?! Опять нас вожди в дерьмо затолкали! Просто проклятие какое-то над нами, над Россией.

Опять Россию ведут не туда, куда надо, куда она сама хотела бы. Наша малочисленная, редкая интеллигенция это понимает, видит и говорит об этом, но голос ее звучит всуе. Да частное, личное понимание и не может изменить эту хищную, криминальную государственную структуру. Опять нужен либо террор, либо покорное выжидание, христианское терпение (всякая власть от Бога). От Бога

ли? А почему не от дьявола? Дьявола ведь никто не отменял! Всю свою жизнь я был, несмотря ни на что, оптимистом. Как-то кровью чувствовал, что доживу до победы, до торжества, до разрушения подлой партлагерной системы, а сейчас чую, что теряю свой оптимизм. И не потому, что в этом году мне стукнуло 50 лет, а потому, что не верю в скорое возрождение, выздоровление, а значит, и врать не буду, не смогу. Раньше мне САМА ЖИЗНЬ давала веру в то, что изменения будут, что они близки, а сейчас наша жизнь не дает мне такой веры.

Увы, Виктор Петрович, Солженицын не знает Россию! Тут, видимо, сказались годы изоляции, эмиграции, да и сугубо кабинетная, московская работа. Ну никак я не могу согласиться с его утверждением (читайте статью!), что у нас «тысячи и тысячи инициативных и талантливых людей не могут найти себе применения». (Он имеет в виду провинцию.) Да откуда — хочется у него спросить — вы их взяли на нашем-то пепелище, из каких таких давно изничтоженных корней они вдруг появились?! Ведь в провинциях, в районах положение ужасное. Дай Бог, если в каждом районе можно найти 5—10 человек инициативных и 2—3-х по-настоящему талантливых! Дай Бог набрать хоть тысячу по всей России действительно имеющих ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УМ и действительно глубокорусскую национальную душу! (Я не говорю о тех талантливых юристах, учителях, экономистах, врачах и т. п. узкоспециализированных людях, которые вполне вписались в свободный рынок, да и раньше большинство из них не бедствовало и не страдало.)

Положение в провинциях тяжелое. Зато бурно размножаются миллионы дебилов, олигофренов и пьяниц. Где же выход? Выход действительно в одном — как Солженицын правильно пишет —в общественной борьбе. Но борьбу-то надо организовать! Не так-то просто из пассива делать актив. Одной статьи Солженицына или Астафьева мало. Это ведь сложная, требующая средств и сил работа. У нас ведь в провинциях (на возрождение коих уповают) поголовная, чудовищная бедность! У нас ведь там давно нет дворян, купеческого сословия и даже нормального среднего класса! У нас впору каждого провинциального интеллигента заносить в Красную книгу и охранять омоновцами! У них (за редким исключением) нет ни своих газет, ни радио, ни ТВ, даже своих компьютеров и ксероксов нет (то, что, говорят, стоит в фойе каждой евро-

пейской почты!). При таком положении вещей призывать народ к борьбе просто кощунственно! И странно, что Солженицын этого не понимает. Ну хоть Вы, Виктор Петрович, напишите об этом, выступите, если дадут, по ТВ, наконец. К Вам ведь должны прислушаться!

Говорят, у зэков спрашивали: почему вы не боролись, не сопротивлялись режиму? А они удивлялись вопросу. И действительно: на свободе-то свободы не было, а как бороться в лагере в условиях фактически ДВОЙНОЙ несвободы? При чудовищно разрушенной человеческой морали (доносительство, стукачество: в тюрьме за СЛОВО добавляли ТЮРЬМЫ!), при искусственном голоде, при непосильной работе... Там дай Бог просто выжить.

Вот и сейчас это продолжается. Какая борьба — людям надо выжить! Вообще-то, умные и талантливые люди должны рождаться не в бедных, а в богатых (в хорошем смысле этого слова) семьях. Вот тогда у них будет шанс не спиться, а развить свой ум и талант, реализовать его во благо своей Родины. Тогда у нас опять появятся и Толстые, и Лермонтовы, и Пушкины, и Менделеевы. А пока мы как народ, как нация отброшены лет так на 100—200 назад, в зародышевое состояние.

И наше будущее покрыто мраком.

Вот такие у меня, дорогой Виктор Петрович, невеселые новогодние мысли. А если у Вас чуточку больше оптимизма, то я могу только порадоваться за Вас. Дай Бог, чтобы я ошибался.

Обнимаю. Ваш ***Борис Никитин***

20.1.97 г.

Дорогой и, к сожалению, далекий
Владимир Владимирович! (Миронов)

Кажется, удальцы-самостийщики делают все, чтобы мы были еще дальше друг от друга и письмам русских на Украину чинят всяческие препятствия и пакости, достойные базарных торговок с бердичевского или одесского базара, а то и просто не пропускают почту.

Но вроде бы все-таки произошли какие-то изменения, и, наверное, более не требуется заполнять таможенные бумаги для отправки письма, тем более бандероли. Правители-хохлы в ненависти к москалям превзошли даже

мои самые мрачные предсказания о том, что, получив вожделенную самостоятельность, они превзойдут в кураже и дури даже трусливых грузинов.

Мы живем, хлеб жуем, теперь вот и с маслом, поскольку еще при жизни моей началось издание почти Полного Собрания сочинений, и хотя от оплаты его богатым не сделаешься при нынешних ценах, но штаны поддержать и даже новые купить возможно сделалось. Вот с первой получки (всего будет две) мы позатыкали обозначившиеся в доме и в нашем бренном теле дырочки, технику бытовую купили, из одежки кое-что, вплоть до колготок и мужских носков. А то ведь стыд сказать, друг нашего дома заслуженная артистка, гостившая у нас два месяца, которая обшивала нас, чего-то латала, а на внучку пальцем показывала — так мы ее плохо одевали из-за скверности характера и нашей скупости. Я-то на это плевал, да и МарСем тоже, но и ей хочется на старости лет выглядеть прилично и меня одеть, поскольку бываю на людях, пусть ныне и редко.

Я любил и люблю петь дурацкую песню старых времен, немножечко ее переиначив: «Лишь был бы семейный покой, а все остальное — дело шестнадцатое...»

А покою-то и нету, ни в России, ни в душе, да и болею все чаще и чаще. А перед Новым годом я еще и грохнулся, и бок шибко ушиб, и ребра повредил...

Малость уже на ходу. Вчера ходили в оперный театр, на премьеру оперы «Бал-маскарад» Верди, и такой ли праздничный вечер получился! После спектакля посидели с постановщиками, дирижером, очень симпатичным, хотя и нервным, с директором нашего театра, которая возникла из таких ли лесов и болот, что и на карте их не сыщешь, может, за это я к ней давно уж дружески привязан. Сам из урема — тайги вылез — смотрите на проспект издания — это как раз и есть река Мана, которая впадает в Енисей выше моего села. Так бы вот залез в глушь и глубь этой великой тайги, погрузился б в ее пространства, в тишину ее и жил бы там, писал бы, Богу молился, думал о смысле бытия. Да ведь знаю, как и всякий современный человек, цивилизацией порченый, если не погубленный, — не выдержу одиночества и уединения более месяца.

Все наше с М. С. время уходит на работу над собранием сочинений, некоторые тома требуют много сил и вре-

мени, а последние тома — публицистика и письма — вовсе жилы вымотают. Мы, с Вашего позволения, включили в один из томов и некоторые Ваши письма. А пока будем думать, как Вам, за границу, пересылать тома сочинений. Первый том уже печатается. Всего мы сдали уже девять томов. Все издание должно быть осуществлено за два года и закончиться в 1998 году. Но, человек предполагает, а Бог располагает. На Него и будем уповать.

Низко Вам с супругой кланяемся, со всеми уже прошедшими праздниками, прежде всего — с пресветлым Рождеством Христовым поздравляем и желаем Вам всего, чего желают добрым людям добрые люди.

«Бог с нами и Бог с Вами» (по Карамзину).

*Преданно Ваши — **Виктор Петрович** и*
Мария Семеновна Астафьевы,
г. Красноярск

20.12.96 г.

Дорогой Василь! (Быков)

Как я рад неожиданной весточке от тебя! Вот смотрю на бесноватых, сотрясающих самый добрый народ и мирную из всех земель — Беларусь и с болью думаю: каково-то там Василю быть и жить на старости лет?

Рад, что ты жив, держишься и собою держишь небесные своды над своей Родиной, которую кто только ни учил тебя «правильно» любить...

И держись, и стой на своем рубеже, иначе его снова займут красные держиморды и доконают остатки твоего народа-труженика. Посылаю тебе книгу, которую ох как нелегко тебе будет читать. Я наконец-то забрался в окопы, в самое их бездонное и беспросветное дно опустился.

Ох, как тяжело туда возвращаться и все пропускать через старое уже сердце, усталое и больное. Хорошо, что были мы там, на этом самом крайнем краю жизни молодыми, многого не понимающими и страху по-настоящему не знающими. Сейчас уж кажется, что там был кто-то другой, отдаленно на тебя похожий, — иначе с ума ведь можно сойти, перегружая и без того перегруженную память сверхтяжестями и сверхмуками. Если наткнешься на ненависть мою открытую на то и на тех, кто нас обманывал, посылавших на муки и смерть, написанную «в лоб»,

не очень художественно, знаю, ты мне простишь эту святую ненависть.

В 8-м номере «Нового мира» напечатана моя короткая повесть «Обертон»: это снова о нашей погубленной молодости, о несбывшейся любви.

А третью книгу романа пока не рожаю, не начались схватки, только в башке прокручивается и прокручивается «материл», может, осенью начну.

Пока же бьюсь над Собранием сочинений, которое издают здесь, в Красноярске, в мощном издательстве «Офсет». Пока мы с Марьей подготовили девять томов, а всего должно быть 15(!), каждый том я решил откомментировать сам, чтобы после меня не плели всякие домыслы. Вот закончу эту громоздкую работу и продолжу писать роман. Василь! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть он будет полегче уходящего. По возможности будь здоров. Поклон твоей супруге.

Обнимаю тебя — Бог с нами и Бог с вами! — как писал в заключение своих писем Карамзин.

В. Астафьев

23.12.96 г.

Здравствуйте, наш родной, любимый Виктор Петрович!

Пишу Вам это письмо много лет... все время в уме «про себя». Все мешает стеснительность, думаю, стоит ли отнимать у Вас время... Вам и так, наверное, пишут пачками... Вам бы подумать, отдохнуть, а тут читай, разбирай почту... И в то же время это письмо к Вам постоянно сидит во мне, главное — много лет. Ну, думаю, если уж так, то напишу, значит, так велит мне Бог.

Виктор Петрович, недавно прочла я Ваш роман «Прокляты и убиты». Несколько дней ходила как в тумане. Не буду рассказывать своих чувств — их должен испытать каждый сохранивший способность сопереживать человек. Но, Виктор Петрович, родной Вы наш, это какая же зияющая рана у Вас много лет в душе, и с этим жить, и не возненавидеть Божий свет! Как же Вам было — пропустить все это через сердце и ум. Создавать такие произведения — это крест, и я могу только догадываться, как Вам нелегко его нести.

Виктор Петрович, Вы для меня единственный человек

на Земле, которому я верю. И думаю, что такая я не одна. Когда развязалась чеченская война, я с первого дня была против. И до сих пор я считаю, что они должны быть самостоятельными. Меня потрясла Ваша фраза о том, что Чечня не принадлежит России по тому же праву, по какому Крым не принадлежит Украине. Если бы Ваш голос был бы услышан! Как много на свете лжи, неправды. Как в народной сказке: отрубаешь одну голову Змею, а вместо одной вырастает три... Если бы злодей сказал: «Да, я злодей и сею зло, и мысли мои злодейские, и дела мои злодейские». Так нет. Зло рядится в одежды Добра, прикрывается словами о пользе и необходимости — и как все трудно, как перепутано в нашей жизни. Как легко декларировать и как неимоверно тяжело остаться просто порядочным человеком на ежедневном уровне.

Я с трудом выношу телевидение, от него у меня болит голова. Все более-менее нормальные передачи идут днем, когда их практически никто не видит, а по вечерам начинается вакханалия: наглые ведущие, похабные певцы, тупой юмор самого дешевого пошиба, безграмотность, ложь, брехня, бесконечные идиотские игры и т. д. Я не ханжа, но то, что я вижу на экране, просто добивает меня. Самое противное — это то, что презрение к нам, т. н. простым людям, почти уже не скрывается. И вот эта волна зла вкатывается ежевечерне в каждый (каждый!) дом, а там ребятишки, что особенно страшно... И ведь кто-то дирижирует всем этим, кто-то дергает за невидимые нити... «Русь, куда несешься ты? Дай ответ... Не дает ответа».

Виктор Петрович, наверное, я повторюсь вместе со многими, но все-таки скажу: Ваше творчество продолжает великую толстовскую традицию. Ваши поиски Истины и Правды помогают многим-многим Вашим соотечественникам оставаться людьми. Хочется написать что-то особенное, но не получается, слова до обидного мало выражают то, что я чувствую к Вам. Но пусть до Вас дойдет тот поток бесконечной признательности и тепла, который начинает излучаться из моего сердца всякий раз при Вашем имени.

Дорогой, родной Виктор Петрович!

В наступающем 1997 году я и моя дочка Наденька желаем самого главного Вам — здоровья. Живите, Виктор Петрович, долго-долго. Если не будет писаться, не мучьте себя, просто дышите, радуйтесь солнышку, Божьему свету, деревьям, детям и хорошим людям. А мы будем радо-

ваться, зная, что Вы живы-здоровы. Пусть будут здоровы и счастливы Ваши близкие. Пусть хранит Вас наш Господь.

Целую Ваши руки.

Ирина Папсуева

5.1.97 г.

Дорогой Евгений Семенович! (Попов)

Я уж начал было подумывать, что дела у пензяков совсем плохи и им уж не до книг. А как получил 4-го января бандероль — и не знаю уж, кого и благодарить за этот дивный мне еще один подарок судьбы: Вас, Бога, художника и себя похвалить за то, что сподобился побывать в гостях у пензяков и Лермонтова и что сам углядел в Меркушеве прекрасного оформителя. Все мне понравилось, все, тем более что московские художники, с которых и спрос немалый, сделали к Собранию сочинений очень посредственное, если не убогое оформление, зато боролись за «единство стиля» издания и навязали нашей провинции, опыта изданий подобного рода не имеющей, какой-то новомодный шрифт, мелкий, слепой. Я по мере выхода томов буду высылать их Вам, и Вы сами увидите, как спустя рукава можно исполнить работу.

Вот перед Вами листовка-буклет на издание, и посмотрите, чего наворочано! А я ведь все «вылавливал» и выловил, исправил, но кто-то где-то поленился иль потерял текст, мною исправленный, — и вот он, результат...

Макет книги Меркушевым сделан высокопрофессионально, а створка, открытая в прошлое, — меня потрясла, и рисунки, именно книжные рисунки — четки, читаемы и в то же время поэтичны! А этот серенький, теплый цвет шмуцов, словно нежный рассвет... Как-то бы сохранить его при печатании книги.

Я оставляю у себя варианты (уж простите за нахальство) для того, чтобы нашим издателям ткнуть их в нос и сказать, что оформление книги — дело не только кропотливое, но и серьезное, в день и в неделю не делается и надо, чтоб художник становился союзником автора и внимательно, желательно с любовью, прочитал то, чего взялся изображать.

Затем я отдам все эти варианты и книгу в Литератур-

ный музей, который никак у нас пока не откроют — все нет денег, но летом все же сулятся открыть. Но если нужно вернуть варианты, я готов их тут же выслать. Передайте спасибо Анатолию. Мне обложка с фамилией, сделанной вязью, как и ему, нравится, но я против нее по той причине, что и Вы, — она не будет смотреться на прилавке, а прилавок, он ой-ё-ёй каков — выше всех законов!

В договоре меня устраивает все, лишь попрошу в счет гонорара прислать мне сотню книг — здесь мне их не купить, а книга выходит подарочная! И хорошо, что я ее не перегрузил — она получается компактной — длинным бывает только вздох по утрате, а сама утрата молодости и любви, а горе и беда — они в отдалении, как вспышка зарницы, как молния, но все-таки до малой былинки высвечивающая...

Пусть не обижается на меня эта чудная женщина, название которой — Тамара Михайловна Мельникова. Все мое время уходит на работу над Собранием сочинений — я сам комментирую все тома, чтобы за мною меньше было вранья и искажений, а два тома писем, и том публицистики, и прочие «мелочи» столько сил и времени требуют. Мария Семеновна, конечно же, мне помогает из всех оставшихся сил, но редактор-то мой в Москве и не хватает ее здесь, обещает в конце января приехать.

Сам я умудрился перед Новым годом ушибиться — туловище-то не худеет, а гибкости ни в чем никакой уж нету, в костях тем более. Весь праздник пролежал — ни дыхнуть, ни охнуть не мог, сегодня вот, чтобы Вам письмо написать, присел к столу.

«Обертону» присудили годовую премию в журнале «Новый мир». В Китае вышла книга «Затесей» и сокращенный вариант «Царь-рыбы». В Англии один из журналов русистского направления начал печатать «Прокляты и убиты». Наш драмтеатр затевает постановку по «Обертону«, но не нашлось в повести сценических возможностей, и дело завершилось тем, что будем ставить спектакль по мотивам «Людочки». Вот немного распутаюсь с Собранием сочинений и примусь писать пьесу по «Людочке», предварительное (рабочее) название пьесы «Горе-горькое».

А за роман, за третью книгу, пока не принимался — нужны силы и большой кусок свободного времени — «для разгона», пока же ни того ни другого — очень у нас в России умеют и любят отнимать время, а главная рабо-

та — дело жизни — становится как бы и неглавной, да и ненужной.

Но опять же никто, как Бог — на Него и уповаем. Через день Рождество Христово. Поздравляю всех пензяков и Вас тоже с этим пресветлым Земным праздником! Будьте здоровы! Еще раз спасибо за все! «Бог с нами и Бог с вами», — как заканчивал свои письма великий Карамзин.

*Низко кланяюсь — **В. Астафьев***

У нас многоснежная зима с нормальными для Сибири морозами — доходили до —37°! Но и перепады бывают. Урожай обещает снегоизобилье какого уж лет 20 не было, но и половодье иль потоп — неизбежны, а у нас вверх по Енисею две дуры под названием ГЭС — могут полмира утопить собою, если стена упадет, одну Саяно-Шушенскую уже ремонтируют, опять иностранцы — словно не мы, а они воздвигали величайшие в мире гидростанции и не у них, а у нас в городах темнынь при таких-то электрогигантах...

3.2.97 г.

Дорогие и теперь уже далекие друзья — софронтовики!*

Давно уже пришло от Вас письмо, потом второе — с фотографиями и рассказом о Вашем житье-бытье. Болезни, текучие и литературные дела отнимают все мое время, но, видит Бог, я все собирался Вам ответить и вот наконец-то собрался.

Я глубоко Вам сочувствую, что на старости лет пришлось тащиться за океан и доживать век на чужой, пусть и благодатной стороне. И все же хорошо Вы сделали, что уехали из Западной Украины — национализм и хохляцкое чванство за это время приняли еще более широкие и наглые формы за эти последние годы, по всей Украине идет гонение и проклятие москалей, а уж евреев тем более. Причем не берется во внимание, что в России не происходит отторжения и украинцы как жили равными со всеми гражданами, так и живут, а ведь Сибирь и Дальний

* Смотрите письмо Александра Фишмана из Нью-Йорка от 3.11.95 г.

Восток давно и массово охохлячены, еще с давних времен, и если б здесь началось что-то подобное «гуцульскому варианту», так сколько бы горя, а может, и крови было бы... И Кравчук — советский комиссар, и Кучма пытаются быть хитрее всех, как им кажется, умело разыгрывают национальную карту, но это уже привело к разделению Украины на Западную и Восточную, а жизнь не улучшается, и украинцам, которые так терпеливо, искренне и долго желали самостоятельности, но не хохлацкого гонора и дури, — все уже опостылело, и они рады бы жить с Россией по-братски и по-соседки, а не править бал в широких шароварах и при висячих вусах. Жизнь оказалась куда серьезней намерений, политических игр и парада с пустым брюхом и голой задницей.

У нас дела тоже идут неважно, по полгода не выплачивается зарплата, задерживаются пенсии и пособия, народ устал уже ждать облегчения. Да и понять его можно — привыкший жить от аванса до получки, в отличие от буржуев не умеющий накопить копейку, не вписывается он в новые экономические отношения, да, за малым исключением, и не впишется, нужны два-три поколения, чтобы начать жить по-новому. А будет ли время вырастить эти два-три поколения, когда дряхлеет все: люди, недра, промышленность; приходит в запустение и дичает земля, и никто не хочет работать от утра до вечера, в особенности на земле, все ждут, что придут и дадут им пусть и бедную пайку, пусть нищую, но устойчивую зарплату, пусть призрачную, но волю. Вот и живем в тревогах и ожиданиях. Как всегда на Руси нашей великой и горькой, смутное время, брожение в людях, в головах и душах, одичавшие от безвременья, безверья и коммунистического обмана люди возвращаются или вновь обращаются к Богу. Повсеместно восстанавливаются и вновь строятся храмы и не только христианские, православные.

Вот на Бога и уповаем, и надеемся, а больше уж надеяться не на кого, кругом болтовня, обман и пустые обещания.

Мы с супругой Марией Семеновной — она у меня тоже фронтовичка, женились в 45-м году под Жмеринкой, когда я попал после госпиталя в нестроевую часть, было у нас трое детей, остался один сын, который живет и работает в Вологде. Первая дочь умерла маленькой, от голода, вторая, выросшая в условиях нашей дорогой действительности, еще в детстве заболела сердцем и дотяну-

ла лишь до 39 лет, была в разводе и оставила нам двух внучат. Старший уже вырос, живет отдельно от нас, здесь, в Красноярске, внучка с нами, учится в 8-м классе. Мы по-прежнему много работаем. Я за последние десять лет написал две книги военного романа и две повести, постепенно подбираюсь к третьей книге и много-много выполняю текучей работы.

Здесь, в Красноярске, начато издание моего почти полного Собрания сочинений в 15 томах. Сейчас печатается 1-й том. Все издание должно быть осуществлено в течение 1997—1998 годов. Мы получаем пенсию, я, как инвалид 2-й группы войны, получаю чуть больше миллиона, Марья Семеновна тоже прилично получает, вместе с гонораром нам этого хватает на скромное житье. Но как много у нас людей, которые не сводят концы с концами, мыкаются без работы, не имеют денег заплатить за квартиру и бытовые услуги. К сожалению, число их не сокращается, и жизнь ввергает людей в отчаяние и злобу.

Народ мало покупает книги, картины, но, удивительное дело — театры переполненны, концертные залы тоже. Значит, мы еще живы и надежды наши с нами, а они, как известно, умирают последними.

Очень был рад увидеть Вас на параде победы в Нью-Йорке. Сам я ни на какие парады и митинги не хожу, ни в каких празднествах не участвую — не могу, противно все это выглядит в моих глазах, потому как не прибрали косточки убитых на войне, и пока не исполнили этого Божьего дела — не имеем права ни на какие праздники.

Всего Вам доброго, главное — здоровья! Храни Вас Бог!

Кланяюсь, ***Виктор Астафьев***

[1997 год]

Дорогой Виктор!

Собирался ответить тебе сразу по возвращении твоем из Москвы, но вот опять расхворался брюхом: рвет меня, не проходит пища, с этой непроходимостью я уже лежал зимой в больнице, вытащили уколами, а теперь вот снова... Все это — следствие моих былых язв, которые настолько деформировали выход из желудка, что при малейшем воспалении пища не идет и тогда остается един-

ственный путь — обратно с помощью двух пальцев... В таких случаях человек начинает тощать, ноги его не держат, словом, невеселая такая вот житуха... Но в больницу не хочется, пока перемогаюсь, надеюсь как-нибудь выцарапаться с помощью голодания...

В Киеве не застал тебя всего на один день. Еще были там Валя Распутин, Крупин, застал Мишу Колосова, а тебя уже не было... С Валей почти не разговаривал, он одержим мессийством, держался больше верхов и вообще жил в другой гостинице, да и времени почти не было для душевных разговоров. В тот же день после произнесенной им речи со свежесколоченных перед Софией подмостков, туго набитых начальством, Валя улетел на съезд.

С вашего «шевченковского» теплохода осталось много литературной швали типа Раи Романовой, которая хваталась за все, чтобы добраться до трибуны, что-то там выкрикнуть, но хохлы никого не пускали к микрофонам и даже перекрыли доступ в Софийский собор. Вообще атмосфера в Киеве была натянутая, тяжелая. Драчи и павлычки в упор никого не видели, ребят, прибывших из России, двое суток не пускали в гостиницы, не давали никакой информации, проспектов о предстоящем празднике и не гарантировали даже обратные проездные билеты. Вале Распутину два дня выбивали билет, и он кое-как улетел. Едва уехал даже академик Полевой. Теоретическая конференция, проходившая в одном из храмов Лавры, не имела микрофонов, и никто не слышал, о чем там бубнят ученые-слависты со своей полутемной трибуны. За все время праздников слово «Россия» вообще не упоминалось. Зато все было обращено в сторону Болгарии и Югославии и особенно лебезили перед беглыми хохлами, прибывшими в Киев из Канады, США и даже Австралии. Один заморский хлопец, купив в нью-йоркском комиссионном магазине бандуру, приехал с нею до Киева и на помосте неумело дергал ее струны и сипло пел с американским акцентом: «Ты ж мэне пидманула...»

А сам Киев, конечно, великолепен! Весь он в каком-то ансамблевом единстве — и зеленые его холмы, и золото бесчисленных маковок среди каштанов, и мягкая ширь Днепра. У Москвы нет такого единства облика, она вся рассыпается на районы, на микроландшафты, скажем, Арбат, Лефортово, Сокольники... А вообще, я понимаю недовольство Киева Москвой... Такой город подвергнуть чернобыльской напасти! И по сей день киевляне избега-

ют есть рыбу из Днепра. Спрашивал рыбачков на берегу, зачем они ловят, если есть нельзя. А так, для интереса, половить-то охота. И такие вот АЭС закладывают по берегам Днепра до самого Черного моря, и на самом Черном море тоже пытаются насаждать — в Одессе, Крыму... Смотрел я с Владимирской горки на Днепр, и не по себе делалось при мысли, что где-то на дне этой могучей реки ползают пораженные радиацией ракушки, снуют обреченные окуньки, растут смертельно опасные водоросли. Все упования киевлян — на Десну, которая вливается в Днепр чуть выше. Но они забывают, что и Десна теперь — не святая водица. На ее притоке Сейме, как раз там, где мы с тобой были, стоит такой же, как и в Чернобыле, мрачный монстр атомной энергетики. Там, где когда-то стояла наша палатка, теперь плещется искусственное море, зимой парящее черным, как стена, туманом, и там, в полукипятке, плавают голые, безчешуйные лещи и офонаревшие от жары лягушки, которые, когда сильно припечет, выскакивают прямо на прибрежный снег, покатаются, как после бани, и опять — в кипяток... А рыбе порой некуда выпрыгивать, и она массово всплывает — вареная, с белыми выскочившими глазами... Первые блоки Курской АЭС скоро выработают свои ресурсы, и их начнут консервировать, покрывать бетонными саркофагами. И будут вечно стоять эти ужасные гробы, начиненные, как египетские пирамиды, страхом и мщением всему живущему вокруг них. А рядом строятся новые блоки. И так постепенно выстроился долгий, многокилометровый ряд живых и мертвых чудищ, мимо которых даже проезжать боязно, а не то чтобы жить там постоянно. Но вот живут же! Бедный, наивный наш народишко, изгнанный с полей, из родных деревушек бесправием и неблагодарной работой, он жмется к любой стройке, к любой возможности зацепиться где-нибудь. И весь этот атомный поселок собран из окрестных деревень, за исключением ИТР: все это шоферы, слесари, монтажники, бетонщики — это же все окрестный деревенский люд, согласный и на стронций, и на облучение, и на выпадение зубов и волос, лишь бы не в колхозе...

Да, но после Киева, после днепровской эпопеи тебе еще предстояло выдержать Москву, съезд, который еще прибавлял тебе две недели испытания. Представляю, насколько это изнурительно. Несколько раз ты мелькал на экране телевизора, иногда у тебя брали интервью, но вся-

кий раз ты выглядел не лучшим образом. Насколько я понимаю — все это не твое, не твоей души и натуры занятие. Вот Васята Белов — он такую суматоху любит, со значением носил под мышкой какие-то бумаги, со значением же щурил повыцветшие глаза и выставлял вперед свою обесцвеченную заботами бороденку. Мне все-таки кажется, что все это лукавые игры, в которые особенно охочи играть всякие там Боровики. На глазах рушится надуманный Рим, бегут от него в разные стороны втянутые народы, и об одном только печалюсь, чтобы не было больше крови.

Пока ты сидел на съезде, в это время Петя Сальников сидел в Переделкино. Я ему подсказывал, чтобы он съездил бы в Москву и повидал бы тебя. Но он что-то не решился тебя тревожить, тебе и так было суеты по горло. Теперь вот надеемся на осень, на осеннюю сессию: может, когда надоест заседать, под субботу махнешь в Курск, одна ночь езды. Осенью же планируем мы очередные Воробьевские чтения. В Костином селе, Верхнем Реутце, организовали мы его музейчик и вот уже третий год собираемся в дни его рождения помянуть, поговорить о нем. Он любил эту свою затюканную родину, эту печальную землю, осыпанную палым листом, но она, сама попираемая сапогом бездушной власти, так и не дала ему приюта. Может, и ты захочешь приехать на день-два и поклониться Костиной памяти.

Витя! Посылаю тебе сборничек Прасолова, возможно, он до тебя не дошел. Ты его, конечно, помнишь: это бывший муж Инны Ростовцевой, страдавший клептоманией, когда бывал в Москве, всегда обворовывал общагу, угодил в тюрьму, откуда его вызволил Твардовский, любивший и печатавший его на страницах «Нового мира». От судьбы своей так и не ушел, как многие тогдашние поэты: по выходе из тюрьмы взял веревку да и повесился... Не климатило поэтам на Руси...

Вот позвонил Пете Сальникову, узнать, желает ли он с моим письмом послать тебе приветы. «Обязательно и непременно!» — обрадовался Петя. Он в эту минуту варил себе из трех картошек похлебку. Ему охота выпить, тем паче что сегодня — 5 июля, начало Курской битвы. Повод, конечно, значительный. Но наш старейшина-художник Мих. Степ. Шолохов сказал по поводу выпивки: «Погоди, Петя, надо выждать. Нынче не время, надо пару деньков выждать, пока немцы выдохнутся. Давай отложим на

седьмое». Так мужики и решили: сварят какую-никакую ушицу, соберутся на Петиной кухне и помянут павших на Огненной дуге. Витя! Ты ведь тоже там был, где-то под Богодуховом... Мысленно оставляли место в нашем солдатском кругу. Хотя я нынче — пас...

*Обнимаю — твой **Женя (Носов)***

25.02.97 г.

Ответ Игорю Дедкову (увы, уже вослед)

Голова, где нам кажется сосредоточено все лучшее, что имеет человек, и прямая кишка, где скапливаются и через которую выделяются отходы человечьи, болит у человека одинаково больно. Нет, не одинаково — голова болит как-то «вообще», она как бы изображает недомогание, и потому интеллигентную головную боль можно утешить порошком, мокрым полотенцем, льдом, снадобьями, а вот боль в прямой кишке ей и соответственна, она груба, открыта, всегда остра, дика, невыносима, от нее защемляет сердце, от нее и голову не слышно — от нее только кричать, кусать губы, извиваться на постели, искать место, молить Господа о милости...

Вот я и кричу от грубой боли, не подбирая слов, не могу, неспособен их подбирать и терплю головную боль с 1943 года, со времени контузии, живу с нею, ношу ее, работаю с нею или свыкнувшись с нею — только чтоб не добавилось ни капли сверх того, что есть, вот если добавляется (чаще всего внешними обстоятельствами и безжалостными людьми), тогда уж невыносимо. Впрочем, и о второй, задней, грубой, боли Создатель позаботился, ее я тоже имею и давно, причем произошла она у меня не от сидячего писательского труда, а от надсады. Опять же от надсады грубой: плыл на плоту по уральской горной реке Усьве домой, в город Чусовой, где тогда жил, — книжку первую мою ребята из Перми привезли, а я в леспромхозе в командировке от газеты был — и заторопился подержать мою драгоценность в руках, сколотил плот из сырых бревен и заскочил с плотом в полуобсохший перехват на выходе из протоки. Плот не бросил — показалось, перехват короткий, а пришлось шестом поднимать и волочить его почти полкилометра.

Назавтра живот судорогами свело, рванул в туалет —

полный унитаз нутряной черной крови... Вот с тех пор, с первой книги, мучаюсь: головой — от войны, жопой — от (все-таки) литературы.

А вы судите за натурализм и грубые слова, классиков в пример ставите. Вы-то хоть их читали, а то ведь многие и не читали, а в нос суют. Не толкал посуху плот, грубой работы, черствой горькой пайки не знал Лев Толстой, сытый барин, он баловался, развлекал себя, укреплял тело барское плугом, лопатой, грабельками, и не жил он нашей мерзкой жизнью, не голодал, от полуграмотных комиссаров поучений не слышал, в яме нашей червивой не рылся, в бердской, чебаркульской или тоцкой казарме не служил... Иначе б тоже матерился. Пусть не духом, но костью, телом мы покрепче его, да вот воем и лаем. А он, крутой человек, балованный жизнью, славой, сладким хлебом, и вовсе не выдержал бы нашей натуральной действительности и, не глядя на могучую натуру, глубинную культуру и интеллектуальное окружение, такое б выдал, что бумага бы треснула, а уж зеркало русской революции утюгом бы всенепременно разбил, можете в этом не сомневаться.

Спите спокойно, брат по единой земле и жизни. Там уж никто, ни Лев Толстой, ни даже Гоголь, которому и в гробу смирно не лежится, не потревожат вашего покоя, и жизнь наша окаянная не осквернит ваш тонкий слух, вашу ранимую душу не оцарапает, природой и родителями настроенную на другой лад, на песни иные и на жизнь иную, чем та, которую мы доживаем и избываем.

Виктор Астафьев

28.4.97 г.

Дорогой Виктор Петрович!

На днях получил из Овсянской библиотеки посланные тобой для меня книги — «Последний поклон». Как я понял, ты их подписал еще в августе прошлого года, когда проходили «Литературные встречи в русской провинции», но прислали мне их сейчас, вместе с буклетом (или сборником, изданным после тех встреч). Спасибо за книги и за память. Перечитал, вернее, прочел впервые главы, которые не были включены в предыдущие издания, и остро ощутил твою боль о том, что было, о покореженных люд-

ских судьбах, о твоей родной Овсянке, о России-матушке, о всем загубленном, погубленном, порастающем уже травой забвения. Судьбы у нас с тобой разные, но в чем-то схожие. Детство мое было иным, чем твое, рос я в другой среде — в небольшой эмигрантской, но давшей мне то, что осталось на всю жизнь. Детство мое было бедным, но светлым. А потом было то, что оставило след в душе тоже на всю жизнь: разлуки, ссылки, смерть самых близких мне людей.

В детстве познавал я Россию по рассказам родителей, по книгам, по советским кинофильмам, которые попадали за рубеж, по старым и новым песням. Познавал, находясь по ту сторону границы. Потом познал Россию уже по эту сторону пограничной проволоки. Познал вольную и подневольную (последнюю больше и глубже), крестьянскую и городскую, жестокую и милосердную, страдающую и вселяющую, окаянную и молящуюся. Родители научили меня любить Россию, и я люблю ее во многом благодаря им. Разумеется, они любили другую Россию, но сегодняшняя — продолжение той, и оттого еще больнее за нее...

Ты пишешь о спецпереселенцах («спецах», как называли себя эти обездоленные, изгнанные из родных деревень люди), что, несмотря на все тяготы, обустроились они и в Игарке, те, которые выжили, разумеется. И я, живший среди спецпереселенцев на Васюгане, сам бывший «спецом» в 14 лет, могу сказать, что исстрадавшиеся, лишенные всего люди смогли устроить свою жизнь в глухомани, куда ворон костей не заносил, лучше, нежели те, кто изгонял их, как твой Ганька Болтухин, из домов, кто куражился над ними, в конце концов спился и сгинул...

Лучшая часть населения была уничтожена, а оставшихся семьдесят лет нас отучали работать не за страх, а за совесть. И вот пришли мы к финалу. Езжу в деревню, что в двадцати трех километрах от Минска, где жила моя родня по жене, тоже бывшие «спецы». Сейчас осталась одна свояченица, остальные за деревней, на разросшемся там погосте. Так вот, в этой деревне, которой триста пятьдесят лет и где сейчас живет около тысячи человек и всего четыре человека, там родившиеся, остальные — кто откуда, по многу раз менявшееся местничество, перекати поле. Травятся, воруют, убивают, вешаются, тонут, замерзают на улице, рожают дебильных детей. Сколько туда миллиардов рублей всажено, сколько техники там угроб-

лено, сколько скота передохло! Воруют скотину друг у друга. Недавно у одного глухонемого увели со двора двух коней. Нынче год только начался, а уже с десяток человек отправились на тот свет. Знал молодых мужиков, крепких — спились, дошли до ручки, которые и до могилы...

К чему я все это пишу? Да вот прочитал последнюю главу твою, новую — «Вечерние раздумья», — и сильнее заболела душа. А что с природой творится? Испохабили Сибирь. Казалось, на века хватит тут всего, многим поколениям. А что сталось в деревне, о которой тебе написал, есть у нас с женой избенка (из тещиной летней кухни переделал, перетащил ближе к речке, подруб сделал; электричество провел). Возле избенки пять соток земли, на которой овощи выращиваем. Пенсия у нас с нею вместе до восьмисот тысяч не достает, не дотягивает. А еще дочкам надо помогать — они за октябрь только недавно зарплату получили. Так вот, раньше дождю радовался, а теперь, как завидишь тучу — спешишь помидоры и огурцы пленкой закрывать — кислотные дожди губят все на корню. В прошлом году как ни берег — не уберег — картофельную ботву и ту начисто сжигает. На болотах клюква переводится, брусника чахленькая, как дробь... А еще, еще ко всему этими комбайнами губят, с корнем выдирают, стебли оголяют от листьев. Да ты сам об этом пишешь и знаешь не хуже меня.

Ну, ладно. Что-то я расписался. Еще раз спасибо за книги. Библиотекаршам скажи спасибо от меня за то, что выслали.

Здоровья тебе и Марии Семеновне. Как ты пишешь: «Боже праведный, подаривший нам этот мир и жизнь нашу, спаси и сохрани нас!»

*Твой **Вадим Макшеев***

Послал я недавно Солнцеву для журнала рассказ деревенский. Увидишь — узнай, пожалуйста, может, не поглянулся язык мой или вообще рассказ.

Вот перечитал свое письмо сумбурное, спешно написанное, и понял, что не сказал тебе главного — как прекрасно ты пишешь! Искренне тебе говорю. Доходили бы только слова эти до людей, тревожили бы души... Поглажу на прилавки, какими книгами они завалены, и оторопь берет. Сколько писак на этой мутной воде выплыло!..

29.5.97 г.

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Вчера у меня выпал счастливый день — повезло, что увидела Вас по телевизору во время присуждения Вам Пушкинской премии. От души рада за Вас! Спасибо Вам за то, что Вы есть! Горжусь Вами как землячка и, если позволите, как очень близким и дорогим для меня человеком. Знакома с Вами (заочно) я уже около тридцати лет. Ваш «Последний поклон» стал для меня спасательным кругом в жизни. Не знаю, дойдет ли до Вас мое послание, мой крик души. Знаю, что Вы очень заняты и пишут Вам подобное многие. Но я умоляю Вас прочитать до конца!

Родилась в глухой сибирской деревушке недалеко от с. Казачинское в голодном — 47-м году. В это время мать уже ушла от своего мужа, то есть моего отца. Она вернулась в свою семью после гибели ее отца под Сталинградом, а в начале 47-го похоронили и мать — их осталось шестеро, младшей было шесть лет. С ними еще жила старенькая бабушка, моя прабабушка.

«Я по ошибке в этот мир пришла, нежданной, нелюбимой, нежеланной». Мой отец уговаривал вернуться, но она отказалась. Почему — я сейчас понимаю. Он воевал, потом работал учителем в сельской школе. Сейчас у меня висит его портрет, который он прислал с фронта, вроде из Австрии. Написан этот портрет цветными карандашами, но очень талантливо. Это единственное, что имею в память об отце. С 1-го класса я упорно писала ему письма (жила с отчимом, который ненавидел меня, да простит ему Господь). Я уже простила. На свои письма ответа я не получала, да и не могла получить. Оказывается, моя мама забирала их у нашего почтальона. Сказала мне об этом совсем недавно. И я смирилась, перестала ждать ответ, но все равно гордилась отцом, хотя ни разу его не видела. В раннем моем детстве он несколько раз приезжал в нашу деревню, к своей матери, в родительский дом. А я в те дни убегала в лес, пряталась — боялась с ним встречи, почему — не знаю.

Прошли годы. Я выросла, вернее сказать, не выросла — последствия рахита, голодного детства, да еще косоглазие. Но у меня был добрый, веселый характер. Училась я с большим желанием. Рано начала писать стихи. В год окончания школы — в конце апреля — отчима зарезали,

а меня чуть не посадили за то, будто я подговорила парней: один из них учился в параллельном классе. В перерывах между допросами я сдавала экзамены. И даже мать поверила в это.

Господи! Как я все это перенесла?! Допрашивали весь класс, моих учителей, но я этого не знала, а они не говорили мне об этом, верили, что я не виновна. Да я никогда бы и не стала брать на душу такой грех, не смогла бы из-за этого потом жить. Ведь в нашей семье осталось трое сирот — три мои милые сестренки.

Потом я поступила в Красноярское дошкольное педучилище. Через год, когда сдала весеннюю сессию, меня вдруг так потянуло к своему отцу! Поехала на автовокзал, купила билет до его совхоза «Гемское». Еду назад в тролейбусе и случайно встречаю землячку, и она мне сказала: неделю назад отца похоронили...

Прошло ровно тридцать лет, а я до сих пор не могу себе простить за то, что я опоздала.

Моя личная жизнь — это уж другая драма: стала инвалидом 2-й гр. + беженка. Потеряла все. Дети (двое) далеко. Живем с мужем (ему 64 года) среди развалин, далеко за селом. Раньше хоть ссуду обещали, но сейчас угасла и эта надежда. Все держится на муже, мое больное и слабое сердце едва справилось с этим ударом судьбы. Пытаюсь писать стихи — для себя. Скучаю по своей малой родине — душа не принимает юг, а по здоровью нам нельзя там жить. Я ведь ради мужа поехала в Среднюю Азию, а потом нас оттуда «вежливо» попросили.

Анна Соколова,
Ставропольский край, Благодарненский р-н,
с. Алексеевка

8.6.97 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Давно слежу за всеми вашими литературными работами.

Врезалось в память многое. Особенно «Таежная лилия», как две девчонки в полях заблудились, взгляд на наш многострадальный народ, крестьянство, через войну.

Поэтому рад за вас, за то, что нынче вам присуждена премия им. Пушкина. Поздравляю!

И вот ваше последнее интервью в «Труде». Думаю, не один я буду читать эти заметки с надеждой на новое слово, на мысль, оживляющую наш слабый дух и демократическое сознание. Ведь для меня, не знаю как для всех других, вы человек проверенный. Проверенный не только войной, но и творчеством о войне, о солдате, человеке на войне. А то ведь много было авторов «военной тематики»: Чаковский, Бондарев, генералы, маршалы. Писали о войне как стратеги, как будто они в одном кабинете сидели с Генералиссимусом и гоняли по карте Гитлера. В их мемуарах только цифры: даты, километры, рапорты, донесения и т. п. Стыдно читать. Нет только главного — человека на войне. Да им он и не нужен. Им он представляется, как «материал войны». Не более. А победы вершат в кремлевских кабинетах. У вас другое. Даже в последней повести «Обертон» есть и жизнь, и судьба. Как у Гроссмана. Повторимся, не страшно. Читал и рецензии на повесть. Мол, измельчал, фронтовик, «окопник». В подстрочнике так и слышится — «лапотник». Отступает, повторяется... И пишут о том с неподдельной радостью. И с надеждой тоже: мол, теперь фронтовику из его литературного окопа уже не выскочить, не бросить связку гранат под танк...

Немецкий?! Нет, конечно. Но вы, наверняка, замечаете, что эти литераторы, рецензенты в последнее время опять моду взяли, утратили слово «немец», пользуя слово «фашист», будто мы не с румынами, не с австрияками, не с немцами воевали, а с мифическим фашистом. А те, мол, те — это же такие же пролетарии...

Нас, помните, таким мифом в сталинщину долго кормили, что, стоит только перейти границу Германии, Франции, Анголы и еще какой банановой страны, пролетариат нас поддержит огнем. Под Москвой, кажется, только и поняли, что никакой классовой солидарности и в помине не существует.

Боятся такие вас. Зря вы говорите, что не в коня, мол, овес, не отзовется ваше слово, слаба литература вообще в воспитании народов. Для кого-то и палочная дисциплина была слаба, а для меня и Лесков, и Пришвин, как и другие писатели, помельче, все учителя и собеседники. Вы чувствуете, что стали больше читать уж совсем, напрочь забытое, забитое нашей идеологической машиной, нашей — советской, понятно — Библию. Так и ваши, и дру-

гие книги найдут своего благодарного читателя. Я в это верю или почти верую.

Боятся вас московские златопевцы-критики. Боятся, что новой повестью или рассказом, дай Бог Вам здоровья, бросите гранату под танк, набитый недобитыми, хорошо устроившимися в этой жизни теперь уже детками, внуками тех службистых особистов, комиссаров-политруков, для которых все мы, как и солдаты на войне, лишь материал для карьеры. Идут по головам.

Считаю вас, Виктор Петрович, одним из трезвомыслящих писателей, не в смысле потребления вина, а взгляда на вещи и события, как ветерана войны. Часто бываю в наших Советах ветеранов войны, труда. Правят там, сидят, от имени стариков на митингах горлопанят нередко люди с темным, уголовным прошлым. До того договариваются подчас, что, мол, в войну нам лучше жилось, чем сейчас. Да, знаю: для кого-то и в войну поставлялся ленд-лизовский шоколад и тушенка. А вся остальная Россия, слово это, вы знаете, не употребляла, жила за счет пятишести соток, за счет огородов при налогах на каждую скотину. «При коммунистах жили лучше». Да, особенно некоторые коммунисты.

Да, в народе нет трезвой оценки своего бытия. Атрофировано генетическое начало-инициатива, первопроходчество, чем был силен именно русский народ. Дошел до Америки, известно всем. Все другие на горах просидели, на побережьях в теплых климатах без хлопот существуют. А наш помор, ушкуйник, новгородец, думал о своей жизни из-за постоянной суровой стесненности бытия. И страшно видеть, что иные деревни дожили до тюка, согласны китайцев, как производителей, принять, работать некому, хотя есть вроде жители, но не работники, а «бичи», рвачи. Тут у нас подсобное хозяйство «Скиф» под городишком обанкротилось, расформировали. На собрании начальник сельхозуправления спросил — кто хочет землю взять для крестьянствования? Все отказались. Не нужна сегодня им земля. Многие так и заявляли — а что я с ней делать буду?

И у вас по Енисею таких сел теперь немало. Разложение, верно вы говорите, достигло апогея, к которому, по сути, и шли теоретики ленинского социализма. Лесу жалко, сколько лесу ухайдакали на сочинения Ильичей — уму непостижимо! — мракобесие всех времен и народов. Все

во вред самим народам. Вроде разрушения государств, но только и на бумаге, и в душах народов.

Старики подчас в тех советах ветеранов подзабыли, что понятно, слабеет память, изменяет сознание, что было до перестройки. Милиция ведь не принимала «дела», если видела, что тут надо поработать, поискать, установить преступника. А зверств и во все времена было предостаточно. Помню, в 65—66 гг. в местном авиапредприятии мужик убил всю семью, шесть человек, и сам застрелился... И сколько такого. А уж утопленников из Лены вылавливали каждую весну. И я находил. Концы в воду. А журналисты, да еще политики разных мастей только и твердят: сейчас разгул преступности. Даже и тут ложь.

Думаю, что при всем плохом и тяжелом, при нынешних сбоях в государстве писателям, журналистам не следует отнимать у людей, человека последнюю надежду. Эти бесконечные запугивания НАТО или еще кем ведь кому-то на руку. Но не народам. Вместе с тем надо, так думаю, больше давать людям возможностей для спасенья, но не от дел, не от забот. Не праздности надо, а забот. В праздности народ дичает. Кажется, Дж. Стейнбек говорил: хорошая возможность испортить человека — это дать ему все, что захочет.

Наш народ, кажется, уверовал в то, к чему призывали большевики: человек — царь природы, все мы создадим, мы хозяева своей судьбы... Так-то оно так, но не совсем. Вот и вы говорите: знания умножают скорбь. Я понимаю, что для вас с каждым днем все труднее писать. Для искусства нет «молодых», «старых». Каждую новую повесть надо начинать с молодым жаром, с любовью. А где ее взять после такой жизни? Только от общения с народом. С близкими. Утраты их тяжелы. Больно и Вам, и мне тоже. И, понятно, молодые журналисты, не прошедшие по жизни, верхогляды, не поймут нас. Но есть немало людей, чьи родовые корни еще не изгнили, еще жива их жила, что идет от прадедов, от людей России. Христос в них воскреснет! Вы-то, конечно, понимаете, бывали в Иерусалиме, что Христос в душе нашей, не сам по себе.

Долгих вам лет. ***Валерий Тарасов,***
г. Киренск
Иркутской обл.

19.7.97 г.

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Простите, что я решаюсь своим письмом отнимать Ваше драгоценное время и отвлекать от труда великого писателя... Да, Вы — великий писатель, да извинится мне эта смешная восторженность. Ведь я молодой, мне еще нет тридцати лет, а молодости пылкость простительна, так ведь?

Я читал Ваши прекрасные книги, и вдруг меня поразила мысль, что можно просто, лично сказать «спасибо» автору этих живых страниц. Спасибо, Виктор Петрович, за все, что Вы написали, особенно за «Последний поклон». Я расскажу, какие два чуда совершила Ваша книга с молодым литературоведом из Калининграда.

Я много лет учился читать, точнее, переучивался. Литературовед должен читать аналитически, умом, а не только сердцем. Но часто, постигнув это особое чтение, разучиваешься читать нормально. Так и случилось со мной. Наверное, это обычно для научной молодежи. И некоторое время я не мог смотреть в книгу, не видя в ней фабулу, структуру, хронотоп и т. п. Мог бы так и пропасть во мне читатель (и ученый; филологу необходимо чуткое сердце, ибо «что же он будет без него?»). Его спас «Последний поклон». Эту простую, живую, завораживающую книгу я с первых страниц, с первого рассказа — читал как отзывчивый ребенок, будто вдвое помолодев. С тех пор способность читать сердцем ко мне вернулась.

Второе чудо такое: я живу на западном острове Российской Федерации — в Калининградской области, на бывшей земле Рейха, вдвое ближе к Берлину, Варшаве, Праге, ближе даже к Парижу, чем к Петербургу, Москве, Волге, Уралу, Сибири. Не на Енисей, а в Балтийское море глядят наши краснокирпичные городки. И, признаться, я люблю эту малую родину, и красный кирпич мне роднее сруба, приморская сосна — могучих дубов. Проезжая мимо аккуратных литовских хуторов, я чувствую в них близкое и родное. А как же? Я тут родился. И все-таки по сути своей я совершенно русский. Ведь меня вырастили русские родители среди русских людей. Но в голове засело сознание какой-то второстепенности нас, калининградцев, горожан, европейцев, среди своего народа. А Ваша книга рассеяла это сознание. Книги «деревенщиков» укрепляли, а Ваша — рассеяла.

Простите, что я критически отзываюсь о Ваших товарищах, но до поры я совсем не принимал «деревенскую» прозу, и сейчас не все в ней мне близко. С обычной в юности категоричностью мне виделось в ней только отрицание прогресса, чрезмерный трагизм, нарочитая идеология. Но «Последний поклон» покорил. Я открывал его с предвзятостью, а нашел чистое, безупречное искусство. С тех пор стараюсь, чтобы его увидели и поняли мои студенты. Преподаватели любят Ваши тексты за сложность и бодро кроят их на диктанты и изложения. Поэтому в умах школьников откладывается: Астафьев — задача повышенной сложности, картина Репина «Опять двойка». Я очень радуюсь, если мне удается увлечь студентов «Последним поклоном», хоть немного приоткрыть для них его прекрасный мир.

Ваша книга воспевает душу человека, а не просто «темной старины заветные преданья», она не пророчит апокалипсис, потоп и содом. В ней над всей болью и горечью возвысилась вера в душу, добро и красоту. А вера нужнее отчаяния, особенно сейчас. Наконец, эта книга «совсем не поучала, а лишь тихонечко звала», как сказал поэт. Она разительно действует на читателя не нравоучением, а правдой о человеке. А разительна только жизнь, любое менторство малосильно. А жизнь — тут, как говорил Достоевский, уж точно нечем крыть.

Поэтому в Вашей книге больше правды, чем в хронике, больше русского, чем у тех, кто в каждую строчку ладит «Расею», больше святости, чем там, где молятся на каждой странице.

Спасибо Вам за Вашу могучую нравственную и гражданскую позицию — и в жизни, и в книгах. Спасибо за доброе чудо, которое пришло с Вами в литературу. Для меня Вы сами — пример, заставляющий верить в достоинство человека. Пишите много, живите долго.

Всегда Ваш читатель ***Станислав Свиридов,***
преподаватель литературы
Калининградского университета

24.08.97 г.

Участникам дальневосточной конференции
Сихоте-Алинь

Дорогой Александр Паничев!

Я сижу в деревне, нет здесь ни телеграфа, ни попутного нарочного передать Вам какое-то послание. Вот корябаю пером своим на бумаге — дойдет, хорошо, не дойдет — тоже неплохо, ибо с 1953 года, заступаясь за природу, в ту пору за уральский лес и природу его, убедился в бесполезности этого занятия. Более того, тратя бумагу на защиту лесов, мы наносим вред лесу, потому как из него, из бедного, делается бумага. Что касается народности удэге, то ведь и мы, русские, становимся народностью, а не народом и нуждаемся в защите от самих себя. И вообще, человек нуждается прежде всего в защите от самого себя.

Двигаясь вместе с развивающимся прогрессом ускоренным шагом к гибели, современный человек не отказался ни от одной услуги развивающегося прогресса, от комфорта, им предоставляемого. Но самое удручающее — то, что прогресс-то «умнеет», развивается, набирает мощь, а человек все более дичает, бездельничает, слабеет умственно и физически. Я думаю, и давно пришел к убеждению, что наша замечательная планета — Земля предназначалась для другого, более разумного и мирного существа, но агрессивное от самого рождения двуногое существо, не заметив того, сожрало, истребило предтечу и пошло кровавым, все истребляющим зверем по земле. Гении человечества, лелеемые Богом, лишь проявили, показали возможности человека, высоту его полета и ума. Военщина и мракобесные религии всех времен и народов, прорубая себе дорогу в человеческой тайге, беспощадно вырубали тех, кто преграждал им путь к жизни избранной, сладкой, к власти, к возвышению над ближним своим, кто взывал к разуму и сердцу. Более пятнадцати тысяч войн, три с лишним миллиарда человек убитых на войне — это вот показатель «разумной» деятельности человека на земле, и все, все подчинено и истреблено во имя и ради возвышения одного народа, а затем и одного государства над другим.

Человек не захотел жить по заветам Божьим, не захотел спасения и посчитал путь, указанный Богом, для себя неприемлемым и трудным, а безбожие, безверие неиз-

бежно приведет его и «дом» наш уютный — Землю к гибели, причем не в очень отдаленные времена.

Остающиеся существовать на Земле еще будут завидовать нивхам, удэгейцам, эвенкам, нганасанам и прочим народностям, успевшим вымереть до Страшного Суда, до катастрофы земной, до вымирания всеобщего на отравленной, ограбленной, измученной своей планете. Человечеству даже и задуматься некогда над тем, что его ждет впереди, какое страшное наказание примет оно за свой преступный путь, за кровавую дорогу, им проложенную, за чудовищную историю, им сотворенную.

Даже и аминь некому будет сказать, ибо забудет оно слова, забудет всякую веру, забудет само себя, на четвереньках уползая обратно в холодные пещеры, поглядите окрест, оглянитесь не себя и на детей своих — мы уже около устья той пещеры, первого и последнего пристанища существа, которое самоназвалось — хомо-сапиенс и смеет нагло называть себя наместником Бога на земле.

Да поможет Вам и всем нам наш Всемилостивейший Господь! Да просветится затемненный наш разум! Назад — к милосердию, к покаянию, к созиданию и спасению!

Низко кланяюсь и молюсь за всех Вас!

Виктор Астафьев

17.10.97 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

Прочитал в «Роман-газете», взятой в библиотеке, «Прокляты и убиты» и не могу успокоиться. Ведь это написано про меня. С ноября 42 года по февраль 43-го я был в Бердске, в том самом запасном полку, в батарее сорокапяток. До ноября два месяца был в омских лагерях «Чертова яма» и «Черемушки», правда, там нас ничему военному не учили, а использовали на копке картошки и на складах НКО в качестве грузчиков.

Сейчас просыпаюсь ночью и не могу заснуть. В памяти встают эпизоды из проклятой жизни в Бердске. Вечное чувство голода и холода. Еда стоя за высокими десятигранными столами — десять человек из одной жестяной шайки (как в бане). Беда, у кого не было ложки. Этот человек остался без первого, а второе (кашу или пюре из нечищенной картошки) ел руками. Поэтому ложки цени-

лись очень высоко и держались на привязи (ведь в столовой не было ни мисок, ни тарелок, ни ложек, ни вилок, ни кружек, ни чашек). Вечное желание поспать. Гоняли нас по 17 часов в сутки, а спали, то есть жили мы в землянках (бывших овощехранилищах), где были трехъярусные нары с матрасами, набитыми соломой, и несметное количество блох, которые набрасывались на тебя, как только ложился. А перед сном ежедневно поверка по форме 20, и не дай Бог старшина обнаружит вошь или гниду. Бедолагу тут же гнали в прожарку вместо сна.

Я очень хорошо помню факт расстрела двух дезертиров, как нам говорили на политзанятиях. Но только из книги узнал, что они не были дезертирами, так как сами вернулись.

За все время нахождения в батарее мы ни разу не выстрелили из пушки, изучали стрельбу «теоретически». Так и отправились на фронт 6 февраля 1943 года. Выгрузились 29 марта на станции Темкино Смоленской области и семь дней пешком, ничем не вооруженные, шли к фронту. Наконец 4 апреля пришли в тыл 144 стрелковой дивизии. Я попал в полковую батарею 612-го стрелкового полка наводчиком сорокапятки. Вы, наверное, помните, что звалась она «прощай, родина». Там я научился стрелять на практике, заработал медаль «За отвагу» и воевал до 12 августа 43 года, когда был тяжело ранен в ноги. Потом госпитали и в марте 44 года инвалидом второй группы меня отправили домой.

Сейчас, когда меня спрашивают, долго ли я воевал, я отвечаю, что и долго, и недолго. Недолго, так как 4,5 месяца по сравнению с четырьмя годами — немного; и долго, так как 4,5 месяца в полковой сорокапятке — очень много.

А жизнь в эшелоне в телячьем пульмане, где нас было 110 человек в течение почти двух месяцев, требует особого писания. Ведь был февраль — и где? — в Сибири! Да что я Вам говорю, может, мы с Вами ехали даже в одном эшелоне.

Но не могу не сказать о пути от лагеря до станции в Бердске. Мы шли с оркестром и песнями по дороге, а вдоль нее с обеих сторон стояли женщины и плакали. Они понимали лучше нас, что идем на убой. Я до смерти буду помнить эту картину. Вот пишу Вам об этом, а в горле комок.

Виктор Петрович, дорогой, низкий Вам поклон за эту книгу.

Вы, по-моему, первый, кто написал правду о войне. Под всем, что написано, я готов подписаться и клятвенно подтвердить, что это — ПРАВДА.

Желаю Вам здоровья, бодрости и долгих лет жизни. Пишите и дальше.

Несколько слов о себе

Зовут меня Владимир Давидович Шварц. Родился в 24 году в Москве. В 37 году был выслан в Тобольск (который считаю второй родиной). Оттуда и ушел на войну, туда и вернулся в 44-м. Родители были реабилитированы посмертно, а я — еще живым в марте 96-го. Сейчас живу в Москве, в 89-м ушел на пенсию. Живем вдвоем с женой. Есть дети, внуки, правнуки.

Был бы счастлив с Вами познакомиться.

Всего Вам доброго.

*С уважением, **В. Шварц***

[1998 год]

Дорогая Нэля! (Старичкова)
Нинель Александровна!

Спасибо за память, за присланные вырезки и книжечку Вашу.

Не сразу, очень уж со временем плохо было, но я прочел Ваши воспоминания о Николае Рубцове и стихи. И то и другое меня порадовало отсутствием зла, предубеждений и отсебятины. Воспоминания получились сугубо «личные» и оттого совершенно точные, проникновенные и тоже, как и стихи Ваши, «тихие». Уж очень много нагорожено вокруг личности и необычной смерти Рубцова. Поскольку и то и другое мало кому доступно, личность-то загадочней и крупнее времени и окружения, то и уподобляют поэта, его дела и содержание души чаще всего себе подобной и из страдающей, грустной души выстраивают душонку мятущуюся и ничтожную.

Пишут чаще всего те, с кем он собутыльничал, при ком вольничал, кривлялся и безобразия свои напоказ выставлял. Люди-верхогляды, «кумовья» по бутылке и видели то, что хотели увидеть и не могли ничего другого увидеть, ибо общались с поэтом в пьяном застолье, в грязных шинках и социалистических общагах. Им и в голову не приходит, что он так же, как они, не писал, а «сочинял»

стихи и «стихия» эта органична, тайна глубоко сокрыта от глаза. Вы точно заметили, каким он аккуратным почерком без помарок писал стихи. А он их и не писал, он их записывал уже сложившиеся, звучащие в сердце. Он при мне однажды в областной библиотеке на вопрос: «Как вы пишете стихи?», ответил: «Очень просто, беру листок бумаги, ставлю вверху Н. Рубцов и столбиком записываю», и помню, что хохоток раздался, смеялись не только читатели и почитатели, но и поэты, присутствующие при этом. Смеялись оттого, что им эта стихия и тайна таланта дана Богом не была, они и не понимали поэта, бывало, и спаивали его, бывало, и злили, бывало, ненавидели, бывало, тягостно завидовали. И мало кто по-настоящему радовался. Радовались мы с Марией Семеновной, без оглядки, без задней мысли, и оттого он часто бывал у нас и часто читал нам «новое». Я первый, принеся в больницу ему пару огурчиков (огородных), купленных в Москве, услышал стихи «Достоевский», «В минуту музыки печальной», «У размытой дороги», «Ферапонтово» и еще какие-то, сейчас не вспомню уж, которые он тут, в больнице (с изрезанной рукой, об этом первом предвестнике беды отчего-то никто не пишет), сочинил и радовался им и тому, что я радовался новым стихам до слез, и огурчикам первым он обрадовался, как дитя, и во второй мой приход сказал, что разделил огурчики «по пластику» со всеми сопалатниками-мужиками. Тогда же мы договорились, что по выходе его из больницы мы поедем на рыбалку, на речку Низьму, где уже бывали всей семьей и где он, после черного запоя, пришел в себя, оглянулся окрест, ходил в лесок и в горсти приносил грибы, ломал на дрова коряги... Увы, из больницы его раньше срока увели собутыльники, и я увидел его уже до бесчувствия пьяным, с грязными бинтами на израненной руке. На реку я все же с ним попал, но в другой раз и на другую, о чем собираюсь написать, и еще собираюсь написать о том, как он работал над моим самым любимым произведением «Вечерние стихи», и, верно, нонче напишу, потому как все дела свои заканчиваю и попробую отдохнуть и «пописать для души».

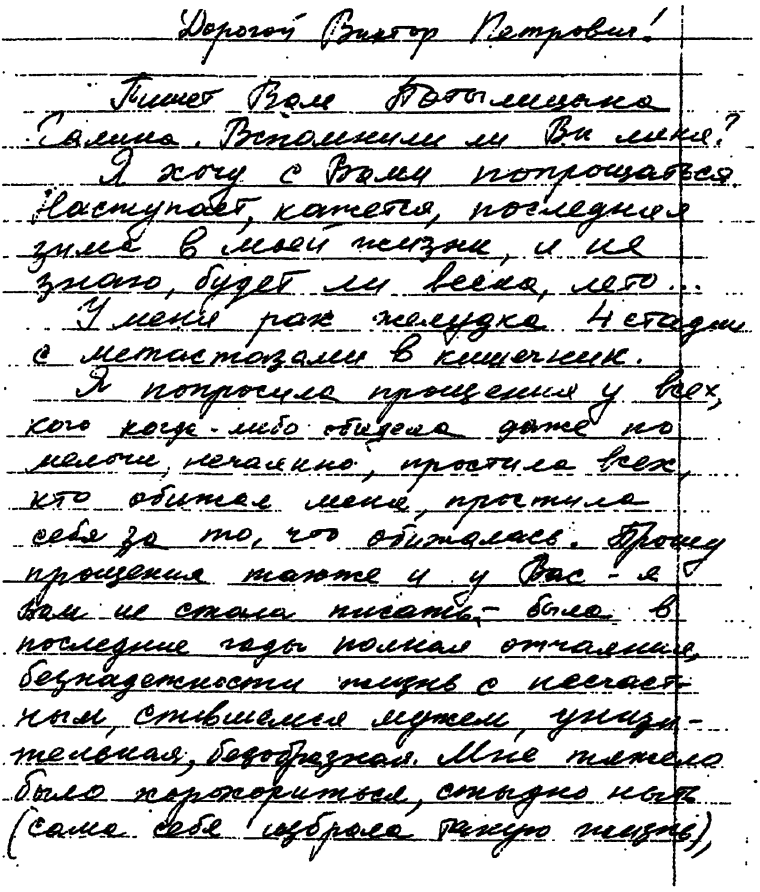
Есть у скульптора Клыкова, изнахратившегося многозаказными услугами, износившего душу в отливании бронзы и тесании камня (не своими руками) до того, что и вовсе жизнь исчезла из его фигур, одни скульптурные холодные знаки остались, так пока еще была в нем душа жива, изваял он Сергия Радонежского и в середину его,

будто матери, поместил ангелочка-ребеночка. Вот я всегда мысленно сравнивал Николая Рубцова с фигурой Радонежского — сверху непотребство, детдомовская разухабистость, от дозы выпитого переходящая в хамство и наглость, нечищеные зубы, валенки, одежда и белье, пахнущие помойкой, заношенное пальтишко, а под ним, в середке, под сердцем таится чистый-чистый ребенок с милым лицом, грустным и виноватым взглядом очень пристальных глаз, — этот мальчик и «держал волну», охранял звук в раздрызганном, себя не ценящем, дар свой, да не свой, а Богом данный, унижающем, чистый тон, душу, терзаемую, самим Творцом, как мог ручонками слабыми удерживал и еще бы с десяток, может, и другой лет сохранял России поэта, посланного прославлять землю свою, природу русскую и людей ее, забитых и загнанных временем в темный угол. Я думаю, что к шестидесяти годам он пришел бы к Богу и перестал бы пить и безобразничать...

Недаром же он лепился к Вам, одинокому, порче не подверженному человеку, и берег Вас от скверны и ветреного отношения к слову, Богу и поэзии. Да-да он берег Вас, я это знаю не понаслышке. Вы ему были нужны, а он Вам. И спасибо, что Вы не запятнали его памяти и не пытаетесь пятнать, спасибо и за то, что не клеймите убийцу. Она — женщина и подсудна только Богу.

Низко-низко кланяюсь Вам и благодарю еще раз.

*Ваш — **В. Астафьев***



Дорогой Виктор Петрович!

Пишет Вам Потылицына Галина. Вспомнили ли Вы меня?

Я хочу с Вами попрощаться. Наступает, кажется, последняя зима в моей жизни, и не знаю, будет ли весна, лето...

У меня рак желудка 4-й стадии с метастазами в кишечник. Я попросила прощения у всех, кого когда-либо обидела даже по мелочи, нечаянно, простила всех, кто обидел меня, простила себя за то, что обиделась. Прошу прощения также и у Вас - я Вам не стала писать - было в последние годы полное отчаяние, безнадежности жизнь с неизлечимой, ставшей мукой, унизительная, безобразная. Мне тяжело было хорохориться, стыдно ныть (сама себе выбрала такую жизнь),

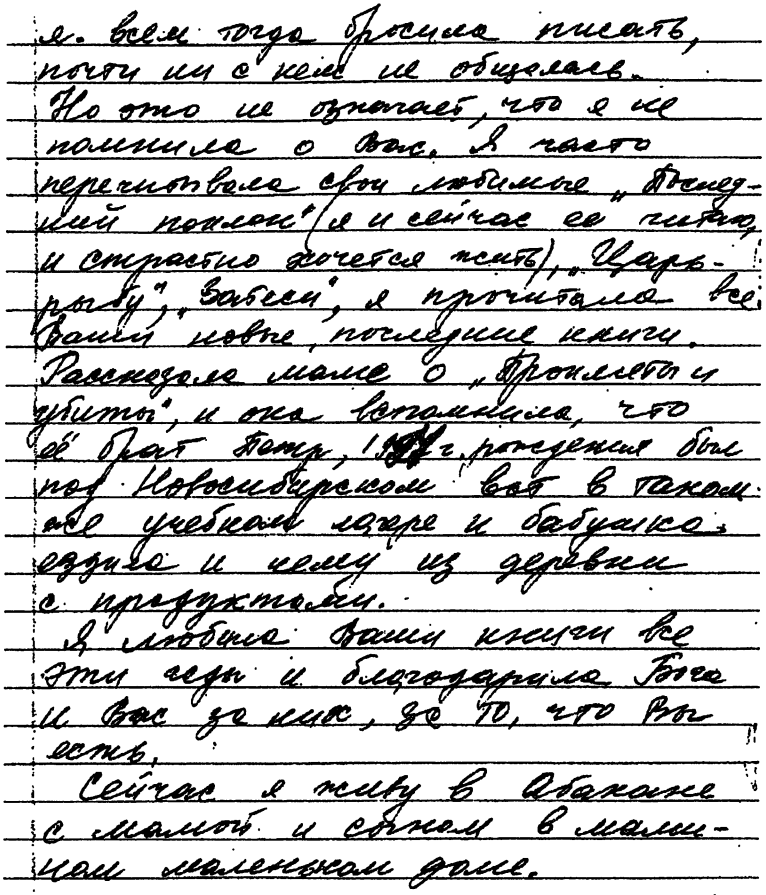
23.11.97 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Пишет Вам Потылицына Галина. Вспомнили ли Вы меня?

Я хочу с Вами попрощаться. Наступает, кажется, последняя зима в моей жизни, и не знаю, будет ли весна, лето...

У меня рак желудка 4-й стадии с метастазами в кишечник. Я попросила прощения у всех, кого когда-либо обидела даже по мелочи, нечаянно, простила всех, кто



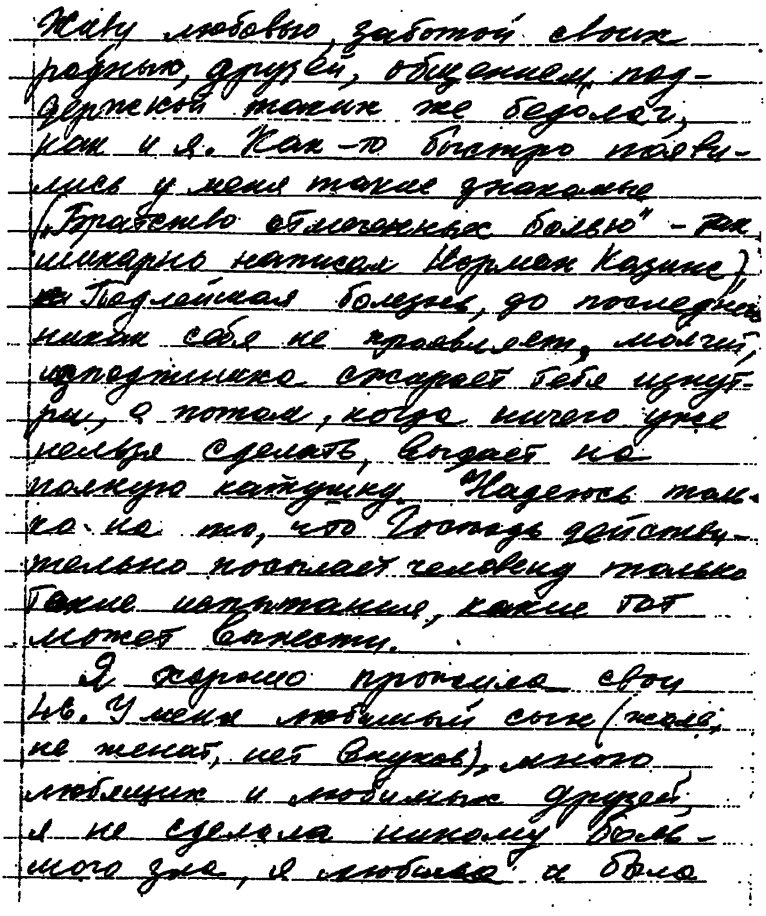
обижал меня, простила себя за то, что обижалась. Прошу прощения также и у Вас — я Вам не стала писать — была в последние годы полная отчаяния, безнадежности жизнь с несчастным, спившимся мужем, унизительная, безобразная. Мне тяжело было хорохориться, стыдно ныть (сама себе изобрела такую жизнь), я всем тогда бросила писать, почти ни с кем не общалась. Но это не означает, что я не помнила о Вас. Я часто перечитывала свои любимые «Последний поклон» (я и сейчас ее читаю, и страстно хочется жить), «Царь-рыбу», «Затеси», я прочитала все Ваши новые последние книги. Рассказала маме о «Проклятых и

Состояние мое пока терпимое, но как всегда бывает в таких случаях — (а мне сделали 2 мес. назад операцию и выписали как безнадежную), «процесс пошел». Я стала чувствовать каждый квадратный сантиметр своего тела. Всё самое страшное у меня впереди. Невыносимо жаль маму. Я не знаю, как ее утешить, она теряет уже второго своего ребенка. Как все против законов жизни в нашей семье: мы, пятеро детей потеряли в раннем детстве отца, нас некому было поддержать во всех смыслах, мама сломалась, стала выпивать, ничего не видела, кроме безысходной, тяжелой работы, тяжко и радости — в, взять бутылку и забыться. Потом похоронила сына в 41 год, сейчас вот я... Господи, как она перенесет всё это.

убитых», и она вспомнила, что ее брат Петр, 1924 г. рождения был под Новосибирском вот в таком же учебном лагере, и бабушка ездила к нему из деревни с продуктами.

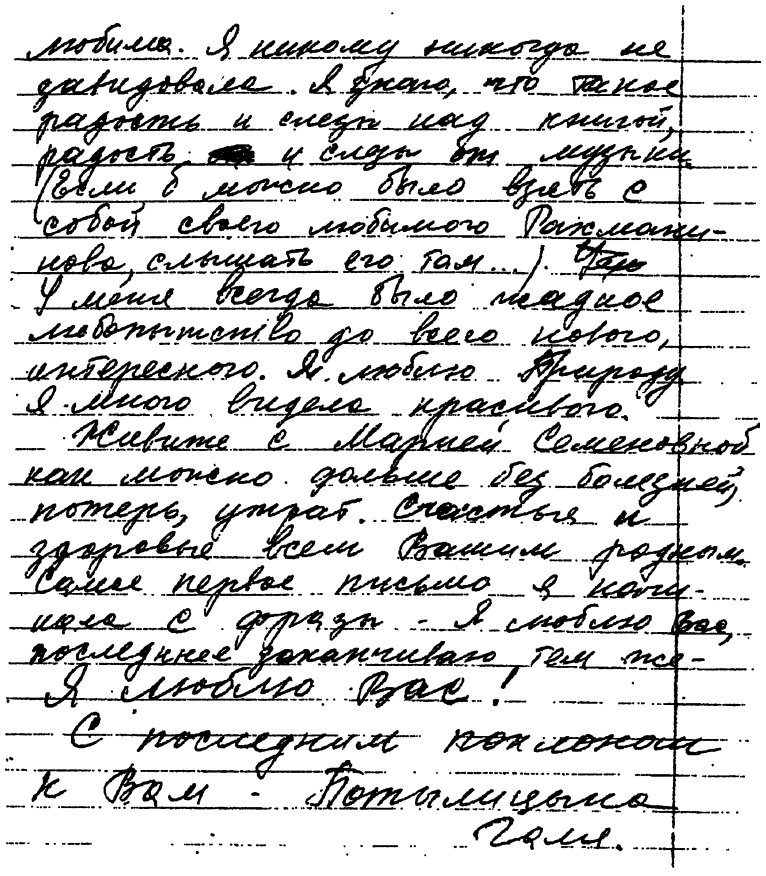
Я любила Ваши книги все эти годы и благодарила Бога и Вас за них, за то, что Вы есть.

Сейчас я живу в Абакане с мамой и сыном в мамином маленьком доме. Состояние мое пока терпимое, но, как всегда бывает в таких случаях (а мне сделали 2 мес. назад операцию и выписали как безнадежную), «процесс пошел». Я стала чувствовать каждый квадратный сантиметр



своего нутра. Все самое страшное у меня впереди. Бесконечно жаль маму. Я не знаю, как ее утешить, она теряет уже второе свое дитя. Как все против законов жизни в нашей семье: мы, пятеро детей, потеряли в раннем детстве отца, нас некому было поддержать во всех смыслах, мама сломалась, стала выпивать, ничего не видела, кроме беспросветной, тяжелой работы, только и радости-то взять бутылку и забыться. Потом похоронила сына 29 лет, сейчас вот я... Господи, как она переживет все это?!

Живу любовью, заботой своих родных, друзей, общением, поддержкой таких же бедолаг, как и я. Как-то быс-


любимо. Я никому никогда не завидовала. Я знаю, что такое радость и среди нас книгой, радость и среди нас мужики. Если б можно было взять с собой своего любимого Рахманинова, слышать его там... Там у меня всегда было жадное любопытство до всего нового, интересного. Я люблю природу. Я много видела красивого.

Живите с Машей Семеновой как можно дольше без больших потерь, утрат. Счастья и здоровья всем вашим родным. Самое первое письмо я хочу начать с фразы - Я люблю Вас, последнее заканчиваю тем же - Я люблю Вас!

С последним поклоном к Вам - Потапчихина Галя.

тро появились у меня такие знакомые («братство отмеченных болью» — так шикарно написал Норман Казинс). Подлейшая болезнь до последнего никак себя не проявляет, молчит, исподтишка сжирает тебя изнутри, а потом, когда ничего уже нельзя сделать, выдает на полную катушку. Надеюсь только на то, что Господь действительно посылает человеку только такие испытания, какие тот может вынести.

Я хорошо прожила свои 46. У меня любимый сын (жаль, не женат, нет внуков), много любящих и любимых друзей, я не сделала никому большого зла, я любила и была любима. Я никому никогда не завидовала. Я знаю, что

такое радость и слезы над книгой, радость и слезы от музыки. (Если б можно было взять с собой своего любимого Рахманинова, слышать его там...) У меня всегда было жадное любопытство до всего нового, интересного. Я люблю Природу. Я много видела красивого.

Живите с Марией Семеновной как можно дольше без болезней, потерь, утрат. Счастья и здоровья всем Вашим родным. Самое первое письмо я начинала с фразы: «Я люблю Вас», последнее заканчиваю тем же: «Я люблю Вас!»

*С последним поклоном к Вам — **Потылицына Галя***

Дорогой Виктор Петрович!

Вот привезли фото (не очень, правда) и вновь всколыхнулись картины недавнего. И как-то грустно стало оттого, что рядом нет тебя, и не так-то просто повидаться. Написались стихи. Может, когда отлежатся, я что-то и буду в них править. А пока прими их как мое письмо — объяснение в любви.

*Ваш **Иван Кашпуров,***
Ставрополь

* * *

Здравствуй, Виктор Петрович,
ныне, присно, вовек.
Ты по духу и крови
мне родной человек.

И поверь, тут не фраза,
а само естество:
я почувствовал сразу
это наше родство.

Может быть, — биотоки,
может быть, — ремесло.
Но из далей далеких
нас ведь что-то несло,

Что-то мчало нас, разных,
в степь кубанскую, в глушь,
где общения праздник
стал, как пиршество душ;

где с кизиловой ветви
лист сорвался и — вдаль.
Вдруг — на лацкан твой:
третья
золотая медаль!..

Улыбнулся ты:
«Очень
ярок южный листок...»
Продолжается осень —
облетает лесок.

Дни все злей и суровей,
степь сокрылась во мгле...
До свиданья, Петрович,
где-нибудь на земле!..

КОММЕНТАРИИ

Вот и наступил час комментария последних томов этого, не побоюсь сказать, редкого для русской провинции издания. Ни до революции, ни после, насколько мне известно, подобного издания на периферии России, тем более в Сибири, не было. Его возникновение любопытно. Возникло оно как бы «нечаянно», хотя ничего нечаянного, убежден я, в судьбе и труде профессионально работающего человека в любой сфере жизнедеятельности, тем более в работе литератора, не бывает. Все, как говорится, «в руцех Божьих».

Один человек получил в Новосибирске невиданный, по его пониманию, кредит, в 65 миллионов прежних, еще не очень «дутых» рублей, и решил ими разумно распорядиться — создать независимое сибирское издательство, и для начала, издав, как ему казалось, две-три ходовые книги, в их числе прелюбопытнейшую книгу бывшей зэчки под ошеломляющим названием «Чешежопица», простерся мечтой построить на те же деньги офис для своего заведения и начать крупное издание какого-либо земляка-сибиряка.

Выбор пал на меня. Я съездил в Новосибирск, мы пообщались с издательством (оно пока что сидело в спортзале одной средней городской школы), обсудили примерный объем и состав 14-ти томного издания.

Вернувшись домой, я посадил за машинку верного своего батрака Марью Семеновну, а сам принялся пластать старые издания, искать неизданные рукописи, клеить, печатать, ксерокопировать, т. е. клеила, ксерокопировала и прочее делала Марья Семеновна, а я искал, подбирал, «руководил», порой нецензурно выражаясь на женщин, потому что к этой поре у меня появилась еще одна верная помощница — Агнесса Федоровна Гремицкая,

мой давний, старый редактор и друг из издательства «Молодая гвардия». Первым условием, поставленным мною перед новосибирским издательством, было, чтоб руководила ходом работы, контролировала его моя «вечная» редакторша, потому как все она про все знала в моей работе, а тексты и помнила лучше меня.

Кипит у нас в глубине, в самом центре России, творческая работа, порой накаляются страсти до последнего градуса, прежде всего у автора, но сдаем мы первые пять томов в срок и пашем дальше. Много ли мало ли времени прошло, но четырнадцать томов мы артельно подготовили, вздохнули вконец усталые и ждем результата, стало быть, первые напечатанные тома, а их нету и нету. Это мы, творческая артель, находясь в угаре труда и вдохновения, не заметили, что, пока пыхтели над составлением томов, а я в поте лица правил в книгах и рукописях то, что еще можно «догнать» и поправить, сочинял комментарии к томам, где-то даже и ругаясь, где-то остря, где-то впадая в грусть и меланхолию, на Руси родной затормозилась иль скорее с ноги сбилась, не набравши ходу, перестройка и, сделав два шага вперед, заплелась в собственных ногах и очутилась в двадцати уже шагах, если не тридцати километрах, сзади.

Издатель мечется, ищет денег, ибо его кредит превратился в копейки, потом и вовсе прахом оборотился, врет нам напропалую, то сообщая, что вот-вот бумага будет, так-то уж все готово: и оформление, и договор с типографией, аж с петербургской, потому как там дешевле и качественней печатают, будет компьютерный набор, и это ускорит дело, и все мы мигом напечатаем в лучшем виде. Один раз издатель появился даже в Красноярске, привез небольшой обнадеживающий аванс и сказал, что за остальными подготовленными томами приедет после иль пошлет нарочных из Новосибирска. И надолго исчез мой издатель, ни найти его, ни поймать, один раз позвонил откуда-то издалека, сказал, что в Петербурге печатают первый том и, как он выйдет, так его мне немедленно и пришлют.

С тех пор ни звуку, ни грюку. Постепенно выяснилось, и окольными путями, и слухами донеслось: издатель мой прячется от кредиторов и ему уж не до издательских дел и творческих деяний, ему бы хоть семью свою сохранить. Говорят, он даже покрасился в какой-то экзотический цвет и все сделал, чтоб его не узнали и не поймали. Махнул я на эту затею рукой, утешая себя тем, что тома подготовлены, лежат и, может, долежат до «своего времени». Но свет слухами полон и не всегда только дурными. Сижу я в Москве, в роскошном кабинете у одного старого знакомого аж в доме-дворце, принадлежавшем когда-то поэту Тютчеву, и среди прочих разговоров всплыл вопрос об издании моего собрания сочинений. Узнавши, как плачевно и никчемно обернулось дело-то, хозяин кабинета и крупной кон-

торы предложил мне: «А давай собрание-то нам». Оказалось, в этой доброй, благотворительной конторе, много хороших дел делающей, есть издательство не очень известное и мощное, но «если поднатужиться»...

Тут же мне договор на издание, бумаги всякие и редактора моего, Гремицкую-то, не только берут сопровождающей моего собрания сочинений, но и обещают зачислить в штат издательства, ибо к той поре солиднейшее издательство «Молодая гвардия» не то кому-то и кем-то было продано, не то развалилось на семь равнодействующих частей, которые тоже скоро еще на что-то и кем-то поделятся, моего редактора, преданнейшего, век свой изработавшего на «молодогвардейской» ниве, просто-напросто «выбраковали», т. е. сократили. Я и тому рад, что моя редакторша будет при деле и опять «со мной», и что издательство все же будет заниматься собранием сочинений, а не какой-то за культуру борец-одиночка.

Вот только бы спонсоров нам сыскать богатых. А где их взять-то? Нет у меня ни спереди, ни сзаду подпирающей надежной силы, работал правда я на железной дороге, но давно, однако к железнодорожникам отношусь с почтением, болею неизбывно и безнадежно за футбольную команду «Локомотив». «Так вот тебе и спонсор!» — воскликнул мой старый приятель. А приезжал-то я в Москву на сей раз не просто так, но получать премию «Триумф», и тот же приятель и сказал, что не будет зазорно и к магнату, отслюнявливающему деньги на «Триумф», обратиться, а чтобы мне веселее было, чтобы по старой боязни больших кабинетов и благодетелей, их заселяющих, я не спасовал, не оробел перед дверью, сам мой приятель всюду сопровождал меня и вперед выталкивал.

И всюду нас встречали радушно, поили коньяком иль водкой, чего пожелаешь, подавали изысканные блюда, обещали, уточняли, как, где издавать-то собрание сочинений, каким тиражом, сколько за него заплатить издателям и сколько мне, и как и где распространять издание ловчее и лучше.

Я был ошеломлен такой приветливостью, радушием таким и начал уж было даже думать, что писатель-то я, видно, и в самом деле ничего, раз меня так приветствуют, обнимают и такие слова говорят хорошие.

Скажу я вам — это была очень некрасивая, привычно-современная история. Наступили, оказывается, снова времена, когда слова, обещания даже очень крупных и крутых начальников ничего не стоят. Мне какое-то пусть и короткое время воспитуемому в детдоме старым белогвардейским офицером привычно было другое: поскольку честь и слово для него были превыше всего, он твердил нам постоянно: «Пообещал горелую спичку с дороги поднять — подыми! Пообещал сердце из груди вынуть — вынь, но прежде, чем обещать — подумай» Это его высказыва-

ние впервые я использовал в повести «Кража» и потом неоднократно повторял. Почитал я себя за то, что придерживался этого простого и великого правила человечьего, но и сколько же страдал за него, сколько плакал и даже толщиной исходил, когда разболтанные трепачи, тучами расселившиеся по Стране Советов, да и сами правители которой были горазды на необдуманные трескучие обещания и приучали к этому народ, особенно свой так называемый «руководящий аппарат».

И чего ж спрашивать «с низов», «с контор и предприятий», что копошились где-то в пыли, грязи и дыму, строя коммунизм? Здесь обман стал нормой жизни. Короче, плюнул я и на вальяжных спонсоров и просил своего старого приятеля разговорно и письменно не хлопотать больше нигде и меня не тягать по кабинетам, где мягко стелят, да жестко спать.

Прочно легло собрание сочинений на пол домашней библиотеки в угол. Я его под клеенку упрятал и забывать, слава Богу, о нем стал и забыл бы.

В ту пору мне еще работалось, здоровье еще какое-никакое было, оптимизму где-то изнутра еще наудил, веселости, слава Богу, окончательно не потерял. В общем, живу, тружусь, что-то разговорился, разоткровенничался в газетах и на телевидении, в силу горячности характера и необузданности натуры где и лишнего наговорил, сумятицы нагородил. За это меня дорогой наш народ где похвалит, где и матом покроет. Все хорошо, все ладно, давно знаю, где живу и с каким людом бедую. Поменьше бы горя дома было, жена бы подвыздоровела, сам меньше хредил, оно и ничего, жизнь-то у людей вон и вовсе что-то разладилась, а я еще с разумной, горькой юности следовал древнему завету: «Прежде чем жаловаться на свои невзгоды, утраты, на горе свое, вспомни о тех, кому хуже тебя», и, знаете, помогало, потому что тех, кому хуже меня на Руси великой и горькой, всегда было так много, что ни умом, ни глазом не охватить.

И вот затеялся сыр-бор с приездом Ельцина в Красноярск и аж в Овсянку, в гости. И началась возня, суета и сшиноломание в подготовке к приезду «самого», однако ж, если по-старинному, «царя».

Появились в моем «дворце» двое шустрых хлощев крепкого телосложения, осматривают все, прикидывают на глаз, вынюхивают, я догадался в чем дело: «Ребята, — говорю, — мои апартаменты непригодны для приема царских персон». Оно и в самом деле: на огороде лес смешанный у меня вырос, дровяник темный и захламленный, кладовка, сараюшка и прочие глаз угнетающие удобства, да и сама изба на двадцать с чем-то метров подопрела, грибком трачена.

Хлощы на гору двинули в сельскую школу, в библиотеке место торжественной встречи наметили.

А тут народ в ворота ломится с нуждишкой, просят письмо

передать, слово замолвить, местное начальство зачастило — смятение, как в бессмертной пьесе «Ревизор». Я посылаю всех их подальше и трудящимся говорю: «А сами-то вы когда научитесь и станете за себя говорить или просить?» «Ну я ему, бля, скажу, ох скажу». «Ну, я ему, так его и распротак, выдам!» — грозятся трудящиеся и кулаки сжимают.

И вот слух по скалистым берегам Енисея прокатился: «Едет!» Меня попросили подняться на гору, в школу. Там все учителки наряжены, подтянуты, торжественны. Долго они думали, как встречать президента, и, молодцы, придумали: напекли блинов и старшеклассницы-красавицы выучили народную песню про блины, в черепушку масла растопили. На улице прохладно, с Енисея этот постоянный гибельный гидрохиус тянет, а все в выходных пиджаках, да в платьях. В школе дохнуть нечем, так натопили, полугодовую, однако, норму угля сожгли. Уж радеть, так радеть — по-сибирски широкодушно.

Ждем-пождем полчаса, час — нету гостя. Вдруг с горы сваливается милиция на мотоциклах, милицейское начальство в машинах, все больше в черных, и середь них черным лебедем длиннозадая машина. И заплясал, забегал вокруг нее мордатый генерал в картузе, напряженном изнутри стальной проволокой. Дверцу машины лично открыл, народ захлопал, кто-то даже хрипло с похмелья затянул было уру, но осекся, не получив поддержки. Поселок-то сплавщицкий, лесопильно-строительный, народ в нем на эмоции сдержанный. Вот бабу со стягом погонять иль ножичком кого попугать, а то и пырнуть — это сколько угодно, а «ура» кричать они не какие-нибудь городские придурки.

Коридор из людей выстроен направлением ко крыльцу школы, на нем с тарелкой блинов, запекшихся по краям, и с черепушкой, полной масла, девчушки наши красавицы стоят и не про Ленина, который всегда молодой, а про блины, да про гостей грянули вместе с учительшами. Президент сделал народу ручкой и к тарелке с блинами рванулся. Как потом стало известно, спал он последние сутки всего полтора часа, со сна не позавтракал, жрать ему хотелось — мужик рослый, здоровый, ан не тут-то было. Тот же мордатый в «ботинки писающий» генерал и молодцы его цап президента за рукава, к блинам не подпущают. Но это, видать, не раз уж бывало, что его тормозят то к еде, то к вышивке. Он их, шестерых, не менее, волокет на себе, вместе с генералом; они, охрана его, стало быть, допреж президента обязаны яства отведать, и если тут же не помрут, пускать и его к еде. А он еще не знал, видать, что у него сердце уже надорвано, прет, как медведь, на хребте целую артель, и окороченный, повязанный — каким-то все же неимоверным усилием, тарелки достиг, блин сцапал, да еще мимоходом в масло его макнул, после чего в комок его оборотил и в рот засунул. Дальше уж оковы

ослабли, чего сделаешь? Пропадать так пропадать и президенту, и генералу, и бдительной охране, дальше уж президент действовал по аппетиту, мигом блинов ополовинил и, осоловелый от еды, будто от вина, сказал: «Ну, куда идти-то?»

Ему показывали школу, классы. Школа у нас давняя, кирпичная, гидростроителями возведенная с хорошими традициями, путными учителями, да в школе-то половина, если не больше, детей с явными признаками вырождения на лице — родители-то сплошь шибко пьющие.

Долго президент в классах беседовал. Я в классы не заходил, душно и жарко было адски. Встреча закончилась аплодисментами — президент пообещал подарить овсянской школе компьютерный класс и обещание выполнил.

Дальше путь нам лежал с горы, в самое село Овсянку. Народу возле школы прибавилось, народ разговору хочет, народ жалобится, народ просит объяснить, отчего производство стоит, жизнь шатается и вот-вот совсем развалится. Общаться с народом президент в ту пору умел и хотел, отвечает коротко и ясно, много не обещает, но на местном уровне сулится поручить здешним руководителям насущные вопросы решить и со своей стороны всячески содействовать и помогать рабочему и прежде всего пенсионному люду.

Прикатили в Овсянку, в новую нашу прекрасную библиотеку. Я и не заметил, как ретивый генерал и его подручные так здорово расчистили путь, что в уютно-гостевом зале библиотеки осталось нас трое — президент, я и управделами президента. Беседа запланирована на 30 минут, из них пять уже унесло в пространство: «Э-э, — возроптал я, — так дело не пойдет! Давайте сюда губернатора, главу местной городской администрации, они лучше меня знают положение дел в крае и пусть выскажут президенту все свои претензии и просьбы, а я уж в конце встречи поговорю о своем наболевшем».

Разговор получился деловым, конкретным. Президент говорил управделами: «Запишите к исполнению», — и тот записывал в объемистый блокнот. Я, когда до меня очередь дошла, первое сказал, что из разговора как-то выпал болезненный вопрос об отмене оплаты дороги малоимущих на садовые и картофельные участки-кормильцы. Было записано и вскоре это пожелание исполнено, но ровно до 1-го октября. Тут же все это отменилось мгновенно, и оплата на электрички и автобусы увеличена чуть ли не в три раза.

Молодцы наши начальники! Умеют безропотно и в точности выполнять указания «сверху». Еще я говорил о горестной судьбе города моего детства Игарки, просил, если возможно, чем-то ему помочь, и попутно говорил о судьбе российских городов, которые стоят и кормятся одним предприятием. Таких в России де-

сятки тысяч, особенно много их на Урале, и судьба их не просто плачевна, но и трагична. Тоже было записано в гроссбух управделами, но ничего, по-моему, для облегчения судьбы российской провинции не сделано, и она доведена до того, что нуждается уже не в помощи, а в спасении.

Заговорив об Урале, где я прожил почти четверть века, а президент родился там, я с горечью сказал, что недавно видел передачу из Москвы с участием композитора Радыгина. Появился он на телевидении на 20 минут и, по-моему, не менее как через двадцать лет, многие уж думали, что он помер. А он за это время написал 100 песен, одну из которых, мощную, складную — под названием «Старый солдат» тут же и исполнил, но песне этой, написанной ко Дню Победы, и Радыгину хода не дали, все занято волосато-бритой шпаной, которая дни и ночи беснуется на телеэкране.

«Как же так? — загоревал президент. — Я же вырос с песней Радыгина «Ой, рябина кудрявая», и язык, язык, понимаете, так портят, так портят русский язык, надо вам как-то противостоять, бороться».

С этими словами вышли мы из библиотеки, нам сунули лопаты в руки и попросили посадить прутики, называемые рябиной. Президент во время трудового процесса возьми да и затяни под воздействием разговора: «Ой, рябина кудрявая, белые цветы-ы». И уже к вечеру разнесся слух от Сибири до Москвы, что президент, будучи в гостях у Астафьева в Овсянке, вдрызг напился и орал черт-те что. От библиотеки шли толпою к причалившей к берегу «Заре». Сквозь толпу шли, а она снова рукоплещет, приветливостью исходит. Подхалимы местного масштаба успели когда-то катануть из переулка к самому урезу воды полосу асфальта и, о Боже, будто при царе и для царя построили деревянный резной теремок со скамейками, свежо пахнущими кедром.

На пути к этому диво-сооружению народ исходил ликованием, лишь одна старая мощная баба, по прозвищу Кулачиха, одетая в куртку из обрезанного сплавщицкого дождевика, оттерев всю охрану плечом, вместе с нею и побледневшего генерала и в ужас впавшую местную милицию, ухватила президента под руку и, рубя второй рукою, что-то твердое говорила ему. До меня дошло лишь одно слово: «Пензия! Пензия! Пензия!»

У нас ныне у Енисея зимой и летом промозгло, холодно, температура-то воды постоянная 8—10 градусов. Я уже почти и не хожу на берег со своими гнилыми легкими. Чувствую, пробирает меня, быть обострению, но кто-то из добрых людей накинул на меня куртку и сделалось сносно, хотя и пробирало дрожью.

Где-то в толпе затерялась моя Марья, больной маленький человек. За ней не уследи — сомнут. Я и говорю президенту: «Жену надо подождать, потерялась где-то». Президент: «И моя

Наина куда-то тоже девалась». А Кулачиха все не отцепляется от президента, все талдычит: «Пензия! Пензия! Пензия!» Еле ее оторвали от президента. Тут и объявились наши жены, под руку идут, обе маленькие, чем-то друг на друга, характером наверное, похожие. Я познакомил президента с женой, и он обрадованно сказал: «Такая же, как моя Наина, крохотная». Тут и прощание скорое произошло. Я обнял президента, пожелал ему доброго пути и здоровья.

Я быстро поднимался от реки, поспешая в избу, ближе к печке, на дороге еще толпились кучкой мужики, и один из них что-то начал говорить с раздражением, насчет гостя, насчет этой вот полоски дырявого асфальта к берегу и терема, возведенного на берегу, тогда как завод стоит и заработать на кусок хлеба где? Ко мне и раньше много претензий от трудящихся было письменно и гласно, а теперь, я знал, обрушится шквал обвинений за все грехи бывшей и нынешней властей. Я был утомлен, раздражен многолюдием, которое физически не переношу с детства, и сказал этим храбрецам, что ж они не возражали и не роптали, когда к приезду Хрущева иль Брежнева целые дороги и аэродромы строились и все заборы красились, что ж они не выходили на митинги, когда при чернобровом красавце-вожде в прах сокрушалось, разворовывалось и пропивалось родное государство, ведь от одной только тюменской нефти пропито и на ветер пущено больше семисот миллиардов, а на этого дядю валить все грехи, который имел глупость возглавить вконец расшатанное, насквозь прогнившее, в большевистской помойке протухшее общество ныне легко — сам разрешает. «И что же вы, страдая холопским недугом, высказываете храбро это мне, а не только что отбывшему президенту? Из всех вас, — совсем разгорячился я, — одна Кулачиха достойна уважения, она умеет бороться за себя!..»

Трудящиеся жаловались потом, что, вместо того, чтобы «поговорить по-человечески», я их чуть ли не матом крыл. Ну и пусть, что от них ждать, от наших трудящихся, давно уж впавших в рабский маразм и годных орать в бане, в огороде иль за пьяным столом.

Я это написал все так подробно потому, что много слухов проползло по Руси родной о встрече президента в Овсянке и нашлетено черт-те что. Ведь коммунисты по стародавней привычке, ныне переименовавшиеся в национал-патриотов, верят всему, что сами выдумают и приклеят человеку. А выдумщики они, как были бездарные, так бездарными и остались. Писатели и так называемые «деятели культуры», которые в услужении были иль допущены к столу и двору их большевистских сиятельств, ничего не умели и не умеют, кроме как писать пасквили и наветы, да оды и гимны во славу светлого будущего. Ныне им живется неуютно, бумагу, заполненную пустыми словами и беспомощ-

ными сочинениями, никуда не берут, не печатают, а они рощут: «не пущают», мол, затыкают глотку истинным патриотам, путая истинный патриотизм с пустословием и умением подражать тому бессмертному персонажу, что «счастье в том находит, что хорошо на задних лапках ходит», приписывая эту особенность кому угодно, только не себе.

В рассказе о приезде президента в Овсянку я упустил одну важную для этого издания решающую строку. Надо и пора, и тут к месту написать о том, что было в самом конце разговора с президентом. Уже мы поднялись и пошли было из библиотеки, как президент приостановился и спросил меня: «А что у вас с собраньем сочинений, Виктор Петрович?» — «А ничего, лежит. Денег нет, важные спонсоры, не нача дела, слиняли«. — «Ну, как же так, отчего же не обратились в правительство, ко мне, наконец, у нас же есть федеральная программа по культуре, мы бы вас туда включили. Это никуда не годится, издают черт знает кого, а вас-то, вас-то, ну и т. д. и т. п.». — И на ходу уж указание управделами: «Записать!».

Мало ли куда и во что меня записывали, мало ли чего обещали, а тут на ходу, в толчее, я и значения никакого этому не придал, ни один нерв во мне не дрогнул и, поскольку работал в ту пору напряженно и много, скоро и забыл о мимолетном разговоре. Как вдруг в Овсянку примчался секретарь нашего красноярского отделения Союза писателей Николай Иванович Волокитин с сообщением, что собрание моих сочинений включено в федеральную программу будущего года, а вечером звонок в Овсянку из Москвы, аж из Кремля (слышимость на сей раз хорошая) управделами Красавченко просил, чтобы я прислал заявку на издание.

Откуда Ельцину стало известно о моем собрании сочинений? Не знаю. Нашлось несколько деятелей из местной руководящей братии, которые якобы ему «подсказали». Может быть, и так оно было, но я знаю в России, особенно на Урале, «отцов», которые живот надорвали, помогая мне стать писателем, и всегда в связи с этим вспоминаю ту бальзаковскую графиню, которая в салонах все рассказывала, как на ее руках испустил дух великий композитор Шопен, и Бальзак ехидно добавил от себя, что только в Европе подобных графинь, на руках которых испустил дух великий Шопен, насчитывается двести пятьдесят штук.

Читает ли президент? После таких «интеллектуалов»-вождей, как безграмотный Хрущев и самовлюбленный Брежнев, которому из-за любования собой не до книг было, и Горбачев, и Ельцин кажутся куда как развитыми людьми. Один момент из встречи прояснил, что в семье Ельцина книжки читают, это и Наина Иосифовна подтвердила моей жене, и дочь Ельцина Татьяна. Еще когда мы были в школе, и я толкался в коридоре средь

народа, около меня возникла молодая, кого-то мне напоминающая женщина с книгой в руках. Мне на ходу, на скаку совали книги и какие-то листки для автографа, и я подумал, что этой женщине тоже автограф надо, но раз не подходит, не лезть же мне самому к ней. И вот, когда в библиотеке уже закончилась встреча, и мы гурьбой повалили на выход, из гущи любителей автографов выступила та самая молодая женщина, что томилась в школе, и попросила подписать ей книгу. Я спросил, занеся ручку над книгой: «Кому?» И она сказала: «Татьяне Ельциной».

Я пишу все это в тот период, когда Россию снова охватила смута и кто только не поносит Ельцина и не желает ему погибели. Все это по-нашенски, по-русски, и все это напоминает мне басню бессмертного, всегда своевременного батюшки Крылова, о том, как могучий Лев ослабел, заболел и все зверье, что трепетало перед ним, давай его облаивать, лягать, пинать, оплевывать. Видит Лев, и Осел в числе других целится его лягнуть, и тогда он взмолился, воззвал к небесам, чтоб те поскорее послали ему смерть.

Я не хочу уподобляться тому ослу и не хочу еще и потому, что сам, своим зрячим глазом видел, как зал съезда народных депутатов единодушно вскочил с мест и бил в ладоши, когда Горбачев предоставил слово Ельцину, передавая ему власть.

И я бил в ладоши, и покойная Батынская, что рядом со мной заседала, била в ладоши и не только потому, что мы, русские, «наследственны от дядюшки ура кричать», как едко заметил Достоевский, но еще и потому, что уставши от проклятой жизни, надеялись, тоже как всегда на Руси, что вот этот человек поможет нам, России, направит нашу истерзанную, до немощи доведенную страну на нужную дорогу.

Сейчас среди тех, кто клянет президента, я часто вижу и читаю подписи тех, кто бил тогда в ладоши, перекладывая с себя и со всех нас неимоверную тяжесть и ответственность за судьбу России на чужие, как нам казалось могучие плечи. Не по силам ему оказалось тащить телегу в гору на одном колесе, остальные колеса промотали, пропили, растащили, надорвался от тяжести, ему неподъемной. Но в пору не нашлось более такого безумца, который бы так храбро подставлял свою спину под российский тяжкий воз и голову с не очень масштабным наполнением под перегрузки. И потом, почему это ныне все торопливо и оголтело клянут президента за то, что он не вывез нас в гору на изломанной телеге. А мы-то, мы-то все, населяющие эту давно уж забедованную землю, чем ему помогли? Мы-то оказались ли готовы тащить сверхтяжести на себе? Нет, свободу слова, действий, предоставленные возможности хозяйствовать и распоряжаться собой мы употребили на грызню, растащиловку, пьянство, разгильдяйство. Надо бы и пенять больше на себя, нет, нашли козла

отпущения. Все же со временем, с годами я все более склоняюсь к старой истине, и действительность это подтверждает, что всякий народ достоин своего правителя, а правитель своего народа. Так, что «неча на зеркало пенять». И еще хочу напомнить моим современникам бессмертные слова Великого человека, историка российского, непредвзятого Карамзина: «Народ обмануть можно — историю не обманешь», и тем, кто забыл заповедь Христову «Не судите, да не судимы будете», следует помнить — история рассудит и нас, и Ельцина, и время.

А что касается упреков то явных, то сокрытых от людей, чаще всего литераторов, которые прежде ходили «во славе», то я могу сказать: дискомфорта не испытываю и подачкой от государства средств на издание данного собрания сочинений не считаю — это самое государство грабило меня всю дорогу, как и весь наш народ, сперва как рабочего, потом как литератора. Особенно нагло оно обходилось с изданиями за рубежом, сначала вовсе забирало все до копейки, потом, вступив в «экономический союз» с заграницей и соблюдая авторское право, отдавало от переводимых гонораров на имя авторов ровно столько, чтоб была видимость платы и заботы. Можно было бы привести уйму примеров ограбления автора, в том числе и меня, ведь только одна «Царь-рыба» выдержала около двухсот изданий.

Да, удалось мне после издания первого собрания сочинений и массы переизданий собрать сумму, которой, я думал, при скромном житье и умении экономно вести дом моей хозяйкой, хватит мне и моей семье на длительное время, может, и до смерти, но все, как и у всех граждан, пропало в одночасье, остались в сберкассе на счету копейки. Поскольку никаких «запасов» в доме я не имел, все деньги из издательств мне переводили на мой счет в сберкассу, я оттудова ежемесячно брал какую-то сумму на прожиток, то семья моя попала сразу в тяжелое положение, больной внучке не на что сделалось яблок купить.

Я сел за стол и с новым напором взялся за работу, зная по опыту прошлой жизни, что никто мне не поможет, жаловаться же, ныть или по митингам бегать бесполезно и время жалко. Так что государство вернуло мне лишь малую частицу того, что взяло у меня. Да и от издания нынешнего собрания сочинений часть суммы в виде налогов и прочих платежей вернется государству. Оно у нас никогда в накладе не было и не будет, вот только толку от этого и нам, и государству мало.

Вдруг в Овсянку свалился чуть мне знакомый по красноярскому издательству, а ныне чего-то возглавляющий в мощном полиграфкомбинате «Офсет», едва не захапанный «Политиздатом», Николай Михайлович Байгутдинов и с лету предлагает мне перенести издание собрания сочинений из Москвы в Красноярск. Многие тут преимущества открывались и главное из них — я смо-

гу как-то контролировать издание, доглядывать, помогать, когда потребуется, что-то и поправить, и потом я все же какой никакой патриот Сибири, причем давний и неисправимый, а издание такого масштаба, впервые в Сибири осуществляемое, почетно не только для меня и Красноярска. Поколебавшись, я согласился, выговорив одно лишь частное условие, чтобы мою московскую редакторшу Агнессу Федоровну Гремицкую включили в штат издательства и положили ей зарплату, и сделали профессиональную корректуру издания, в провинции имеют очень слабое представление о корректуре и считают, что каждая девчушка, кончившая 10 классов и умеющая читать, вполне справится с этим делом.

Вот им, генеральному директору «Офсета» Анатолию Викторовичу Толкунову, Николаю Михайловичу Байгутдинову, много хлопот и забот употребившим на то, чтоб сие издание осуществилось, Агнессе Федоровне Гремицкой, как я уже говорил, человеку, лучше меня знающему мои тексты, человеку, преданному литературе и сему автору в частности, человеку, необходимому в литературе и в любом издании нужному, я приношу мою благодарность и кланяюсь им до земли. А еще милейшему человеку и труженику, второму, уже «местному», грамотному редактору Галине Ивановне Сысоевой, которая долго не показывалась в моем доме, «боясь» автора, художественному редактору Е. В. Корнеевой, техническому редактору Н. Н. Шабле, корректорам: А. Ф. Пантелеевой, Л. С. Павленко, В. Н. Клюшиной, Е. М. Гаврилиной, операторам компьютерной верстки Н. А. Бобровой, Л. С. Васьковской, и всем, всем работникам «Офсета» моя самая глубокая признательность, мое самое глубокое почтение и благодарность вечная.

Теперь могу признаться, что не верил я в осуществление издания до тех пор, пока не вышли 10—11-й тома — это все из-за того, что всегда было ненадежно с напечатанием в журнале, изданием книг в издательстве, любом, пока не возьмешь в руки свежий журнал и «горячую» книгу, сомневайся. Ведь вон шеститомное издание в «Молодой гвардии», и не одно мое, а восемь, остановили на трех томах и хоть бы тебе что, хоть бы кто ахнул иль поцарапался. Так жили. Так привыкли.

Надо поклониться жизни за этот «подарок судьбы», ведь еще при жизни удалось мне наглядно подвести итог, собрать «до кучи» разрозненные, порой полузабытые, полузатерявшиеся рукописи. А каков он, этот итог, судить тебе, читатель.

Виктор Астафьев

Июль 1998 г.
Загорье — Овсянка

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМА.
1990—1997 годы 6

Комментарии 499

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

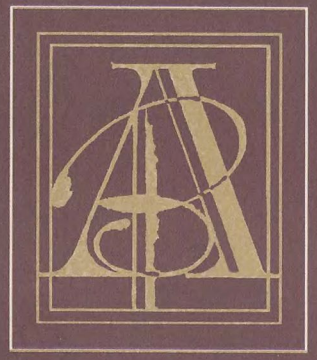
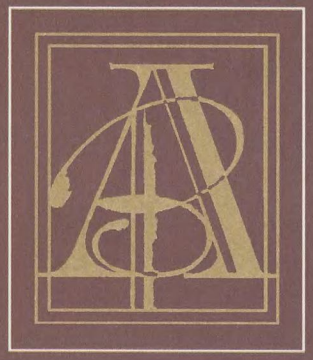
АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том пятнадцатый

Художественное оформление **А. Озеревской, А. Яковлева**
Редакторы **А. Ф. Гремицкая, Г. И. Сысоева**
Художественный редактор **Е. В. Корнеева**
Технический редактор **Н. Н. Шабля**
Корректоры **А. Ф. Пантелеева, В. Н. Клюшина, Л. С. Павленко**
Оператор компьютерной верстки **Л. С. Васьковская**

ЛР № 010162 от 03.06.97

Подписано в печать 31.08.98. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная №1.
Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 26.88. Уч.-изд. л. 27.16.
Тираж 10 000. С — 015. Заказ 74

Отпечатано на производственно-издательском комбинате
"ОФСЕТ"
660049, Красноярск, ул. Республики, 51